

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2024
Том 23. №1

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)
Джеффри Александер (Йельский университет, США)
Ян Вальсинер (Университет Альборга, Дания)
Гэри Дейвид (Университет Бенгли, США)
Владимир Камнев (СПбГУ, Россия)
Александр Марей (НИУ ВШЭ, Россия)
Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)
Альбер Ожьен (Высшая школа социальных наук, Франция)
Энн Роулз (Университет Бенгли, США)
Ирина Савельева (Россия)
Ирина Троцук (РУДН, Россия)
Никита Харламов (Университет Альборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Александр Фридрихович Филиппов

Редакционная коллегия

Главный редактор
Александр Фридрихович Филиппов
Зам. главного редактора
Марина Геннадиевна Пугачева
Члены редколлегии
Светлана Петровна Баньковская
Дмитрий Юрьевич Куракин
Александр Владимирович Павлов
Наиль Галимханович Фархатдинов
Руслан Заурбекович Хестанов

Литературные редакторы

Максим Сергеевич Фетисов
Александра Вадимовна Карпезова

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Анастасия Валериановна Меерсон

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2024
Volume 23. Issue 1

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)
Gary David (Bentley University, USA)
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)
Vladimir Kamnev (Saint-Petersburg State University, Russia)
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)
Alexander Marey (HSE University, Russia)
Peter Manning (Northeastern University, USA)
Albert Ogien (EHESS, France)
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)
Irina Savelieva (Russia)
Irina Trotsuk (People's Friendship University of Russia, Russia)
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

HSE University
Alexander F. Filippov

Editorial Board

Editor-in-Chief
Alexander F. Filippov

Deputy Editor
Marina Pugacheva

Editorial Board Members
Svetlana Bankovskaya
Nail Farkhatdinov
Ruslan Khestanov
Dmitry Kurakin
Alexander Pavlov

Copy Editors
Maxim Fetisov
Alexandra Karpezova

Russian Proofreader
Inna Krol

Layout Designer
Anastasia Meyerson

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Катектические механизмы культуры. Часть 2 9
Дмитрий Куракин
- I that is We and We that is I: A Defense of Methodological Holism and
the Primacy of Collective Agency 40
Denis Maslov
- Расовое профилирование как разновидность надзора
и секьюритизирующая практика 60
Ксения Григорьева

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

- The State and the Class in Qajar Iran, 1794-1925 81
Sara Sharifpour, Hadi Noori, Mohammad Reza Gholami
- Совет экспертов Исламской Республики Иран: социально-
демографические и политические факторы рекрутирования (1983-2024) 107
Илья Васькин

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

- Катехон как теолого-политическая парадигма мирового порядка 135
Алексей Яркеев

СТАТЬИ И ЭССЕ

- Особенности мировоззрения врачей паллиативной помощи
детям: интерпретативный феноменологический анализ 160
Максим Мирошниченко, Екатерина Коростиченко, Дмитрий Ноздрачев
- Пока ребенок спит: репертуар «нематеринских» практик российских матерей 185
Анастасия Швецова, Ирина Симонова
- Социализация и выбор жизненных стратегий мигрантами
«второго поколения» в России 212
Екатерина Деминцева
- Экономисты и их фан-клубы: распределение признания
в российской экономической науке 244
Михаил Соколов, Мария Сафонова

ОБЗОРЫ

От телесной онтологии к этике ненасилия: роль уязвимости как взаимозависимости в этико-политической мысли Джудит Батлер
Евгений Ненадыщук 279

Количественный анализ факторов террористической активности: опыт систематического обзора
Илья Сумерников, Андрей Уфимцев, Максим Слав, Андрей Кортаев 302

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

Истоки и смысл «Западной эсхатологии» Якоба Таубеса
Татьяна Резвых, Артем Соловьев 357

РЕЦЕНЗИИ

Check your privilege, или Социология исследовательских объектов
Александр Ким 377

Россия Владимира Кантора, или Судьба в борьбе с настоящими будущим
Ренард Девликамов 382

IN MEMORIAM

Антонио Негри. Storia di un comunista
Максим Фетисов 390

Contents

SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

- Cathectic Mechanisms of Culture. Part 2 9
Dmitry Kurakin
- I that is We and We that is I: A Defense of Methodological Holism
and the Primacy of Collective Agency 40
Denis Maslov
- Racial Profiling as a Form of Surveillance and Securitizing Practice 60
Kseniya S. Grigor'eva

POLITICAL SOCIOLOGY

- The State and the Class in Qajar Iran, 1794-1925 81
Sara Sharifpour, Hadi Noori, Mohammad Reza Gholami
- Assembly of Experts of the Islamic Republic of Iran: Socio-Demographic
and Political Recruitment Factors (1983-2024) 107
Ilya Vaskin

POLITICAL THEOLOGY

- The Katechon as a Theologo-political Paradigm of the World Order 135
Aleksey Yarkeev

PAPERS AND ESSAYS

- Features of the Worldview of Pediatric Palliative Care Physicians:
an Interpretative Phenomenological Analysis 160
Maxim Miroshnichenko, Ekaterina Korostichenko, Dmitry Nozdrachev
- While the Child Sleeps: the Repertoire of “Non-maternal” Practices
of Russian Mothers 185
Anastasia Shvetsova, Irina Simonova
- Socialization and Choice of Life Strategies by “Second Generation”
Migrants in Russia 212
Ekaterina Demintseva
- Economists and Their Fan-clubs: The Distribution of Recognition
in Russian Economic Science 244
Maria Safonova, Mikhail Sokolov

REVIEWS

From Bodily Ontology to the Ethics of Nonviolence: the Role of Vulnerability as Interdependence in J. Butler's Ethical-Political Thought 279
Evgeny Nenadyshchuk

Quantitative Analysis of Factors of Terrorist Activities: A Systematic Review 302
Elijah Sumernikov, Andrey Ufimtsev, Maxim Slav, Andrey Korotayev

REFLECTION ON A BOOK

Origins and Meaning of Jacob Taubes' "Occidental Eschatology" 357
Tatyana Rezvykh, Artem P. Solovev

BOOK REVIEWS

Check your Privilege, or Sociology of Research Objects 377
Alexander Kim

Vladimir Kantor's Russia, or Fate in the Struggle with the Present and the Future 382
Renard Devlikamov

IN MEMORIAM

Antonio Negri. Storia di comunista 390
Maxim Fetisov

Катектические механизмы культуры^{*}

Часть 2

Дмитрий Куракин

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии, профессор Департамента образовательных программ Института образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Приглашенный профессор социологии Йельского университета.
Адрес: 204 Prospect St., room 204, New Haven, CT, USA, 06511
E-mail: dmitry.kurakin@yale.edu

Работа посвящена изложению и обоснованию новой исследовательской программы, нацеленной на признание конститутивной роли эмоций, аффекта и их интенсивности в формировании культурных смыслов. Она противостоит широкой традиции, сводящей культуру к информации, культурные процессы — к кодированию, передаче и обработке этой информации, а эмоции — к своего рода «топливу», усиливающему эти процессы в социальной жизни. В основе этой программы лежит реинтерпретация понятия «катексис», определенного как базовое свойство культуры, состоящее в том, что эмоции, производимые в социальных взаимодействиях, могут прикрепляться к разного рода объектам — вещам, идеям, представлениям, символам, телам и их частям, пространственным (таким как, например, территории) и темпоральным (таким как события) феноменам. На основе анализа, представленного в первой части статьи, во второй части выделены две базовые валентности катектических механизмов культуры (пиетическая и трансгрессивная) и сформулированы пять общих свойств катексиса (постоянство, принцип фармации, производство границ, ситуативность и эмерджентность). С опорой на эту позитивную программу произведен краткий обзор существующих теорий, имеющих дело с эмоциональным измерением культуры. Для удобства организации материала он структурирован в виде трех тематических подразделов: восприятие; идентичность и изменение социального порядка; и энергетика социального действия. Показано, что теория катексиса может стать общим знаменателем этих намечающихся подходов, усилить их потенциал и приблизиться к более адекватному пониманию эмоционального измерения культуры в социологии.

Ключевые слова: катексис; культура; эмоции; аффект; сакральное; культурсоциология; социология культуры и познания; когнитивные процессы

В первой части статьи я наметил контуры новой исследовательской программы, нацеленной на признание конститутивной роли эмоций, аффекта и их интенсивности в формировании культурных смыслов. Она противостоит явному или скрытому приравниванию культуры к «информации», характерному для доминирующей в социологии рецепции вычислительных моделей познания. В фундаменте новой программы лежит понятие «катексис», представляющее собой реинтерпретацию фрейдовского понятия *Besetzung* в логике дюркгеймианской

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2024 году.

социологии культуры. Я определяю его как «*базовое свойство культуры*», состоящее в том, что «*эмоции, производимые в социальных взаимодействиях, могут прикрепляться к разного рода объектам — вещам, идеям, представлениям, символам, телам и их частям, пространственным (таким как, например, территории) и темпоральным (таким как события) феноменам*» (Куракин, 2023: 22). Как показал историко-социологический экскурс, приведенный в предыдущей части статьи, дюркгеймовская программа обнаруживает весьма существенный, недооцененный потенциал для встраивания эмоционального измерения в конструкцию культуры.

Экскурс в историю идей, приведших З. Фрейда к понятию *Besetzung*, а Э. Дюркгейма к теории сакрального, модели «бурления», социологической теории познания и теории коллективных эмоций, выявил удивительные параллели между работками двух великих современников. Если мы примем во внимание другие ключевые элементы научного ландшафта конца XIX — начала XX века, и, прежде всего, широкое воодушевление идеями, которые мы сегодня относим к «эмерджентизму», и финализацию первой версии классической нейронной доктрины, мы обнаружим все основные элементы, которые могли бы поместить эмоциональное измерение культуры в ядро формирующейся социологии. Однако в тот момент эти элементы не сложились в пазл. Сегодня, когда поведенческие науки проходят через череду «когнитивных поворотов» под влиянием прогресса в нейронауке и его философско-эпистемологических осмыслений (Kurakin, 2020; Куракин, 2018; Шариков, 2019), а эмерджентизм снова вернулся на сцену после нескольких десятилетий забвения (Clayton, 2006), открывается новое окно возможностей для теоретизирования эмоционального измерения культуры. Конечно, указанная историческая параллель в данном случае не может рассматриваться как доказательный аргумент. Однако растущее число исследований в социологии культуры (и познания), посвященных феноменам, в которых эмоции и их интенсивность играют ключевую роль в формировании смыслов, является важным, даже если косвенным, аргументом в пользу тезиса о своевременности развертывания социологической теории катексиса. Во второй части статьи я опираюсь на эти исследования и, интерпретируя их через призму социологической теории катексиса, демонстрирую ее потенциал и намечаю перспективные направления развития.

В первом разделе статьи я выделяю базовые валентности катектических процессов: пиетическую и трансгрессивную. Они образованы, соответственно, позитивным и негативным модусами взаимодействия с символическими границами. Во втором разделе я формулирую пять общих свойств катексиса. В третьем перехожу к обзору упомянутых выше новых исследований, реинтерпретируя их через призму теории катексиса и отмечая потенциал развития, которое она дает. Для удобства организации материала я выделил три категории процессов, которые рассматриваю одну за другой в трех подразделах: *восприятие; идентичность и изменение социального порядка; энергетика социального действия*.

Базовые валентности катектических механизмов культуры

Две базовые валентности катексиса, которые с точки зрения их ролей в структурировании культуры отвечают элементарному логическому различению «позитивного» и «негативного», сформированы двумя базовыми модусами катектических процессов: пиетическим и трансгрессивным (Kurakin, 2015; Куракин, 2011b). Пиетический модус образован всеми теми процессами, в которых эмоциональное притяжение проистекает из консистентного — то есть следующего правилам — взаимодействия с символическими границами, образцами, предписаниями и сценариями, заданными существующими культурными структурами. В работах Дюркгейма и его последователей эта валентность представлена большинством позитивных обрядов (Дюркгейм, 2018; Дюркгейм, Мосс, 1996). Она широко распространена в социальной жизни и связана с тем, что некий влиятельный символ, бинарная оппозиция или иная культурная структура может вызывать воодушевление и подобные интенсивные эмоции — то есть транслировать свою символическую мощь в область социальных действий и взаимодействий. Типичными примерами тут могут быть власть сакральных символов, торжественное волнение перед национальным флагом или просто разные формы престижа, которые способны не только вызывать сильную эмоциональную реакцию, но и мобилизовать энергичное действие.

Трансгрессивный модус катектических процессов состоит в эмоциональном притяжении или отталкивании, проявляющихся в разнообразных антиструктурных формах символического действия: пересечения, разрушения, размывания или оспаривания границ, формирования неопределенности и двойственности и других видов нарушения, освященных обычаем, правом или иным социальным консенсусом символических границ (Turner, 1975; Дуглас, 2000; Куракин, 2011b; Тэрнер, 1983). В свою очередь, порождаемый трансгрессией «диссонанс» способен формировать или укреплять новые символические границы и новый символический порядок. Это свойство лежит в основе феномена «учредительного насилия», подробно анализируемого Рене Жираром (Жирар, 2000). Парадигмальным примером негативного катектического процесса является Холокост, сверхмасштабная трансгрессия, породившая новый культурный порядок «этики после Холокоста» и масштабные политические изменения в мире (Александр, 2013). Однако широчайший спектр культурных процессов, в основе которых лежит трансгрессия, простирается от приведенных в пример событий планетарного масштаба до микроструктур лингвистических и когнитивных процессов. К примеру, изыскания Поля Рикёра позволяют заключить, что трансгрессия лежит в основе метафоры как базового механизма языка и мышления: целостность символических структур в данном случае разрушается неустранимой и определяющей для эффектов метафоры амбивалентностью метафорического и буквального смысла (Kurakin, 2014; Ricoeur, 1978; Рикёр, 1990). На самом общем уровне пиетическая и трансгрессивная валентности катектических про-

цессов в совокупности объясняют колоссальную часть самых разнообразных культурных процессов.

Как я попытался показать в предыдущих исследованиях, работы Жирара позволяют переосмыслить и существенно усилить потенциал дюркгеймианства, увидеть то, что так часто ускользало от теоретиков культуры: диалектику культурных различий и энергетики культуры — двух начал, которые соприкасаются в любом культурном элементе. Ключевое понятие теории Жирара — «насилие», которое он определил как «обезразличивающее» начало, уничтожающее существующие культурные различия, высвобождает то, что можно метафорически назвать «энергией вещества» культуры (Kurakin, 2019a). В своем стабильном модусе эта «энергия», или аффективный потенциал, скрыта внутри смысловых различий, которыми, как могло показаться, и исчерпывается культура. Катектические механизмы культуры возвращают к рассмотрению это часто незаметное, но ключевое для адекватного понимания культуры измерение.

Свойства катексиса

В этом разделе я кратко резюмирую основные положения теории катексиса, намеченные в первой части статьи. Повторю, я определил катексис как свойство культуры, состоящее в том, что *«эмоции, производимые в социальных взаимодействиях, могут прикрепляться к разного рода объектам — вещам, идеям, представлениям, символам, телам и их частям, пространственным (таким как, например, территории) и темпоральным (таким как события) феноменам»* (Куракин, 2023: 22). Фундаментальный характер связи эмоций с объектами опыта, лежащий в основе понятия катексиса, разделяется наиболее глубокими теоретиками эмоций, такими как Марта Нуссбаум, для которой главное в эмоциях — их интенциональный характер, и Сара Ахмед, для которой «контакт», конституирование поверхностей тел и предметов — это преимущественная область циркулирования эмоций. Часть общих свойств катексиса следует напрямую из этого определения, а часть прояснилась благодаря историко-социологическим, теоретическим и эпистемологическим экспликациям, произведенным в предыдущей части статьи.

Постоянство (persistence). Это основное свойство катексиса может показаться тривиальным: эмоциональный заряд, произведенный в социальных взаимодействиях, не только прикрепляется к объектам, но и сохраняется во времени. Однако оно ведет нас дальше семиотической логики означивания и установления того когнитивного консенсуса, благодаря которому мы закрепляем за знаками определенные значения. Лучше других этот когнитивный консенсус объяснил Людвиг Витгенштейн через понятие «правил», введение которых предписывает сообществу конформизм в трактовке значений слов и символов (Витгенштейн, 1994). Его важность настолько велика, что Питер Уинч положил витгенштейновское понятие «правил» в основу интерпретативной социологии (Уинч, 1996). Однако постоянство катектического заряда может превосходить постоянство консенсуса, о кото-

ром говорят Витгенштейн и Уинч. Проще всего это проиллюстрировать отсылкой к свойству амбивалентности сакрального (Куракин, 2011b) — способности сакрального менять «полярность» на противоположную — от чистого к скверному, и наоборот — без утраты сакрального статуса и связанных с ним свойств. Иными словами, эмоциональная интенсивность сакрального объекта оказывается более устойчивой, нежели его текущие трактовки как благое или губительное, прекрасное или отвратительное и т. д. Свойство постоянства указывает на столь часто игнорируемую роль эмоциональной составляющей смысла.

Пороговый характер катектических процессов, или *принцип «фармации»*. Чтобы участвовать в создании культурных смыслов, эмоциональная или аффективная составляющая этого процесса должна достигать определенного порога интенсивности¹. Парадигмальным примером в данном случае снова может послужить дюркгеймовская модель «бурления». Ключевой тезис Дюркгейма как раз и состоит в том, что интенсивность коллективных эмоций, какова бы ни была их модальность, намного превышает интенсивность эмоций, которые индивид переживает в повседневной жизни. Лишь при достижении этого порога эмоциональной интенсивности в ритуальном взаимодействии производится сакральный объект. Описанный синтез культурных смыслов можно уподобить тем химическим реакциям, которые могут состояться, только если участвующие в них атомы находятся в возбужденном электронном состоянии, как, например, в случае формирования эксимерной молекулы. В основном состоянии образующие ее атомы отталкиваются. Химическая связь, приводящая к образованию молекулы, образуется, только если они находятся на верхнем энергетическом уровне. В истории науки соответствующее свойство с древних времен называют принципом фармации. Оно лежало в основе древнегреческих представлений о медицине и лекарстве: свойства одного и того же вещества может меняться на противоположные (исцеление vs отравление) в зависимости от его концентрации.

Формирование границ. Из предыдущего свойства проистекает важное следствие: катектирование объектов или символов всегда приводит к формированию границ. В парадигмальном случае дюркгеймовского «бурления» это граница между сакральным и профанным. В общем случае граница формируется в силу того, что разность эмоциональных потенциалов достигает или превышает пороговый уровень. Как я уже упоминал в заключении первой части статьи, связь между эмоциями и аффектом и их интенсивностью, с одной стороны, и формированием границ, с другой стороны, лучше других продемонстрировала Сара Ахмед. В своей книге (Ahmed, 2004) она показала, что эмоции не только производят аффективно-заряженные символические границы между своим или чужим, но часто даже буквально формируют поверхности предметов. Боль² формирует поверхность тела.

1. Для Нуссбаум, с ее особой трактовкой эмоций, пороговый характер — ключевая характеристика самих эмоций (Nussbaum, 2001).

2. Как и я в данной статье, Ахмед уходит от противопоставления эмоций, аффекта и ощущений — строго говоря, несомненно, различающихся понятий. Как следствие, боль (как нечто между эмоцией

В своей книге Ахмед приводит еще один яркий пример — описанный афроамериканской активисткой Одре Лорд инцидент в метро, в котором она, будучи ребенком, села рядом с белой женщиной в шубе, а та стала с гневом и отвращением отодвигаться и отгораживаться от нее, формируя физическую границу. Работая над определением ситуации, юная Одре (которая вначале подумала, что между ними таракан — столь острой была реакция женщины) в итоге поняла, что граница проходит по ее коже и ее одежде: эмоции гнева и отвращения, от которых она была не в силах уклониться, придали эмоционально-окрашенный смысл ее одежде и ей самой (Ahmed, 2004: 53). Смысл этого примера состоит в том, что эмоции формируют феноменологически-воспринимаемые поверхности тел и предметов, и уже потом трансформируются во всеохватывающие расовые обобщения. Ахмед виртуозно опрокидывает оппозицию, сформированную широкими теоретическими традициями, рассматривающими эмоции как внутреннее или, напротив, внешнее начало, показывая, что сами эти «внутри» и «вовне» конституируются эмоциями и являются их эффектами (Ahmed, 2004: 11). Таким образом, связь эмоций с границами оказывается намного более фундаментальной, чем можно было бы предположить, ориентируясь на социальную теорию и здравый смысл.

Ситуативный характер. Участие эмоций в формировании культурных смыслов имеет спонтанный, уклоняющийся от твердого контроля, характер. В результате появляется много «артефактов», образованных соединением эмоций со случайными — то есть не номинированными волеием активных акторов или даже культурной логикой — объектами и культурными символами. Как это часто бывает, в данном случае лучшей иллюстрацией будет сфера художественного вымысла. Супергерой комиксов Флэш получил силу и сверхспособность скорости в результате попадания молнии в набор химикатов. Народные приметы и традиции также особо выделяют непредсказуемость катексиса. Мы стучим по дереву, чтобы «заземлить» и так отвести от себя катектический заряд порчи, привлекаемый неосторожно озвученными вслух надеждами. В Германии и некоторых других странах можно встретить странный обычай касаться кружкой пива стола, после того как кружки содвинуты. В этом можно усмотреть такую же попытку избежать непредсказуемого и, возможно, опасного направления, которое может принять заражение коллективным бурлением, образованное в результате этого жеста. В России мы несколько наивно надеемся, что «заклинание» тоста — достаточно надежный гарант канализирования этой энергии, и, напротив, избегаем ставить рюмку или бокал на стол, прежде чем выпить. Эмоциональное измерение придает культуре несколько «необузданный» характер, и хорошо известный принцип «заражения» движим именно этой силой.

и аффектом) рассматривается как соотносимое с ними понятие. В свою очередь, я исхожу из того, что на данном уровне развития теории катексиса мы еще не достигли такой определенности и точности утверждений, на которой было бы возможно и необходимо осмысленно уточнить указанные терминологические различия.

Эмерджентность. Культурные смыслы формируются в результате эмерджентного синтеза, в котором эмоции и аффекты представляют собой важнейшие компоненты. Эмерджентный характер этого синтеза означает, что его составные элементы невозможно «изъять» или «вычесть» из результата синтеза. Важнейшее следствие этого утверждения состоит в том, что доминирующая в социологии «топливная» метафора эмоций, согласно которой эмоции усиливают уже сформированные культурные смыслы и процессы в социальной жизни (двигатель отдельно, бензин отдельно), — в корне неверна. Другое важное следствие: этот синтез носит распределенный характер, в нем участвуют разнородные объекты: символические, материальные, нейрофизиологические, телесные и т. д. Все компоненты этого синтеза влияют на результат, но никогда не напрямую — в форме прямого каузального действия. Поэтому выведение свойств культуры из свойств когнитивных процессов невозможно, а соответствующие попытки, весьма популярные в современной социологии культуры и познания, ошибочны (Kurakin, 2020). Например, свойства культуры не повторяют свойств амигдалы — области мозга, с которой связывают формирование эмоций — и не следуют из них напрямую. Их характеристики влияют на культурные процессы (т. е. процессы верхнего уровня по отношению к ним) в логике «граничных условий», т. е. примерно так же, как законы природы влияют на характеристики автомобиля: каждое из них ограничивает пространство возможного, играя роль «аффорданса», а ключевую роль играет их композиция — дизайн машины (Kurakin, 2020; Paksi, 2014; Polanyi, 1968). Резюмируя: эмерджентность катектических процессов означает их недетерминированность, распределенный характер синтеза (эмоциональную составляющую нельзя изъять или «дистиллировать» из культурного «сплава») и их зависимость от композиционной совместимости элементов (в логике аффордансов).

Катексис как «общий знаменатель»: социология культуры в поисках эмоций

В этом разделе я постараюсь показать, что многие авторы прямо сейчас подступают к пониманию особой роли, которую аффект и эмоции играют в культуре и в формировании культурных смыслов. Ранее я выдвинул предположение, что это может быть связано с философским и теоретическим осмыслением прогресса нейронауки и некоторыми другими сложившимися условиями, образовавшими окно возможности для прорыва в понимании эмоционального измерения культуры. Представляется, что в предыдущий раз такое «окно» открывалось в конце XIX — начале XX века, что привело к появлению понятия «катексис» и «поздней теории Дюркгейма», однако сто лет назад нужные связи не были прочерчены и момент был упущен.

В том виде, как я определил его в этой работе, катексис представляется весьма простым, если не вовсе тривиальным понятием. Как его введение может привести к прорыву в понимании эмоционального измерения культуры? Я приведу

два простых соображения, стоящие за моими изысканиями в этой связи. Первое: исследования, о которых пойдет речь в этом разделе, имеют дело с одними и теми же фундаментальными принципами, но в отсутствие подходящего категориального аппарата они всякий раз вводят новые и новые предметно-специфические понятия: «социальная боль», «разрыв», «значимость» и пр. По изящному выражению Филиппа Смита, они не видят друг друга, «как корабли в ночи»³. Это нужно понимать не буквально — упомянутые исследователи в основном хорошо знают друг друга и ссылаются на соответствующие работы — однако это не приводит к общему приращению теории и дальнейшему продвижению в понимании эмоционального измерения культуры.

С этим связано мое второе соображение, усматривающее эпистемологическую аналогию в формировании классической механики. Основные параметры и очертания механики как раздела физики были ясны со времен Античности. Тело, пространство, материя, время, причина, движение и покой взаимозависимы для любой теории движения, так же как чувства, мысли и действия — для любой теории действия. Можно было бы предположить, что тут царит плюрализм: для каких-то задач удобно положить в основу тело и пространство, для каких-то силу или движущую причину, а для каких-то скорость и изменение. Однако, как показало время, лишь предложенное Ньютоном элементарное решение, соотносящее движение и его изменение с силой, открыло путь к развитию классической механики.

Действительно, аристотелевское положение о невозможности бесконечного движения выглядит не менее интуитивно-ясным, чем ньютоновское. Равно как и античные и средневековые развития аристотелевской мысли, вращающиеся вокруг идеи, что для продолжения движения необходимо постоянное приложение силы неким движителем, будь то в форме «*motor proximus*» или «*impetus*». Видение скорости как интенсивности движения, и, следовательно, некоторой запечатленной силы, также вполне соотносимо с повседневным опытом и элементарными наблюдениями. Закон сохранения движения Декарта и соотносимые с ним законы движения, релятивизирующие движение и покой и вводящие понятия меры количества движения и покоя, также выглядят одной из приемлемых перспектив. Однако эти линии рассуждений, объясняя движение в принципе, не позволяли перейти к развитию теории и приращению знания. Базовые положения, зафиксированные Ньютоном в его знаменитых законах — о бесконечном прямолинейном движении в отсутствие приложения сил и о силе как причине изменения движения, — выглядят как один из углов зрения на проблему, рядоположенный прочим и лишенный эпистемологического приоритета. Однако продуктивное продвижение оказалось возможно лишь с опорой на предложенное Ньютоном простое решение⁴. Предлагаемое мной скромное и тривиальное решение — положить катек-

3. Источник: личная переписка.

4. За кажущейся простотой этих положений лежат весьма сложные теологические построения — именно они, а не повседневный опыт, придали убедительность абстракциям бесконечного однород-

сис в основу понимания эмоционального измерения культуры — имеет в своей основе нескромную амбицию, что именно оно позволит продвинуться дальше на данном этапе развития социологии культуры. В этом разделе я намечаю первые шаги на этом пути, рассматривая ряд исследований, наиболее чувствительных к роли эмоций в формировании культурных смыслов, через организующую оптику теории катексиса.

Восприятие

Ключевая теоретическая рамка, построенная на основе дюркгеймовской теории сакрального и обеспечившая настоящий прорыв в понимании восприятия, разработана Мери Дуглас (Дуглас, 2000). Работая с категориями чистоты и загрязнения, она показала, как фундаментальная оппозиция сакрального и профанного, а также ее динамическая производная⁵ — чистое и скверное — позволяют объяснить отвращение, страх и целый ряд других эмоций, возникающих при операциях с символическими границами. Даже бытовое восприятие грязи, как убедительно показала Дуглас, восходит не к грязи как субстанции, априори определенной как «грязная», а к символическим процессам упорядочивания, классификации, а точнее — к их нарушению. Поскольку выпадение из символических классификаций или другие формы их нарушения — это универсальный процесс, охватывающий все, что связано с миром смысла, перед нами фундаментальный катектический механизм, понимание которого дает мощный объяснительный ресурс. Типологически он восходит к описанной выше трансгрессивной валентности катектических процессов.

Глубокое волнение, охватывающее нас при столкновении с описанными Дуглас маргиналиями символических классификаций, чем-то «не на своем месте», может принимать отнюдь не только форму отвращения. Оно может быть и чрезвычайно притягательным: как предписывает свойство постоянства, интенсивность эмоций в данном случае устойчивее их модальности. В своем исследовании восприятия тайны (Kurakin, 2019a) я выстраиваю теорию эмоциональных аттракторов, которая позволяет объяснить причины и механизмы необычайного магнетизма, исходящего от тайн и делающего тайну одним из основных жанров популярной культуры. Ключевую роль в этом объяснении играет модель «триггер-нарратив», описывающая катектическую конституцию тайны и притягательность версий ее разгадки как происходящие из трансгрессии, которую некий триггер — «странное» событие, предмет или идея — производит в отношении некоего доминирующего нарратива. На наиболее общем уровне любая тайна несет в себе вызов в от-

ного пространства, линейного времени и «абсолютного движения». См., например, работу П. П. Гайдено (Гайдено, 2013).

5. Подробнее о том, почему я считаю, что чистое/скверное необходимо понимать именно как динамическую производную от оппозиции сакральное/профанное и об отношении между этими понятиями см. в работе: Куракин, 2011b.

ношении метанарративов рациональности⁶. Даже в случае детективного романа, жанра, который часто и некорректно с точки зрения его наиболее важных свойств уподобляли арифметической задаче, притяжение и волнение проистекает отнюдь не (только) из интеллектуального вызова, ответ на который исчерпывается аккуратным перебором вариантов решений (Caillois, 1984; Болтански, 2019). Подобно тому, как небольшое нарушение диетарного табу угрожает всему космологическому порядку, даже локальное и изолированное логически-невозможное событие (убийство в закрытой комнате, где, кроме жертвы, никого нет) несет угрозу всему рациональному и символическому порядку. Если такое возможно, вопреки логике и здравому смыслу, кто теперь может гарантировать, *что* из того, что только может себе вообразить человек, или даже не решается вообразить из первобытного ужаса, невозможно?

Символическую мощь «обезразличивания» вполне прояснил Рене Жирар, который подробно показал, как, возникая «как огонь по пороховой дорожке», обезразличенность разрушает весь порядок (Жирар, 2000: 82). Поэтому, хотя в случае каждой конкретной тайны ее непосредственный предмет может быть локализован («whodunit?» — на жаргоне любителей детективных романов), подлинным предметом вызова является само устройство осмысленной жизни, в основе которой лежат катектически-структурированные символические классификации, а источником волнения — высвобождаемый трансгрессией катектический заряд. Если продолжить уже намеченную выше аналогию с физикой, энергетика тайны принадлежит не макромиру «механики» социальных групп и интересов (как в случае с секретом, чья значимость, как показал еще Георг Зиммель, определяется ценностью скрываемой информации (Simmel, 1906)), а к микромиру энергии вещества, высвобождаемой в «ядерном синтезе», который запускает тайна (Kurakin, 2019a).

Еще одно стратегическое направление исследований, которое может позволить развить понимание катектических механизмов культуры, представляет собой музыку. Неслучайно именно в этом качестве музыка привлекает внимание Марты Нуссбаум и ее теории эмоций: в отсутствие слов музыка, подобно снам и мечтам, по необходимости оказывается «на глубине» (Nussbaum, 2013). Анализ совместного музицирования и прослушивания музыки — важный источник для охвата темпорального измерения катектических процессов: музыка выраженным образом является средой эмоционального притяжения, причем катектическая структура в данном случае распределена во времени. Все то, что я писал в первой части статьи про распределенный характер познания, напрямую относится к исполнению и прослушиванию музыки.

6. В своих рассуждениях об иллюзиях, фабрикациях и галлюцинациях Ирвинг Гофман вводит понятие «дискредитации», примечательная особенность которой состоит в том, что, когда заблуждение развеивается, дискредитированной может оказаться вся система, элемент которой был связан с этим заблуждением. Движимая фундаментальной силой «подозрения», в космологии западного человека принимающего форму «веры в то, что истина рано или поздно откроется» (Гофман, 2001: 173), дискредитация ощущается как неизбежная. Угроза слома фрейма всегда маячит на горизонте.

Во-первых, музыка энактивна, она требует актуального проигрывания, в котором каждый раз воспроизводится эмоциональное вовлечение. Музыка — прекрасная иллюстрация неполноценности вычислительной теории познания: она явно выходит за пределы «передачи информации». Даже воспоминание о музыке требует хотя бы краткого проигрывания, которое может, например, воплощаться в беглом напевании мелодии вслух. Во-вторых, как писал еще Клод Леви-Стросс, восприятие музыки организовано через взаимодействие мелодии с органическими ритмами: сердцебиением, церебральными волнами, ритмом дыхания (Lévi-Strauss, 1990: 16–17). В-третьих, восприятие музыкального ряда определяется взаимодействием с другими смысловыми темпоральными структурами, в первую очередь музыкальными: внимательно слушая музыку, мы предугадываем движение мелодии: иногда катектические эффекты следуют из радости узнавания — верной отгадки (пиетическая валентность), а иногда из сюрприза, когда эффект рождается расхождением с темпорально-организованным предвосхищением слушателя (трансгрессивная валентность)⁷. В-четвертых, как показал Альфред Шюц, совместное музицирование порождает ощущение «Мы», возникающее благодаря тому, что музыканты разделяют друг с другом опыт переживания внутреннего времени, обычно сугубо индивидуальный и недоступный прямому наблюдению (Schutz, 1976: 173).

Как ясно из приведенных примеров, выстраиваемое мной в этой работе уточненное видение культуры, имманентно включающее в себя эмоциональное измерение, представляет восприятие в качестве активного, энергетически насыщенного процесса, для которого принципиально важны катектическая структура и динамика культуры. Утверждать катектическое измерение культуры означает представлять ее не как объект, вещь и данность, а как ландшафт, созданный эмоционально-энергизированными действиями и потому несущий в себе распределенный катектический заряд. Такое видение, преодолевающее кибернетическую картину в духе приема и передачи информации, характерно для тех все еще немногих современных теорий, которые стремятся преодолеть «проектные» концепции действия (выстраиваемые вокруг связки «цель-средства» и подбора и оценки эффективности средств в достижении целей), тесно связанные с вычислительной теорией познания.

Например, тонкий и хрупкий «резонанс» Хартмута Розы подразумевает эмоциональный ответ, эмерджентным (то есть не вполне контролируемым и не гарантированным) образом связывающий человека с миром (Rosa, 2020: 32–34). В противном случае вместо резонанса мы получаем доминирование и отчуждение — инструментальные формы взаимодействия. Подобным образом, в рассмотренной в первом разделе этой статьи теории насилия Коллинза перед нами предстает неустойчивое равновесие симметричной борьбы, стремящееся либо разрешиться мирным эмпатически-структурированным общением, куда более

7. Это роднит прослушивание музыки с построением версий и эмоциональным притяжением тайны.

соответствующим эмоционально-когнитивной конституции человека, либо соскользнуть в более устойчивую форму одностороннего насилия (Collins, 2008).

Примечательно, что в другой социологической теории резонанса, почти одновременно с Розой разработанной Терренсом Макдоннеллом, Кристофером Бейлом и Иддо Тавори (их статья была опубликована через год после выхода книги Розы, но они не ссылаются друг на друга), резонанс определен по-другому, но его ключевыми свойствами также остаются эмоции и эмерджентность. Выстраиваемая ими прагматическая теория культурного резонанса определяет его как особый эффект, возникающий при разгадывании загадки или решении проблемы (McDonnell, Bail, Tavory, 2017). Они отчетливо распознают сходство своего понятия с близкими ему понятиями «бурления» (Дюркгейм), ритуальными цепочками взаимодействий (Коллинз) и «значимости» (salience) — недавно импортированным из социальной психологии понятием, описывающим выраженную эмоциональную связь с объектом восприятия (Guhin, 2016), но четко отграничивают свое понятие от них (McDonnell et al., 2017: 9).

В сходном направлении движется и Сет Абрютин, который в своей недавней работе развернул теорию социальной боли — на основе социологической доработки результатов исследований в области нейронауки (Abrutyn, 2023). Абрютин в основном фокусируется на социальных последствиях нейрофизиологического эффекта, который недавно привлек большое внимание исследователей — выраженной эмоциональной реакции, возникающей в результате разрыва разного рода привязанностей. Намеченная мной теория катексиса может существенно уточнить и развить проницательные находки Абрютина. Для этого нужно принять во внимание, что социальную боль необходимо рассматривать как катектический механизм в трансгрессивном модусе. Ведь распад интенсивной социальной связи — будь то временный, когда ребенок потерялся в торговом центре, или постоянный, как при утрате близкого (примеры, приводимые Абрютином) — означает резкое переструктурирование границ: стирание/отрицание/размывание старых (например, отделяющих «нас» от окружающего мира), появление новых (отделяющих меня от моего близкого) и появление многочисленных маргиналий классификаций, вещей не на своем месте. Обезразличивание, которое, согласно Жирану, распространяется «как огонь по пороховой дорожке», охватывает все новые и новые сферы. Переживание утраты близкого состоит еще и в том, что со временем мы обнаруживаем новые и новые отчуждения и перестраиваемые границы, которые не были очевидны сразу⁸. Понимая природу катексиса и трансгрессии, мы можем продвинуться намного дальше, нежели простая фиксация единичного события социальной боли. Что еще более важно, эта, расширенная картина позволяет выйти на понимание более широких (то есть охватывающих большие социальные группы) социальных эффектов, в которых индивидуальная социальная боль играет роль триггера — таких как социальная травма (Александр, 2013).

8. См., например, глубокое осмысление опыта утраты, сыгравшее центральную роль в работе Марты Нуссбаум (Nussbaum, 2001).

Аналогичным образом дело обстоит с целым рядом исследований, опубликованных в последние годы, все из которых связаны с социологией культуры и познания и ищут способы лучшего описания эмоциональных эффектов в культуре. Они концептуализируют такие понятия, как «разрыв» (причем сразу в двух неодинаковых версиях: “rupture” (Shaw, 2021) и “disruption” (Poling, 2023)), «распределенное бурление» (McCaffree, Shults, 2022), в очередной версии — «резонанс/диссонанс» (Guhin, 2016) и пр. Все эти недавние работы нащупывают важный нерв социальной жизни, ставший видимым благодаря развитию социологического аппарата культуры и познания. Теория катексиса может стать общим знаменателем, предлагающим теоретически-фундированное, но при этом с легкостью встраиваемое в уже существующие построения, обоснование для этих прорывных эвристических находок.

Идентичность, порядок и изменение

Поняты так, проблемы восприятия неразрывно и бесшовно связаны с другими социальными процессами, которые я лишь для удобства организации материала заключаю здесь в отдельные подразделы. Если восприятие — это *не* проникновение информации «внутри человека», а живой и энергетически насыщенный процесс, то что же происходит помимо собственно восприятия? Если подхватить здесь упомянутую в конце предыдущего подраздела мысль Розы, резонанс подразумевает активное изменение, причем оно происходит в обе стороны: меняется человек (в частности, его идентичность), но меняется также и мир: «гора, которую я покорил, отличается (для меня) от той, что я видел лишь на расстоянии или по телевизору...» (Rosa, 2020: 32–35). С некоторыми оговорками, изменение горы в данном случае — катектический процесс. Это выводит нас на важнейшую тему о роли интенсивных эмоций для изменения идентичности и порядка.

Фундаментальную роль в осмыслении этих процессов сыграла модель ритуалов перехода Виктора Тёрнера (развившего более ранние разработки Арнольда ван Геннепа (ван Геннеп, 1999)), неслучайно обретшая столь широкое хождение в социальных и поведенческих науках (Turner, 1967; Тэрнер, 1983). Ритуал перехода — парадигмальный случай изменения идентичности и статуса, в который ясным образом включены культурные символы, социальные установления и общности. Самое важное в модели Тёрнера — это присутствие обязательной для действенного ритуала и глубоко трансгрессивной по своему содержанию лиминальной стадии. Ритуал использует разнообразные способы извлекать высокоинтенсивные эмоции из нарушения табу и ритуального оспаривания границ символических структур: в конечном счете эти эмоции служат «энергетическим обеспечением» нового символического порядка и идентичности⁹. Таким обра-

9. Для разработки более детального описания этого процесса в культурно-энергетических терминах ранее я использовал концепции «обезразличивания» и «мифологической обработки», построенные Рене Жираром в рамках его теории сакрального и насилия (Kurakin, 2019b; Жирар, 2000; Куракин, 2011b).

зом, теория ритуалов перехода Тёрнера раскрывает, как происходит катектическое обеспечение трансформации идентичности, показывая его как изменение, в котором соединяются социальные, психические и телесные элементы, имеющие «энергетическую» составляющую, которую и призван обеспечить ритуал и без которой искомое изменение не может состояться.

Важно отметить, что «энергетическое обеспечение» здесь означает сложный культурно-катектический процесс, в котором интенсивность эмоций является ингредиентом эмерджентного синтеза, происходящего во время ритуала, а вовсе не эмоциональным «топливом» для культурных процессов. Прояснить это можно с помощью случаев, когда интенсивность эмоций демонстрирует созависимость с культурными обстоятельствами ситуации, как, например, в исследовании Рене Омелинг, которая показала, что эмоциональная интенсивность формально идентичных телесных операций может серьезно различаться в зависимости от того, являются ли эти операции частью ритуала перехода или нет. В своем исследовании донорства яйцеклеток Омелинг показала, что в ходе первого этапа процедур, когда все медицинские манипуляции у доноров и реципиентов яйцеклеток абсолютно идентичны, доноры не испытывают выраженных страданий, тогда как будущие матери описывают тяжелейшие физические и психические мучения (Almeling, 2011). Очевидно, для них этот телесный опыт организован переходом к материнству, тогда как для доноров он носит лишь инструментальный характер.

Другой пример, демонстрирующий роль интенсивных эмоций в изменении идентичности и, следовательно, ценный для изучения катектических механизмов культуры, представляет упомянутое в первой части данной статьи исследование современных форм паломничества Филиппа Смита и Флориана Штолля (Smith, Stoll, 2021). Выделяя паломничество в качестве одного из типов жертвоприношения, они иллюстрируют свои разработки, обращаясь к эмпирическому кейсу ежегодного вагнеровского музыкального фестиваля в Байройте. Этот фестиваль был тщательно спланирован и основан Рихардом Вагнером полтора столетия назад как культовое и весьма необычное мероприятие, каким оно остается и по сей день.

Исследование Смита и Штолля ясно показывает, почему роль интенсивных эмоций, таких как страдание, слишком легко упустить в современном мире, для которого характерно то, что Энтони Гидденс называл «секвестрированием опыта», то есть заключение в скобки и запираение в эксклавы острых экзистенциальных переживаний, таких как сумасшествие, болезнь и смерть (Giddens, 1991: 156). Что может быть более легким и приятным, чем летний музыкальный фестиваль в Германии? Однако выясняется, что дух культа избранных, который Вагнер целенаправленно пытался сформировать для своего фестиваля, специально для этого организовав его на удалении от столиц культурной жизни и особым образом спроектировав концертный зал, возоблада, несмотря на общий уровень комфорта в современных развитых странах. Информанты Смита и Штолля, равно как и они сами, описывают путешествие на фестиваль как мучительное. Жесткие деревянные кресла, на которых нужно высиживать многочасовые концерты в жуткой

духоте некондиционированного зала, двери которого закрыты для обеспечения должной акустики, превращают мероприятие в труднопереносимое страдание. Точно так же описывали опыт вагнеровского фестиваля оставившие о нем записи посетители прошлого, такие как Бернард Шоу и Петр Ильич Чайковский. Те, кто попал на фестиваль случайно, имеют мало шансов высидеть дольше первого акта (Smith, Stoll, 2021).

Выраженное страдание, о котором повествуют участники фестиваля, оказывается ключевым ингредиентом на пути к трансцендентным переживаниям, которые, по словам многих респондентов Смита и Штолля, навсегда изменили их жизни. Если даже музыкальный фестиваль оказывается продуктивно рассматривать через призму теорий паломничества и жертвоприношения, правомерно предположить, что, вопреки ключевым идеологемам современности, таким как норма жизни без боли и страдания (Ветлесен, 2010), включение в объяснительные схемы эмоционального измерения культуры и эмоциональной интенсивности дает ключ не только к экзотическим культурным анклавам, но и к обширным ландшафтам повседневности.

В своем исследовании косметической хирургии я постарался показать, что изменение идентичности, происходящее в результате операции (и которое, как давно выяснили ученые, является наиболее выраженным и востребованным эффектом операции), фундаментальным образом зависит от тех же катектических процессов. Для этого я описываю инвазивные косметические операции, так же как и подготовку к ним и восстановление после, отталкиваясь от модели Тёрнера и, через призму теории катексиса, переходя на микроуровень катектических взаимодействий (Kurakin, 2024). И существующая литература по вопросу, и собранные мной данные показывают, что, несмотря на прогресс в анестезии и чрезвычайную распространенность косметических операций, они остаются крайне болезненными и наполненными страхом и неопределенностью. Их результат почти всегда не вполне идентичен замыслу. Трудноустранимым образом, они несут тревогу на уровне воображения, так как фокусируют его на рассечениях и разрезах — символических операциях, нарушающих канон закрытого тела (Бахтин, 1965; Куракин, 2011а; Смит, 2008). Майкл Тауссиг и другие исследователи упоминают особый жанр историй, описывающих трагические сбои при косметических операциях: пациенты косметологических клиник читают их, думают о них и пересказывают их друг другу (Taussig, 2012). В своем исследовании я показываю, что эти физические и психические страдания — не сбои или побочные эффекты, а ключевая часть катектических механизмов, которые только и делают возможным то мощное изменение в идентичности, ради которого миллионы людей «идут под нож» (Brooks, 2004).

В этом месте необходимо сделать важное примечание. Мы перешли на уровень индивидуальных процессов — изменения идентичности, трансформации опыта и прочих переживаний — чтобы на микроуровне понять, что стоит за широкими социальными процессами, будь то формирование эстетического канона, динамика

формирования солидарности и сообществ, возникновение больших культурных феноменов, меняющих ландшафт социальной жизни.

Исследования и теории, тесно связанные с проблемой эмоциональной интензивности, в которых этот макросоциальный план более очевиден, — это теории культурной травмы, моральной паники, исследования коллективной памяти, изучения истории эмоций и, в частности, особенности эмоциональной организации жизни, характерные для современности (Illouz, 2008, 2012; Reckwitz, 2020). Все они, во-первых, представляют несомненный интерес для данного исследования, а во-вторых, могут быть уточнены и усилены с помощью лучшего понимания работы катектических механизмов культуры. Существенная часть теорий и эмпирических исследований, проведенных в русле перечисленных подходов, имеют выраженные черты конструктивизма. Культура в них представлена в качестве сферы медиаманипуляций с информацией и инструментального использования политически-ангажированных нарративов. Поэтому реинтеграция в эти объяснительные схемы более адекватного видения культуры и внимания к ее катектическим механизмам способна существенно усилить данные направления исследований.

Действительно, эвристический потенциал и контринтуитивность таких понятий, как «культурная травма», «моральная паника» и «коллективная память», во многом как раз и состоит в деконструкции «первого смысла» самих этих терминов и в выявлении стоящих за ними культурных и медийных конструктов. В свою очередь, история эмоций по сей день (!) находится под определяющим влиянием работ Норберта Элиаса и наивной «гидравлической теории эмоций» (Solomon, 1998). В течение последних десяти-пятнадцати лет некоторые исследователи стремятся пересмотреть эти подходы — причем именно с учетом прогресса нейрокогнитивных исследований (Rosenwein, 2012). Таким образом, в этой дисциплинарной области формируются тенденции в направлении, не только сходном с разрываемым в данном исследовании, но и таком, в развитии которого теория катексиса в будущем может сыграть важную роль. Наконец, исследования пролиферации терапевтического нарратива, приводящей к усилению эмоциональной чувствительности и репертуаров ее обсуждения вместе с ростом императива эмоционального контроля (Illouz, 2008, 2012), а также «эмократия» современной жизни и усиление веса «сингулярности» — эмоциональной привязки к уникальному в противоположность массовому и серийному (Reckwitz, 2020) — описывают ключевые свойства современности именно в перспективе эмоционального измерения культуры. Они представляют исключительный интерес в части развития моделей катектических механизмов культуры, поскольку описывают ключевые макрохарактеристики среды, в которых эти механизмы воплощаются в конкретных социальных действиях.

Энергетика социального действия

Катектические механизмы культуры способны внести существенный вклад в решение фундаментальной проблемы социологии — понимания связи между куль-

турой и действием. Интуитивно кажется очевидным, что культура, ее смыслы и образцы энергично побуждают людей к действию и являются неотъемлемой частью самого этого действия. Но перейти от этой интуиции к описанию конкретных катектических структур и тому, как они формируют культурно-когнитивные драйверы действия, — весьма затруднительно без прогресса в понимании устройства самих катектических механизмов. Поэтому проблематика энергетика социального действия — это потенциально самая востребованная, но и наиболее проблематичная часть выстраиваемого здесь рассуждения. В данном подразделе я могу лишь указать на отдельные образцы современных исследований, которые могут вести в нужном направлении.

Наиболее принципиальным, хотя и слегка прямолинейным образом к решению этой проблемы в своих последних исследованиях обращается Рэндалл Коллинз. Если человеческое действие характеризуется связанной с культурой энергетикой и ее можно описать, то одним из первых вопросов будет такой: нельзя ли с помощью этого объяснить, почему одни люди добиваются успеха, а другие нет? И если в этом, как и во всем другом, обнаруживаются паттерны неравенства — то есть механизмы передачи привилегии, как их можно объяснить? Недавнее обращение Коллинза к проблеме неравенства и его воспроизводства ищет ответы именно на эти вопросы. С помощью своего понятия эмоциональной энергии и особенностей ее производства и аллокации в социальных взаимодействиях, он стремится объяснить, почему привилегии в достоинстве и признании влекут за собой большие способности в карьерном и деловом продвижении (Collins, 2019). «В верхней части континуума высокая ЭЭ¹⁰ проявляется в уверенности в себе, инициативе и энтузиазме. В нижней его части индивиды депрессивны, замкнуты и пассивны. Это производит стратификацию, потому что индивиды с высокой ЭЭ склонны к успеху, тогда как индивиды с низкой ЭЭ склонны к провалу» (Collins, 2019: 45).

По сути, этот подход претендует на решение одной из ключевых проблем социологии неравенства: выявления микрооснований надежно установленных в многочисленных исследованиях макроэффектов неравенства, таких как “achievements/aspirations paradox” и «первичные эффекты неравенства» (Boudon, 1974; Jackson et al., 2007; Куракин, 2020) — более высокие образовательные достижения детей из привилегированных семей, вне зависимости от их понимания «правил игры». Но требуется существенное продвижение, чтобы распаковать «черный ящик» «эмоциональной энергии» и выйти к пониманию стоящих за ней конкретных культурно-когнитивных механизмов. Знаменитое исследование Аннетт Ларо, выявившее разнящиеся классовые паттерны воспитания (Lareau, 2011), может быть движением в верном направлении, особенно будучи дополненным базирующимися на когнитивных теориях трактовками в отношении того, как именно эти стили и практики формируют неодинаковые культурно-когнитивные паттерны (Abrutyn, Lizardo, 2020). Однако требуется продвинуться дальше и выяснить, ка-

10. Так Коллинз обозначает «эмоциональную энергию».

кие именно императивы действия и интуиции практической оценки вызывают к жизни эти различия в поведении и какие катектические механизмы управляют эмоциональной аттракцией этих императивов и интуиций.

Проблеме эмоциональной конституции императива действия в существенной степени посвящена новая книга итальянского исследователя Андреа Бригенти. Для ее решения он обращается к полузабытому и анклавному понятию «приказа» (command) — энергичной команде, которая часто сопровождает реализацию власти (Brighenti, 2023). Суть понятия приказа состоит в том, что осуществление власти отнюдь не исчерпывается наличием властных полномочий или других диспозиций, укорененных в ситуации действия. Требуется активное, энергетически насыщенное действие приказа, которое не является частью регламентов, правил, схем и регулиций.

Посвященную приказу главу своей книги он начинает с трагической иллюстрации. В 2015 году Сандра Бленд, молодая образованная афроамериканка, была остановлена полицией за незначительное нарушение правил дорожного движения. Разговор с полицейским привел к эскалации и аресту, а через три дня она была обнаружена повешенной в тюремной камере. В записи общения Сандры с полицейским Бригенти особо выделяет стремительный рост эмоциональной интенсивности повторяющегося приказа (покинуть машину): «Отдаваемые полицейским приказы звучат как стандартные и повторяющиеся, но в них вкладывается быстро возрастающий объем энергии, видимым образом вводя не только жертву, но и самого обидчика, в страшное напряжение. Вербальный “приказ” оказывается оружием не менее летальным, чем электрошокер, который офицер сжимает в руках, — так что в конечном итоге отдаваемые им команды стоит рассматривать как сыгравшие ключевую роль в смерти мисс Бленд» (Brighenti, 2023: 18).

Уже этот пример показывает ошибочность почти полного игнорирования приказа в социальных науках¹¹. Как констатирует Бригенти, приказ рассматривается как в лучшем случае анклавное понятие, а в целом он «укрощен» идеей регламента: вся его действенность считается функцией установленных процедур, в которых ясно предписано, кто, кому и при каких обстоятельствах должен отдавать те или иные приказы¹².

Бригенти справедливо усматривает причины такого игнорирования и в теории права, где к концу XX века в целом восторжествовала позиция, что право — чистая сфера смысла, которая сама по себе не включает в себя принуждения к действию. И в социальной теории, где, начиная как минимум с постструктуралистов, утвердилось имманентистское видение власти: «дискурс» Фуко, код Бодрийера,

11. Здесь напрашивается справедливый контраргумент, связанный с теорией речевых актов Дж. Остина и ее развитием в аналитической философии, в первую очередь связанной с работами Дж. Серля. Не вдаваясь в детали, я лишь отмечу, что для Бригенти в данном случае важна внеположенность приказа существующим правилам и регламентам, тогда как перформативность илокутивного акта встроена в существующую систему установлений и репрезентаций.

12. Здесь очевидна переключка с понятием чрезвычайного положения, и Бригенти действительно производит в главе, посвященной команде, обширный и пронизательный экскурс в теорию права.

символическое насилие Бурдые, аутопойэсис Лумана и связанные с ними традиции инкорпорировали власть внутрь сложных дискурсивно-кибернетических структур¹³. И в политической теории, например, в идее либерализма как «правления без команд», то есть таком социальном устройстве, которое вбирает социальный контроль внутрь здравого смысла и систем означения и потому как бы воспроизводится напрямую через «свободу» (Brighenti, 2023:19–25).

Действительно, в этом отношении существенная часть современной социальной теории оказывается царством кафкианского сюжета, где власть, судьба и страдание каким-то дьявольским трюком запрятаны в бесстрастные и часто даже невидимые бюрократически-кибернетические схемы, из которых мы, в силу их загадочного устройства, неспособны выбраться. Вы можете этого не знать, но если ваше имя «включили в приказ» или если оно «попало в списки», ваша жизнь может радикально измениться. В этой машинерии не просматривается никакого экзистенциального напряжения: чтобы имя попало в списки или в приказ, часто не требуется чьей-то активной злой (или доброй) воли — так происходит просто в силу вещей или как воплощение аппаратной функции культурной или институциональной системы.

В логике моего исследования ключевую причину такого игнорирования эмоциональной интенсивности и энергетики социального действия следует усматривать также в скрытом доминировании вычислительной теории познания и связанном с ним «кибернетизированном» видении культуры. «Приказ выглядит плоско, неинтересно с когнитивной точки зрения», — подчеркивает Бригенти (Brighenti, 2023: 18).

Чтобы исправить это положение, Бригенти делает несколько важных шагов. Во-первых, он вводит в качестве ключевых характеристик социальной жизни дополняющие друг друга понятия: фармакология, катексис¹⁴ и сингулярность. Фармакология — это свойство критической зависимости эффекта воздействия от «дозировки» — его количества или интенсивности: то, что в одной дозировке лекарство, в другой — смертельный яд (см. второе свойство катексиса). Катексис Бригенти определяет существенно иначе, чем я: следуя сложному ходу мысли Элиаса Канетти, которому и посвящена книга, и в противоположность фрейдистской трактовке, он преимущественно опирается на понятие «катехон». «Катектическая конфигурация» — это связанность противоположностей (как при сдерживании Антихриста катехоном — отношении, по мысли Бригенти, существенно определяющим обе стороны противостояния), которое производит «сингуляр-

13. Речь идет о центральной тенденции. В каждом случае можно указать на аргументы, выпадающие из этой формулировки, которые могут выводить на обширные дискуссии, невозможные в рамках этой статьи. Например, рассуждая о связи власти и насилия, Никлас Луман ввел понятие симбиотических механизмов.

14. То, что и он, и я одновременно обратились к этому малоупотребительному в социологии понятию, немало удивило нас обоих.

ности» — образцы мышления и идей, которые не встраиваются ни в одну систему или теодицею¹⁵ (Brighenti, 2023: 15).

Во-вторых, подобно тому как Андреас Реквитц усматривает в своей трактовке «сингулярности» (Reckwitz, 2020), а Хартмут Роза — в напряжении между идеей контроля и невозможностью его достижения (Rosa, 2020) главное свойство эпохи, Бригенти подчеркивает, что современность — эпоха подчинения, и поэтому крайне важно дополнить ее понимание «приказом», чья значимость существенно превосходит логику приказа, то есть логику императивов и обязательств (Brighenti, 2023: 24). В-третьих, отсюда прямо следует, что приказ и послушание состоят в динамическом отношении напряжения, которое и должно стать предметом пристального внимания.

И, наконец, в-четвертых, вполне в духе теорий распределенного познания и внимания к проблеме эмоциональной интенсивности, весь этот ход мысли приводит Бригенти к идее «овнутрения приказа», которую он реконструирует в текстах Канетти. Если рассматривать приказ как доязыковой феномен, его парадигмой становится команда хищника, обращенная к жертве, несущая смертный приговор и требующая прекращения сопротивления (ср. с рассуждениями Коллинза, о которых я писал в первой части статьи). Согласно Канетти, каждый приказ может быть аналитически разъят на импульс (который каждый раз приводится в действие в момент осуществления приказа) и «шип» (*Stachel*) — накопленный опыт исполнения команд — «острие», чей укол может быть и не слишком болезненным, но которое в результате опыта употребления позволяет овнутрить боль и дискомфорт и превратить их в инкорпорированный императив подчинения¹⁶. Рассуждения Бригенти подталкивают к преодолению «плоской» перспективы культуры и добавлению в нее энергии социального действия и эмоциональной интенсивности. Обращение к феномену приказа позволяет прояснить недоопределенные в социальной теории пространства «между субъективным и объективным» и «между страстью и институцией» (Brighenti, 2023: 13).

Вероятно, идея напряжения между императивом и реализацией, приказом и подчинением, предпосылками действия и самим действием, контролем и его противоположностью — играет ключевую роль в преодолении кибернетического видения культуры и познания. Кибернетическая схема принципиально устраняет неопределенность, поэтому, чтобы преодолеть ее доминирование, требуется вернуть субстанцию, связанную с напряжением. Именно в таком качестве выступают эмоции, если их не редуцировать к особой форме культурных смыслов.

15. Здесь также прослеживается связь с понятием эмерджентности — обсуждаемые здесь понятия обнаруживают принадлежность к весьма сходным паттернам аргумента.

16. Отечественный читатель может быть знаком с этим аргументом через идею мыслительной «мозоли» из романа Виктора Пелевина «Generation “П”». А. Ф. Филиппов подробно разбирает понятие шипа (или «жала», следуя переводу Л. Г. Ионина) — в его связи с приказом и в продуктивном сопоставлении Канетти с Дюркгеймом — еще одним несостоявшемся диалоге, открывающем большие теоретические горизонты (Филиппов, 2007: 32–35).

Хартмут Роза развивает похожую идею, доопределяя желание в контексте теории резонанса как, во-первых, не вполне контролируемое само по себе, а во-вторых, фундаментально нацеленное на неподконтрольные ему объекты. Суть напряжения в том и состоит, что его крайности оказываются либо бессодержательными, либо опасными. Желание, как и резонанс, должно иметь некоторое влияние (или возможность влияния) на свой объект, но если влияние превратится в контроль — резонанс превратится в доминирование, а желание (определенное как стремление обладать тем, что пока еще не находится в нашем доступе) исчезнет, настаивает Роза (Rosa, 2020: 8–9). Перспектива приближения к полюсу контроля, подчеркивает он, уже позволила некоторым наблюдателям утверждать о приближающейся или даже уже начинающейся «постэмоциональной» и «постсексуальной» эпохе (Rosa, 2020: 107–108). Приближение же к полюсу неподконтрольности уже стало фрустрацией нового «монструозного» мира, где усилия не гарантируют результата в любой значимой сфере, от образования до компьютерных вирусов, и капитуляции перед искусственным интеллектом, отбирающим у нас наши секреты и доступ к нашим вещам (Rosa, 2020: 110–116).

Заключение

Даже краткий и по необходимости неполный экскурс в развивающиеся в последние годы социальные теории, чувствительные к энергетике культуры и действия, позволяет усмотреть проявление *Zeitgeist*, побудившего исследователей вводить в оборот семейство связанных друг с другом понятий. Это и тесно связанный с «эмерджентностью» «резонанс» (Роза и Макдоннелл, Бейл и Тэвори), и «сингулярность» (Реквитц и Бригенти), и «катексис» (Бригенти и Куракин). То, что авторы вводят их в слегка различающихся, но тесно перекликающихся смыслах, то, что эти понятия неразрывно связаны друг с другом, а также то, что даже в наше гиперкоммуникативное время общедоступных баз данных научного цитирования, продвинутых алгоритмов поиска и автоматических уведомлений исследователи часто приходят к ним независимо друг от друга, не зная о параллельно ведущихся работах, только усиливает предположение об их фундаментальной значимости.

Встретившая недоверие многих традиционно мыслящих социологов перспектива «когнитивного поворота» заново ставит перед социальной теорией вопросы, которые та счастливо игнорировала на протяжении многих десятилетий. «Традиционный когнитивизм», десятками лет опиравшийся на вычислительные модели познания и оказавший мощное и по большей части скрытое влияние на другие области знания, и, в частности, на социологию, оказался проблематизирован, если не окончательно отторгнут в своем родном домене. Возникающие на его месте аргументы и модели, такие как «4E-подходы» (Menary, 2018; Newen, De Bruin, Gallagher, 2018; Newen, Gallagher, De Bruin, 2018), даже если они не сложились еще в новую столь же грандиозную конструкцию, поддержанную подавляющим консенсусом, обнаруживают семейные сходства и позволяют двигаться дальше.

Одно из ключевых направлений на этом пути — пересмотр роли эмоций в культуре и их интеграция в культуру в качестве ее неотъемлемого измерения. Этот пересмотр подразумевает отказ от явно или скрыто доминирующей в социологии модели эмоций как «топлива» культурных процессов, которое лишь усиливает их социальные эффекты, но не участвует в производстве культурных смыслов. Это контринтуитивное видение. («Эмоциональную динамику смысловой жизни, в конечном счете приводимую к жизни в нашем мозгу и с участием вырабатываемых нашим телом гормонов нужно делегировать какой-то эфемерной культуре?!») Оно опирается на эмерджентистское видение культуры — по-видимому, единственное последовательное эпистемологическое решение, вполне совместимое с концепциями распределенного познания (Kurakin, 2020).

Именно этот путь я постарался наметить в данном исследовании, реинтерпретировав понятие катексиса, проследив его историю и связав с важнейшими событиями, произошедшими в последние десятилетия в поведенческих науках и философии познания. Введенное таким образом понятие катектических механизмов культуры отнюдь не призывает к построению теории с чистого листа. Вместо этого предложенная здесь оптика позволяет распознать важнейшие теории и модели в предыдущих исследованиях, а также наметить стратегию уточнения и переработки некоторых теорий и подходов, которые благодаря этому могут существенно усилить свой потенциал.

Вместо привычных семиотических схем значений и связей между ними, которые нужно реконструировать и классифицировать, подобно шифровальщикам и операторам коммутации на АТС, перед нами простирается неоднородный ландшафт энергизированных смысловых структур, чьи свойства определяются в социальных взаимодействиях, приведших их к жизни, и которые не могли бы возникнуть в отсутствие эмоций как ингредиента и базового свойства. Грамматика культуры и ее логика — это живые и эмоционально заряженные отношения, к пониманию которых социологи стремились еще с эпохи классиков и к которому мы сегодня можем еще немного приблизиться.

Литература

- Александр Дж.* (2013). О социальном конструировании нравственных универсалий: 'Холокост'. От военных преступлений до драмы травмы // Смыслы социальной жизни: культуросоциология / Пер. с англ. Г. К. Ольховикова под ред. Д. Ю. Куракина. Москва: Праксис. С. 95–254
- Бахтин М. М.* (1965). Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Москва.
- Болтански Л.* (2019). Тайны и Заговоры: По следам расследований / Пер. с фр. А. Захаревича, под ред. О. Хархордина. СПб: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге.
- ван Геннеп А.* (1999). Ритуалы перехода. Москва.

- Ветлесен А. Ю.* (2010). *Философия боли* / Пер. с норвежского Е. Воробьёвой. М: Прогресс-Традиция.
- Витгенштейн Л.* (1994). *Философские исследования* // *Философские работы* / Составл., вступ. статья, прим. М. С. Козловой. Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асева. М: «Гнозис». С. 75–320.
- Гайденок П. П.* (2013). *Проблема времени у Исаака Ньютона* // *Метафизика*. Т. 7. № 5. С. 8–20.
- Гофман И.* (2001). *Первичные системы фреймов* / Пер. с англ. О. А. Оберемко, Е. Г. Авджян // *Социологический журнал*. № 1.
- Дуглас М.* (2000). *Чистота и Опасность* / Пер. с англ. Р. Громовой, под ред. С. Баньковской, вступ. статья и коммент. С. Баньковской. М: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле».
- Дюркгейм Э.* (2018). *Элементарные формы религиозной жизни* / Пер. с фр. В. Земсковой под ред. Д. Куракина; Вступ. ст. Д. Куракина. М.: *Элементарные формы*.
- Дюркгейм Э., Мосс М.* (1996). *О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений* // *Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии*. М.: *Восточная литература*. С. 6–73.
- Жиран Р.* (2000). *Насилие и священное* / Пер. с фр. Г. Дашевского. М.: *Новое литературное обозрение*.
- Куракин Д.* (2011а). *Модели тела в современном популярном и экспертном дискурсе: к культуросоциологической перспективе анализа* // *Социологическое обозрение*. Т. 10. № 1–2. С. 56–74.
- Куракин Д.* (2011б). *Ускользящее сакральное: проблема амбивалентности сакрального и ее значение для «сильной программы» культуросоциологии* // *Социологическое обозрение*. Т. 10. № 3. С. 41–70.
- Куракин Д.* (2018). *Предисловие к русскому переводу “Элементарных форм религиозной жизни”* // *Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии* / Пер. с фр. В. Земсковой; науч. ред. Д. Куракина. М.: *Элементарные формы*. С. 15–48.
- Куракин Д.* (2020). *Трагедия неравенства: расчеловечивая «тотального человека»* // *Социологическое обозрение*. Т. 19. № 3. С. 167–231.
- Куракин Д.* (2023). *Катектические механизмы культуры. Часть 1* // *Социологическое обозрение*. Т. 22. № 3. С. 9–52.
- Рикёр П.* (1990). *Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение* // *Теория метафоры* / Под ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журиной. М.: *Прогресс*.
- Смит Ф.* (2008). *Рассуждения о гильотине: карательная техника как миф и символ* / Пер. с англ. И. Тартаковской, под ред. Д. Куракина // *Социологическое обозрение*. Т. 7. № 2. С. 3–23.
- Тэрнер В.* (1983). *Символ и ритуал* / Сост., вступ. статья и пер. с англ. В. А. Бейлиса. М.: *Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»*.

- Уинч П. (1996). Идея социальной науки и ее отношение к философии / Пер. с англ. М. Горбачева и Т. Дмитриева. М.: Русское феноменологическое общество.
- Филиппов А. Ф. (2007). Пространство власти и конструкция массы: Канетти и политическая социология // Вопросы философии. № 3. С. 30–37.
- Шарииков Д. Д. (2019). Новая социология культуры: от «ящичков с инструментами» к когнитивным процессам // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 22. № 3. С. 179–210.
- Abrutyn S. (2023). Toward a Sociological Theory of Social Pain // Journal for the Theory of Social Behaviour. P. 1–21.
- Abrutyn S., Lizardo O. (2020). Grief, Care, and Play: Theorizing the Affective Roots of the Social Self // Advances in Group Processes, Vol. 37, OSF Preprints / eds. by S. R. Thye, E. J. Lawler. Bingley: Emerald Publishing Limited. P. 79–108.
- Ahmed S. (2004). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Almeling R. (2011). Sex Cells: The Medical Market for Eggs and Sperm. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Boudon R. (1974). Education, Opportunity, and Social Inequality. New York: Wiley.
- Brighenti A. M. (2023). Elias Canetti and Social Theory. London, New York, Dublin: Bloomsbury Academic.
- Brooks A. (2004). 'Under the Knife and Proud of It.' An Analysis of the Normalization of Cosmetic Surgery // Critical Sociology. Vol. 30. P. 207–239.
- Caillois R. (1984). The Mystery Novel / Transl. by R. Yahni, A. W. Sadler. Bronxville, New York: The Laughing Buddha Press.
- Clayton P. (2006). Conceptual Foundations of Emergence Theory // The Re-Emergence of Emergence. The Emergentist Hypothesis from Science to Religion / Ed. by P. Clayton and P. Davies. Oxford New York: Oxford University Press. P. 1–30.
- Collins R. (2008). Violence. A Micro-Sociological Theory. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Collins R. (2019). Emotional Micro Bases of Social Inequality: Emotional Energy, Emotional Domination and Charismatic Solidarity // Emotions and Society. Vol. 1. № 1. P. 45–50.
- Giddens A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
- Guhin J. (2016). Why Worry about Evolution?: Boundaries, Practices, and Moral Salience in Sunni Muslim and Conservative Protestant High Schools // Sociological Theory. Vol. 34. № 2. P. 151–174.
- Illouz E. (2008). Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help. Berkeley: University of California Press.
- Illouz E. (2012). Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Polity Press.
- Jackson M., Erikson R., Goldthorpe J. H., Yaish M. (2007). Primary and Secondary Effects in Class Differentials in Educational Attainment: The Transition to A-Level Courses in England and Wales // Acta Sociologica. Vol. 50. № 3. P. 211–229.

- Kurakin D.* (2014). How Root Metaphors Structure Meaningful Life by Means of Emotions: Theory and Empirical Illustration from the Sphere of Academic Ethics. New Haven.
- Kurakin D.* (2015). Reassembling the Ambiguity of the Sacred: A Neglected Inconsistency in Readings of Durkheim // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 15. № 4. P. 377–395.
- Kurakin D.* (2019a). The Cultural Mechanics of Mystery: Structures of Emotional Attraction in Competing Interpretations of the Dyatlov Pass Tragedy // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 7. P. 101–127.
- Kurakin D.* (2019b). The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture // *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* / Ed. by W. H. Brekhus and G. Ignatow. New York: Oxford University Press. P. 485–506.
- Kurakin D.* (2020). Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. № 1. P. 63–89.
- Kurakin D.* (2024). Cathectic Mechanisms of Cosmetic Surgery: Operation and Recovery as a Ritual-like Process (Manuscript).
- Lareau A.* (2011). *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*. 2nd Editio. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Lévi-Strauss C.* (1990). *The Raw and the Cooked. Mythologiques*. Vol. 1 / Trans. from the French by John and Doreen Weightman. Chicago: The University of Chicago Press.
- McCaffree K., LeRon Shults F.* (2022). Distributive Eferescence: Emotional Energy and Social Cohesion in Secularizing Societies // *Theory and Society*. Vol. 51. P. 233–268.
- McDonnell T., Bail Ch. A., Tavory I.* (2017). A Theory of Resonance // *Sociological Theory*. Vol. 35. № 1. P. 1–14.
- Menary R.* (2018). Cognitive Integration: How Culture Transforms Us and Extends Our Cognitive Capabilities // *The Oxford Handbook of 4E Cognition* / Ed. by A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher. Oxford: Oxford University Press. P. 187–216.
- Newen A., De Bruin L., Gallagher Sh.* (eds.). (2018). *The Oxford Handbook of 4E Cognition*. Oxford: Oxford University Press.
- Newen A., Gallagher Sh., De Bruin L.* (2018). 4E Cognition: Historical Roots, Key Concepts, and Central Issues // *The Oxford Handbook of 4E Cognition* / Ed. by A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher. Oxford: Oxford University Press. P. 3–16.
- Nussbaum M. C.* (2001). *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum M. C.* (2013). *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Paksi D.* (2014). The Concept of Boundary Conditions // *Polanyiana*. Vol. 23. № 1–2. P. 5–20.
- Polanyi M.* (1968). Life's Irreducible Structure // *Science, New Series*. Vol. 160. № 3834. P. 1308–1312.
- Poling J.* (2023). Gendered Embodiment and Bodily Change: How Mastectomy and Pregnancy Bloggers Perceive and Resolve Physical Disruptions // *American Journal of*

- Cultural Sociology. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41290-023-00197-2#citeas>
- Reckwitz A.* (2020). *The Society of Singularities*. Medford, Mass: Polity Press.
- Ricoeur P.* (1978). The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling // *Critical Inquiry*. Vol. 5. № 1. P. 143 — 159.
- Rosa H.* (2020). *The Uncontrollability of the World* / Tr. by James C. Wagner. Cambirdge: Polity Press.
- Rosenwein B. H.* (2012). *Theories of Change in the History of Emotions* // *A History of Emotions, 1200-1800* / Ed. by J. Liliequist. London: Pickering and Chatto. P. 7–20.
- Schutz A.* (1976). *Making Music Together: A Study in Social Relationship* // *Collected Papers*, Vol. 2. *Studies in Social Theory* / Ed. by Arvid Brodersen. The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff. P. 159–178.
- Shaw L.* (2021). On Rupture: Establishing the Cognitive Bases of Social Change // *Sociological Forum*. Vol. 36. № 51. P. 1229–1252.
- Simmel G.* (1906). *The Sociology of Secrecy and of the Secret Societies* // *American Journal of Sociology*. Vol. 11. № 4. P. 441–498.
- Smith Ph., Stoll F.* (2021). A Maximal Understanding of Sacrifice: Bataille, Richard Wagner, Pilgrimage and the Bayreuth Festival // *Religions*. Vol. 12. № 1. P. 53–67.
- Solomon R. C.* (1998). *The Politics of Emotion* // *Midwest Studies in Philosophy*. №22. P. 1–20.
- Taussig M.* (2012). *Beauty and the Beast*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Turner V.* (1967). *The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Turner V.* (1975). *Metaphors of Anti-Structure in Religious Culture* // *Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society*. Ithaca and London: Cornell University Press. P. 272–299.

Cathectic Mechanisms of Culture

Part 2

Dmitry Kurakin

PhD, Lead Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology; Professor, the Department of Educational Programmes at the Institute of Education, HSE University. Visiting Professor of Sociology at Yale University. Address: 204 Prospect St., room 2004, New Haven, CT, USA, 06511
E-mail: dmitry.kurakin@yale.edu

The article introduces a new research program that focuses on the constitutive role of emotions, affect, and their intensity in meaning-making. It opposes the existing broad tradition that effectively posits culture as information, sees cultural processes as coding, transferring, and processing information, and treats emotions as a 'fuel' feeding these processes in social life. I build this program around the re-interpretation of the concept of 'cathexis,' defined as a basic feature of meaning-making that consists in attaching emotions produced in social interactions to various kinds of objects of that meaning-making: things, ideas, representations, symbols, bodies, and their

parts; spatial (e.g., pieces of land) and temporal (e.g., events) phenomena. Drawing on the analysis presented in the first part of this article, in this part, I introduce two basic modes of cathetic mechanisms of culture (piety and transgression) and outline five general features of cathexis (persistence, the pharmacy principle, boundary-making, situational spontaneity, and emergence). Based on this program, I review existing research dealing with the emotional dimension of culture. I organize this material into three sub-sections: perception, identity and social change, and 'energetics' of social action. I show that using the theory of cathexis as a common denominator empowers existing approaches, puts them on the same board, and moves us to a better understanding of the emotional dimension of culture.

Keywords: cathexis, emotions, affect, the sacred, cultural sociology, sociology of culture and cognition, cognitive processes

References

- Abrutyn S. (2023) Toward a Sociological Theory of Social Pain. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, pp. 1–21.
- Abrutyn S., Lizardo O. (2020) Grief, Care, and Play: Theorizing the Affective Roots of the Social Self. *Advances in Group Processes, Vol. 37, OSF Preprints* (ed. by S.R. Thye and E.J. Lawler), Bingley: Emerald Publishing Limited, pp. 79–108.
- Ahmed S. (2004) *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Alexander J. (2013) O Sotsial'nom konstruirovanii nraivstvennykh universalii: 'Kholokost' ot voyennykh prestuplenii do dramy travmy. *Smysly sotsial'noy zhizni: kul'tursotsiologiya* [On the Social Construction of Moral Universals: 'The Holocaust' From War Crimes to the Drama of Trauma. Meanings of social life: cultural sociology] (Transl. G. K. Olkhovikov, ed. D.Yu. Kurakin), Moscow: Praxis, pp. 95–254. (In Russian)
- Almeling R. (2011) *Sex Cells: The Medical Market for Eggs and Sperm*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Bakhtin M. M. (1965) *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Renessansa* [The Work of Francois Rabelais and Folk Culture of the Middle Ages and the Renaissance], Moscow. (In Russian)
- Boltanski L. (2019) *Tayny i Zagovory: P. Sledam Rassledovaniy* [Secrets and Conspiracies: In the Footsteps of Investigations] (Transl. Fr. A. Zakharevich, Ed. O. Kharkhordin), St. Petersburg: European University Publishing House in St. Petersburg. (In Russian)
- Boudon R. (1974) *Education, Opportunity, and Social Inequality*, New York: Wiley.
- Brighenti A. M. (2023) *Elias Canetti and Social Theory*, London, New York, Dublin: Bloomsbury Academic.
- Brooks A. (2004) 'Under the Knife and Proud of It.' An Analysis of the Normalization of Cosmetic Surgery. *Critical Sociology*, vol. 30, pp. 207–239.
- Caillois R. (1984) *The Mystery Novel* (Translated by R. Yahni and A. W. Sadler), Bronxville, New York: The Laughing Buddha Press.
- Clayton Ph. (2006) Conceptual Foundations of Emergence Theory. *The Re-Emergence of Emergence. The Emergentist Hypothesis from Science to Religion* (ed. by P. Clayton and P. Davies), Oxford New York: Oxford University Press, pp. 1–30.

- Collins R. (2008) *Violence. A Micro-Sociological Theory*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Collins R. (2019) Emotional Micro Bases of Social Inequality: Emotional Energy, Emotional Domination and Charismatic Solidarity. *Emotions and Society*, vol. 1, no 1, pp. 45–50.
- Douglas M. (2000) *Chistota i opasnost' [Purity and Danger]* (Trans. from english R. Gromova, ed. S. Bankovskaya, entry article and comment. S. Bankovskaya), Moscow: "KANON-press-C", "Kuchkovo Pole". (In Russian)
- Durkheim E. (2018) *Jelementarnye formy religioznoj zhizni* [Elementary Forms of Religion Life]. Tr. by V. Zemskovoj (ed.D. Kurakina), Moscow: Jelementarnye formy
- Durkheim E., Moss M. (1996) O Nekotorykh pervobytnykh formakh klassifikatsii. K issledovaniyu kollektivnykh predstavleniy [On Some Primitive Forms of Classification. Toward the Study of Collective Representations] *Obshchestva. Obmen. Lichnost'. Trudy po sotsial'noy antropologii* [Society. Exchange. Personality. Transactions on social anthropology], Moscow: Oriental Literature, pp. 6–73/ (In Russian)
- Filippov A. F. (2007) Prostranstvo vlasti i konstruktsiya massy: Kanetti i politicheskaya sotsiologiya [The space of power and the construction of the masses: Canetti and political sociology]. *Voprosy Filosofii*, no 3, pp. 30–37. (In Russian)
- Gaidenko P.P. (2013) Problema Vremeni u Isaaka N'yutona [Isaac Newton's Problem of Time]. *Metaphysics*, vol. 7, no 5, pp. 8–20/ (In Russian)
- Giddens A. (1991) *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*, Cambridge: Polity Press.
- Girard R. (2000) *Nasiliye i svyashchennoye [Violence and the Sacred]* (Trans. from fr. G. Dashevsky), Moscow: New Literary Review. (In Russian)
- Goffman E. (2001) *Pervichnyye Sistemy Freymov [Primary Frame Systems]* (Trans. from english O. A. Oberemko, E. G. Avjyan. *Sociological Journal*, no 1, pp. 122-137/ (In Russian)
- Guhin J. (2016) Why Worry about Evolution?: Boundaries, Practices, and Moral Salience in Sunni Muslim and Conservative Protestant High Schools. *Sociological Theory*, vol. 34, no 2, pp. 151–174.
- Illouz E. (2008) *Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help*, Berkeley: University of California Press.
- Illouz E. (2012) *Why Love Hurts: A Sociological Explanation*, Polity Press.
- Jackson M., Erikson R., Goldthorpe J. H., Yaish M. (2007) Primary and Secondary Effects in Class Differentials in Educational Attainment: The Transition to A-Level Courses in England and Wales. *Acta Sociologica*, vol. 50, no 3, pp.211–229.
- Kurakin D. (2011a) Modeli tela v sovremennom populyarnom i ekspertnom diskurse: K kul'tursotsiologicheskoy perspektive analiza [Models of the Body in Contemporary Popular and Expert Discourse: Toward a Cultural Sociological Perspective of Analysis]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 1-2, pp. 56-74. (In Russian)
- Kurakin D. (2011b) Uskol'zayushcheye sakral'noye: problema ambivalentnosti sakral'nogo i yeye znachenije dlya «sil'noy programmy» kul'tursotsiologii [Eluding sacred: am-

- biguity of the sacred and its importance for the «strong program» in cultural sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 41-70. (In Russian)
- Kurakin D. (2014) *How Root Metaphors Structure Meaningful Life by Means of Emotions: Theory and Empirical Illustration from the Sphere of Academic Ethics*, New Haven.
- Kurakin D. (2015) Reassembling the Ambiguity of the Sacred: A Neglected Inconsistency in Readings of Durkheim. *Journal of Classical Sociology*, vol. 15, no 4, pp. 377-395.
- Kurakin D. (2018) Predislovie k russkomu perevodu “Jelementarnyh form religioznoj zhizni” [Editor’s Introduction to «Elementary Forms to Religious Life»], Durkheim E., *Jelementarnye formy religioznoj zhizni: totemicheskaja sistema v Avstralii* [Elementary Forms to Religious Life: The Totemic System in Australia]. Tr. by V. Zemskova, ed. D. Kurakin, Moscow: Jelementarnye formy, pp. 15 -48. (In Russian)
- Kurakin D. (2019a) The Cultural Mechanics of Mystery: Structures of Emotional Attraction in Competing Interpretations of the Dyatlov Pass Tragedy. *American Journal of Cultural Sociology*, no 7, pp. 101-127.
- Kurakin D. (2019b) The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture. *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (ed. by W.H. Brekhus and G. Ignatow), New York: Oxford University Press, pp. 485-506.
- Kurakin D. (2020) Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 63-89.
- Kurakin D. (2020) Tragediya neravenstva: raschelovechivaya «total’nogo cheloveka» [Tragedy of Inequality: Dehumanizing “L’Homme Total”]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 167-231. (In Russian)
- Kurakin D. (2024) *Cathectic Mechanisms of Cosmetic Surgery: Operation and Recovery as a Ritual-like Process* (Manuscript).
- Kurakin D. (2023) Katekticheskiye mekhanizmy kul’tury. Chast’ 1 [Cathectic Mechanisms of Culture. Part 1]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 3, pp. 9-52. (In Russian)
- Lareau A. (2011) *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*. 2nd Editio, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Lévi-Strauss C. (1990) *The Raw and the Cooked. Mythologiques*, Vol. 1 (Tr. from the French by John and Doreen Weightman), Chicago: The University of Chicago Press.
- McCaffree K., LeRon Shults F. (2022) Distributive Efervescence: Emotional Energy and Social Cohesion in Secularizing Societies. *Theory and Society*, vol. 51, pp. 233-268.
- McDonnell T., Bail Ch. A., Tavory I. (2017) A Theory of Resonance. *Sociological Theory*, vol. 35, no 1, pp. 1-14.
- Menary R. (2018) Cognitive Integration: How Culture Transforms Us and Extends Our Cognitive Capabilities. *The Oxford Handbook of 4E Cognition* (ed. by A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher), Oxford: Oxford University Press, pp. 187-216.
- Newen A., De Bruin L., Gallagher Sh. (eds.). (2018) *The Oxford Handbook of 4E Cognition*, Oxford: Oxford University Press.

- Newen A., Gallagher Sh., De Bruin L. (2018) 4E Cognition: Historical Roots, Key Concepts, and Central Issues. *The Oxford Handbook of 4E Cognition* (ed. by A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher), Oxford: Oxford University Press, pp. 3–16.
- Nussbaum M. C. (2001) *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum M. C. (2013) *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Paksi D. (2014) The Concept of Boundary Conditions. *Polanyiana*, vol. 23, no 1–2, pp. 5–20.
- Polanyi M. (1968) Life's Irreducible Structure. *Science, New Series*, vol. 160, no 3834, pp. 1308–1312.
- Poling J. (2023) Gendered Embodiment and Bodily Change: How Mastectomy and Pregnancy Bloggers Perceive and Resolve Physical Disruptions. *American Journal of Cultural Sociology*. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41290-023-00197-2#citeas>
- Reckwitz A. (2020) *The Society of Singularities*, Medford, Mass: Polity Press.
- Ricoeur P. (1978) The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling. *Critical Inquiry*, vol. 5, no 1, pp. 143 — 159.
- Ricoeur P. (1990) Metaforicheskiy protsess kak poznaniye, vobrazheniye i oshchuscheniye [Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Sensation] *Teoriya metafory* [Theory of metaphor] (ed. by N. D. Arutyunova and M. A. Zhurinskaya), Moscow: Progress. (In Russian)
- Rosa H. (2020) *The Uncontrollability of the World* (Transl. by James C. Wagner), Cambridge: Polity Press.
- Rosenwein B. H. (2012) Theories of Change in the History of Emotions. *A History of Emotions, 1200-1800* (ed. by J. Lilliequist), London: Pickering and Chatto, pp. 7–20.
- Schutz A. (1976) Making Music Together: A Study in Social Relationship. *Collected Papers, Vol. 2. Studies in Social Theory* (ed. by Arvid Brodersen), The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff, pp. 159–78.
- Sharikov D. D. (2019) Novaya sociologiya kul'tury: ot «jashhikov s instrumentami» k kognitivnym processam [New sociology of culture: from “toolboxes” to cognitive processes]. *The Journal of Sociology and Social Antropology*, vol. 22, no 3, pp. 179 –210. (In Russian)
- Shaw L. (2021) On Rupture: Establishing the Cognitive Bases of Social Change. *Sociological Forum*, vol. 36, no S1, pp.1229–1252.
- Simmel G. (1906) The Sociology of Secrecy and of the Secret Societies. *American Journal of Sociology*, vol. 11, no 4, pp. 441–498.
- Smith Ph. (2008) Rassuzhdeniya o gil'otine: karatel'naya tekhnika kak mif i simbol [Narrating the guillotine: punishment technology and symbol] (Transl. by: Irina Tartakovskaya ; Translation ed. by: Dmitry Kurakin). *Russian Sociological Review*, vol. 7, no 2, pp. 3-23. (In Russian)
- Smith Ph., Stoll F. (2021) A Maximal Understanding of Sacrifice: Bataille, Richard Wagner, Pilgrimage and the Bayreuth Festival. *Religions*, vol. 12, no 1, pp. 53–67.

- Solomon R. C. (1998) The Politics of Emotion. *Midwest Studies in Philosophy*, no 22, pp. 1–20.
- Taussig M. (2012) *Beauty and the Beast*, Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Turner V. (1967) *The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- Turner V. (1975) Metaphors of Anti-Structure in Religious Culture. *Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society*, Ithaca and London: Cornell University Press, pp. 272–299.
- Turner V. (1983) *Simvol i Ritual [Symbol and Ritual]*. (Comp., intro. article and translation from english V. A. Baileys), Moscow: Main editorial office of oriental literature of the Nauka publishing house. (In Russian)
- van Gennep A. (1999) *Ritually Perekhoda [Rituals of Passage]*, Moscow. (In Russian)
- Vetlesen A. J. (2010) *Filosofiya Boli [Philosophy of Pain] (Transl. from norwegian by E. Vorobyov)*, Moscow: Progress-Tradition. (In Russian)
- Winch P. (1996) *Ideya Sotsial'noy Nauki i Yeye Otnosheniye k Filosofii [The Idea of Social Science and Its Relation to Philosophy]* (Transl. from english M. Gorbachev and T. Dmitrieva), Moscow: Russian Phenomenological Society.
- Wittgenstein L. (1994) *Filosofskiye Issledovaniya [Philosophical Studies]. Filosofskiye raboty [Philosophical works]* (Compilation, intro. article, note M. S. Kozlova, transl. M. S. Kozlova and Yu. A. Aseev), Moscow: Gnosis Publishing House, pp. 75–320. (In Russian)

I that is We and We that is I: A Defense of Methodological Holism and the Primacy of Collective Agency*

Denis Maslov

PhD (Philosophy), Junior Research Fellow
Institute of Philosophy and Law
Siberian branch of Russian Academy of Sciences
Address: 8 Nikolaeva, Novosibirsk, 630090, Russian Federation
E-mail: denn.maslov@gmail.com

In a Hegelian spirit, this paper advances a methodological holism based on the ontological primacy of collective agency. The first section sketches the general problematic of methodological and ontological individualism and shows critical points. Two core components are discerned: an atom-like view of individuals as separate and independent from society and a mechanistic pattern of explanation that reduces institutions to interactions of singular individuals. In the second section, I argue in favor of methodological holism by showing that singular individuals are the product of the community in which they are raised. The section demonstrates methodological primacy of the whole through its 'normative' causality on individuals' existence, identity, attitudes and actions. Singular individuals and their actions are rendered possible within and through the whole, taken as a set of institutions and structures. The third part presents a short account of a general individual (We-agent) that is causally effective in a normative and rational way. General individuals have intentionality, mind, personality, interests, etc. of their own that manifest in actions, thoughts and attitudes of singular individuals. General individuals differ from singular individuals by the scope of their interests and goals. General individuals possess intrinsic rationality and normativity that shows a pattern of valid explanation in the manner of methodological holism.

Keywords: methodological individualism, ontological holism, methodological holism, institutional person, collective agency, Hegel.

Introduction

In light of the growing cultural, economic and political individualization, this paper challenges methodological and ontological individualism (MI/OI) using methodological and ontological holism (MH/OH). On the one hand, I argue that natural or singular individuals¹ are ontologically derived from and dependent on the whole of society or community viewed as a set of institutions, values, norms etc. On the other hand, institutions are

* This study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-78-10082.

1. Historically, questioning the correct naming of the single individual and collective plural subject has proved to be a profound inquiry. Hobbes, for instance, used the label *natural* and *artificial* man (Hobbes, 1839: ix-x). Today, terms like 'collective agent', 'group agent' and 'collective intentionality' are widely used. In this paper, I shall use the terms singular individual for a single human being and general individual for an institutional person or a collective agent taken as a unity. As I hope to show, an idea of a state of nature presupposing singular individuals that found assemblies, collectives, groups, and aggregates is untenable. While collective entities exist, they are comprised of grown-up separate individuals emergent from the whole.

not only structures but also possess intentionality and agency on their own; they are individuals of a particular sort and fundamental character, which I call general individuals.

I take several of Hegel's guiding ideas for unraveling holistic positions and placing an individual into the context of his social environment in ontological and methodological respects². Thus, Hegel's philosophy inspires the position I argue for, but it is not a reconstruction of his views. Taking his theses and notions as guiding lines, I tailor and place them into contemporary debates, providing arguments formulated in contemporary terms. In this way, a certain divergence from Hegel's position is inevitable. In doing so, I suggest the methodology of reinvigoration of ideas from the history of philosophy with a strong conviction that those ideas have undeniable relevance for contemporary debates. As M. Foucault reminds us, history is not a history of the past but of the present. Should Foucault be correct, then it is true about philosophy first and foremost. As one would expect, the confines of a paper do not permit us an exhaustive analysis of these claims. As such, the present exposition should be viewed as introductory, especially considering the need to expound upon these claims together.

I. Methodological and ontological individualism

The distinction between macro and micro-level events in social sciences seems natural. Macro-level facts pertain to "large-scale" or structural events like economic recession, peace treaties etc., or it refers to the institutions such as property, monetary systems, universities, marriage, banks and so on. Micro-level social facts pertain to "small-scale" events or actions of singular individuals: John married Amy, Peter was fired, a criminal robbed the store etc. The horns of the distinction represent patterns of explanations of MH and MI. Both positions have ontological versions claiming the ontological primacy of individuals (OI) or groups, communities, and society as a whole (OH). A micro-level event seems to be adequately explained by the invocation of attitudes, i.e., beliefs, reasons, actions, and decisions of singular individuals involved that are accounted for by psychology (desires, needs, feelings etc.). A macro-level event or action *prima facie* seems to be better explained by reference to general, structural or institutional entities or factors. A university aims to educate young adults, saturate the market with professionals, and satisfy employers' demands. The Treaty of Versailles was signed because the German Reich economy could not sustain the war expenses any longer and so on³.

These positions have been subject to ongoing debates on social explanation and ontology: the literature is already innumerable⁴. The longstanding and dominant tradition of MI aspires to reduce all social facts, including macro-level, to the most fundamental

2. The true is the whole (*das Wahre ist das Ganze*), the absolute is not only substance, but also the subject; I that is We, and We, that is I. See Hegel's *Phenomenology* (Hegel 2018: 20, 25, 177; here, I follow the pagination by paragraphs). See Knapp, 1986 for comparison and influence of Hegel upon the subsequent sociological thought, also (Bubner, 1995; Pippin, 2008; Stekeler, 2021, 2022).

3. See Jackson, Pettit, 1992b for an identification of several structural types of macro-level facts.

4. To name just a few: Danto, 1973; Currie, 1984; Tannsjo, 1990; Just, 2004.

entities: singular individuals, their attitudes and the resulting interactions⁵. All large-scale entities should be analyzed and boiled down to the actions and attitudes of singular agents for the sake of methodological economy, in order to achieve neat and simple yet elegant explanatory patterns (for more examples, see Haslanger, 2022: 512; Jackson, Pettit, 1992b: 97).

There are two crucial aspects to that picture. First, it is an atom-like view on singular individuals whose attitudes and actions can be explained either psychologically, based on preferences and habits, or as an expression of freedom and capacity for rational free choice with intricate norms of action and reasoning. (This rationality appears then to be thought of as innate or rooted solely in singular individuals' minds). Individuals are methodologically and ontologically taken to be self-subsistent and independent agents, fully formed and grown-up intrinsically rational persons who make decisions about goals and ways of attaining them. Each individual's action reflects the pursuit of their interests. This is usually economic in modern times, so they communicate and interact accordingly to achieve said economic goals⁶. Therefore, singular individuals can be understood tacitly as monads with invariant and pre-given goals and needs. The second aspect is the mechanism-based model of explaining those interactions on the micro-level constitutive for events and facts on the macro-level⁷. The resulting interaction elicits in an aggregative manner supervening properties such as society, institutions and structures understood solely as the result of the actions of singular individuals. In reliance on singular individuals' psychology in our explanation of social phenomena — both in large-scale and small-scale cases, one tends to proceed by applying mechanistic models of reasoning based on a notion of physical causality⁸. The reductionism of MI is similar to that

5. There are several debate stages; the question about micro-foundations thrived during the 1980s (see Zahle, 2007).

6. This gave rise to game-theoretical models of collective behavior. For an influential example, see Olson, 1965.

7. See (Hedström, Swedberg, 1996). Hobbes described all living beings and artificial men as automata (Hobbes 1839, ix), influencing subsequent generations. We must admit that some recent versions of MI have come to acknowledge the relative independence or irreducibility of structural or institutional factors. Further, the connection between MI and mechanistic pattern of explanation has also incurred questioning (see Van Buowel, 2019).

8. Ever since Hobbes' shaping of subsequent debates, thinking about and explaining the social is rare. Most researchers begin with an individualistic perspective and try to build aggregate-like models of social interaction and collective intentionality and agency (Gilbert, 1989; see Jackson, Pettit, 1992b: 98, also Tuomela, 2013). This stands in striking contrast to ancient models of explanation that mainly were organicist-based. The two factors mentioned gave rise to economic game theory that started with that kind of anthropology. It further proceeds to calculate and predict human behavior in the modus of *homo economicus* as pursuing one's material interest or happiness. (The trick is, quite in the Foucauldian vein, that such objectification creates this type of individual in the first place). It often remains unaccountable for the fact that there are different kinds of anthropology and psychology across different cultures. As Nietzsche pointed out in "The Twilight of Idols": "People do not strive for happiness, only the English do." (Nietzsche, 2005: 157). He meant bearers of this attitude and pointed to the English as an example of a nation that adopted such a stance. However, one cannot say (at least not without some further premises) that every human being seeks this kind of happiness in economic consequentialist or utilitarian terms. P. Stekeler claims that collective behavior analysis overlooks morally free cooperation that is responsible for the existence of society in its difference from mere interactions of agents

found in the exact sciences. Since the latter has proven to be productive, one presumes that the social sciences must replicate the physics paradigm to emulate its success. In other words, we must build an exact social science to achieve some semblance of physics' achievements⁹. Contractualist theories present one salient example¹⁰. These two aspects constitute the background premises of most contemporary research of collective agency, beliefs and intentionality within analytic philosophy and beyond (consider the sociology from M. Weber to F. v. Hayek, Popper¹¹, E. Goffman etc. onward to the majority of contemporary works within analytic philosophy¹²).

MI quite often, but not necessarily, goes with OI. This view has been prevalent and almost unquestioned up until recently¹³. The reasoning is as follows: singular individuals are generally considered natural bodily individuals as opposed to fictional or artificial individuals, e.g. a political state as an assemblage of natural individuals. Following the rise of natural science, or, recently, naturalized epistemology after Quine, naturalism and physicalism have exercised the impact that only physically graspable objects such as human bodies are considered tangible. The enterprise seems to fall within a widely respectable physicalist stance that wants to operate with graspable objects. Conversely, abstract entities do not nearly fit the pattern of good scientific explanation with observable and measurable entities, controlled experimental environments with testable and predictable reliable results. Consequently, such badly reputed concepts or insufficient abstract entities are either to be expelled from our theories or brought to clarity as theoretically unavoidable yet useful fictional posits that can and should be boiled down to individual facts and attitudes of single individuals. One can observe singular individuals (persons) and singular things (tables, trees, stones, buildings) that stand in causal relations in the world. But we cannot directly grasp institutions and structures. We cannot touch a university, only a building. We cannot see a revolution as material, only the crowd storming the Bastille. Likewise, we cannot see the law but its applications (say, detention) or copies of the book's written formulation. That said, the ontological postulation of entities of such character appears dubious: MI and OI are supposed to ground social explanation and ontology in observable entities.

under the principle of *homo economicus*. The reason is that collective behavior aims at the general or common good that supersedes a singular individual's interest (Stekeler, 2019).

9. See (Elster, 1982). It is not a coincidence that A. Comte labelled his project of social science as "social physics".

10. Hobbes' social ontology was the breaking point for such theories. The idea of the state of nature and the subsequent creation of society and state was prevalent during Modernity. To my knowledge, it was replaced by a better alternative only in the XX century by the works of R. Carneiro on the genesis of the state (see Carneiro, 1970). The idea of a social contract was fruitful as a heuristic model, but it has inflammatory features that are often mistakenly taken at face value.

11. On Popper's stance, see (Buzzoni, 2004).

12. For some examples, see (Lewis, 1969; Gilbert, 1989; Tuomela, 2010, 2013). In the last work mentioned, Tuomela claims the irreducibility of society to individuals and the full acceptance of We-intentionality and action. However, he does not address the issue of the origin of singular individuals and denies the personality of general individuals.

13. According to B. Epstein, "...theorists have largely arrived at consensus with regard to ontological individualism." (Epstein, 2009: 188).

Due to OI and mechanistic explanations, many theorists are likely to argue that social facts and properties are at least *prima facie* emergent, supervening or ontologically dependent on the actions and attitudes of singular individuals in an aggregate-like manner with a bottom-up direction of causality. According to this picture, singular individuals bring to life institutions and social facts that supervene on interactions between individuals. One of the main merits of this approach is based on its strict causal account because only physical objects can stand in causal relations and enact events and changes. In contrast, abstract objects can only exist because they are composed of singular individuals. Hence, all social phenomena are derivative of the actions and attitudes of singular individuals (Hedström, Swedberg, 1996)¹⁴. Ideally, this provides us with sound explanatory patterns with a one-way bottom-up direction of causality from singular individuals' actions to institutions and structures. Again, this leads us to psychologism, particularly social psychology in social facts.

Yet MI receives increasing criticism and may even need rescuing (e.g. Guala, 2022). Several conspicuous anti-psychologists claim the irreducibility of social events to individuals' psychology (Jackson, Pettit, 1992b: 103f; Haslanger, 2015, 2022; Stekeler, 2019). We may very well argue with good reason that the increase in criminal activity is caused by heat. However, this is not possible in many other cases, with institutions such as money or marriage (see Searle, 2010). A related point of criticism attacks the ideal of reductionism in MI: it has received several critical responses because of the ineptitude of a mechanistic explanation for social events. One is the regress argument (Tannsjö, 1990; Jackson, Pettit, 1992a; Hodgson, 2007). If we adopt this procedure seriously, we must expand it and go further into biology, chemistry and, ultimately, physics. The outcome is twofold. Firstly, we are expelled from the domain of the social and slip into behaviorism and stronger versions of determinism. In other words, we lose the social, which includes the freedom of individuals, since everything is reducible to a biological, chemical and, ultimately, a physical model. Such a consequence appears overly reductive and far-reaching; hence there is no shortage of denunciations of this view. John Searle is one of the critics of reductionism of psychology and intentionality to biological facts (Searle, 2010: 42f.). Among the great thinkers of the past, Hegel and Durkheim were congenial in claiming that the social is second nature (Hegel, 2012, §4) or a domain *sui generis* (Durkheim), governed by its inherent rules that cannot be explained in terms of physics. Thus, MI threatens to neutralize domain-specific features of the social and renders all the humanities and social sciences ill-founded. This contradicts mainstream political and ideological theories that trumpet individual and personal freedom and that presuppose MI in one version or another. Although some philosophers like D. Dennet and P. Churchland are eager to adopt reductionist consequences and deny the freedom of will, this seems to be too high a price¹⁵. Some political ideologies, such as liberalism,

14. However, Van Buowel, 2019 denies a necessary link between mechanism-based explanation and MI. His paper sketches several mechanism-based descriptions and claims that MI can stand without them.

15. This is despite those who are eager to embrace the consequences and bite the bullet of denying freedom in ethical respect. Caruso, 2021 argues for abandoning the criminal punishment system due to the absence of free will.

and closely related ethics, are generally rooted in a commitment to personal freedom. In this respect, a mechanism-based explanation contradicts another core premise about atoms-individuals endowed with freedom and responsibility, creating internal tensions or forcing them to bite the bullet and accept some highly counterintuitive consequences.

II. Methodological Holism: *das Wahre ist das Ganze* and I that is We

1. *Holism in Ontology, Methodology, and Causation*

The first formula in the title should be read to mean that the correct standpoint in explanation (*das Wahre*, 'the true') is provided by the most general view of the functioning of a society that frames it in terms of parts and the whole (*das Ganze*) so that the whole is irreducible to parts and the parts can be understood within and from within the whole. In other words, we cannot know what a social event is unless we do not examine it within the framework of a society or a community. The second formula maintains that the whole of society or a community (institutions, values, norms and structures) is primary for the constitution of a singular individual: each person (the I) is constituted by and represents the community she/he was socialized in. It is important to stress that this should not imply subjugation or diminishment of persons in a totalitarian or despotic manner¹⁶.

To challenge MI, our argument should demonstrate that singular individuals are not ontologically primary or fundamental in any causal sense because they are produced and shaped by the whole of society. It exerts a sort of causation (in a looser, non-mechanical sense) over them, providing us with an explanatory tool. The reason is that causal lines show us the path of explanation in both physical and normative terms. Description should follow the ontological fundamentality of the whole manifested in causality. Following this line of reasoning, I do not suggest the total elimination of MI, but a limitation, since it is perfectly fit to provide an analysis in ethical or some political respects. Essentially, we must show the dependent character of MI in close consideration of the ontological fundamentality of the whole and its needs. We cannot know a whole without its representation in singular individuals, nor should individuals be understood solely in the context of separate lone entities in a romantic spirit. Individuals are determined or produced by the whole.

To reiterate, I am making the case that the whole always precedes a singular individual since the latter emerges from the whole of society or, as a product, a manifestation of it; so are their attitudes and actions. It relates to our bodies, identity, self-image, rationality and normativity in theoretical and practical activities. In other words, holistic entities (general individuals) are ontologically and metaphysically fundamental for any single member. (Thus, OI is also rejected because singular individuals are ontologically secondary and dependent on the whole). Singular individuals are free functions, extensions or

16. Hegel unambiguously emphasized the importance and immunity of free personality within society (see Hegel, 2012: §§35-38).

representatives of the whole—accordingly, one proceeds by the lines of MH in explaining micro and macro-levels. Perhaps to state this more directly, the attitudes and actions of singular individuals must be grasped through the study of individuals as a whole.

An exposition may skirt ontological lines, but not necessarily (so one can adhere to OH and proceed in the manner of MI¹⁷). Nevertheless, it has to follow causal chains to be explicatory. Reductionist-minded philosophers tend to deny normative accounts of causality, attributing that to behavioristic (psychological) determinism; despite that the normative/rationalistic stance has gained considerable ground in contemporary philosophy¹⁸. An example of physical causation in the social world can be birth etc.; normative causation involves goals, norms, rationality and reasons, like choosing a job or creating an institution for some purpose. Note that normative causation falls within but is not governed by rules from nature's domain, yet normativity and rationality are exercised in the world. Societies as a whole exercise functional causality, which has both physical and normative sides. Consider zoning regulations, which prescribe norms in multiple ways that regulate people's behavior, create dispositions, habits, etc., all the while displaying consequences in the physical world¹⁹. The type of causality I refer to does not bear a strong deterministic and unavoidable character. Instead, the whole more loosely shapes and produces singular individuals based on the inherent freedom of the whole and the individual. There might not have been Caesar or Napoleon — they could have died as infants, but events would have taken a similar course, with perhaps others taking their place. The emergence of Caesar or Napoleon is characteristic and reflective of their time and society.

In other words, institutions are not reducible to individuals' psychology without any theoretical loss. One cannot dispose of abstract concepts or entities of an institutional or structural character by attempting to explain social facts. These entities are indispensable, at least for methodological reasons (theoretical economy, classification etc.), which even adherents of MI (such as Popper) are compelled to acknowledge. Moreover, these entities present genuine and legitimate objects of investigation: they possess genuine (not only logical) properties, perform various functions, undergo changes, and even have intentionality, minds, actions and interests of their own.

This claim might seem to beg the question by introducing structures as fundamental entities even though there are no structures beyond singular individuals. Communities consist of individuals and *are* singular individuals arranged and formed in specific structural ways. Imagine two worlds where the same people live under a monarchy and a republic and this accounts for two different sets of psychological states, dispositions, beliefs etc. they respectively have. Singular individuals are parts of collective entities or

17. In this respect, Hegel, despite being a holist, proceeded to develop all parts of his system from individuals both in his logic (somethings, this-beings and so on) and in his *Realphilosophie* (singular bodies, which went by the name of anthropology, in the philosophy of spirit and singular persons in abstract right).

18. See Davidson, 2003, also Brandom and Searle are normativists in this respect.

19. There are also different sorts of structural facts for which (Jackson, Pettit, 1990, 1992b) proposed a programming model of explanation (see the criticism by Walter, 2005). The idea is that societies do not exercise deterministic causality, but program, i.e. influence human actions to some extent.

general individuals. One should not embrace the opposite extreme and postulate some super-entity existing above and beyond communities and societies as manifestations of ghosts or spirits; however, societies are not aggregates of pre-given singular individuals. The analysis of collective entities composed of minded beings must include mereology as an explanatory pattern of the relation between parts and whole. Such an analysis makes the direction of causality a two-way street or, more precisely, circular one — from the whole to its parts and back. It is not a vicious circle, however, since it shows consistency and coherence and thus does not generate a strict logical contradiction or paradox. Societies and communities shape singular individuals and vice versa. Ultimately, the whole as a complex organism (this is also true about social animals or insects) prevails because a singular individual can exist and subsist only within the whole by partaking in collective practices and sharing common norms. The whole is defined by *and* actively sets the rules and playground for the actions and identity of its parts.

The whole (physically *and* normatively) creates and forms its parts, and then the parts act as parts of the whole and on its behalf²⁰. This picture, according to which individuals gather to institute a society, is deeply misguided in some crucial respects. I argue that emergentism and supervenience as metaphysical explanatory models are misplaced when applied to explaining relations between social facts (on micro- and macro-levels) because they presuppose a one-way direction of causality²¹. According to the common notion of emergence, any supervenient property (in our case — society or institutions) should transform or change if any property or state at the fundamental level (singular individual) changes. Such an account seems untenable. Emergentist models fail for a similar reason: we cannot imagine the full-fledged, grown-up individuals that are needed to build a society in a pre-societal state like Hobbes' model suggests in the common bottom-up causality reading. On the contrary: the actions of singular individuals are explained, constituted and conditioned by institutions and structures in a top-down manner. Institutions and structures can exert causality on singular individuals in many ways due to the primary character of institutions (in a broad sense) concerning individuals. In this respect, the claim that institutions supervene upon singular individuals is reversed so that individuals emerge out²² of communities and are formed within institutions that constitute the identities of communities. A full-grown individual is already a part of a society with language as its central ground. Evolutionarily, it goes back to the pre-human and pre-linguistic states of our development to hominids and back (see Tomasello,

20. In Hegelese, the standpoint of the whole is the true one in explanation, *das Wahre ist das Ganze*. Further, the procedure from individuals to the whole reveals the progress to what has been there in truth all the time (e.g. Hegel, 2010, GW 21.57/ 49) — that the holistic view is ontologically and methodologically fundamental.

21. Though in some less fundamental cases, these patterns make sense — when previously unrelated singular individuals freely or accidentally form a small group on their own. But we should not extend such particular cases to the emergence of society as a whole. Every particular assembly of previously unrelated singular individuals is only possible through their prior socialization and participation in the entire community or society.

22. Perhaps, the term 'undervene' may be more apt here.

2010); note that holistic character is also intrinsic to social animals. Ontologically, groups and societies are necessary for the survival or existence of singular individuals and their identity as persons, allowing us to understand them (reference dependence and sense dependence in terms of R. Brandom). The whole is ontologically primary and fundamental.

2. Holistic Causality and Singular Individuals

Institutions have various causal effects on singular individuals by inevitably shaping and forming their intentionality (i.e., thinking), personal identity and psychology. First of all, institutions are causal regarding procreation and physical existence, governed by rational norms and located within nature. Institutions include various modes and structural pre-conditions such as rules governing marital customs, birth politics, nurturing neonates, medical and biological guidelines etc. Compare the infamous birth traditions of Sparta and today's politics of saving and sustaining people with illnesses and disabilities based on contemporary moral guidelines. Further, every singular individual depends on institutions in their subsistence (earning a living, medical care etc.) and the social status that defines one's identity. However, this does not fully exhaust or determine one's attitudes because of the freedom of any person: in numerous causal dependencies, persons always have alternatives in their choice of course of action; the whole will stay the same structurally and is only subject to change following an internal crisis. In this respect, the ontological order of existence and learning affects the methodological order of explanation.

Structural and institutional factors shape individual psychology and intentionality via socialization, education and embedment in various contexts with intrinsic behavior guiding rules. An agent, a singular individual is nothing but a set of interpersonal values, commitments, internalized norms, etc., that constitute their identity²³. Personality types are rooted in the communal practices of given societies; this is the concept of personality itself since the community one inhabits defines their psychological attitudes. Taking up values and rules to learn norms and behave accordingly is evidence of this observation. As singular individuals, we are psychologically determined by our family, social and economic status, ethnicity, religion, gender, social role at the workplace and so on. Individual intentionality and attitudes derive from society as a set of structures and institutions. The structures and institutes are active practices that are lived and performed; they are values and norms that are demonstrative of implicit and explicit sets of rules and values constituting the community of any level of universality. Anger as an emotion is expressed (whether allowed to be displayed, or should be suppressed, etc.) in various ways. The same goes for the treatment and expression of all our emotions and actions. Emotions that are ostensibly personal and individual are also rooted in the social fabric of the com-

23. This does not deny personal freedom as the capacity to change or choose that is always defined in the real world by history and a personal 'character' as a rigid core of personality. As a simile, individuals are a network of lived specific values, attitudes, and qualities.

munity²⁴. When Jane falls in love, the emotions and considerations would be drastically different depending on her upbringing (say, in a traditional, archaic or modern society²⁵). Singular individuals are but a collection of actions and attitudes formed by environmental and educational conditions as well as previous choices and actions. Individual psychology amounts to patterns of learning, interiorized social relations, perhaps with some anthropological invariants²⁶. A personality in the general sense cannot be attributed to a child raised by wolves. An emotion such as anger finds expression (or suppression) in all cultures, but the community preconditions all emotive displays nonetheless. Let me give you a fictional example about the same person in two possible worlds. Remember Voltaire's "The Huron; or Pupil of Nature" (*L'Ingénu*). It portrays an indigenous American who is later revealed to be a child of French parents who accidentally lost him. Subsequently he was raised by indigenous Canadians. Voltaire's protagonist has become a part of their native tribe and absorbed their customs, attitudes, beliefs etc. Should he have been raised as a regular Frenchman, he would have adopted a Westernized mode of thought and action that Voltaire so chastised for its hypocriticality and insincerity. In this way, Voltaire drew the distinction between 'a child of nature' and a 'civilized' European. Indeed, this was a literary experiment drawing on Rousseau's idea of 'gentle savages' opposite to the story of Robinson, but the case in point remains that one and the same person would have two different identities should he be born into different communities. His actions are determined by his categories, attitudes and inculcated virtues or vices: *The whole lives within him as in its extension*²⁷. R. Brandom has conceptualized this in terms of normative status and normative attitudes. For Brandom, normative status (role) is derivative of reciprocal relations of claiming to have a role and being acknowledged in that role (see Brandom, 2019: Ch. 9). In other words, the statuses that define our identity only exist within a community and to have a status means to be recognized in that status by others. Statuses are social roles that only function within institutions: a judge, a female, a child, a Christian etc.

The picture, according to which a singular individual creates her world out of herself, is thus, ill-conceived. Conversely, one is limited and determined in what one could think or want from one's culture and tradition. This does not, however, entail that the

24. Consider Durkheim's work on suicide and social structural factors influencing such individualistic events.

25. One should avoid the naive antisocial sentiment of abolishing and destroying society so that singular individuals can be set free from oppressive society. A free individual apart from and above institutions of society is illusory.

26. A fascinating and *prima facie* correct thesis is that most of what is held to belong to psychology is social (see Stekeler, 2019), such as different kinds of psychoanalysis with super-ego as internalized norms of society or systemic therapy that tries to solve internal problems through analysis of intra and interpersonal relations.

27. This bears on two critical points of commonality; singular individuals from different societies and differences between individuals within the same society. The commonality is grounded in a human's conceptual thinking capacity that is tied to language. Our language capacity ensures the ability to learn new rules, languages, practices, etc. The difference is rooted in implicit conflicts within a set of norms and regulations in any given society on any level of universality. This dialectical process of identification, addressing and solving conflicts accounts for development and practice change.

life and thoughts of any singular individual are predetermined mechanistically or somehow induced in the manner akin to the Matrix scenario. Being around other people and participating in multiple practices and learning norms and rules develops our capacity for complex intentional acts, our psychology and our identity. Many authors have followed the path of Wittgenstein (Searle, Stekeler, Brandom) and correctly argued that our personalities are a product of practices we are involved in and are impossible without linguistic competence. Searle argued that we already have institutions as long as we have language. Language is a communal practice logically underlying manifold other practices: “You can imagine a society that has a language but has no government, property, marriage, or money. But you cannot imagine a society with a government, property, marriage, and money but no language.” (Searle, 2010: 109). Thinking and mental acts of any kind (at least of an intentional sort) proceed by deploying categories. Intentions, beliefs, goals etc., the concepts we deploy are common good and can be only available within a community of society. We construct the world when we think, classify, or bring under categories. Being able to think means being part of a group of people that share *Geworfenheit*, *In-der-Welt-sein*, *Beisammensein* etc., within a community and, hence, a category network. No one can fully grow into a person without mastering language, thus, without acculturation in a family and a community. The individual core as dispositions and character may be relatively stable, but how it develops makes all the difference. Even the basic actions and beliefs we deem invariant or context-independent are conveyed by structures in the upbringing process. Without participation in social life, a human being can neither think nor act but rather behaves like a wolf or any animal that might raise him — should the infant survive²⁸.

The factors I shortly addressed do not always present causality in the strong sense but often determine or program conditions. However, it is hardly possible to elaborate an account of the causal efficacy of some factors (e.g. Kant denied that teleology is causal in the usual sense, see (Förster, 2012: 138f.), but we can expand on the concept of causality), for we may speak of causality in a more loose sense, as a convergence of manifold factors that produce social events. Regardless, the roots are to be found not in singular individuals but in shared and lived norms out of which singular individuals emerge.

3. *Actions are Pathways Within the Whole*

An agent's embeddedness in society reflects their actions within society's rational space comprised by structures and institutions. In this respect, the whole is causally fundamental (as it provides the conditions) to the actions of singular individuals.

Institutions are found as the playgrounds for possible actions of singular individuals so that the existence of an institution facilitates and enables certain types of activities. Institutions provide us with practical and theoretical normativity as well as shared and

28. There have been several documented cases of wolves raising a human baby.

lived rationality²⁹. The attitudes and actions of singular individuals are tailored along the lines laid down by structural and institutional factors, so that these attitudes and actions are impossible without those institutions. Marriage, mortgages, birthday parties and the elected office are all valid examples. No one can intend, desire or believe in the need to acquire a home mortgage if institutions granting such opportunities do not exist. However, it does not follow those institutions exist before or above human beings; institutions evolve from basic to more complex forms. John Searle aptly revealed the institutionalization and logical structure undergirding the human being's capacity for language (Searle, 2010). Institutions are endowments, extensions or manifestations of human capacities. Hence why, many theorists such as Searle rightly assert that institutions constitute and enhance our freedom. The obverse is also true; hardly any human action is free or devoid of the social or institutional element. We can label this the institutional primacy regarding the intentionality of people in society. One crucial point is that singular individuals are not deprived of freedom by this observation, for the very idea of freedom is bound and shaped by the norms and rules constituting any action. Singular individuals can navigate and choose, however, as members of society, their priorities and options are ingrained or perhaps, already pre-conditioned.

Nowadays, authors such as J. Searle and R. Brandom, to name a few, have come to recognize that institutions have binding normative nature. The fabric of institutions has normative and (more or less loose or rigid) compelling power — a 'second nature' that is categorically different from purely psychological mental events commonly understood in the realm of the first nature. However, human psychology is permeated by various normative or institutional factors rationally driven by the same normative obligatory force. P. Stekeler understood that norms are not just in our heads but in the fabric of society as inter- and transpersonal. A law, a moral norm, or a custom exhibits various types of normative power varying from strong (taboos) to weak coercive forces that may serve as reasons. Reasons are the causes of actions, beliefs and, ultimately, attitudes of the free entities that we are³⁰. Agent A acted according to the binding norm N, so we can say that the norm was the reason why Agent A acted that way³¹. A lawful action may have several underlying layers of motivation, but acting according to law because it is right (customary etc.) is a reason for such an action. I stop at a juncture in front of a red light because I consider the law obligatory. I may break this law because I view my time as more important. In rare instances, this indicates my personal attitude, but usually, it reflects the customs of my community. In another country, I will likely change my attitude as a result of my exposure to a different society. The institutions constitute causality and provide obligatory and regulative reasons and patterns of reasoning to take this or that course of action that one can study empirically.

29. Jackson, Pettit, 1992b proposed the term 'program explanation' and described 'filtering' in opposition to other forms of institutional explanation.

30. Examples of advocates of this stance are Davidson, 2001: 3-20, Dretske, 1989.

31. The often overlooked problem is that norms and individuals have history, they change and often diverge from norms. We cannot, however, say that they are not causal.

The intentionality of a singular individual should not be regarded as the cornerstone of structures from the methodological point of view. Rather, singular individual intentionality derives from society as a set of structures, institutions, and subgroups with their respective particular norms and values. This maxim was concisely explicated by Quentin Skinner (Skinner, 2002: 114-122). In explaining and understanding persons in history (particularly in the history of ideas, but nothing prevents us from relating this to our own time), we do not strive to find out what humans of the past held with respect to their unique personalities as signs of their uniqueness. As Skinner claimed elsewhere, intertextuality constitutes the ground of ascription of intentionality, beliefs and actions in explanation. This means that to understand an agent's attitudes and actions, we must scrutinize various widely held norms, beliefs and values of the community of which the agent is a part. As Skinner adds, "...our main attention should fall not on individual authors but on the more general discourse of their times." (Skinner, 2002: 118). This relation may be positive, like the affirmation of the state's existing affairs, or negative and subversive due to internal bureaucracy. This is not limited to the rules of discourse only; the principle extends beyond all the norms of a society. In other words, this stance presupposes that we should assess and estimate one's attitudes invoking the most general knowledge about institutions of the time and society when we try to understand a given singular individual and his attitudes and actions. Hence Hegel was right to claim that the true is the whole (*das Wahre ist das Ganze*). However, one should bear in mind that those general attitudes manifest themselves in the attitudes and actions of individuals who are part of their communities. We should not methodologically avoid or fully reject singular individuals.

Attitudes of any singular individual are determined and considerably depend on what this individual holds about other individuals and their attitudes and actions. Attitudes hinge on the mechanisms of recognition, self-awareness and reflection of different attitudes (see Honneth, 1992; Brandom, 2019: Pt. 2). We depend on other people ontologically, and when we reason something to be true, we speak and act accordingly. Persons have intentionality; they are conscious about other things and beings. They are aware of the attitudes of others and conform their actions and beliefs to the actions and beliefs of others. This rings true across all the aspects of life we can think of. One crucial example is evident in social epistemology and inquiries into the sociality of human knowledge and belief. We reflect, think over and react to the actions and beliefs of others and adjust our behavior accordingly. As individuals, we make decisions, but their content, variety and reasons for and against are predetermined by our communities and society, by our internalized values, virtues and norms that constitute our identity. Hence, we cannot dispose of holistic explanations and institutions as abstract but causally influential entities in explaining social acts and events that rely on a strictly individualistic perspective.

Perhaps we can fruitfully think of societies as networks with persons as their knots and relations as connecting lines. Their intentionality — the very ability and unique set of properties and attitudes, partakes in said relations and is created by them. One pivotal aspect is that there are degrees of freedom, and the freedom of a singular individual is of

lesser reach and intensity than the freedom of the whole human society (or general individuals at their developed stage which Hegel called *der an und für sich seiende Wille*). The freest person is the institutional or general individual that is instantiated and realized in institutions. Such an individual has intentionality and a personality of their own. Singular individuals are impossible without the whole and exist only as parts of it.

III. Ontological Holism and General Individual: We that is I or the Substance is the Subject

The previous part of the article describes the structural moment similar to Durkheim's (as well as Althusser's) approach. Hegel's innovative point is that the structures and institutions possess intentionality (including attitudes, beliefs etc.), personality, agency and history. Hegel means this by when he states that the substance is also the subject and the We, which is the I³². Institutions are more than a sum or aggregate of singular individuals. Further still, the intentionality of institutions is primary to the intentionality of singular individuals so that the former is not reducible to the latter. As Searle would add: "...we can grant that the strong forms of collective intentionality, those involving cooperation, are irreducible to I-intentionality", although he remained committed to the idea that this collective intentionality is nowhere but in our heads (Searle, 2010: 60).

Recently, this subject has become popular and mainstream analytic philosophy has adopted the terms 'collective intentionality', 'we-intentionality' or 'collective agent' to supplement their study³³. There is no shortage of literature on this topic³⁴, and few scholars refuse to acknowledge collective intentionality and agency. Whether we should hold this literally, or in a fictional sense — as in aggregate agents³⁵ — remains a contentious issue. While affirming existence of collective agents (We-intentionality), 'realists' insist

32. Most pointedly advocated for in: (Rose, 2009: 209f, 215f, 228f). R. Brandom conveys this as follows: "In this social, historical form, the "we" in question is a historically extended community that is both the author and the product of discursive norms" (Brandom, 2019: 264). One has to admit that Hegel proceeds in this manner from the individual to the general or universal in his mature writings. Nevertheless, he argues for the ontological priority of the whole as being more 'true' and reaches the standpoint of the primacy of the whole.

33. P. Pettit uses the expression 'institutional person' (Pettit, 2011). This problem was a topic of heated debates in Modern political philosophy, starting with the introduction of the term 'artificial man' by Hobbes that immensely impacted the subsequent tradition of political thought (later it came to be called 'fictional person'). As Q. Skinner shows, it was widely accepted and then put under criticism by J. Bentham (see Skinner, 2008), the forefather of negative liberalism that stands on the principle of non-interference. Hobbes held the state of nature as pre-societal when separate individuals competed and fought over resources. He further introduced the concept of 'person of the Commonwealth' as fiction in contrast to natural persons. Earlier, I criticized the picture of a pre-societal state, but the idea of a collective person is of great significance. However, an institutional person is broader than the concept of a state and can include lesser entities and groups. Such groups, assemblies, associations and collectives are possible because this institutional person or general individual serves its synthetic function, similar to Kant's idea of the transcendental unity of apperception. Civil society is the most developed organization of general individuals, albeit not reducible to the state.

34. As John Searle put it "Collective intentionality has recently become something of a cottage industry in analytic philosophy" (Searle, 2010: 45).

35. This classification is quite crude and does not convey the complexity and nuances of such positions.

they are irreducible to I-intentionality³⁶. A middle ground is available, one that rejects the first part (the realism of collective agents) and adopts the second (irreducibility). The 'fictionalists' deny the real existence and irreducibility of such entities to intentionality of singular individuals as the building blocks. The latter view is more mainstream, and it was used to investigate We-intentionality as a shared intention of a plurality of singular agents. In my view, this indicates the core problem of that position: the adherents can only think of collective intentionality as an aggregate or shared intentionality of plurality as stemming from or emerging out of singular individuals' intentionality and followed-up interactions. In contradistinction, I argue that this collective intentionality and agency are real and irreducible. General individuals do exist because they have causal efficacy in their reasoning and actions. They are ontologically primary to singular individual's intentionality since the latter is constituted by the former — within a We as community or reference group to which any person belongs. The postulation of such an entity gives rise to various difficulties beyond this paper's scope.

It is similar to Hegel's criticism against Schelling's early identity philosophy because he swipes away all the differences and traces everything back to one indeterminate mysterious entity. Supposing for a moment, we accept that entity and try to use it in formal argumentation. In that case, it *prima facie* takes the following form: The fact F occurred because institutional person P wanted/believed/acted so that it appears as a result of the desire and action. Naturally, this explanation alone is untenable and is structurally identical to the saying that whatever happens does so because God wishes so, or because everything has a sufficient reason. However, such an explanation has no informative input. Nevertheless, this form can be transformed if we add purposeful activity on the part of the general agent. It has to show intrinsic normativity of rationality so that the explanation can take the following form: The fact F occurred because general person GP committed act A (created an institution, issued a regulation etc.) to solve the problem P. The presupposition made grants that we can view the reasoning behind the situation that poses a problem (it disrupts the functionality of the whole in some particular way). We can see the causal chain between the intention, the purported action A and achieving the desirable goal. Noteworthy is that the outcome does not have to be successful and can (in fact, it always does) contain false premises for a complex action that has to be rational or guided by norms or cannot be implemented in the desired way. Consequently, some malfunctions make room for recalibration and overhaul of the system should it face a crisis. As a relevant side note, it is one manifestation of the (unjustly) ill-reputed notion of dialectic.

General individuals are real due to the causal powers they possess and exhibit. This causality has consequences or manifestations in the physical world but it is also intrinsically normative and rational. The previous part of the paper tried to establish the thesis of the causal power of institutions; the goal of this part is to show that the actions of such

36. For instance: "But we hold that not only can such group agents exist; they can also exist as agents in their own right, distinct in a significant way from the agents who are their members" (Pettit, Schweikard, 2006: 33)

institutions are (at least partly) deliberate and purposeful³⁷. The whole of society is not only a set of institutions, norms, values etc., but it is also an active agent of such innovations and changes³⁸. The causal power of general individuals is reflected in the real world so that it shapes, guides and directs the actions of singular individuals. Such actions also meet normative and rational causality criteria, for they produce, revive and live norms and values with real-world consequences. Since general individuals create and act upon themselves and the world outside of themselves, we are justified to say that general individuals create themselves (the Absolute in Hegelian terms).

General individuals have interests that surpass the horizon and goals of singular individuals. Such interests cannot be reduced to the particular goals or passions of singular individuals³⁹. As shown in the previous section, singular individuals' rationality (in reasoning and action) is collective and can be absorbed and practiced exclusively within the community. The difference between the singular and general individual can be put in terms of the interests and attitudes of a singular individual that amounts to taking care of self-interpretation, self-preservation, self-care and so on. Therefore, a particular singular individual is self-absorbed in contrast with the interest and level of group intentionality, collective or general individual (see Hegel, 2012: §122-125). This distinction is far from clear-cut but necessary for our present concerns. The individual and general interests, purposes and intentionality can often go together⁴⁰. The two aspects are so deeply intertwined that they cannot be separately instantiated in a real-life situation. When a child goes to school, this is for her future education. But at the same time, this serves the purpose of socialization and preparation for a societal role. When a construction worker does his job, he earns his living and satisfies the collective need for buildings, etc. The rise of Napoleon had much broader reasons and consequences than his vanity and ambitions. Napoleon's case sealed the principal fall of *Ancien Regime* and spread bourgeois legal institutions on European monarchies, among other overarching effects.

However, institutions manifest themselves in singular individuals, their attitudes and actions. The task is to show how such entities can make sense ontologically and how they act independently. Once again, this entity does not commit us to something apart from individuals (cf. Searle, 2010: 45). General or collective individual, the institutional person lives in and through singular individuals, but this nonetheless creates normativity and validity beyond individuals taken separately. Based on this validity, we cannot claim that it is all just in our heads since it creates a world of meanings. The whole is explained as a set of living practices, norms, rules and values that possess intrinsic rationality. Assuming a correct understanding, we can use general terms referring to individuals who are said to reason, act, make decisions and so on. Singular individuals exemplify, instantiate and

37. There are some unrecognizable aggregate or structural effects like the invisible hand of God or the cunning of reason.

38. It is the task of philosophy to conceptually make sense of said changes. By working on conceptual schemes, philosophy changes, reinterprets and forms concepts.

39. This is reminiscent of Hegel's criticism of the *Kammerdiener* position.

40. Perhaps they can go together, but a problem is posed by the actions of singular individuals that disrupt or harm the whole.

manifest the norms and values constituting the general individual they are part of; they act and think on behalf of general individuals. The invocation of individuals should not be seen here as an explanation in MI manner, as in event E happened as a consequence of the action of singular individual A. The needs and tasks of the general individual explain quite the opposite, namely, the actions of singular individuals. Normative systems that constitute the core of a general individual also think and act within and through singular individuals, allowing us to discern between communities, groups and ultimately, the whole of humankind in its history as general individuals.

In sum, institutions and structures determine and causally shape singular individuals. Yet the structures do not (in general, they also *should not*) depersonalize or deprive them of freedom. To the contrary, they bestow and enhance individuals with freedom. As opposed to singular or natural individuals, structures or institutes have often been seen as blind mechanisms alienated from and oppressing singular individuals. This is true in a specific and narrow way, and so we should not deprive ourselves of means of criticism. A crucial moment is when structures or institutions are bestowed with their own intentionality, ability to think, reason, make decisions and act. They are self-aware, active and autopoietic⁴¹; they can and do preserve themselves while also changing and developing. Singular individuals are derivations, extensions or free functions of those institutional persons or general individuals. The intentionality of singular individuals is derived from and grounded in We-intentionality or the general person.

References

- Buzzoni M. (2004) Poppers methodologischer Individualismus und die Sozialwissenschaften. *Journal for General Philosophy of Science*, vol. 35, pp. 157–173.
- Bubner R. (1995) Hegels politische Anthropologie. Bubner R. *Innovationen des Idealismus*, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, pp. 72 — 85.
- Caruso G. (2021) *Rejecting Retributivism. Free Will, Punishment, and Criminal Justice*, CUP.
- Carneiro R. (1970) A Theory of Origin of the State. *Science*, vol. 169, pp. 733–738.
- Currie G. (1984) Individualism and Global Supervenience. *British Journal for the Philosophy of Science*, vol. 35, pp. 345–358.
- Danto A. (1973) *Methodological Individualism and Methodological Socialism*, pp. 312–337.
- Davidson D. (2001) *Essays on Actions and Events*. 2nd ed., Oxford: New York: Clarendon Press; Oxford University Press.
- Douglas M. (1986) *How institutions think*, NY: Syracuse University Press.
- Dretske F. (1989) Reasons and causes. *Philosophical Perspectives*, vol. 3, pp. 1–15.
- Elster J. (1982) The Case for Methodological Individualism. *Theory and Society*, vol. 11, no 4, pp. 453–482.

41. Not in the sense as ant colonies are auto-poietic. Rather, more how Hegel applied Spinoza's term 'substance' to 'ethical' communities (*sittliche Substanz*) as self-producing, *causa sui*.

- Epstein B. (2009) Ontological individualism reconsidered. *Synthese*, vol. 166, no 1, pp. 187–213.
- Förster E. (2012) *The Twenty-Five Years of Philosophy: A Systematic Reconstruction*, Cambridge: Harvard University Press.
- Gilbert M. (1989) *On Social Facts*, London: Routledge.
- Guala F. (2022) Rescuing Ontological Individualism. *Philosophy of Science*, vol. 89, no 3, pp. 471–485.
- Haslanger S. (2015) What is a (Social) Structural Explanation? *Philosophical Studies*, vol. 173, no 1, pp. 113–130.
- Haslanger S. (2022) Failures of Methodological Individualism: The Materiality of Social Systems. *Journal of social philosophy*, vol. 53, no 4, pp. 512–534.
- Hedström P., Bearman P. (eds.). (2009) *The Oxford Handbook of Analytical Sociology*, Oxford: Oxford University Press.
- Hedström P., Swedberg R. (1996) Social mechanisms. *Acta Sociologica*, vol. 39, no 3, pp. 281–308.
- Hegel G. W. F. (2012) *Elements of the Philosophy of Right*. (Ed. Allen W. Wood), Cambridge: Cambridge University Press.
- Hegel G. W. F. (2018) *Philosophy of Spirit. The Phenomenology of Spirit* (Ed. and trans. T. Pinkard), New York: Cambridge University Press.
- Hegel G. W. F. (2010) *The Science of Logic*. (Ed. and transl. G. Di Giovanni), Cambridge; New York: Cambridge University Press.
- Hobbes T. (1839) *Leviathan. The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury*. Vol. III. (Ed. W. Molesworth).
- Honneth A. (1992) *Der Kampf um Anerkennung*, Frankfurt-am-Main, Suhrkamp.
- Jackson F., Pettit P. (1990) Program Explanation: A General Perspective. *Analysis*, vol. 50, no 2, pp. 107 — 117.
- Jackson F., Pettit P. (1992a) In Defense of Explanatory Ecumenism. *Economics and Philosophy*, vol. 8, pp. 1–21.
- Jackson F., Pettit P. (1992b) Structural Explanation in Social Theory. *Reduction, Explanation, and Realism* (Eds. D. Charles, K. Lennon), Oxford: Clarendon Press, pp. 97–131.
- Just R. (2004) Methodological Individualism and Sociological Reductionism. *Social Analysis: The International Journal of Anthropology*, vol. 48, no 3, pp. 186–191.
- Knapp P. (1986) Hegel's Universal in Marx, Durkheim and Weber: The Role of Hegelian Ideas in the Origin of Sociology. *Sociological Forum*, vol.1, no 4, pp. 586–609.
- Lewis D. (1969) *Convention: A philosophical study*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nietzsche F. (2005) *The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings*, New York: Cambridge University Press.
- Olson M. (1965) *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Pettit P. (2011) *Groups with Minds of Their Own. Social Epistemology: Essential Readings*. (Eds. A. Goldman, D. Whitcomb), New York: Oxford University Press, pp. 242–268.

- Pettit P., Schweikard D. (2006) Joint Actions and Group Agents. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 36, no 1, pp. 18–39.
- Pippin R. (2008) *Hegel's Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life*, New York: Cambridge University Press.
- Rose G. (2009) *Hegel Contra Sociology*. OUP. London: Verso.
- Searle J. (2010) *Making the Social World: The Structure of Human Civilization*, Oxford: Oxford University Press.
- Skinner Q. (2002) *Visions of Politics*. Vol. 1, Cambridge; New York: Cambridge University Press.
- Skinner Q. (2008) A Genealogy of the Modern State. *Proceedings of the British Academy*, vol. 162, pp. 325–370.
- Stekeler-Weithofer P. (2019) On Hegelian Logic of Us. *Hegel Bulletin*, vol. 40, Special Iss. 3. Hegel and the Philosophy of Action, pp. 374–397.
- Stekeler-Weithofer P. (2021) *Hegels Grundlinien Der Philosophie Des Rechts: Ein Dialogischer Kommentar*, Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Stekeler-Weithofer P. (2022) *Hegels Wissenschaft der Logik: Ein dialogischer Kommentar*, Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Tännsjö T. (1990) Methodological Individualism. *Inquiry*, vol. 33, pp. 69–80.
- Tommasello M. (2010) *Origins of Human Communication*, Cambridge, Mass: MIT Press.
- Tuomela R. *The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View*, New York: OUP.
- Tuomela R. *Social Ontology: Collective Intentionality and Group Agents*, New York, NY: Oxford University Press.
- Van Buowel J. (2019) Do mechanism-based social explanations make a case for methodological individualism? *Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie*, vol. 50, no 2, pp. 263–282.
- Walter S. (2005) Program explanations and causal relevance. *Acta Analytica*, vol. 20, no 3, pp. 32–47.
- Zahle J. (2007) Holism and Supervenience. *Philosophy of Anthropology and Sociology* (Eds. S. Turner, M. Risjord), pp. 311–342.

Я, которое есть Мы, и Мы, которое есть Я: В защиту методологического холизма и онтологической первичности коллективной агентности

Денис Маслов

Кандидат философских наук, младший научный сотрудник

Институт философии и права СО РАН

Адрес: ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

E-mail: denn.maslov@gmail.com

В гегелевском духе в данной работе отстаивается методологический холизм, основанный на онтологическом первенстве коллективной агентности. В первом разделе очерчивается общая проблематика методологического и онтологического индивидуализма

и формулируются критика. Выделяются два основных компонента: атомический взгляд на индивидов как на отдельных и независимых от общества, и механистическая модель объяснения, сводящая институты к взаимодействию отдельных индивидов. Во втором разделе я привожу аргументы в пользу методологического холизма, показывая, что отдельные индивиды являются продуктом сообщества, в котором они воспитываются. В этом разделе демонстрируется методологический примат целого через его «нормативную» причинность в отношении существования, идентичности, установок и действий индивидов. Отдельные индивиды и их действия становятся возможными внутри и через целое, взятое как совокупность институтов и структур. В третьей части представлено краткое описание общего индивида (мы-агента), который каузально эффективен нормативным и рациональным образом. Общие индивиды обладают интенциональностью, разумом, личностью, интересами и т. д., которые проявляются в действиях, мыслях и установках единичных индивидов. Общие индивиды отличаются от единичных индивидов масштабом своих интересов и целей. Общие индивиды обладают присущей им рациональностью и нормативностью, что демонстрирует модель валидного объяснения в манере методологического холизма.

Ключевые слова: методологический индивидуализм, онтологический холизм, методологический холизм, институциональная личность, коллективная агентность, Гегель

Расовое профилирование как разновидность надзора и секьюритизирующая практика

Ксения Григорьева

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук

Адрес: ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5, Москва, 117218 Российская Федерация
E-mail: kseniagrigoryeva@yandex.ru

Исследования расового профилирования — сравнительно новая, динамично развивающаяся область знания, привлекающая растущее внимание научного сообщества. Однако разработка этого направления сопряжена с рядом трудноразрешимых теоретико-методологических проблем. Помимо сложности надежного установления самого расового дисбаланса в работе правоохранительной системы при помощи используемых в настоящее время методологических подходов, существует проблема недостаточного теоретического осмысления данного явления. Исследования уголовного правосудия, к которым традиционно относят изучение расового профилирования, не слишком богаты теоретическими подходами. Как правило, они сосредоточены на несовпадении законодательно установленных норм и реальных практик, носят скорее описательный, нежели аналитический характер. Кроме того, фокусировка исключительно на работе правоохранительных органов чрезмерно сужает исследовательское поле, оставляя «за кадром» акторов, активно участвующих в инициировании и осуществлении расового профилирования, но не имеющих прямого отношения к вопросам обеспечения безопасности. В данной статье предпринимается попытка поместить проблему расового профилирования в более широкий контекст изучения надзора и секьюритизации на примере тематического исследования особого контроля, установленного в России над выходцами с Кавказа, Средней Азии, Украины и цыганами.

Ключевые слова: расовое профилирование, исследования уголовной юстиции, надзор, секьюритизация

Расовое профилирование¹ — явление, существующее в разных странах мира в течение многих десятилетий. Научная разработка этой проблемы началась сравнительно недавно — в первой половине 1990-х годов — и была связана с серией громких судебных разбирательств в США, в ходе которых истцы утверждали, что были остановлены дорожной полицией не по причине нарушений ПДД, а из-за своей расы. Исследования научной группы под руководством Джона Ламберта (Lam-berth, 2004; *Wilkins v. Maryland State Police*, 1994; *State v. Soto*, 1996), проведенные по заказу судов, стали первыми работами, посвященными расовому профилиро-

1. Расовое профилирование — «использование правоохранительными органами, без объективных и разумных обоснований, таких признаков, как раса, цвет кожи, язык, религия, гражданство или национальное или этническое происхождение при контроле, слежении или проведении расследований» (ЕКРН, 2007).

ванию², положив начало новому направлению, которое быстро обрело популярность сначала в англоязычном научном мире, а затем и за его пределами. Особую актуальность этой теме придавал широкий общественный резонанс, вызванный признанием неравного обращения полиции с гражданами разной расовой и этнической принадлежности, а также растущая потребность в научном подтверждении/опровержении существования расовой избирательности в работе конкретных полицейских участков и управлений при возникновении новых судебных исков или общественно-политических дискуссий.

Несмотря на бурное развитие новой области исследований, уже в начале 2000-х годов было признано, что используемые аналитиками подходы обладают рядом трудноустраняемых недостатков. Помимо сложностей в измерении возможных расовых диспропорций в полицейских останках и обысках, главной из которых служила пресловутая «проблема знаменателя»³, серьезным изъяном работ, посвященных расовому профилированию, была чрезвычайно слабая, а иногда и вовсе отсутствующая теоретическая база. Робин Энгель, Джон Калнон и Томас Бернارد, первыми указавшие на теоретическую несостоятельность значительной части исследований расового профилирования, подчеркивали: многие ученые видят свою задачу в простом установлении расового дисбаланса в работе правоохранителей, полагая, что это автоматически свидетельствует о предвзятости органов правопорядка. Справедливо указывая, что подобный подход едва ли может быть признан удовлетворительным, авторы отстаивали положение о том, что даже при надежном доказательстве расовых диспропорций в полицейской деятельности причина необязательно должна крыться в предрассудках. Альтернативными объяснениями могут служить, к примеру, особенности поведения граждан из числа меньшинств, воспринимаемые полицейскими как подозрительные, или неравномерное распределение полицейских сил по городским районам.

Энгель, Калнон и Бернارد утверждали, что работы, не имеющие теоретической основы, не могут считаться полноценными научными исследованиями, и предлагали использовать для анализа расового профилирования, осуществляемого по инициативе отдельных офицеров полиции, социально-психологические подходы, интеракционистскую точку зрения и теорию ожиданий, а для изучения расового профилирования на уровне полицейских подразделений или правоохранительной системы в целом — концепции, применяющиеся в исследовании организаций и управления (Engel, Calnon, Bernard, 2002).

Признавая обоснованность тезиса о необходимости теоретической базы для любой научной работы, отметим, что внимание авторов полностью сосредоточено на поведении полицейских и функционировании правоохранительных органов — традиционный подход, при котором исследования расового профилирования рас-

2. Необходимо отметить, что изучение расовой предвзятости в системе уголовного правосудия имеет длительную историю и восходит по меньшей мере к середине XX века (подробнее об этом см.: Григорьева, 2019).

3. То есть отсутствие надежного эталона, позволяющего установить, действительно ли некоторые группы граждан необоснованно привлекают повышенное внимание правоохранителей (см. подробнее об этом: MVA, Miller, 2000; Walker, 2001).

сматриваются как органическая часть изучения системы уголовного правосудия. Такой подход может быть продуктивен, однако он нередко приводит к чрезмерному сужению фокуса исследования, заставляя видеть в рассматриваемой проблеме лишь дисфункцию полиции. Вместе с тем анализ документальных источников показывает, что среди инициаторов и исполнителей расового профилирования числятся не только представители правоохранительной системы («профессионалы безопасности» по терминологии Дидье Биго), но также лица и организации, не имеющие прямого отношения к органам правопорядка (см. подробнее об этом: Григорьева, 2020). Более широкий взгляд на расовое профилирование способен обогатить существующие представления и разнообразить выбор теоретических подходов для проведения соответствующих исследований.

Расовое профилирование как особый вид надзора

Несмотря на то что расовое профилирование, безусловно, может анализироваться в рамках изучения работы учреждений уголовной юстиции, где основное внимание ученых сосредоточено на несовпадении писаных правил и реальных практик, повсеместном распространении дискреции и эффектах, к которым это приводит, существует возможность взглянуть на данное явление с альтернативной точки зрения: в контексте изучения надзора. Это направление исследований представляет собой обширную область, насыщенную самыми разнообразными теоретическими подходами, среди которых выделяется классическая фукодианская паноптическая модель (Фуко, 1999), концепция надзорной сборки (ассамбляжа) Кэвина Д. Хаггерти и Ричарда В. Эриксона (Haggerty, Ericson, 2000), акторно-сетевой подход Дэвида М. Вуда и Кирсти Болл (Wood, 2012; Ball, 2002), концепция социальной сортировки Дэвида Лиона (Lyon, 2009). Последняя особенно полезна для изучения расового профилирования, поскольку рассматривает надзор как явление, неравномерно затрагивающее различные группы населения. Разломы, как показывает Лион, часто пролегают по линии социального неравенства и специфических интересов надзирателей. Надзор при этом может иметь как положительные, так и отрицательные эффекты для поднадзорных. В частности, коммерческая слежка зачастую приводит к тому, что наиболее привлекательные для бизнеса клиенты получают самые выгодные предложения о покупке товаров и услуг. В то же время те, кто попадает в поле особого внимания правоохранительных органов, несут повышенные издержки по сравнению с теми, кто не вызывает интереса правоохранителей. На проблему неравномерного распределения бремени надзора и его связь с социальным неравенством указывает и Биго (Bigo, 2004), отмечая, что внимание профессионалов безопасности, как правило, сосредоточено на бедных и маргинальных слоях населения, не являющихся потенциальными потребителями⁴.

4. Идею о связи специального надзора за отдельными группами населения и социальной стратификации высказывают также авторы одной из немногих российских работ, посвященных расовому профилированию «Милиция и этнические мигранты: практики взаимодействия» (Воронков, Гладарев, Сагитова, 2011).

Взгляд на расовое профилирование сквозь призму исследований надзора помогает увидеть это явление в ряду других надзорных практик, пронизывающих сегодняшнее общество. Как подчеркивают Хаггерти и Эриксон, в современном мире ранее не связанные системы слежения интегрируются друг с другом, делая надзор всепроникающим. Иерархия надзора, при которой представители высших классов ранее могли от него ускользнуть, постепенно выравнивается и «общая волна слежки захлестывает всех» (Haggerty, Ericson, 2000: 609). Интенсивность надзора начинает зависеть от частоты взаимодействия с организациями: чем она выше, тем слежка сильнее.

Всеобъемлющий характер отслеживающих практик, их зависимость от интересов различных социальных акторов, выступающих в роли надзирателей, калейдоскопичность и подвижность видов и форм надзора усложняет распространенное представление о расовом профилировании как об уникальном явлении, базирующемся на извечных предрассудках в отношении небольшого числа расовых/этнических меньшинств.

Ретроспективный взгляд на особый контроль над меньшинствами показывает, что состав таргетированных групп меняется в зависимости от текущей конъюнктуры. К примеру, до 11 сентября 2001 года основной мишенью расового профилирования в США было чернокожее население, но после теракта центр тяжести сместился на арабо-мусульманское сообщество.

Это позволяет предположить, что вопреки доминирующему представлению о фундаментальной причинно-следственной связи между расизмом и расовым профилированием, в действительности расовая и этническая предвзятость может играть значительно меньшую роль, чем принято считать, а на первый план могут выходить ситуативные факторы, конъюнктурные интересы организаций, осуществляющих слежку, и связанные с ними дискурсы о безопасности.

Расовое профилирование как следствие секьюритизации

Расовое профилирование неразрывно связано с дискуссиями об эффективном обеспечении безопасности. Идет ли речь о борьбе с терроризмом, войнах с наркотиками или преступностью в целом, в основе этих обсуждений всегда лежит представление об «опасных» группах, над которыми необходимо установить повышенный контроль ради спокойствия остальных. Вследствие этого для лучшего понимания причин возникновения и природы расового профилирования необходимо подробнее остановиться на понятии безопасности. Теория секьюритизации, предложенная Барри Бьюзенем и Оле Вейвером, до сих пор является непревзойденным инструментом в этой области.

Секьюритизация определяется авторами как перформативный речевой акт⁵, при успешности которого (т. е. при принятии его целевой аудиторией) та или иная

5. Речевой акт равный действию.

проблема выводится за рамки нормальной политики. Ситуация объявляется настолько чрезвычайной и угрожающей, что допустимыми признаются меры, которые в других случаях были бы отвергнуты как противоречащие закону и морали. Неважно при этом, насколько объективна декларируемая угроза, любая проблема при помощи секьюритизации может быть превращена в вопрос жизни и смерти. Безопасность, таким образом, в данной перспективе рассматривается не как само собой разумеющееся благо, к которому следует стремиться, но как опасная самореферентная практика, «стабилизирующая конфликтные или угрожающие отношения, часто через чрезвычайную мобилизацию государства» (Buzan, Wæver, De Wilde, 1998: 4).

Процессы секьюритизации, согласно Бьюзену и Вейверу, должны изучаться посредством анализа дискурсов и политических констелляций. Однако есть и альтернативная точка зрения, выдвинутая Биго и отдающая приоритет рутинным секьюритизирующим практикам профессионалов безопасности (Bigo, 2002). Спор о том, что первично в процессе секьюритизации: дискурсы или практики, длится уже более двадцати лет и до сих пор не разрешен. Как правило, они исследуются сепаратно, что неудивительно, поскольку в качестве дискурсов обычно анализируются разнообразные политические высказывания в СМИ, а в качестве практик — никак не связанные с ними рутинные действия профессионалов безопасности⁶.

Интересно, что Биго, опираясь на теорию Пьера Бурдьё, игнорирует одно из ее ключевых понятий — символическую власть, и связанные с ним размышления о перформативах. Находя лингвистическую трактовку перформатива несостоятельной, Бурдьё подчеркивает бессмысленность поиска в языке того, что на самом деле вписано в социальные отношения (Bourdieu, 1991: 38). Слова черпают свою магическую силу не из грамматики, утверждает он, а из символического капитала говорящего. Чем больше его объем, тем больше шансов на то, что слова приобретут свойства действия. Предельным случаем перформатива Бурдьё считает правовой акт, который, будучи утвержден уполномоченным лицом, способен преобразовать социальную реальность. Подход Бурдьё позволяет преодолеть разрыв между секьюритизирующими дискурсами и практиками, сузив исследовательское поле до секьюритизирующих правовых актов и связанных с ними секьюритизирующих действий.

Применение теории секьюритизации к изучению расового профилирования, с учетом бурдьёвистского понимания перформатива, дает возможность увидеть, в какой момент и как те или иные группы становятся мишенью расового профилирования, а также проанализировать институциональные механизмы его осуществления.

Эмпирическое исследование в данном случае может проводиться как при помощи анализа дискурсов (секьюритизирующих правовых актов и отчетов об их исполнении), так и посредством наблюдения за соответствующими прак-

6. Впрочем, несколько попыток совместить описанные подходы все же предпринималось (Bourbeau, 2014; Trombetta, 2014).

тиками. Следует отметить, что в обоих случаях аналитик наверняка столкнется с проблемой доступа к релевантным источникам информации: поскольку расовое профилирование является дискриминационной практикой, оно, как правило, осуществляется скрытно. При работе с документами исследователь вряд ли сможет получить доступ ко всему массиву данных и будет вынужден работать с так называемой естественной выборкой источников, т. е. с теми документами, которые, вследствие каких-то причин, попали в открытый доступ. В случае же наблюдения, помимо вероятного нежелания его объектов демонстрировать исследователю неконвенциональное поведение, неизбежно возникнет проблема интерпретации наблюдаемых действий. Как уже отмечалось некоторыми учеными, доказать дискриминационные побуждения актора возможно лишь в том случае, если он сам открыто их признает. Во всех прочих ситуациях наблюдателю остается лишь догадываться об истинной мотивации объекта наблюдения.

Теоретико-методологический подход и эмпирическая база тематического исследования

Тематическое исследование, представленное ниже, отходит от классического подхода к изучению расового профилирования в русле исследований уголовной юстиции, опираясь на концепцию социальной сортировки Лиона и теорию секьюритизации. Эмпирической базой для него служат документальные источники, где ясно выражены дискриминационные намерения в отношении отдельных групп населения на основании их этнической или национальной принадлежности, или региона происхождения (распоряжения и отчеты о полицейских облавах и разнообразных проверках по указанному принципу, проведении «профилактических бесед», осуществлении слежки, сбора и передачи информации о данных группах).

Поиск документов осуществлялся с марта 2017 года по май 2023-го в справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант», «Законы и постановления РФ», на официальных сайтах российских органов власти и местного самоуправления, в СМИ по ключевым словам: «лица кавказской национальности/ЛКН», «лица чеченской национальности», «лица среднеазиатской национальности», «лица цыганской национальности», «лица украинской национальности», «выходцы с Кавказа», «выходцы из Северо-Кавказского региона/Северокавказского региона/СКР», «уроженцы Кавказа», «выходцы из Средней Азии/Среднеазиатского региона», «прибывшие из Северо-Кавказского региона/Северокавказского региона/СКР», «прибывшие из Закавказья и Средней Азии», «выходцы с Украины», «уроженцы Украины», «оперативно-профилактические мероприятия по отработке лиц», «мест компактного проживания выходцев», «операция “Табор”» и другим. Обнаруженные документы заносились в базы данных, организованные по тематическому, хронологическому и географическому принципам. Всего было сформировано три базы данных.

1) База данных, составленная в ходе проведения мониторинга открытых источников в 2017–2020 годах. Здесь превалировали документы, в которых речь шла о профилировании выходцев с Кавказа и Средней Азии. Поиск проводился в БД «Гарант», «Консультант», «Законы и постановления РФ», на официальных сайтах МВД, в поисковых системах «Яндекс» и Google методом «снежного кома»: после изучения первых партий найденных документальных источников формулировки запросов корректировались в соответствии с употребляемой в них терминологией, после чего запускались новые волны мониторинга.

2) База данных, разработанная в ходе изучения документов, где сообщалось о профилировании уроженцев Украины. Поиск релевантных документальных источников проводился в феврале-марте 2022 года в БД «Гарант» и на 84⁷ официальных сайтах региональных отделений МВД РФ.

3) База данных, сформированная в процессе исследования профилирования цыган, реализованного в 2022–2023 годах. Мониторинг осуществлялся на 84 официальных сайтах региональных отделений МВД РФ, четырех сайтах территориальных подразделений УМВД по Брянской области, в БД «Гарант», поисковых системах Яндекс и Google.

Всего было обнаружено 3293 релевантных документа, изданных за период с 1994 по 2023 год в 76 российских регионах. Наиболее многочисленной категорией документальных источников являются отчеты участковых уполномоченных полиции, содержащие информацию о проведении облав и «профилактических мероприятий», проверке документов, сборе информации о выходцах с Кавказа, Средней Азии, Украины и цыганах, а также призывы к населению проявлять бдительность и сообщать сведения о перечисленных категориях граждан в МВД РФ (2825 ед.). Обнаружено также немалое количество официальных распоряжений региональных органов законодательной и исполнительной власти, исполнительно-распорядительных и законодательных органов местного самоуправления об осуществлении подобных мероприятий (190 ед.), отчетов об их реализации (266 ед.). Самая малочисленная категория источников — официальные сообщения в СМИ (12 ед.), что обусловлено стремлением избежать включения в эмпирический массив публикаций в прессе, которые, строго говоря, не являются документами. Тем не менее некоторые материалы СМИ были использованы как дополнительный источник информации о проведении полицейских облав на указанные категории населения (если сведения о данных мероприятиях не были обнаружены в документах).

Вследствие затрудненного доступа к полному массиву документальных источников, значительная часть которых, вероятно, имеет гриф «для служебного пользования», работа велась с естественной выборкой документов.

7. Санкт-Петербург и Ленинградская область имеют общий сайт <https://78.mvd.pf/>, по этой причине количество сайтов не соответствует числу российских регионов.

Особый надзор за некоторыми этническими группами, выходцами из отдельных стран и регионов в России

В современной России расовое профилирование нацелено главным образом на выходцев с Кавказа, уроженцев Средней Азии, Украины и цыган⁸. При этом надзор за данными группами был установлен не одномоментно. Хронологически, по всей видимости, первыми были чеченцы и, шире, выходцы с Кавказа (распоряжения о профилировании этой группы появляются сразу после начала первой чеченской кампании, в 1994 году). В конце 1990-х — начале 2000-х годов специальные надзорные практики распространились на уроженцев Средней Азии, что было связано с активизацией дискурса о международном исламском терроризме. С 2002 года в разных регионах России стали проводиться регулярные облавы на цыган под говорящим названием «Табор»⁹, начало которым было положено решением Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией (далее — Комиссия Совета безопасности) от 11 июня 2002 года¹⁰. Наконец, украинцы попали под особый контроль с началом конфликта на Украине в 2014 году.

Стоит отметить, что предвзятость к перечисленным группам в периоды, предшествовавшие установлению за ними надзора, была выражена неравномерно. Так, в начале 1990-х годов в России существовала явная враждебность к выходцам из Закавказья (армянам, грузинам, азербайджанцам), однако по отношению к чеченцам, которые с 1994 года надолго стали основным объектом расового профилирования, неприязнь была выражена значительно слабее (Гудков, 2004: 110).

8. Данный список не является исчерпывающим перечнем групп, подвергающихся расовому профилированию. В ходе мониторинга нам встречались отдельные упоминания об особом контроле над «лицами курдской национальности», выходцами из стран Ближнего Востока. Тем не менее проведенные исследования показывают, что уроженцы Кавказа, Средней Азии, Украины и цыгане в настоящее время являются основным объектом расового профилирования в России. Хотя, вероятно, выборка документов смещена вследствие формулировок поисковых запросов, категории населения, «представляющие особый интерес» для профессионалов безопасности, нередко упоминаются в документах вместе, что позволяет выявить основной круг таких категорий через несколько волн мониторинга, даже если первичный поиск по ключевым словам был нацелен только на одну из групп. Именно так было установлено, что внимание правоохранителей привлекают не только выходцы с Кавказа (на которых было сфокусировано наше первое исследование), но и уроженцы Средней Азии, цыгане и украинцы. Данные правозащитных организаций подтверждают эти выводы: в их отчетах неоднократно отмечалось, что чаще всего расовое профилирование в России осуществляется в отношении выходцев с Кавказа, из Средней Азии и рома (см., например, заключительные замечания КЛРД по двадцать третьему и двадцать четвертому периодическим докладам РФ за 2017 г., заключительные замечания КЛРД по двадцать пятому и двадцать шестому периодическим докладам РФ за 2023 г.). Отсутствие уроженцев Украины в этом списке, по-видимому, объясняется тем, что они привлекли внимание профессионалов безопасности значительно позже остальных и, как показывает анализ документальных источников, до недавнего времени подвергались менее интенсивному надзору, чем другие.

9. Согласно Н. Бессонову, профилирование цыган осуществлялось еще в 1990-е годы, что было обусловлено наследием советских милицейских практик борьбы со «спекулянтами» (Бессонов, 2000).

10. Первые операции «Табор» были проведены по инициативе МВД РФ в феврале-марте 2002 года в Москве, Московской области, Петербурге, Самарской и Иркутской областях, Чувашской Республике и Хабаровском крае.

Вместе с тем к концу 1990-х годов они уже возглавляли список главных объектов вражды. Предвзятость к уроженцам Средней Азии и в начале, и в конце 1990-х годов стремилась к нулю (Ibid.). При этом к концу 2000-х годов неприязнь к этой группе заметно возросла (ВЦИОМ, 2009). По отношению к украинцам постоянно превалировали симпатии, но после 2014 года враждебность к ним также начала расти (Левада-центр¹¹, 2015). Цыгане — единственная группа из перечисленных, неприязненное отношение к которой находилось примерно на одном (довольно высоком) уровне в 1990-х и 2000-х годах, когда стали проводиться регулярные операции «Табор» (Гудков, 2004: 110; ВЦИОМ, 2009).

Таким образом, враждебность до установления надзора за тремя из четырех упомянутых групп была существенно ниже, чем после этого, что позволяет предположить (помимо других причинно-следственных связей) существование обратной зависимости между предвзятостью и расовым профилированием. Возможно, зачастую не предрассудки ведут к установлению особого надзора, а его установление приводит к возникновению новых или укреплению уже существующих предрассудков.

В любом случае, само по себе существование предвзятости к той или иной группе не влечет за собой автоматического осуществления в отношении нее расового профилирования. В частности, в России в начале 1990-х годов в перечне этнонациональных групп, вызывающих наибольшую неприязнь, латыши занимали четвертую строку, а евреи — пятую (Гудков, 2004: 110). Однако ни в указанный, ни в последующие периоды расовое профилирование в отношении них не осуществлялось. По всей видимости, для того чтобы такой надзор был установлен, необходимо какое-то «запускающее» событие, связанное с вопросами безопасности, и/или соответствующая бюрократическая и, шире, политическая конъюнктура. Так, в случае выходцев с Кавказа и украинцев стимулом к осуществлению расового профилирования послужило начало вооруженных конфликтов; в случае уроженцев Средней Азии — дискурс об участии международных исламских террористических организаций во Второй чеченской войне; в ситуации с цыганами — бюрократические интересы Комиссии Совета безопасности, в чьей повестке дня 11 июня 2002 года стояла разработка мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, в которую хорошо укладывались стереотипные представления о краже цыганами детей¹² и их эксплуатации. Используя терминологию Лиона, можно заключить, что социальная сортировка происходила по принципу интуитивной (само собой разумеющейся) привязки той или иной группы к тому или иному событию/повестке, связанным с вопросами обеспечения безопасности. При этом группа могла маркироваться как «опасная» и на основании существующих в отношении нее стереотипных суждений, укладывающихся в логику запускающего события/повестки

11. Организация признана иностранным агентом.

12. По заявлениям представителей МВД хорошо видно, что поиск «украденных» детей рассматривался как одна из приоритетных задач операции «Табор». См., к примеру: РИА «Новости», 2002.

(цыгане, уроженцы Средней Азии), и по причине того, что она была непосредственно затронута запускающим событием (чеченцы, украинцы).

Интересно, что надзор за выходцами с Кавказа, Средней Азии, цыганами и украинцами пересекается с надзором за мигрантами. Многие представители перечисленных групп одновременно являются приезжими на территориях своего пребывания, что делает их особенно заметными для профессионалов безопасности. Статус мигранта и принадлежность к «неблагонадежной» этнической группе создает двойное бремя, резко повышая риск для людей с указанными характеристиками быть отсортированными в качестве представляющих высокий интерес для организаций, отвечающих за обеспечение безопасности. Это бремя особенно возросло для уроженцев Средней Азии после принятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, который относит иностранных граждан, приезжающих в Россию для работы и обучения «из стран с повышенной террористической активностью»¹³, к категории «лиц, подверженных идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние» (Комплексный план..., 2018: 4).

Кроме того, статус мигранта зачастую сопрягается с низкой социальной позицией и precariousностью занятости. По наблюдениям Биго, надзор за мигрантами представляет собой контроль над бедными путешественниками, которых рассматривают как угрозу стабильности принимающего сообщества (Vigo, 2004). Таким образом, данная форма надзора, помимо прочего, связана с социальной стратификацией и распространенными формами контроля над «низшими классами».

Секьюритизация и расовое профилирование выходцев с Кавказа, Средней Азии, Украины и цыган

Осуществлению расового профилирования каждой из названных групп предшествовали секьюритизирующие дискурсы, включавшие в себя секьюритизирующие правовые акты (обозначим их как перформативы первого порядка). Под правовыми актами при этом подразумеваются не только законы, но и подзаконные акты, в т.ч. общие, местные, локальные, ведомственные и прочие постановления, создающие огромное количество новых институциональных правил игры и узаконенных представлений.

Сложно сказать, исходил ли изначальный импульс установления особого надзора за перечисленными группами из центра или из регионов. Соответствующие

13. Перечень таких стран должен предоставляться аппаратом Национального антитеррористического комитета в рамках ежегодных рекомендаций по планированию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Хотя данные рекомендации в открытом доступе не обнаруживаются, в большинстве найденных документов, где указаны «страны с повышенной террористической активностью», речь идет о среднеазиатских государствах. В письме Минпросвещения России от 29.08.2019 № 06-920 «О методических рекомендациях» также говорится о «лицах, прибывающих в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона» (Письмо..., 2019: 13).

распоряжения, находящиеся в открытом доступе, не позволяют с уверенностью ответить на этот вопрос. Однако необходимо учитывать, что вследствие концентрации символического капитала в политическом центре, воздействие исходящих из него секьюритизирующих перформативов первого порядка, как правило, мощнее региональных аналогов. Это особенно хорошо заметно на примерах секьюритизирующих правовых актов, спускающихся из центра на периферию по многочисленным бюрократическим цепочкам и представляющих собой самореферентный дискурс, многократно воспроизводящий первичное перформативное высказывание. Таков, к примеру, принцип действия решения Комиссии Совета безопасности о проведении регулярных межведомственных профилактических операций «Табор» или Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, предусматривающего постоянную профилактическую работу с гражданами государств «с повышенной террористической активностью». Впрочем, даже когда секьюритизирующий перформатив создается региональными властями центральных субъектов, а не руководством тех или иных органов федеральной власти, он также имеет шансы быть воспроизведенным в других более периферийных регионах. Так случилось, например, с распоряжениями московских и петербургских властей, повторенными новгородской администрацией в 1994 году: *«С учетом решений Правительства городов Москвы и Санкт-Петербурга решить вопрос ограничения прописки в городе граждан «кавказской национальности», ввести их обязательную регистрацию в УВД, устанавливать срок пребывания в Новгороде»* (Постановление Администрации..., 1994).

Сказанное отнюдь не означает, что периферийные секьюритизирующие перформативы первого порядка не порождают производных перформативов. Любой правовой акт характеризуется способностью генерировать производные правовые акты, которые, в свою очередь, генерируют новые производные правовые акты и так далее до тех пор, пока первичный правовой акт не будет отменен или не утратит актуальность. Отличием периферийного перформатива первого порядка от его аналога, созданного в центре, служит лишь менее широкий ареал потенциального распространения.

Принцип самореферентного воспроизводства секьюритизирующего перформатива первого порядка можно проследить на примере распоряжения правительства Белгородской области от 19 декабря 2011 г. № 698-рп «Об утверждении межведомственного комплексного плана мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2012–2014 годы», предписывающего УМВД по Белгородской области, департаментам здравоохранения и социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики, управлению жилищно-коммунального хозяйства области, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов *«выявлять факты сдачи <...> помещений¹⁴ в аренду различным коммерческим струк-*

14. Речь идет об административных зданиях и жилых многоквартирных домах.

турам, обратив особое внимание на выходцев из Северо-Кавказского региона. При выявлении таких фактов принимать меры к расторжению договоров» (Приложение к Распоряжению..., 2011). Это предписание, спускаясь по вертикали, дословно воспроизводится в секьюритизирующих перформативах первого порядка более низкого уровня: распоряжениях администраций отдельных районов Белгородской области, городских округов и сельских поселений. Визуализация указанного процесса приводится на рисунке.

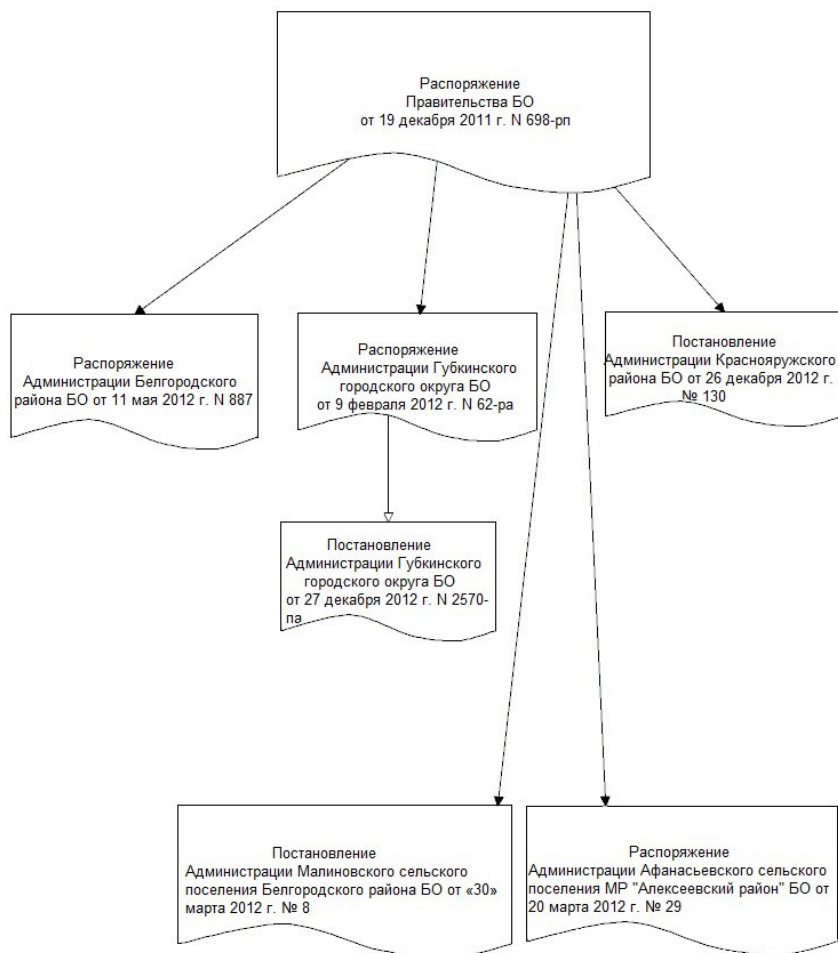


Рис. Процесс воспроизводства секьюритизирующего перформатива первого порядка на региональном уровне

Таким образом, перформативный правовой акт плодит производные правовые акты, постоянно тиражируя первичное перформативное высказывание, присваивающее выходцам из Северо-Кавказского региона характеристику «угрожающих» и превращающее все большее число акторов в исполнителей секьюритизирующих мероприятий.

Стоит добавить, что распоряжение правительства Белгородской области от 19 декабря 2011 г. № 698-рп само является производным, дословно цитируя более ранние постановления правительства Белгородской области от 7 июля 2006 г. № 152-пп и от 24 декабря 2007 г. № 289-пп.

В отчетных документах секьюритизирующие перформативы имеют тенденцию тиражироваться по горизонтали (посредством переписывания их друг у друга исполнителями секьюритизирующих мероприятий). Ярким примером горизонтального воспроизводства перформативов служат отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением. В частности, фраза *«Вам следует также обращать особое внимание на поведение лиц кавказского и цыганского этноса, своевременно информировать полицию об их неправомерном поведении»* (Информационно-аналитическая записка..., 2015), впервые появившись в информационно-аналитической записке участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Большесолдатскому району Курской области в 2015 году, была воспроизведена 52 раза в информационно-аналитических записках за 2017–2021 годы 40 его коллегами, работающими в Большесолдатском, Медвенском, Горшеченском, Тимском и Касторенском районах, а также в ОУУП и ПДН МО МВД России «Железнодорожский». Аналогичным образом фраза *«гражданам необходимо сообщать в отдел полиции либо участковому уполномоченному полиции о фактах обнаружения незнакомых лиц цыганской национальности, выходцев Северокавказского региона, иностранных граждан, по возможности запомнив марку и государственный номер автомобиля, на котором они передвигаются»* (Информационно-аналитическая справка..., 2014) была повторена в информационно-аналитических справках участковых уполномоченных полиции Брянской области за 2015–2020 годы 273 раза.

Бюрократический характер секьюритизирующих перформативов приводит к их постоянному воспроизводству, типизации и рутинизации. Обычным является перенос секьюритизирующих дискурсов и практик с одних таргетированных групп на другие. Показателен пример украинцев, подвергшихся профилированию значительно позже остальных. О том, что речь идет именно о тиражировании уже существующих подходов, свидетельствует типичный набор используемых в отношении этой группы надзорных технологий, ранее применявшийся к уроженцам Кавказа, Средней Азии и цыганам (сбор и обмен информацией заинтересованными ведомствами, разнообразные проверки, профилактические беседы), а также тот факт, что более чем в половине обнаруженных документальных источников выходцы с Украины фигурируют наряду с другими «неблагонадежными» группами. В частности, в информационно-аналитической справке об итогах деятельно-

сти Отдела МВД России по Балахнинскому району Нижегородской области за 2016 год сообщается: «В целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущение террористической угрозы одной из первоочередных задач, стоящей перед личным составом Отдела как в 2016 году, так и в наступившем 2017 является <...> выявление лиц, пребывающих из республик Северо-Кавказского региона, Среднеазиатских республик, Украины»¹⁵ (Деятельность..., 2016: 3).

Секьюритизирующие практики, информацию о которых можно почерпнуть в отчетных документах, непосредственным образом связаны с секьюритизирующими перформативами первого порядка. Как правило, в целом они соответствуют сценариям, содержащимся в секьюритизирующих правовых актах. Например, п. 3.4 Комплексной программы усиления борьбы с преступностью в городе Биробиджане на 2001–2002 годы предусматривал разработку и реализацию комплекса «мероприятий по проверке коммерческих фирм, предприятий всех форм собственности, в число аппарата управления которых входят лица кавказско-азиатской национальности, частных предпринимателей из числа выходцев из Северо-Кавказского региона на предмет пресечения финансирования экстремистских формирований на территории Чеченской республики, выявлению должностных лиц, оказывающих содействие по данным вопросам» (Приложение..., 2001). Согласно отчету о выполнении программы, «во исполнение пункта 3.4 программы в отчетном периоде проведено 16 проверок коммерческих фирм и предприятий в аппарат управления которых входят лица кавказско-азиатской национальности, частных предпринимателей — выходцев из Северо-Кавказского региона» (Приложение..., 2002).

Хотя нельзя исключать возможность разнообразных приписок и фиктивных сообщений должностных лиц, массовость отчетов о секьюритизирующих практиках, высокий уровень детализации части из них, наличие фотографических отчетов, не позволяет усомниться в реальном существовании соответствующей деятельности. Ярким примером детализированного описания секьюритизирующей практики может служить следующее сообщение: «В нашей области в течение месяца проведена операция «Табор». В проведении мероприятий по области еженедельно было задействовано более трёхсот полицейских. Отработывая жилой сектор, стражи порядка провели более 3,5 тысяч встреч, как с самими цыганами, так и их соседями. Параллельно проверялся их автотранспорт, на фотографический и дактилоскопический учёт были поставлены 287 лиц, 61 из которых прибыли в наш регион из других субъектов Российской Федерации. В основном это жители Тамбовской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Ростовской областей, Ставропольского края и Дагестана. Пять цыган приехали к нам из Украины, еще один — из Грузии» (Regnum, 2011).

Таким образом, расовое профилирование неразрывно связано с процессами секьюритизации и само по себе может рассматриваться как комплекс специфиче-

15. Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены.

ских секьюритизирующих дискурсов и практик, нацеленных на отдельные группы меньшинств. При этом секьюритизирующие дискурсы носят институциональный цитатный характер, постоянно воспроизводя первичный секьюритизирующий перформатив на разных уровнях бюрократической вертикали. Секьюритизирующие практики, являясь более или менее успешным воплощением сценариев, содержащихся в секьюритизирующих правовых актах, обладают высоким уровнем типизации и рутинизации, относительно легко распространяясь на новые группы, при возникновении новых «запускающих» событий/повесток.

Выводы и дальнейшие направления исследований

Расовое профилирование традиционно рассматривается как составная часть исследований уголовной юстиции. Хотя такой подход, фокусирующий внимание на распространенности дискреции в работе правоохранительной системы и разрыве между формально установленными нормами и реальными практиками, может быть плодотворен, он чрезмерно сужает исследовательское поле и обедняет выбор теоретических подходов для анализа указанного явления.

Исследование расового профилирования в контексте изучения надзора и секьюритизации позволяет углубить представления об этом феномене и разнообразить теоретическую палитру исследователя. Взгляд на расовое профилирование как на разновидность отслеживающих практик дает возможность проанализировать неравномерность распределения бремени надзора не только в терминах расовой/этнической предвзятости, но и в контексте социальной стратификации, ситуативных факторов, конъюнктурных интересов акторов, выступающих в роли надзирателей.

Проведенный анализ показывает, что, вопреки распространенному мнению о прямой причинно-следственной связи между расовой предвзятостью и расовым профилированием, эта связь может быть обратной (предрассудки могут возникать/укрепляться вследствие установления надзора) или играть менее значимую роль, чем зачастую предполагается. Кроме того, по всей видимости, для появления институционального расового профилирования (в отличие от профилирования, осуществляемого по инициативе отдельных лиц) простого наличия предвзятости недостаточно. Необходимо некое запускающее событие/повестка, стимулирующие установление особого надзора над той или иной группой, которая интуитивным образом связывается с этим событием/повесткой.

Теория секьюритизации углубляет понимание того, как отдельные группы населения становятся мишенью расового профилирования, позволяет проанализировать институциональные механизмы его осуществления. Применение бурдьевицкого подхода к анализу перформативных высказываний и фокусировка на секьюритизирующих перформативах первого порядка (правовых актах) дает возможность выявить непосредственную взаимосвязь между секьюритизирующими дискурсами и практиками, проследить их совместную работу по превраще-

нию ряда групп населения в «угрожающие», а массы игроков бюрократического поля — в исполнителей расового профилирования. Исследование показывает, что самореферентный характер перформативных дискурсов и практик приводит к многократному воспроизводству первичных секьюритизирующих высказываний и действий, их типизации, рутинизации и «пересаживанию» с одних групп на другие.

Представленная статья является лишь первой попыткой изучения расового профилирования в контексте теорий надзора и секьюритизации. Дальнейшими направлениями исследований могут служить: более подробный анализ дискурсивных стратегий секьюритизирующих субъектов (тех, кто постулирует угрозу, исходящую от отдельных групп населения, и принимает участие в создании первичных и производных перформативов первого порядка); изучение секьюритизирующих практик исполнителей распоряжений о расовом профилировании (как профессионалов безопасности, так и акторов, не имеющих непосредственного отношения к вопросам безопасности), их восприятия данных распоряжений, различий между реальным и декларируемым в отчетных документах поведением; исследование реакций внешних аудиторий на секьюритизирующие дискурсы и практики расового профилирования (включая игроков политического поля, общественные организации, локальные сообщества, широкие слои населения); анализ взаимосвязи расового профилирования с социальным неравенством, стремлением к установлению контроля над «опасными классами».

Источники

Информационно-аналитическая записка участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отделения МВД России по Большесолдатскому району к отчету перед населением Любимовского сельского совета по итогам работы за 6 месяцев 2015 года с Любимовка Большесолдатского района Курской области. URL: https://46.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti_pered_naseleniem/Bolshesoldatskij_rajon/item/6595423 (дата доступа: 12.06.2023).

Деятельность: Информационно-аналитическая справка. URL: <https://52.мвд.рф/folder/9573756/item/9573988> (дата доступа: 12.06.2023).

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665. URL: <http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html> (дата доступа: 12.06.2023).

РИА «Новости» (2002). В ходе спецоперации МВД России «Табор» раскрыто 592 преступления, совершенных цыганами. URL: <https://ria.ru/20020730/199698.html> (дата доступа: 12.06.2023).

Regnum (2011). Калужские полицейские провели профилактическую операцию «Табор». URL: <https://regnum.ru/news/1442133> (дата доступа: 12.06.2023).

- Постановление Администрации г. Новгорода от 26 апреля 1994 г. № 62 «О Концепции социально-экономического развития города на 1994–1995 гг.». URL: <https://base.garant.ru/16501260/> (дата доступа: 12.06.2023).
- Приложение к решению городской думы от 25.01.2001 № 203. Комплексная программа «Усиление борьбы с преступностью в городе Биробиджане на 2001–2002 годы». URL: <https://docs.cntd.ru/document/440583214> (дата доступа: 12.06.2023).
- Приложение 1 утверждено решением городской думы от 26.12.2002 № 499. Отчет о выполнении комплексной программы усиления борьбы с преступностью в городе Биробиджане на 2001–2002 годы. URL: <https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2498995> (дата доступа: 12.06.2023).
- Приложение к Распоряжению от 19.12.2011 г № 698-ПП План. Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2012–2014 годы. URL: <https://belg-gov.ru/doc/20798> (дата доступа: 12.06.2023).
- Информационно-аналитическая справка на выступающего 24 декабря 2014 года участкового уполномоченного полиции ОУУП И ПДН МО МВД России «Трубчевский», обслуживающего административный участок № 12. URL: <https://32.мвд.рф/Dejatelnost/deyatelnost/trubchevskiy/item/2993514> (дата доступа: 12.06.2023).
- Письмо Минпросвещения России от 29.08.2019 № 06-920 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по планированию и информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы в субъектах Российской Федерации»). URL: https://bgt-borsкое.ru/wp-content/uploads/2020/05/minprosvet_06_920.pdf (дата доступа: 12.06.2023).

Литература

- Бессонов Н. В. (2000). Цыгане и пресса. Вып. 1. URL: <http://gypsy-fond.com/pressai> (дата доступа: 12.06.2023).
- Воронков В., Гладарев Б., Сагитова Л. (ред.) (2011). Милиция и этнические мигранты: практики взаимодействия. СПб.: Алетейя.
- ВЦИОМ (2009). Толерантность против ксенофобии: этнические симпатии и антипатии россиян. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tolerantnost-protiv-ksenofobii-etnicheskie-simpatii-i-antipatii-rossiyan> (дата доступа: 12.06.2023).
- Григорьева К. С. (2019). Расовое профилирование. История и современное состояние исследований // Демографическое обозрение. № 4. С. 104–127.
- Григорьева К. С. (2020). Этнически избирательный контроль: дисфункция правоохранительной системы или социальный институт? // Журнал исследований социальной политики. Т. 18. № 2. С. 299–312.

- Гудков Л. (2004). Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. М.: Новое литературное обозрение, ВЦИОМ-А.
- ЕКРН (2007). Общеполитическая рекомендация Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью № 11: «О борьбе с расизмом и расовой дискриминацией в работе правоохранительных органов». URL: <https://rm.coe.int/compilation-of-ecri-sgeneral-policy-recommendations-march-2018-russia/1680923e0a> (дата доступа: 12.06.2023).
- Левада-центр (2015). Российско-украинские отношения в зеркале общественного мнения: сентябрь 2015. URL: <https://www.levada.ru/2015/10/05/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-v-zerkale-obshhestvennogo-mneniya-sentyabr-2015/> (дата доступа: 12.06.2023).
- Фуко М. (1999). Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. М.: Ad Marginem.
- Ball K. (2002). Elements of Surveillance: A New Framework and Future Direction // Information, Communication and Society. Vol. 5. № 4. P. 573–590.
- Bigo D. (2002). Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease // Alternatives. Vol. 27. Special Issue. 63–92.
- Bigo D. (2004). Criminalization of «migrants»: The side effect of the will to control the frontiers and the sovereign illusion // Irregular Migration and Human Rights: Theoretical, European and International Perspective / B. Bogusz, R. Cholewiński, A. Cysgan, E. Szyszczak (eds.). Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers. P. 90–127.
- Bourbeau Ph. (2014). Moving Forward Together: Logics of the Securitisation Process // Millennium: Journal of International Studies. Vol. 43. № 1. P. 187–206.
- Bourdieu P. (1991). Language and Symbolic Power. London: Polity Press.
- Buzan B., Wæver O., J. De Wilde (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Reiner
- Engel R. S., Calnon J. M., Bernard T. J. (2004). Theory and Racial Profiling: Shortcomings and Future Directions in Research // Justice Quarterly. Vol. 19. № 2. 249–273.
- Haggerty K. D., Ericson R. V. (2000). The Surveillant Assemblage // British Journal of Sociology. Vol. 51. № 4. P. 605–622.
- Lamberth J. (2004). Ann Arbor Police Department Traffic Stop Data Collection Methods and Analysis Study: Report for the City of Ann Arbor. URL: https://annarborchronicle.com/wp-content/uploads/2012/07/A2_FinalReport_012204_v6co.pdf (дата доступа: 12.06.2023)
- Lyon D. (2009). Surveillance, Power, and Everyday Life // The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies / C. Avgerou, R. Mansell, D. Quah, R. Silverstone (eds.). New York, NY: Oxford University Press. P. 449–472.
- MVA, Miller J. (2000). Profiling Populations Available for Stops and Searches. Police Research Series Paper 131. London: Home Office. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Profiling-Populations-Available-for-Stops-and-Miller/1005d76d353c62fcd-4bf334cfd6068079f09b13d> (дата доступа: 12.06.2023)
- State v. Soto. (1996). 324 N. J. Super. 66 (N. J. Super. App. Div. 1996)

- Trombetta M. J.* (2014). Linking climate-induced migration and security within the EU: insights from the securitization debate // *Critical Studies on Security*. Vol. 2. № 2. P. 131–47.
- Walker S.* (2001). Searching for the Denominator: Problems with Police Traffic Stop Data and an Early Warning System Solution // *Justice Research and Policy*. Vol. 3. № 1. P. 63–95.
- Wilkins v. Maryland State Police* (1994). Civ. No. MJG-93-468 USDC MD
- Wood D. M.* (2012). Beyond the Panopticon? Foucault and Surveillance Studies // *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography* / J. Crampton, S. Elden (eds.). Farnham: Ashgate. P. 245—263.

Racial Profiling as a Form of Surveillance and Securitizing Practice

Kseniya S. Grigor'eva

Candidate of Sociological Sciences, Research Fellow

Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences

Address: Krzhizhanovskogo Str., 24/35, korp. 5, Moscow, 117218 Russia

E-mail: kseniagrigroryeva@yandex.ru

Racial profiling research is a relatively new, dynamically developing field of knowledge, attracting the growing attention of the scientific community. However, the development of this area is associated with a number of theoretical and methodological problems. In addition to the difficulty of reliably establishing the racial imbalance itself in the law enforcement system using the currently existing methodological approaches, there is the problem of insufficient theoretical understanding of the phenomenon. Criminal justice studies, which traditionally include the study of racial profiling, are not very rich in theoretical approaches. As a rule, they focus on the discrepancy between legally established norms and real practices, and are more descriptive than analytical. In addition, focusing exclusively on the work of the police unnecessarily narrows the research field, leaving behind the scenes actors who are actively involved in the initiation and implementation of racial profiling, but are not directly related to the security field. This article attempts to place the issue of racial profiling within the broader context of the study of surveillance and securitization, using a case study of special controls on people from the Caucasus, Central Asia, Ukraine, and Roma in Russia.

Keywords: racial profiling; criminal justice studies; supervision; securitization

References

- Bessonov N. V. (2000) *Tsygane i pressa* [Roma and the press]. Issue. 1. Available at: <http://gypsy-fond.com/pressa1> (accessed 12 June 2023)
- WCIOM (2009) *Tolerantnost' protiv ksenofobii: etnicheskiye simpatii i antipatii rossiyan* [Tolerance against xenophobia: ethnic sympathies and antipathies of Russians]. Available at: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tolerant->

- nost-protiv-ksenofobii-etnicheskie-simpatii-i-antipatii-rossiyan (accessed 12 June 2023)
- Grigoryeva K. (2019) Rasovoye profilirovaniye. Istoriya i sovremennoye sostoyaniye issledovaniy [Racial profiling: the history and current state of research]. *Demographic Review*, vol. 6, no 4, pp. 104–127.
- Grigor'eva K. (2020) Etnicheski izbiratel'nyy kontrol': disfunktsiya pravookhranitel'noy sistemy ili sotsial'nyy institut? [Racial discrimination in policing: dysfunction in the law enforcement system or a social institution?] *The Journal of Social Policy Studies*, vol. 18, no 2, pp. 299–312.
- Gudkov L. (2004) *Negativnaya identichnost'*. *Stat'i 1997–2002 godov. [Negative identity. Articles 1997–2002]*, Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, «WCIOM-A».
- ECRI (2007) *ECRI General Policy Recommendation N11 on combating racism and racial discrimination in policing*, Strasbourg: Council of Europe. Available at: <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-11-on-combating-racism-and-racial/16808b5adf> (accessed 12 June 2023)
- Levada-Center (2015) *Rossiysko-ukrainskiye otnosheniya v zerkale obshchestvennogo mneniya: sentyabr' 2015* [Russian-Ukrainian Relations in the Mirror of Public Opinion: September 2015]. Available at: <https://www.levada.ru/2015/10/05/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-v-zerkale-obshchestvennogo-mneniya-sentyabr-2015/> (accessed 12 June 2023)
- Foucault M. (1999) *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated from the French by V. Naumov. Ed. by I. Borisova, Moscow: Ad Marginem.
- Ball K. (2002) Elements of Surveillance: A New Framework and Future Direction. *Information, Communication and Society*, vol. 5, no 4, pp. 573–590.
- Bigo D. (2002) Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease. *Alternatives*, vol. 27, Special Issue, pp. 63–92.
- Bigo D. (2004) Criminalization of «migrants»: The side effect of the will to control the frontiers and the sovereign illusion. *Irregular Migration and Human Rights: Theoretical, European and International Perspectives*. Eds. B. Bogusz, R. Cholewiński, A. Cygan, E. Szyszczak, Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 90–127.
- Bourbeau Ph. (2014) Moving Forward Together: Logics of the Securitisation Process. *Millennium: Journal of International Studies*, vol. 43, no 1, pp. 187–206.
- Bourdieu P. (1991) *Language and Symbolic Power*, London: Polity Press.
- Buzan B., Wæver O., J. De Wilde (1998) *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder, CO: Lynne Reiner.
- Engel R. S., Calnon J. M., Bernard T. J. (2004) Theory and Racial Profiling: Shortcomings and Future Directions in Research. *Justice Quarterly*, vol. 19, no 2, pp. 249–273.
- Haggerty K. D., Ericson R. V. (2000) The Surveillant Assemblage. *British Journal of Sociology*, vol. 51, no 4, pp. 605–622.
- Lamberth J. (2004) *Ann Arbor Police Department Traffic Stop Data Collection Methods and Analysis Study: Report for the City of Ann Arbor*. Available at:

- borchronicle.com/wp-content/uploads/2012/07/A2_FinalReport_012204_v6co.pdf (accessed 12 June 2023)
- Lyon D. (2009) Surveillance, Power, and Everyday Life. *The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies*. Eds. C. Avgerou, R. Mansell, D. Quah, R. Silverstone, New York, NY: Oxford University Press, pp. 449—472.
- MVA, Miller J. (2000) Profiling Populations Available for Stops and Searches. *Police Research Series Paper 131*, London: Home Office. Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/Profiling-Populations-Available-for-Stops-and-Miller/1005d76d353c62fcd4bf334cfd6068079f09b13d> (accessed 12 June 2023)
- State v. Soto (1996) 324 N. J. Super. 66 (N. J. Super. App. Div. 1996)
- Trombetta M. J. (2014) Linking climate-induced migration and security within the EU: insights from the securitization debate. *Critical Studies on Security*, vol. 2, no 2, pp. 131-47.
- Voronkov V., Gladarev B., Sagitova L. (eds.) (2011) *Militsiia i etnicheskie migranty: praktiki vzaimodeistviia* [Police and ethnic migrants: practices of interaction], St-Petersburg: Aleteya.
- Walker S. (2001) Searching for the Denominator: Problems with Police Traffic Stop Data and an Early Warning System Solution. *Justice Research and Policy*, vol. 3, no 1, pp. 63–95.
- Wilkins v. Maryland State Police (1994) Civ. No. MJG-93-468 USDC MD
- Wood D. M. (2012) Beyond the Panopticon? Foucault and Surveillance Studies. *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography*. (Eds. J. Crampton, S. Elden). Farnham: Ashgate, pp. 245—263.

The State and the Class in Qajar Iran, 1794-1925

Sara Sharifpour

Master's degree, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Guilan University, Rasht, Iran.
Address: Namjoo St. Jafari Alley, Namjoo Building Rasht, Iran
E-mail: sam23.sharhifpour@gmail.com

Hadi Noori

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
Address: Namjoo St. Jafari Alley, Namjoo Building Rasht, Iran
E-mail: h.k.noori@gmail.com

Mohammad Reza Gholami

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
Address: Namjoo St. Jafari Alley, Namjoo Building Rasht, Iran
E-mail: mgholamiz014@yahoo.com

The form of the relationship between the state and social class throughout the history of Iran has always been explained by theories of the 'Asiatic mode of production' and 'Oriental Despotism'. According to these theories, the power of the state is unlimited and it has all classes under its control. Meanwhile, many historical data of the Qajar era question this point of view and represent a situation in which various social forces limit the power of the state. The present article was written in response to the conflict between the theory of the 'Asian state' and the historical reality of the Qajar era. The main question of the article is: was the Qajar state limited by the social classes or did it have absolute and supra-class power? In answer to this question, the state classifications of Elman Service, Andrew Vincent, Max Weber, Karl Marx and Samuel Huntington are used. The research method is a historical case study that collects and analyzes data using two documentary methods and pattern matching. The results of the research show that the pattern of "balance, opposition and limitation" is established in the relationship between the state and the social classes of the Qajar era. This pattern can be described according to the classification of states based on the criterion of "accumulation and distribution of power". It is split into three periods. The first period is characterized as a "patriarchal" state, the second — as a "patrimonial" state, and the third — as a "constitutional" state. The state in the first and second Qajar periods was associated with a low accumulation of power and centralized power distribution, and in the third period, that of post-constitutionality, it took the form of a low accumulation of power and scattered power distribution.

Keywords: Oriental Despotism, Iran, Patrimonialism, Asiatic mode of production, Qajar.

Intoduction and statement of the problem

The analysis of Iranian society's historical development, particularly of the Qajar era, is commonly and predominantly conducted through the 'Asiatic mode of production' theory, which provides a special explanation of the relationship between the state and different social classes (Don, 1989). According to Marx and Engels, who are considered founders of the theory (Marx, Engels, 2010: 82), the economic and social structure of

Europe differs significantly from that of Asia. Asian societies have a specific mode of production that distinguishes them from European societies (Wittfogel, 2011).

This theory of power and class forms in this type of society and the way the two relate to each other delineates an unlimited and absolute autocratic state. In this state, different social classes, from serfs and tradesmen to courtiers, are nothing in comparison to the will of the monarch (Seif, 2008: 138). In this case, we are witnessing a powerful state that does not express the interests of any of its classes. Different social classes are in a kind of generalized slavery to the absolute power of this state, which is responsible for the ultimate ownership and control of everything. Maurice Godelier points out in his classic piece that the Asiatic mode of production is characterized by two dominant features: the lack of independent social classes and centralized governance (Godelier, 1978).

The theories of 'Asiatic mode of production' and 'Oriental Despotism' have some impassioned followers in Iran. Inspired by these two theories, Mohammad Ali Homayoun Katouzian states that throughout its history, Iran has been both an autocratic state and society, and these two have been independent and at enmity with each other (Katouzian, 2000: 32). According to him, absolute power, monopoly on property rights, autocracy, lack of law, illegitimacy and lack of continuity are among the characteristics of this type of state in Iran (Katouzian, 1998: 18). Yervand Abrahamian emphasizes the existence of such characteristics in Asian societies including Iran (Abrahamian, 1997: 5) and comes to the conclusion that the "Eastern despot" was able to rise to the top and dominate society due to his powerful nature (Ibid: 10). Some European travel writers also agree in drawing such a picture, as can be seen in Gaspar Drouville's travelogue, for example, written during the reign of Fath Ali Shah, where the author highlights the Shah's unbounded power over the people of Iran, describing the latter as the Shah's possessions (Drouville, 1985: 182).

Despite this image of Iran's political structure, some empirical facts of the Qajar era are such that the theory of the unlimited power of the state against the classes and the helplessness of the people against the iron will of the king, as is depicted by the theory of 'Oriental Despotism', is challenged. One example of this was the power of Prince Masoud Mirza, who in 1888 ruled almost half of the country (Dalmani, 1956: 907; Vanessa, 2010: 140). Polak stresses the might of Mirza Agha Khan Nouri in describing the role of Shah wives' in his espionage system, used to gain awareness over the Shah's actions and thus limit his power (Polak, 1989: 274). Also, the privilege of Shosse road, which was created by the Lynch Company to facilitate British commercial activities on the territory of the Bakh-tiari tribe, was granted to the tribal leaders and thus became part of their private property, making them enormously wealthy (Pavlovichet al., 1978: 74). As a consequence, some scholars believe that the state literally did not exist during the Qajar era (Lambton: 1972: 180).

In addition, during the Qajar period, several uprisings of various scale could be witnessed, stirred up by different classes of society to assert their demands and challenge the central power, and at times the state was so weak that it inevitably gave in to the expectations and demands of the discontented. Examples include the tobacco uprising during the time of Nasseruddin Shah (Feuvrier, 1989: 222) or the great constitutional movement

that led to the signing of the constitutional decree by Muzaffaruddin Shah (Kasravi, 1984: 99). Even on a smaller scale, one of the Qajar kings was overwhelmed by the demands of the women who had rushed to the bakeries and finally to the royal citadel out of hunger (Etemad al-Saltaneh, 1363: 1027). In addition, many great religious figures, including great religious authorities, had great influence on the kings. It is even said that the Qajar kings were afraid of a general uprising when the weather was unfavorable and the crop was bad as a result (Abrahamian, 1997: 20).

The problem of the present article is the stark contrast between the assumed theory of the 'Asiatic mode of production' and the empirical data of the Qajar era. Can the relationship between the state and the class of the Qajar era be described as "Oriental despotism" or the Asian state (Wittfogel, 2011; Katouzian, 2013, 2014), or is it that in the era in question, we are witnessing a state where the power of the kings comes from the ruling classes? Was the state limited by the influential classes of society such as clergymen, rich merchants, local nobles, state rulers, princes, big landowners and masters of helots? Did the Qajar state enjoy the concentration of power or was there something more akin to power pluralism? Based on this issue, the current research revolves around the following question, "Was the Qajar state limited by the social classes or did it have absolute and supra-class power?"

Theoretical and methodological framework

The literature review of the relationship between the state and the class can be analyzed in two ways. The first one includes the theories of historical evolution of the Iranian society and comprises Marxist theories on the feudal and semi-feudal systems and the Asiatic mode of production (Ashraf, 1347: 19). The work of Soviet Iranologists such as E. P. Petrushevsky (1967), N. E. Loskaya (1977), A. M. Diakonoff (1968) and G. Lukonin (1971) is known to rely on this materialistic interpretation of history emphasized by Stalin (Pigulevskaia et al., 1977: 597-568). The theory of the feudal system in Iran has been proposed by such scholars as Herzfeld, Poliak, Kahn and Christensen. Herzfeld identifies the Achaemenid era with the feudal system, Poliak and Kahn consider the Islamic eqtā to be the same as the Western fief (Ashraf, 1347: 21) and Christensen considers the age of Sassanid society to be comparable to the period of feudalism (2004: 35-36). The third approach includes scholars like E. K. Lambton, R. Cole Burn and Max Weber, who emphasize the difference between the Eastern landowner and the Western feudal and consider the Eastern systems as lacking the main features of feudalism. The theory of the Asian system in Iran was first proposed in the 1850s by Karl Marx and Friedrich Engels (Don, 1989: 146; Marx, 1956: 124). After them, Carl Wittfogel in *Oriental Despotism* (1957) deals with a technological interpretation of the Eastern empires (Turner, 2001: 7). The defenders of this theory in Iran are Mohammad Ali Khangī, Mohammad Ali Katouzian, Ahmad Ashraf, Parviz Pouria, and Habibullah Peyman (Peyman, 1995: 89).

The second category of literature related to the subject examines the position of the state and the class during the Qajar era. Ahmad Ashraf and Ali Banuazizi in the book

“Social Classes, State and Revolution in Iran” (2007) show how the foundation for the formation of modern social classes was provided in the Qajar era. Using the theory of autocratic government, Katouzian in the *Conflict between the State and the Nation* regards all the governments throughout Iran’s history as autocratic and Iranian society in all historical periods as short-term, static and lacking in dynamism. In *Social Classes and the Shah’s regime* (2001), Mohammad Rahim Eivazi uses the neo-patrimonial theoretical model to understand the structure of power in the Pahlavi state and its relationship with social classes. In his article “The nature of government in pre-constitutional Iran” (2008), Mohammad Javad Etaat relied on Weber’s theory of legitimacy to show that the government’s political structure in pre-constitutional Iran was of a traditional type. Alireza Samiei Esfahani in his article “Strong Society, Weak Government: Sociological Explanation of State-Society Relations in Qajar Era Iran” (2007) outlines his belief in the reflective state-society relationship and seeks a realistic explanation of this relationship’s logic in Qajar Iran. In the article “Investigation of the Class Nature of Merchants in Qajar Period” (2008), Ali Mohammad Hazeri and Hadi Rahbari try to explain the question of whether the merchant class in the period under consideration acted independently of the government. In the article “Historical Sociology of the State: A Break into the Connection of the Elites and the Structure of the State in the Safavid Era” (2012), Naser Jamalzadeh and Ahmad Dorusti pay attention to the relationship between the political elites of the Safavid era and the ruling government. Jafar Aghazadeh’s 2013 doctoral dissertation, “Mutual Attitude of the Governmental Family and Iranian Society in the Qajar Period”, concludes that the government rulers considered the people as their servants and subjects throughout the first Qajar period. This mutual attitude did not change noticeably, despite foreign interventions and the introduction of new ideas.

The present study examines the relationship between the state and the class during the Qajar era from a different perspective. Some researches analyze the issue through historical explanations, independent of theoretical considerations. Others approach historical evidence from the perspective of a specific theory, enclosing historical evidence in narrow theoretical formats. The present research, aspiring to move away from the two flaws mentioned above, seeks to exchange theory and evidence in order to find out the historical model consistent with the theoretical model.

The issue of the model of the relationship between the state and the class is placed in the framework of the field of political sociology (Nash, 2011: 9). It is possible to examine this relationship from different perspectives.

Based on archaeological and ethnological scholarship, evolutionary researchers have reconstructed the trajectory of societies from the simplest to the most complex form. Elman Service, an American anthropologist, divides the political structure of human societies into four stages: group, tribe, chiefdom, and state (Service, 1962). The “group” consists of the extended family, where no one claims a greater share of wealth. The “tribe” refers to a larger social unit including a number of families who are related to each other (Demarrais, 2005). The “chiefdom” as a social and political unit is characterized by the control of resources in the hands of the Khan and integration of several settlements by

central power and hereditary authority. Social hierarchy is based on unequal access to goods and production resources, but personal wealth is not significant (Service, 1962). The fourth stage is the “state”. Early states have more population than the previous societies, their institutions are more formal, they possess means to enforce laws, collect and register taxes, and the distance between the privileged class and the common people is greater than that of the khanate (Flannery, 1998). Service’s classification was criticized by some researchers due to its limitation and uniformity, thus inspiring new classifications. For example, Fried’s three-stage classification (Fried, 1967) based on political relations (egalitarian, rank and class society) and Johnson and Earl’s classification (Johnson, Earl, 2000) based on environmental, cultural and social diversity.

In the field of historical classifications of the state, Andrew Vincent deals with the five classifications of absolutist, constitutional, ethical, class and pluralistic states based on their historical development. The “absolutist state” features five elements: (1) sovereignty: the ruling person is the source of law and responsible only before God; (2) ownership: the state is the personal property of the king; (3) divine right: the ruler reigns based on the decree and the protection of God; (4) expediency: only the ruling person could recognize the expediency of the state; (5) personality: the (legal) person of the king is considered to be identical with the whole country and the state (Vincent, 1997: 86-85). “Constitutional state” seeks to limit power and maintain order based on the constitution. The characteristics of the constitutional state are as follows: (1) natural law, (2) natural and human rights, (3) social contract, (4) popular consent, (5) popular sovereignty; (6) civil society (ibid: 160-175). “Ethical state” is the term coined by German idealist philosophy and Friedrich Hegel. Hegel talks about the evolution of various state forms, synonymous with the stages of evolving individual consciousness: (1) external state which is a liberal and constitutional state; (2) political state; it implies the separation of powers and guarantees public freedom; (3) “ethical state” as a moral institution that includes the moral interests of individuals in the form of its laws and political structures (Ibid.: 206-211). “Class state” was proposed by Marx and Engels. This state is considered to be the manifestation of class relations and is not representative of any collective or contractual good or public goal (Ibid.: 206-223). A pluralistic state is a state where “there is no single authority or source of authority that is competent and inclusive in all respects”. The task of the ruling assembly is to regulate relations between groups and individuals in order to ensure justice, order and freedom (Ibid.: 309-310).

From the perspective of political sociology, the theories of the state are categorized into four groups: Marxist, elitist, pluralistic and postmodern (Bashiriyeh, 1995: 30). Postmodern theories focus on the relationship between power and knowledge, which is out of the agenda of this research. Pluralist states were described within the fifth clause of Vincent’s classification. Among elitist theories, Max Weber’s state theory can be mentioned. Weber speaks of three types of authority: traditional, rational-legal and charismatic, the interest of this research is the first type.

Traditional authority, or the authority of “eternal past”, is the authority whose legitimacy is based on the sanctity of traditions and systems that have existed since ancient

times. The organization of this authority is based on personal loyalty to the ruler. The subordinates of the ruler are his personal crew and relatives (Weber, 1995: 323). The ruling decrees are legitimized in two ways: (1) the tradition that determines the content, meaning and extent of the decrees; (2) the will and authority of the ruler, whose boundaries are determined by tradition. The master governs either with the help of organizational headquarters or without them, and the most common organizational principle is to give the highest positions to relatives of the ruling family (Weber, 1995: 325-325).

Weber considers traditional authority as including four types: gerontocracy, patriarchalism, patrimonialism, and sultanism. The common feature among them is that the ruling power is bound and dependent on the principles of tradition, and the difference between them is that gerontocracy and patriarchalism do not have a bureaucracy and an executive system, as opposed to patrimonialism and sultanism. Gerontocracy here refers to systems where power is exercised by elders, who hold authority due to better knowledge of sacred tradition and social custom (Ibid.: 328). Patriarchalism is taken to mean an economic organization or individual kinship based on the principles of inheritance, where authority relies on personal loyalty and obedience and does not adhere to abstract rules. It implies the dominance of the father or husband over family members alongside the authority of the hereditary ruler and prince over their subjects (Ibid.: 340; Weber, 1978: 1006). The important point in gerontocracy and patriarchalism is the mutual right of the ruler and subordinates to each other and the adherence of both to tradition. Sources stress the ruler's lack of total possession over subjects, tracing the former's strong dependence on their people's desire to obey in the absence of a personal administrative apparatus and reliance on traditional dignity (Ibid.: 328).

Patrimonialism is the late form of traditional systems, the formation of which is a gradual process resulting from the change in the structure of patriarchal power. With the development of the judicial and administrative system, and especially the military system, the traditional patriarchal authority was transformed into a hereditary patrimonial system. Weber posits that the emergence of the ruler's administrative and personal headquarters tended to shift traditional authority towards either patrimonialism, or, in the case of an extraordinarily powerful ruler, to sultanism (Ibid.: 329). Relatives would become subjects and the master's right — his personal right. Accordingly, patrimonial authority refers to an authority that is basically bound by tradition, but is actually exercised through the personal will of the master. If the patrimonial authority is applied without observing the tradition, basically on the basis of personal will, it is called sultanic authority (Ibid.: 329). Of course, the boundary between these two is not clear. Sometimes it seems that the Sultan's authority is not limited by tradition, but actually it is never like that. Despite this, the non-traditional element is not impersonally rationalized, but only includes the extreme expansion of the master's personal will. This is the feature that distinguishes it from rational authority (Ibid.: 329).

In patrimonialism, the ruler's absolute power over the individual is overshadowed by vulnerability in the face of all his subjects. Thus, tradition that limited the domain of the ruler's tyranny created almost everywhere a legally unstable, but essentially effective

system (Ibid.: 347; Weber, 1978: 1012). The patrimonial ruler organizes his political power over his political subjects, without using physical force, like his household power. In the patrimonial state, the most important duty of the subjects to their political leader is to provide for his material needs (Ibid.: 350; Weber, 1978: 1013). Unlike feudal serfs, “political subjects” are free, similar to free peasants; their services and taxes are traditionally determined and fixed; they have control over their property; they can marry without the master’s approval and consent; they are allowed to sue in a court other than the ruling court (Ibid.: 350, 359; Weber, 1968: 1012-1013).

James Bill and Karl Leiden used this notion of patrimonial authority to analyze the political systems of the Middle East and considered their characteristics to be personal power, closeness, and informality of politics, balanced conflict, militarism and religious justification (Bill, Leiden, 1974: 160-177). John Foran uses the concept of “repressive state” with the two key elements of monopoly and personalism (Foran, 2015: 231). Juan Linz used the concept of the sultanic state in the classification of non-democratic states, and after him, Gunter Roth used it in his study of political systems in the Middle East. By separating the concept of patrimonialism from traditional legitimacy, Roth emphasized the personal aspect of patrimonialism and called it “personal sovereignty”. However, Roth refers to Weber’s obsolete term “sultanism” when describing the highly centralized type of personal government in which the ruler has maximum power over affairs of the state (Roth, 1968: 203). While confirming Roth’s theory that the basis of personal rule is personal loyalty in connection with material rewards, Juan Linz made a practical typology of four political systems based on modern personal dominance: modern sultanism, oligarchic democracy, military patriarchy and the authority of influential people (Linz, 2002: 11-62).

The concept of “neopatrimonial state” is proposed by Samuel Eisenstadt. According to Eisenstadt, neopatrimonial states are relatively modernized, with modern bureaucratic and party government, but in fact a powerful individual exerts their rule over society not through impersonal rules, but through an extensive system of personal patronage. Such states have the democratic appearance of parliament, parties, constitutions and elections, but the decisions of the head of state are absolutely certain because the system supports them and, if necessary, uses force to ensure the surrender of the legislature and parties, biased interpretations of constitutions and electoral victories. The basic characteristics of the neopatrimonial state are its reliance on the support of the elites, discord and disunity among the elites, the system of extensive personal support over the society, and the non-political nature of the people (Goldstone, 2015: 110-111). According to Juan Linz, the neopatrimonial state is in essence close to sultanism and shares similar tendencies, however, the freedom and authority of the ruler are narrower and the circle of supporters is wider (Linz, 2010: 27).

Along with Weber’s understanding of the state and its types of authority, it was Marx who for the first time addressed the relationship between the state and society from a sociological point of view (Bashiriyeh, 2000: 30). Marxist theories of the state are not found in the text or a specific book by Marx himself, and in his works he has put forward

various and sometimes conflicting opinions. Dunleavy & O'Leary divide Marx's analysis of the state into three models: instrumental, arbitrational and functional (Nash, 2011: 23). David Marsh and Jerry Stoker also emphasize the existence of two Bonapartian and class views on the relationship between the state and the class in Marx's writings (2001: 385). Due to the overlap of these two classifications and the lack of attention of both of them to Marx's articles about India and Asian societies, in which he emphasizes the existence of the Asiatic mode of production and its specific state, Marx' views on the state are classified in the framework of three models that are the class state, the Bonapartian state, and the Asian state, in which the state is characterized by the lack of power, relative power, and absolute power, respectively.

Class state; According to Marx's political economy, political conflicts at the state level only reflect real class conflicts in society. In the *German Ideology*, Marx writes about the conflict between special and general interests, in which the latter finds independence in the form of the state, separated from the real individual and group interests. He states that the struggles within the state are imaginary forms, since the general interest is the imaginary form of public interest (Marx, 2000: 35). According to this instrumentalist theory by Marx, both the form and the nature of the state depend on the classes, and although the state may have different forms in terms of time, place, shape and nature, it is generally dependent on the classes. In all these cases, the state is a dependent and a tool of the ruling class (Dripper, 2003: 198). The state is a tool of class domination, and the work of the ruling class is to introduce its interests as the common interests of the society by using all the tools available, so the state becomes an instrument for this work (Hamilton, 2001: 5; Marx, 2000: 74). In the final analysis, according to this model, the state becomes subordinate to the dominant class in society and has no independent power.

Bonapartian state; Marx's theory of the Bonaparte's state is mentioned in the books *The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon* (1852) and *The Class Struggles in France 1848-1850* (1850). In the first book, Marx focuses on the social preconditions of Bonaparte's acquisition of power and bases the general narrative of events on the specific analysis of countless social forces that, according to Marx, were balanced by him (Kelly, 2004: 23). In his preface (1869) to the second German edition of *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, he expressed his hope that his book would lead to the rejection of the term Caesarism or the Caesarian system, which was difficult to use in those days, especially at that time, due to the stark difference between the conditions, both material and economic, of the class battles in the ancient and modern worlds (Marx, 2007: 6). Therefore, his goal was to show how the class struggle in France created a situation when all French political and cultural institutions "vanished like a phantasmagoria before the spell of a man whom even his enemies do not make out to be a sorcerer" (Marx, 2007: 5).

The issue is that in 1848, the coalition of the bourgeoisie under the name of the 'Order Party' managed to take over all the organs of the state and succeeded in defeating and eliminating the coalition of petty bourgeoisie and workers under the name of the Social Democratic Party (Ibid.: 53-92). The class struggle came to an end, but then the struggle between the state (Bonapartian) and the National Assembly began. The state, which was

created by the bourgeoisie but lacked independent power, managed to build its social base in those days of class struggle. It formed the “December 10 crowd” consisting of *Lumpenproletariat* and introduced himself as its real representative, that is of the people and its will expressed through the law (Ibid.: 104). The bourgeoisie, which had, as stated, destroyed the conditions of the parliament’s power with its own hands in its struggle against other classes (Ibid.: 120) by becoming a parliament without a cabinet and an army, unsupported by the people and public opinion, lacking in awareness and influence (Ibid.: 117), in reality left the executive power to the state of Bonaparte (Ibid.: 121), who had a cabinet independent of the parliament in November 1849, a cabinet outside the parliament by January 1851 and an anti-parliament cabinet in April 1851 (Ibid.: 123). In this way, the financial and industrial bourgeoisie outside the parliament against the bourgeoisie inside the parliament supported Bonaparte. So, the complete victory of Bonaparte and the demonstration of the revival of the empire took place with the December 10 coup (Ibid.: 138-157). Thus, the bourgeoisie’s fear of the rise of the proletariat and the proletariat’s fear of the rise of the bourgeoisie caused both of them to appeal to Bonaparte to take the state power (Ibid.: 158-162, 178). With the overthrow of the parliamentary republic, “France went from the tyranny of one class to the tyranny of one person” (Ibid.: 163).

Marx’s interpretation of the formation and nature of Bonaparte’s government is that he sees it as a continuation of the absolute monarchy of the 16th century, and while the first French revolution and Napoleon the First had helped to develop the concentration, scope, powers and administrative apparatus of government’s power, in the next Napoleonic period the government reaches full independence (Ibid.: 165-164). However, the state’s power is not fixed, and Bonaparte represents a specific class: the small-owner peasants (Ibid.: 166-167). Perhaps the phrase “class state independent of classes” is the most appropriate description for such a state. It is here that Marx outlines five characteristics (under the title of “Napoleonic thought”) for Bonaparte’s state: (1) class state (small-ownership); (2) strong and absolute state; (3) large bureaucracy; (4) establishing the dominance of the priests as a tool of the state; (5) the superiority of the army (Ibid.: 173-177). According to Marx, all these “Napoleonic ideas” developed in line with the class interests of the small-ownership (Ibid.: 177). The state of Bonaparte is an independent executive branch of society that acts in its own name and feels that it is its mission to protect the bourgeois order. It wants to defend the interests of the lower class within the framework of bourgeois society, so much so that everyone calls him the benevolent father of social classes (Ibid.: 179-182).

The analysis presented in *The Eighteenth Brumaire*, like that in the treatise on *Critique*, suggests that the agents of the state are not merely coordinators of political life for the benefit of civil society’s ruling classes. In certain circumstances (for example, when there is a relative balance between social forces), the executive branch has the possibility to initiate political reforms and coordinate transformations (Held, 1990: 186). In the article of 1858, Marx himself considered the secret of Bonaparte’s victory in the “mutual exhaustion of the opposing parties”. Friedrich Engels also wrote in the same year that its precondition was a timely indifference of the middle classes, coupled with the fruitless struggle of

the warring classes (Dripper, 2003: 402). In this interpretation, the state has a degree of independent power or relative independence from the upper class (Nash, 2011: 23). This state has a direct impact on civil society and prevents the exercise of the power of the bourgeoisie on the political scene. However, Marx stresses that the power of the state is not stable and indisputable (Ibid.: 166) and cannot be completely unconstrained by the owners and controllers of the means of production (Held, 1987: 119). The amount of state initiative towards civil society and its forces is limited, and the state in capitalist society cannot free itself from its dependence on the dominant class (Marx, 2007:163-162). In this model, the state has relative independence from the dominant class, which means that the state possesses relative power.

Asian state; Marx and Engels, after outlining the historical evolution of societies from the early civilization to socialism, examined in their historical researches the types of modes of production in different regions of the world. In his letter to Engels on June 2, 1853, Marx mentions the lack of private landowners as the real key to the “Eastern Paradise” (Anderson, 2011: 666). In response, Engels sees the cause in the climatic conditions, the type of soil, and in addition, in the existence of vast deserts. In such a situation artificial irrigation as a prerequisite for agriculture caused centralized water supply and resulted in the construction of irrigation facilities by the centralized authoritarian state (Wittfogel, 2011: 574). A week later, Marx announced his agreement with this idea.

In the same period, Marx sent their common thoughts in the form of a collection of articles to the *New-York Daily Tribune* newspaper. On its pages he introduced climate and regional conditions as the cause of artificial irrigation by water facilities, this primary necessity of economic and public use of water in the East caused the intervention of the centralized state power (Marx, Engels, 2010: 82). Although in works such as *Grundrisse* (1857) and later, Marx emphasizes the factor of “communal self-sufficient villages” as the essence of the Asiatic mode of production and its autocratic governments, in *Capital* (1867) he returns to his first classic position and emphasizes the monopoly of state land-ownership (Anderson, 2011: 682).

Thus, these two elements, the lack of private landownership and the presence of large-scale state water facilities (apart from being contradictory) are presented by Marx and Engels as the two main characteristics of the Asian state, in which the autocratic state machine had control over the production surplus. It was the central apparatus of suppression and the main tool of economic exploitation used by the ruling class. There was no intermediary force between the self-reproducing villages from below and the overly large state from above (Ibid.: 680). In such a situation, “the state is the supreme master” (Marx, 1956: 791). The absolute ruler is the representative of society, the supposed owner of all lands, and the management of their affairs is delegated to him.

As can be seen, Marx’ triple model of the state analyzes the relationship between the state and the class on three different levels. In the class model, the state lacks power and independence from the dominant class, the Bonapartist state has relative independence from the dominant class, and the Asian state has absolute power and autocratic authority over all classes of society.

In addition to the theoretical models mentioned above, we can refer to Samuel Huntington’s classification of political systems based on the two criteria of power distribution (centralized and decentralized) and power accumulation (low and high) (Huntington, 1991: 210-211). Based on this classification, the concentration of power does not necessarily cause an accumulation of power. One can imagine a state with a high concentration of power but with a low accumulation of it. It seems that Huntington’s classification is a suitable basis for drawing the types of government in the form of four distinct categories of low centralized power, high centralized power, low decentralized power, and highly dispersed power, as shown in Figure 1. Returning to the main question of this article, of whether the Qajar government had limited power or absolute and trans-class power, it is reasonable to examine it within the framework of the following classification.

Figure 1. Formation of states based on the accumulation and distribution of power.

Power		Accumulation of power	
		low	high
Distribution of power	centralized	Absolute state Patriarchal state Patrimonial state Neopatrimonial state Bonapartian state	Totalitarian state Asian state Sultanian state
	scattered	Feudal state Class state	Pluralist state

The current research method is a historical case study in which a phenomenon generates extensive information using various data collection methods over a long period of time (Creswell, 1994: 12), information that is combined with the aim of garnering results from it (Blaikie, 2011: 281). The case study is a powerful method in the social sciences that is useful for generating and testing hypotheses (Flyvbjerg, 2006: 229).

The information is collected through the document method in the form of written history (Baker, 1998: 326). Written documents are classified into two categories: first-hand sources and second-hand sources (Sa-e, 1391: 136). Third-hand documents, such as library catalogs, introduce first-hand sources and serve as a source for finding other documents (Flick, 2011: 278).

For data analysis, there are three general strategies: pattern matching, explanation, and time sequence (Yin, 1997: 151-167). As this case study is descriptive, the pattern matching method (type of rival explanations) is used (Griffin, 1993: 1097). This involves comparing the pattern based on historical experience with the predicted theoretical pattern. The successful match between the experimental model and one of the competing models indicates the correctness of the theoretical model (Yin, 1997: 154).

In the Qajar historical sample, a threefold theoretical model of the relationship between class and state was used to accurately determine the general pattern governing the sample.

Research findings

Understanding the relationship between the state and the class in the Qajar era depends on providing historical evidence that fits the proposed theoretical models. In this section, we will try to answer the research question by describing the relationship between the different classes of Iranian society and the Qajar state

The State and the Clerics

General Gardan (1766-1818), who came to Iran on behalf of Napoleon to carry out a mission during the reign of Fath-Ali Shah Qajar (1769 –1834), wrote in his memoirs that if in Europe religion could no longer stimulate people like it used to, and was transformed into a simple faith, this was not the case in Asia, where its strength was still huge, and the clerics possessed an ability to drive people in any direction they want by stimulating their sense of superstition (Gardan, 1983: 146).

Agha Muhammad Khan (1742-1797) was a religious person who, in line with his religious and traditional interests, adopted conservative policies. Despite the fact that he sometimes used the mediation of some clerics to spare the lives of some rebellious people, he did not have close and friendly relations with them, except for one cleric named Molla Muhammad Hossein Mazandarani known as “Molla Bashi” and another cleric named Mirza Muhammad Ali Behbahani, to whom he had special devotion (Hedayat, 1959: 85). Unlike Agha Muhammad Khan, Fath-Ali Shah Qajar had a very close relationship with the clerics and always asked them to choose Tehran as their place of residence instead of living in Iraq or Qom (Tonekaboni, 1925: 105). The Shah’s enmity toward the Sufis, who angered Shiite religious leaders, can be seen as an example of the intellectual influence exerted on him by the clerics (Varharam, 1988: 156). In general, it should be said that the political power of clerics in the discussed period was strengthened by the declaration of Jihad against the Russian infidels during the series of wars between Iran and Russia (Adamiyat, Natiq, 1978: 44).

Muhammad Shah (1808-1848), the third king of Qajar, was strongly influenced by the teachings of the Sufi chancellor and his dervish, Haji Mirza Agassi (1783-1849), in governing the country, especially in relation to the clergy. However, the Shah lacked the capacity to engage in a risky confrontation with the Shi’i clerics, even with the assistance of his Sufi minister who held animosity towards them. To support this claim, we can cite Gobineau (1816-1882), who wrote about the confrontation between the clerics and the minister over the Bab issue when the latter asked for permission to come to Tehran, and Haji Mirza Agassi was ready to agree to his request at first... but the opposition of Sheikh Abdul Hossein Mujtahid forced him to change his opinion. The Sheikh stated that the

clerics had the power to defend themselves against both the state and the Bab (Gobineau, 1988: 250).

The model of the relationship between the state and the clergy in this period is that of “balance and cooperation”. The state prevents the clergy from coming to power, and the clergy also influences state policies and defends its interests. The traditional social position of the Shia clergy prevents the state from interfering.

But the long period of the reign of Nāṣer al-Dīn Shāh (1831-1896) shifted the relationship between the clerics and the royal authority into a new complex and challenging phase. While honoring the sanctity of the clerics, Nāṣer al-Dīn Shāh advised the governors of the states not to involve the clerics in politics and to limit their role to prayer and religious matters (Adamiyat, Natiq, 1978: 182). In a letter to the king after his dismissal, the Lieutenant General of the Chancellor (1827-1881) wrote:

“The mullahs were never as dear and respected as during my chancellorship, but Chancellor immediately added that I did not prescribe them to interfere in the affairs of the state” (Algar, 1976: 240).

The establishment of Diwankhaneh and Teaching House (Dar al-Funun) as two examples of secular reforms implemented by Amir Kabir (1807-1851) also reduced the exclusive rights of clerics and their independence from the state, as they sought to monopolize the court and education (Tabari, 2002: 45). However, the opposition from clerics to the establishment of modern scientific centers caused the lack of Iranian primary or secondary schools, except for home schools and religious schools, almost until the end of Nāṣer al-Dīn Shāh's reign, apart from Dar ul-Funun (Keddie, 2002: 75).

The Tobacco movement (1891-1892) was a protest against foreign powers, the Shah, and his government. It highlighted the role of the clergy in sparking the popular unrest and the victory of the movement. In this regard, Edward Brown, English Iranologist of the Qajar period, provides first-hand information about the events and states that this skillful and wise blow rendered the monopoly of the sanctioned goods worthless without practically any rebellion, and the loyalty and self-restraint of the people who obeyed the command of this spiritual leader were beyond the power of description and praise (Brown, 1997: 64).

The participation of clerics in the Tobacco uprising depended on their economic and political connections and interests. For instance, those clerics, who had close financial or family ties with businessmen or were interested in tobacco production in waqf lands under their control, felt threatened, and directly confronted the agreement. In Isfahan, the clerics who had direct interests in private and waqf lands for tobacco cultivation, mostly voted together with the merchants (Afari, 2006: 49). At this stage, the “opposition” between the clergy and the state becomes apparent. The clergy opposed the king's personal will due to their direct relationship with all the subjects.

During the reign of Muzaffar al-Din Shah (1831-1896), due to the power that the Islamic scholars had gained after the tobacco incident, the confrontation between religion and the

government intensified. An advisor to the Iranian consul in Baghdad visited the great mujtahids of Najaf to dispel rumors of Russian influence in Iran. Govind Sharabiani responded that if the scholars' demands were not met, they would "remove the present dog (Mozaffar al-Din Shah) and put another one in its place" (Kasravi, 1984: 23). In this regard, Samuel Benjamin, the first permanent American envoy, wrote in 1887 that the most part of famous mujtahids did not accept any kind of pretense and presence in political scenes, but they believed that if the king, the crown prince, and the rulers were not to follow the Sharia law they have the right to remove them (Eliash, 1979: 9; Benjamin, 1887: 441).

These events mark the official entry of clerics into the political arena. The first parliament (1906) included clerics, comprising 20% of its social composition (Abrahamian, 1997: 80). Even the second principle of the amendment to the constitution regarding the election of five first-rate Foghiih to the National Council was not implemented during the first term of the parliament. However, it was implemented during the third telegram to the parliament, together with the influence of Najaf clerics in the second parliament and the introduction of twenty first-rate clerics (Hayeri, 1995: 13, 19). During this period, the clergy's assistance in "limiting" the power of the state is evident, as they were officially involved in the construction of power.

During the Qajar era, the clergy had social support enough to influence political events, despite the unwillingness of the Qajar kings. This influence was sometimes overt, such as during the Iran-Russian wars (1804-1813) under Fath-Ali Shah and the Tobacco movement during the Nasser era or the Constitutional Assembly, at other times, it was exerted in a more subtle manner.

The State and Businessmen

Many texts related to the Qajar period mention that Qajar rulers and local leaders relied on marketers to meet their financial needs. According to Lambton, traders played a crucial role in preparing and transferring funds when banks were not yet established. They provided cash that was essential for the survival of ruling classes. These groups worked closely together. A provincial ruler may have had to engage in commerce to ensure payment of his state income to the central government (Lambton, 1984: 186). During the mid-19th century, the growth of retail and capitalist modes of production including crafts, artisans, guilds and merchants led to intertwined financial relationships between big traders and government officials (Foran, 2012: 207-212). Common interests gradually emerged between these groups (Ashraf, 1980: 26). The merchant Muhammad Hassan Amin al-Zarb, who was famous during the era of Nāṣer al-Dīn Shāh, is a good example that confirms this point (Mahdavi, 1994). Whenever the state needed weapons and luxury goods from Europe, Amin al-Zarb would trade with him. Nāṣer al-Dīn Shāh appointed him as a special businessman to establish factories and procure goods from the West (Adamiyat, Natiq, 1978: 369).

Another example of close cooperation between Qajar statesmen and merchants can be found in the financial support provided by local rulers to merchants in buying govern-

ment positions. For example, when Mohammad Ali Shah (1872-1925) was in Tabriz as the crown prince and ruler of Azerbaijan, he received financial assistance from a merchant named Haj Mohammad Taqi Sarraf, who had run several offices in Tabriz and Tehran (Kasravi, 1984: 148). In certain critical cases, the state granted businessmen full authority to negotiate on their behalf some specific issues. Nazim-ul-Islam Kermani mentions this topic in his book "History of the Awakening of Iranians" in reference to the issue of merchant settlement on the eve of the constitutional revolution (Kermani, 1997: 533). The relationship model between the central state and the merchant class up to this point is one of "balance and cooperation". The state prioritizes the interests of the businessmen, and in turn, the businessmen provide the necessary financial support for the state.

Unsettled economic situations and severe budget deficit in the state of Nāṣer al-Dīn Shāh necessitated significant economic and financial concessions to foreign countries and nationals to compensate for the backlogs and generate revenue. These concessions targeted the commercial and class interests of merchants, tradesmen, artisans and craftsmen, both directly and indirectly (Abrahamian, 1997: 77). As a result of such problems, Iranian marketers came out hard against the state and foreigners. For example, the movement to establish domestic industrial companies, which started in Isfahan with the assistance of some businessmen and intellectuals of this city, soon affected the whole of Iran (Ashraf, 1980: 101). Another example of class resistance of marketers and businessmen against the state was repeated and highlighted in the tobacco case. The big traders and sellers of this product were suffering from the exclusive concession of the tobacco to Englishman Talbot. Just one week after signing the contract, they wrote a letter to the Shah. When faced with cold and negative responses from the court, the protests expanded to the streets and direct conflict with the government. The most reliable merchant, Muhammad Malek-o Tojjar of Isfahan, resisted selling his products to Reghi Company and instead chose to burn them all (Adamiyat, 1984: 53). During the long reign of Naser al-Din Shah, the pattern of the relationship between the state and the merchants can be characterized as one of "opposition and resistance" towards each other. The modernization policies of central authorities conflicted with the interests of businessmen, leading to their opposition and, in some cases, pushing the state back.

The state budget deficit severely affected Muzaffar al-Din Shah government, so it was forced to increase revenues through internal sources such as customs. The Belgian delegation led by Monsieur Nous (1849-1920), which arrived to manage the country's customs affairs and implement plans to increase taxes, brought classes such as clerics, officials, some courtiers and businessmen in opposition to the state of Amin al-Dawla. Additionally, Iranian businessmen, influenced by Iran's intellectual climate, became part of the constitutionalist social forces. Mehdi Malekzadeh (1881-1955) was the son of Malik al-Mutakallimin and the author of the *History of the Constitutional Revolution*, who personally witnessed the events related to the constitution, mentions various series of assemblies that were organized with the help of some clerics, intellectuals and businessmen in all parts of the country (Malekzadeh, 2004: 394). In this period, we see businessmen supporting the opponents of the state and trying to limit its power.

The State and the Tribes

Military might and taxation were two important issues that heavily influenced the relationship between the people and the state in Iran (Lambton, 1984: 182). There have been many cases when some powerful groups of Iranian people refused to pay taxes. In such situations, it sometimes happened that the state used its military forces to suppress the tribal rebels. The Qajar army, which was not particularly powerful, relied mainly on the forces of nomads and tribes. In his travelogue, Lord Curzon (1859-1925), who lived in Iran during the Qajar era for three years, describes the first element of the Qajar army as the cavalry of tribes and border warrior clans. He notes that they obeyed their tribal leaders and were considered very dangerous due to their lack of discipline, insufficient military training, and pure obedience to their rulers (Kurzon, 1968: 747). This situation indicates the strength of traditional and hereditary restrictions against state decisions.

The Qajar state attempted to control this social class in various ways. State positions, such as provincial rulership or military positions such as *Amirtumani*, were granted to members of the elite class, allowing them to join the political ruling body. Some particularly rebellious tribes such as the Turkmen of Koklan, Yamut, Charwar and Chamour, who were not willing to compromise with the Qajars and whose wickedness and plundering were known to everyone in Estarabad, were tamed to some extent through this process (Tajbakhsh, 2001: 462). Furthermore, the enmity, conflicts and competition between different branches of a clan or neighboring clans and tribes can allow for the central state to intervene in the management of their internal affairs. Mohammad Jaafar Khormoji (1856-1922), the historian of Nāṣer al-Dīn Shāh's court and the author of the book *Al-Akhbar-Nasri facts*, highlights how the state exploited the powerful Shahson clan to suppress them during the conflict between two Turkic-speaking clans in Zanjan (Khormoji, 1966: 82). The first period's balance concludes with the oppositions of the second period, where the state's will prevails over the social classes in certain cases.

Despite the application of Qajar's policies limiting the power of the tribes, they still enjoyed the necessary independence within the boundaries of their territories. For example, the Kurdish tribes located in the northeastern and eastern provinces of the country, such as Khorasan, were always a source of disturbance and concern for the central state of Iran. Jahangir Mirza (1810-1853), the son of Abbas Mirza, writes in his memoirs about the rebellion of the Zaffronlu tribe in Khorasan during the reign of Fath ali Shah (Jahangir Mirza, 1948: 160). The commercial activities of foreign countries in the territory under their influence could sometimes lead to the economic exploitation of some tribes. This can be another indication of the provinces' freedom of action in their living environment. For example, the privilege of exploiting the Shosse Road, created by the Lynch Company to facilitate British commercial activities on the Bakhtiari territory, was granted to the leaders of the Bakhtiari tribe and became part of their private property. As a result, they gained enormous wealth (Pavlovich and others, 1978: 74). None of the Qajar statesmen were present during the consultations between British politicians and the heads of the

Bakhtiari clan. The benefits given to the Bakhtiaris did not reach the central state of Iran, indicating a reduction in the power of the central state even compared to the second period.

The State, Peasants, and Landowners

In the early 19th century, agriculture accounted for 56% of Iran's gross national product (Katouzian, 1997: 88). Between 1887 and 1907, peasantry reached about 50% of Iran's population (Adamiyat, Natiq, 1978: 356; Gilbar, 1976: 78). In Foran's book, this figure is close to 66% (Foran, 2012: 207). Additionally, during the negotiations of the National Council, seven million out of ten million of Iran's population were included, which refers to 70% of the country's population. Therefore, it is very important to know the extent of landowners' power, because the possession of the land in turn earned social prestige and political power for the owner (Lambton, 1984: 268).

Taxation of landowners and peasants was the most important factor that determined the type of relationship between these classes and the state. In many cases, tax rates were increased due to some economic needs and shortage or sudden events such as the outbreak of war (Lambton, 1984: 113). In this situation, the landowners put extra pressure on the peasants under their control. Abdullah Mostofi (1876-1950), who himself belonged to the long-standing old Iranian family during the Qajar period, says about the abuses of state bureaucrats: "Although during the time of Amir Nizam audits were carried out and taxes were determined... the greed of the governors made them ask the Nayeb al-Hokuma to increase the taxes, and they were forced to impose more taxes on the Bashi-block and the rural chieftains" (Mostofi, 1992: 101).

Opposed to the peasant and serf class, there was the class of dominant landlords or landowners, who were mainly from the most influential classes of the Qajar society, and the power of some of them in the areas under their ownership was comparable to that of the king and provincial rulers. For instance, Mohammad Wali Khan Tonekaboni (1846-1926), also known as Sepahdar, was a great landowner in Mazandaran. The independence of their actions in these areas was such that they were actually considered a separate independent area from Mazandaran's government (Taghizadeh, 2000: 176).

According to Petrushevsky, Iran's agricultural lands were divided into two general categories: government or Khalsa lands, including (1) civil properties, (2) forfeited properties, (3) transferable properties; (4) registered properties, (5) seed properties; the second category was private lands owned by individuals or waqf properties belonging to shrines and mosques (Wali, 2010: 108). During the time of Nāṣer al-Dīn Shāh, there was a constant pressure to increase the number of Khalsa properties by seizing endowments and confiscating the properties of disinherited persons (Stack, 1982: 248). However, at the end of the reign of Nāṣer al-Dīn Shāh, many of the Khalsa properties were sold for government expenses, and when Muzaffar al-Din Shah ascended the throne, the only Khalsa properties remaining around Isfahan were the ruined villages of Braan (Ansari, 1943: 62). On the other hand, a large number of villages were removed from the super-

vision of the central government as before. In some cases, *toyul* were given from estates of the *Khalsa* as well as from personal property that might have belonged to the *toyul*-holder (Lambton, 1984: 292). The weak Qajars bureaucracy and the lack of a proper and efficient tax system, along with issues such as war with the powerful Western countries, had caused the central state of Iran to be unable to rule over the feudal regions as it should (Issawi, 1990: 85).

With the outbreak of the Constitutional Revolution, although the peasants did not play a major role in its victory, they expected a change in the relationship between lords and serfs. A British representative writes in his report: "They have been indoctrinated that after this the rule will be by the will of the people and not by the will of the king." Since, in the opinion of these classes, the collection of taxes was an act of oppression in favor of the king and the governors of the provinces, they ask, now that constitutionalism had been established and the king was not omnipotent, why should taxes be paid? (Adamiyat, Natiq, 1978: 448). Despite these great expectations, in some ways the landlords remained the same as in the past, and most of the power still rested in the hands of the nomadic chieftains and thanes (Ibid.). The first action of the National Council regarding land ownership was to cancel the pensions and privileges of many people, including distinguished persons and members of the royal family. The Council, however, added the sums collected by local rulers to the continuous tax, and paid the annual salaries of the tax payers from this tax (Lambton, 1984: 323). This allowed the landlords to maintain their sources of power against the state until the end of the Qajar era. Throughout the Qajar period, the preservation of big-proprietary relations in Iran resulted in the maintenance of the balance and opposition pattern between the state and landowners.

The State and Bureaucrats

There are a significant number of domestic and foreign comments and remarks regarding the Shah's absolute power in Iran's internal affairs. We have already mentioned the Drouville's opinion about the times of Fath Ali Shah that "all the people of Iran belong to the Shah and the Shah treats them in whatever way he wants" (Drouville, 1985: 182). Katouzian notes that Fath Ali Shah expressed his surprise to European visitors about how it was "possible to manage the country while others are also involved in the ruler's decision-making" (2002: 151). Additionally, Etemad al-Sultaneh expressed his trust in Nāṣer al-Dīn Shāh: "We are all your servants. Your attention makes one an amir and the other a minister. When this attention is not here, we are all less than dog's dung" (Etemad al-Sultaneh, 1969: 834). Nāṣer al-Dīn Shāh once responded to the petition of the Kashan guilds: "Stop being wasteful, the government is not determined by the will of the subjects" (Zibakalam, *ibid.*: 381). Some researchers believe that the state in its modern sense never existed in Iran during the entire period of Qajar rule. The lack of separation between the executive, judicial and legislative branches of power, inefficient state institutions and organizations, unclear distribution of duties and responsibilities among state officials, weak military and law enforcement forces, and the use of traditional and primitive administra-

tive patterns influenced by tribal laws have made some argue that the state literally did not exist during the Qajar era (Lambton, 1972: 180).

Said duality can be explained in this way: at the beginning of the Qajar dynasty the pillars of the government were limited to a few Mustofi, the governor Lashkar-e-Navis and the court Hajeb. But a century later, it had increased to nineteen ministries and several thousand government jobs and positions (Bharier, 1971: 5-8). Most of the important government positions during the Qajar era, including the province guardianship, were assigned to powerful Qajar princes. For example, during the reign of Nāṣer al-Dīn Shāh, out of 325 government positions, 182 positions were occupied by Qajar princes and thanes (Mirza Saleh, 1990: 20). This issue shows the lack of an administrative system at the beginning of the Qajar period and its gradual formation during the following period, which indicates the existence of a patriarchal state in the first period and a patrimonial state in the second period.

The power and effectiveness of great government bureaucrats depended on various factors that also created a plurality of power centers within the government. The relations between each bureaucrat and the king were influenced by these factors. The clash of opposing opinions among the bureaucrats could also reduce the king's power. In the conditions of competition between rulers, the king can become a tool in their hands to achieve their goals. For example, one can refer to the statements of the doctor Nāṣer al-Dīn Shāh in his travelogue about Mirza Agha Khan Noori (Pollak, 1989: 274). This power of bureaucrats is indicative of the existence of an administrative system and a patrimonial state. At times this power cooperates with the king's personal will, while at other times opposing it.

Regarding the ruling princes of the provinces, it should be noted that the power of some of them was so great that it occasionally intimidated the Qajar kings. An example of this type was Prince Masoud Mirza (1849-1918), also known as Zill al-Sultan. He attained the government of Isfahan at a young age and ruled almost half of the country in 1888 AD (Dalmani, 1956: 907; Vanessa, 2010: 140). The ruling princes also benefited from various strategies such as seeking assistance from nobles, great tribal thanes, high-ranking merchants, and clerics, as well as powerful Western countries to maintain their political or economic position. For example, without the support of the British crown and Allahyar Khan, the head of the Qajar Yokhari tribe, after the death of Fath Ali Shah, Muhammad Mirza (1808-1848) would never have been able to overcome other powerful princes who claimed and relied on the throne (Markham, 1988: 119). On the other hand, presenting exquisite gifts in cash or commodities was another way through which provincial rulers were able to attract the favorable opinion of the king and the central government (Sarjan Malkam, 2000: 762).

Selling government positions to wealthy people who wanted to hold office in exchange for a certain amount of money and paying provincial taxes to the state were two issues that played a role in how the state bureaucratic class dealt with the government and vice versa. When the reformist statesmen from Abbas Mirza (1789-1833) to Mushir al-Doleh (1840-1907) or Amir Kabir were in power, taxes had to be collected regularly

from different provinces. Abbas Mirza's son wrote about this in his book (Jahangir Mirza, 1948: 132). Abbas Mirza, with the help of Deputy Chancellor Farahani (1779-1835), tried to put the country's fiscal affairs in order, but for various reasons, the rulers of the provinces were extremely willing to take excessive taxes from the peasants of their governmental territory (Watan Dost, 1992: 176). Amir Kabir's reforms remained incomplete after his dismissal and death, and the power of local centers increased. Nāṣer al-Dīn Shāh's doctor Polak wrote in his memoirs: "Not a year passes without many governors asking for a "tax discount", and although the Shah announced in recent years that he will cut off the hand of any ruler who utters the word 'discount', he has no choice but to agree" (Polak, 1989: 254). The fiscal reform programs of Amin al-Dawlah, Nous, Mornard or Shuster were also halted by the constant disruptions of classes such as the upper strata of the country's bureaucracy, whose interests could be directly threatened by these reforms (Ashraf, Banuazazi, 2014: 46).

Conclusion

The results of the research show that the nature of the relationship between the state and social classes in the Qajar era obeys the pattern of "balance, opposition and limitation". This relationship in the Qajar period is divided into three sub-periods: (1) the beginning of Muhammad Shah's reign; (2) the reign of Naser al-Din Shah; and (3) the reign of Muzaḥfar al-Din Shah until the end. In the first period, the pattern of the "balance" of power is established; "opposition" to power and resulting resistance are consolidated during the second period; and "limitation" of state power against social classes is constituted in the third period.

The Qajar era saw a change in the model of the relationship between the state and social classes. Based on the classification criteria of "accumulation and distribution of power", the state can be described as "patriarchal" in the first period, "patrimonial" in the second and "constitutional" during the third. During the initial period, the power was consolidated and maintained within the Qajar clan kinship groups in a hereditary form. The government lacked a specific administrative system, and was limited to a few positions, primarily entrusted to royal relatives. Tribes sometimes did not pay taxes and obeyed their tribal chieftains in times of war. The king lacked decisive power in dealing with clergymen, merchants, nobles and large landowners, and had a balanced relationship with them due to his adherence to traditional rules.

During the second period, this patriarchal dominance that turned into a patrimonial state with its central administrative and executive organization significantly strengthened since the time of Amir Kabir. It reached several thousand public jobs and offices, but not to the extent that it could eliminate the state's dependence on tradition. The administrative organization is personal in nature and positions are given mainly to the relatives and princes (182 out of 325 positions). The modernization policies of the central state, which were detrimental to the interests of the main classes of society, such as clergy, landowners, and merchants, faced their opposition (such as the tobac-

co uprising, Monsieur Nouz, or constitutionalism), so they were at times canceled, at times delayed. This resistance is a sign of the ruler's powerlessness, highlighting that the people during the Qajar era had the characteristics of subjects, i.e. they were free, had property rights, and were able to marry, sue and levy certain taxes. Therefore, in the second period, there is a kind of balance between the limitations of tradition and the ruler's personal will, so the king is not almighty. Despite the pressure of tradition and administrative organization, the personal will of the ruler is still effective and vice versa.

During the third period, the constitutional revolution took place and the constitution was issued. This led to the establishment of the parliament, granting the right to vote, and the formation of political parties. As a result, the king's personal power was reduced, traditional restrictions were loosened. Modern impersonal rules such as those governing the parliament, schools, and the press were established alongside traditional policies regulating the state and society. Modern institutions together with traditional rules and institutions, such as the previous social classes, reduced the amount of personal will of the ruler and thus the patrimonial state was transformed into a constitutional state.

As for the Bonapartist and neo-patrimonial states, we must say that the existing limitations of traditional and post-constitutional modern institutions reduce the power of the Qajar rulers, and in both pre- and post-constitutional periods we do not witness a centralized army, a large bureaucracy, and an absolute state where the king is the sole source of law, the possessor of the divine right and the "personality and expediency" of the whole country. Of course, the Qajar state enjoyed relative independence from the social classes, which means that it had some Bonapartian elements, but it lacked the totality of this state model. Based on this, the concept of Sultanian state and personal sovereignty is ruled out.

It is hard to imagine a state with absolute power, in which there is no private ownership of land, as Marx proposes to be the main feature of the Asian state. Although the Qajar kings occasionally referred to their ownership of the people of Iran with its lands, this concept was not put into practice. The autocratic government machine, which controlled the surplus of production and the state, was not too large to have intermediary forces. The influential classes of society such as the clergy, rich merchants, local nobles, provincial rulers, princes, landlords and tribal chiefs, were the intermediate layers of society that limited the power of the state and did not allow the realization of the idea of "supreme lord" and the absolute ruler. On the other hand, the Qajar state, which originated from the Qajar clan itself, was practically not dependent on it or on other social classes, and tried to control and even suppressed them in various ways, through granting state offices or creating disagreement between the clans.

Therefore, the Qajar state was neither a tool of the ruling class nor did it have absolute power. It was neither a class state nor supra-class state. A state with a degree of independent power and relative autonomy from the upper class of society, based on its ability to create a relative balance between social forces. This relative independence during the

Qajar period can be explained according to three historical models of the patriarchal, patrimonial and constitutional state. During the first and second Qajar periods, the state was associated with low accumulation of power and its centralized distribution. In the third period, after the constitution, it held the form of low power accumulation and scattered power distribution.

References

- Abrahamian Yervand (1997) *Iran Between two Revolutions*, Tehran: Nei. (In Farsi)
- Adamiyat, Fereydoun, Natiq Homa (1978) *Social, Political and Economic Thought in the Unpublished Works of the Qajar period*, Tehran: Aghaz.
- Adamiyat Fereydoun (1984) *Ideology of Iran's Constitutional Movement*, Sweden: Iran Book Center.
- Afari Janet (2006) *Iran's Constitutional Revolution*, Tehran: Bisotun. (In Farsi)
- Aghazadeh Jafar (2018) *The Mutual Attitude of the Ruling Family and the Iranian Society in the Qajar Period*, PhD Thesis in History, University of Isfahan.
- Algar Hamed (1976) *Religion and Government in Iran: The Role of Scholars in the Qajar Period*, Tehran: Tous. (In Farsi)
- Anderson Perry (2011) *Lineages of the Absolutist State*, Tehran: Sales. (In Farsi)
- Ansari Haj Mirza Hassan Khan (1943) *History of Isfahan*, Tehran: Shirazeh.
- Ashraf Ahmad (1359) *Historical Obstacles to the Growth of Capitalism in Iran: Qajar period*, Tehran: Zamineh.
- Ashraf Ahmad, Banuazizi, Ahmad (2013) *Social Classes, Government and Revolution in Iran*, Tehran: Nilofar. (In Farsi)
- Baker Terez L (1998) *Theoretical Research Method in Social Sciences*, Tehran: Payam Noor. (In Farsi)
- Bashiriyeh Hossein (1995) *Political Sociology*, Tehran: Nei.
- Bashiriyeh Hossein (2004) *Reason in Politics*, Tehran: contemporary view.
- Benjamin S. (1887) *Persia and Persians*, Boston. (In Russian)
- Bharier Julian (1971) *Economic Development in Iran 1900-1970*, London: Oxford University Press. (In Farsi)
- Blaikie Norman (2011) *Designing Social Researches*, Tehran: Nei. (In Farsi)
- Brown Edward (1997) *Iran's Constitutional Revolution*, Tehran: Kavir. (In Farsi)
- Creswell John W. (1994) *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods*, Tehran: Allameh Tabatabai University.
- Curzon George (1968) *Iran and Iran's Case*, Tehran: Scientific and Cultural Press. (In Farsi)
- Dalmani Henry Rene (1956) *Travelogue from Khorasan to Bakhtiari*, Tehran: Amir Kabir. (In Farsi)
- Demarrais Elizabeth (2005) *Organization of societies. Archaeology: The Key concepts* (Eds. Colin Renfrew and Paul Bahn), Routledge, pp. 143-147.
- Diakonoff A. M. (1968) *History of Ancient Iran*, Tehran: Scientific and Cultural Press. (In Farsi)

- Don Stefan (1989) *The Decline and Rise of the Asian mode of Production*, Tehran: Markaz. (In Farsi)
- Dripper Hall (2003) *Marx's Theory of Revolution: State and Democracy*, Tehran: Markaz. (In Farsi)
- Drouville Gaspar (1985) *Travel in Iran*, Tehran: Shabaviz. (In Farsi)
- Eivazi Mohammad Rahim (2001) *Social Classes and the Shah's Regime*, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center.
- Eliash J. (1979) Misconceptions Regarding the Juridical State of Iranian Ulama. *International Journal of Middle Eastern studies*, no 10, pp. 9-25.
- Etemad al-Sultaneh Mohammad Hasan (1969) *Diary newspaper*, Tehran: Amir Kabir.
- Etaat Mohammad Javad (2008) The nature of the government in Iran/ Patimonial state (before constitutionalism). *Political-Economic Information*, no 231-232.
- Feuvrier Jovans (1989) *Three Years in the Court of Iran*, Tehran: Novin Press. (In Farsi)
- Flannery K. V. (1995) Prehistoric social evolution. *Research frontiers in anthropology*, (Eds. C. Ember, M. Ember), New Jersey: Prentice- Hall, Englewood Cliffs, pp. 1-26.
- Flick Uwe (2011) *An Introduction to Qualitative Research*, Tehran: Nei. (In Farsi)
- Flyvbjerg Bent (2006) Five Misunderstandings about Case — Study Research. *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no 2, pp 219-245.
- Foran Jan (2012) *Fragile Resistance: The History of Iran's Social Developments from Safavid to After the Revolution*, Tehran: Rasa Cultural Services Institute. (In Farsi)
- Fried Morton H. (1967) *The Evolution of Political Society*, New York: Random House.
- Gardan Count Alfred (1983) *General Gardan's Mission in Iran*, Tehran: Negah Publications. (In Farsi)
- Gilbar Gad G. (1976) Demographic Developments in Late Qajar Persia 1870-1906. *Asian and African Studies*, no 11, pp. 147-49.
- Gobineau Kenneth (1988) *Three Years in Iran*, Tehran: Farrokhi Publishing. (In Farsi)
- Griffin Larry (1993) Narrative, Event-structure Analysis and Causal Interpretation in Historical Sociology. *American Journal of Sociology*, vol. 98, no 5, p.1097.
- Godelier Maurice (1978) The Concept of the "Asiatic Mode of Production" and Marxist Models of Social Evolution. *Relations of Production: Marxist Approaches to Economic Anthropology* (Ed. David Seddon), London: Frank Cass, pp. 209-257.
- Huntington Samuel (1991) *Political Order in Changing Societies* (transl. Mohsen Salasi), Tehran: Alam Publications. (In Farsi)
- Hayeri Abd-al Hossein (1995) *Clergy and Majles Records*, Tehran: Islamic Council Records Center. (In Farsi)
- Hedayat Reza Qoli Khan (1959) *The culture of Arai Naseri Association*, Tehran: Khayyam.
- Held David (1990) *Models of Democracy*, Roshangaran Publications. (In Farsi)
- Issawi Charles (1990) *Economic History of Iran*, Tehran: Diba Press. (In Farsi)
- Jahangir Mirza (1948) *New History*, Tehran: Sahami Printing Company.
- Johnson A., Earl T. (2000) *The Evolution of Human Societies*, Stanford: Stanford University Press.
- Kasravi Ahmad (1984) *Iran's Constitutional History*, Tehran: Amirkabir.

- Katouzian Mohammad Ali (1987) *Political Economy of Iran*, Tehran: Center. (In Farsi)
- Katouzian Mohammad Ali (1998) *Nine Essays in Historical Sociology of Iran*, Tehran: Center. (In Farsi)
- Katouzian Mohammad Ali (2000) *State and Society in Iran*, Tehran: Markaz. (In Farsi)
- Katouzian Mohammad Ali (2013) *Conflict between the State and the Nation*, Tehran: Nei Press. (In Farsi)
- Katouzian Mohammad Ali (2016) Autocratic Government: A Comparative Theory of Iran's Government, Politics and Society. *Political-Economic Information*, no 117-118. (In Farsi)
- Keddie Niki (2002) *Iran during the Qajar era and the Rise of Reza Khan*, Tehran: Qaqnos. (in Farsi).
- Kelly Duncan (2003) Karl Marx and Historical Sociology. *Handbook of Historical Sociology* (Eds. Gerard Delanty, Engin F. Isin), London: SAGE Publications.
- Kermani Nazim al-Islam (1997) *History of Iranian awakening*, Tehran: Pikan.
- Christensen Arthur (2004) *Iran dar Zaman-e Sassanian*, Tehran: Nagarestan Ketab. (In Farsi)
- Khormoji Muhammad Jafar (1966) *Al-Akhbar Nasri facts*, with the effort of Hasan Khe-dive Jam.
- Lambton Ann (1972) The Persian Constitutional Revolution of 1905-6. *Revolutions in the Middle East* (Ed. P. Vatikiotis), London, pp. 173-182.
- Lambton Ann (1984) *An Overview Of Iran's History After Islam*, Tehran: Amir Kabir. (In Farsi)
- Lambton A. K. S. (1966) *Owner and Planter in Iran*, Tehran: Book Translation and Publishing Company. (In Farsi)
- Linz Juan (2002) *Sultani Systems*, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Shirazeh Publishing. (In Farsi)
- Loskaya Pico et al. (1977) *History of Iran from ancient times to the end of the 18th century*, Tehran: Institute of Social Studies and Research. (In Farsi)
- Lukonin Vladimir (1971) *Sassanid Iranian Civilization*, Tehran: Book Translation and Publishing Company. (In Farsi)
- Mahdavi Shirin (1994) Culture and Life in the Qajar Era: Daily Life in the Qajar Era. *People's Culture*, no 35-36.
- Maisels Charles (2010) *The Archaeology of Politics and Power: Where, When, and Why the First States Formed*, Oxford: Oxbow books.
- Malekzadeh Mehdi (2004) *History of Iran's Constitutional Revolution*, Tehran: Sokhn.
- Malkom Jan (1379) *Complete History of Iran*, Tehran: Afsun. (In Farsi)
- Markham Clement (1988) *History of Iran in the Qajar period*, Tehran: Farhang Iran.
- Marx K. (1956, 1961) *Karl Marx: Selected Writing* (eds. T. Bottomore, M. Rubel), Great Britain: Penguin Books.
- Marsh David, Stoker Jerry (2001) *Method and Theory in Political Science*, Tehran: Research Center for Strategic Studies. (In Farsi)
- Marx Karl (2000) *Ludwig Feuerbach and German Ideology*, Tehran: Cheshme. (In Farsi)

- Marx Karl (2007) *The 18th Brumaire of Louis Bonaparte*, Tehran: Center. (In Farsi)
- Marx Karl, Engels Friedrich (2010) *Manifesto collection after 150 years*, Tehran: Aghaz. (In Farsi)
- Marx Karl (2010) *Criticism of Hegel's Philosophy of Right*, Marburg: Criticism.
- Mirza Saleh Gholam Hossein (1990) *Farhang Rizal Qajar*, Tehran: Zarin.
- Mostofi Abdullah (1992) *Narration of My Life: Social and Administrative History of the Qajar Period*, Tehran: Zovar.
- Nash Keith (2010) *Contemporary Political Sociology: The Globalization of Politics, Power*, Tehran: Kovir Press. (In Farsi)
- Pavlovich M. et al. (1978) *Three Articles about Iran's Constitutional Revolution*, Tehran: Amir Kabir. (In Farsi)
- Petrushevsky Ilya (1967) *Land Relations Agriculture in Iran: Mughal Era*, Tehran: Social Research Institute. (In Farsi)
- Polak Edward (1989) *Iran and the Iranians*, Tehran: Kharazmi.
- Roth G. (1968) Personal Rulership, Patrimonialism and Empire-Buiding in the New States. *Worlds Politics*, no 20.
- Stack E. (1882) *Six Months in Persia*, 2 vols., London: S. Low, Marston, Searle & Rivington.
- Saei Ali (2011) *Research Methods in Social Sciences*, Tehran: Samt Press.
- Samiei Alireza (2007) Strong society, weak state, sociological explanation of state-society relations in Qajar Iran. *Politics Quarterly*, vol. 38, no 3.
- Seif Ahmad (2008) *Tyranny, the problem of ownership and capital accumulation in Iran*, Tehran: Rasansh.
- Service Elman R. (1962) *Primitive social organization*, New York: Random House.
- Taghizadeh, Hassan (2000) *History of Iran's Constitutional Revolution*, Tehran: Ferdous.
- Tonekaboni Muhammad (1925) *Qasses al-Ulama*, Tehran: Bina.
- Turner Brian (2001) Oriental studies and the issue of civil society in Islam. *Nowruz*, 16/7/2001. (In Farsi)
- Vanessa Martin (2010) *The Qajar Era: Bargaining, Protest and Government in 19th Century Iran*, Tehran: Ame Kitab. (In Farsi)
- Varharam Gholamreza (1988) *Iran's Political System and Social Organizations in the Qajar Era*, Tehran: Moin.
- Vincent Andrew (2002) *Theories of the State*, Tehran: Nei. (In Farsi)
- Wali Abbas (2010) *Iran before capitalism*, Tehran: Markaz. (In Farsi)
- Watan Dost Gholamreza (1992) Power Structure and Socio-Economic Situation of Iran in Naseri and Mozaffari Periods. *Humanities Research Journal*, Shiraz University.
- Weber Max (1978) *Economy and Society*, University of California Press.
- Weber Max (1995) *Economy and Society* (transl. Abbas Manouchehri, Mehrdad Tarabinejad, Mostafa Emadzadeh), Molly Publishing. (In Farsi)
- Wittfogel Carl (2011) *Oriental Despotism*, Tehran: Third. (In Farsi)
- Yin Robert Kay (1997) *Research Design and Research Methods*, Tehran: Ainde Pouyan Cultural Institute. (In Farsi)

Государство и класс в Иране эпохи Каджаров, 1794-1925 гг.

Сара Шарифпур

Магистр Кафедры социологии, Факультет гуманитарных наук, Университет Гиляна, Решт, Иран

Адрес: ул. Намджу, аллея Джафари, д. Намджу Решт, Иран

E-mail: sam23.sharhifpour@gmail.com

Хади Нури

Доцент Кафедры социологии, Факультет гуманитарных наук, Университет Гиляна, Решт, Иран

Адрес: ул. Намджу, аллея Джафари, д. Намджу Решт, Иран

E-mail: h.k.noori@gmail.com

Мохаммад Реза Голами

Доцент Кафедры социологии, Факультет гуманитарных наук, Университет Гиляна, Решт, Иран

Адрес: ул. Намджу, аллея Джафари, д. Намджу Решт, Иран

E-mail: mgholamiz014@yahoo.com

Форма взаимоотношений между государством и классами общества на протяжении всей истории Ирана всегда объяснялась теориями «азиатского способа производства» и «восточного деспотизма». Согласно данным теориям, власть государства ничем не ограничена и ей, безусловно, подчинены все классы. Между тем многочисленные исторические данные эпохи Каджаров ставят под сомнение эту точку зрения, и перед нами возникает ситуация, когда различные социальные силы ограничивают власть государства. Настоящая статья была написана в качестве реакции на несоответствие между теорией «азиатского государства» и исторической реальностью Ирана в эпоху Каджаров. Основной вопрос: было ли государство Каджаров ограничено социальными классами или же обладало абсолютной, надклассовой властью? Для ответа на него используются классификации государств, предложенные Элманом Сервисом, Эндрю Винсентом, Максом Вебером, Карлом Марксом и Сэмюэлом Хантингтоном. Метод работы — исследование отдельного исторического случая, когда сбор и анализ данных осуществляется путем изучения и сопоставления документов. Результаты исследования показывают, что образцом отношений между государством и социальными классами в эпоху Каджаров было «равновесие, противостояние и ограничение». Этот образец может быть описан в соответствии с классификацией государств согласно критерию «накопления и распределения власти». Фиксируются три периода. Первый можно охарактеризовать как «патриархальное» государство, второй — как «патримониальное», а третий — как «конституционное». Государство в первый и второй периоды правления Каджаров ассоциировалось с низким уровнем аккумуляции и централизованным распределением власти, а в третий период, конституционный, приняло форму, характеризующуюся низким уровнем накопления и рассредоточенным распределением власти.

Ключевые слова: восточный деспотизм, Иран, патримониализм, азиатский способ производства, Каджары.

Совет экспертов Исламской Республики Иран: социально-демографические и политические факторы рекрутирования (1983–2024)*

Илья Васькин

Старший преподаватель, младший научный сотрудник, Центр изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии, Институт классического Востока и Античности (CSMECCA) факультета гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Россия
E-mail: ilya.a.vaskin@gmail.com

В данной статье анализируются социально-демографические и политические факторы рекрутирования членов Совета экспертов Ирана в 1983–2024 годах. Совет экспертов представляет из себя коллегию выборщиков, формально контролирующую Верховного руководителя, однако де-факто не пользующуюся своими полномочиями. База данных состоит из 446 наблюдений, относимых к 216 персоналиям в течение пяти созывов Совета экспертов. В статье используется структурно-биографический метод анализа. Результаты исследования показывают, что иранское духовенство в Совете экспертов относительно устойчиво, однако на него влияют тренды, связанные с массовизацией высшего образования и динамикой политической борьбы между политическими фракциями. Если изначально абсолютное большинство было консерваторами, то к последним созывам выросла доля реформаторов, а также духовенства с двойной политической аффилиацией: они относятся и к консервативным, и к реформаторским политическим организациям. Также в С. высокая доля переизбирающихся: около половины, начиная со 2-го созыва, избирались как минимум дважды, начиная с 3-го — около трети переизбирались как минимум трижды. Большая часть членов С. происходила из семинарий Кума и Наджафа, меньшинство — из семинарии Мешхеда. Среди них также широко распространено светское образование, доля охвата которого достигает 18–20% в 5-м составе. Основные специальности, полученные в светских учебных заведениях, — это теология, право и философия. Более половины членов всех созывов выходцы из 9 провинций, что свидетельствует о значимом влиянии патримониализма на рекрутирование в Совет экспертов.

Ключевые слова: Совет экспертов, Иран, рекрутирование элит, биографический анализ, коллегия выборщиков

Политический режим Исламской Республики Иран представляет собой сложную систему акторов и институтов, со своими сдержками и противовесами. Он не демократический, однако в нем присутствуют такие демократические элементы, как относительный плюрализм мнений и публичная борьба политических фракций за места в коллективных органах власти и должность президента. Одно из определений такого режима — «опекунский», т. е. режим, в котором «выборы конкурентны, но власть избираемых правительств ограничена не избираемой религиозной, монархической или военной властью» (Levitsky, Way, 2010: 14).

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Система конституционных органов Исламской Республики Иран — сложная система институтов, взаимодействующих друг с другом разнообразными способами. Она является дуалистической, поскольку в ней существует президентско-парламентская республиканская система с надстройкой в виде исламских институтов.

Граждане в этой системе выбирают депутатов в Исламский консультативный совет (Меджлис), Совет экспертов и президента (который фактически является избираемым премьером). Президент с согласия Меджлиса назначает министров, и самостоятельно — вице-президентов. Иранское правительство отвечает за административное управление страной. Вместе с тем политический курс президента может оказывать реальное влияние на динамику политического режима в стране (Mozaffari, 1993).

Совет экспертов выбирает и контролирует деятельность Верховного руководителя Ирана, который выбирается пожизненно и, собственно, и является главой государства, отвечает за стратегическое управление страной, а также за назначение Главы судебной власти, членов Ассамблеи по определению целесообразности по назначению², половины членов Наблюдательного совета, пятничных имамов, контролирует армию и Корпус стражей Исламской революции.

Наблюдательный совет является де-факто второй палатой парламента и состоит из 12 человек: 6 исламских юристов — факихов, которых назначает Верховный руководитель; 6 светских юристов, которых назначает Глава судебной власти. Этот орган отвечает за проверку законопроектов, предложенных Меджлисом, на соответствие нормам Конституции Ирана и шариата. Помимо этого, он надзирает за выборами и определяет, кто может стать кандидатом на парламентских и президентских выборах и выборах в Совет экспертов (Shirvani, 2012).

Ассамблея по определению целесообразности — это институт, которому Верховный руководитель делегирует часть своих полномочий, и одновременно это арена столкновения разных политических групп. Ассамблея разрешает конфликты, возникающие между политическими институтами страны и служит переговорной площадкой для ключевых элитных групп (Ghiabi, 2019).

Одним из ключевых институтов является *Совет экспертов* (СЭ). Функционально он представляет из себя коллегию, отвечающую за выборы и контроль Верховного руководителя Исламской Республики. Его члены избираются по одно- и многомандатным округам раз в восемь лет. В Конституции ИРИ не прописана обязательность избрания в него только духовенства, однако фактически никакие другие группы в него не допускаются.

Кстати, органы с похожими функциями существуют в Гонконге, Макао, Мьянме и ряде других стран. Также можно проводить осторожные параллели с Коллегией кардиналов Святого престола, избирающей Папу Римского. В обоих случаях это выборные коллегиальные органы власти, которые также определяют главу конкретной деноминации. В случае Коллегии кардиналов — это глава Римской

2. Часть членов Ассамблеи назначается по должности, конкретные должности зависят от ее состава.

католической церкви и всех католиков, в случае Совета экспертов — фактический лидер шиитов³.

СЭ — влиятельный институт, поскольку избирает и контролирует деятельность Верховного руководителя страны, а значит, именно его члены будут решать, кто станет следующим главой Ирана после смерти Али Хаменеи. Однако в остальное время его деятельность не играет большой роли в политическом процессе. Вместе с тем нельзя недооценивать значимость социально-профессиональных источников рекрутирования в этот институт. Во-первых, специфика рекрутирования может серьезно влиять на деятельность членов СЭ, их политические ориентации и установки (Edinger, Searing, 1967; Bianco, 2005; Carnes, 2012). Во-вторых, это позволяет изучить структуры власти, включающие элиты в политические институты страны (Putnam, 1976: 43). В-третьих, состав СЭ, который является политическим институтом, состоящим целиком из исламского духовенства, позволяет, по крайней мере частично, представить, как социально-демографически и политически менялось шиитское духовенство в течение более 40 послереволюционных лет. Это важно само по себе, поскольку практически все существующие на данный момент исследования затрагивают роль духовенства в политической жизни Ирана (Arjomand, 2012; Buchta, 2000; Kalantari, 2021; Rakel, 2008; Дунаева, 2018), в том числе в политической мобилизации и Исламской революции (Arjomand, 2018c; Bakhash, 1984; Foran, 1994; Parsa, 1994; Skocpol, 1982; Дорошенко, 1998). Однако не фокусируются на том, как за исключением идеологии (Kamrava, 2008; Roy, 2001; Филин, 2014) менялось само духовенство. В-четвертых, анализ структур рекрутирования позволяет оценить сплоченность и гомогенность элитного иранского духовенства.

Итак, существующие исследования в основном касаются роли С. в политической системе Ирана и представляют собой короткие обзоры или части статей на связанные с этим темы (Arjomand, 2018c; Farhi, 2014; Филин, 2008). В них фиксируются основные функции этого органа в политической системе, порядок выборов, структура и основные проблемы этого института.

Целью нашей статьи является анализ социально-демографических и политических факторов рекрутирования элит в С. с 1983 по 2024 год. В исследуемую совокупность включены все члены, которые как минимум один раз входили в этот Совет, всего 216 человек и 446 наблюдений⁴. Элиты в данном исследовании опре-

3. Верховный руководитель Ирана является политическим лидером шиитов согласно доктрине веляят-е факих. Религиозные лидеры шиитов — это аятоллы и великие аятоллы, относящиеся к традиционной системе марджаата. Аятолла Рухолла Хомейни (1979–1989) оказался единственным в Исламской Республике, кому одновременно принадлежала высшая политическая и религиозная власть. Верховный руководитель Али Хаменеи (с 1989 г.) обладает статусом ходжат оль-эслам, что примерно соответствует епископу в христианстве. Таким образом, в Исламской Республике существует своеобразный дуализм политической и духовной власти, инновационной системы веляят-е факих и традиционного марджаата. Детали см.: Gieling, 1994.

4. 1 наблюдение это 1 член СЭ, избранный на 1 срок. Если он переизбирался дважды, то такому случаю соответствуют 2 наблюдения и т. д.

деляются как «индивиды или малые, относительно сплоченные и стабильные, группы со значимым влиянием на принятие решений» (Higley, 2018: 27). В качестве основного источника данных использован справочник *Postrevolutionary Iran: A Political Handbook* (Boroujerdi, Rahimkhani, 2018) Мехрзада Боружерди и Куроша Рахимхани, где собраны биографии более 3000 представителей иранских элит после Исламской революции, а также публично доступные источники. Методом анализа является структурно-биографический: все биографии были стандартизованы по биографической анкете, далее подсчитаны результаты для каждой из характеристик по созывам СЭ. Анкеты были сгруппированы по возрасту вступления в должность; городу и провинции рождения; семинариям, где получено религиозное образование; странам, университетам и специализациям в светских университетах, по уровням образования. Далее для каждого показателя высчитывались доли, которые анализировались уже обобщенно по созывам Совета экспертов. Единственным исключением стали данные по политической принадлежности членов Совета: они использовались сразу в агрегированном виде.

Рекрутирование элит: обзор исследований

Исследования элит, проведенные на американском материале, показывают, что юридический и военный опыт не влияет на поведение законодателей (Derge, 1959; Bianco, 2005). При этом для стран Европы и Америки характерно рекрутирование элит из гражданского общества и политических партий (Blondel, Thiebault, 2018; Dowding, Dumont, 2014). Большую роль в рекрутировании элит в странах Восточной Азии играют клановые структуры. Вместе с тем для «азиатских тигров» значимым является образование (Barg, 2014; Rothacher, 1993). Для латиноамериканских стран важны факторы, связанные с организацией политических партий: структура, уровень централизации, контроль над финансами и т. д. (Morgenstern, Siavelis, 2008). В России большую роль в политической карьере играет предыдущий опыт в представительных и административных органах власти, а также в бизнесе (Тев, 2021).

Для Ближнего и Среднего Востока характерен учет неопатримониальных факторов: семейных связей, кумовства, профессиональной принадлежности, плюс ограниченных возможностей для входа в элиту для тех, кто в ней никогда не был. Помимо этого, большую роль в течение XX века играли армия и социальное происхождение (Assiri, Al-Monoufi, 1988; Faksh, 1976). Для турецких элит значимо влияние профессионализации в бизнесе, образовании, праве, инженерии и опыт работы в правительстве (Szyliowicz, 1971; Sayari, Hasanov, 2008).

Важно упомянуть и о рекрутировании элит в коллегии выборщиков. Максимально близким примером можно считать Коллегию кардиналов Святого престола, где на количество, географическое и социальное происхождение кардиналов влияла политическая ситуация в Европе, отдельные группы интересов, а также политические конфликты в самом Папском государстве (Baumgartner, 2003; Vis-

segliа, 2019). В этом случае большая часть кардиналов вплоть до 1939 года была итальянцами (60–80%), позднее началась интернационализация Коллегии, и доля итальянцев снизилась до 25%, далее колебалась в диапазоне до 38%, но при этом росла доля представителей европейских и латиноамериканских стран (Broderick, 1987).

Также показательный исторический пример — Большой совет Венеции, избрание в который определялось социальным, экономическим и политическим капиталом, а также семейными связями (Manin, 1997). К современным примерам можно отнести Законодательные советы Макао и Гонконга, выборы в них устроены как комбинация корпоративных и территориальных методов, где существуют мощные группы не только пропекинских, но и продемократических депутатов (Jang, 2018; Wong, 2010).

Исследования иранских элит можно разделить на несколько групп. Важнейшим из исследований элиты до Исламской революции является работа Марвина Зониса, посвященная формальной структуре и ценностям высшей элиты страны. В ней он фиксирует высокий уровень цинизма и политической подконтрольности элиты шаху (Zonis, 1976).

Если же говорить про исследования иранских элит после Исламской революции, то одни ученые фокусируются на формальном и неформальном разделении властей в политических институтах Ирана, описывая влияние внутреннего круга Верховного руководителя (Buchta, 2000; Thaler et al., 2009). Другие анализируют размежевания внутри иранской элиты: идеологические (Akhavi, 1987; Malek, 1989; Behrooz, 1991; Rakel, 2008), структурные (Golkar, 2016) или клановые (Мамедова, 2016). Они показывают, как конкретно устроены межэлитные размежевания, выделяют элитные группы, основанные на критериях идеологии, принадлежности к определенной социальной страте, профессии или клану. К этим исследованиям примыкают работы, анализирующие межэлитные конфликты в Иране и связанные с этими конфликтами трансформации политической системы страны (Kazemzadeh, 2008; Mozaffari, 1993; Siavoshi, 1992; Vakili-Zad, 1994).

Помимо этого, существует ряд исследований, так или иначе затрагивающих иранский парламент, в которых отмечается секуляризация его состава, рост доли депутатов с высшим образованием, а также институционализация в нем политических фракций (Alem, 2011; Baktiari, 1996).

Иранское шиитское духовенство

Работы, посвященные иранскому шиитскому духовенству, также можно разделить на две большие группы. Первая концентрируется скорее на роли духовенства в политических процессах, протестах и революциях. Исследования из второй сфокусированы на структуре духовенства, эволюции его норм и практик.

Из исторических работ ключевыми можно считать исследования Саида Аржоманда. Его работа про домодерновый Иран посвящена взаимоотношениям ши-

итского духовенства, политического порядка и социальным институтам в Иране до 1890 года (Arjomand, 1984a). Через призму неовеберовского подхода он показал, как духовенство трансформировало сефевидскую цезарепапистскую монархию в дуалистическую каджарскую, что сделало шиитские институты независимыми от государства. В будущем это разделение политической и иерократической власти послужило основой для участия духовенства в Табачном движении 1890–1892⁵ годов и Конституционной революции⁶ 1905–1911 годов (Arjomand, 2018a). Внутренние изменения в шиитском духовенстве также можно проследить через их участие в масонских ложах в XIX — начале XX века (Арабаджян, 2020).

Другой значимый блок исторических работ освещает роль шиитского духовенства в политической мобилизации начиная с Табачного движения (Arjomand, 2018a; Bakhsh, 1984; Moazzami, 2013; Skocpol, 1982; Дорошенко, 1998). Они фиксируют, что духовенство всегда так или иначе активно действовало во время крупных протестных движений и революций в Иране, в частности, именно духовенство выступало за появление в Иране Конституции, за создание сильного, независимого парламента, а также демократизацию страны в начале XX века.

Шиитское духовенство стремилось создать конституционное правление, чтобы защитить ислам в стране. Оно обосновывало его необходимостью ограничить власть правительственных и государственных институтов согласно нормам шариата. Духовенство активно участвовало как в самой революции, так и в создании первых послереволюционных законодательных актов, связанных с процедурным правом, а шариат рассматривался как ограничитель государства и законодательства (Arjomand, 2018a).

Именно духовенство в результате политического конфликта начала 1960-х годов встало во главе антишахской оппозиции. Его усиление было связано с ослаблением светской оппозиции, а также идеологической революцией внутри него, о чем будет сказано далее. В 1950-е годы протестная мобилизация проходила через политические партии, университеты, рабочие места (фабрики, базар). К началу 1960-х во время антишахских протестов политические партии типа Национального фронта были ослаблены, а государственные репрессии затронули относительно широкие слои населения. В результате протестующие мобилизовывались в основном в университетах и на базаре, а сами протестные действия координировались

5. Табачное движение 1890–1892 гг. представляло из себя антишахскую коалицию из духовенства и базарных торговцев против табачной концессии, которую Насер ад-Дин Шах даровал Британской империи. Движение добилось успеха, и концессия была отменена. Само оно стало считаться первым проявлением гражданского общества в Иране. Детали см.: Keddie, 1966.

6. Персидская конституционная революция 1905–1911 гг. представляла собой революцию, целями которой было ослабление шаха, создание Конституции и политическая либерализация в стране. Ее вела коалиция, состоящая из части духовенства, светских левых и либеральных интеллектуалов, базарных торговцев и студентов. Революция закончилась успехом, по ее итогам в стране появились Конституция, Меджлис (Парламент), по крайней мере официально было объявлено, что иранцы имеют права и свободы. Детали см.: Bayat, 1991.

через мечети. Тот же шаблон действий повторился в 1977–1978 годах, что повлияло на исход Исламской революции (Parsa, 1994).

Идеологическая революция, по мнению Аржоманда (Arjomand, 2018b), состояла в том, что духовенство превратило ислам в идеологию, фундаментом которой стала новая теория теократического правления. До 1960-х считалось, что властью должны обладать не светские правители, и не улемы — поскольку никто из них не безгрешен, а непогрешимые имамы (вила аль-имама). В 1960-е произошла трансформация — право принимать решения по отдельным проблемам, таким как наказание по святому закону, судейство, развод в случаях, когда муж исчезал, и некоторым другим, перешло к факихам, исламским юристам (веляятэ хисбийя). Так, к концу 1960-х право перешло от имамов к юристам, но в очень конкретных и определенных случаях.

В начале 1970-х изгнанный из Ирана аятолла Рухолла Хомейни, стремящийся свергнуть шаха, решил пойти дальше в развитии этой теории. Он предложил общую доктрину исламского правления (веляят-е факих), согласно которой во время отсутствия Скрытого Имама править должен факих. Это интерпретировалось как аналог гоббсианского «Левиафана», где Сувереном был факих, при этом сама эта теория самосекуляризует ислам в восприятии самих шиитов (Namazi, 2019). Ее можно рассматривать и как некое подобие шмиттианского подхода, поскольку она позволяет перенести шиитское право из независимых семинарий в современное государство (Brännström, 2022).

Шиитское духовенство во время Исламской революции воспользовалось наработанными в 1960–1970-е годы организационными и культурными преимуществами, используя сети, шиитские мифы и антишахские политические идеи для мобилизации, а также координирования протестов. Идеология Хомейни и его окружения, позаимствовавшего у левых часть риторики и идей, позволила духовенству возглавить протесты и стать ключевым игроком в антишахской коалиции (Skocpol, 1982; Foran, 1994).

После Исламской революции 1979 года политическая элита Ирана разделилась на две фракции: консерваторов и радикальных левых (Rakel, 2008; Siavoshi, 1992). Обе основывались на веляят-е факих, только интерпретировали их по-разному. Если консерваторы поддерживали традиционные экономические секторы, выступали за большие ограничения индивидуальных свобод и были частично за диалог с США, то левые выступали за госконтроль над экономикой, сравнительно небольшие ограничения индивидуальных свобод и за изоляцию страны. Эта конструкция перестала существовать в 1989 году после смерти аятоллы Хомейни (1989), конституционного референдума (1989) и окончания Ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Также важно отметить, что в период между 1979 и 1983 годом в Иране были уничтожены все оппозиционные партии и движения, а ключевую роль в стране стала играть Исламская республиканская партия (1979–1987), также позднее распущенная в связи с внутренними конфликтами (Razavi, 2010).

На следующем цикле 1989–1997 годовна арену вышла фракция прагматиков, чьим ключевым представителем был президент Акбар Хашеми Рафсанджани (1989–1997). Ее члены выступали за рыночную экономику, ограниченное уменьшение свобод и интеграцию в международные процессы. Ее возникновение связано с либерализацией политического режима в Иране, началом приватизации и ослаблением государственного сектора экономики в целом, а также с необходимостью восстановления экономики страны после войны (Rakel, 2008). В этот период не было активных партий, их роль выполняли квазиполитические организации: консервативная «Ассоциация воинствующего духовенства» и прагматистская «Организация борющегося духовенства» (Mohammadighale-taki, 2012).

В 1997 году в связи с победой на президентских выборах Мохаммада Хатами конфигурация политических элит снова сильно изменилась. Во-первых, радикальные левые превратились в реформаторов, которые стали выступать за частичное ограничение принципов веляят-е факих, рыночную экономику, индивидуальные свободы и интеграцию в существующий мировой порядок (Rakel, 2008). Тогда же в стране оформилась современная партийная система, представляющая из себя большие коалиции партий, кокусов, профсоюзов, формирующиеся под конкретные выборы. Эти коалиции, соответственно, могут быть реформаторскими, прагматистскими или консервативными (Razavi, 2010).

После 1997 года структура партийной системы принципиально не менялась, единственным серьезным новшеством после 2005 года стало возникновение новой фракции — неоконсерваторов, отделившихся от консерваторов. Их позиции во многом совпадают с консерваторами, но в большей степени ориентированы на традиционные экономические сектора, значительные ограничения индивидуальных свобод и на международную изоляцию (Rakel, 2008). При этом консерваторы также делятся на умеренных, традиционалистов и неоконсерваторов, в зависимости от их политических приоритетов. Умеренные поддерживают конкуренцию на выборах, публичную дискуссию, не ставящую под сомнение основы государственности республики. Традиционалисты выступают в поддержку концепции развития Ирана как Исламской Республики, опираются на Верховного лидера Ирана Хаменеи. Они выступают за усиление госконтроля, роли духовенства в управлении страной, стремятся отдалиться от Запада (Богачева, 2022).

Если же говорить об общей трансформации иранского духовенства после Исламской революции, то оно модернизировалось и бюрократизировалось. Религия стала формой символического капитала, в результате чего государство выполняет функцию его распределителя. Это, в свою очередь, привело к изменениям внутри духовенства: мечети стали местом рекрутирования в ополчение Корпуса стражей Исламской революции Басидж; сами мечети стали управляться Комитетом по делам мечетей и Советом по политике пятничных молитв. Помимо этого, государство установило жесткий контроль над духовенством по-

средством Специального духовного суда и 83-й бригады имама Садыка, которые борются с несогласными в семинариях; духовенство также начало курировать религиозные благотворительные квазигосударственные организации (Khalaji, 2011; Künkler, 2013).

Группа исследований (Schahgaldian, 1989; Kalantari, 2021), фокусирующаяся на нормах и практиках иранского духовенства, доказывает, что шиитское духовенство по факту является тотальным институтом. Оно жестко иерархизировано, во время обучения отделено от обычных гражданских лиц, также придерживается специализированных норм, разделяемых только ими.

К этим нормам относятся *такийя*, *танфийе* и *чехеле*. *Такийя* (религиозное лицемерие) это кодекс поведения, возникший еще в VIII веке для защиты от религиозных преследований со стороны суннитов. Лицемерие и обман считаются допустимыми, если высказывание правды влечет за собой опасность для жизни и собственности конкретных мулл. В XX веке *такийя* была инструментом политической борьбы, позволяя антишахски настроенному духовенству создавать тактические союзы с политическими оппонентами и менять по необходимости свою позицию.

Танфийе, второй важнейший принцип, состоит в том, что при необходимости можно бездействовать, не выполнять свои обязанности. Это бездействие может происходить в случаях, если его действия приведут к катастрофе, подвергнут личной опасности и т. д. В случае политической борьбы бездействие позволяет снижать риски, а также сохранять минимальную активность во время интенсивных политических конфликтов.

Чехеле, или 40-дневный цикл, выполняет похожую функцию. Во время этого цикла шиитский мулла полностью отказывается от своих повседневных обязанностей на 40 дней, он размышляет о своей жизни, переосмысливает свои идеи и строит планы на будущее. Однако важно отметить, что *танфийе* могут практиковать большинство мулл среднего уровня, а *чехеле* — только избранные, с наибольшей репутацией и влиянием.

Совет экспертов как политический институт

Совет экспертов представляет из себя коллегия выборщиков, состоящую целиком из духовенства. Его возникновение связано с идеологией веляят-е факих. Изначально он создавался для редактирования и доработки Конституции ИРИ, однако в процессе дискуссии получил функции, которые будут описаны ниже. Его основными целями стали контроль над деятельностью Верховного руководителя и выборы нового в случае, если нынешний по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности (Shevlin, 1998).

Согласно статье 107 Конституции 1979 года (Ramazani, 1980), Верховный руководитель избирается Советом экспертов. 108-я статья уточняет, что закон касательно правил избрания, количества, внутреннего регулирования сессий

С. и т. д. должен быть написан юристами Наблюдательного совета, и за него должно проголосовать большинство его членов, после чего он должен быть одобрен Верховным руководителем. Все последующие изменения в этот закон вносятся самим Советом экспертов. Статья 111 фиксирует условия отстранения членов С. и Верховного руководителя от обязанностей: невозможность исполнять обязанности или потеря квалификации. Помимо этого, Совет экспертов надзирает за деятельностью Верховного руководителя. Важно также отметить, что формально лидер и члены Совета экспертов равны перед законом так же, как и все остальные граждане страны (ст. 112). Первые выборы в Совет экспертов прошли в 1983 году.

После конституционного референдума 1989 года часть статей была скорректирована. В частности, в статье 111 условия отстранения от должности относятся только к Верховному руководителю. Также в ней была прописана процедура назначения нового Верховного руководителя.

Во время выборов в третий С. (1999–2007) на участие в выборах в него подали заявки светские кандидаты, однако они были отклонены. Тогда же все члены Наблюдательного совета анонсировали свое участие в выборах в СЭ. И одновременно Наблюдательный совет дисквалифицировал много других кандидатов. Во время выборов в четвертый С. (2007–2016) Наблюдательный совет позволил участвовать в выборах женщинам и светским кандидатам, однако позже дисквалифицировал их за несоответствие исламским принципам (Farhi, 2014).

На практике Совет экспертов никогда не оспаривал и не ставил под сомнение деятельность Верховного руководителя, хотя отдельные члены могли выражать недовольство проводимой политикой (Farhi, 2014). Если не учитывать локальных скандалов, С. не участвовал серьезно в конфликтах и не проявлял себя как политический институт, активно влияющий на ситуацию в стране.

Совет экспертов состоит из руководящего совета и шести комиссий. Члены руководящего совета избираются с помощью тайного голосования на два года; к ним относятся председатель, два вице-председателя, два секретаря, два помощника. С момента создания С. сменилось пять председателей, при этом первый, Али Мешкини, возглавлял его с 1983 по 2007 год. После смерти в 2014 году его преемника, Акбара Хашеми Рафсанджани, началась борьба за власть в СЭ, в процессе которой председатели в течение трех лет менялись каждый год, до тех пор пока в 2016 году им не стал аятолла Ахмад Джаннати, занимающий эту должность по сей день (Farhi, 2014).

Если же посмотреть на частоту переизбрания (см. табл. 1), то доля переизбранных дважды составляет стабильно ~52%, трижды и более — ~30%. Такая динамика свидетельствует о сравнительно высоком уровне преемственности среди членов СЭ.

В целом можно сказать, что Совет экспертов институционально представляет из себя коллегия выборщиков с относительно стабильным составом, высоким формальным уровнем влияния на Верховного руководителя Ирана. Однако фактически он мало влияет на политические процессы в стране.

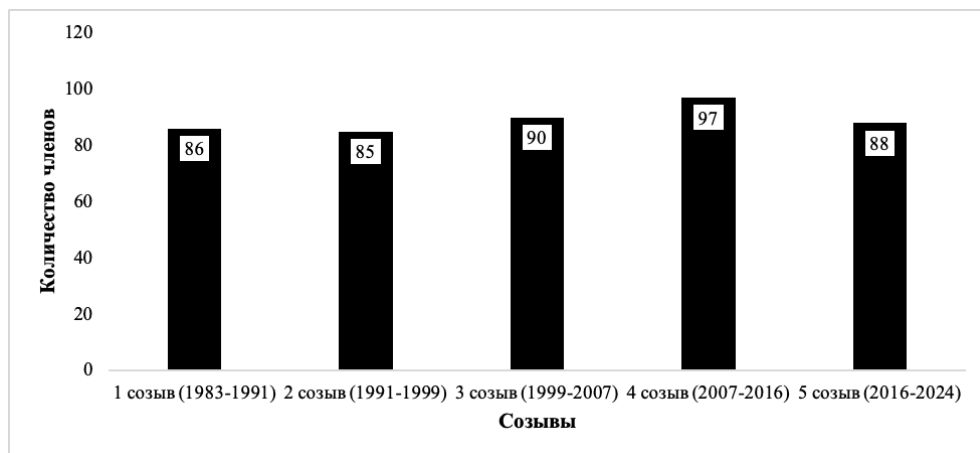


Рис. 1. Структура созывов Совета экспертов Ирана, 1983–2024 гг., чел.

Общее количество членов СЭ колебалось в диапазоне 85–90 человек (см. рис. 1). Рост количества членов в 3-м и 4-м созывах связано со смертями их предшественников и проведением переизборов в Совет.

Таблица 1. Доля членов Совета экспертов Ирана по частоте переизбрания, 1983–2024 гг., %

	2 раза	3 и более раз
2 созыв (1991–1999)	53	0
3 созыв (1999–2007)	55	31
4 созыв (2007–2016)	51	29
5 созыв (2016–2024)	51	32

Возраст

Возраст является одним из значимых показателей, отражающих внутриэлитную динамику. В целом исследования показывают, что в парламентах представлены в основном возрастные депутаты, сравнительно молодые, до 35–40 лет представлены гораздо меньше, их доля составляет 20–40% (Stockemer, Sundström, 2018; Magni-Berton, Panel, 2021).

Распределение членов СЭ по возрасту (см. рис. 2) показывает ту же долю возрастных политиков. Даже в 1-м созыве количество членов старше 50 лет составляло 70%. Этот тренд может быть связан с общим старением иранского духовенства, а также с ограниченными социальными лифтами, которые могли бы позволить занять места в Совете экспертов более молодым муллам.

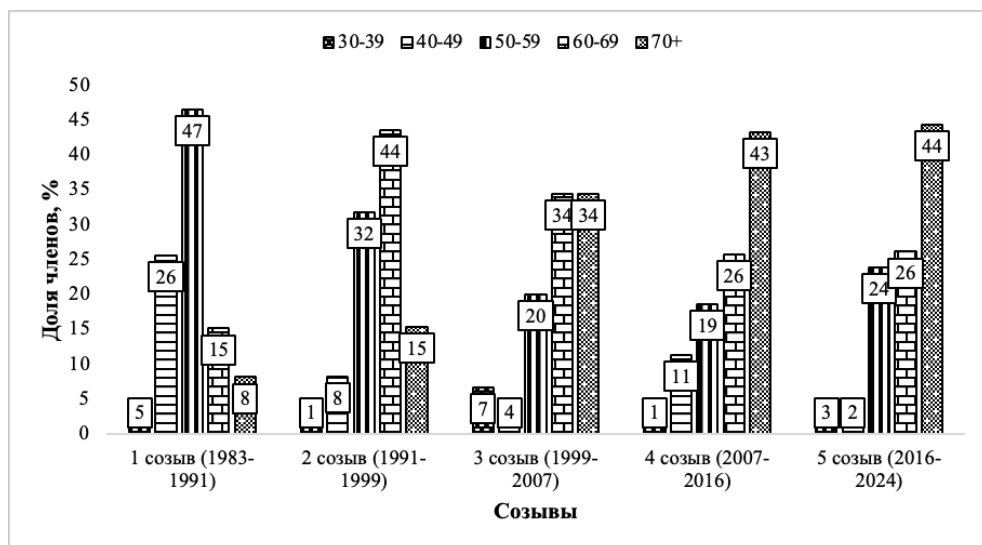


Рис. 2. Распределение членов Совета экспертов Ирана по возрасту, 1983–2024 гг., %

Принадлежность к политическим организациям

Политическая аффилиация также является важным индикатором изменений в Совете экспертов. Двумя ключевыми непартийными организациями являются Ассоциация воинствующего духовенства (АВД) и Общество преподавателей семинарии Кума (ОПСК) — именно доля их членов стабильно составляла 70–100%, за исключением 3-го созыва, где к АВД принадлежали 54% членов (см. табл. 2). ОПС. не участвовало в выборах 1998 года, протестуя против дисквалификации своих кандидатов Наблюдательным советом.

При этом важно понимать принципы организации партийной системы Ирана. АВД и ОПС. как организации духовенства существуют бессрочно, классические же партии, т. е. все остальные, создаются под конкретные выборы и распускаются перед новыми, чтобы продолжить работу под другим названием.

Члены реформаторских или умеренных партий появились в СЭ начиная с 3-го созыва. Изначально их доля составляла 13%, но в 5-м созыве достигла 63%. Важно отметить, что все партии, присутствовавшие в СЭ, существуют один избирательный цикл, затем их сменяют другие, создающиеся под конкретные выборы.

Если взглянуть на политическую аффилиацию не по организациям, а по фракциям (см. рис. 3), то можно отметить долгосрочный тренд уменьшения доли консерваторов за счет роста доли умеренных и реформаторов. Так, в первых двух созывах большинство членов были консерваторами (76–100%), то появляются

умеренные и реформаторы, которые постепенно увеличивают свое присутствие с 13 до 63%. При этом у части членов СЭ по две-три аффилиации, и их доля растет от созыва к созыву, начиная с 3-го.

Таблица 2. Политическая аффилиация членов Совета экспертов Ирана по политическим организациям, 1983–2024 гг., %

	Ассоциация воинствующего духовенства	Общество преподавателей семинарии Кума	Прорабы созидания	Эксперты и эффективность	Партия национального доверия	Эксперты народа
1 созыв (1983–1991)	76	70	0	0	0	0
2 созыв (1991–1999)	100	100	0	0	0	0
3 созыв (1999–2007)	54	0	13	0	0	0
4 созыв (2007–2016)	70	70	0	29	26	0
5 созыв (2016–2024)	75	73	0	0	0	63

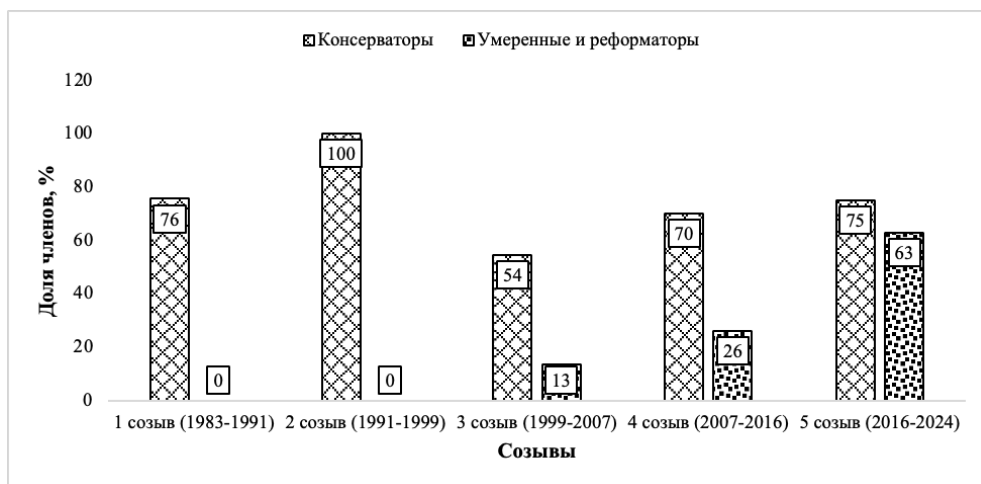


Рис. 3. Политическая аффилиация членов Совета экспертов Ирана, 1983–2024 гг., %

Динамика политической плюрализации может быть объяснена долгосрочной трансформацией политического режима страны в целом: после 1989-го, а особенно между 1997 и 2005 годами был принят новый закон о партиях, серьезно ослабляющий ограничения на участие в выборах для внутрисистемных кандидатов с более разнообразными позициями. После 2005 года либерализация режима была свернута, однако новые группы интересов, созданные ею, остались в политическом поле (Razavi, 2010).

Образовательные траектории членов Совета экспертов

После Исламской революции происходила интеллектуальная эмиграция, в процессе которой страну покидали наиболее вестернизированные и образованные группы (Mossayeb, Shirazi, 2006). Помимо этого, само высшее образование массовизировалось и исламизировалось (Habibi, 2015; Mojab, 1991). Но важно отметить, что высшее образование в целом очень престижно в Иране, и академическая профессия занимает высший ранг среди всех прочих профессий (Abdollahyan, Navebi, 2009).

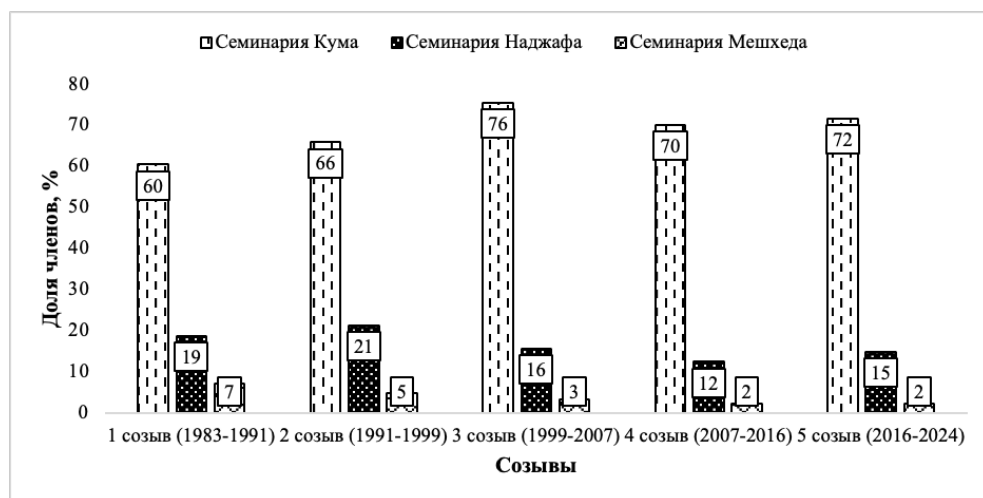


Рис. 4. Религиозное образование членов Совета экспертов Ирана по семинариям, 1983–2024 гг., %

В Иране действует сеть духовных семинарий, на данный момент их около 80. Важнейшей из них считается Семинария Кума, центр шиитской теологии. Другой известный центр — Семинария Наджафа в Ираке. Как видно по результатам анализа (см. рис. 4), именно в этих двух семинариях обучалось большинство членов Совета экспертов (60–76%). Есть также выпускники Семинарии Мешхеда, однако их доля составляет 2–7% в зависимости от созыва СЭ.

Доля членов Совета экспертов с высшим светским образованием непрерывно росла начиная со 2-го созыва. И если на тот момент в нем было только 2% бакалавров, то к 5-му созыву их уже 23%, магистров — 22%, PhD — 18% (см. рис. 5). Эти результаты свидетельствуют о повышении престижа светского образования, в том числе среди иранского духовенства, а также о том, что оно в целом не изолировано от трендов, связанных с распространением высшего образования.

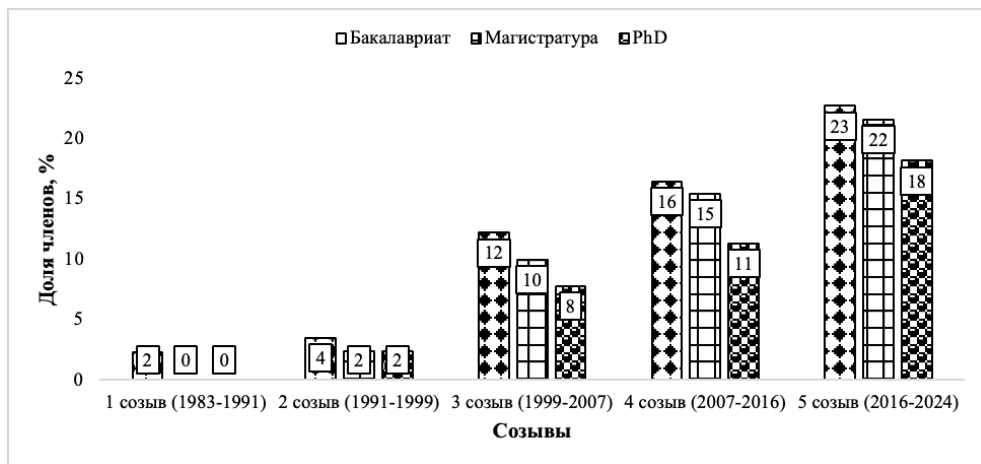


Рис. 5. Светское образование членов Совета экспертов Ирана по уровням образования, 1983–2024 гг., %

Важно также отметить, что практически ни у кого из членов всех созывов Совета экспертов нет западного образования. Исключений всего два. Это Мохсен Араки Мохаммади, член СЭ 2-го, 3-го и 5-го созывов, он учился на PhD программе в Университете Портсмута, Британия. Вторым исключением стал бывший президент Ирана Хасан Роухани (2013–2021), член 3–5-го созывов СЭ, окончил магистратуру и получил PhD по конституционному праву в Glasgow Caledonian University. Два члена СЭ получили образование в Пакистане: Мохаммад Эшхак Мадани (1–3-й созывы) и Али Ахмад Салами (4–5-й созывы).

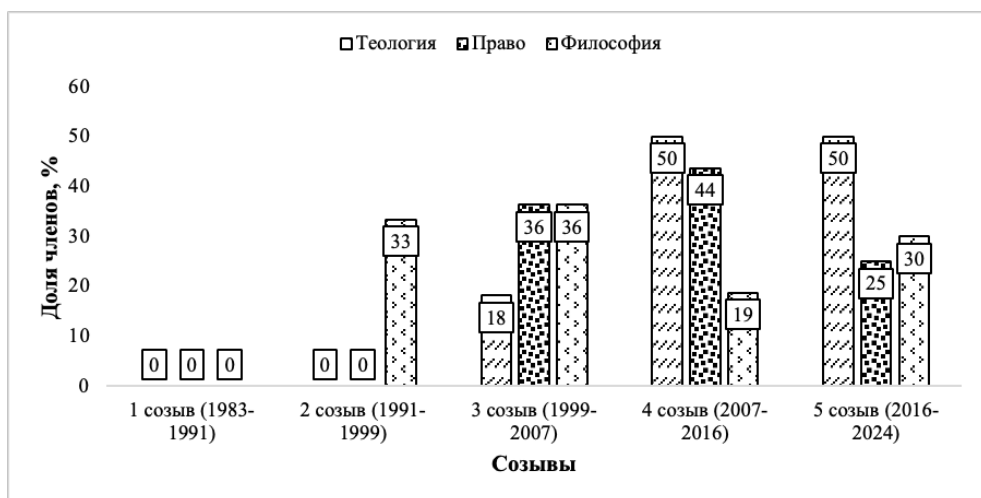


Рис. 6. Светское образование членов Совета экспертов Ирана по специальностям, среди имеющих как минимум одну степень светского университета, 1983–2024 гг., %

Что касается специализаций, то в СЭ три ключевые из них — это право, философия и теология. При этом если во 2-м созыве у его членов было только юридическое образование, то начиная с 4-го созыва 50% уже имеют теологическое образование, полученное в светском университете. Доля юристов и философов колеблется между 19 и 44%, среди них был экономист Али Ахмад Салами (4–5-й созывы), получивший степень магистра экономики в Университете Карачи. Также можно вспомнить Мохсена Куми (3–5-й созывы), получившего степень бакалавра по наукам об образовании в Университете юридических наук и административной службы филиала города Кум.

Подобную ситуацию можно объяснить двумя факторами. Во-первых, при отборе на уровне Наблюдательного совета оставались кандидаты только с соответствующей квалификацией. Во-вторых, духовенство в силу своего первоначального образования, полученного в семинарии, более склонно изучать философию, теологию и право, которые максимально пересекаются с образовательными программами семинарий.

Региональное происхождение

Анализ регионального происхождения членов СЭ показывает, что выходцы из 9 из 31 иранских провинций составляют 49–64% членов Совета экспертов в зависимости от состава. Этими провинциями являются Исфахан, Восточный Азербайджан, Керман, Мазендаран, Фарс, Хорасан-Резави, Гилян, Кум и Семнан (см. табл. 3).

Таблица 3. Региональное происхождение членов Совета экспертов Ирана, 1983–2024 гг., %

	1 СОЗЫВ (1983– 1991)	2 СОЗЫВ (1991–1999)	3 СОЗЫВ (1999–2007)	4 СОЗЫВ (2007–2016)	5 СОЗЫВ (2016–2024)
Исфахан	14	15	13	10	11
Восточный Азербайджан	9	12	9	8	7
Керман	5	4	4	4	6
Мазендаран	6	6	4	4	5
Фарс	6	7	6	8	8
Хорасан-Резави	8	5	4	6	9
Гилян	6	6	4	5	3
Кум	7	6	1	4	9
Семнан	1	1	4	5	5
Всего	64	62	49	54	63

Высокая доля выходцев из провинции Исфахан (10–15%) может быть объяснена тем, что город Исфахан был столицей Персии (1598–1736) во время династии Сефе-

видов (1501–1736), и накопленный социальный, культурный, религиозный и другие капиталы послужили основой для создания сильных социальных связей между элитами страны. Помимо этого, Исфахан является вторым крупнейшим городом в стране, с развитыми промышленностью, образованием и культурой, что также может объяснить его значимую роль как места происхождения членов Совета экспертов.

Присутствие Восточного Азербайджана на втором месте (7–12%) может быть объяснено тем, что аятолла Али Мешкини, первый председатель Совета экспертов (1983–2007), сам происходил из этой провинции и, видимо, стремился поддерживать своих земляков. По той же причине заметна доля выходцев из Кермана (4–6%): Акбар Хашеми Рафсанджани, президент Ирана в 1989–2007 годы и председатель Совета экспертов в 2007–2011годы., именно из этой провинции.

Странным, однако, выглядит минимальное присутствие мулл, рожденных в Тегеране, притом что Тегеран — столица страны, является важнейшим политическим, культурным и экономическим центром. Возможно, это связано с тем, что важнейшие религиозные центры шиитов — это город Кум в Иране и Наджаф в Ираке, где расположены самые престижные семинарии. Для того чтобы использовать религиозный социальный капитал, относительно светские социальные связи модернового и технократического Тегерана не столь эффективны. Однако и доля выходцев из Кума сравнительно мала — 1–9% в зависимости от созыва, и это притом что он является ключевым религиозным центром страны.

Заключение

Совет экспертов является иранской коллегией выборщиков, состоящей целиком из духовенства. Его институциональные полномочия сравнительно велики и связаны с контролем над деятельностью Верховного руководителя Ирана.

Исследование показало, что в Совете экспертов происходят частичные изменения, которые, однако, носят ограниченный характер. Ключевым можно считать распространение в среде иранского шиитского духовенства светского образования. Второе по важности изменение — увеличение доли умеренных и консерваторов, с большой долей духовенства, принадлежащего одновременно обеим фракциям.

Большинство членов СЭ получило образование в семинариях Кума и Наджафа, незначительно присутствие выпускников семинарии Мешхеда. Западное образование является исключением из правил. Специализация полученного в светских университетах образования ограничивается правом, философией и теологией.

Более половины членов СЭ выходцы из 9 провинций Ирана, что может свидетельствовать о влиянии неопатримониализма и кумовства при отборе кандидатов на выборы в Совет экспертов.

В целом можно сказать, что иранское духовенство в Совете экспертов сравнительно мало изменчиво. Однако растет доля членов с высшим образованием,

что свидетельствует о воздействии на него изменений в Иране в целом. Вместе с тем значимую роль в рекрутировании элит в СЭ также играют патримониальные связи и статус семинарий, где его члены получали религиозное образование.

Относительная устойчивость к изменениям Совета экспертов может быть объяснена несколькими факторами. Во-первых, в его состав входит исключительно духовенство, которое всегда меняется значительно медленнее, чем остальные социальные группы. Во-вторых, Совет экспертов избирается на большой срок (8 лет), что приводит к более редкой ротации его членов, по сравнению, например, с Меджлисом. В-третьих, значимым фактором могут быть ограничительные правила Наблюдательного совета, отсекающие потенциально конкурентных кандидатов на выборах.

В заключение подчеркнем ограничения данного исследования. Во-первых, оно является обзорным и не претендует на полноту анализа. Во-вторых, из-за отсутствия полноценных открытых данных оно не позволило нам отследить патримониальные и клановые связи. При использовании инструментов сетевого анализа это может стать предметом отдельного исследования.

Литература

- Арабаджян З. А. (2000). Шиитское духовенство в рядах иранских масонов // *Minbar. Islamic Studies*. 2020. Т. 13. № 1. С. 13-37.
- Богачева А. С. (2022). Президентская кампания 2021 в Иране: победа консерваторов на фоне системного кризиса // *Восток. Афро-азиатские общества: история и современность*. № 3. С. 89-100.
- Дорошенко Е. А. (1998). Шиитское духовенство в двух революциях: 1905–1911 и 1978–1979 гг. М.: ИВ РАН.
- Дунаева Е. В. (2013). Иран: религиозные организации на политическом поле // *Азия и Африка сегодня*. № 7. С. 29-35.
- Дунаева Е. В. (2018). Шиитское духовенство в политической жизни современного Ирана // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. Т. 11. № 4. С. 169-189.
- Мамедова Н. М. (2016). Иран: особенности формирования политической элиты // *Восток (Oriens)*. № 1. С. 121-127.
- Тев Д. Б. (2021). Члены Совета Федерации: карьера до вхождения в должность и после прекращения полномочий // *Мир России*. Т. 30. № 4. С. 53-78.
- Филин Н. А. (2008). Совет экспертов в политической системе Ирана // *Азия и Африка сегодня*. №. 6. С. 60-61.
- Филин Н. А. (2014). Система религиозного наставничества в трансформациях социальной реальности современного Ирана // *Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение*. № 1. С. 219-226.

- Филин Н. А. (2021). Религиозный статус Рухоллы Хомейни в современном Иране // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. № 3. С. 134-143.
- Abdollahyan H., Nayebi H. (2009). Conceptualizing Occupational Prestige: An Empirical Case Study from Iran // Asian Journal of Social Science. Vol. 37. № 2. P. 192-207.
- Akhavi S. (1987). Elite factionalism in the Islamic Republic of Iran // Middle East Journal. Vol. 41. № 2. P. 181-201.
- Alem Y. (2011). Duality by design: the Iranian electoral system. IFES.
- Arjomand S. (1984a). The Shadow of God and the Hidden Imam: religion, political order, and societal change in Shi'ite Iran from the beginning to 1890. Chicago: University of Chicago Press.
- Arjomand S. (1984b). Traditionalism in Twentieth-century Iran // From Nationalism to Revolutionary Islam / S. Arjomand (ed.). MacMillan Press. P. 195-232.
- Arjomand S. (2012). The Kingdom of Jurists: Constitutionalism and the Legal Order in Iran // Constitutionalism in Islamic countries: Between Upheaval and Continuity / R. Grote, T. Roder (eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 147-169.
- Arjomand S. (2018a). Shi'ite Jurists and Iran's Law and Constitutional Order in the Twentieth Century // Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays / S. Arjomand (ed.). Brill. P. 257-297.
- Arjomand S. (2018b). Ideological Revolution in Shi'ism // Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays / S. Arjomand (ed.). Brill. P. 361-390.
- Arjomand S. (2018c). Shi'ite Islam and the Revolution in Iran // Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays / S. Arjomand (ed.). Brill. P. 391-412.
- Arjomand S. (2018d). Shi'ite Conceptions of Authority and Constitutional Developments in the Islamic Republic of Iran // Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays / S. Arjomand (ed.). Brill. P. 413-441
- Assiri A.-R., Al-Monoufi K. (1988). Kuwait's Political Elite: The Cabinet // Middle East Journal. Vol. 42. № 1. P. 48-58.
- Bakhash S. (1984). Sermons, Revolutionary Pamphleteering, and Mobilization: Iran, 1978 // From Nationalism to Revolutionary Islam / S. Arjomand (ed.). MacMillan Press. P. 177-194.
- Baktiari B. (1996). Parliamentary Politics in Revolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics. University Press of Florida.
- Barr M. (2014). The ruling elite of Singapore: Networks of power and influence. IB Tauris.
- Baumgartner F. J. (2003). Behind Locked Doors: A History of the Papal Elections. New York: Palgrave Macmillan.
- Bayat M. (1991). Iran's First Revolution: Shi'ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Behrooz M. (1991). Factionalism in Iran under Khomeini // Middle Eastern Studies. Vol. 27. № 4. P. 597-614.
- Bianco W. (2005). Last Post for "The Greatest Generation": The Policy Implications of the Decline of Military Experience in the U. S. Congress // Legislative Studies Quarterly. Vol. 30. № 1. P. 85-102.

- Blondel J., Thiébauld J.-L.* (eds) (1991). *The Profession of Government Minister in Western Europe*. London: Macmillan.
- Boroujerdi M., Rahimkhani K.* (2018). *Postrevolutionary Iran: A Political Handbook*. Syracuse University Press.
- Brännström L.* (2022). Law's Comprehensiveness and Sovereign Leadership: On the Juridico-political Thinking of Ayatollah Khomeini and Carl Schmitt // *Political Theology*. Vol. 23. № 1-2. P. 75-89
- Broderick J. F.* (1987). The Sacred College of Cardinals: Size and Geographical Composition (1099-1986) // *Archivum Historiae Pontificiae*. № 25. P. 7-71.
- Buchta W.* (2000). *Who Rules Iran. The structure of Power in the Islamic Republic*. The Washington Institute for Near East Policy; Konrad Adenauer Stiftung.
- Carnes N.* (2012). Does the Numerical Underrepresentation of the Working Class in Congress Matter? // *Legislative Studies Quarterly*. Vol. 37(1). P. 5-34.
- Derge D.* (1959). The Lawyer as Decision-Maker in the American State Legislature // *Journal of Politics*. Vol. 21. № 3. P. 408-433.
- Dowding K., Dumont P.* (eds.) (2014). *The Selection of Ministers around the World*. New York: Routledge.
- Edinger L. J., Searing D. D.* (1967). Social Background in Elite Analysis: A Methodological Inquiry // *American Political Science Review*. Vol. 61. № 2. P. 428-445.
- Faksh M. A.* (1976). Education and Elite Recruitment: An Analysis of Egypt's Post-1952 Political Elite // *Comparative Education Review*. Vol. 20. № 2. P. 140-150.
- Farhi F.* (2014). The Assembly of Experts // *Iran Today: An Encyclopedia of Life in the Islamic Republic*. Vol. 2. P. 48-53.
- Foran J.* (1994). The Iranian Revolution of 1977-1979: A Challenge for Social Theory // *A Century of Revolution: Social Movements in Iran* / J. Foran (ed.) Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 160-188.
- Ghiabi M.* (2019). The council of expediency: crisis and statecraft in Iran and beyond // *Middle Eastern Studies*. Vol. 55. № 5. P. 837-853.
- Gieling S.* (1994). The Marja'iya in Iran and the Nomination of Khamanei in December 1994 // *Middle Eastern Studies*. Vol. 33. № 4. P. 777-787.
- Golkar S.* (2016). Configuration of Political Elites in Post-revolutionary Iran // *Brown Journal of World Affairs*. Vol. 23. № 1. P. 281-292.
- Jang J.* (2018). Parliamentary Representation in the Macau Special Administrative Region: A Quantitative Analysis of Roll Call Voting Behavior in the 5th Legislative Assembly, 2013-2017 // *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*. Vol. 4. № 2. P. 513-555.
- Habibi N.* (2015). Iran's overeducation crisis: causes and ramifications // *Middle East Brief*. Vol. 85. № 89. P. 1-7.
- Higley J.* (2018). Continuities and discontinuities in elite theory // *The Palgrave Handbook of Political Elites* / J. Higley (ed.). London: Palgrave Macmillan. P. 25-39.
- Kalantari M. R.* (2021). *The Clergy and the Modern Middle East: Shi'i Political Activism in Iran, Iraq and Lebanon*. Bloomsbury Publishing.

- Kamrava M.* (2008). Iran's intellectual revolution. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kazemzadeh M.* (2008). Intra-elite factionalism and the 2004 Majles elections in Iran // *Middle Eastern Studies*. Vol. 44. № 2. P. 189-214.
- Keddie N.* (1966). Religion and Rebellion in Iran. The Tobacco Protest of 1891-1892. Frank Cass & Co. LTD.
- Khalaji M.* (2011). Iran's regime of religion // *Journal of International Affairs*. Vol. 65. № 1. P. 131-147.
- Künkler M.* (2013). The Special Court of the Clergy (Dadgah-e Vizheh-ye Ruhaniyat) and the Repression of Dissident Clergy in Iran // *The Rule of Law, Islam, and Constitutional Politics in Egypt and Iran* / S. Arjomand, N. Brown (eds.). New York: SUNY Press. P. 57-100.
- Levitsky S., Way L.* (2010). Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.
- Magni-Berton R., Panel S.* (2021). Gerontocracy in a comparative perspective: Explaining why political leaders are (almost always) older than their constituents // *Sociology Compass*. Forthcoming. P. 1-12.
- Malek M.* (1989). Elite factionalism in the post-revolutionary Iran // *Journal of Contemporary Asia*. Vol 19. № 4. P. 435-460.
- Malek-Ahmadi F.* (2015). Democracy and Constitutional Politics in Iran: A Weberian Analysis. Palgrave MacMillan.
- Manin B.* (1997). The Principles of Representative Government. Cambridge University Press.
- McElroy D., Vahdat A.* (2013). Iranian president Hassan Rouhani 'plagiarised PhD thesis at Scottish university'. URL: <https://web.archive.org/web/20170804173224/http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10143799/Iranian-president-Hassan-Rouhani-plagiarised-PhD-thesis-at-Scottish-university.html>
- Moazzami B.* (2013). State, Religion, and Revolution in Iran, 1796 to Present. Palgrave MacMillan.
- Mohammadighaletaki A.* (2012). Organizational Change in Political Parties in Iran after the Islamic Revolution of 1979. With Special Reference to Islamic Republican Party (IRP) and the Islamic Iran Participation Front (Mosharekat). Durham Theses, Durham University. URL: <http://www.theses.dur.ac.uk/3507/> (accessed: 06.02.2023).
- Mojab S.* (1991). The state and university: The "Islamic Cultural Revolution" in the institutions of higher education of Iran, 1980-1987. PhD Dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Morgenstern S., Siavelis P.* (2008). Pathways to Power and Democracy in Latin America // *Pathways to Power. Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America* / P. Siavelis, P. Morgenstern (eds.). University Park, PA: Pennsylvania State University Press. P. 371-401.
- Mossayeb S., Shirazi R.* (2006). Education and Emigration: The Case of the Iranian-American Community // *Current Issues in Comparative Education*. Vol. 9. № 1. P. 30-45.

- Mozaffari M.* (1993). Changes in the Iranian Political System after Khomeini's Death // Political Studies. Vol. 41. № 4. P. 611–617.
- Namazi R.* (2019). Ayatollah Khomeini: From Islamic Government to Sovereign State // Iranian Studies. Vol. 52. № 1-2. P. 111-131.
- Page E., Wright V.* (1999). Bureaucratic Elites in Western European States: A Comparative Analysis of Top Officials. Oxford: Oxford University Press.
- Parsa M.* (1994) Mosque of Last Resort: State Reform and Social Conflict in the Early 1960s // A Century of Revolution: Social Movements in Iran / J. Foran (ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 135-159
- Putnam R. D.* (1976). The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Rakel E.* (2008). The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since the Islamic Revolution. Palgrave MacMillan.
- Ramazani R.* (1980). Constitution of the Islamic Republic of Iran // Middle East Journal. Vol. 34. № 2. P. 181–204.
- Razavi R.* (2010). The road to party politics in Iran (1979–2009) // Middle Eastern Studies. Vol. 46. No. 1. P. 79–96.
- Razi G. H.* (1981). Democratic-Authoritarian Attitudes and Social Background in a Non-Western Society: A Study of the Iranian Elite // Comparative Politics. Vol. 14. № 1. P. 53-74.
- Rothacher A.* (1993). The Japanese power elite. Springer.
- Roy O.* (2001). Tensions and Options among the Iranian Clerical Establishment // Iran, Iraq, and the Arab Gulf States / J. Kechichian (ed.). Palgrave MacMillan. P. 13-30
- Sayari S., Hasanov A.* (2008). The 2007 elections and parliamentary elites in Turkey: the emergence of a new political class? // Turkish Studies. Vol. 9. № 2. P. 345-361.
- Schahgaldian N. B.* (1989). The clerical establishment in Iran. Santa Monica, CA: RAND National Defense Research Institute.
- Shevlin N.* (1998). Velayat-e faqih in the constitution of Iran: The implementation of theocracy. // University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law. Vol. 1. № 2. P. 358-382.
- Shirvani F.* (2012). A Different Approach to the Control of Constitutionalism: Iran's Guardian Council // Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity / Ed. by R. Grote, T. Roder. Oxford: Oxford University Press. P. 279-290.
- Siavoshi S.* (1992). Factionalism and Iranian politics: the post-Khomeini experience // Iranian studies. Vol. 25. № 3-4. P. 27-49.
- Skocpol T.* (1982). Rentier state and Shi'a Islam in the Iranian revolution // Theory and society. Vol. 11. № 3. P. 265-283.
- Stockemer D., Sundström A.* (2018). Age representation in parliaments: Can institutions pave the way for the young? // European Political Science Review. Vol. 10. № 3. P. 467-490.

- Szyliowicz J.* (1971). Elite Recruitment in Turkey: The Role of the Mulkiye // *World Politics*. Vol. 23. № 3. P. 371–398.
- Tabaar M.* (2018). *Religious statecraft: The politics of Islam in Iran*. Columbia University Press.
- Thaler D., Nader A., Chubin S., Green, J., Lynch C., Wehrey F.* (2009). *Mullahs, Guards, and Bonyads: An Exploration of Iranian Leadership Dynamics*. Santa Monica, CA: RAND National Defense Research Institute.
- The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 Edition) (2014) / F. Papan-Martin (translator) // *Iranian Studies*. Vol. 47. № 1. P. 159–200.
- Vakili-Zad C.* (1994). Conflict among the ruling revolutionary elite in Iran // *Middle Eastern Studies*. Vol. 30. № 3. P. 618–631.
- Visceglia M. A.* (2019). *The Social Background and Education of Cardinals // A Companion to the Early Modern Cardinal / M. Hollingsworth, M. Pattenden, A. Witte (eds.)*. Brill. P. 245–259
- Wong S.* (2010). Political connections and firm performance: The case of Hong Kong // *Journal of East Asian Studies*. Vol. 10. № 2. P. 275–314.
- Zang X.* (2004). *Elite dualism and leadership selection in China*. Routledge.
- Zonis M.* (1976). *Political elite of Iran*. Princeton University Press.

Assembly of Experts of the Islamic Republic of Iran: Socio-Demographic and Political Recruitment Factors (1983–2024)

Ilya Vaskin

Senior Lecturer, Junior Research Fellow, Centre for the Study of the Middle East, the Caucasus and Central Asia (CSMECCA), Institute for Oriental and Classical Studies, Faculty of Humanities, HSE University

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, 101000, Russian Federation

E-mail: ilya.a.vaskin@gmail.com

The article analyses the socio-demographic and political recruitment factors for the Assembly of Experts of Iran from 1983–2024. The Assembly is an electoral college that has constitutional control over the Supreme Leader of Iran, but does not use its powers. The database comprises 446 observations related to 216 persons during 5 Assemblies since 1983. The research method is a structural-biographical analysis. The results of the research show that the Iranian clergy in the Assembly is relatively stable. However, it changes in the national context regarding the political struggle and the massification of higher education. The effect of political struggle demonstrates the expansion of the share of moderate and reformist clergy, which contrasts with the early domination of the conservative faction only. The share of incumbents is quite high, too: approximately half of the Assembly members have been elected at least twice since the second Assembly; approximately a third of them have been elected at least thrice since the third assembly. The educational clerical origin refers to the seminaries of Qom and Najaf, with the minority from the seminary of Mashhad. Secular education also expands among them, achieving 20% for the fifth Assembly. The most frequent specializations received in secular institutions are law, philosophy, and theology. More than half of the members of the Assembly originate from 9 of 31 provinces only, which may be explained by the patrimonial connections of the Assembly's leadership.

Keywords: Assembly of Experts, Iran, elite recruitment, biographical analysis, electoral college

References

- Abdollahyan H., Nayebi H. (2009) Conceptualizing Occupational Prestige: An Empirical Case Study from Iran. *Asian Journal of Social Science*, vol. 37, no 2, pp. 192-207.
- Akhavi S. (1987) Elite factionalism in the Islamic Republic of Iran. *Middle East Journal*, vol. 41, no 2, pp. 181-201.
- Alem Y. (2011) *Duality by design: the Iranian electoral system*, IFES.
- Arabadzhian Z. A. (2020) Shiitskoe dukhovenstvo v riadakh iranskikh masonov [Shiite clergy among Iranian Masons]. *Minbar. Islamic Studies*, vol. 13, no 1, pp. 13-37 (In Russian).
- Arjomand S. (1984a) *The Shadow of God and the Hidden Imam: religion, political order, and societal change in Shi'ite Iran from the beginning to 1890*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arjomand S. (1984b) Traditionalism in Twentieth-century Iran. *From Nationalism to Revolutionary Islam*. (ed. S. Arjomand), MacMillan Press, pp. 195-232
- Arjomand S. (2012) The Kingdom of Jurists: Constitutionalism and the Legal Order in Iran. *Constitutionalism in Islamic countries: Between Upheaval and Continuity*. (eds. R. Grote, T. Roder), Oxford: Oxford University Press, pp. 147-169.
- Arjomand S. (2018a) Shi'ite Jurists and Iran's Law and Constitutional Order in the Twentieth Century. *Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays* (ed. S. Arjomand), Brill, pp. 257-297.
- Arjomand S. (2018b) Ideological Revolution in Shi'ism. *Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays* (ed. S. Arjomand), Brill, pp. 361-390.
- Arjomand S. (2018c) Shi'ite Islam and the Revolution in Iran. *Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays* (ed. S. Arjomand), Brill, pp. 391-412.
- Arjomand S. (2018d) Shi'ite Conceptions of Authority and Constitutional Developments in the Islamic Republic of Iran. *Sociology of Shi'ite Islam: Collected Essays* (ed. S. Arjomand), Brill, pp. 413-441.
- Assiri A.-R., Al-Monoufi K. (1988) Kuwait's Political Elite: The Cabinet. *Middle East Journal*, vol. 42, no 1, pp. 48-58.
- Bakhash S. (1984) Sermons, Revolutionary Pamphleteering, and Mobilization: Iran, 1978. *From Nationalism to Revolutionary Islam* (ed. S. Arjomand), MacMillan Press, pp. 177-194.
- Baktiari B. (1996) *Parliamentary Politics in Revolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics*, University Press of Florida.
- Barr M. (2014) *The ruling elite of Singapore: Networks of power and influence*, IB Tauris.
- Baumgartner F.J. (2003) *Behind Locked Doors A History of the Papal Elections*, New York: Palgrave Macmillan.
- Bayat M. (1991) *Iran's First Revolution: Shi'ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909*, New York, Oxford: Oxford University Press.
- Behrooz M. (1991) Factionalism in Iran under Khomeini. *Middle Eastern Studies*, vol. 27, no 4, pp. 597-614.

- Bianco W. (2005) Last Post for “The Greatest Generation”: The Policy Implications of the Decline of Military Experience in the U. S. Congress”. *Legislative Studies Quarterly*, vol. 30, no 1, pp. 85–102.
- Blondel J., Thiébauld J.-L. (eds.) (1991) *The Profession of Government Minister in Western Europe*, London: Macmillan.
- Bogacheva A. (2022) Presidential campaign 2021 in Iran: conservators victory in the context of a system crisis. *Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost*, no 3, pp. 89–100. (In Russian)
- Boroujerdi M., Rahimkhani K. (2018) *Postrevolutionary Iran: A Political Handbook*, Syracuse University Press.
- Brännström L. (2022) Law’s Comprehensiveness and Sovereign Leadership: On the Juridico-political Thinking of Ayatollah Khomeini and Carl Schmitt. *Political Theology*, vol. 23, no 1–2, pp. 75–89.
- Broderick J. F. (1987) The Sacred College of Cardinals: Size and Geographical Composition (1099–1986). *Archivum Historiae Pontificiae*, no 25, pp. 7–71.
- Buchta W. (2000) *Who Rules Iran. The structure of Power in the Islamic Republic*, The Washington Institute for Near East Policy; Konrad Adenauer Stiftung.
- Carnes N. (2012) Does the Numerical Underrepresentation of the Working Class in Congress Matter? *Legislative Studies Quarterly*, vol. 37, no 1, pp. 5–34.
- Derge D. (1959) The Lawyer as Decision-Maker in the American State Legislature. *Journal of Politics*, vol. 21, no 3, pp. 408–433.
- Doroshenko Ye. A. (1998) *Shiitskoe dukhovenstvo v dvukh revoliutsiiakh: 1905–1911 i 1978–1979 gg* [Shia Clergy in Two Revolutions: 1905–1911 and 1978–1979], Moscow: Institute for Oriental Studies of the RAS. (In Russian)
- Dowding K., Dumont P. (eds.) (2014) *The Selection of Ministers around the World*, New York: Routledge.
- Dunaeva E. V. (2013) Iran: religioznye organizatsii na politicheskom pole [The Role of Religious Organizations in Political Life of the Islamic Republic of Iran]. *Aziia i Afrika segodnia*, no 7, pp. 29–35. (In Russian)
- Dunaeva E. V. (2018) Shiitskoe dukhovenstvo v politicheskoj zhizni sovremennogo Irana [Shiite Clergy in Iran’s Political Life]. *Kontury global’nykh transformatsii: politika, ekonomika, pravo*, vol. 11, no 4, pp. 169–189. (In Russian)
- Edinger L. J., Searing D. D. (1967) Social Background in Elite Analysis: A Methodological Inquiry. *American Political Science Review*, vol. 61, no 2, pp. 428–445.
- Faksh M. A. (1976) Education and Elite Recruitment: An Analysis of Egypt’s Post-1952 Political Elite. *Comparative Education Review*, vol. 20, no 2, pp. 140–150.
- Farhi F. (2014) The Assembly of Experts. *Iran Today: An Encyclopedia of Life in the Islamic Republic*, no 2, pp. 48–53.
- Filin N. (2008) Sovet ekspertov v politicheskoj sisteme Irana [The Assembly of Experts in the Iranian Political Life]. *Aziia i Afrika segodnia*, no 6, pp. 60–61. (In Russian)
- Filin N. (2014) Sistema religioznogo nastavnichestva v transformatsiiakh sotsial’noi real’nosti sovremennogo Irana [System of Religious Emulation in Contemporary Social

- Reality of Iran]. *Vestnik RGGU. Serii: Politologiya. Istorii. Mezhdunarodnye otnosheniya. Zarubezhnoe regionovedenie. Vostokovedenie*, no 1, pp. 219-226. (In Russian)
- Filin N. (2021) "Religioznyĭ status Rukholly Khomeini v sovremennom Irane [Religious Status of Ruhollah Khomeini in Modern Iran]. *Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost*, no 3, pp. 134-143. (In Russian)
- Foran J. (1994) The Iranian Revolution of 1977-1979: A Challenge for Social Theory. *A Century of Revolution: Social Movements in Iran* (ed. J. Foran), Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 160-188.
- Ghiabi M. (2019) The council of expediency: crisis and statecraft in Iran and beyond. *Middle Eastern Studies*, vol. 55, no 5, pp. 837-853.
- Gieling S. (1994) The Marja'iyah in Iran and the Nomination of Khamanei in December 1994. *Middle Eastern Studies*, vol. 33, no 4, pp. 777-787.
- Golkar S. (2016) Configuration of Political Elites in Post-revolutionary Iran. *Brown Journal of World Affairs*, vol. 23, no 1, pp. 281-292.
- Habibi N. (2015) Iran's overeducation crisis: causes and ramifications. *Middle East Brief*, vol. 85, no 89, pp. 1-7.
- Higley J. (2018) Continuities and discontinuities in elite theory. *The Palgrave Handbook of Political Elites*. (ed. J. Higley), London: Palgrave Macmillan, pp. 25-39.
- Jang J. (2018) Parliamentary Representation in the Macau Special Administrative Region: A Quantitative Analysis of Roll Call Voting Behavior in the 5th Legislative Assembly, 2013-2017. *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, vol. 4, no 2, pp. 513-555.
- Kalantari M. R. (2021) *The Clergy and the Modern Middle East: Shi'i Political Activism in Iran, Iraq and Lebanon*, Bloomsbury Publishing.
- Kamrava M. (2008) *Iran's intellectual revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kazemzadeh M. (2008) Intra-elite factionalism and the 2004 Majles elections in Iran. *Middle Eastern Studies*, vol. 44, no 2, pp. 189-214.
- Keddie N. (1966) *Religion and Rebellion in Iran. The Tobacco Protest of 1891-1892*, Frank Cass & Co. LTD.
- Khalaji M. (2011) Iran's regime of religion. *Journal of International Affairs*, vol. 65, no 1, pp. 131-147.
- Künkler M. (2013) The Special Court of the Clergy (Dadgah-e Vizheh-ye Ruhaniyat) and the Repression of Dissident Clergy in Iran. *The Rule of Law, Islam, and Constitutional Politics in Egypt and Iran*. (eds. S. Arjomand, N. Brown), New York: SUNY Press, pp. 57-100.
- Levitsky S., Way L. (2010) *Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Magni-Berton R., Panel S. (2021) Gerontocracy in a comparative perspective: Explaining why political leaders are (almost always) older than their constituents. *Sociology Compass*. Forthcoming, pp. 1-12.
- Malek M. (1989) Elite factionalism in the post-revolutionary Iran. *Journal of Contemporary Asia*, vol. 19, no 4, pp. 435-460.

- Malek-Ahmadi F. (2015) *Democracy and Constitutional Politics in Iran: A Weberian Analysis*, Palgrave MacMillan.
- Mamedova N. (2016) Iran: osobennosti formirovaniia politicheskoi élit [Iran: Features of the Political Elite Formation]. *Vostok (Oriens)*, no 1, pp. 121–127. (In Russian)
- Manin B. (1997) *The Principles of Representative Government*, Cambridge University Press.
- McElroy D., Vahdat A. (2013) Iranian president Hassan Rouhani 'plagiarised PhD thesis at Scottish university. URL: <https://web.archive.org/web/20170804173224/http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10143799/Iranian-president-Hassan-Rouhani-plagiarised-PhD-thesis-at-Scottish-university.html>
- Moazzami B. (2013) *State, Religion, and Revolution in Iran, 1796 to Present*, Palgrave MacMillan.
- Mohammadighaletaki A. (2012) *Organizational Change in Political Parties in Iran after the Islamic Revolution of 1979. With Special Reference to Islamic Republican Party (IRP) and the Islamic Iran Participation Front (Mosharekat)*. Durham Theses, Durham University. URL: <http://www.theses.dur.ac.uk/3507/> (accessed: 06.02.2023).
- Mojab S. (1991) *The state and university: The "Islamic Cultural Revolution" in the institutions of higher education of Iran, 1980-1987*. PhD Dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Morgenstern S., Siavelis P. (2008) Pathways to Power and Democracy in Latin America. *Pathways to Power. Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*. (eds. P. Siavelis, S. Morgenstern), University Park, PA: Pennsylvania State University Press, pp. 371-401.
- Mossayeb S., Shirazi R. (2006) Education and Emigration: The Case of the Iranian-American Community. *Current Issues in Comparative Education*, vol. 9, no 1, pp. 30–45.
- Mozaffari M. (1993) Changes in the Iranian Political System after Khomeini's Death. *Political Studies*, vol. 41, no 4, pp. 611–617.
- Namazi R. (2019) Ayatollah Khomeini: From Islamic Government to Sovereign State. *Iranian Studies*, vol. 52, no 1-2, pp. 111-131.
- Page E., Wright. V. (1999) *Bureaucratic Elites in Western European States: A Comparative Analysis of Top Officials*. Oxford: Oxford University Press.
- Parsa M. (1994) Mosque of Last Resort: State Reform and Social Conflict in the Early 1960s. *A Century of Revolution: Social Movements in Iran*. (ed. J. Foran), Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 135-159.
- Putnam R. D. (1976) *The Comparative Study of Political Elites*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Rakel E. (2008) *The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since the Islamic Revolution*, Palgrave MacMillan.
- Ramazani R. (1980) Constitution of the Islamic Republic of Iran. *Middle East Journal*, vol. 34, no 2, pp. 181–204.
- Razavi R. (2010) The road to party politics in Iran (1979–2009). *Middle Eastern Studies*, vol. 46, no 1, pp. 79–96.

- Razi G. H. (1981) Democratic-Authoritarian Attitudes and Social Background in a Non-Western Society: A Study of the Iranian Elite. *Comparative Politics*, vol. 14, no 1, pp. 53-74.
- Rothacher A. (1993) *The Japanese power elite*, Springer.
- Roy O. (2001) Tensions and Options among the Iranian Clerical Establishment. *Iran, Iraq, and the Arab Gulf States*. (ed. J. Kechichian), Palgrave MacMillan, pp. 13-30.
- Sayari S., Hasanov A. (2008) The 2007 elections and parliamentary elites in Turkey: the emergence of a new political class? *Turkish Studies*, vol. 9, no 2, pp. 345-361.
- Schahgaldian N. B. (1989) *The clerical establishment in Iran*, Santa Monica, CA: RAND National Defense Research Institute.
- Shevlin, N. (1998) Velayat-e faqih in the constitution of Iran: The implementation of theocracy. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, vol. 1, no 2, pp. 358-382.
- Shirvani F. (2012). A Different Approach to the Control of Constitutionalism: Iran's Guardian Council. *Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity* (Ed. by R. Grote, T. Roder), Oxford: Oxford University Press, pp. 279-290.
- Siavoshi S. (1992) Factionalism and Iranian politics: the post-Khomeini experience. *Iranian Studies*, vol. 25, no 3-4, pp. 27-49.
- Skocpol T. (1982) Rentier state and Shi'a Islam in the Iranian revolution. *Theory and Society*, vol. 11, no 3, pp. 265-283.
- Stockemer D., Sundström A. (2018) Age representation in parliaments: Can institutions pave the way for the young? *European Political Science Review*, vol. 10, no 3, pp. 467-490.
- Szyliowicz J. (1971) Elite Recruitment in Turkey: The Role of the Mulkiye. *World Politics*, vol. 23, no 3, pp. 371-398.
- Tabaer M. (2018) *Religious statecraft: The politics of Islam in Iran*, Columbia University Press.
- Tev D. (2021) Chleny Soveta Federatsii: kar'era do vkhozheniia v dolzhnost' i posle prekrashcheniia polnomochii [Members of the Federation Council: Careers Before Taking Office and After Resigning]. *Mir Rossii [Universe of Russia]*, vol. 30, no 4, pp. 53-78. (In Russian)
- Thaler D., Nader A., Chubin S., Green J., Lynch C., Wehrey F. (2009) *Mullahs, Guards, and Bonyads: An Exploration of Iranian Leadership Dynamics*, Santa Monica, CA: RAND National Defense Research Institute.
- The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 Edition). (2014) Papan-Martin F. (translator). *Iranian Studies*, vol. 47, no 1, pp. 159-200.
- Vakili-Zad C. (1994) Conflict among the ruling revolutionary elite in Iran. *Middle Eastern Studies*, vol. 30, no 3, pp. 618-631.
- Visceglia M. A. (2019) The Social Background and Education of Cardinals. *A Companion to the Early Modern Cardinal* (eds. M. Hollingsworth, M. Pattenden, and A. Witte), Brill, pp. 245-259.
- Wong S. (2010) Political connections and firm performance: The case of Hong Kong. *Journal of East Asian Studies*, vol. 10, no 2, pp. 275-314.
- Zang X. (2004) *Elite dualism and leadership selection in China*, Routledge.
- Zonis M. (1976). *Political elite of Iran*, Princeton University Press.

Катехон как теолого-политическая парадигма мирового порядка*

Алексей Яркеев

Доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Институт философии и права, Уральское отделение РАН
Адрес: ул. Софьи Ковалевской, 16, Екатеринбург, 620108 Российская Федерация
E-mail: alex_yarkeev@mail.ru

Статья посвящена исследованию возможности репрезентации мирового порядка в теолого-политической оптике на основе христианского учения о катехоне как сдерживающей наступление конца света силы. Эвристический потенциал данного подхода выражается, во-первых, в демонстрации мирового порядка как пространственно-политической проекции катехонической темпоральности, во-вторых, в рецепции политического реализма в облике «политического катехонизма». Для этой цели сначала осуществлен краткий историко-герменевтический экскурс в проблему интерпретации Второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам и предложен эскиз концептуальной реконструкции, предъявляющей его в качестве квинтэссенции новозаветного политического реализма. Кульминацией данной традиции является представление К. Шмитта о катехоне как исторической силе, (вос)производящей пространственно-временной порядок христианской империи, распад которой привел к превращению катехона в секулярное государство безопасности. Влияние шмиттовского учения о катехоне на реалистский подход к миропорядку прослеживается, в частности, в восприятии Г. Моргентау международной системы баланса сил через призму понятия «держатель баланса» (the holder of the balance), фактически являющегося калькой с понятия «удерживающего». В заключении утверждается мысль о безальтернативности в обозримой перспективе идеи исторической силы, сдерживающей в глобальном масштабе политическую аномию и отсрочивающей финальную катастрофу, даже если ради этого ей приходится прибегать к парадоксальной стратегии «апокалипсис против апокалипсиса». С этой точки зрения различные варианты архитектуры мирового порядка не затрагивают принципиальным образом его теологические (катехонические) основания.

Ключевые слова: катехон, христианство, политика, политический реализм, политическая теология, мировой порядок

Наблюдаемые в настоящее время катастрофические процессы и тектонические сдвиги в области глобальной политики актуализируют необходимость рестаблизации международных отношений на основе реновации понятия мирового порядка (Киссинджер, 2015). Данное обстоятельство инициирует рефлексию в рамках наиболее адекватного возникающим вызовам и доминирующего сегодня в теории международных отношений реалистского подхода (Баталов, 2014: 502-510; Панченко, 2009), исходящего из постулата о конфликтной полисубъектности мировой политики как «точке отсчета» международного порядка¹, а также ориентированного

* Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство»

1. В политическом реализме это состояние традиционно обозначают понятием «международная анархия» (international anarchy), которое, казалось бы, вступает в противоречие с понятием «между-

на практическую реализуемость выдвигаемых предложений (Учаев, Харкевич, 2023: 41, 44). Вместе с тем по целому ряду определенных соображений реалистский взгляд на глобальный миропорядок можно квалифицировать как вариант политической теологии (Guilhot, 2017; McQueen, 2018; Niebuhr, 1953; Preston, 2010; Tsonchev, 2018; Thomas, 1959; Troy, 2014; Warren, 1997), в том числе по той причине, что идея международного порядка генеалогически восходит к средневеково-христианским спекуляциям о природе божественного порядка (Bain, 2017; Bain, 2020).

Одной из определяющих черт эпохи Просвещения было стремление освободить политику от диктата церковно-религиозного авторитета, построив ее здание на фундаменте Разума, а не Откровения (Guilhot, 2017: 69). Однако после двухсотлетнего периода позитивистского оптимизма и интеллектуальной веры в возможность создания рационального международного порядка послевоенный реализм фактически выступил в качестве ре-теологизации политической мысли, снабдив ее идеологическим инструментарием, реанимировавшим теологию как основу представления о мировом порядке. Вплетая ряд теологических тем в проект теории международных отношений, реалисты сформулировали то, что, по сути, было «теологией международного сотрудничества» (Warren, 1997: 3). Хорошо известно, что на становление политического реализма, ведущего свою родословную от идей Фукидида, Н. Макиавелли и Т. Гоббса, сильное влияние оказали христианский реализм американского протестантского теолога и политического философа Р. Нибура, опиравшегося на учение Августина (Lovin, 1995; Pedro, 2018), а также эксплицированная К. Шмиттом, немецким теоретиком права католической ориентации, политическая теология суверенной власти, которая после 1945 года была ассимилирована теорией международных отношений (Guilhot, 2017: 72)². В 1950 году вышел в свет *opus magnum* Шмитта «Номос Земли», в котором тот скрупулезно реконструировал образование европейского пространственно-правового порядка (*nomos*) и его последующий упадок из-за дискриминационных «тотальных войн» XX века, ведущихся во имя общечеловеческих целей, а не ограниченных интересов (Шмитт, 2008). До тех пор, пока сохранялся классический порядок *jus publicum europaeum*, он направлял конфликты в русло ограниченной и регламентированной военной конфронтации, строго исключая из них какое-либо моральное содержание. Несмотря на то что рационализация этого пространственного порядка приняла форму множества государств, эволюционирующих по пути детеологизации общественной

народный порядок». Несмотря на то что отсылки к Т. Гоббсу как к одному из предтеч политического реализма формируют образ международных отношений как «войны всех против всех», на самом деле термин «анархия» в данном случае подразумевает, по сути, только одно, а именно: отсутствие в межгосударственных отношениях, мотивируемых национально-эгоистическими интересами, вышестоящей (центральной) инстанции власти (*an-archia*), а не царящий в мире хаос абсолютной и ничем не ограниченной вражды.

2. Влиянию К. Шмитта на теорию международных отношений и на политический реализм (в частности, на взгляды Г. Моргентау, сыгравшего ключевую роль в становлении политического реализма) посвящена обширная литература (см., например: Guilhot, 2011; Hooker, 2009; Scheuerman, 2009; Williams, 2007), и количество публикаций по этой теме продолжает стремительно расти.

жизни, эти государства все еще оставались частью «европейской семьи», и их общее международное право черпало свою силу из того обстоятельства, что оно уходило корнями в общее христианское происхождение. Отказываясь видеть в Холодной войне конкретный политический порядок и рассматривая ее как переходную фазу, Шмитт, задаваясь вопросом о том, что придет на смену старому европоцентристскому порядку, разрушенному утопией мирового сообщества, предусмотрел три возможных сценария: 1) маловероятный и вызывающий опасения триумф одного из соперников в Холодной войне; 2) возвышение Америки в качестве балансира, унаследовавшего роль, которую ранее играла Британия; или 3) создание автономных регионов мира (*Grossräume*), которому он и отдавал предпочтение (Guilhot, 2017: 91-92). Именно в контексте этих размышлений о прошлом, настоящем и будущем мирового порядка Шмитт обратился к новозаветному понятию сдерживающей силы, «катехону», систематическое и методологическое значение которого для понимания глобального устройства в горизонте теолого-политического опыта мира представляется несомненным, хотя и не очевидным на первый взгляд.

Катехон как Загадка, или Политический реализм апостола Павла

Истоки христианского политического реализма, традиционно ассоциируемые с политической философией Августина, можно обнаружить уже в совокупности отдельных фрагментов посланий апостола Павла, заложивших основы для «исторического христианства», обусловленного потребностью/необходимостью приспособления к реальности земного мира, которому противостоит Откровение «эсхатологического христианства» (Бердяев, 1998: 551).

Временное пребывание христиан в этом мире, связанное с неизбежным приходом Мессии и концом света, сталкивалось с необъяснимой «задержкой парусии» (παρουσία, *parousia*), вследствие чего раннехристианская Церковь прекратила *paroikein* (жить как временно поселившийся чужестранец), чтобы начать *katoikein* (жить как гражданин) и тем самым функционировать как любой другой мирской институт, существующий в линейно-хронологическом регистре между Распятием и Страшным судом (Agamben, 2012: 4).

Ответом на «задержку парусии» явилось представление о сдерживающей приходе Мессии силе (τὸ κατέχον/ὁ κατέχων, *katēchon*) у апостола Павла из Второго послания к Фессалоникийцам:

«Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха [ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας], сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам

это? И ныне вы знаете, что не допускает [τὸ κατέχων] открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии [τὸ ἔαρ μυστήριον ἧδὴ ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας], только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий [ὁ κατέχων] теперь. И тогда откроется беззаконник [ἄνομος], которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2:1-10).

Хотя Павел написал его, чтобы обуздать апокалиптическое нетерпение ранних христианских общин (угрожающее в том числе общественному порядку), он также, по-видимому, не хотел разочаровывать их надежды, поэтому ограничился описанием возможности дальнейшего периода ожидания благодаря сдерживающей силе катехона (Esposito, 2015: 77).

Судя по всему, апостол намекает, что те, кому он адресует свое послание, знают, о чем идет речь. О чем же конкретно повествуется в нем? Аврелий Августин признается, что не понимает этих слов. Вне всяких сомнений, полагает он, апостол под «человеком греха» (*ho anthropos tes anomias*), «беззаконником» (*anomos*), подразумевал Антихриста, хотя, кажется, не был знаком с этим термином. Согласно одной из версий, Павел имел в виду римскую власть, но не хотел писать об этом открыто из опасения подвергнуться преследованиям³. По другой версии, слова «тайна беззакония уже в действии» относятся к «злым и притворным, которые находятся в Церкви, пока не возрастут до такого числа, что составят для антихриста великий народ» (Августин, 1998: 412); до поры до времени эта сила является скрытой.

Что же касается указания на сдерживающую силу, то, начиная с Тертуллиана, с ней чаще всего отождествляют Римскую империю⁴ (Тертуллиан, 2005: 164-165). Данное толкование восходит к видению пророка Даниила (Дан. 7:1-28), предсказывающего появление Антихриста на развалинах Римского царства⁵, после чего Бог воздвигнет вечное царство Христа. Епископ Евсевий Кесарийский подвел под эту трактовку теолого-политическое обоснование, сформулировав соответствие между пришествием Христа как спасителем всех народов и учреждением Августом единой и повсеместной императорской власти, достигшей своего триумфального завершения при императоре Константине (Peterson, 1935: 78; Schmitt, 1970: 81).

Говоря о «злых и притворных» в лоне Церкви, Августин неявно ссылается на латинского богослова второй половины IV века Тихония Африканского (Тусо-

3. Подробный обзор интерпретации фигуры *anomos* из 2 Фес. 2:1-10 в политическом контексте Римской империи представлен в работе: Harrison, 2011: 71-95.

4. Таинственность этой силы для толкования усугубляется тем, что Павел упоминает ее как в личной (ὁ κατέχων), так и в безличной форме (τὸ κατέχων). Тогда τὸ κατέχων — это Римская империя, а ὁ κατέχων — римский император (Barrett, 1972: 12-13).

5. «Кто же это, — риторически вопрошает Тертуллиан, — если не римское государство, падение и разделение которого между десятью царями совершит антихрист?» (Тертуллиан, 1994: 209).

nus), оставившего в истории христианской теологии свой след в виде сочинения под названием «Книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла Св. Писания» (*Liber de septem regulis ad investigandam et inveniendam S. Scripturae intelligentiam*). Во втором руководстве этой книги Тихоний, основываясь на ветхозаветной синтагме *fusca sum et decora*, «черна аз есмь и добра»⁶ (Песн. 1:4), вводит представление о двойственности тела Господа (*De Domini corpore bipartito*), состоящего из «левой» (злой, скверной) и «правой» (доброй, праведной) частей. Отсюда следует, что вплоть до Судного дня, когда произойдет полное и окончательное «великое разделение» (*discessio*), Церковь суть не только тело Христа, но и тело Сатаны (в качестве *populus malus*). Именно в своей «сатанинской» ипостаси Церковь является причиной задержки парусии, то есть действует как катехон (Agamben, 2017: 10).

В некоторых святоотеческих трактовках (Ефрем Сирий, Иоанн Дамаскин) катехон идентифицировался как непреодоленная тьма язычества (Буркин, 2013: 110; Попов, 2023: 14), свидетельствующая о неисполнении предписания Иисуса, согласно которому «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Согласно Э. Петерсону, отказ евреев как богоизбранного народа принять христианство обуславливает задержку парусии, а через это — историческое существование Церкви (Peterson, 2011: 31).

В качестве других «претендентов» на роль катехона в разное время и разными авторами выдвигались такие персонификации, как архангел Михаил, Святой Дух, апостол Павел, Бог, Сатана (Aus, 1977; Metzger, 2005: 15-47; Nicholl, 2000; Tonstad, 2007).

В России христианская политико-правовая доктрина основывалась на византийской идее императора как катехона: государство, будучи «земным градом», призвано «сдерживать не преображенное, склонное к греху человеческое общество, от окончательного падения до второго пришествия Спасителя» (Сафронов, 2021: 16; см. также: Дугин, 2016). На рубеже XIX–XX веков в среде православного духовенства и консервативно настроенной публики на волне растущих апокалиптических настроений сформировалось представление о российском государстве/русском царе как последнем оплоте христианства, сдерживающем приход Антихриста. Поэтому убийство императора трактовалось как открытие дороги для Антихриста, совершенное большевиками, отождествляемыми с евреями-иудеями, якобы пытающимися искоренить не только христианство, но и русский народ. Соответственно, царство Антихриста в этой перспективе выглядело как всемирное владычество еврейства, исходя из чего антисемитизм казался естественным способом самосохранения (Шнирельман, 2019).

6. Здесь цит. по: Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла Священного Писания. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Tihonij_Afrikanskij/kniga-o-semi-pravilakh-dlja-issledovanija-i-nakhozhdenija-smysla-svjashennogo-pisanija/. В синодальном переводе: «черна я, но красива».

Ввиду отсутствия экзегетического консенсуса понятие «катехон» невозможно эксплицировать как одно непротиворечивое целое. Тем не менее степень достоверности той или иной рецепции послания апостола Павла зависит от того, соотносится оно с исторической и политической ситуацией его времени или нет. Так, трактовка катехона как христианской власти самодержавных царей, удерживающих народ от апостасиса, — явный анахронизм.

Политический универсализм Римской империи сыграл роль благоприятной исторической почвы для универсализма христианской веры. Вполне вероятно, что апостол Павел предчувствовал воплощение мысли пророка Исаии о единстве верующих в Вечном городе как средоточии могущества и очаге цивилизации, который станет центром объединения христиан. В пользу этого в первую очередь говорит тот факт, что самое значительное послание Павла — Послание к Римлянам — хоть и было адресовано всем христианам, однако содержало «в названии слово, символизирующее ослепительное величие, — Roma» (Деко, 2015: 181). Вдобавок римская власть неоднократно спасала жизнь Павлу как римскому гражданину, поэтому, предположительно, отнюдь не случайно обоснование светской власти в качестве богоугодной дается именно в Послании к Римлянам.

С учетом того, что Павел «внедрил» в корпус христианского вероучения абсолютное теологическое обоснование светской власти (Рим. 13:1-7), ставшее (с момента обретения христианством статуса государственной/имперской религии) в дальнейшем определяющим для политической реальности в христианском мире, в исторической ретроспективе представляется обоснованной реконструкция 2 Фес. 2:1-10 в рамках тезиса о том, что земная власть установлена Богом⁷. Такому подходу не только не противоречит пассаж о передаче Христом Царства Богу Отцу, «когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1 Кор. 15:24)⁸, но и усиливает его. Еще одной косвенной верификацией тождества «катехон = мирская власть» является мысль Павла о том, что «начальствующие» (ἄρχοντες) всегда занимают сторону добра, противостоя злу в качестве слуг Божьих, обладающих *ius gladii* (Рим. 13:3-4), а также его наставление молиться «за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:2). Толкование земной власти как силы, сдерживающей беззаконие (*anomia*), находит свое подтверждение и в фактах жизни Павла (Деян. 17:6-9; 18, 14-16; 21, 31-32; 22, 25-30; 23, 1-35; 25, 1-27;

7. «Более того, фигура катехона, как только признается его политический характер, должна рассматриваться в свете учения Послания к Римлянам 13, где в полном согласии с библейской традицией власть, осуществление суверенитета, его «насилие» кажутся законными, поскольку необходимы» (Cassirer, 2018: 24). Более подробно см.: Morris, 1988: 439-448.

8. На чем настаивает, например, Дж. Агамбен, делая вывод о невозможности интерпретации катехона в качестве христианского обоснования светской власти (Агамбен, 2018: 144-146). По крайней мере, формально это вступает в противоречие с утверждением Павла о том, что «нет власти не от Бога».

26, 30-32), из чего, возможно, у него следует положительный взгляд на власть вообще (Жила, 2010: 46-47)⁹.

Эсхатологические ожидания грядущих перемен не умаляют светскую власть и подчинение ей (Филиппов, 2021: 50); более того, приближающийся конец света порождает реакционную установку, так как обесмысливает желание каких-либо перемен в мирской реальности: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20). Имел ли Павел на самом деле в виду божественно установленный характер земной власти или выразался завуалированно, хотел ли он просто потрафить имперским властям, заодно заверяя их в лояльности со стороны христиан и остужая слишком горячие головы, стремящиеся к бунту (Десницкий, 2018: 121; см. также: Ренан, 1991: 202), и т.п. — вопросы в высшей степени дискуссионные, не имеющие однозначного ответа. Как бы то ни было, Павел точно не был ни социальным революционером, ни политическим диссидентом, он, скорее, выступает как *политический реалист sui generis*, поскольку не накладывает на власть никаких ограничений и не выдвигает никаких требований к ее осуществлению, но лишь констатирует, какова «существующая власть» (ἐξουσία... αὐτῶν). В его время это власть Римской империи, обеспечивающая порядок *Pax Romana* с помощью вооруженных легионов (не случайно Павел, будучи римским гражданином, заложил основы концепции *militia Christi*, взяв за образец римскую армию, ее дисциплину и эффективность). «Во времена Павла христианство было лишь еще одним локальным культом, и, принимая империю такой, какая она есть, апостол попросту демонстрировал реализм» (Хуттунен, 2015: 126). Иначе говоря, политический реализм Павла состоит в том, что в ожидании апокалипсиса нужно вести привычный образ жизни, придерживаться установленного порядка, подчиняясь существующей власти-катехону как инструменту в руках Бога.

Катехон как историческая и политическая сила

Итак, чем/кем бы ни являлся в конечном счете катехон, он 1) некоторым образом присутствует в *этой* реальности, «пока не будет взят от среды», 2) удерживает посясторонний порядок от распада, сопротивляясь разрушительным силам аномии, 3) тем самым продлевает существование этого порядка, откладывая конец света. Бросающийся в глаза апоретический характер миссии катехона выражается в том факте, что сдерживание зла также препятствует проявлению высшего добра. Чтобы защитить людей от Антихриста, катехон откладывает финальную битву, которая приведет к победе добра. Это означает, что вместо того, чтобы искоренять зло, катехон, основываясь на идее, что худшее еще впереди, сдерживает его, чтобы не дать ему вырваться на волю. Необходимость инкорпорировать зло, контролируя его, вытекает из этого императива: *защитить возможность добра, отклады-*

9. В русском языке связь между понятиями катехона и политической власти (государства) прослеживается явным образом: «державя» как «державий»/«удерживающий» (Дугин, 2016: 131).

вая его реализацию. Это объясняет амбивалентный тон послания, которое не является ни полностью негативным, ни полностью позитивным (Esposito, 2015: 77).

Позиция Шмитта, совершенно чуждая апокалиптическим наклонностям раннего христианства, заключается в сохранении порядка, которому угрожают разрушительные силы разделения и распада. С этой целью он разрешает двойственный, неопределенный характер послания Павла исключительно в позитивном ключе. Для Шмитта на кону — процесс саморазрушения Европы, а катехон — та сила, которая ему противостоит, по крайней мере, до определенного времени (Schmitt, 2017: 29). Этот раскол имел длительный «инкубационный период» (по выражению Р. Эспозито), восходящий к концу христианской империи, когда она начала распадаться на то, что стало впоследствии множеством светских территориальных государств. Ослабив взаимосвязь между *auctoritas (sacerdotium)* и *potestas (imperium)*, из которой христианская империя черпала свою легитимность, европейские национальные государства оказались подверженными процессу деполитизации, доведенному до кульминации безличным господством техники. Соответственно, если распад начался с образования национальных государств, то сдерживающей силой может быть только *Respublica Christiana*, являющаяся пролонгацией *Imperium Romanum* (Esposito, 2015: 77). Действительно, в работе «Номос Земли» функцию сдерживающей явление Антихриста силы Шмитт атрибутирует христианской империи, осознающей свой временный характер, но тем не менее способной быть исторической силой, пока она опирается на идею «катехон» (Шмитт, 2008: 35)¹⁰. По его мнению, для христианской веры вообще невозможна «какая-либо иная картина истории, нежели *katechon*» (Шмитт, 2008: 35). Но каким образом понятие истории связано с понятием мирового порядка, если последнее определяется К. Шмиттом в ракурсе единства порядка (*Ordnung*) и локализации (*Ortung*), то есть задается как пространственная категория? Ответ заключается в том, что всемирная история является последовательностью конкретных пространственно-политических порядков, номосов (Шмитт, 2008: 65), и каждая историческая эпоха предполагает существование катехона как упорядочивающей силы (Meier, 2011: 161; Hooker, 2009: 110), которая придает эпохе ее конкретную структуру и относительную стабильность (Guilhot, 2017: 91). По Шмитту, основная историческая цель политических порядков состоит в том, чтобы сдерживать динамику вражды в рамках управляемой структуры (Hooker, 2009: 109).

Катехон наделяет историю смыслом, устанавливая и отстаивая политический порядок (*nomos*) перед лицом разрушительного хаоса (*anomos*). Как христианский мыслитель Шмитт абсолютно уверен в существовании катехона (на это безоговорочно указывает тот факт, что история до сих пор еще не закончилась), но не знает

10. Катехон является мостиком, связывающим религиозный порядок эсхатологического времени, представленный *sacerdotium*, с политическим порядком исторического времени, который репрезентирован *imperium*. Эта единая форма темпоральности находит свое выражение в пространственном порядке христианской империи. Политическое противостояние «друг-враг» в рамках христианского пространственного порядка предстает как вселенское противостояние «*Respublica Christiana-Antichristus*» (Nichols, 2017: 6).

наверняка, кто или что выполняет его функцию¹¹. Это могут быть как институты (τὸ κατέχον), так и конкретные личности (ὁ κατέχων). Более того, в одно и то же время могут сосуществовать несколько субъектов, играющих роль сдерживающей силы (Meier, 2011: 161-162)¹². Понятие катехона, во-первых, объясняет задержку парусии и текущее существование истории; во-вторых, оно предотвращает «эсхатологический паралич», связанный с ожиданием неизбежного конца истории; в-третьих, оно защищает историческое действие от презрения к политике и истории, обусловленного уверенностью в обещанную победу (Meier, 2011: 162).

Из послания апостола Павла понятно, что катехон действует в период между Первым и Вторым пришествием Мессии. В этих эсхатологических рамках грядущего Судного дня нельзя избежать, поскольку он является результатом Божьей воли, но он может быть ускорен или отсрочен действиями в мирской истории. Антихрист ускоряет ход истории к апокалиптическому концу времен. Катехон противостоит Антихристу и тем самым сдерживает конец света. Следовательно, история «междоцарствия» (*interregnum*) определяется борьбой между Антихристом и катехоном как силами исторического ускорения и силами исторического сдерживания (Minca, Rowan, 2016: 205). Согласно Шмитту, фигура Антихриста, поскольку она является фактором исторического ускорения, олицетворяет собой силы технологизации, модернизации, универсализации и нейтрализации, которые подрывают политический порядок и служат источником хаоса на земле. С точки

11. «Существует временный, преходящий, раздробленный и фрагментарный носитель этой задачи [Es gibt zeitweise, vorübergehende, splinterhaft fragmentarische Habitor dieser Aufgabe]» (Schmitt, 2015: 47).

12. Впервые понятие «катехон» было явным образом использовано Шмиттом в небольшой статье «Ускоритель поневоле, или Проблематика западного полушария» (*Beschleuniger wider Willen, oder Problematik der westlichen Hemisphäre*), напечатанной в газете *Das Reich* 19 апреля 1942 г. Хотя Шмитт не утверждает, что способен определить катехон для каждой эпохи, он предлагает несколько исторических кандидатов, включая современных государственных деятелей. Например, он полагает, что последнего императора Габсбургов Франца Иосифа можно было бы считать сдерживающим конец Австрийской империи фактором, а также двух президентов центральноевропейских государств — Масарика из Чехословакии и Пилсудского из Польши. В соответствии со своим восхвалением имперского проекта нацистов как «ускорителя» мировой истории, Шмитт изобразил США в роли державы-катехон, определив ее в качестве «замедлителя» мировой истории. Однако, по мнению Шмитта, Америка, запутавшись в противоречиях, превратилась в итоге в «ускорителя против собственной воли» (Schmitt, 1995: 431-440). В конечном счете Шмитт изменил свою негативную оценку катехона как присущую всем стареющим империям функцию «замедлителя» мировой истории, когда в центре внимания оказался конец Третьего рейха (Hell, 2009: 305). В том же году понятие «катехон» вновь всплывает (уже в позитивном смысле) в работе «Земля и море» (*Land und Meer*). В ней этим термином Шмитт сначала определил Византийскую империю, которая действовала как крепостной вал, противостоящий на протяжении нескольких столетий натиску ислама, не позволив арабам завоевать всю Италию. Затем катехоном К. Шмитт именуется император Священной Римской империи Рудольфа II, сумевшего отсрочить Тридцатилетнюю войну на несколько десятилетий (Schmitt, 1997: 7-8, 43). В послевоенный период на роль катехона, стоящего на пути у беспространственной универсализации, Шмитт прочил *Grossräume* — автономные регионы мира как многополярный мировой порядок. В известной степени подобного рода катехоническим потенциалом наделялась и теллурическая фигура партизана, защищающего локальное пространство и автохтонную форму жизни от разрушительных сил вторгающейся безродности (Minca, Rowan, 2016: 207). См. также хронологический обзор присутствия понятия «катехон» в работах Шмитта: (Учаев, 2023).

зрения пространственной истории современности эта фигура способствует усилению глобализации и мирового единства, ведущих к нигилистическому состоянию глобальной гражданской войны. Катехон же, по сути, является консервативной силой, стоящей на страже определяемого фиксированными различиями и стабильными границами мира перед лицом пространственно-исторической универсализации и деполитизации. Таким образом, это сила, которая сдерживает исторический процесс, разделяя пространство, поскольку границы в пространстве действуют как исторические ограничения. Катехон является главным защитником политической формы, гарантирующим пространственность политического, но в то же время выступает в качестве «эсхатологической плотины», сдерживающей поток истории в направлении апокалипсиса (Minca, Rowan, 2016: 206-207).

Христианская империя с самого начала являлась понятием не территориальным, поскольку позиционировала себя в эсхатологической перспективе, то есть в своем существовании определялась не пространственными границами, а установленными свыше временными. Император не обладает империей так, как он обладает своей земельной собственностью, он лишь управляет империей согласно божественному промыслу (Тейс, 1993: 12). Править империей — не то же самое, что управлять королевствами. *Imperium* представляет собой особое «божественное поручение» по исполнению катехонической миссии. «К конкретной королевской власти, к короне, т. е. к господству над определенной христианской страной и ее народом добавляется сила, осуществляющая функцию *katechon*, с ее конкретными задачами и миссией. Она выше короны, но это... не продолжение королевской власти и тем более (как будет позднее) не часть династического владения, но некое поручение, исходящее из совершенно иной сферы, нежели достоинство королевской власти» (Шмитт, 2008: 38-39)¹³.

13. Раннехристианская экзегетика Книги пророка Даниила, написанной в эпоху эллинизма, привела к формулировке теории четырех империй, основанной на принципе перехода власти (*translatio imperii*) от народа к народу, от государства к государству. Согласно этой модели, история знает четыре сменяющих друг друга центра власти (*imperium*): Ассиро-Вавилонская держава, Мидо-Персидская, Греко-Македонская и Римская, могуществом и неизбежным уничтожением которой история заканчивается. Отталкиваясь от пророчеств Даниила, экзегеты связывали грядущую гибель Римской империи с приближением Второго пришествия и Страшного суда. Но до этого момента ее невозможно разрушить. В систематическом изложении христианским историографом Павлом Орозием данная модель всемирно-исторического процесса послужила фундаментом для политических и историософских взглядов западноевропейского Средневековья (Тюленев, 2005: 169). После окончательного крушения Западной Римской империи (476 г.) в русле доктрины *translatio* в эпоху Карла Великого утвердилась идея, согласно которой *imperium* перешел от римлян к франкам, то есть империя Каролингов является прямой наследницей Римской империи (Сидоров, 2018: 108-109). В свою очередь Священная Римская империя германских королей приходит на смену империи Каролингов. «Вследствие этого история Средних веков представляет собой историю борьбы за Рим, а не против Рима. Армейский строй римского образца есть строй немецкого королевства. В конкретной ориентации на Рим, а не в нормах и всеобщих идеях заключается та преемственность, которая связывает средневековое международное право с Римской империей» (Шмитт, 2008: 34). Теория Шмитта, понимающая *katechon* как ключевую функцию *imperium* и усматривающая в послании апостола Павла «единственное возможное основание христианской доктрины государственной власти», является кульминацией именно этой традиции (Агамбен, 2018: 143). Рассматривая Вторую мировую войну как *Raumordnungskrieg* (войну за простран-

В процессе секуляризации катехон из мощной силы христианской императорской власти превращается в «консервативного защитника и охранителя» (Шмитт, 2008: 42)¹⁴, а «государство, перестав быть формой удержания времени, становится формой удержания пространства» (Будрайтскис, 2021b: 18). Тем не менее пространственный порядок территориальных государств, выродившихся в цезаризм, то есть в чистую форму без содержания (без миссии), продолжает сдерживать поток времени за счет хрупкого равновесия по отношению друг к другу в рамках «плюриверсума» (*pluriversum*), который, следовательно, все еще действует как катехон¹⁵, препятствующий наступлению постисторической и постполитической реальности (Кондуков, 2021: 63-64).

Политический реализм как «политический катехонизм»

Деполитизированное состояние единства мира («конец истории») может в равной степени свидетельствовать о наступлении как Царства Божия, так и Царства Антихриста (Schmitt, 1995: 496-512). Действительно, оба Царства полностью совпадают — в том смысле, что обещают людям совершенство. Поскольку именно несовершенство человеческой природы обуславливает ее политическое существование, выражающее себя в разделительных линиях, конфликтах, борьбе, вражде и т.п., постольку катехон, защищая его от деполитизирующей нейтрализации и наступления универсального, монистического, тотального единства (Кондуков, 2021: 63-64), оказывается привилегированным означающим политического как такового (Rasch, 2007: 106-107)¹⁶.

ственный порядок), Шмитт предлагал задуматься о *translatio imperii Britannici*, полагая, что, возможно, именно Германский рейх займет место Британской империи в Европе (Schmitt, 1995: 388-391; Hell, 2009: 304). Исторической мощи Германского рейха как специфической политической величины с особой катехонической миссией было свойственно то, что он, по мысли Шмитта, «располагаясь в середине Европы, между универсализмом держав либерально-демократического, ассимилирующего народы Запада и универсализмом большевистского, всемирно-революционного Востока, защищал на обоих фронтах святость не-универсалистского, народного, уважающего народы уклада жизни» (Шмитт, 2008: 529-530).

14. По всей видимости, Шмитт здесь имеет в виду редукцию катехонической миссии *imperium* к функции учреждения и поддержания общественного порядка государством-сувереном (Newman, 2019: 42, 173) в теории Гоббса, которая воспринимается как секуляризация представления о катехоне (McQueen, 2018: 135-136). Именно у Гоббса понимание государства как предназначенного предотвращать катастрофу (гражданской войны) и отсрочивать конец времен выходит на первый план парадигматическим образом (Lamb, Primera, 2019: 110-111). Зарождавшееся светское национальное государство основывалось на новой модели королевской власти, согласно которой «король является императором в своем королевстве» (*rex est imperator in regno suo*). Посредством данной максимы «суверенное государство добилось освящения собственной сущности» (Канторович, 2015: 287-288).

15. Катехоническая функция системы суверенных государств *jus publicum europaeum*, считает А. де Бенуа, комментируя Шмитта, заключалась в сдерживании возвращения средневековых справедливых войн, вдохновляемых моральным содержанием (Benoist, 2013).

16. «Катехон... противостоит “концу мира”, или, еще лучше, атрофии открытости миру, различным способам, с помощью которых кризис присутствия может проявиться. Как победоносное зло, так и полная победа над злом приводят к одному и тому же концу, то есть к состоянию атрофии. Катехон защищает нас от смертельной нестабильности, исходящей от Антихриста, но которая исхо-

Сдерживая (*katechein*) сообщество от крайностей (соблазнов, иллюзий, утопий) как абсолютного добра, так и абсолютного зла, катехон ставит политику на реалистичное основание, и с этой точки зрения понятие катехона можно с полным правом считать теологической антиципацией политического реализма (Guilhot, 2017: 91). Но политический реализм возможен лишь в регистре бесконечной темпоральности, поскольку

«только в бесконечном времени может быть легитимировано присутствие множества политических субъектов. Конец времен является версией “общей судьбы”, наличие которой создает предпосылки для формирования общей идентичности и — в перспективе — преодоления конфликтности и появления универсального политического субъекта. Как показал Мишель Фуко, нововременное государство (излюбленный политический субъект реализма) осмысляет себя как существующее в бесконечном времени в противовес средневековой универсальной империи, легитимировавшей себя эсхатологическим ожиданием конца. Некоторые абсолютистские государства даже прямо запрещали апокалиптические пророчества, расценивая их как угрозу своему существованию» (Учаев, Харкевич, 2023: 45-46).

Кажущееся противоречие, связанное с возникновением бесконечной темпоральности, конститутивной для суверенных государств, в контексте христианского мировоззрения, основанного на эсхатологических ожиданиях, может объясняться за счет самопозиционирования эпохи Нового времени в оптике постапокалиптического бытия: победа суверенного государства в борьбе за статус доминирующего политического субъекта логически означает «наступление новой, постапокалиптической эпохи» (Учаев, Харкевич, 2023: 47). Однако возникшая в XX веке перспектива тотальной ядерной войны поставила под сомнение постапокалиптическую картину мира (McQueen, 2018: 147-191), ввиду чего более релевантным представляется альтернативное объяснение — трактовка Шмиттом пространственного порядка на основе веры в непрерывную преемственность исторических носителей функции катехон. Сдерживая/откладывая конец истории, катехон открывает возможность для светской политики¹⁷, которая хоть и остается вписанной в эсхатологическую перспективу, но все же некоторым образом отделена (автономизирована, обособлена) от нее. Это не означает, что катехон действует в отрыве от эсхатологии: он сдерживает конец, но делает это только ради конца. Отчасти данный парадокс объясняется различием в целях исторического и эсхатологического времени: конец, которому он противостоит, — это пришествие Антихриста, и он сопротивляется этому концу во имя подлинного конца, коим

дит точно так же от мессианского состояния равновесия; от ужасающей нестабильности, но в равной степени от избавляющей энтропии. <...> Ставя себя в оппозицию к опасности и также к элиминации этой опасности, к Антихристу и также к Мессии, *катехон* задерживает конец мира» (Virno, 2007: 60).

17. Г. Блюменберг вообще считает, что понятие «катехон» в первую очередь является не теологическим, а политическим понятием, поскольку представляет собой инверсию эсхатологической перспективы в перспективу отсрочки *eschaton* (Hell, 2009: 315).

является Второе пришествие. Таким образом, время катехона — это время сопротивления внутри времени ожидания. Обещание эсхатологического конца дает энергию, необходимую для сопротивления историческому концу (Nichols, 2017: 6-7)¹⁸.

Во многих отношениях именно шмиттовская концепция катехона придала теологический оттенок вопросу о балансе сил после 1945 года (Guilhot, 2017: 91), свидетельством чему, в частности, может служить понятие «держатель баланса» (*the holder of the balance*) в реалистской конструкции международной системы баланса сил у Г. Моргентау (Morgenthau, 1948: 142-145), фактически являющееся понятием «удерживающего», эмансипировавшимся от своего теологического основания. При переходе от Средневековья к современности идея иерархического порядка сменилась идеей равновесия, баланса. Сначала идея баланса сил имела трансцендентную точку отсчета, которая в деистической теологии интерпретировалась как функция божественного провидения («рука», которая держит «равновесие»). Когда же принцип имманентности взял верх, тогда идея равновесия утратила трансцендентную точку отсчета — равновесие стало восприниматься как результат простого имманентного соотношения вовлеченных сил (Taubes, 1955: 64-66). До того как идея равновесия сил начала оформляться в качестве научной теории, баланс понимался как конкретный исторический порядок (Шмитт, 2008: 326), имеющий смысл в рамках более широкой эсхатологической схемы, характеризующейся формой провиденциализма (Butterfield, 1950: 93-112). По мнению как Шмитта, так и Моргентау, в каждую историческую эпоху равновесие в буквальном смысле удерживалось определенным политическим субъектом, играющим роль «руки провидения» (*manus gubernatoris*)¹⁹. Эта персонификация «удерживающего» указывала на то, что изначально концепция баланса сил была проявлением теологической парадигмы божественного управления миром (*gubernatio dei*), согласно которой природа творения содержит внутреннюю возможность гармоничного порядка, самоорганизации. Божественное присутствие в истории принимает форму не внешнего, трансцендентного и суверенного вмешательства, а спонтанного порядка, который — в той мере, в какой он основывается на трансцендентной

18. В определенном смысле катехон временно спасает от самого Спасения, призрачное присутствие которого в международной политике чревато серьезной опасностью: когда наградой становится искупление, скромные, но выполнимые цели сосуществования и цивилизованности всегда будут казаться второстепенными по сравнению с достижением окончательной истины (Bain, 2023: 173).

19. Катехон как «сдерживающая рука Бога» (Kirwan, 2008: 23). Выражение «держатель баланса» (*the holder of the balance*) возникло в контексте провиденциализма. Считается, что впервые его употребил английский историк У. Кэмден в сочинении (1675 г.) о правлении королевы Елизаветы I, позиционировавшей себя в качестве провиденциального монарха (Norrie, 2023). Сравнивая королеву с судьей, сидящим между испанцами и французами, он писал, что Франция и Испания являются чашами весов в Европе (*the scale in the balance of Europe*), а Англия — «держателем баланса» (Luard, 1992: 5). Еще ранее Дж. Фентон, посвящая в 1579 г. Елизавете I свой перевод «Истории» Гвиччардини, заявил, что «Бог воздвиг Ваше место на высоком холме или в святилищах и передал в Ваши руки баланс власти и справедливости, чтобы умиротворять и уравнивать по Вашей воле действия и советы [counsels] всех христианских королевств Вашего времени» (цит. по: Luard, 1992: 5).

власти, — является манифестацией трансцендентного принципа координации. «В рамках провиденциальной машины трансцендентность не существует независимо и отдельно от мира, как в гнозисе, но пребывает в неразрывной связи с имманентностью; последняя, однако же, никогда таковой не является, ибо она всегда мыслится как образ или отражение трансцендентного порядка. <...> Два уровня тесно взаимосвязаны друг с другом, так, что первый обосновывает, легитимизирует и делает возможным второй, а второй приводит в конкретное исполнение в пределах цепи причин и следствий общие решения божественного разума. Управление миром есть то, что вытекает из этой функциональной взаимосвязи» (Агамбен, 2019: 237). Несмотря на то что в своем секуляризованном изводе баланс сил выступает формально-абстрактным принципом моделирования политической рациональности в сфере международных отношений, идея взаимного сдерживания политических субъектов на глобальной арене может действительно все еще «рассматриваться как “теология баланса” и идея в целом “катехоническая”» (Кондуоров, 2021: 63), то есть является неотъемлемой частью теолого-политического наследия, порожденного представлением о скрытом участии Бога в земной истории и возможного лишь в горизонте катехонической темпоральности.

Заключение

Сегодня высказываются серьезные сомнения в возможности ориентации глобального порядка на понятие катехона (Galli, 2010: 18): дисквалификация фундирующих классический миропорядок дистинкций (внешнее/внутреннее, норма/исключение, армия/полиция, враг/преступник и т.п.) в условиях «глобальной гражданской войны» (Шмитт), а также образовавшийся и остро проявляющий себя в настоящий момент в международных отношениях политический вакуум не позволяют идентифицировать и зафиксировать топос «удерживающего». Тем не менее можно выразить осторожную уверенность в отсутствии в обозримой перспективе реальной альтернативы идее исторической силы, сдерживающей в глобальном масштабе политическую аномию и отсрочивающей финальную катастрофу²⁰, даже если ради этого ей приходится прибегать к парадоксальной стратегии «апокалипсис против апокалипсиса» (McQueen, 2018: 187)²¹. Так, балансирование на грани

20. В своей недавно опубликованной статье Е. Учаев выразил сходную по смыслу идею, ратуя за необходимость ревизии мироустройства на основе катехона: «[А]ктуальность катехона сегодня, вероятно, даже выше, чем во времена Шмитта. Ядерная угроза жива и процветает, в то время как технико-экономическая централизация мира резко усилилась в эпоху цифровых технологий, и она продолжает поставлять человечеству глобальные угрозы для его существования, от изменения климата до возможного злокачественного ИИ. <...> [В] связи с этой не слишком вдохновляющей картиной, отсутствие катехона вполне может быть точным диагнозом нынешнего состояния. Если это верно и если мы согласны со Шмиттом в нежелательности как чистого техницизма, так и коллективного самоубийства, тогда катехон необходимо возродить» (Учаев, 2023: 41).

21. Апокалиптическое мировое государство, сдерживающее апокалипсис мировой катастрофы; в таком случае «конец истории» попросту оборачивается «историей конца». Другой пример — угроза ядерной войны (обладание государствами ядерным оружием и возможность его применения) как

ядерного апокалипсиса провоцирует искать основы мирового порядка на путях построения *катехонического* глобального государства, или «глобального децизионизма» (Huskell, 2018; Roach, 2005). Показательно в этой связи, что у таких видных теоретиков политического реализма, как Г. Моргентау, Р. Нибур и Дж. Герц, возвращение апокалипсиса в качестве возможной ядерной войны фактически оборачивается концептуальной реставрацией характерного для христианского Средневековья политического универсализма эсхатологического толка — в виде единого мирового государства, обладающего монополией на самые разрушительные средства насилия (Учаев, Харкевич, 2023: 51)²².

В координатах нашего исторического существования, являющегося продуктом христианской эсхатологии (Бульман, 2012; Лёвит, 2021; Taubes, 2009) и христианского опыта переживания времени как «ограниченной передышки» (Taubes, 2013: 49), бесконечный политический процесс непредставим (Carr, 1964: 90; см. также: Будрайтскис, 2021a)²³. Вместо этого требуется «постоянно воображать апокалипсис, чтобы сдерживать его» (McQueen, 2018: 148). В этом смысле политический реализм как «политический катехонизм» остается последним оплотом политической теологии в области международных отношений (Guilhot, 2017: 99). Соответственно, вопрос заключается лишь в том, кто/что будет новым катехоном. Однако будет ли в качестве такой силы фигурировать какой-то абстрактный механизм/принцип (взаимное сдерживание, баланс сил, международное право, дипломатия, принцип неделимой безопасности и т.п.) или персонифицированный агент (альянс, международная организация, транснациональная империя, мировой гегемон и т.п.) — вопрос на самом деле второстепенный, больше относящийся к особенностям конкретной архитектуры мирового порядка в тех или иных исторических обстоятельствах и степени ее практической реализуемости²⁴, нежели к его (мирового порядка) теологическим (катехоническим) основаниям.

сдерживающая ядерную войну сила. Как поясняет по этому поводу М. Каччари, катехон «хочет сохранить вещи, то есть сохранить форму, для эсхатона; он не может сделать этого иначе, как сдерживая рост аномии — но у него нет другого средства удержать это, кроме как принять это в себя, придавая ему свою форму» (Cacciari, 1990: 631-632).

22. Еще одним вариантом мирового порядка является «универсалистский нормативизм» (Кондуров, 2021: 54), в рамках которого международные нормы и законы играют роль катехона (Drechsler, Kostakis, 2015: 2-3).

23. «Рационалистическое сознание мешает им [сторонникам социального прогресса. — А. Я.] принять идею конца истории и мира, которая предполагается их неясными чувствами и предчувствиями; они защищают плохую бесконечность, торжествующую в жизни натурального рода. История не может иметь *смысла*, если она никогда не окончится, если не будет конца; смысл истории и есть движение к концу, к завершению, к исходу. <...> В исторической трагедии есть ряд актов, и в них назревает окончательная катастрофа, катастрофа всеразрешающая» (Бердяев, 2002: 183-184)

24. «Если в общем смысл миссии катехона для всех времен неизменен, то в разные времена от катехона требуются разные виды силы, разные виды социального и политического устройства и т. д., благодаря которым он может эту миссию выполнить» (Фишман, 2008).

Литература

- Агамбен Дж. (2018). Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам / Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение.
- Агамбен Дж. (2019). Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления / Пер. с итал. Д. С. Фарафоновой, Е. В. Смагиной. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ.
- Баталов Э. (2014). Американская политическая мысль XX века. М.: Прогресс-Традиция.
- Бердяев Н. (1998). Самопознание: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио.
- Бердяев Н. (2002). Философия свободы. Харьков: Фолио; М.: АСТ.
- Блаженный Августин. (1998). О Граде Божием. Книги XIV–XXII. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс.
- Будрайтскис И. (2021a). Апокалипсис и политики невозможного // Логос. Т. 31. № 4. С. 193-218.
- Будрайтскис И. (2021b). Что «удерживает» катехон? Конечность государства в консервативной и социалистической мысли // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 5. № 2. С. 13-33.
- Бульман Р. (2012). История и эсхатология. Присутствие вечности / Пер. с англ. А. Руткевича. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация».
- Буркин С. (2013). Интерпретация библейской эсхатологии в социально-историческом контексте // Вестник Томского государственного университета. История. Т. 26. № 6. С. 107-111.
- Деко А. (2015). Апостол Павел / Пер. с фр. И. Чернышевой. М.: Молодая гвардия.
- Десницкий А. (2018). Метафоры власти и власть метафор у апостола Павла // Ориенталистика. № 1. С. 115-126.
- Дугин А. (2016). Ноомахия: войны ума. Латинский Логос. Солнце и Крест. М.: Академический проект.
- Жила С. (2010). Экзегетический анализ посланий святого апостола Павла к Фессалоникийцам // Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. № 2. С. 9-53.
- Канторович Э. (2015). Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии / Пер. с англ. М. Бойцова и А. Серegiной. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Киссинджер Г. (2015). Мировой порядок / Пер. с англ. В. Желнинова, А. Милюкова. М.: АСТ.
- Кондуков В. (2021). Политическая теология международного права: грани и границы метода // Социологическое обозрение. Т. 20. № 1. С. 50-71.
- Лёвит К. (2021). Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории / Пер. с англ. А. Саркисянца. СПб.: Владимир Даль.
- Панченко М. (2009). Реалистская парадигма международного порядка: прошлое и настоящее // Полис. Политические исследования. № 5. С. 6-17.

- Попов Д.* (2023). Катехон: к вопросу о политико-теологических основаниях международной справедливости // Социологическое обозрение. Т. 22. № 4. С. 13-25.
- Ренан Э.* (1991). Апостол Павел / Пер. с фр. Вл. Кауфмана. М.: Терра.
- Сафронов Н.* (2021). Эволюция доктрины политической лояльности христианства к государству // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. Т. 7 (73). № 4. С. 16-19.
- Сидоров А.* (2018). В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов. СПб.: Наука.
- Тейс Л.* (1993). История Франции. Т. 2. Наследие Каролингов / Пер. с фр. Т. Чесноковой. М.: Скарabei.
- Тертуллиан.* (1994). Избранные сочинения. М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура».
- Тертуллиан.* (2005). Апологетик. К Скапуле. СПб.: Изд-во Олега Абышко.
- Тюленев В.* (2005). Рождение латинской христианской историографии: С приложением перевода «Церковной истории» Руфина Аквилейского. СПб.: Изд-во Олега Абышко.
- Учаев Е., Харкевич М.* (2023). Немыслимость тотальной катастрофы: постапокалиптическая природа современного политического реализма // Полития. Журнал политической философии и социологии политики. № 1 (108). С. 40-63.
- Учаев Е.* (2023). Понятие катехона у Карла Шмитта: в поисках иного универсализма? // Социологическое обозрение. Т. 22. № 4. С. 26-45.
- Филиппов А.* (2021). Якоб Таубес: к политической теологии // Таубес Я. Ad Carl Schmitt. Сопряжение противостремительного / Пер. с нем. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль. С. 19-69.
- Фишман Л.* (2008). От катехона к Вавилону. Апокалиптика против политических проектов // Политический класс. № 42. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/Ж/zhurnal-politicheskij-klass/politicheskij-klass-42?ysclid=lojmjornfa590391966> (дата обращения: 25.10.2023)
- Хуттунен Н.* (2015). Как фантазия становится реальностью: Павел между политическим реализмом и эсхатологической фантазией // Stasis. Т. 3. № 2. С. 110-131.
- Шмитт К.* (2008). Номос Земли в праве народов *jus publicum europaeum* / Пер с нем. К. Лощевского, Ю. Коринца. СПб.: Владимир Даль.
- Шнирельман В.* (2019). Антихрист, катехон и Русская революция // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 1-2. С. 488-515.
- Agamben G.* (2012). The Church and The Kingdom. London, New York, Calcutta: Seagull Books.
- Agamben G.* (2017). The Mystery of Evil. Benedict XVI and the End of Days. Stanford, California: Stanford University Press.
- Aus R.* (1977). God's Plan and God's Power: Isaiah 66 and the Restraining Factors of 2 Thess 2: 6-7 // Journal of Biblical Literature. Vol. 96. № 4. P. 537-553.
- Bain W.* (2017). International Anarchy and Political Theology: Rethinking the Legacy of Thomas Hobbes // Journal of International Relations and Development. №10.

- Bain W.* (2020). *Political Theology of International Order*. Oxford: Oxford University Press.
- Bain W.* (2023). *Political Theology and Uncertainty in International Relations // Political Theology Today. 100 Years after Carl Schmitt*. London: Bloomsbury Academic. P. 171-184.
- Barrett C.* (1972). *The New Testament Doctrine of Church and State // Barrett C. New Testament Essays*. London: SPCK. P. 1-19.
- Benoist A.* (2013). *Carl Schmitt Today. Terrorism, Just War, and the State of Emergency*. Arktos Media Ltd. (e-book)
- Butterfield H.* (1950). *Christianity and History*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Cacciari M.* (1990). *Dell' Inizio*. Milano: Adelphi Edizioni.
- Cacciari M.* (2018). *The Withholding Power: An Essay on Political Theology*. London: Bloomsbury.
- Carr E.* (1964). *The Twenty Years' Crisis, 1919-39*. New York: Harper and Row.
- Drechsler W., Kostakis V.* (2014). *Should Law keep Pace with Technology? Law as Katechon // Bulletin of Science Technology & Society*. Vol. 34. № 5-6. P. 1-5.
- Esposito R.* (2015). *The Machine of Political Theology and the Place of Thought*. New York: Fordham University Press.
- Galli C.* (2010). *Carl Schmitt and the Global Age // The New Centennial Review*. Vol. 10. № 2. P. 1-26.
- Guilhot N.* (2011). *The Invention of International Relations Theory. Realism, the Rockefeller Foundation, and the 1954 Conference on Theory*. New York: Columbia University Press.
- Guilhot N.* (2017). *After the Enlightenment. Political Realism and International Relations in the Mid-Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harrison J.* (2011). *Paul and the Imperial Authorities at Thessalonica and Rome*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Haskell J.* (2018). *Political Theology and International Law // International Legal Theory and Practice*. Vol.1. №2. P. 1-89.
- Hell J.* (2009). *Katechon: Carl Schmitt's Imperial Theology and the Ruins of the Future // The Germanic Review: Literature, Culture, Theory*. Vol. 84. № 4. P. 283-326.
- Hooker W.* (2009). *Carl Schmitt's International Thought. Order and Orientation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kirwan M.* (2008). *Political Theology. A New Introduction*. London: Darton, Longman and Todd Ltd.
- Lamb M., Primera G.* (2019). *Sovereignty between the Katechon and the Eschaton: Rethinking the Leviathan // Telos*. Vol. 2019. № 187. P. 107-127.
- Lovin R.* (1995). *Reinhold Niebuhr and Christian Realism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Luard E.* (1992). *The Balance of Power. The System of International Relations, 1648-1815*. London: Macmillan Academic and Professional Ltd.

- McQueen A.* (2018). *Political Realism in Apocalyptic Times*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meier H.* (2011). *The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Metzger P.* (2005). *Katechon. II Thess 2,1-12 im Horizont apokalyptischen Denkens*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Minca C., Rowan R.* (2016). *On Schmitt and Space*. London, New York: Routledge.
- Morgenthau H.* (1948). *Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Morris L.* (1988). *The Epistle to the Romans*. Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Nicholl C.* (2000). Michael, The Restrainer Removed (2 Thess. 2: 6-7) // *Journal of Theological Studies*. Vol. 51. № 1. P. 27-53.
- Nichols J.* (2017). Figures of history, foundations of law: Acéphale, Angelus Novus, and the Katechon // *Journal of Historical Sociology*. №7. P. 1-29.
- Newman S.* (2019). *Political Theology. A Critical Introduction*. Cambridge: Polity Press.
- Niebuhr R.* (1953). *Christian Realism and Political Problems*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Norrie A.* (2023). *Elizabeth I and The Old Testament. Biblical Analogies and Providential Rule*. Arc Humanities Press.
- Pedro G. M.* (2018). *Reinhold Niebuhr and International Relations Theory. Realism beyond Thomas Hobbes*. London and New York: Routledge.
- Peterson E.* (1935). *Der monotheismus als politisches problem: ein beitrage zur geschichte der politischen theologie im Imperium romanum*. Leipzig: Hegner.
- Peterson E.* (2011). *Theological Tractates*. Stanford: Stanford University Press.
- Preston A.* (2010). The Politics of Realism and Religion: Christian Responses to Bush's New World Order // *Diplomatic History*. Vol. 34. № 1. P. 95-118.
- Rasch W.* (2007). From Sovereign Ban to Banning Sovereignty // *Agamben G. Sovereignty and Life*. California, Stanford: Stanford University Press. P. 92-108
- Roach S.* (2005). Decisionism and Humanitarian Intervention: Reinterpreting Carl Schmitt and the Global Political Order // *Alternatives: Global, Local, Political*. Vol.30. № 4. P. 443-460.
- Scheuerman W.* (2009). *Hans Morgenthau. Realism and Beyond*. Polity Press.
- Schmitt C.* (1970). *Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (1995). *Staat, Großraum, Nomos*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (1997). *Land and Sea*. Washington: Plutarch Press.
- Schmitt C.* (2015). *Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (2017). *Ex Captivitate Salus. Experiences, 1945-47*. UK: Cambridge; USA: Malden. Polity Press.

- Taubes J.* (1955). *Theology and Political Theory* // *Social Research*. Vol. 22. №1. P. 57-68.
- Taubes J.* (2009). *Occidental Eschatology*. Stanford: Stanford University Press.
- Taubes J.* (2013). *To Carl Schmitt. Letters and Reflections*. New York: Columbia University Press.
- Thomas G.* (1959). *Political Realism and Christian Faith* // *Theology Today*. Vol. 16. № 2. P. 188-202.
- Tonstad S.* (2007). *The Restrainer Removed: A Truly Alarming Thought (2 Thess 2: 1-12)* // *Horizons in Biblical Theology*. Vol. 29. № 2. P. 133-151.
- Troy J.* (2014). *Religion and the Realist Tradition. From Political Theology to International Relations Theory and back*. New York: Routledge.
- Tsonchev T.* (2018). *The Political Theology of Augustine, Thomas Aquinas and Reinhold Niebuhr. Essays in Political Theology and Christian Realism*. Montreal: The Montreal Review E-Publishing.
- Virno P.* (2007). *Multitude. Between Innovation and Negation*. Los Angeles: Semiotext(e).
- Warren H.* (1997). *Theologians of a New World Order: Reinhold Niebuhr and the Christian Realists, 1920–1948*. New York: Oxford University Press.
- Williams M.* (2007). *Realism Reconsidered. The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations*. New York: Oxford University Press.

The Katechon as a Theologo-political Paradigm of the World Order

Aleksey V. Yarkeev

Doctor of philosophy, Associate Professor, Lead Researcher, Institute of Philosophy and Law, Ural branch of the Russian Academy of Sciences.

Address: Sofya Kovalevskaya str., 16, Yekaterinburg, 620108, Russian Federation

E-mail: alex_yarkeev@mail.ru

The article is devoted to the study of the possibility of representing the world order in theologo-political optics based on the doctrine of the katechon as a force restraining the onset of the end of the world. The heuristic potential of this approach is expressed, firstly, in the demonstration of the world order as a spatio-political projection of katechonic temporality, and secondly, in the reception of political realism in the guise of "political katechonism". For this purpose, a brief historical and hermeneutic digression into the problem of interpretation of the Second Epistle of the Apostle Paul to the Thessalonians was first carried out and a sketch of conceptual reconstruction was proposed, presenting it as the quintessence of New Testament political realism. The culmination of this tradition is C. Schmitt's idea of the katechon as a historical force that produces the spatio-temporal order of the Christian empire, the collapse of which led to the transformation of the katechon into a secular security state. The influence of C. Schmitt on the realistic approach to the world order can be traced, in particular, in H. Morgenthau's perception of the international balance of power systems through the prism of the concept of "the holder of the balance", which is in reality traced from the concept of "katechon". The conclusion asserts the idea that there is no alternative in the foreseeable future to the idea of a historical force restraining political anomie on a global scale and delaying the final catastrophe. From this point of view, differing

variants of the architecture of the world order do not fundamentally affect its theological (catechonic) foundations.

Keywords: catechon, Christianity, politics, political realism, political theology, world order.

References

- Agamben G. (2012) *The Church and The Kingdom*, London, New York, Calcutta: Seagull Books.
- Agamben G. (2017) *The Mystery of Evil. Benedict XVI and the End of Days*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Agamben G. (2018) *Ostavsheesya vremya: Kommentarij k Poslaniyu k Rimlyanam* [The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Agamben G. (2019) *TSarstvo i Slava. K teologicheskoj genealogii ehkonomiki i upravleniya* [The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government], Moscow; Saint Petersburg: Izd-vo Instituta Gajdara; Fakul'tet svobodnykh iskusstv i nauk SPbGU.
- Augustine (1998) *O Grade Bozhiem. Knigi XIV-XXII* [About the City of God. Books XIV-XXII], Saint Petersburg: Aletejya; Kiev: UTSIMM-Press.
- Aus R. (1977) God's Plan and God's Power: Isaiah 66 and the Restraining Factors of 2 Thess 2: 6-7. *Journal of Biblical Literature*, vol. 96, no 4, pp. 537-553.
- Bain W. (2017) International Anarchy and Political Theology: Rethinking the Legacy of Thomas Hobbes. *Journal of International Relations and Development*, no 10.
- Bain W. (2020) *Political Theology of International Order*, Oxford: Oxford University Press.
- Bain W. (2023) Political Theology and Uncertainty in International Relations // *Political Theology Today. 100 Years after Carl Schmitt*, London: Bloomsbury Academic, pp. 171-184.
- Barrett C. (1972) The New Testament Doctrine of Church and State // Barrett C. *New Testament Essays*, London: SPCK, pp. 1-19.
- Batalov E. (2014) *Amerikanskaya politicheskaya mysl' XX veka* [American political thought of the twentieth century], Moscow: Progress-Traditsiya.
- Benoist A. (2013) *Carl Schmitt Today. Terrorism, Just War, and the State of Emergency*, Arktos Media Ltd. (e-book)
- Berdyaev N. (1998) *Samopoznanie: Sochineniya* [Self-knowledge: Essays], Moscow: EHKSMO-Press; Kharkov: Folio.
- Berdyaev N. (2002) *Filosofiya svobody* [The Philosophy of Freedom], Kharkov: Folio; Moscow: AST.
- Budraitskis I. (2021a) *Apokalipsis i politiki nevozmozhnogo* [The Apocalypse and the Politics of the Impossible]. *Logos*, no 4, pp. 193-218.
- Budraitskis I. (2021b) *CHto «uderzhivaet» katekhon? Konechnost' gosudarstva v konservativnoj i sotsialisticheskoy mysli* [What is "Restrained" by the Katechon? The Finitude

- of the State in Conservative and Socialist Thought]. *Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*, no 2, pp. 13-33.
- Bultmann R. (2012) *Istoriya i ehskhatologiya. Prisutstvie vechnosti* [History and Eschatology. The Presence of Eternity], Moscow: «Kanon+», ROOI «Reabilitatsiya».
- Burkin S. (2013) *Interpretatsiya biblejskoj ehskhatologii v sotsial'no-istoricheskom kontekste* [Interpretation of biblical eschatology in the social and historical context]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya*, no 6, pp. 107-111.
- Butterfield H. (1950) *Christianity and History*. New York: Charles Scribner's Son.
- Cacciari M. (1990) *Dell' Inizio*, Milano: Adelphi Edizioni.
- Cacciari M. (2018) *The Withholding Power: An Essay on Political Theology*, London: Bloomsbury.
- Carr E. (1964) *The Twenty Years' Crisis, 1919-39*, New York: Harper and Row.
- Desnitsky A. (2018) *Metafori vlasti i vlast' metafor u apostola Pavla* [Power Metaphors and Metaphors Power in Paul the Apostle]. *Orientalistica*, no 1, pp. 115-126.
- Drechsler W., Kostakis V. (2014) Should Law keep Pace with Technology? Law as Katechon. *Bulletin of Science Technology & Society*, vol. 34, no 5-6, pp. 1-5.
- Dugin A. (2016) *Noomakhija: vojny uma. Latinskij Logos. Solntse i Krest* [Noomachia: Wars of the Mind. The Latin Logos. The Sun and the Cross], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Esposito R. (2015) *The Machine of Political Theology and the Place of Thought*, New York: Fordham University Press.
- Filippov A. (2021) Yakob Taubes: k politicheskoj teologii [Jacob Taubes: Towards Political Theology] // Taubes J. *Ad Carl Schmitt. Sopryazhenie protivostremitel'nogo* [Ad Carl Schmitt. Anti-axial coupling], Saint Petersburg: Vladimir Dal', pp. 19-69.
- Fishman L. (2008) *Ot katekhona k Vavilonu. Apokaliptika protiv politicheskikh proektov* [From Katechon to Babylon. Apocalyptic vs. political projects]. *Political class*, no 42. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/Ж/zhurnal-politicheskij-klass/politicheskij-klass-42?ysclid=lojmjornfa590391966> (accessed on: 25.10.2023)
- Galli C. (2010) Carl Schmitt and the Global Age. *The New Centennial Review*, vol. 10, no 2, pp. 1-26.
- Guilhot N. (2011) *The Invention of International Relations Theory. Realism, the Rockefeller Foundation, and the 1954 Conference on Theory*, New York: Columbia University Press.
- Guilhot N. (2017) *After the Enlightenment. Political Realism and International Relations in the Mid-Twentieth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Harrison J. (2011) *Paul and the Imperial Authorities at Thessalonica and Rome*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Haskell J. (2018) Political Theology and International Law. *International Legal Theory and Practice*, vol. 1, no 2, pp. 1-89.
- Hell J. (2009) Katechon: Carl Schmitt's Imperial Theology and the Ruins of the Future. *The Germanic Review: Literature, Culture, Theory*, vol. 84, no 4, pp. 283-326.
- Hooker W. (2009) *Carl Schmitt's International Thought. Order and Orientation*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Huttunen N. (2015) *Kak fantaziya stanovitsya real'nost'yu: Pavel mezhdru politicheskim realizmom i ehskhatologicheskoy fantaziej* [How fantasy becomes reality: Paul between political realism and eschatological fantasy]. *Stasis*, no 2, pp. 110-131.
- Kantorowicz E. (2015) *Dva tela korolya. Issledovanie po srednevekovoj politicheskoy teologii* [The King's Two Bodies], Moscow: Izd-vo Instituta Gajdara.
- Kirwan M. (2008) *Political Theology. A New Introduction*, London: Darton, Longman and Todd Ltd.
- Kissinger H. (2015) *Mirovoj poryadok* [World Order], Moscow: AST.
- Kondurov V. (2021) *Politicheskaya teologiya mezhdunarodnogo prava: grani i granitsy metoda* [Political Theology of International Law: Methodological Facets and Borders]. *Russian Sociological Review*, no 1, pp. 50-71.
- Lamb M., Primera G. (2019) Sovereignty between the Katechon and the Eschaton: Rethinking the Leviathan. *Telos*, vol. 2019, no 187, pp. 107-127.
- Lovin R. (1995) *Reinhold Niebuhr and Christian Realism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Löwith K. (2021) *Smysl v istorii. Teologicheskie predposylki filosofii istorii* [Meaning in History. The Theological Implications of the Philosophy of History], Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- Luard E. (1992) *The Balance of Power. The System of International Relations, 1648-1815*, London: Macmillan Academic and Professional Ltd.
- McQueen A. (2018) *Political Realism in Apocalyptic Times*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Meier H. (2011) *The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy*, Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Metzger P. (2005) *Katechon. II Thess 2,1-12 im Horizont apokalyptischen Denkens*, Berlin: Walter de Gruyter.
- Minca C., Rowan R. (2016) *On Schmitt and Space*. London, New York: Routledge.
- Morgenthau H. (1948) *Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A. Knopf.
- Morris L. (1988) *The Epistle to the Romans*, Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Newman S. (2019) *Political Theology. A Critical Introduction*, Cambridge: Polity Press.
- Nicholl C. (2000) Michael, The Restrainer Removed (2 Thess. 2: 6-7). *Journal of Theological Studies*, vol. 51, no 1, pp. 27-53.
- Nichols J. (2017) Figures of history, foundations of law: Acéphale, Angelus Novus, and the Katechon. *Journal of Historical Sociology*, no 7, pp. 1-29.
- Niebuhr R. (1953) *Christian Realism and Political Problems*, New York: Charles Scribner's Sons.
- Norrie A. (2023) *Elizabeth I and The Old Testament. Biblical Analogies and Providential Rule*, Arc Humanities Press.

- Panchenko M. (2009) *Realistskaya paradigma mezhdunarodnogo poryadka: proshloe i nastoyashhee* [The Realist Paradigm of International Order: The Past and The Present]. *Polis. Political Studies*, no 5, pp. 6-17
- Pedro G. M. (2018) *Reinhold Niebuhr and International Relations Theory. Realism beyond Thomas Hobbes*, London and New York: Routledge.
- Peterson E. (1935) *Der monotheismus als politisches problem: ein beitrag zur geschichte der politischen theologie im Imperium romanum*, Leipzig: Hegner.
- Peterson E. (2011) *Theological Tractates*, Stanford: Stanford University Press.
- Popov D. (2023) *Katekhon: k voprosu o politiko-teologicheskikh osnovaniyakh mezhdunarodnoj spravedlivosti* [Katechon: On the Political and Theological Foundations of International Justice]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 4, pp. 13-25.
- Preston A. (2010) The Politics of Realism and Religion: Christian Responses to Bush's New World Order. *Diplomatic History*, vol. 34, no 1, pp. 95-118.
- Rasch W. (2007) From Sovereign Ban to Banning Sovereignty // Agamben G. *Sovereignty and Life*, California, Stanford: Stanford University Press, pp. 92-108
- Roach S. (2005) Decisionism and Humanitarian Intervention: Reinterpreting Carl Schmitt and the Global Political Order. *Alternatives: Global, Local, Political*, vol.30, no 4, pp. 443-460.
- Safronov N. (2021) *EHvolyutsiya doktriny politicheskoy loyal'nosti khristianstva k gosudarstvu* [Evolution of the Doctrine of Political Loyalty of Christianity to the State]. *Scientific notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical science*, no 4, pp. 16-19.
- Sidorov A. (2018) *V ozhidanii Apokalipsisa. Franskoe obshchestvo v ehpokhu Karolingov* [Waiting for the Apocalypse. Frankish society in the Carolingian Era], Saint Petersburg: Nauka.
- Scheuerman W. (2009) *Hans Morgenthau. Realism and Beyond*, Polity Press.
- Schmitt C. (1970) *Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (1995) *Staat, Großraum, Nomos*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (1997) *Land and Sea*, Washington: Plutarch Press.
- Schmitt C. (2008) *Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum* [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir dal'.
- Schmitt C. (2015) *Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2017) *Ex Captivitate Salus. Experiences, 1945-47*, UK: Cambridge; USA: Malden. Polity Press.
- Shnirelman V. (2019) *Antikhrisť, katekhon i Russkaya revolyutsiya* [Antichrist, Katechon and the Russian Revolution]. *State, religion and church in Russia and worldwide*, no 1-2, pp. 488-515.
- Taubes J. (1955) Theology and Political Theory. *Social Research*, vol. 22, no 1, pp. 57-68.
- Taubes J. (2009) *Occidental Eschatology*, Stanford: Stanford University Press.

- Taubes J. (2013) *To Carl Schmitt. Letters and Reflections*, New York: Columbia University Press.
- Theis L. (1993) *Istoriya Frantsii. T. 2. Nasledie Karolingov* [History of France. Vol. 2. The legacy of the Carolingians], Moscow: Skarabej.
- Tertullian. (1994) *Izbrannye sochineniya* [Selected works], Moscow: Izdatel'skaya grupa «Progress», «Kul'tura».
- Tertullian. (2005) *Apologetik. K Skapule* [Apologetic. To the Scapula], Saint Petersburg: Izd-vo Olega Abyshko.
- Thomas G. (1959) Political Realism and Christian Faith. *Theology Today*, vol. 16, no 2, pp. 188-202.
- Tonstad S. (2007) The Restrainer Removed: A Truly Alarming Thought (2 Thess 2: 1-12). *Horizons in Biblical Theology*, vol. 29, no 2, pp. 133-151.
- Troy J. (2014) *Religion and the Realist Tradition. From Political Theology to International Relations Theory and back*, New York: Routledge.
- Tsonchev T. (2018) *The Political Theology of Augustine, Thomas Aquinas and Reinhold Niebuhr. Essays in Political Theology and Christian Realism*, Montreal: The Montreal Review E-Publishing.
- Tyulenev V. (2005) *Rozhdenie latinskoj khristianskoj istoriografii: S prilozheniem perevoda «TSerkovnoj istorii» Rufina Akvilejskogo* [The Birth of Latin Christian Historiography: With the appendix of the translation of the "Church History" by Rufin of Aquileia.], Saint Petersburg: Izd-vo Olega Abyshko.
- Uchaev Ye., Kharkevich M. (2023) *Nemyslimost' total'noj katastrofy: postapokalipticheskaya priroda modernogo politicheskogo realizma* [Unthinkable Doomsday: Postapocalyptic Nature of Modern Political Realism]. *Politeia. Journal of Political Philosophy and Sociology of Politics*, no 1, pp. 40-63.
- Uchaev Ye. (2023) *Ponyatie katekhona u Karla SHmitta: v poiskakh inogo universalizma?* [The Concept of Katechon in the Thought of Carl Schmitt: Towards a Different Universalism?]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 4, pp. 26-45.
- Virno P. (2007) *Multitude. Between Innovation and Negation*, Los Angeles: Semiotext(e).
- Warren H. (1997) *Theologians of a New World Order: Reinhold Niebuhr and the Christian Realists, 1920–1948*, New York: Oxford University Press.
- Williams M. (2007) *Realism Reconsidered. The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations*, New York: Oxford University Press.
- Zhila S. (2010) *EHkzegeticheskij analiz poslanij svyatogo apostola Pavla k fessalonikijsam* [Exegetical analysis of the Epistles of the Holy Apostle Paul to the Thessalonians]. *Sretenskij sbornik. Nauchnyj trudy prepodavatelej SDS*, no 2, pp. 9-53.

Особенности мировоззрения врачей паллиативной помощи детям: интерпретативный феноменологический анализ*

Максим Мирошниченко

Старший научный сотрудник, Глобальный центр перспективных исследований; приглашенный научный сотрудник, Университет религий и конфессий, Пардисан, Кум, Иран
Адрес: Ltd 38/39 Fitzwilliam Square, Дублин, 2 Do2 NX53 Ирландия
E-mail: jaberwokky@gmail.com.

Екатерина Коростиченко

Кандидат философских наук, научный сотрудник, сектор современной западной философии, Институт философии РАН
Адрес: ул. Гончарная, 12, стр. 1, Москва, 109240, Российская Федерация
E-mail: ek.korostichenko@gmail.ru.

Дмитрий Ноздрачев

Преподаватель кафедры биоэтики и международного медицинского права ЮНЕСКО международного факультета, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Адрес: ул. Островитянова, 1, Москва, 117997, Российская Федерация
E-mail: dm.nozdrachev@gmail.com.

Паллиативная помощь детям — мультидисциплинарная отрасль медицины и здравоохранения, включающая как биомедицинские техники помощи пациентам, так и социальные и психологические практики. При этом ее цель отличается от целей куративного подхода в медицине и преимущественно заключается в облегчении страдания пациентов. Нами был использован качественный метод интерпретативного феноменологического анализа (ИФА), который дает возможность раскрыть «внутренние», эмоциональные и экзистенциально значимые измерения личностного и интересубъективного опыта респондентов. Данный метод позволяет описать «инсайдерскую» перспективу изучаемого сообщества. В статье приведены результаты ИФА интервью девяти врачей паллиативной помощи детям, работающих в системе российского здравоохранения и проходивших профильные курсы повышения квалификации. Целями исследования было установление наиболее субъективно значимых для специалистов-врачей паллиативной помощи детям факторов, влияющих на этикокоммуникативные аспекты взаимодействия с пациентами и их родителями, и выявление волнующих специалистов проблем и вопросов, с акцентом на мировоззренческие. Полуструктурированные интервью проводились с использованием специально разработанного опросника и затрагивали в основном темы и вопросы мировоззренческих ориентаций врачей паллиативной помощи (в том числе роли веры и религии) в контексте коммуникации с пациентами и их родителями. В результате установлено, что врачам свойственна оценка своей работы как призвания, в ряде случаев — с прямо религиозной атрибуцией, что частью респондентов используется как оправдание своей деятельности перед критически настроенным окружением. Субъективно большинство респондентов оценивает себя как православных христиан, вместе с тем акцентируя внимание на «нефанатичном» характере своей веры. Вместе с тем респонденты отмечают существенное влияние религиозности родителей на коммуникативные паттерны

* Статья написана в рамках гранта РФФ № 20-78-10117 «Модели взаимодействия врачей и пациентов в институтах паллиативной помощи детям».

и принятие неизбежных исходов заболеваний. Большинство респондентов отмечают высокую потребность в наличии в хосписе духовника. Респонденты не обязательно настаивают, чтобы духовник являлся священником, но его фигура в описаниях врачей имеет отчетливые конфессиональные черты.

Ключевые слова: паллиативная помощь детям, духовность, религиозность, мировоззрение, глубинное интервью, интерпретативный феноменологический анализ

Паллиативная помощь, согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направлена на улучшение качества жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, которые столкнулись с проблемами, связанными с угрожающим жизни заболеванием. Паллиативная помощь совмещает в себе достижения и практики доказательной медицины с практиками социальной и психологической помощи пациентам, их близким и лицам, оказывающим уход. Как следствие, она не ограничивается задачами сохранения жизни пациентов и охватывает такие понятия, как ожидание смерти, горевание, исполнение последних желаний пациентов и т. д. Цель этого подхода заключается в предотвращении и облегчении страданий путем раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других соматических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. Паллиативная помощь детям (ППД) — отрасль медицины, социальная значимость которой в отечественном и мировом здравоохранении сильно возросла в последние годы, однако она все еще не получает должного внимания широкой общественности. Детям обычно оказывается паллиативная помощь при угрожающих жизни заболеваниях, лечение которых может быть полезным, но не гарантирует полного выздоровления, а также при заболеваниях, которые приводят к преждевременной смерти. Некоторые из этих заболеваний могут быть прогрессирующими, неизлечимыми или необратимыми (Твайкросс, Уилкок, 2020).

Паллиативная помощь как особый подход улучшения качества жизни неизлечимых больных выросла из хосписного движения, которое в первую очередь связывают с Сесилией Сандерс, основавшей в 1967 году хоспис св. Христофора в Лондоне. Современный вид паллиативная помощь приобрела в 1990-е годы. Паллиативная педиатрия зародилась в 1970–1980-х и развивалась с некоторым отставанием от паллиативной медицинской помощи взрослым. В советском обществе наблюдалось специфическое игнорирование паллиативной тематики, которое связывается с негласным запретом признания неизбежности смерти и сообщения этой новости пациенту; основные исторические и социологические исследования на эту тему преимущественно касаются сферы онкологии (Мокхов, 2022: 324). В России первые попытки организации ППД в 1990-х годах встретили непонимание и сопротивление со стороны медицинского сообщества, и первый детский хоспис был открыт в Санкт-Петербурге только в 2003 году (Ключников, Сонькина, 2011: 127–128). Несмотря на многолетнее игнорирование проблем, существующих в сфере ППД, потребность в ней весьма велика: так, в России в первичной (общей) паллиативной помощи нуждается 0,68% детской популяции, в специализированной — 0,31% (Савва, 2020: 11).

Паллиативная помощь детям требует большого напряжения и упорства всех ее участников — пациентов, их родителей, медицинских работников, волонтеров. Лечение в рамках этого подхода не предполагает выздоровления, поэтому ему нередко сопутствуют хронический стресс, апатия, тревожность, депрессия и другие интенсивные эмоциональные переживания, чаще негативного плана. Зачастую это приводит к развитию синдрома эмоционального выгорания, в том числе опосредованного моральным дистрессом (Klein, 2009; Trotochaud, Coleman, Krawiecki, McCracken, 2015). Эти негативные эмоциональные состояния участников паллиативной помощи сложно формализуемы клинически — так, даже в рамках научной психиатрической диагностики играют ведущую роль не стандартизированные метрики, а самоотчеты (Александровский, Незнанов, 2020). На наш взгляд, философские подходы, чувствительные к личному опыту, наилучшим образом подходят для полноценного, всестороннего изучения ситуации различных взаимодействий специалистов, оказывающих ППД. В данном случае речь идет об интерпретативном феноменологическом анализе (ИФА), который берет свое начало в феноменологии и герменевтике, и многие из его ключевых идей вдохновлены работами Эдмунда Гуссерля, Мартина Хайдеггера и Мориса Мерло-Понти (Smith, 2007).

Специфика медицины как «помогающей профессии» связана с вовлечением специалистов в близкие, порой интимные взаимоотношения с пациентами и их родственниками. Это помещает врачей в этически «заряженные» ситуации, требующие адаптации и особого рода гибкости в принятии решений и размышлениях о целях и задачах собственной профессиональной деятельности. Ежедневно сталкиваясь со сложными этическими задачами и экзистенциальными дилеммами, врачи паллиативной помощи детям приходят к осмыслению как положения своей профессии в рамках общего социального контекста, так и «посреднического» статуса их деятельности между доказательной медициной и духовной поддержкой — конфессиональной или внеконфессиональной.

Духовные потребности больных и их близких могут включать широкий спектр запросов. Это не только потребность в работе с психологом или психотерапевтом, но и проведение религиозных ритуалов и бесед со священником, либо иным, нерелигиозным, «духовным наставником». Кристина Пучальски и соавторы справедливо рекомендуют уделять повышенное внимание духовности при оказании медицинской помощи (Puchalski et al., 2009).

Стоит отметить, что определение сущности духовности и ее места в здравоохранении вызывает множество дискуссий, но общими для разных выводов являются следующие элементы (Best, Butow, Olver, 2016: 2, 7–8):

- духовность уникальна для каждого человека;
- это понятие многомерно и шире, чем религиозные убеждения или принадлежность;
- духовность имеет трансцендентное измерение;
- духовность включает в себя связь с самим собой, другими людьми, природой и/или высшей силой;

- духовность связана с необходимостью поиска смысла жизни.

В этом исследовании мы хотели определить, что именно специалисты отделений паллиативной помощи детям считают наиболее значимым в этикокоммуникативных аспектах взаимодействия с пациентами и их родителями, выявить наиболее волнующие их вопросы и проблемы, сделать обоснованные предположения о внутренней мотивации и интерпретации этих вопросов.

Интерпретативный феноменологический анализ как метод

Интерпретативный феноменологический анализ (ИФА) в настоящее время широко применяется в качественных исследованиях, объектами которых становятся различные аспекты медицины и систем здравоохранения. Это заметно контрастирует с противоположной тенденцией — преобладанием в биомедицинской науке количественных исследований, в особенности популярных в последние десятилетия рандомизированных слепых клинических исследований (РКИ). Однако если последние за счет развитого статистического аппарата помогают выявлять с высокой точностью множественные, сложно взаимодействующие факторы через их корреляции, то ИФА позволяет проникнуть в субъективный смысл происходящего для участников медицинской деятельности. Роль ИФА в парадигме биопсихосоциальных исследований медицины заключается в изучении жизненного опыта участников медицинского процесса, относящегося к психологическому и социальному аспектам, тогда как в фокусе внимания биомедицины лежит биологический аспект существования человека (Roberts, 2013).

Применение ИФА в медицине тесно связано с распространением и универсализацией биопсихосоциальной модели американского психиатра Джорджа Л. Энджела, которая описывает человека в состоянии здоровья и болезни как единство биологической, психологической и социокультурной компонент. Модель Энджела является важнейшей составляющей теоретического базиса современной медицины.

Примером изложения и разработки ИФА в современном виде можно считать монографию под редакцией Джонатана А. Смита. Смит и его соавторы впервые применили этот метод в области психологии здоровья (Larkin, Flowers, Smith, 2009).

Частыми субъектами ИФА в медицине становятся пациенты с хроническими жизнеугрожающими и/или ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями (например, онкологической патологией, хронической болезнью почек с заместительной почечной терапией в форме гемодиализа), их родители и другие родственники и близкие, медицинские работники (особенно медицинские сестры, в несколько меньшей степени врачи), волонтеры в сфере медицины. В фокус внимания ИФА попадают не только пациенты и их близкие, но и медицинские работники. Данный метод, в применении к пациентам, позволяет осмыслить перспективу заболевания с точки зрения больного, а не врача, что обычно игнори-

руется в биомедицинской науке. Такое расширение взгляда позволяет значительно улучшить коммуникацию между врачом и пациентом. В более общем смысле ИФА изучает, как респонденты наделяют смыслом (*make sense*) свой личный/социальный мир и жизненный опыт. Предметом анализа являются нарративы, адресуемые самому себе, близким, сообществу. Целью выступает «насыщенное описание» (термин основателя символическо-интерпретативной антропологии Клиффорда Гирца) жизненного мира респондента: индивидуальное восприятие явления в контексте личного опыта и «традиции» (культуры, общества), а не позитивистское изучение явления как такового в цепи каузальных связей. Простыми словами, ответы респондентов, полученные в диалоге с исследователем, не дают доступа к объективной реальности, которая существует независимо от наблюдателя. Они представляют собой некую *картину мира*, которая уже является *интерпретацией* индивидуального опыта. Ища доступ к «инсайдерскому» видению, ИФА стремится раскрыть верования и убеждения, желания, чувства, мотивацию респондента, которые имеют для него экзистенциальное значение (Eatough, Smith, 2017).

Социальная реальность для ИФА, как и для философской феноменологии, не имеет объективной сущности, она существует только через интерпретацию ее «обитателей». Это означает, что социальный мир всегда пронизан некоторым смыслом, который нужно проинтерпретировать. Исследователь не рассматривает полученные данные как репрезентации объективных фактов социальной реальности (Smith, Osborn, 2003). Наоборот, он понимает, что социальная реальность существует только через интерпретацию, поэтому исследования в рамках ИФА являются своего рода *интерпретацией интерпретации*. Говоря более схематично, респондент наделяет свой мир смыслом, а исследователь, в свою очередь, наделяет смыслом то, как респондент делает это, интерпретирует. Но повествование респондента — это уже интерпретация; а доступ к личностному смыслу респондента опосредован установками и теоретическими представлениями исследователя.

Социальный смысл, который возникает в диалоге между респондентом и исследователем, является фокальной точкой ИФА. Социальный смысл для феноменологии (в широком смысле) можно определить как устойчивую значимость, разделяемую коллективом внутри своего сообщества и считающуюся неизменно значимой в разных взаимодействиях и контекстах. Однако этот смысл не объективен; он возникает из практик как *норма*, на которую полагаются, как *ценность*, с которой себя соотносят, и как *глубинная установка*, направляющая характер индивидуальных действий и мыслей. Зачастую этот смысл осуществляется автоматически и не артикулируется в повседневной жизни (Anderson, Slark, Gott, 2019). Задача исследования в ИФА состоит в том, чтобы артикулировать эти неявные структуры и позволить респондентам проговорить их через живой диалог с исследователем.

Смысл, вкладываемый респондентом в свои высказывания, не может быть дешифрован и представлен как объективная данность в рамках научного изуче-

ния. Каждый исследователь истолковывает полученные эмпирические материалы согласно своим собственным представлениям и опыту. Это свидетельствует об *опосредованности* и *предпосылочности* исследования в ИФА (Smith, 1996), и их не следует отождествлять с предвзятостью (bias), недопустимой в социальной науке. В этом ИФА сближается с философской герменевтикой, для которой знание о мире чувствительно к социальному, культурному и историческому контексту. Это автоматически нейтрализует объективизм, более присущий естественнонаучному объяснению.

Здесь уместна аналогия с культурной антропологией. Антрополог изучает через включенное наблюдение и детализированное описание конкретную культуру, делает выводы только об этой конкретной культуре на основе эмпирической работы. Он не применяет полученные результаты к культуре «вообще», и перед ним не стоит задача проверить объяснительную гипотезу.

Методика ИФА очень близка психологическому интервьюированию и психотерапевтическим сессиям, в рамках которых устанавливается эмпатический контакт между терапевтом и клиентом (Cohen, Kahn, Steeves, 2000). Работа производится с небольшим кругом наиболее «отзывчивых» респондентов. Вопросы формулируются обобщенно и имеют открытую форму, что позволяет выявить неожиданные темы и их взаимосвязи, раскрыть неочевидные ассоциации. Исследователь позволяет беседе развиваться естественно и лишь направляет ее движение, не задавая и не фреймируя ее заранее сформированным пулом закрытых вопросов. Как и при психологическом интервьюировании, в диалоге важно «возвращать респонденту его слова», «говорить его словами». Хотя «каноническим» считается формат полуконструктивного интервью, феноменология предполагает гораздо более гибкое взаимодействие (Pringle, Drummond, McLafferty, Hendry, 2011).

Процесс интервьюирования в ИФА может изменяться под воздействием высказываний, действий, а также желаний или нежеланий респондента отвечать на те или иные вопросы. Некоторые исследования в ИФА основаны на сериях из 4, 9, 15 интервью, или даже с одним человеком. Малые выборки стали «трендом» для этого подхода в 2000-е. Это связано с установкой на детализированные описания, жертвуя «широтой охвата» ради «глубины описания». Вопрос строгости исследования, уменьшения степени субъективизма тем не менее весьма важен для ИФА. Строгость процедуры обеспечивается перекрестной проверкой вопросов для глубинного интервью, предварительным обучением в области применения качественных методов, точным описанием протокола исследования, поэтапным обсуждением промежуточных результатов и финальным общим обзором статьи авторами, рефлексивностью (Tutelman, Drake, Urquhart, 2019; Vachon, Fillion, Achille, 2012; Parola et al., 2018; Moon, 2022). Используются такие способы повышения строгости, достоверности, снижения систематической ошибки, как прозрачность и воспроизводимость протокола, участие более одного исследователя, рефлексивность для осознания максимального числа возможных предубеждений (Biggerstaff, Thompson, 2008).

За счет описанных особенностей метода ИФА-исследования нередко дают ценные результаты, труднодостижимые другими методами. Исследования с помощью ИФА опыта волонтеров и медицинских сестер показали особую роль копинг-стратегий, возникающих для совладания с экзистенциально значимым опытом болезни и смерти, субъективную значимость близости с пациентами — и вместе с тем эмоциональную работу как обратную сторону этой близости. Отдельной темой являются вопросы субординации и командной организации работы; общая тенденция — важность командного взаимодействия для эффективной работы и эмоционального благополучия (Pearson, 2013; Farfán-Zúñiga, Jaman-Mewes, 2021; Coleman, Sanderson-Thomas, Walshe, 2022; Velarde-García et al., 2016; Choe, Kim, Yang, 2019; Nukprezah, Khoshnavay, Hasanpour, Nasrabadi, 2020).

Феноменологические исследования, включавшие в качестве респондентов врачей, также выявили в числе значимых аспектов интенсивный эмоциональный опыт, чувство несовершенства и несправедливости организации паллиативной помощи, важность умения принять неизбежные события (Alexander et al., 2022; Tutelman, Drake, Urquhart, 2019).

Мотивация и предпосылки исследования. Описание методики и сбора данных

Приведенные данные иллюстрируют, что ИФА решает множество исследовательских задач, позволяя описывать жизненный опыт всех сторон, участвующих в медицинской помощи, в том числе паллиативной. В отечественной науке ощущается острая нехватка исследований, которые используют этот метод для решения научных задач; в числе прочих одна из целей данной работы — показать возможности этого метода.

Метод ИФА как прикладной философский инструмент, предложенный для изучения жизненного мира, в том числе пациентов и медицинских работников, был использован нами для выявления специфики мировоззрения специалистов паллиативной помощи детям.

Интервью включало 18 вопросов, затрагивающих следующие темы:

Вводный блок был нацелен на установление первоначального контакта с респондентом, также фиксировались потенциальные различия восприятия мировоззренческих вопросов между специалистами ППД.

Блок об автономии и личности ребенка. Была выдвинута гипотеза, что специалисты ППД высоко оценивают когнитивные способности детей, а также отмечают личностную зрелость детей с паллиативным статусом в случае когнитивной сохранности. Зарубежные исследования подтверждают, что родители склонны недооценивать когнитивные способности, осознанность детей и понимание ими ситуации, касающиеся их здоровья и вероятной смерти (Hatano, Yamada, Fukui, 2011). Во время проведения интервью данному аспекту было уделено недостаточно внимания; респонденты с большим интересом касались других мировоззренческих вопросов: роли религии и веры, своего призвания.

Фактор духовности и религиозности. Мы исходили из того, что специалисты ППД считают фактор духовности/религиозности ключевым в коммуникации, однако плохо представляют, как включать его в диалог с детьми с паллиативным статусом и их родителями (Balboni et al., 2014). Более того, они могут быть не согласны с религиозными взглядами родителей на жизнь, смерть, страдание. Это может вызывать у специалистов непонимание или досаду. Нам хотелось проверить, сталкиваются ли работники ППД с тем, что религиозность родителей мешает коммуникации или медицинским манипуляциям, запланированному ходу лечения ребенка (Riklikienė et al., 2019; Best, Butow, Olver, 2016).

Группа респондентов формировалась из числа обучавшихся на цикле повышения квалификации врачей «Основы паллиативной помощи детям» при РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Все респонденты дали добровольное согласие на онлайн-интервьюирование. К участию приглашались врачи со стажем работы более двух лет в медицинских организациях, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь детям. Письмо-приглашение об участии в интервью отправлялось на личный e-mail респондентов М. Мирошниченко. В тексте письма разъяснялась процедура проведения интервью, то, каким образом будет происходить расшифровка и интерпретация полученных данных, гарантировалась анонимность и обозначалось право отказаться от участия в исследовании. Респонденты были предупреждены, что они вольны не отвечать на вопросы интервьюера, если они покажутся им неуместными.

Из получивших приглашение откликнулись девять человек из различных российских регионов. Интервью производились онлайн с использованием приложения Zoom. С согласия респондентов велась видеозапись интервью. После этого интервью были дословно расшифрованы с сохранением синтаксической последовательности слов, прерванными и несогласованными предложениями, паузами и междометиями.

Полученные данные мы интерпретировали с опорой на алгоритм, который резюмирует подход ИФА в конкретных кейсах, адаптируя методологию «второго лица» и исследований коммуникации и эмпатии. Если говорить о конкретике и пошаговой аналитической работе, была проведена следующая процедура:

1. Мы исходили из *приблизительного понимания целого* («предвосхищения смысла»). Текст расшифрованных интервью многократно перечитывался участниками исследования. При чтении отмечались фразы, отсылающие к общим темам, ассоциации и смысловые связи. Особое внимание уделялось использованию респондентами языка: научного вокабуляра, просторечий и жаргонизмов. На данном этапе мы задавались вопросами: чем вызвано обращение/переход респондента к определенной теме? Каков статус этой темы среди других? Есть ли между ними смысловая близость?

2. После этого мы переходили к *интерпретации частей текста для понимания целого*. Мы искали общие или соподчиненные темы, составляли и рубрицировали их предварительные списки. Нас интересовало то, что волнует респондентов боль-

ше всего в рамках той или иной темы. В итоге на этом этапе мы смогли исключить темы или подтемы, не подпадающие под полученные рубрики.

3. Далее мы переходили к этапу *интерпретации целого для углубленного понимания частей*. Мы отмечали повторяющиеся паттерны в высказываниях респондентов; составляли финальный список постоянных тем и вопросов, затрагиваемых респондентами; отбирали наиболее важные темы и исключали менее значимые. Нам удалось выбрать несколько основных и наиболее значимых для всего массива данных — не по количественному признаку «о чем больше сказано, то и важно», а по *качественному* — насколько они помогают раскрыть новые аспекты в других фрагментах в контексте интервью, насколько они значимы для уточнения ответов на другие вопросы и т. д.

Расшифровка и обсуждение результатов

Выбор профессии, мотивация, ценности сотрудников ППД

Для большинства опрошенных работа в ППД представляет большой интерес. Респондентки открыто, с энтузиазмом делятся подробностями своей работы, заостряя внимание на деталях. Респондентка 1 признается, что за время работы в ППД *«узнала еще больше, чем знала до этого, т. е. это настолько обширные [знания] и диагнозы... Вот само разнообразие заболеваний, что заставляет и читать, и смотреть и вообще, что-то новое познавать»*. Несмотря на то что она пришла в профессию давно (20 лет назад), интерес к детскому паллиативу сохраняется.

Можно обнаружить несогласованность между высказываниями, которые касаются потенциальных трудностей в работе: *«каких-то особых вот таких проблем, особых каких-то сложностей нет»*. Далее в ходе интервью она говорит совершенно противоположную вещь, неоднозначность ее посылка становится более очевидной: *«Ну, трудности знаете, какого плана больше... Ну, например, когда поступает новый пациент... родители мало информированы о заболевании и о прогнозе — приходится работать; настроение у родителей может быть разное, да и они еще могут в тот момент не принять ни диагноз, ни прогноз... Но это вот одно... ну, я не считаю это проблемой; если поступает какой-то новый пациент с каким-то особенным диагнозом, с особенностями какими-то по уходу — мы все стараемся искать выходы, узнавать, что и как»*. Еще больше сомнений в искренности возникает, когда респондентка касается отношения медицинского сообщества к паллиативной помощи. Она с досадой, с некоторым разочарованием рассказывает интервьюеру, что многие врачи общего профиля недооценивают паллиативную помощь, не видят в ней карьерных перспектив, профессионального роста. Ей важно рефлексивно показать, что это ошибочное мнение: *«На самом деле паллиатив — это не так, как думают все остальные... Да, понятно, что тяжело, но неинтересно и нет какого-либо развития для врача?»*. Респондентка 9 также противопоставляет паллиативный подход куративному, не в пользу последнего:

«Врачам [куративной медицины] страшно — они боятся не справиться... мы лучше пневмонию будем в поликлинике лечить и ОРВИ, но с вами как-то страшно».

Работа в паллиативной помощи трактуется обеими с положительной стороны, потенциальные трудности не акцентируются, что может восприниматься либо как идеализированное видение ситуации, либо как намеренное замалчивание, неискренность. Респондентка 2 в качестве своей профессиональной мотивации также называет интерес. Однако по ходу беседы становится понятно, что не только он привел ее в ППД. Она находилась в состоянии депрессии, не видела смысла жизни, а паллиативная помощь придала ее жизни осмысленность. Другая респондентка не сразу пришла в ППД, ранее ей довелось сменить несколько профессий, принять православие, изменить свои жизненные установки. ППД интересна ей с двух сторон: с одной стороны — как матери тяжелобольных детей, с другой — как профессионалу, который видит в сфере потенциал для роста. Респондентка 8 — опытная сотрудница, проработавшая в медицине более 40 лет, дважды за несколько лет прошла курсы повышения квалификации по ППД — ей интересно совершенствоваться в профессии, быть в курсе новейших веяний.

Не только интерес, но и осознание того, что работа в ППД — это призвание, предназначение, миссия, характерно для многих респонденток (респ. 1, 3, 5, 7, 9): *«это моя работа, я смогу ее выполнять»* (респ. 1); *«несмотря ни на что там, ни на кого... надо идти только сюда»* (респ. 3); *«я чувствую, что это мое место, то, что я могу»* (респ. 5); *«работа мне подходит»* (респ. 7), *«оказалась в нужном месте в нужное время»* (респ. 9). Респондентка 5 связывает попадание в профессию с «промыслом Божиим».

Судя по всему, опрашиваемые испытывают скрытое стеснение от своего профессионального выбора и активно пытаются найти ему обоснование. У некоторых таким обоснованием выступает провидение, у кого-то личные качества. Это и решительность, мужество (*«не боюсь тяжелых детей, т. е. нет страха»*), стрессоустойчивость, ответственность (*«я — человек отчаянный, ответственный»*); и терпимость, сострадание, гуманизм (*«человек должен просто любить людей»*). Интересно, что их представление о паллиативной помощи согласуется с выводами некоторых исследователей.

В России паллиативная помощь до сих пор не выделилась в самостоятельную специальность, хосписы во многом являются своеобразным «отрицанием» больниц, которые лечат пациентов до выздоровления. Российский специалист по биоэтике П. Д. Тищенко более резко, а не завуалированно, как респондентки, высказывается о «лицемерии» куративного подхода. За этим «лицемерием», пишет он, стоит нехватка хосписов и дороговизна кабинетов паллиативной помощи. Если куративный подход позволяет победить болезнь, врач становится «героем»: *«пациента ввозят на коляске, а из госпиталя он выезжает на велосипеде»*, то паллиативный подход предполагает, что врач *«отказывается от желания победить болезнь»*, он *«терпит поражение»*. Теперь не врач, а болезнь становится *«победителем»* (Тищенко, 2010: 13). По мнению Тищенко, нет никакого поражения врача

ППД, если ему удастся обеспечить человеческое достоинство умирающего пациента как личности. Подобной позиции придерживаются и респондентки.

Все они так или иначе озвучивают, что необходимо добиваться комфортных условий работы: хоспис должен быть уютным, напоминающим дом, т. е. это не просто «особая больница», но «дом для жизни», где создается обстановка, близкая к обычным условиям жизни человека.

Большое значение для опрашиваемых имеет психологический климат в коллективе, доброжелательные, партнерские взаимоотношения между коллегами, а не строгое соблюдение субординации. Конфликты между членами команды ППД случаются, об этом, например, рассказывает респондентка 9 — она это связывает в том числе с излишней строгостью и формализмом при оказании помощи, недостатком доверия. При постоянном стрессе, работе с детьми с тяжелыми, не поддающимися лечению заболеваниями усиливается вероятность эмоционального выгорания. В такой ситуации, безусловно, возрастает потребность в поддержке со стороны мультидисциплинарной паллиативной команды, социальном принятии, соучастии, дружбе, принадлежности к общности, разделяющей общие ценности ППД.

Таким образом, при обсуждении вопросов мировоззрения и «философии» ППД мы обнаружили, что ее смысл связывается с этикокоммуникативными правилами (как действовать/говорить «правильно», как общаться с пациентами и родителями), особым представлением об организации пространства (хоспис/отделение как «комфортные», «уютные», «домашние» места), большей ориентацией на близкие, ненормативные отношения с пациентами и их родителями («трудные разговоры», конфликтные ситуации и их разрешение). Эти убеждения артикулируются в том числе через противопоставление паллиативного подхода куративному («духовность» как основополагающая ценность в работе).

Отношение к религии/религиозность сотрудников ППД

Все респондентки, за исключением респондентки 9, называют себя верующими людьми. Семь из восьми — православные христианки, респондентка 6 — мусульманка. Степень религиозности у всех разная, однако многие напрямую говорят о своей конфессиональной принадлежности. Большинство опрошенных делают акцент на том, что они веруют, но «не фанатично» (респ. 1, 2, 3, 6, 8). Примечательно, что для кого-то это означает простой формализм — ходить в церковь по воскресеньям (респ. 3). Вероятно, есть подспудный страх осуждения за свои взгляды (врач, при этом «фанатично» верующая), забота о репутации.

Респондентки признают важность удовлетворения духовных потребностей пациентов и их родителей, но не все способны разработать и реализовать план духовной помощи, и поэтому они склонны перекладывать эту задачу на духовенство, священников РПЦ. Отсутствие стандартов оказания духовной помощи и надлежащей подготовки для оценки духовности пациентов нередко приводит

к курьезам. Показателен в этом отношении пример одной из опрошенных. Респондентка 4 работает в детском хосписе, который расположен в регионе с мусульманским большинством. Доминирование ислама в регионе, родителей-мусульман в отделении ППД не является для нее препятствием для организации православной часовни в хосписе. Респондентка не видит противоречия в том, чтобы предлагать родителям-мусульманам «на всякий случай» покрестить ребенка, причастить его и т. д.: *«Мы долго думали, что, может, и не должна быть такая... православная часовенка... но это ни к чему не обязывает»*. То ли оправдывается, то ли убеждает саму себя: *«Если человек другой конфессии — он просто сюда не заходит»*. За время беседы несколько раз обращает внимание интервьюера, что часовня имеет *«терапевтический эффект»*: если родитель, придя в нее, почувствует облегчение, сможет снять тревогу, напряжение, значит, по ее мнению, *«это не во вред, на пользу»*.

Все опрошенные считают, что религия, религиозные ритуалы помогают обрести душевное равновесие и примириться с тяжелой действительностью, утешают, дарят надежду на избавление от страданий и/или вечную жизнь: вера компенсирует ощущение собственного бессилия, страх перед смертью. Важным является и то, что вера *«помогает терпимее относиться [к возможным несовершенствам], не впадать в уныние»* (респ. 2).

Одна из тем — рассуждение о том, каким образом следует утешать родителей, потерявших ребенка. Респондентка 3 не разделяет точку зрения, что *«Бог допускает, чтобы ребенок заболел, и что там [ему] будет лучше»*. Противоположной точки зрения придерживается респондентка 6, работающая в регионе с мусульманским большинством. Она и ее коллеги традиционно поддерживают родителей следующими словами: *«Ну, раз так случилось [смерть ребенка], раз высшие силы распорядились так, то, к сожалению, мы должны это принять, мы должны понять»*.

Такая противоречивость позиций находит подтверждение в научной литературе. В ряде исследований было показано, что религиозная принадлежность врачей оказывает значительное влияние на медицинские решения, связанные в том числе с проблемами окончания жизни человека. Приводится красноречивый пример: в недавнем исследовании двух тысяч американских врачей Джанкарло Луччетти и соавторы обнаружили, что врачи-мусульмане и индуисты чаще возражали против эвтаназии, чем представители других религий (Lucchetti et al., 2016), т. е. этническая и религиозная принадлежность могут оказывать значительное влияние на медицинские решения.

Паллиативная помощь, по мнению респондентки 5, является единственно правильным способом заботы об умирающих. Паллиативной помощи противопоставляется эвтаназия, которая имеет четко негативную коннотацию: эвтаназия — *«прямая логика гуманистического общества, а прямая логика религиозного сознания — это паллиативная помощь»*. Респондентка 5 подробно останавливается на этой проблеме. Она убеждена, что у неверующего врача *«нет другого варианта»* — он выберет эвтаназию, а не ПП, поскольку будет действовать *«из гумани-*

стических соображений». В православии, к которому респондентка себя относит, эвтаназия считается *«формой убийства или самоубийства»*, а врач — соучастником этого процесса.

Следует отметить, что респондентка сильно упрощает, связывая гуманизм с атеизмом, который подвергает сомнению целесообразность христианского принципа «святости человеческой жизни», данной человеку, согласно Библии, Богом-творцом. Главный посыл современного гуманизма в данном вопросе — не утверждение атеистических ценностей, а стремление дать обоснование тому, что, согласно логике эвтаназии, большим злом является не смерть, а страдания умирающего. Гуманизм в отдельных случаях считает благом прекратить мучения человека, дать ему достойно умереть — согласно его воле. Этот пример иллюстрирует в том числе реакцию религиозного сознания на секулярное мировоззрение, которая допускает эвтаназию просто в силу того, что в этой парадигме жизнь человека больше не воспринимается как божье творение, и человек сам может распоряжаться своим телом.

Критику религии, в отличие от критики неверия, свойственную ряду респондентов, можно наблюдать только у респондентки 9. Она делится с интервьюером, что практически весь коллектив хосписа, где она работает, атеисты: *«они очень тяжело относятся к батюшке православной церкви»*, к буддизму и католицизму относятся еще хуже (не объясняет, с чем связано такое неприятие): *«говорить про буддизм или про ответвления, про католическую церковь... плохо [воспринимают] у нас»*. В ее отделении нередко случаются конфликты на религиозной почве. Однажды коллектив решительно выступил против желания матери умершего ребенка, мусульманки, проститься с ним по исламскому обычаю (есть определенные действия, которые необходимо соблюдать: омовение покойного, одевание его в саван и пр.). Респондентка была вынуждена их уговаривать: *«фыркали на меня: а вот она тут пришла самая умная»*.

Несмотря на остроту этой темы, респондентка старается работать с персоналом, обсуждать болезненные вопросы, настаивает на том, что следует терпимее относиться к вопросам религии и веры, пытается донести до коллектива, что религия — часть жизни, что молитва *«за закрытыми дверями»* кого-то из родителей не помешает работе хосписа: *«нужно по-другому воспринимать... если мы злимся — это наша проблема... нужно не возмущаться, нужно просто уважать веру каждого... жертвоприношений у нас никто не совершает... этому я бы, наверное, возмутилась»*.

Степень религиозности опрошенных можно также измерить при рассмотрении отношения к вере или неверию родителей пациентов. Они, по словам респонденток, в основном люди верующие: православные (большинство), мусульмане, буддисты. Неверующих немного. Степень религиозности родителей различна. Однако респондентки не считают, что вера родителей может влиять на ход лечения ребенка. Судя по их ответам, можно выявить некоторые отличия мусульман от православных, неверующих от православных. Мусульмане описываются как

люди, стойко переживающие болезнь и/или смерть ребенка (респ. 1). Им противопоставляются православные, которые, по замечаниям специалистов, более эмоционально реагируют и на лечение, и на смерть ребенка. Отмечается, что мусульмане не отказываются от детей с паллиативным статусом, они поддерживают жизнь в ребенке до последнего: *«раз Аллах нам послал, то мы должны выдержать, мы сделаем все для этого ребенка»* (респ. 6).

Встречаются упоминания о том, как неверующие родители относятся к паллиативному статусу ребенка. Несколько респонденток похожим образом говорят, что верующие родители гораздо легче переносят болезнь и смерть ребенка (респ. 3, 5, 7). По их словам, они более смиренные, вера придает им силы. Неверующие характеризуются в негативном ключе: они эгоистичны, задают много вопросов, не принимают ситуацию. Типичная позиция в отношении неверующих выглядит так: верующий человек всегда переносит трудности и испытания легче, чем неверующий. Он может объяснить себе с религиозной точки зрения, что это испытание: *«в жизни не только хорошее дается, дается и такое, и через это надо пройти»*.

Респондентка 7 откровенно признается, что ей тяжелее общаться с неверующими родителями, чем с верующими. По ее мнению, неверующие не хотят принимать ситуацию, *«категорически все отрицают»*, постоянно задаются вопросом, почему болезнь случилась именно с их ребенком, их семьей. Неверующий человек считает, что *«достойн лучшего в жизни, обязан быть счастливым»*, *«он должен как-то теперь от этого ребенка больного абстрагироваться»*. В основном так себя ведут, по ее словам, неверующие отцы: *«Он ничем не заслужил такого ребенка и не понимает, почему его жизнь должна быть посвящена теперь этому»*. Отмечает, что верующие в основном имеют полные семьи, среди неверующих много одиноких матерей. Из разговора становится понятно, что это не простая констатация факта, а один из поводов для осуждения неверующих. Вопрос интервьюера, поставленный провокативно: *«Атеистические, неверующие... родители воспринимают ребенка... как будто ребенок — это наказание, это не субъект, не личность, да?»* — находит понимание у респондентки, она на него отвечает утвердительно.

Мы видим сложности, с которыми сталкиваются респондентки при общении с родителями пациентов, заявляющих о себе как о неверующих людях, отвергающих институционализированную религиозность с ее ритуалами и практиками. При этом очевидно, что у таких людей тоже есть духовные потребности, которые столь же значимы, как и потребности религиозных родителей. Игнорирование духовных потребностей нерелигиозных родителей, на наш взгляд, не только ущемляет их право получать полноценную помощь, но и дискредитирует организацию ППД. В литературе широко распространено мнение, что к духовным темам врачам следует подходить с чуткостью, быть откровенными, и что следует избегать навязывания собственных убеждений (Ellis, Campbell, Detwiler-Breidenbach, Hubbard, 2002). Исследователи Марк Р. Эллис и Джеймс Д. Кэмпбелл предположили, что барьер между медицинским работником и пациентом или его родственником может быть преодолен посредством общих взглядов на мир и/или коммуникацион-

ных навыков врача (т. е. упор делается скорее на духовные концепции, а не на религиозные догматы) (Ellis, Campbell, 2005).

Единственная мусульманка среди опрошенных довольно прогрессивна в своих взглядах на религию: это касается не только отношения к роли женщины в исламе (женщины могут работать, быть относительно независимыми от мужчин), но и сущности веры. С ее точки зрения, суть всякой религии состоит в принципе *«не убей, не ненавидь»*, *«все религии в принципе одинаковы»*. Такой «экуменический» подход к религии выражается и в поведении: она любит посещать монастыри и церкви, *«не против даже свечку поставить в храме»*. Рассуждает в совершенно светском гуманистическом ключе, что бывают ситуации, когда нужно дать детям умереть естественной смертью, а не искусственно продлевать жизнь, не мучить их. Этот взгляд расходится со взглядом родителей-мусульман, с которыми ей приходится взаимодействовать.

Размывание религиозной идентичности мы видим не только у мусульманки, не брезгующей и свечку поставить в православном храме. Это свойственно так или иначе многим респонденткам. Встречается и неопитское рвение в отстаивании религиозных ценностей. Одна из респонденток, в прошлом коммунистка-атеистка, сейчас с гордостью рассказывает, что все они «языческие христиане» (что породило такую «понятийную химеру», к сожалению, из контекста понять невозможно), что в отделении *«нет ни одного некрещеного ребенка»*. По ее инициативе в хосписе намоленные иконы с Афона, часовня, празднуются все православные праздники, осуществляются таинства: детей крестят, причащают, отпевают в церкви. Судя по всему, она является единственной из опрошенных, кто открыто признает, что религия влияет на ее работу. Все остальные отрицают какое-либо влияние. Отчасти это может быть связано с тем, что в общественном сознании врач — воплощение научного подхода, логики, а вера в Бога и в божественное вмешательство противоречит естественнонаучной картине мира. Респондентки хотят, чтобы их воспринимали как профессионалов, которые действуют в рамках своего подхода рационально, логично, последовательно.

Отношение к роли «духовного наставника»/проводника в ППД

Все респондентки, за исключением респондентки 9, называющей себя атеисткой, считают, что в их отделении должен быть «духовный наставник» — либо православный священник, либо представитель другой конфессии (на словах они допускают эту возможность, но по факту видят в этой роли исключительно православного батюшку). В число обязанностей священника должна входить духовная поддержка пациентов, их родителей, а также сотрудников учреждений ППД. Многие предполагают, что священник может выполнять функции психолога, педагога. И психолог, и священник, по их мнению, нужны в отделении ППД, чтобы улучшать психическое состояние медперсонала, пациентов и их родителей. Все склоняются к тому, что «духовный наставник» — это мудрый, опытный, знающий

человек, который может при необходимости подобрать правильные слова, найти особый подход к человеку, исходя из его особенностей, темперамента, общего настроения. У священников *важная коммуникативная роль: они связывают медицинских работников и родителей, родителей и детей*. Многие сотрудники ППД часто используют помощь «бабушки», чтобы справиться со своей ролью вестника плохих новостей.

Деятельность священника большей частью опрошенных рассматривается в утилитарном ключе: он помогает унять душевную боль, ослабить чувство вины, тревогу, успокоиться, смириться с потерей, принять ситуацию, дает ответы на «сложные» вопросы (например, о жизни после смерти). Священник также способен разряжать конфликтную обстановку, сотрудники предлагают родителям его «услуги» в моменты тяжелого выбора, ситуации утраты, душевного кризиса. Не зря такая помощь предлагается респондентками не только православным родителям, но и буддистам, мусульманам. Случай с родителями-буддистами, которые крестили умирающего ребенка в реанимации, — показательный пример утилитарности такого подхода (респ. 2). Похожим образом можно объяснить установление часовни в хосписе в одной из мусульманских республик — от нее есть полезный *«терапевтический эффект»*.

Статус «духовного наставника» твердо ассоциируется только с православным священником, об иной альтернативе респондентки не задумывались. Возможно, поэтому вопрос о том, каким они видят специалиста, помогающего разрешать сложные конфликтные ситуации, касающиеся жизни и смерти, этические проблемы, вызывает у них значительные затруднения. Практически никто не может дать конкретного ответа — кто-то честно признается, что не знает ответа на этот вопрос, что он ставит их в тупик (респ. 1, 3, 6, 7). Респонденткам даже не приходит в голову пригласить священнослужителя другой конфессии, не православного священника. Например, респондентка 7 на вопрос интервьюера — почему в хоспис не приглашают муллу (хоспис располагается в преимущественно мусульманском регионе) — ответила, что «не пробовали», и она сомневается, что родители *«нормально это воспримут»*, не уверена, что мамы-мусульманки будут готовы к встрече с муллой. Она считает, что *«в мусульманстве такого нет как бы, между человеком и Богом нет посредника»*.

В целом следует отметить, что у большинства сотрудников ППД нет понимания, что, например, имам или раввин, так же как и «бабушка», могут духовно окормлять пациентов, родителей и их самих.

Некоторые респондентки напрямую высказывают мысль о функциональном характере работы священника: одна из них делится, что в отделении родителям предоставляется «мультидисциплинарная помощь»: и психолог, и дефектолог, и священник. Причем священника она «бросает» разбираться со сложными случаями, он *«подготавливает почву для психолога»*, психологу, с ее точки зрения, потом легче донести необходимую информацию до родителя. Респондентка считает, что священники — те же психологи, их помощь близка к помощи психолога,

т. е. священник полностью лишается сакрального ареола, он больше не воспринимается как посредник между Богом и человеком. Есть респондентки, которые не смешивают функции священника и психолога, но их меньшинство.

В целом участие «посредника» — духовного наставника валидируется отсылками к «мультидисциплинарности» ППД. В работе возникают конфликты и взаимное непонимание, потому есть запрос на участие некоего медиатора. Роль психолога или специалиста по этике препоручается служителю религии, который, по словам сотрудников, обладает необходимыми навыками. При этом наблюдается колебание между «субъективными» собственными убеждениями (священник нужен) и «объективными» обстоятельствами (не хватает психологов), и стоит отметить затруднения в ответах респонденток на вопросы о специалисте по этике и о трудностях в работе — вероятно, им самим не до конца ясно положение такого «посредника».

Смешение функций психолога и священника имеет глубокие основания, его нельзя свести только к утилитарным ожиданиям сотрудников ППД. В разное время во всем мире медицинская и духовная помощь оказывалась одним и тем же человеком — священником (Sloan, Bagiella, Powell, 1999). Религия, медицина и здравоохранение были так или иначе связаны на протяжении всей истории. Только в последнее время, по мнению Гарольда Г. Кенига, «эти системы исцеления были разделены, и это разделение произошло в основном в высокоразвитых странах; во многих развивающихся странах такое разделение практически отсутствует» (Koenig, 2012). Это разделение в том числе связано с работами Зигмунда Фрейда (отчасти с его позицией, что религия — это невроз и средство защиты от невроза), которые сильно повлияли на практику психиатрии и психотерапии, что привело «к настоящему расколу между религией и психиатрической помощью». Предметные области современной психологии/психиатрии и религии не совпадают, хотя достаточно общих сюжетов, связанных с проблемами личности (психология до сих пор понимается как «наука о душе»).

Полагаем, что сотрудникам отделений ППД непросто однозначно определить, где кончаются компетенции психолога, а где начинаются компетенции священника. С другой стороны, очевидно, что у психолога как представителя объективной науки нет непротиворечивого объяснения, что будет с человеком после смерти. В отличие от психолога священник может внушить человеку надежду на вечную жизнь, что дает утешение верующим пациентам и их близким. Это находит подтверждение и в ответах респонденток. По их признаниям, верующие родители чаще всего выбирают священника, а не психолога для поддержания душевного равновесия.

Заключительные размышления и рекомендации

В настоящей статье мы попытались, используя методологию глубинных полуструктурированных интервью с последующим применением ИФА, проанализи-

ровать основные мировоззренческие установки российских врачей паллиативной помощи детям. Так, нами установлено, что при оценке религиозной принадлежности респондентов сложно однозначно определить степень их религиозности, то, каким образом религия пронизывает их повседневную жизнь. Если ориентироваться только на прямые ответы, то следует согласиться, принять как данность, что религия не влияет на их работу. Однако на практике ситуация обратная. Этому свидетельствуют не только «намоленные иконы с Афона» в отделении, но и собственная позиция по проблеме страданий, горевания, боли, справедливости и пр. (прямым следствием логики гуманистического общества является эвтаназия, а религиозное сознание предлагает паллиативную помощь).

Принципиальные основы паллиативного подхода требуют, чтобы духовные потребности пациентов и их близких рассматривались и удовлетворялись медицинскими работниками. Профессиональная роль сотрудников ППД состоит не только в том, чтобы привлекать психологов, педагогов, священников, иных духовных советников для предоставления духовной помощи, но и самим активно взаимодействовать с пациентами и их семьями, чего на практике не происходит. На основании ответов опрошенных можно сделать вывод, что православное духовенство играет центральную роль в обеспечении духовной поддержки пациентов, и в большей степени их родителей. Респонденты предпочитают направлять «бабушку» для обсуждения пограничных вопросов о жизни и смерти. Вместе с тем очевидно, что духовная помощь не должна ограничиваться посещениями православных священников по просьбе родителей или сотрудников ППД.

Важно также понимать, что духовная помощь должна быть универсальной: следует с осторожностью предлагать мусульманам или буддистам «покрестить ребенка». При анализе материалов интервью косвенно можно обнаружить, что некоторые респондентки об этом задумываются. Одна из них объясняет интервьюеру, что поступает не вполне законно, когда ставит часовню в хосписе, располагающемся в мусульманском регионе. Она убеждает то ли себя, то ли интервьюера, что это *«имеет терапевтический эффект»*, что сотрудники *«не навязывают никому часовню»*, однако вполне допустимым будет сделать вывод, что уговоры скрывают неуверенность в правомерности поступка.

За редким исключением, респондентки не занимаются религиозным прозелитизмом в отделениях ППД. В большинстве случаев они рассматривают роль священника, религиозных ритуалов в практическом, утилитарном смысле, как то, что помогает родителям. Отсутствие опыта и образования сужает поле зрения работников ППД. Они не представляют, что возможна альтернатива «бабушке», в том числе светская, что сочетается с определенной степенью предвзятости по отношению к психологам, мнением о том, что их помощь адресуется в большей степени к эмоциональным проблемам, чем профессионально-этическим и экзистенциальным.

«Духовный наставник» светской ориентации мог бы взять на себя «окормление» неверующих родителей, с которыми так затруднена коммуникация у некоторых респонденток. «Светские духовники» также могут формировать духовность

в плане нравственности, культивирования положительных качеств (понятие чести, совести, мужества, милосердия и пр. внерелигиозны), отказа от бездуховности, которая выдвигает на первый план низменные чувства и интересы.

В числе ограничений и недостатков проведенного исследования можно назвать общую вещь для всех исследований, избравших своим методом ИФА, — известный риск субъективизма и предвзятости при формировании опросника для структурированного интервью и при интерпретации результатов в ходе феноменологического анализа.

Из специфических ограничений исследования можно выделить способ формирования выборки — все участники были отобраны из числа слушателей курсов повышения квалификации на базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова и принимали участие в исследовании по собственному выбору. Это создает вероятность влияния на результаты т.н. «эффекта волонтера» и определенным образом ограничивает возможности экстраполяции результатов исследования на всех участников ППД в системе здравоохранения России.

Данное направление исследований, на наш взгляд, весьма перспективно хотя бы из-за слабой эмпирической разработанности в русскоязычной научной литературе последних лет. В будущем научные изыскания могут быть сосредоточены как на развитии количественных социологических исследований коммуникативных паттернов, используемых сотрудниками отечественной ППД, так и на качественном феноменологическом анализе других аспектов мировоззренческой проблематики ППД. Отдельного рассмотрения требует жизненный мир пациентов, медицинских сестер и волонтеров системы ППД — темы, хорошо разработанные за рубежом и практически неизвестные в нашей стране.

Литература

- Александровский Ю. А., Незнанов Н. Г.* (ред.) (2020). Психиатрия: национальное руководство. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа.
- Ключников С. О., Сонькина А. А.* (2011). Паллиативная помощь в педиатрии — мировой опыт и развитие в России // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. Т. 90. № 4. С. 127–133.
- Савва Н. Н.* (ред.) (2020). Азбука паллиативной помощи детям. М.: Проспект.
- Твайкросс Р., Уилкок Э.* (2020). Основы паллиативной помощи. М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».
- Тищенко П. Д.* (2010). Топология целей врачевания: прикладное как фундаментальное // Философские проблемы биологии и медицины. Выпуск 4: Фундаментальное и прикладное: сборник материалов 4-й ежегодной научно-практической конференции. М.: Принтберри.
- Alexander D., Quirke M. B., Doyle C., Hill K., Masterson K., Brenner M.* (2022). The Meaning Given to Bioethics as a Source of Support by Physicians Who Care for Children Who Require Long-Term Ventilation // Qualitative Health Research. Vol. 32. № 6. P. 916–928.

- Anderson N. E., Slark J., Gott M. (2019). Unlocking intuition and expertise: using interpretative phenomenological analysis to explore clinical decision making // *Journal of Research in Nursing*. Vol. 24. P. 101–188.
- Balboni M. J., Sullivan A., Enzinger A. C., Epstein-Peterson Z. D., Tseng Y. D., Mitchell C., Balboni T. A. (2014). Nurse and physician barriers to spiritual care provision at the end of life // *Journal of pain and symptom management*. Vol. 48. № 3. P. 400–410.
- Best M., Butow P., Olver I. (2016). Doctors discussing religion and spirituality: A systematic literature review // *Palliative medicine*. Vol. 30. № 4. P. 327–337.
- Biggerstaff D., Thompson A. R. (2008). Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Qualitative Methodology of Choice in Healthcare Research // *Qualitative Research in Psychology*. Vol. 5. № 3. P. 214–224.
- Choe K., Kim Y., Yang Y. (2019). Pediatric nurses' ethical difficulties in the bedside care of children // *Nursing Ethics*. Vol. 26. № 2. P. 541–552.
- Cohen M. Z., Kahn D. L., Steeves R. H. (2000). *Hermeneutic phenomenological research: A practical guide for nurse researchers*. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington D. C.: SAGE.
- Coleman H., Sanderson-Thomas A., Walshe C. (2022). The impact on emotional well-being of being a palliative care volunteer: An interpretative phenomenological analysis // *Palliative Medicine*. Vol. 36. № 4. P. 671–679.
- Eatough V., Smith J. A. (2017). *Interpretative phenomenological analysis // The Sage handbook of qualitative research in psychology*. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington D. C.: SAGE. P. 193–209.
- Ellis M. R., Campbell J. D., Detwiler-Breidenbach A., Hubbard D. K. (2002). What do family physicians think about spirituality in clinical practice? // *Journal of Family Practice*. Vol. 51 № 3. P. 249–258.
- Ellis M. R., Campbell J. D. (2005). Concordant spiritual orientations as a factor in physician-patient spiritual discussions: a qualitative study // *Journal of religion and health*. Vol. 44. № 1. P. 39–53.
- Farfán-Zúñiga X., Jaman-Mewes P. (2021). Understanding the experience of nursing students' internship at a palliative care unit: A phenomenological research study // *Nurse Education Today*. Vol. 100.
- Hatano Y., Yamada M., Fukui K. (2011). Shades of truth: cultural and psychological factors affecting communication in pediatric palliative care // *Journal of pain and symptom management*. Vol. 41. № 2. P. 491–495.
- Klein S. M. (2009). Moral distress in pediatric palliative care: a case study // *Journal of pain and symptom management*. Vol. 38. № 1. P. 157–160.
- Koenig H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications // *International Scholarly Research Notices*. № 278730
- Larkin M., Flowers P., Smith J. A. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington D. C.: SAGE.

- Lucchetti G., Ramakrishnan P., Karimah A., Oliveira G.R., Dias A., Rane A., Shukla A., Lakshmi S., Ansari B.K., Ramaswamy R.S., Reddy R.A., Tribulato A., Agarwal A.K., Bhat J., Satyaprasad N., Ahmad M., Rao P.H., Murthy P., Kuntaman K., Koenig H.G., Lucchetti A.L.* (2016). Spirituality, Religiosity, and Health: a Comparison of Physicians' Attitudes in Brazil, India, and Indonesia // *International journal of behavioral medicine*. Vol. 23. № 1. P. 63–70.
- Mokhov S.* (2022). Care for the Dying in the Late USSR (1970–80s) // *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 20. № 2. P. 323–334.
- Moon Y.J.* (2022). Volunteer Experiences of Pediatric Palliative Care among University Students: A Phenomenological Approach // *Journal of Hospice and Palliative Care*. Vol. 25. P. 121–132.
- Nukpezah R.N., Khoshnavay F.F., Hasanpour M., Nasrabadi A.N.* (2020). Striving to reduce suffering: A Phenomenological Study of nurses experience in caring for children with cancer in Ghana // *Nursing Open*. Vol. 8. № 1. P. 473–481.
- Parola V., Coelho A., Sandgren A., Fernandes O., Apóstolo J.* (2018). Caring in Palliative Care: A Phenomenological Study of Nurses' Lived Experiences // *Journal of Hospice & Palliative Nursing*. Vol. 20. № 2. P. 180–186.
- Pearson H.N.* (2013). “You’ve only got one chance to get it right”: children’s cancer nurses’ experiences of providing palliative care in the acute hospital setting // *Issues Compr Pediatr Nurs*. Vol. 36. № 3. P. 188–211.
- Pringle J.L., Drummond J.S., McLafferty E., Hendry C.* (2011). Interpretative phenomenological analysis: a discussion and critique // *Nurse researcher*. Vol. 18. № 3. P. 20–24.
- Puchalski C., Ferrell B., Virani R., Otis-Green S., Baird P., Bull J., Chochinov H., Handzo G., Nelson-Becker H., Prince-Paul M., Pugliese K., Sulmasyet D.* (2009). Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus Conference // *Journal of Palliative Medicine*. Vol. 12. № 10. P. 885–904.
- Riklikienė O., Spirgienė L., Kaselienė S., Luneckaitė Ž., Tomkevičiūtė J., Büssing A.* (2019). Translation, cultural, and clinical validation of the Lithuanian version of the spiritual needs questionnaire among hospitalized cancer patients // *Medicina*. Vol. 55. № 11. P. 738
- Roberts T.* (2013). Understanding the research methodology of interpretative phenomenological analysis // *British Journal of Midwifery*. Vol. 21. № 3. P. 215–218.
- Sloan R.P., Bagiella E., Powell T.* (1999). Religion, spirituality, and medicine // *The Lancet*. Vol. 353. № 9153. P. 664–667.
- Smith J.A.* (1996). Beyond the divide between cognition and discourse: Using interpretative phenomenological analysis in health psychology // *Psychology and health*. Vol. 11. № 2. P. 264.
- Smith J.A., Osborn M.* (2003). Interpretative phenomenological analysis // *Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods* / J. A. Smith (ed.). London: SAGE. P. 51–80.
- Smith J.A.* (2007). Hermeneutics, human sciences and health: Linking theory and practice // *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*. Vol. 2. P. 3–11.

- Trotochaud K., Coleman J. R., Krawiecki N., McCracken C.* (2015). Moral distress in pediatric healthcare providers // *Journal of Pediatric Nursing*. Vol. 30. № 6. P. 908–914.
- Tutelman P. R., Drake E. K., Urquhart R.* (2019). “It Could Have Been Me”: An Interpretive Phenomenological Analysis of Health Care Providers’ Experiences Caring for Adolescents and Young Adults with Terminal Cancer // *Journal of adolescent and young adult oncology*. Vol. 8. № 5. P. 587–592.
- Vachon M., Fillion L., Achille M.* (2012). Death Confrontation, Spiritual-Existential Experience and Caring Attitudes in Palliative Care Nurses: An Interpretive Phenomenological Analysis // *Qualitative Research in Psychology*. Vol. 9. № 2. P. 151–172.
- Velarde-García J. F., Luengo-González R., González-Hervias R., Cardenete-Reyes C., Alvarado-Zambrano G., Palacios-Ceña D.* (2016). Facing death in the intensive care unit. A phenomenological study of nurses’ experiences // *Contemporary Nurse*. Vol. 52. № 1. P. 1–12.

Features of the Worldview of Pediatric Palliative Care Physicians: an Interpretive Phenomenological Analysis

Maxim Miroshnichenko

PhD in Philosophy, Senior Research Fellow, Global Centre for Advanced Studies,

Address: Ltd 38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2 Do2 NX53 Ireland;

Visiting Fellow, University of Religions and Denominations, Pardisan, Qom, Iran

E-mail: jaberwokky@gmail.com

Ekaterina Korostichenko

PhD in Philosophy, Researcher, Department of Modern Western Philosophy, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Address: 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation

E-mail: ek.korostichenko@gmail.ru

Dmitry Nozdrachev

Lecturer, UNESCO Network Chair in Bioethics and International Medical Law, International Medical School, Pirogov Russian National Research Medical University,

Address: 1 Ostrovitjanova, Moscow, 117997, Russian Federation

E-mail: dm.nozdrachev@gmail.com

Pediatric palliative care is a multidisciplinary branch of medicine and health care that includes both biomedical techniques of patient care and social and psychological practices. At the same time, its goal differs from that of curative approaches in medicine and is predominantly to alleviate patients’ suffering. We used the qualitative method of Interpretive Phenomenological Analysis (IPA), which allows us to uncover the «inside», emotional and existentially significant dimensions of respondents’ personal and intersubjective experiences. This method provides an «insider» perspective of the community under study. The article presents the results of IP. interviews with nine doctors of pediatric palliative care working in the Russian health care system and taking specialized advanced training courses. The goals of the study were to identify the most subjectively significant factors for physicians of palliative care for children, influencing the ethical and communicative aspects of interaction with patients and their parents, and to identify the most important problems and issues of concern to specialists, with an emphasis on worldview. Semi-structured interviews were conducted using a specially designed questionnaire and mainly addressed the topics and issues of worldview of palliative care physicians (including the role of

faith and religion) in the context of communication with patients and their parents. As a result, it was found that doctors typically assess their work as a vocation (in a number of cases — with explicitly religious attribution), and this is used by part of the respondents as a justification of their activities in front of a critically minded environment. A common view of a hospice is that of a place that needs to be comfortable, home-like. Subjectively, the majority of respondents evaluate themselves as Orthodox Christians, but emphasize the «non-fanatical» nature of their faith. At the same time, respondents note the significant influence of parental religiosity on communication patterns and acceptance of inevitable disease outcomes. Most respondents noted a high need for a spiritual counsellor in the hospice. Respondents do not necessarily insist that the counsellor be a priest, but his or her figure in the physicians' descriptions has distinct confessional features.

Keywords: palliative care for children, spirituality, religiosity, worldview, deep interview, interpretative phenomenological analysis

References

- Aleksandrovskij Ju.A., Neznanov N. G. (eds.) (2020) *Psihiatriya: natsional'noye rukovodstvo* [Psychiatry: National Guidelines]. 2nd ed., rev. and exp., Moscow: GEOTAR-Media.
- Alexander D., Quirke M. B., Doyle C., Hill K., Masterson K., Brenner M. (2022) The Meaning Given to Bioethics as a Source of Support by Physicians Who Care for Children Who Require Long-Term Ventilation. *Qualitative Health Research*, vol. 32, no 6, pp. 916–928.
- Anderson, N. E., Slark, J., Gott, M. (2019) Unlocking intuition and expertise: using interpretative phenomenological analysis to explore clinical decision making. *Journal of Research in Nursing*, vol. 24, pp. 101–188.
- Balboni M. J., Sullivan A., Enzinger A. C., Epstein-Peterson Z. D., Tseng Y. D., Mitchell C., Balboni T. A. (2014) Nurse and physician barriers to spiritual care provision at the end of life. *Journal of Pain and Symptom Management*, vol. 48, no 3, pp. 400–410.
- Best M., Butow P., Olver I. (2016) Doctors discussing religion and spirituality: A systematic literature review. *Palliative Medicine*, vol. 30, no 4, pp. 327–337.
- Biggerstaff D., Thompson A. R. (2008) Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Qualitative Methodology of Choice in Healthcare Research. *Qualitative Research in Psychology*, vol. 5, no 3, pp. 214–224.
- Choe K., Kim Y., Yang Y. (2019) Pediatric nurses' ethical difficulties in the bedside care of children. *Nursing Ethics*, vol. 26, no 2, pp. 541–552.
- Cohen M. Z., Kahn D. L., Steeves R. H. (2000) *Hermeneutic phenomenological research: A practical guide for nurse researchers*, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D. C.: SAGE.
- Coleman H., Sanderson-Thomas A., Walshe C. (2022) The impact on emotional well-being of being a palliative care volunteer: An interpretative phenomenological analysis. *Palliative Medicine*, vol. 36, no 4, pp. 671–679.
- Eatough V., Smith J. A. (2017) Interpretative phenomenological analysis. *The Sage handbook of qualitative research in psychology*, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D. C.: SAGE, pp. 193–209.

- Ellis M. R., Campbell J. D. (2005) Concordant spiritual orientations as a factor in physician-patient spiritual discussions: a qualitative study. *Journal of Religion and Health*, vol. 44, no 1, pp. 39–53.
- Ellis M. R., Campbell J. D., Detwiler-Breidenbach A., Hubbard D. K. (2002) What do family physicians think about spirituality in clinical practice? *Journal of Family Practice*, vol. 51, no 3, pp. 249–258.
- Farfán-Zúñiga X., Jaman-Mewes P. (2021) Understanding the experience of nursing students' internship at a palliative care unit: A phenomenological research study. *Nurse Education Today*, vol. 100, pp. 104848.
- Hatano Y., Yamada M., Fukui K. (2011) Shades of truth: cultural and psychological factors affecting communication in pediatric palliative care. *Journal of Pain and Symptom Management*, vol. 41, no 2, pp. 491–495.
- Klein S. M. (2009) Moral distress in pediatric palliative care: a case study. *Journal of Pain and Symptom Management*, vol. 38, no 1, pp. 157–160.
- Kljuchnikov S. O., Son'kina A. A. (2011) Palliativnaya pomoshch' v pediatrii — mirovoy opyt i razvitie v Rossii [Palliative care in pediatrics — world experience and development in Russia]. *Pediatriya. Zhurnal im. G. N. Speranskogo*, vol. 90, no 4, pp. 127–133.
- Koenig H. G. (2012) Religion, spirituality, and health: the research and clinical implications. *ISRN Psychiatry*, no 278730.
- Lucchetti G., Ramakrishnan P., Karimah A., Oliveira G. R., Dias A., Rane A., Shukla A., Lakshmi S., Ansari B. K., Ramaswamy R. S., Reddy R. A., Tribulato A., Agarwal A. K., Bhat J., Satyaprasad N., Ahmad M., Rao P. H., Murthy P., Kuntaman K., Koenig H. G., Lucchetti A. L. (2016) Spirituality, Religiosity, and Health: a Comparison of Physicians' Attitudes in Brazil, India, and Indonesia. *International Journal of Behavioral Medicine*, vol. 23, no 1, pp. 63–70.
- Mokhov S. (2022) Care for the Dying in the Late USSR (1970–80s). *The Journal of Social Policy Studies*, vol. 20, no 2, pp. 323–334.
- Moon Y. J. (2022) Volunteer Experiences of Pediatric Palliative Care among University Students: A Phenomenological Approach. *Journal of Hospice and Palliative Care*, vol. 25, pp. 121–132.
- Nukpezah R. N., Khoshnavay F. F., Hasanpour M., Nasrabadi A. N. (2020) Striving to reduce suffering: A Phenomenological Study of nurses' experience in caring for children with cancer in Ghana. *Nursing Open*, vol. 8, no 1, pp. 473–481.
- Parola V., Coelho A., Sandgren A., Fernandes O., Apóstolo J. (2018) Caring in Palliative Care: A Phenomenological Study of Nurses' Lived Experiences. *Journal of Hospice & Palliative Nursing*, vol. 20, no 2, pp. 180–186.
- Pearson H. N. (2013) “You've only got one chance to get it right”: children's cancer nurses' experiences of providing palliative care in the acute hospital setting. *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, vol. 36, no 3, pp. 188–211.
- Pringle J. L., Drummond J. S., McLafferty E., Hendry C. (2011) Interpretative phenomenological analysis: a discussion and critique. *Nurse Researcher*, vol. 18, no 3, pp. 20–24.

- Puchalski C., Ferrell B., Virani R., Otis-Green S., Baird P., Bull J., Chochinov H., Handzo G., Nelson-Becker H., Prince-Paul M., Pugliese K., Sulmasy D. (2009) Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus Conference. *Journal of Palliative Medicine*, vol. 12, no 10, pp. 885–904.
- Riklikienė O., Spirgienė L., Kaselienė S., Luneckaitė Ž., Tomkevičiūtė J., Büssing A. (2019) Translation, cultural, and clinical validation of the Lithuanian version of the spiritual needs questionnaire among hospitalized cancer patients. *Medicina*, vol. 55, no 11, p. 738.
- Roberts T. (2013) Understanding the research methodology of interpretative phenomenological analysis. *British Journal of Midwifery*, vol. 21, no 3, pp. 215–218.
- Savva N. N. (ed.). (2020) *Azbuka palliativnoy pomoshchi detyam* [The ABCs of palliative care for children], Moscow: Izd-vo «Prospekt».
- Sloan R. P., Bagiella E., Powell T. (1999) Religion, spirituality, and medicine. *The Lancet*, vol. 353, no 9153, pp. 664–667.
- Smith J. A. (1996) Beyond the divide between cognition and discourse: Using interpretative phenomenological analysis in health psychology. *Psychology and Health*, vol. 11, no 2, p. 264.
- Smith J. A. (2007) Hermeneutics, human sciences and health: Linking theory and practice. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, vol. 2, pp. 3–11.
- Tishhenko P. D. (2010) Topologiya tseley vrachevaniya: prikladnoe kak fundamental'noe [Topology of goals in healing: Applied as fundamental]. *Filosofskie problemy biologii i meditsiny: Vypusk 4: Fundamental'noe i prikladnoe: sbornik materialov 4-y ezhegodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Philosophical Problems of Biology and Medicine: Issue 4: Fundamental and Applied: collection of materials of the 4th annual scientific-practical conference], Moscow: Printberry.
- Trotochaud K., Coleman J. R., Krawiecki N., McCracken C. (2015) Moral distress in pediatric healthcare providers. *Journal of Pediatric Nursing*, vol. 30, no 6, pp. 908–914.
- Tutelman P. R., Drake E. K., Urquhart R. (2019) “It Could Have Been Me”: An Interpretative Phenomenological Analysis of Health Care Providers’ Experiences Caring for Adolescents and Young Adults with Terminal Cancer. *Journal of Adolescent and Young Adult Oncology*, vol. 8, no 5, pp. 587–592.
- Twycross R., Willcock A. (2020) *Osnovy palliativnoy pomoshchi* [Fundamentals of palliative care], Moscow: Blagotvoritel'nyy fond pomoshchi khospisam «Vera».
- Vachon M., Fillion L., Achille M. (2012) Death Confrontation, Spiritual-Existential Experience, and Caring Attitudes in Palliative Care Nurses: An Interpretative Phenomenological Analysis. *Qualitative Research in Psychology*, vol. 9, no 2, pp. 151–172.
- Velarde-García J. F., Luengo-González R., González-Hervias R., Cardenete-Reyes C., Alvarado-Zambrano G., Palacios-Ceña D. (2016) Facing death in the intensive care unit. A phenomenological study of nurses’ experiences. *Contemporary Nurse*, vol. 52, no 1, pp. 1–12.

Пока ребенок спит: репертуар «нематеринских» практик российских матерей*

Анастасия Швецова

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Управления научных исследований, Уральский государственный педагогический университет
Адрес: пр. Космонавтов, 26, Екатеринбург, 620017 Россия
E-mail: shvetsovaav@mail.ru

Ирина Симонова

Кандидат философских наук, доцент, научный сотрудник Управления научных исследований, Уральский государственный педагогический университет
Адрес: пр. Космонавтов, 26, Екатеринбург, 620017 Россия
E-mail: luboe05@mail.ru

Статья является результатом исследовательского проекта, посвященного современным материнским практикам в фокусе профессиональной и личностной самореализации женщин. В качестве методологической основы изучения этих ранее неидентифицированных аспектов жизнедеятельности женщин, имеющих малолетних детей, авторы предлагают концепт «нематеринские» практики матерей», понимая его как устойчивые виды активностей женщины, реализуемых ею в широком диапазоне сфер общественной жизни, которые обусловлены и определены комплексной ситуацией ухода за детьми раннего возраста и соответствующими изменениями ее хронотопа, коммуникативных позиций и экономического положения, но не имеют непосредственного отношения к заботе о ее ребенке. На материалах комплексного исследования (изучение аккаунтов молодых матерей в социальных сетях, N = 720; материнских форумов, N = 22; онлайн-опрос, N = 471; серия глубинных интервью N = 20) продемонстрирован эмпирический потенциал предлагаемого концепта. Определен и систематизирован репертуар «нематеринских» практик, представлена их типология по следующим основаниям: формат реализации (офлайн, онлайн, смешанный), мотивация (самореализация, заработок, борьба с однообразием декретных будней, общение, снятие психологического напряжения), эффект (конструктивный, деструктивный, без выраженного эффекта), экономический статус (нейтральный, дотационный, инвестиционный, стихийный заработок, регулярный доход, коммерческий доход), профессиональная динамика (практики, соответствующие основной профессии; временные практики; транзитивные практики), сфера деятельности (образование, сопровождение матерей, творчество, волонтерство и социальный активизм, бьюти-сфера, крафтовое производство, растениеводство, спорт, недвижимость, туризм, саморазвитие, компьютерные технологии). Предлагаемая оптика позволяет комплексно подходить к исследованию механизмов адаптации матерей, анализу многослойности и эклектичности нормативных и фактических аспектов в реструктуризации их социальных статусов. Практический смысл ее применения заключается в возможности разворота системы социальной поддержки материнства от дотационной (поддержка материнства = социальные выплаты) к ресурсной (поддержка материнства = переформатирование социальной среды с учетом права женщины на субъектность и использования ее потенциала).

Ключевые слова: «нематеринские» практики матерей, гендер, материнство, родительство, женские исследования, гендерная социология, репродуктивное поведение

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00636 «Современные «нематеринские» практики молодых матерей: репертуар, потенциал и общественный риск». <https://rscf.ru/project/22-28-00636>

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство»

Современное материнство имеет качественные структурные и содержательные отличия от материнства предшествующих поколений. Этот трансформационный процесс продиктован формированием нового гендерного порядка, в ядре которого заложена идея достижения гендерного равноправия. Кроме того, имеет место влияние косвенных факторов (цифровизация, пандемия, военные и политические конфликты), вес и значение которых представляет собой серьезную задачу для научного сообщества как в методологическом, так и в методическом плане. Одной из ключевых особенностей современного материнства является усложнение жизненных сценариев женщин и вариативность репродуктивного поведения. На смену линейной модели «замужество — рождение детей — воспитание детей — воспитание внуков», характерной для традиционно-патриархатных обществ, пришли множественные сценарии, включающие профессиональное развитие, репродуктивное планирование, выбор стиля материнства, поиск возможностей совмещения различных функций. Проблематика баланса между семейными и другими социальными, в том числе профессиональными, ролями женщин набирает популярность в гендерных исследованиях по всему миру и в России.

Ввиду вышесказанного возникает потребность в разработке понятийного поля для решения прикладных задач, позволяющих описывать и анализировать новые форматы материнства, идентифицировать события и факты жизни современных женщин. Одним из таких понятий могут стать, на наш взгляд, «нематеринские» практики матерей», обнаруживающие многослойность первых лет материнства, когда от женщины требуется максимальная вовлеченность в жизнь ребенка и уход за ним. Происходит конфликт между сформированной у большинства женщин необходимостью в социальной и экономической активности и ограничением возможности ее реализации в привычной форме. Общество и социальная инфраструктура демонстрируют неготовность способствовать разрешению этого противоречия: общество — в силу отсутствия знаний о специфических потребностях матерей, инфраструктура — в силу отсутствия институциональных решений и понятных алгоритмов ее преобразования. Таким образом, систематизация и верификация научной информации о «нематеринских» практиках матерей» становится не только вопросом ликвидации пробела в гендерных данных, но и инструментом практических решений в области поддержки материнства.

Основываясь на теории социального конструирования гендера, предполагающей, что кажущиеся естественными аспекты женственности, по сути, являются способами интерпретации биологического, легитимными в данном обществе (Здравомылова, Темкина, 1998), мы предлагаем определять феномен «нематеринских» практик молодых матерей как совокупность действий женщин в период ухода за детьми раннего возраста, направленных на удовлетворение социальных, экономических, психологических потребностей, возникающих вследствие отмены привычного и формирования нового ритма жизни и изменения ее содержания, аффилированного с материнством. По сути, это устойчивые виды активностей женщины, реализуемые ею в широком диапазоне сфер общественной жизни

(социальной, экономической, политической, духовной)¹, которые обусловлены и определены комплексной ситуацией ухода за детьми младенческого и раннего возраста и соответствующими изменениями хронотопа матери, ее коммуникативных позиций и экономического положения, но не имеют непосредственного отношения к процедурам заботы о ее ребенке. Базовой точкой является смена социального времени-пространства женщины, включающего коренные изменения не только ритмов жизни и физических локаций, но предполагающих смену конституирующих и властных дискурсов, ценностных и этических установок. Следует отметить, что эти изменения наступают в любом случае, независимо от уровня благополучия женщины и наличия у нее партнера и других помощников, а также от желания стать матерью и степени готовности к материнству. Несмотря на закономерность и «привычность» материнства, ценность опыта материнства, а также очевидную социальную значимость статуса современной матери, появление ребенка остается источником значительных изменений в жизни женщины как социальной единицы. Таким образом, можно рассматривать «нематеринские» практики в качестве адаптивных к специфическим условиям материнства.

Научный обзор и методологическая рамка. Актуальный научный дискурс о материнстве строится вокруг идеи совмещения профессиональных и семейных ролей (которая артикулируется через такие категории, как «типы занятости», «мир публичный и мир семьи», «жизненный баланс» и др.) и сопровождающих эти процессы внутренних трансформаций («адаптация к материнству», «послеродовая депрессия», «реформирование идентичности» и др.). Предлагаемый нами концепт «нематеринские» практики матерей» открывает возможность объединения этих категорий, расширения исследовательского горизонта (включения в аналитическое поле социальных, политических, духовных и иных активностей) и структурирования данных о жизни современных матерей.

Один из наиболее проработанных вопросов в области исследований материнства — это проблема занятости (отметим, что научный интерес пока не снимает его социальной остроты). В общем смысле материнская занятость может носить вынужденный или добровольный характер. Для бедных стран характерен первый тип, когда занятость матери является следствием нужды и демонстрирует низкий социально-экономический статус семьи (Rodgers, 2011). Во втором случае материнская занятость рассматривается как реализация права женщины на труд и экономическую самостоятельность (Бледнова, 2023). Это основание применимо на макро-, мезо- и микроуровнях. На макроуровне неоклассические экономические модели подчеркивают роль женского труда в экономическом росте, что подтверждается практикой (Cavalcanti, Tavares, 2016; Kazandjian, Kolovich, Kochhar, Newiak, 2019). Однако причинно-следственные связи между занятостью женщин

1. Существование этих сфер жизни отмечают в своих работах В. С. Барулин, С. Э. Крапивенский, П. В. Алексеев и др. В выделении их они руководствуются суждением К. Маркса, в котором он основными частями общества считал осуществляемую определенным способом производственную деятельность людей и социальный, политический и духовный процессы их жизни.

и экономическими показателями трудно эмпирически объяснить, поскольку имеет место целый спектр факторов: возможности рынка труда, образование, культурные и социальные переменные, другие скрытые факторы, которые изменяются одновременно с рождаемостью, образованием и участием в рабочей силе (Bandiera, Natraj, 2013). На мезоуровне исследуется неформальная занятость женщин как наиболее гибкий формат, позволяющий сочетать работу и материнство (Gammage, Joshi, Rodgers, 2022; Khambule, 2023). Вместе с тем неформальный сектор усиливает гендерное неравенство, оставляя матерей на карьерной периферии, и в целом ослабляет показатели экономического развития (рост производительности, объем инвестиций, взаимосвязь институтов рынка) (Тартаковская, 2019; Braunstein, Seguino, Altringer, 2021). На микроуровне анализу подвергаются репродуктивные истории женщин в контексте их профессиональных достижений (Gough, 2017; Oesch, Lipps, McDonald, 2017). В целом результаты международных исследований констатируют влияние инвестиций в здравоохранение, образование, институты рынка труда и социальную защиту на обеспечение условий материнской занятости, однако универсального рецепта создания сбалансированной политики в интересах женщин на сегодняшний день создать не удалось.

Российские исследования материнской занятости отражают болезненный национальный аспект гендерного неравенства — увеличение материнской нагрузки в условиях нехватки временных, экономических, социальных, психологических ресурсов. На основе данных опроса работающих женщин коллектив Уральского федерального университета под руководством профессора Анны Багировой выявил объективные и субъективные барьеры совмещения профессионального и родительского труда, к числу которых отнесены продолжительность рабочего дня, время его начала и окончания, стереотипы работодателей и коллег, не имеющих детей, ядро которых составляют представления о низкой профессиональной эффективности работников с детьми (Багирова, Бледнова, 2021). Вместе с тем есть мнение, что рассматривать удаленную работу как отличную возможность для женщин сочетать домашние дела и профессиональную реализацию неправомерно (Черных, 2022). Пандемия усугубила гендерное неравенство в распределении ролей между оплачиваемой работой и неоплачиваемой домашней, создав ситуацию «тройной» занятости для женщин: профессиональная, бытовая, интенсивное материнство (Исупова, 2018). Характерно, что интенсивное материнство относительно недавно стало рассматриваться как отдельный вид занятости. В большинстве случаев выполнение материнских задач попадало под зонтичное определение «неоплачиваемый домашний труд» наравне с выполнением бытовых функций и уходом за больными родственниками. Однако повышенное общественное требование к матерям обеспечить всестороннее развитие детей, делегирование школой значительного объема образовательных функций семье, усложнение детской логистики (в крупных городах дети посещают до 4–5 секций, что породило выражение «мама-такси»), страх общественного порицания и статуса «недостаточно хорошей мамы» являются достаточными основаниями для дифференциации это-

го вида занятости. Закономерным результатом «тройной занятости» выступает хроническая нехватка времени и перманентное состояние стресса, что ухудшает качество трудовой жизни.

Стоит обратить внимание на тот факт, что, несмотря на относительно высокую экономическую активность женщин в России, доля работающих женщин с детьми в возрасте до трех лет оценивается в 24% (против 59% в среднем для стран ОЭСР) (Калабихина, Кузнецова, 2022; Колесник, Пестова, Донина, 2021). В официальной повестке факт предоставления российским женщинам отпуска по уходу за ребенком до трех лет определяется как исключительная привилегия и успех социальной политики, однако уязвимым аспектом такого отпуска остается вопрос его финансирования. Эмпирически подтверждено, что существует зависимость между продолжительностью декретного отпуска, карьерными возможностями и гендерным разрывом в заработной плате — этот эффект получил название «штраф за материнство» (Budig, England, 2001; Benard, Correll, 2010; Бирюкова, Макаренцева, 2017; Shen, 2022).

Особый вес для формирования «скелета» концепта имеют исследования психологического самочувствия матерей. Тема трансформации идентичности женщины в связи с рождением детей является социально-чувствительной. Данные о нарушениях психологического состояния матерей идут вразрез с доминирующим представлением о материнстве как исключительно позитивном и смыслообразующем событии, однако являются важными для социальной аналитики и прогнозирования (Holton, Fisher, Rowe, 2010). Можно встретить минимум четыре подхода к объяснению феномена послеродовой депрессии. Первый рассматривает это состояние как следствие эволюционного компромисса — неврологические изменения в материнском мозге во время беременности, которые помогают адаптироваться, но при этом имеют побочные эффекты (Brunton, Russell, 2008; Cardenas, Kujawa, Humphreys, 2019). Второй состоит в том, что послеродовая депрессия — это болезнь цивилизации (Dahan, 2023). Третий отводит решающее значение специфике родовой деятельности и осложнениям в родах (Dekel, Ein-Dor, Berman, 2019; Shen, 2022). Четвертый подход — психосоциальный — учитывает тяжелые жизненные события, приводящие к хроническому стрессу, качество отношений и поддержку со стороны партнера и матери (Yim, Stapleton, Guardino, Hahn-Holbrook, Schetter, 2015). Конфликт между ожидаемыми положительными эмоциями после родов и реальностью депрессивного настроения и тревоги, которые многие из них на самом деле испытывают, может выражаться также в послеродовой хандре, более легком нарушении настроения в течение первых 10 дней после родов (Dahan, 2023). Разнообразие подходов к объяснению послеродового психологического состояния женщин отражает реальное разнообразие жизненных ситуаций и предикторов его нарушений. На наш взгляд, целесообразно говорить отдельно о состояниях, которые должны корректироваться медицинскими методами (по МКБ-10 эти расстройства имеют коды F53.0 и F53.1), и состояниях, с которыми можно справиться самостоятельно. В последнем случае речь идет о реконструкции своего социаль-

ного пространства при помощи «нематеринских» практик — адаптированных к условиям материнства увлечений, профессиональных занятий, практик саморазвития.

Существует серьезный пробел в гендерных данных относительно жизнедеятельности матери вне ее материнских функций. Адаптация к материнству — многоуровневый процесс, связанный с восприятием и оценкой женщиной своих изменившихся социальных ролей. Ранние работы поверхностно определяли беременность как время переключения внимания женщины с публичного мира на локальный мир семьи, что помогает подготовиться к новой роли и переориентировать последующие жизненные планы (Smith, 1999). Однако актуальные исследования свидетельствуют о полноценном реформировании идентичности (Berger, Asaba, Fallahpour, Farias, 2022; Laney, Lewis, Anderson, Willingham, 2015), а следовательно, и практик, организующих жизненное пространство женщины. Концепт «нематеринские» практики матерей» обладает рядом возможностей, связанных с восполнением этого пробела. Методологический поворот к детальному анализу «нематеринских» активностей женщин в период первых лет ухода за детьми именно в качестве специфических практик позволяет избегать как крайностей психологического редукционизма, так и представлений об исключительной метаобусловленности материнского поведения биологическими, традиционными или институциональными факторами, а также подчеркивает их глубоко социальную природу. Это позволяет увидеть стратегический, а не плановый характер активностей женщин, лучше понять основы разнообразности репертуара и их суть: практики случаются, они процессуальны, переходы между ними нередко «бесшовны».

В фокусе внимания оказываются первые годы материнства (наиболее пристально — до трех лет, но и дошкольный возраст не обеспечивает матери полноценную пространственно-временную свободу, следовательно, сохраняется внешняя рамка для «нематеринских» практик), что позволяет принимать во внимание изменения идентичности женщины в качестве мотивационной основы ее деятельности. Иными словами, удастся увидеть разнообразие мотивов «нематеринских» активностей, уходя от фокусировки исключительно на факторах стресса (но учитывая их), обнаруживая стратегическую составляющую в желании женщины сохранять или усиливать позиции на «общем игровом поле» в новых для себя условиях, а не только в новом для нее пространстве материнских практик, где также существует иерархия и соревновательность, а требования высоки. Сохранение хороших социальных позиций, что очень важно, может быть достигнуто матерями не только в сфере профессиональной занятости. Помимо официальной работы в материнской среде существует широкий диапазон активностей (например, саморазвитие, волонтерство, экологический активизм, крафтовые производства и др.), которые нередко становятся основой для дальнейшего изменения экономического и социального положения матерей. В настоящее время упущены из вида родственная мотивационная основа трудовых и некоммерческих активностей женщин, смежный характер данных областей, сходность механики их реали-

зации, что приводит к недооценке потенциала и недостаточной поддержке таких активностей. «Нематеринские» практики позволяют увидеть цепочку «домашняя практика — неофициальная занятость — институциональная занятость», которая в действительности должна учитываться при работе над программами поддержки материнства.

Важно также, что обращение к данному концепту позволяет, с одной стороны, обнаруживать определенные институциональные, экономические и культурные контексты, представления о роли матери, традиции как факторы, которые определяют ее деятельность (через учет контекстов реализации практик), с другой стороны — видеть и систематизировать те самые уникальные формы женской деятельности, которые обусловлены локальными условиями, связанными с изменениями относительных позиций с окружением матери: с отцом ребенка (появление позиции зависимости, изменение его поведения, в том числе перераспределение функций в семье²), с другими домочадцами, изменения в отношениях с друзьями, коллегами, появление новых социальных связей. Последние также до настоящего времени были исключены из поля исследовательского интереса, в то время как именно «нематеринские» практики обладают колоссальным потенциалом к формированию новых коммуникативных каналов для молодых матерей, поскольку предполагают разделение и трансляцию опыта, побуждают мать вступать в общение с людьми со сходными интересами и потребностями.

Выделение «нематеринских» практик может быть произведено на основе следующих критериев:

1. Начало реализации практики в период ухода за ребенком в возрасте от 0 до 3 лет или кардинальные изменения порядков и форм практики, реализуемой до декрета в указанный период. Данный критерий установлен, во-первых, с опорой на классическую периодизацию возрастного развития детей Д. Б. Эльконина, где именно указанный возраст обозначен как период, характеризующийся наибольшей зависимостью ребенка от взрослого и требующий максимальной включенности родителей в заботу о нем (Эльконин, 1971), а также положением статьи 256 Трудового кодекса РФ, предусматривающей возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им именно трехлетнего возраста, что подчеркивает признание государством потребности изменения матерью привычных форм деятельности в связи с заботой о ребенке. Фактически «нематеринские» практики сохраняют свою структуру и после окончания декрета, поскольку породившие их условия остаются вплоть до обретения ребенком относительной самостоятельности (которая у одних наступает с переходом в начальную школу, а у других — еще позже).

2. Практика ориентирована на свою позиционную встроенность. Действие не направлено на уход за ребенком, но организуется с учетом условий необходимости и ценности заботы и воспитания.

2. Подробнее связь включенности отца в процессы ухода за ребенком и интенсивности нематеринских практик рассматривается в нашей работе: Симонова, Швецова, Кривошекова, 2023.

3. Относительная регулярность практики на протяжении указанного периода. Единичные активности не оказывают существенного влияния на жизнедеятельность матери в целом, часто носят случайный характер, тогда как нас интересуют потенциально транзитивные практики. Так, например, разовый просмотр видеолекции не является поводом говорить об ориентации на самообразование, в отличие от прохождения онлайн-курса.

4. Субъективная значимость (оценка практики женщиной и ее окружением может не совпадать. Например, ведение блога может расцениваться женщиной как потенциальный источник дохода и саморазвития, но члены семьи могут относиться к этому негативно).

Обнаружение многообразия социальных потребностей женщин в первые годы материнства, возможность показать, что они не исчерпываются выполнением функций матери при использовании «нематеринских» практик как исследовательской оптики, позволяет выходить и на конкретные административные и технические нужды женщин, что важно при работе в сфере поддержки материнства. Концепт выполняет своего рода гуманитарную миссию: говоря о «нематеринских» практиках, мы делаем акцент на сохранении матерями ориентации на поддержку и усиление статуса социальной агентности, адаптации прежде всего этой потребности к изменившимся условиям определенности возможностей материнскими задачами и ценностями, включая желание занять лучшие общественные позиции для обеспечения будущего ребенка, улучшение качества общественной жизни (ее инфраструктуры, экологичности и пр.). Мы подчеркиваем желание многих женщин сохранить право на себя, на свою жизнь, на определенные социальные позиции и возможности, формирование и удовлетворение амбиций.

Таким образом, предлагаемая оптика позволяет комплексно подходить к исследованию механизмов адаптации матерей и решению проблем ролевого баланса женщин в период первых лет материнства, что определило инструментарий для выделения репертуара и ключевых особенностей активностей матерей в фокусе форм свойственных для них социально-экономических отношений.

Логика и процедура исследования. Наше исследование направлено на восполнение указанного пробела в гендерных данных и частичное снятие вопросов о структуре и содержании «нематеринских» практик современных матерей. Мы последовательно осуществили ряд эмпирических процедур, сочетающих онлайн- и офлайн-методы. Использование онлайн-площадок на большинстве этапов сбора информации обусловлено тем, что в первые годы материнства возможность передвижения женщин ограничена потребностями ребенка и виртуальное общение становится наиболее доступным способом взаимодействия с внешним миром. Вместе с тем социально-чувствительные вопросы требуют личного контакта интервьюера и респондента, что было учтено при разработке дизайна исследования, который в окончательном варианте включил в себя:

1. Изучение аккаунтов молодых матерей³. Первым шагом были анализ и систематизация всех русскоязычных хештегов, размещенных в Instagram⁴ и относящихся к материнству (хештеги, созданные по принципу «мать — количество детей», «мать — пол ребенка», маркирующие многодетное или «особое» материнство, место жительства, вид деятельности, а также хештеги-шутки). Далее мы проанализировали аккаунты женщин, использующих указанные хештеги. В выборку попали 720 профилей русскоязычных женщин, содержащих сведения о наличии детей и информацию о «нематеринских» практиках (итоговые переменные: количество детей, количество постов, количество подписчиков, направленность практики; сбор данных — январь-февраль 2022 г.).
2. Сбор и анализ высказываний женщин в тематических сообществах в сети VK.com и на форумах для матерей. Ресурсы отбирались по релевантности (сообщество посвящено общению на тему материнства, размещаемый контент сфокусирован на проблемах матерей, воспитании детей, поддержке женщин с детьми). Анализу подвергались обсуждения к статьям в тематических рубриках по общим темам «Карьера», «Хобби», «Досуг», «Декрет», «Психология». Всего проанализированы материалы 22 сообществ, собрано 248 высказываний женщин-матерей о различных практиках, начатых ими в период ухода за детьми в возрасте до трех лет; проведен мануальный контент-анализ, высказывания промаркированы по 6 критериям (сфера реализации, сопровождение практики обучением, направленность на прибыль, транзитивность, рискогенность, социальная ориентация). Обработка данных, полученных на первых двух этапах, позволила эмпирически подтвердить существование феномена «нематеринских» практик и предварительно наметить основания для их классификации: формат реализации, мотивация, эффект, экономический статус, профессиональная динамика, сфера деятельности.
3. Онлайн-опрос женщин, имеющих детей дошкольного возраста (проведен на базе платформы onlinetestpad.com, N = 471, сбор анкет — апрель-май 2023 года, рекрутирование осуществлялось посредством размещения ссылки в социальной сети VK.com на личных страницах членов исследовательского коллектива, а также через рассылку по сети дошкольных образовательных учреждений Свердловской области⁵. Среди респонденток 33,76% имеют одного ребенка, 45,44% — двух детей, остальные трех и более). Основная цель онлайн-опроса состояла в уточнении и наполнении данными

3. Подробнее с процедурой и результатами можно ознакомиться в статье: Швецова, Симонова, Оболенская, Кривошекова, 2022.

4. Роскомнадзор внес Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) в реестр запрещенных сайтов; социальная сеть прекратила работу на территории РФ с полуночи 14 марта 2022 г. Сбор данных происходил до указанного периода.

5. Авторы благодарят за помощь в сборе данных Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга и лично Елену Евгеньевну Гордееву.

сформированной ранее классификации, а также выявлении влияния «нематеринских» активностей на самоощущение женщин.

4. Для уточнения причин и логики реализации данных практик, а также для установления механики и ее обусловленности изменениями хронотопа женщины была проведена серия глубинных интервью с информантками с релевантными биографиями (N = 20, рекрутирование методом снежного кома, регион — Свердловская область, сбор данных — май-июнь 2023 года). Стратегия отбора респонденток среди рекомендованных кандидатур предполагала первичный анализ биографии женщины посредством обзора личных страниц и страниц проектов (при наличии) в социальных сетях, а также предварительную беседу. Выбор был сделан в пользу женщин из нормотипичных семей (женщина замужем или находилась в браке на момент ухода за ребенком), четко формулирующих суть своих «нематеринских» практик. Мы намеренно избегали обращения к случаям экстремального материнства (неблагополучная семья, критически низкий уровень жизни, несовершеннолетние матери, наличие детей с инвалидностью и пр.), чтобы исключить доминирование факторов, нехарактерных для стандартной ситуации материнства (это направление — вызов для наших дальнейших исследований). Все респондентки соответствовали следующему критерию: возраст единственного ребенка в диапазоне 2–7 лет, либо женщина переживает опыт материнства не впервые (в нашей выборке — от 2 до 4 детей, младший — до 7 лет, поскольку важно было увидеть, как реализация практики происходит в динамике, в том числе как практика и ее течение/результаты отрефлексированы информанткой).

В исследовании использовались только открытые данные (в частности, анализировались доступные без подписки аккаунты и форумы), участницы опроса и интервью были в полной мере информированы о целях исследования, фиксация результатов осуществлялась с согласия респондентов. Ниже будут представлены обобщенные результаты всех блоков, количественные данные приведены по п. 3.

Результаты

Классификация «нематеринских» практик — сложная исследовательская задача, если учесть разнообразие реальных женских судеб и жизненных ситуаций материнства. Как отмечалось выше, эмпирические данные собирались преимущественно в регионе проживания авторов (Свердловская область), что позволяет получить средний срез (экономически развитый, но не столичный регион с высоким уровнем образовательной и профессиональной активности женщин), но исключает специфику некоторых регионов России (Крайний Север, Кавказ). Мы отобрали ряд следующих оснований, которые не являются исчерпывающими, но, надеемся, послужат каркасом для дальнейшего приращения и содержательного наполнения.

1. Формат реализации. «Нематеринские» практики могут быть реализованы офлайн и онлайн, причем последний формат становится исключительно популярным благодаря доступности информационных ресурсов. Эту форму организации своих практик указали более 20% ответивших на вопрос «Где происходит Ваше интересное дело/увлечение?». В качестве вариантов «другое» были отмечены «храм», «фитнес-центр», «дача», «выезжаю на дом к заказчику» (единично). Также можно выделить смешанный формат, характерный для случаев, когда женщина рекламирует свой продукт/услугу в сетях, но сам процесс изготовления или реализации услуги происходит в реальности.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос
Где происходит Ваше интересное дело/увлечение?»

Вариант ответа	Кол-во ответов	Процент
Онлайн	109	21,29%
Дома	294	57,42%
Ареную отдельное помещение	27	5,27%
В коворкинге/в центре для предпринимателей и др.	9	1,76%
В местах, где собираются такие же, как я, любители	33	6,45%
Другое	40	7,81%

Исследования материнской активности в Интернете затрагивают разнообразные темы, включая создание бизнес-моделей (Куляскина, Тонких, 2019), цифровизацию материнства как способ репрезентации своего опыта (Van Cleaf, 2020), поведенческие модели молодых матерей, родившихся в цифровую эпоху (Nagaman, et al., 2022), а также деструктивные практики (для примера, изучение популярного хештега #winemom (с англ. «винная мама»), обозначающего шутливый, но потенциально рискованный, способ «борьбы» с материнской скукой) (Harding, Whittingham, McGannon, 2021). Мы пытаемся встроить этот контекст в общую канву знаний о материнстве, показав, что цифровизация может рассматриваться как формат организации повседневных практик.

В ходе интервью женщины отмечали, что наличие Интернета стало для них «спасительным», поскольку сети становятся для молодой мамы источником информации о потенциальных практиках, позволяют получить или усовершенствовать свои навыки в ее реализации, а также являются одним из ведущих каналов продвижения продукции и услуг. Кроме того, отмечено, что обсуждения «нематеринских» практик сопровождаются общением на более широкие темы, частично восполняя тем самым возникающий коммуникативный вакуум: *«У нас есть в группе, где я покупаю ткани, диалоги, мы там обсуждаем, как что шить, какие изделия... И общие какие-то темы тоже можем обсудить, просто о жизни, о детях...»*

(ж., 34, шьет детскую одежду под заказ, 2 ребенка). Вместе с тем женщины отмечали, что тоска по «живому» общению сохраняется, существует запрос на поддержку форм такого общения, в том числе в профессиональном ключе: «У меня все онлайн, хорошо, конечно, что есть это... но скучаю по нормальному общению... Но трудно это, куда деть ребенка? Это же не разговор, не работа, когда они там бегают, дергают!» (ж., 31, СММ, 2 ребенка).

1. *Мотивация.* Классификация по этому основанию позволяет ответить на вопрос, почему женщины в период раннего материнства стремятся найти возможность для «нематеринских» занятий, учитывая дефицит времени, который они испытывают. Сопоставление ответов на вопрос о предпосылках «нематеринской» активности и ее результатах позволяет говорить о пяти ведущих мотивах: самореализация, заработок, борьба с однообразием декретных будней, общение, снятие психологического напряжения.

Большинство опрошенных (47,31%, табл. 2) начали свое увлечение потому, что это давало возможность для самореализации, четверть респонденток назвали самореализацию основным эффектом от «нематеринской» активности (табл. 3). Финансовый мотив — второй по значимости среди предпосылок (15,47%, табл. 2) и четвертый по эффектам (9,67%, табл. 3). Еще одним значимым мотивом является скука (15,02%, табл. 2), которая эффективно устраняется новыми занятиями (43,74%, табл. 3). Потребность в общении является важной для 8,52% опрошенных, примерно столько же (7,69%, табл. 3) отметили эффективность своих увлечений в решении этого запроса. Более 10% указали на пользу «нематеринских» практик в борьбе со стрессом. Среди вариантов «другое» отмечены отсутствие времени на занятия, стремление поменять свою жизнь, развитие ребенка.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Я начала свое увлечение/занятие потому, что: (продолжите утверждение)»

Вариант ответа	Кол-во ответов	Процент
Было скучно	67	15,02%
Это давало возможность общаться, познакомиться с новыми людьми	38	8,52%
Это давало возможность реализовать мой потенциал, попробовать себя в новом деле	211	47,31%
Это способ заработать	69	15,47%
Другое	61	13,68%

Интервью позволили выделить дополнительный мотивационный фактор — ориентацию на качественное изменение уровня жизни семьи, что связывается информантками с желанием обеспечить ребенка, а также создать лучшие условия для его воспитания (уделять больше времени, обеспечивать более квалифицированный уход и пр.), где не последнее место играет мысль о потенциальной оценке успехов матери со стороны детей в будущем: «Раньше же живешь одним днем, откры-

ваеишься, ну есть работа и ладно, а теперь я понимаю, что у меня дети, надо стараться... хочу, чтобы у них жизнь была лучше, чем у меня» (ж., 36, изготавливает натуральную косметику, 2 ребенка).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Продолжите утверждение “Мое увлечение во время декрета позволило мне...”»

Вариант ответа	Кол-во ответов	Процент
Снять стресс	51	11,21%
Быть финансово независимой	44	9,67%
Найти новых друзей, общаться с людьми	35	7,69%
Реализовать себя	107	23,52%
Разнообразить декретные будни	199	43,74%
Другое	19	4,18%

В целом современные женщины, привыкшие к социальной активности и финансовой самостоятельности, испытывают дефицит времени на профессиональную и личностную реализацию в период материнства. В рамках интервью эта проблема озвучивалась так:

«Если раньше я работала сутки через сутки, то сейчас это 1–2 вызова в день, в вечернее время. Муж приходит с работы, и я уезжаю работать. Это очень, кстати, помогло не выгореть с ребенком. Это все равно смена. Но именно «для себя» времени совсем нет. Я всегда, если у меня свободное время появляется, иду не на ноготочки и не реснички, а иду работать. Всегда» (ж., 36 лет, ветеринар, 1 ребенок).

2. *Эффект.* В общем виде «нематеринские» практики могут иметь конструктивный, деструктивный эффект, или не иметь выраженного эффекта вовсе. Под конструктивным эффектом мы понимаем доход, личностную или профессиональную реализацию, снятие стресса, позитивные изменения жизненного сценария, преодоление чувства изоляции. К деструктивным эффектам могут быть отнесены финансовые риски, уязвимость перед мошенничеством (молодые мамы являются одной из наиболее виктимных групп населения), чувство вины перед ребенком за потраченное время, неоправданные надежды на результат, усталость и стресс, негативное отношение родственников к «нематеринским» занятиям (нарушены ролевые ожидания «правильного» материнства) (табл. 4).

3. *Экономический статус.* Данное основание позволяет рассматривать «нематеринские» практики с точки зрения их экономической целесообразности. Исходя из полученных данных, мы выделяем нейтральный (практика не предполагает ни затрат, ни доходов — например, медитация, самообразование, садоводство), дотационный (практика требует финансовых вложений, но не предусматривает выручки — занятия в спортзале, платное образование, некоторые занятия «для души»), инвестиционный (требует вложений, есть ожидание прибыли — фотографирование, бьюти-услуги на начальном этапе), стихийный заработок (разовые подработки — реализация крафтовых украше-

ний, выпечки, проектная работа), регулярный доход (реализуемая на постоянной основе профессиональная деятельность), коммерческий доход (предпринимательство и бизнес). В таблице 5 представлены распределения ответов на вопрос о финансовой эффективности «нематеринских» практик. Большинство женщин не ожидают дохода (30,09%) либо имеют незначительный доход (26,02%). Лишь 7,47% зарабатывают достаточно, чтобы содержать семью. Учитывая, что молодые мамы являются одной из наименее финансово защищенных категорий населения, можно констатировать слабость механизмов активизации их экономического потенциала.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Продолжите фразу “У меня были проблемы из-за моего увлечения, потому что...”»

Вариант ответа	Кол-во ответов	Процент
Столкнулась с мошенниками, нечестными людьми	8	1,37%
Вложила деньги и потеряла их	10	1,72%
Семья не разделяла моих интересов	43	7,38%
Испытывала стресс, усталость	72	12,35%
Отсутствовал ощутимый результат, прибыль	70	12,01%
Испытывала чувство вины перед ребенком	59	10,12%
Это пустая трата времени	16	2,74%
Проблем не было	279	47,86%
Другое	26	4,46%

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили финансовый эффект от Вашего увлечения?»

Вариант ответа	Кол-во ответов	Процент
Это приносит мне небольшой доход	115	26,02%
Это источник содержания семьи	33	7,47%
Я трачу на это средства	55	12,44%
Я планирую получать доход	44	9,95%
Я не трачу на это деньги, но и не зарабатываю на этом	62	14,03%
Это не предполагает дохода	133	30,09%

4. *Профессиональная динамика.* По этому основанию можно выделить виды практик, соответствующие основной профессии или додекретным занятиям, временные практики, возникшие на период декрета, транзитивные практики, приводящие к смене профессиональной траектории. В последнем случае материнство выступает как фактор переосмысления своего трудового пути, стимулируя достижение новых профессиональных статусов либо, наоборот, снижая профессиональную активность для высвобождения временных ресурсов на воспитание и уход (табл. 6).

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Как материнство повлияло на Вашу карьеру?»

Вариант ответа	Кол-во ответов	Процент
Полностью сменила сферу деятельности/профессию	145	30,79%
Сменила место работы, но работаю в той же сфере, что и до рождения ребенка	74	15,71%
После окончания декрета вышла на прежнюю работу	166	35,24%
Решила остаться домохозяйкой	48	10,19%
Другое	38	8,07%

Согласно нашим данным, почти треть женщин совершают профессиональную транзигию. Это может объясняться ценностными и мотивационными изменениями личности в связи с рождением ребенка. Становясь мамой, женщина проходит своеобразную инициацию в новом статусе, что видоизменяет не только привычный ритм жизни, но и структуру социального взаимодействия, ролевые позиции, ощущение своего места в жизни (в бурдьевицкой методологии — габитус). Образно говоря, женщина «уходит в декрет» одним человеком, а возвращается из него — совсем другим. С другой стороны, мы имеем основания полагать, что внешние — институциональные — причины также побуждают женщин к совершению профессиональных транзигий. Условия труда в традиционных секторах экономики неудобны матерям — график работы, удаленность от дома и детских учреждений, давление со стороны руководства, потеря квалификации из-за перерыва в работе вынуждают женщин искать более гибкие варианты занятости (которые чаще всего являются и менее социально защищенными): *«Я писала курсовые в свободное время, а также осуществила мечту — научилась работать с фотошопом. В итоге моя специальность врача улетела в трубу. А навыки, полученные во время декрета, меня обеспечивают и сейчас»* (ж., форумчанка, возраст и количество детей — не известны).

5. *Сфера деятельности.* Это основание позволяет зафиксировать разнообразие «нематеринских» практик и вместе с тем оценить степень влияния гендерных установок и стереотипов на карьерные притязания молодых матерей. Анализ основных сфер реализации практик позволяет говорить, что большинство из них сосредоточены в традиционных феминных областях — образование, бьюти-сфера, крафтовое производство (одежда, украшения, выпечка, косметика, предметы интерьера, канцелярия), растениеводство. Бьюти-индустрия активно развивается в сторону частных кабинетов, стоимость услуг которых является значимым конкурентным преимуществом перед салонами. Относительно короткий срок обучения позволяет молодым матерям овладевать навыками ногтевого дизайна, перманентного макияжа, наращивания ресниц и исправления формы бровей. Респондентки сообщают, что не рассматривают возможность выхода данных практик на уровень бизнеса (открытие своего салона, регистрация ИП), поскольку высокий порог вхождения на рынок,

негибкий налоговый режим и нестабильность спроса (последствие пандемии) повышают риски неуспеха.

Желание вернуться в дородовую физическую форму и укрепить здоровье стимулирует спортивные и фитнес-практики. Среди наших респонденток оказались как те, кто занимается спортом для себя, так и профессиональные спортсменки, скорректировавшие свои карьерные траектории в связи с рождением детей. В качестве восстановительных практик можно особо отметить йогу и пилатес, сочетающие тренировку и возможность психологического расслабления. Спорт как профессиональная деятельность в послеродовой период фокусируется на ведении персональных и групповых программ, онлайн-тренировках.

Творческие практики включают в себя фотосъемку («Сначала я просто снимала своего ребенка...»), живопись, хореографию, вокал, публицистику. Среди наших респондентов оказалась многодетная мама, чья писательская карьера совпала с рождением третьего ребенка. Она утверждает, что именно материнство стало стимулом для написания первой книги, рассматривая способность к деторождению как источник вдохновения.

Популярной сферой является саморазвитие, причем содержательно речь может идти о практиках совершенно разного уровня — от получения ученой степени до курсов по нумерологии. Стоит отметить, что существуют государственные образовательные программы для молодых матерей⁶, однако их популярность невысока (качество рекламной кампании, необходимость сбора и очной подачи пакета документов, неудобный для матерей младенцев формат обучения).

Развитие онлайн-сервисов по продаже недвижимости и туристических услуг открыло эти нишу для женщин в декрете. Привлекательным направлением также является туристический блогинг, позволяющий совмещать путешествия и заработок (в допандемийный период особой популярностью пользовались блоги о «зимовках» с детьми — переезд в теплые страны на зиму и межсезонье). Среди онлайн-практик в сфере недвижимости можно выделить услуги дизайнера, а также блоги об «экопереездах» — из города в деревню, в экологически чистую местность, к морю.

Специфическая структура времени матери, завязанная на графике детского сна, заставляет ее искать практики заработка, которые могут выполняться индивидуально, без привязки к команде. Сфера компьютерных технологий становится идеальным вариантом для женщин, желающих заработать и обеспечить занятость, совместимую с материнством. Выявлены мамы, начавшие свою карьеру как непосредственно в сфере IT (разработчики, IT-рекрутеры, тестировщики), что встречается реже и рассматривается как мужская сфера, так и в области SEO, WEB-дизайна (в т.ч. сборки и обслуживания сайтов на конструкторах), СММ, востребована работа в дизайнерских и видеопрограммах.

6. Содействие занятости. Нацпроект «Демография». Официальный сайт https://xn--80aarpmpemc-fmfo7az3c9ehj.xn--p1ai/projects/demografiya/sodeystvie_zanyatosti

Был выделен блок специфических практик, ориентированных на трансляцию и тиражирование приобретенных навыков решения стоящих перед матерями проблем, куда можно включить перинатальные практики, а также практики сопровождения детства и материнства. Так, популярно ведение консультаций и целых курсов по подготовке к родам, по грудному вскармливанию, детскому сну, услуги доулы (часто это интуитивное знание, основанное только на личном опыте. При всей рискогенности непрофессионального родовспоможения, эти услуги пользуются спросом, поскольку институализированная система сопровождения в родах и послеродовой период воспринимается женщинами как формальная, не заинтересованная в сохранении физического и ментального здоровья матери и ребенка). Женщины охотно делятся опытом и монетизируют его: развитие детей, организация их досуга, подбор одежды и аксессуаров, мебели, психологическая поддержка и даже магические обряды.

Изменение ценностных ориентаций молодых матерей повышает значимость социальных, гражданских, экологических инициатив. Среди наших респондентов были мамы-экологи, которые, оценив с новой позиции состояние окружающей среды, решили практиковать сортировку отходов, а затем изменить свою профессиональную траекторию и стать экологами; мамы-волонтеры, помогающие бездомным и больным людям; мамы-активисты, создающие проекты переустройства городской среды, так чтобы она была удобна для людей с колясками и без.

На основе полученных данных опроса и анализа социальных сетей мы разработали матрицу популярных «нематеринских» практик матерей с учетом формата активности (табл. 7).

Включение в понятийное поле гендерной социологии концепта «нематеринские» практики и их систематизация, безусловно, не являются исчерпывающим инструментом анализа новых форматов материнства, но позволяют актуализировать дискуссию о субъектности женщин в первые годы после рождения ребенка, идентифицировать и описать факты их жизни. Результаты эмпирического исследования наводят нас на размышление о том, что многие женщины интуитивно ощущают противоречивость требований к нормативному материнству и понимают природу этих противоречий, однако отсутствие общественной дискуссии, а в некотором смысле и интереса к проблемам матерей, заставляет их искать причины в себе, сомневаться в собственной пригодности к роли матери. Интенсификация родительской заботы, предписания к качеству родительского труда ведут преимущественно к увеличению нагрузки на матерей, вынужденных организовывать свою социальную и профессиональную активность по остаточному принципу. Согласно теории социального конструирования гендера, такое положение вещей, по сути, легитимировано, поскольку воспроизводится с молчаливого согласия общества и властных структур. Попытки балансирования различных видов нагрузок приводят к возникновению практик, направленных на удовлетворение социальных, экономических, психологических потребностей. Основная сложность изучения этих практик связана с их широкой вариативностью. На пер-

вый взгляд мы имеем дело с разрозненным набором случайных активностей, поскольку можем зафиксировать разницу мотивации, способов и форм организации, экономической целесообразности. Однако во всех случаях общим условием выступает смена социального времени-пространства женщины, включающего коренные изменения ритма жизни, физических локаций, ценностных и этических установок, а также потребность в адаптации к новому статусу.

Таблица 7. Матрица популярных «нематеринских» практик по сферам и форматам активности

Сфера деятельности	Формат		
	Офлайн	Онлайн	Смешанный
Образование	Репетиторство, частные уроки	Онлайн-курсы, образовательные аккаунты	Частные онлайн-уроки
Перинатальные практики, сопровождение материнства и детства	Консультации, медицинские процедуры (массаж, мануальная терапия)	Курсы по лактации, родам, ведение профильных блогов	Онлайн-консультации, услуги доулы
Творчество	Фотосъемка, публицистика, рисование, хореография, вокал	Ведение блогов, посвященных творчеству	Популяризация результатов своей творческой деятельности — книг, клипов, фотографий
Волонтерство и социальный активизм	Работа в приютах, экологических организациях, сортировка мусора	Экоблоггерство, блоги о помощи животным, детям, социально уязвимым гражданам	Совмещение деятельностного аспекта и блогосферы
Бьюти-сфера	Ногтевой сервис, парикмахерские услуги, макияж, наращивание ресниц, эпиляция, услуги стилиста	Онлайн-курсы по бьюти-процедурам, блоги о красоте	Онлайн-стилист
Крафтовое производство	Выпечка тортов и сладостей, пошив одежды, вязание, изготовление элементов декора, бижутерии	Блоги о кулинарии, шитье, декор	Аккаунты в поддержку собственного крафтового производства
Растениеводство	Выращивание растений	Блоги о растениях, курсы	Аккаунты о собственном опыте растениеводства, онлайн-продажи
Спорт	Детский спорт, йога	Блоги о спорте, спортивном питании, восстановлении после родов	Онлайн-тренировки

<i>Недвижимость</i>	Услуги риелтора, дизайн	Онлайн-риелтор, юридическое сопровождение сделок	Аккаунты в поддержку собственных услуг
<i>Туризм</i>	Организация и сопровождение туристических групп, групп с детьми	Туристические блоги	Продажа турпакетов
<i>Саморазвитие</i>	Получение образования, посещение образовательных и культурных мероприятий, спорт, йога, приобщение к религии	Онлайн-обучение	Смешанные образовательные и развивающие траектории
<i>Компьютерные технологии</i>	—	Прохождение обучения, обучение других, выполнение работ в IT, СММ, дизайн и др.	—

Заключение

Традиционная рамка нормативного материнства предполагает сосредоточение женщины в первые годы после рождения ребенка на выполнении уходовых и воспитательных практик, что институционально закреплено предоставлением трехлетнего «декретного» отпуска, которым в России за редким исключением пользуются преимущественно матери. Вместе с тем неизбежен внутренний диссонанс, возникающий вследствие отмены прежней механики жизни и потребности восстановить ее в том или ином варианте. Удовлетворение привычных социальных, экономических, психологических потребностей (отдых, общение, возможность уединения, профессиональная самореализация, финансовая самостоятельность, разноплановый досуг, путешествия и т. д.) требует серьезных усилий или исключается как таковое. «Нематеринские» практики выступают в качестве альтернативы поддержания привычного ритма жизни с учетом ситуации материнства. Как справедливо пишет Ирина Тартаковская, работа по сохранению габитуса связана с определенными трудностями, однако «верность себе» становится важным каркасом, защищающим от стресса и неопределенности.

Современное материнство представляет собой структурно сложный, нелинейный, поливариативный феномен, требующий расширения научных данных о жизнедеятельности молодых матерей за границы диады «мать-ребенок». Становясь матерью, женщина временно лишается ряда психологически и экономически важных статусов, что дестабилизирует и влияет на жизненные планы. Адаптируясь к новым обстоятельствам, молодые мамы испытывают состояние, которое в научной литературе описывается терминами «балансирование»

и «жонглирование» — попытка сочетать статус «хорошей» матери и профессиональную идентичность, что в эмоциональном плане имеет эффект «американских горок». «Нематеринские» практики выступают элементом стабилизации, «мостиком» между социальной изолированностью первых лет материнства и привычной жизнью. Некоторые из этих практик можно назвать занятиями «для себя», другие имеют экономический эффект. Основной проблемой измерения участия женщин в период декретного отпуска в экономических процессах остается риск ошибочных заключений, поскольку их деятельность статистически не учитывается и недооценивается (Gammage, Sultana, Glinski, 2020). Второе ограничение — объединение опыта различных групп женщин в одно целое, которое не соответствует реальной картине для всего населения. Эта статья является частью исследовательского проекта, направленного на восполнение гендерных данных о субъектности матери, получение знаний о реальных ситуациях и проблемах, с которыми сталкиваются женщины в период декрета. На основе комплексного исследования, включающего анализ аккаунтов в социальных сетях, изучение дискурсов женских форумов, опрос и серию глубинных интервью, мы выделили следующие основания для классификации «нематеринских» практик: формат реализации (офлайн, онлайн, смешанный), мотивация (самореализация, заработок, борьба с однообразием декретных будней, общение, снятие психологического напряжения), эффект (конструктивный, деструктивный без выраженного эффекта), экономический статус (нейтральный, дотационный, инвестиционный, стихийный заработок, регулярный доход, коммерческий доход), профессиональная динамика (практики, соответствующие основной профессии или додекретным занятиям; временные практики, возникшие на период декрета; транзитивные практики, приводящие к смене профессиональной траектории), сфера деятельности (образование, перинатальные практики, творчество, волонтерство и социальный активизм, бьюти-сфера, крафтовое производство, растениеводство, спорт, недвижимость, туризм, саморазвитие, компьютерные технологии). Мы надеемся, что разрабатываемый нами концепт «нематеринских» практик станет полезным инструментом для исследования жизни современных российских женщин и оптимизации практических алгоритмов социальной поддержки материнства.

Литература

- Багирова А. П., Бледнова Н. Д. (2021). Совмещение профессионального и родительского труда в оценках уральских женщин: объективные и субъективные барьеры // *Женщина в российском обществе*. № 0. С. 150-167.
- Бирюкова С. С., Макаренцева А. О. (2017). Оценки «штрафа за материнство» в России // *Население и экономика*. Т. 1. № 1. С. 50-70.
- Бледнова Н. Д. (2023). Родительский отпуск в системе социально-экономических процессов: теоретический обзор // *Народонаселение*. Т. 26. № 1. С. 70-82.

- Здравомыслова Е. А., Темкина А. А.* (1998). Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. № 3-4. С. 171-182.
- Исупова О. Г.* (2018). Интенсивное материнство в России: матери, дочери и сыновья в школьном взрослении // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. № 3. С. 180-189.
- Калабихина И. Е., Кузнецова П. О.* (2022). Кому (не) нужен трехлетний отпуск по уходу за ребенком? // Демографическое обозрение. Т. 9. № 3. С. 24-43.
- Колесник Д. П., Пестова А. А., Донина А. Г.* (2021). Что (же) делать с занятостью женщин с детьми в России? Роль дошкольных образовательных учреждений // Вопросы экономики. № 12. С. 94-117.
- Куляскина Д. А., Тонких Н. В.* (2019). Женщины в интернет-бизнесе: онлайн-опрос работающих матерей // Достойный труд — основа стабильного общества. Материалы XI Международной научно-практической конференции. С. 51-54.
- Симонова И. А., Швецова А. В., Кривошекова М. С.* (2023). «Как за каменной стеной»: вовлеченное отцовство в контексте возможностей материнской самореализации // Социальные и гуманитарные знания. Т. 9. № 1. С. 102-113.
- Тартаковская И. Н.* (2019). Баланс жизни и труда precarious работников: гендерные аспекты // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 163-178.
- Тартаковская И. Н.* (2022). Изменение практик в ситуации пандемии: стратегии совладания с кризисом // Мир России. Т. 31. № 3. С. 96-114.
- Черных Е. А.* (2022). Интенсивное материнство и удаленная занятость женщин — как совместить несовместимое? // Сбережение населения России: здоровье, занятость, уровень и качество жизни. Материалы Международной научно-практической конференции V Римашевские чтения (Москва, 29 марта 2022 г.) / Отв. ред. В. В. Локосов, В. Г. Доброхлеб, М. В. Беликова; ФНИС. РАН. М.: ФНИС. РАН. С. 272-276.
- Швецова А. В., Симонова И. А., Оболенская А. Г., Кривошеёва М. С.* (2022). Онлайн-практики экономического поведения российских женщин в период декретного отпуска // Экономическая социология. Т. 23. № 4. С. 12-36.
- Эльконин Д. Б.* (1971). К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. № 4. С. 6-20.
- Bandiera O., Natraj A.* (2013). Does Gender Inequality Hinder Development and Economic Growth? Evidence and Policy Implications // The World Bank Research Observer. Vol. 28. № 1. P. 2–21.
- Benard S., Correll S. J.* (2010). Normative discrimination and the motherhood penalty // Gender and Society. Vol. 24. №5. P. 616–646.
- Berger M., Asaba E., Fallahpour M., Farias L.* (2022). The sociocultural shaping of mothers' doing, being, becoming and belonging after returning to work. Journal of Occupational Science. Vol. 29. № 1. P. 7-20.
- Braunstein E., Seguino S., Altringer L.* (2021). Estimating the Role of Social Reproduction in Economic Growth // International Journal of Political Economy. Vol. 50. №2. P. 143-164.

- Budig M. J., England P.* (2001). The Wage Penalty for Motherhood // *American Sociological Review*. Vol. 66. №2. P. 204–225.
- Brunton P., Russell J.* (2008). The expectant brain: adapting for motherhood // *Nature Reviews Neuroscience*. № 9. P. 11–25.
- Cardenas E. F., Kujawa A., Humphreys K. L.* (2019). Neurobiological changes during the peripartum period: implications for health and behavior // *Social Cognitive and Affective Neuroscience*. Vol. 15. №. 10. P. 1097–1110.
- Cavalcanti T., Tavares J.* (2016). The Output Cost of Gender Discrimination: A Model-based Macroeconomics Estimate // *The Economic Journal*. Vol. 126. P. 109–134.
- Chen H.H., Lai J. C.Y., Hwang S. J., Huang N., Chou Y. J., Chien L. Y.* (2017). Understanding the relationship between cesarean birth and stress, anxiety, and depression after childbirth: a nationwide cohort study // *Birth*. Vol. 44. №4. P. 369–376.
- Dahan O.* (2023). The case of poor postpartum mental health: a consequence of an evolutionary mismatch — not of an evolutionary trade-off // *Biology and Philosophy*. № 38.
- Dekel S., Ein-Dor T., Berman Z. et al.* (2019). Delivery mode is associated with maternal mental health following childbirth // *Archives of Women’s Mental Health*. №. 22. P. 817–824.
- Gammage S., Joshi S., Rodgers Y.* (2022). The Intersections of Women’s Economic and Reproductive Empowerment // *Feminist Economics*. Vol. 26. № 1. P.1–22.
- Gammage S., Sultana N., Glinski A.* (2020). Reducing Vulnerable Employment: Is there a Role for Reproductive Health, Social Protection, and Labor Market Policy? // *Feminist Economics*. Vol. 26. №1. P. 121–153.
- Gough M.* (2017). Birth spacing, human capital, and the motherhood penalty at midlife in the United States // *Demographic Research*. Vol. 37. P. 363–416.
- Hagaman A., Lopez Mercado D., Poudyal A., Bemme D., Boone C., van Heerden A., et al.* (2022). “Now, I have my baby so I don’t go anywhere”: A mixed method approach to the ‘everyday’ and young motherhood integrating qualitative interviews and passive digital data from mobile devices // *PLoS ONE*. Vol. 17. №7: e0269443.
- Harding K. D., Whittingham L., McGannon K. R.* (2021). ‘#sendwine: An Analysis of Motherhood, Alcohol Use and #winemom Culture on Instagram’ // *Substance Abuse: Research and Treatment*. Vol. 15.
- Holton S., Fisher J., Rowe H.* (2010). ‘Motherhood: Is it good for women’s mental health?’ // *Journal of Reproductive and Infant Psychology*. Vol. 28. № 3. P. 223–239.
- Kazandjian R., Kolovich L., Kochhar K., Newiak M.* (2019). Gender Equality and Economic Diversification // *Social Sciences*. Vol. 8. №4. P. 118.
- Khambule I.* (2023). A multidimensional and intersectional analysis of COVID-19 on women in the informal economy in South Africa / *COVID-19 and women’s intersectionalities in Africa*. Pretoria University Law Press. P. 281–302.
- Laney E. K., Lewis Hall M. E., Anderson T. L., Willingham M. M.* (2015). Becoming a Mother: The Influence of Motherhood on Women’s Identity Development // *Identity*. Vol. 15. №2. P. 126–145.

- Oesch D., Lipp O., McDonald P. (2017). The wage penalty for motherhood: Evidence on discrimination from panel data and a survey experiment for Switzerland // *Demographic Research*. Vol. 37. P. 1793–1824
- Rodgers Y. (2011). *Maternal Employment and Child Health. Global Issues and Policy Solutions*. Edvard Elgar Publishing.
- Shen C. (2022). Widening inequality: The evolution of the motherhood penalty in China (1989–2015) // *Chinese Journal of Sociology*. Vol. 8. №4. P. 499–533.
- Smith J. A. (1999). Identity development during the transition to motherhood: An interpretative phenomenological analysis // *Journal of Reproductive and Infant Psychology*. Vol. 17. №3. P. 281–299.
- Van Cleef K. M. (2020). The Pleasure of Connectivity: Media, Motherhood, and the Digital Maternal Gaze // *Communication, Culture and Critique*. Vol. 13. №. 1. P. 36–53.
- Yim I. S., Stapleton L. R. T., Guardino C. M., Hahn-Holbrook J., Schetter C. D. (2015). Biological and psychosocial predictors of postpartum depression: systematic review and call for integration // *Annual Review of Clinical Psychology*. Vol. 11. №1. P. 99–137.

While the Child Sleeps: the Repertoire of "Non-maternal" Practices of Russian Mothers

Anastasia Shvetsova

Candidate of Science (Sociology), Senior Researcher, Ural State Pedagogical University
Address: 26, Cosmonauts str., Yekaterinburg, 620017, Russian Federation
E-mail: shvetsovaav@mail.ru

Irina Simonova

Candidate of Science (Social Philosophy), Researcher, Ural State Pedagogical University.
Address: 26, Cosmonauts str., Yekaterinburg, 620017, Russian Federation
E-mail: luboe05@mail.ru

The article is part of a research project dedicated to modern maternal practices in the focus of women's professional and personal self-realization. As a methodological basis for studying these previously unidentified aspects of the life of women on parental leave, the authors propose the concept of "non-maternal" practices of mothers, understanding it as stable types of a woman's activities which she implements in a wide range of areas of public life, which are determined by the complex situation of caring for young children and the corresponding changes in her chronotope, communicative positions and economic situation, but are not directly related to caring for her child. Based on the materials of a comprehensive study (a study of young mothers' accounts in social networks, N=720; 22 motherhood forums; an online survey, N=471; a series of in-depth interviews N=20), the empirical potential of the proposed concept was demonstrated. The repertoire of "non-maternal" practices has also been defined and systematized, and their typology is presented. In particular, the following grounds for the classification of "non-maternity" practices are identified: implementation format (offline, online, mixed), motivation (self-realization, earnings, combating the monotony of maternity days, communication, relieving psychological stress), effect (constructive, destructive, without a pronounced effect), economic status (neutral, subsidized, investment, spontaneous earnings, regular income, commercial income), professional dynamics (practices corresponding to the main profession or pre-maternity employment; temporary practices that developed during maternity leave; transitive practices leading to a change in professional trajectory), field of activity (education, support for mothers, creativity and the arts,

volunteering and social activism, beauty industry, crafts, crop production, sports, real estate, tourism, self-development, computer technology). The proposed optics allow a comprehensive approach to the study of mother's mechanisms of adaptation, and an analysis of the multi-layered and eclectic nature of normative and factual aspects in the restructuring of their social statuses. The practical meaning of their application lies in the possibility of turning the system of social support for motherhood from subsidized (support for motherhood = social payments) to resource (support for motherhood = reformatting the social environment, taking into account women's right to subjectivity).

Keywords: "non-maternal" practices of mothers; gender; motherhood; parenting; women's studies; gender sociology; reproductive behavior.

References

- Bagirova A. P., Blednova N. D. (2021) Sovmeshhenie professional'nogo i roditel'skogo truda v ocenakh ural'skikh zhenshhin: obektivnye i subektivnye bar'ery [Combination of professional and parental work in the assessments of Ural women: objective and subjective barriers]. *Woman in Russian Society*, no 0, pp. 150-167. (In Russian)
- Bandiera O., Natraj A. (2013) Does Gender Inequality Hinder Development and Economic Growth? *Evidence and Policy Implications*, *The World Bank Research Observer*, vol. 28, no 1, pp. 2-21.
- Benard S., Correll S. J. (2010) Normative discrimination and the motherhood penalty. *Gender and Society*, vol. 24, no 5, pp. 616-646.
- Berger M., Asaba E., Fallahpour M., Farias L. (2022) The sociocultural shaping of mothers' doing, being, becoming and belonging after returning to work. *Journal of Occupational Science*, vol. 29, no 1, pp. 7-20.
- Biryukova S., Makarentseva A. (2017) Ocenki «shtrafa za materinstvo» v Rossii [Estimates of the motherhood penalty in Russia]. *Population and Economics*, no 1(1), pp. 50-70. (In Russian)
- Blednova N. D. (2023) Roditel'skij otpusk v sisteme social'no-jekonomicheskikh processov: teoreticheskij obzor [Parental leave in the system of socio-economic processes: a theoretical review]. *Population*, vol. 26, no 1, pp. 70-82. (In Russian)
- Braunstein E., Seguino S., Altringer L. (2021) Estimating the Role of Social Reproduction in Economic Growth. *International Journal of Political Economy*, vol. 50, no 2, pp. 143-164.
- Brunton P., Russell J. (2008) The expectant brain: adapting for motherhood. *Nature Reviews Neuroscience*, no 9, pp. 11-25.
- Budig M. J., England P. (2001) The Wage Penalty for Motherhood. *American Sociological Review*, vol. 66, no 2, pp. 204-225.
- Cardenas E. F., Kujawa A., Humphreys K. L. (2019) Neurobiological changes during the peripartum period: implications for health and behavior. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, vol. 15, no 10, pp. 1097-1110.
- Cavalcanti T., Tavares J. (2016) The Output Cost of Gender Discrimination: A Model-based Macroeconomics Estimate. *The Economic Journal*, vol. 126, pp. 109-134.

- Chen H. H., Lai J. C. Y., Hwang S. J., Huang N., Chou Y. J., Chien L. Y. (2017) Understanding the relationship between cesarean birth and stress, anxiety, and depression after childbirth: a nationwide cohort study. *Birth*, vol. 44, no 4, pp. 369–376.
- Chernyh E. A. (2022) Intensivnoe materinstvo i udalennaja zanjatost' zhenshhin — kak sovместit' nesovместimoe? [Intensive motherhood and remote employment of women — how to combine the incompatible?] *Sberezhenie naselenija Rossii: zdorov'e, zanjatost', uroven' ikachestvozhizni* [Saving the population of Russia: health, employment, level and quality of life] (eds. V. V. Lokosov, V. G. Dobrokhleb, M. V. Belikova), Moscow: FCTAS RAS, pp. 272–276. (In Russian)
- Dahan O. (2023) The case of poor postpartum mental health: a consequence of an evolutionary mismatch — not of an evolutionary trade-off. *Biology and Philosophy*, no 38.
- Dekel S., Ein-Dor T., Berman Z. et al. (2019) Delivery mode is associated with maternal mental health following childbirth. *Archives of Women's Mental Health*, no 22, pp. 817–824.
- Elkonin D. B. (1971) On the problem of periodization of mental development in childhood. *Voprosy Psichologii*, no 4, pp. 6–20. (In Russian)
- Gammage S., Joshi S., Rodgers Y. (2022) The Intersections of Women's Economic and Reproductive Empowerment. *Feminist Economics*, vol. 26, no 1, pp. 1–22.
- Gammage S., Sultana N., Glinski A. (2020) Reducing Vulnerable Employment: Is there a Role for Reproductive Health, Social Protection, and Labor Market Policy? *Feminist Economics*, vol. 26, no 1, pp. 121–153.
- Gough M. (2017) Birth spacing, human capital, and the motherhood penalty at midlife in the United States. *Demographic Research*, vol. 37, pp. 363–416.
- Hagaman A., Lopez Mercado D., Poudyal A., Bemme D., Boone C., van Heerden A., et al. (2022) “Now, I have my baby so I don't go anywhere”: A mixed method approach to the ‘everyday’ and young motherhood integrating qualitative interviews and passive digital data from mobile devices. *PlosOne*, vol. 17, no 7: e0269443.
- Harding K. D., Whittingham L., McGannon K. R. (2021) #sendwine: An Analysis of Motherhood, Alcohol Use and #winemom Culture on Instagram. *Substance Abuse: Research and Treatment*, vol. 15.
- Holton S., Fisher J., Rowe H. (2010) ‘Motherhood: Is it good for women's mental health?’ *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, vol. 28, no 3, pp. 223 — 239.
- Isupova O. G. (2018) Intensivnoe materinstvo v Rossii: materi, docheri i synov'ya v shkol'nom vzroslenii [Intensive motherhood in Russia: mothers, daughters and sons in school growing up]. *An inviolable reserve. Debates on politics and culture*, no 3, pp. 180–189. (In Russian)
- Kalabihina I. E., Kuznecova P. O. (2022) Komu (ne) nuzhentrehletnijotpusk po uhodu za rebenkom? [Who (doesn't) need three years of parental leave?]. *Demographic Review*, vol. 9, no 3, pp. 24–43. (In Russian)
- Kazandjian R., Kolovich L., Kochhar K., Newiak M. (2019) Gender Equality and Economic Diversification. *Social Sciences*, vol. 8, no 4, pp. 118.

- Khambule I. (2023) A multidimensional and intersectional analysis of COVID-19 on women in the informal economy in South Africa. *COVID-19 and women's intersectionalities in Africa*, Pretoria University Law Press, pp. 281-302.
- Kolesnik D. P., Pestova A. A., Donina A. G. (2021) Chto (zhe) delat' s zanjatost'ju zhenshin s det'mi v Rossii? Rol' doshkol'nyh obrazovatel'nyh uchrezhdenij [What (same) to do with the employment of women with children in Russia? The role of preschool educational institutions]. *Questions of Economics*, no 12, pp. 94-117. (In Russian)
- Kuljaskina D. A., Tonkih N. V. (2019) Zhenshhiny v internet-biznese: onlajn-opros rabotajushhih materej [Women in Internet Business: An Online Survey of Working Mothers]. *Dostojnyj trud — osnova stabil'nogo obshhestva. Materialy XI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii* [Decent work is the foundation of a stable society. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference], pp. 51-54. (In Russian)
- Laney E. K., Lewis Hall M. E., Anderson T. L., Willingham M. M. (2015) Becoming a Mother: The Influence of Motherhood on Women's Identity Development. *Identity*, vol. 15, no 2, pp. 126-145.
- Oesch D., Lipp O., McDonald P. (2017) The wage penalty for motherhood: Evidence on discrimination from panel data and a survey experiment for Switzerland. *Demographic Research*, vol. 37, pp. 1793-1824
- Rodgers Y. (2011) Maternal Employment and Child Health. *Global Issues and Policy Solutions*, Edvard Elgar Publishing.
- Simonova I. A., Shvetsova A. V., Krivoshchekova M. S. (2023) «Kak za kamennoy stenoy»: вовлеченное отцовство в контексте возможностей материнской самореализации [“Like behind a stone wall”: involved fatherhood in the context of maternal self-realization opportunities]. *Social and humanitarian knowledge*, vol. 9, no 1, pp. 102-113. (In Russian)
- Shen C. (2022) Widening inequality: The evolution of the motherhood penalty in China (1989–2015). *Chinese Journal of Sociology*, vol. 8, no 4, pp. 499–533.
- Shvetsova A. V., Simonova I. A., Obolenskaya A. G., Krivoshchekova M. S. (2022) Onlajn-praktiki ekonomicheskogo povedeniya rossiyskikh zhenshin v period dekret-nogo otpuska [Online practices of economic behavior of Russian women during maternity leave]. *Economic Sociology*, vol. 23, no 4, pp. 12-36. (In Russian)
- Smith J. A. (1999) Identity development during the transition to motherhood: An interpretative phenomenological analysis. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, vol. 17, no 3, pp. 281-299.
- Tartakovskaja I. N. (2019) Balans zhizni i truda prekarnykh rabotnikov: gendernye aspekty [The balance of life and work of precarious workers: gender aspects]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 3, pp. 163—178. (In Russian)
- Tartakovskaya I. N. (2022) Izmenenie praktik v situacii pandemii: strategii sovladaniya s krizisom [Changing practices in a pandemic situation: strategies for coping with the crisis]. *Universe of Russia*, vol. 31, no 3, pp. 96-114. (In Russian)
- Van Cleef K. M. (2020) The Pleasure of Connectivity: Media, Motherhood, and the Digital Maternal Gaze, *Communication, Culture and Critique*, vol. 13, no 1, pp. 36–53.

- Yim I. S., Stapleton L. R. T., Guardino C. M., Hahn-Holbrook J., Schetter C. D. (2015) Biological and psychosocial predictors of postpartum depression: systematic review and call for integration. *Annual Review of Clinical Psychology*, vol. 11, no 1, pp. 99-137.
- Zdravomyslova E. A., Temkina A. A. (1998) Social'noe konstruirovaniye gendera [Social'noe konstruirovaniye gendera]. *Sociological journal*, no 3-4, pp. 171-182. (In Russian)

Социализация и выбор жизненных стратегий мигрантами «второго поколения» в России*

Екатерина Деминцева

Заведующая, Центр качественных исследований Института социальной политики, доцент,
Школа философии и культурологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000 Россия
E-mail: edemintseva@hse.ru.

Статья посвящена вопросам интеграции и образовательных стратегий, выбираемых «вторым поколением» мигрантов в России, и является результатом исследования, проведенного в 2022 году среди молодых людей и девушек от 18 до 35 лет, родившихся в стране в семьях трудовых мигрантов из Средней Азии и Закавказья или приехавших в нее в раннем возрасте. Анализируется, кого сегодня в России можно называть «вторым поколением», каковы характеристики молодежи из этой группы и возможно ли применение этого понятия ко всем выходцам из мигрантской среды в России. Делаются выводы, что успешная социализация «второго поколения» мигрантов в школах зависит от личных характеристик педагогов и накопленного с годами самими детьми социального капитала. Образовательная стратегия после школы определяется, как правило, вместе с семьей. Возможности дальнейшего обучения зависят от материального статуса семьи и их социального положения в российском обществе. Несмотря на то что семья оказывает большое влияние на выбор молодого человека или девушки, можно утверждать, что она помогает им с социальной и экономической интеграцией в российское общество.

Ключевые слова: «второе поколение», дети мигрантов, Россия, социализация, адаптация, интеграция

В западных исследованиях используется понятие «второе поколение», выделяющее детей, родившихся в семьях мигрантов (Portes, Zhou, 1993; Zhou, 1997; Crul, Vermeulen, 2003). Однако это понятие имеет еще одну важную смысловую нагрузку: говоря о «втором поколении», исследователи акцентируют внимание на том, что часто само общество не рассматривает этих молодых людей из мигрантской среды как граждан своей страны. Они часто подвергаются дискриминации из-за своего происхождения в силу «видимости» в принимающем социуме (Alba, 2005; Safi, 2010).

Категория «второе поколение» получила распространение в Европе как в научной литературе, так и в повседневном обиходе в 1970-е годы. Это понятие выделило детей трудовых мигрантов разных возрастов (в том числе и тех, кто достиг совершеннолетия), родившихся и живущих в разных странах и имеющих гражданство этой страны. Например, детей магрибинцев во Франции (Simon, 2003), турок в Германии (Çelik, 2015; Hartmann, 2016), мигрантов из азиатских стран в Велико-

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

британии (Dustmann, Theodoropoulos, 2010). В этих и других исследованиях под «вторым поколением» понимают детей мигрантов из семей с низким социальным статусом и внешне отличающихся от большинства населения страны. Основные проблемы, которые описываются, связаны с вопросами их интеграции в европейское общество, которые затруднены в том числе в связи с их этническим и/или религиозным происхождением и особым видением этой группы принимающим обществом.

К фактору, препятствующему включению этой группы детей и молодежи в принимающее общество, также можно отнести частое нежелание самих мигрантских семей, чтобы их дети интегрировались в местный социум. Многие мигранты — выходцы из мусульманских стран, и родители стараются поддерживать традиции, принятые на родине, даже долгие годы оставаясь в западном обществе. Это приводит к диссонансу у выходцев из мигрантской среды: с одной стороны, они уже были включены в жизнь принимающего общества, социализировались в школах и общество ожидает от них «интеграции» (Levitt, 2009); с другой — семьи пытаются оставить их в «своих традициях». Исследования показывают, что дети вынуждены выбирать между двумя обществами, что зачастую приводит к непониманию ими, кто они.

Тема «второго поколения» мигрантов обсуждается в России как на научном, так и на политическом уровне пока относительно мало. Основные дебаты связаны с появлением детей мигрантов в школах и проблемами их адаптации (Александров и др., 2012; Деминцева, 2017; Омельченко, 2018). В то же время в обществе идут большие дискуссии о том, нужны ли в принципе мигранты в России, и один из основных тезисов против их появления в стране связан с вопросом «этнокультурного баланса». Мигранты, под которыми понимаются сегодня в основном выходцы из стран Средней Азии и Кавказа, видятся населению и политикам как чуждые российскому обществу, которое приписывает им непреодолимые культурные различия. Тема миграции также тесно связана в общественных дебатах с проблемой преступности, которая активно артикулируется представителями власти со ссылкой на данные МВД (Ивахнюк, 2023). В новых гражданах страны местные жители видят угрозу и своей безопасности, и будущему российского общества. Информация о «проблемах мигрантов» и «этнических анклавов» в Европе порождает страх перед мигрантами, приезжающими в Россию и остающимися жить в стране. Возникают мифы о «мигрантских школах», в которых учится больше половины детей, «не говорящих по-русски», или о «мигрантских районах». В этой связи понимание, кто же такие «дети мигрантов», уже родившиеся в России или приехавшие в страну в раннем возрасте, получившие образование в российской школе и выстраивающие свою жизнь и карьеру в стране, становится актуальным.

Ситуация с восприятием «второго поколения» в России отчасти похожа и на ту, которую мы наблюдаем в европейских странах. Выходцы из мигрантской среды не воспринимаются обществом как «свои», такие же граждане страны (Safi, 2010). Этнические меньшинства подвергаются дискриминации и на рынке труда, и в об-

ществе в целом (Bessudnov, Shcherbak, 2020). При этом в России нет исследований, направленных на понимание того, как дискриминация влияет на жизненные стратегии выходцев из мигрантской среды и препятствует ли она их социальной мобильности. Остается неясным, какую роль играет семья в выборе молодыми людьми и девушками образовательных и карьерных стратегий, которые они выбирают в России, а какую играет окружающее их общество и те институты, в которые они интегрированы.

Небольшое количество исследований о «втором поколении» мигрантов связано с тем, что это относительно новые миграционные потоки: работники из Средней Азии и стран Закавказья начали приезжать в Россию только в постсоветский период (Зайончковская, 1997; Мукомель, 2003; Denisenko, Mkrtchyan, Chudinovskikh, 2020). По мнению автора статьи, в Российской Федерации мы только начинаем говорить о «втором поколении», детях, родившихся в семьях трудовых мигрантов. Как показывают исследования (Деминцева, Пешкова, 2014), первый поток трудовых мигрантов в Россию состоял в основном из мужчин, тогда как женщин и семьи мигранты стали привозить позже, в 2000-е годы.

Нам также сложно говорить о каких-то статистических данных, которые дали бы представление о количестве детей, родившихся в семьях трудовых мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья уже в России. Информация об этническом происхождении или о стране рождения родителей, которые есть в разных базах данных и переписях, не дают нам знания об этническом составе семьи. На территории СССР проживали разные этнические группы во всех республиках. После распада Советского Союза многие «русские»¹ Средней Азии и Кавказа уехали из этих регионов, поэтому место рождения на территории бывшего СССР не может быть показателем этнического происхождения детей. Отдельного изучения количественного состава этой группы мигрантов нет.

В последние годы появились публикации, фокусирующиеся на понимании того, как происходит интеграция детей, родившихся (как в России, так и в стране происхождения) в семьях мигрантов из стран ближнего зарубежья. «Полуторному поколению» посвятил свою работу В. Мукомель, в ней он дает оценку интеграции молодых людей из семей мигрантов в Астрахани и Самаре (Мукомель, 2012). В нескольких городах России Е. Варшавер и его коллеги, используя количественные и качественные методы, изучали интеграцию представителей «второго поколения» на рынке труда, круг общения и брачный выбор молодежи (Варшавер и др., 2019). Также в их фокусе было онлайн-поведение в сфере добрачных романтических отношений мигрантов второго поколения (Varshaver et al., 2020). Есть и исследования, посвященные вопросам адаптации детей мигрантов в школах (Александров и др.,

1. Само понятие «русские» очень размыто. Россия, начиная с распада СССР, принимала по особой программе «соотечественников», под которыми понимались «обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии» (Федеральный закон от 23.07.2010 № 179-ФЗ). Поэтому об этнической принадлежности этих людей сложно говорить, но, как правило, в 1990–2010-е годы это были те, кого определяли как «русских» прежде всего по внешним признакам и знанию языка.

2012; Деминцева, 2019; Омельченко, 2018; Demintseva, 2020). Применяя разные методологии, авторы анализировали проблемы, с которыми сталкиваются дети мигрантов в российских школах, их взаимодействие со сверстниками и учителями.

Данная статья представляет результаты исследования, проведенного в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Томске. Его целью было понять, как происходит интеграция детей из семей трудовых мигрантов, родившихся или приехавших в Россию в младшем школьном возрасте. Их родители переехали в Россию в поисках работы из стран Средней Азии и Закавказья в 2000-е годы. Нам было также важно, что все эти дети являются «видимыми» мигрантами. Мы задаемся вопросом, как происходит интеграция детей трудовых мигрантов, выходцев из стран Средней Азии и Закавказья, в российское общество.

Изначальной гипотезой стало предположение, что сегодня можно говорить об успешной социально-экономической интеграции детей трудовых мигрантов, обучавшихся в российских школах, и их встраивании наравне с местными детьми в принимающий социум. Наши предыдущие исследования показывали, что, попадая в школу, ребенок-мигрант, преодолев языковой барьер (если он был), имеет те же образовательные траектории по окончании неполной средней или средней школы, что и другие подростки. Неясным оставалось, влияет ли как-то на их дальнейшие образовательные или карьерные стратегии отношение к этим детям в школах. И можно ли считать школу комфортной средой для представителя «второго поколения» мигрантов? Предыдущие данные (Деминцева и др., 2017; Demintseva, 2020) давали нам представления о намерениях детей мигрантов относительно будущей образовательной траектории, но мы не знали о том, реализуются ли их замыслы или нет. Поскольку мы общались с теми, кто уже окончил школу, а затем колледжи или вузы, мы могли фиксировать уже реализованные образовательные стратегии. Также важно было понять, как принималось решение о выборе места учебы и кто оказал влияние при этом выборе на них в большей степени. Какую роль в жизненных стратегиях играет семья? Насколько подтверждается существующий в обществе миф о невозможности интеграции выходцев из стран Средней Азии и Закавказья в российский социум?

Теоретические рамки исследования

Что мы понимаем под интеграцией?

В Соединенных Штатах и Канаде ученые чаще обращались к концепции «ассимиляции», тогда как в Европе сосредотачивались на концепции «интеграция». Основное различие между ними заключалось в том, что ассимиляция рассматривалась как односторонний процесс, в ходе которого мигранты должны перенять обычаи и культурные практики принимающего общества (Gordon, 1964), тогда как интеграция определялась как двусторонний процесс принятия и культурного изменения между группой мигрантов и принимающим обществом. Это различие

в терминологии вызвало дебаты, однако в последние годы все меньше разногласий по поводу разных подходов к пониманию ассимиляции/интеграции. Исследователи отмечают, что не существует «стандартной» многомерной структуры интеграции (Fajth, Lessard-Phillips, 2023), как и нет единого понимания, как измерять интеграцию мигрантов и что можно считать ее конечной целью (Crul, Schneider, Lelie, 2012; Alba, Foner, 2015; Penninx, Garcés-Masareñas, 2016). Теоретические дебаты ведутся и о терминологии, и о показателях интеграции. Но при этом сегодня неизменной для всех теорий при анализе этого процесса является дихотомия: деление на социокультурное и структурное измерение (Heckmann, 2006; Crul, 2016).

Социокультурная интеграция мигрантов — наиболее спорное измерение. В первых исследованиях 1960-х годов, анализирующих ассимиляцию мигрантов, культурная интеграция понималась как полное слияние мигрантов с принимающим обществом (Gordon, 1964). Сегодня, говоря о культурной интеграции, ученые обращаются к таким показателям, как язык, религия, нормы и ценности, которые зависят от многих факторов, будут отличаться у мигрантов от поколения к поколению (Heckmann, 2006; Crul, Schneider, Lelie, 2012). К ним можно отнести и длительность пребывания в стране (для второго поколения — рождение в стране), интеграцию в различные институты (школы, ассоциации, рабочие коллективы), место проживания мигранта и его связи со своим этническим сообществом.

Социальная интеграция изначально рассматривалась как переход мигранта от этнического сообщества к принимающему обществу (Gordon, 1964; Gans, 1997). В более поздних исследованиях показателями социальной интеграции становятся взаимодействие и социальные отношения между представителями принимающего общества и мигрантами или выходцами из мигрантской среды. Например, смешанные браки по сей день популярный индикатор социальной интеграции мигрантов (Alba, Nee, 2003; Alba, Foner, 2015). Анализ отношения принимающего общества как критерий социальной интеграции мигрантов также встречается в научной литературе (Heckmann, 2006; Bean et al., 2012). Исследователи рассматривают дискриминацию со стороны принимающего общества как потенциальное препятствие для интеграции мигрантов.

Структурная интеграция включает в себя экономическую интеграцию, основные показатели которой — доход мигранта, уровень образования и профессиональной квалификации, занятость на рынке труда или безработица, а также условия жизни мигранта и его семьи (Portes, Zhou, 1993; Fokkema, de Naas, 2011). Изначально ожидалось, что мигранты должны стать частью «общества», под которым понимался прежде всего белый средний класс (Gordon, 1964). Позже обратили внимание на то, что само принимающее общество социально фрагментировано и невозможно при сравнении средних групповых показателей между группами мигрантов и немигрантов не учитывать такие факторы, как социальное происхождение, образование и т.п. (Portes, Zhou, 1993; Alba, Foner, 2015). Другой важной составляющей структурной интеграции мигрантов является их политическая интеграция. Она включает в себя возможности приобретения политических и гра-

жданских прав, участие в политических процессах и институтах (Penninx, 2005). Индикаторы включают получение гражданства, доступ к политическому участию, участие в гражданском обществе (Penninx, Garcés-Masareñas, 2016).

В исследованиях последних лет ученые часто обращаются к теориям, основным показателем в которых выступает пространственная интеграция (Crul, Schneider, 2010). Сегрегация по месту жительства может быть результатом социально-экономического неравенства и дискриминации мигрантов и их семей, а место жительства — влиять на социально-экономические возможности мигрантов. Исследователи, занимающиеся этой тематикой, анализируют модели проживания мигрантов и влияние мест расселения в городах на интеграцию мигрантов в принимающее общество (Massey, 1985; Zhou, Logan, 1989).

Таким образом, при анализе процесса интеграции мигрантов нужно обращать внимание на такие характеристики, как поколенческий статус, возраст, пол, этническую принадлежность, причину миграции и многие другие. Для разных поколений мигрантов достижение прогресса по некоторым индикаторам может быть разным. Так, первому поколению требуется время, чтобы обучиться языку, тогда как второе поколение — дети мигрантов, могут владеть им с раннего детства (Penninx, 2005). Для некоторых этнических групп значение имеет проблема дискриминации. Как правило, «видимые меньшинства» сталкиваются с ней чаще, и по отношению к ним существуют определенные паттерны поведения местного населения (например, дискриминация при съеме жилья или на рынке труда). Поэтому для каждого отдельного изучаемого кейса существует свой набор индикаторов интеграции. В случае со «вторым поколением» мигрантов некоторые показатели интеграции уже существуют в силу их рождения в стране или приезда в раннем детском возрасте. К таким показателям относится, например, знание языка. Этническое происхождение имеет важное значение как для мигрантов, так и для выходцев из мигрантской среды. Начиная с 1960-х годов исследователями разрабатывались различные теории, направленные на понимание того, что такое ассимиляция/интеграция «второго поколения» и как изучать эти процессы. Исследователи задавались вопросом, что может препятствовать/способствовать успешной интеграции выходцев из мигрантской среды и какие основные факторы влияют на их социальную мобильность.

Дебаты вокруг темы «второго поколения»

Ранние работы исследователей были направлены на анализ опыта включения молодых людей в принимающее общество, их экономической и социальной интеграции. *Теория линейной ассимиляции*, в которой говорится о восходящей мобильности у детей мигрантов в образовании и профессии (Gordon, 1964), объясняла ассимиляцию через культурные характеристики, при этом исключая структурные и институциональные барьеры, такие как статус мигранта в принимающем обществе и дискриминацию этой группы в обществе. Эта теория предполагала,

что социально-экономическая интеграция коррелирует с социокультурной. Как упоминалось выше, исследователи понимали под ассимиляцией полное слияние мигрантов с обществом, в которое они приехали.

В 1990-е годы эта теоретическая модель подверглась критике. Исследователи, занимавшиеся вопросами интеграции «второго поколения» мигрантов в США, обратили внимание на структурные детерминанты интеграции и предложили теорию «сегментированной ассимиляции», которая утверждает, что для «второго поколения» возможны разные варианты интеграции: они могут ассимилироваться, но иметь нисходящую мобильность (Portes, Rumbaut, 2001; Portes, Zhou, 1993). Позже, в начале 2000-х годов исследователи вернулись к идее *восходящей ассимиляции* (Alba, Nee, 2003). В отличие от сторонников теории сегментированной ассимиляции, они утверждали, что очень мало или совсем не существует доказательств ни «нисходящей ассимиляции», ни благотворного влияния этнических сообществ на интеграцию. В то же время они с осторожностью относились к теории ассимиляции и ее основному тезису, что ассимиляция должна быть обязательной. Так, Р. Альба и В. Ни (Alba, Nee, 2003) считают, что ассимиляция стирает структурные различия: и первое, и второе поколение пойдут по одному и тому же пути восходящей мобильности. В то время как для А. Портеса и его коллег (Portes, Zhou, 1993; Portes, Rumbaut, 2001) этническое происхождение и социально-экономическое положение влияют на мобильность как первого, так и второго поколения. Однако исследования последних лет в Европе и в Америке говорят о том, что опыт «второго поколения» и те результаты ассимиляции, которые мы видим, могут быть разными и зависят от того сообщества, в которое включены дети мигрантов (Greenman, Xie, 2008; Kroneberg, 2008). Иными словами, некоторые потомки мигрантов могут быть ассимилированы, даже если принадлежат к этническому меньшинству. Таким образом, современные теоретические подходы говорят о ситуативном характере интеграции.

В еще одном теоретическом подходе речь идет о важной роли политики государств в процессе интеграции детей мигрантов. По утверждению исследователей, траектории интеграции мигрантов различаются в зависимости от национальной политики, различия в государственных системах социальной поддержки мигрантов и их семей, в миграционной и интеграционной политике ведут к разным результатам (Schierup, Hansen, Castles, 2006; Castles, 2004). На этом основании была предложена «теория контекста интеграции» (“integration context theory”), выстроенная на анализе социоэкономической интеграции молодых людей из мигрантской среды, которые живут в схожих социокультурных контекстах в восьми европейских странах. Ученые пришли к выводу, что важны не только индивидуальные характеристики молодых людей и в каких семьях они родились, но и те условия, которые создаются институтами, с которыми они непосредственно взаимодействуют. К таким институтам можно отнести учреждения системы образования (школы и колледжи); институты рынка труда; социальные институты государства (например, системы здравоохранения и социальной защиты)

(Crul, Schneider, 2009; Crul et al., 2012). Одним из основных факторов, влияющих на образовательные результаты у детей мигрантов, как было доказано, являются возраст, в котором они начинают школьное обучение, методы отбора в среднюю школу и образовательные программы, помогающие им в изучении местного языка. Более того, образование само по себе является наиболее важным фактором для достижения успешных результатов «второго поколения» (Fortuin, Van Geel, Ziberna, Vedder, 2014).

В нашем исследовании мы в большей степени ориентируемся на подходы последней модели. Нам важно понять, с какими трудностями сталкиваются представители второго поколения мигрантов во взаимодействии с социальными институтами. Поскольку все наши собеседники учились в школах, мы хотели узнать, подвергались ли они во время учебы дискриминации и как пребывание в школе повлияло на принятие ими решений в последующей жизни. В то же время нам было важно, насколько значима для них семья и какую роль в принятии ключевых решений в их жизни (выбор образовательной и карьерной траектории, принятие ключевых личных решений) она играет. Кто оказывает большее влияние на выбор ими жизненных стратегий — институты, с которыми они взаимодействуют, или семья?

Для изучения того, какие факторы влияют на процесс интеграции мигрантов, мы выберем некоторые измерения (см. табл.). Поскольку все наши информанты учились в российских школах, то мы не будем рассматривать один из аспектов культурного измерения — язык — они все хорошо говорят по-русски. Также во время фокус-групп сложно выяснить их чувство принадлежности к обществу и понять, как сами они себя идентифицируют, поэтому особое внимание мы уделили структурной интеграции. Мы обратились к таким темам, как их социальные связи, круг друзей и взаимоотношения с семьей и выходцами из их этнической среды. Также мы подробно расспрашивали об их интеграции в коллективы, в которых они учились. Такое измерение, как дискриминация, выяснялось через высказывания респондентов об отношении к себе со стороны разных групп и через пережитый опыт дискриминации. Экономический аспект интеграции выявлялся через уровень образования, профессию, место работы.

Методология исследования

В апреле-июле 2022 года нами было проведено 12 фокус-групп, по три фокус-группы в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Красноярске. Все эти города являются центрами притяжения трудовых мигрантов, но при этом расположены в разных регионах. В фокус-группах участвовали дети мигрантов, которые родились в России или приехали в раннем возрасте (до 11 лет). Мы посчитали возможным включить в нашу выборку представителей так называемого «полуторного поколения», так как многие из молодых людей имеют похожий опыт с представителями «второго поколения». Важно подчеркнуть, что обязательное образование в России

начинается в возрасте 7 лет, поэтому многие дети, родившиеся в России, не посещали детские сады, и можно говорить о том, что социализация для большинства начиналась в начальной школе. Мы включили в выборку детей, приехавших к начальной школе в Россию.

Таблица. Измерения интеграции и связанные с ними показатели

Измерение	Наблюдаемые общие аспекты
Культура	Язык (владение, использование), культурные знания, ценности/отношения
Идентичность	Чувство принадлежности, идентичность
Социальное	Социальное смешивание — взаимодействие, знакомства, дружба с мигрантами и/или большинством населения; смешанный брак Социальные связи (социальный капитал/социальная изоляция) в целом Членство в организациях (большинства/этнических/любых)
Дискриминация и предрассудки	Опыт/восприятие дискриминации Отношение большинства населения
Экономическое	Образование, доход, положение на рынке труда (занятость, профессия, квалификация)
Гражданское/политическое	Гражданство, политическое участие, институциональная включенность
Пространственное	Качество жилья, сегрегация/концентрация
Здоровье и благополучие	Физическое здоровье, психическое здоровье, субъективное благополучие

Источник: *Fajth, Lessard-Phillips, 2023*

Для фокус-групп нами отбирались молодые люди и девушки, чьи родители приехали в Россию на заработки и являлись (и в большинство случаев остаются) трудовыми мигрантами, то есть работали(-ют) преимущественно на низкоквалифицированной работе. Мы остановились в нашем исследовании на детях из семей выходцев из стран Средней Азии и Закавказья. Если следовать логике понятия «второе поколение», то для нас было важно, что это не только дети трудовых мигрантов, но и «видимые» представители других этнических групп в российском обществе. Именно тема этничности имеет большое значение для анализа «второго поколения».

В фокус-группах участвовали молодые люди и девушки от 18 до 35 лет из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана. В каждой фокус-группе участвовали от 6 до 11 человек, набор проводился либо через НКО, в сферу интересов которых входят различные взаимодействия с мигрантами, либо методом «снежного кома», с выходом на новых информантов через тех, с кем уже про-

водились беседы или фокус-группы. Всем участникам исследования была обещана анонимность и на этих условиях получено согласие на их участие.

Гайд фокус-групп включал в себя несколько блоков вопросов. Во-первых, тема адаптации в школьном пространстве, состоящая из нескольких подтем: первые годы в школе; взаимоотношения с учителями; взаимоотношения с одноклассниками; интеграция в школьную среду. Во-вторых, какие решения принимают дети мигрантов относительно своей дальнейшей жизни и карьеры после окончания школы: кто влияет на выбор профессии, место дальнейшей учебы и, впоследствии, работы. В-третьих, роль семьи в процессе интеграции в принимающее общество. Насколько большое влияние оказывает семья на принятие решения выходцами из мигрантской среды. Существуют ли какие-то преграды на пути к интеграции в принимающее общество из-за этнической принадлежности ребенка.

Общие характеристики «второго поколения» в России

Начиная с 2000-х годов в Россию стали направляться большие потоки трудовой миграции из стран Средней Азии, Закавказья, Украины и Молдовы. Немногие трудовые мигранты в это время привозили с собой семьи, что связано прежде всего с их социально-экономическим положением в России. Трудовые мигранты из стран Средней Азии и Закавказья имеют небольшой доход, позволяющий им снимать лишь койко-место в квартире или комнату на несколько человек. Для большинства мужчин и женщин, приезжающих на заработки, миграция изначально представляется временной. Немногие в стесненных экономических условиях могут позволить себе привезти семью и обеспечить ее необходимым для проживания в новой стране. Только имея постоянный доход и возможность снять отдельную комнату или квартиру для своих близких, мигранты привозят в Россию детей (Деминцева, Пешкова, 2014).

Молодые люди и девушки, которых мы причисляем ко «второму поколению», могут иметь или нет российское гражданство. В России гражданство может получить ребенок, только родившийся в стране в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет российское гражданство. Если оба родителя не являются гражданами России, то ребенок не получает российское гражданство, даже родившись на территории страны. Как правило, семьи мигрантов стараются получить российское гражданство, если собираются долгое время жить в России, поэтому часто дети мигрантов приобретают гражданство вместе со своими родителями после получения ВНЖ или РВП.

Поскольку большинство семей, планирующих жизнь в России, все же приобретают через несколько лет пребывания российское гражданство, то статистически нам практически невозможно вычислить «второе поколение» мигрантов. Во-первых, дети могут уже родиться в семье, которая приобрела российское гражданство до рождения ребенка. Причем страна рождения у ребенка может быть как Россия, так и другая, откуда родом родители. Во-вторых, дети могут при ро-

ждении не иметь российское гражданство, но получить его вместе с родителями. Статистически этот ребенок будет иностранцем по рождению, но, получив гражданство, будет проходить по всем документам как россиянин. Таким образом, ориентироваться на статистические данные при описании этой группы выходцев из мигрантской среды не стоит. «Второе» и «полуполторное поколение» в России практически «невидимо» статистикой.

Особенностью изучения детей мигрантов в России является отсутствие каких-либо общественных или независимых организаций, которые бы представляли их интересы. Например, во Франции, где в 1980-е годы впервые заговорили о своих правах представители «второго поколения», существует множество ассоциаций, которые представляют интересы выходцев из мигрантской среды (Деминцева, 2008). Это могут быть как ассоциации по защите прав меньшинств, так и различные культурные или образовательные объединения. В России детей мигрантов чаще всего объединяют сами «диаспоры», то есть НКО или другие общественные организации, созданные самими мигрантами. Но таких объединений немного, и они представляют интересы лишь небольшой части детей мигрантов. Так, в Санкт-Петербурге есть «армянская диаспора», которая имеет молодежное отделение и ориентируется на тех детей, которые родились или выросли в России. В Москве есть «памирская диаспора» выходцев из Таджикистана, которые также развивают молодежные программы.

Еще одной характеристикой появления «второго поколения» детей мигрантов в Европе были различные движения за их права. Объединения, собирающие у себя выходцев из мигрантской среды, выступали против расизма в европейском обществе по отношению к различным этническим группам; заявляли о своих правах и отстаивали «право на разность» — быть в европейском обществе «другим», не европейского происхождения, но иметь те же права, что и другие граждане (Деминцева, 2008). В России на данный момент таких движений нет.

Исходя из этих ограничений, для нас наиболее приемлемым оказалось именно качественное исследование. До проведения фокус-группы мы определяли, подойдет ли молодой человек или девушка под те характеристики, которыми мы наделяем «второе» или «полуполторное поколение». Для нас было важно, что они родились в России или приехали в возрасте до 11 лет в страну, и происходят из семей трудовых мигрантов. При этом их родители могут иметь разный уровень образования. Многие наши информанты происходили из семей, чьи родители имели среднее специальное или высшее образование, но в России работали на неквалифицированной работе — дворниками, строителями, уборщицами. В то же время, поскольку мы разговаривали с уже совершеннолетними детьми мигрантов, их родители прожили в России 15–25 лет, некоторые смогли стать предпринимателями или получить более квалифицированную работу.

Социализация «второго поколения» в российских школах

Основным институтом социализации (не только мигрантов) является школа. Большинство представителей «второго» и «полуторного поколения» мигрантов, с кем мы разговаривали, не посещали детские сады, так как у многих семей не было возможности записать своих детей из-за отсутствия на тот момент постоянной прописки или российского гражданства. Поэтому для большинства молодых людей школа была первым этапом включения в российское общество.

Практически для всех участников фокус-групп ответ на вопрос о первых годах в школе был эмоциональным: именно в школе они столкнулись с пониманием, что они «другие». При этом для одних это был отрицательный опыт, часть информантов рассказывала о буллинге в классе и некомфортном пребывании в стенах школы, который они связывают именно со своим происхождением. Тогда как другие говорили о положительном опыте обучения либо во всех классах школы, либо в определенные годы:

Я была изгоем первые годы учебы. Если говорить честно, я была изгоем почти всю свою школу. Это было интересно, это было увлекательно. В данный момент я, в силу своего возраста, понимаю, что это была такая закладка характера, так что я судьбе в чем-то благодарна. Но как таковое лишение детства на фоне того, что тебе некомфортно учиться с людьми, взаимодействовать с ними, — это, конечно, сильно повлияло. Все эти вещи в основном были связаны, конечно, с тем, что я была первая и единственная нерусская девочка в своем классе (Красноярск, девушка, семья приехала из Кыргызстана).

Информанты, рассказавшие о проблемах встраивания в школьный коллектив, часто говорили о буллинге со стороны других детей, который, по их мнению, был связан не только с их происхождением, но и с социальным статусом их семьи:

Что еще могли сказать? «Чурка». Я в тот период и одевалась не очень... В школе очень смотрели на бренд одежды. У нас был такой торговый центр, если ты в этом торговом центре одеваешься — ты крутой, а если ты одеваешься, как мы, типа на рынке каком-то... А в тот момент мы, конечно же, на рынке одевались. Травили за одежду, травили за прическу, травили за, я не знаю, условно даже за походку просто. В основном это были, конечно же, русские. И мою сестру в классе тоже очень сильно травили. А сестра у меня была отличницей, и, когда она пришла, и учителя ее травили тоже. Т. е. ты пришла отличница, ну, типа, сейчас быстренько в троечницы... (Москва, девушка родилась в России, семья из Кыргызстана).

Истории, в которых дети сталкивались с негативным к себе отношением, имеют два аспекта. С одной стороны, все отмечали, что травля со стороны «местных» детей происходила от непонимания, кто такие «дети мигрантов». Их однокласс-

ники транслировали в классе то отношение к «мигрантам», которое существует в обществе, в СМИ, в семьях «местных». Обидные шутки были связаны с их происхождением, стереотипным видением «среднеазиатов» и «кавказцев», пониманием их места в российском обществе.

С другой стороны, многие информанты утверждали, что учителя в большинстве своем не знали, как разрешить такие конфликтные ситуации. Информанты вспоминали, что некоторые учителя сами негативно относились к ним, транслируя стереотипы о том, что ребенок другого этнического происхождения имеет такие-то «наклонности», особый «менталитет» или же не может хорошо говорить по-русски. Как мы уже выясняли в предыдущих исследованиях (Деминцева и др., 2017; Demintseva, 2020, 2022), эти ситуации непонимания и, как следствие, конфликтов происходят из-за отсутствия в школах государственных интеграционных программ и программ, нацеленных на формирование толерантного отношения к детям разного происхождения. В сегодняшней российской школе учителя не знают, как действовать в условиях мультиэтнической среды, какие инструменты они могут использовать для урегулирования конфликтов на межнациональной почве (Demintseva, 2022). У учеников также нет представления, кто эти дети, которых называют «мигранты», как взаимодействовать с ними.

Некоторые информанты говорили о травме, о полученном за годы обучения в школе «горьком опыте». При этом негативный опыт не связан с успеваемостью учеников. Одна из информанток, много рассказавшая о буллинге со стороны одноклассников, была победительницей школьных олимпиад и отличницей. Другой информант был отличником в младшей и средней школе и, перейдя в другую школу, где был ряд предметов с углубленным изучением, он столкнулся с негативным отношением к нему не только одноклассников, но и некоторых учителей.

Негативный опыт школьной социализации был не у всех информантов. Некоторые отмечали, что учителя, у которых они учились, создавали в школах хорошую обстановку, делали пребывание в ее стенах всех детей комфортным. При этом нельзя сказать, что это были какие-то определенные школы, например, с более высокими или низкими рейтингами. Дети говорили о совершенно разных по своим характеристикам учебных заведениях:

Школа, да, была государственная. Там было уютно все с 1-го по 4-й класс. У тебя свой класс, своя игровая зона, там, где ты кушаешь. И, по сути, ты все время находишься в одном помещении. Было достаточно уютно. Языкового барьера у меня не было в принципе, потому что русский с детства всегда был... И одна девочка была. Она, по-моему, из Киргизии — не помню уже — тоже в начальном классе. Но не знаю тоже, какой-то агрессии, ничего такого не было. Нормально с ней общались все. Мне в этом плане очень повезло (Москва, девушка, семья из Узбекистана).

При подобном положительном опыте информанты обычно вспоминали конкретного учителя, который не столько умел работать в многоэтнической среде, сколько

обладал личными характеристиками, располагающими к себе детей. В начальной школе, как правило, это был классный руководитель, который выстраивал такие отношения в классе, при которых дети мигрантов чувствовали себя среди других детей «своими». В средней школе это был учитель, который взаимодействовал со школьниками и имел возможность повлиять на отношения внутри класса. Все, кто говорил о таком учителе, отмечали именно его или ее личные характеристики («милая», «хорошая», «понимающая» и т.п.):

Мы [школьники. — Е.Д.] не общались особенно первую неделю [поступив в 10-й класс. — Е.Д.]. Но у нас классная руководительница очень милая женщина была. Вот. И да, она нас как бы так всех просила прийти после школы, чем-то ей помочь всем вместе, там. Ну, делала такую атмосферу, чтоб мы дружили. По итогу, через два месяца нам сказали выбрать президента класса, так скажем. Вот, выбрали меня и эту девочку-татарку (Москва, девушка, семья узбеков из Кыргызстана).

Наши собеседники не упоминали ни психологов, ни социальных работников школы, которые бы способствовали решению их проблем, связанных с восприятием их классом. В школах нет педагога, который отвечал бы за регулирование межэтнических отношений и обычно неформально такую ношу возлагают на школьного психолога, социального педагога (если он есть в школе) и даже на логопеда (Demintseva, 2020).

Опыт, полученный выходцами из мигрантской среды в школах, мы можем рассматривать, несмотря на все сложности, как успешный. Во-первых, несмотря на то что часть наших информантов имела негативный опыт общения со сверстниками в школе, этот факт не повлиял на их социальную мобильность. Они имели те же успехи в школе и те же жизненные планы, что и другие ученики-немигранты. Сталкиваясь с дискриминационными практиками со стороны одноклассников, информанты не говорили о социальной изоляции или же исключенности из школьной жизни. Для большинства это был негативный опыт, который они пережили в силу своего происхождения и статуса «мигранта», но, как указывало большинство информантов с такими историями, с обретением социального капитала и интеграции в школьное пространство они либо становились частью коллектива, либо видели поддержку со стороны учителей или некоторых одноклассников.

Во-вторых, ни в одном из рассказов информантов не было историй об их включенности в какое-то «свое» (будь то «этническое», «мигрантское» или какое-то другое сообщество). Все представители «второго поколения» мигрантов формировали собственный круг друзей и знакомых, который образовывался из их окружения, чаще всего из школьного. Возможно, отсутствие их социальной изоляции внутри школьного коллектива связано и с тем, что дети мигрантов не составляют большинство в классе, некоторые говорили, что они были единственными «мигрантами». Даже в случае, когда в первые годы дети сталкивались с дискриминацией со стороны других учеников, со временем многие обретали друзей среди

одноклассников. Для кого-то интеграция в школьный коллектив проходила легко, кто-то сталкивался с проблемами коммуникации, но во всех случаях дети мигрантов становились частью школьного социума.

Выбор профессии после школы

Большинство детей трудовых мигрантов, родившихся в России или приехавших в раннем школьном возрасте, заканчивают 9 или 11 классов российских школ и получают аттестаты о неполном среднем или среднем образовании². По окончании школы можно говорить о двух образовательных стратегиях для этой категории выпускников, и они зависят в основном от доходов родителей. Если семья имеет небольшой доход, то дети мигрантов стараются как можно быстрее начать работать или подрабатывать. При этом многие подчеркивали, что родители готовы содержать их еще два-три года, чтобы они имели какую-то специальность. Для таких семей одним из наиболее удобных вариантов является поступление ребенка в колледж после 9-го класса. Если семьи имели доход, позволяющий содержать детей еще несколько лет после школы, то старались отдать детей в вузы.

Большинство информантов обращали наше внимание на то, что выбор будущего места обучения обычно осуществлялся совместно с родителями. Некоторые семьи ориентировали детей на специальность, по которой бы они могли в дальнейшем помочь им найти работу:

У меня у папы строительная фирма, и он хотел, чтобы я поступала на ландшафтного архитектора. Он мне об этом говорил, чтобы я после девятого ушла сначала в колледж, потом в институт. Я тоже хотела после 9-го уйти, но мама настояла: «Нет, надо 11 классов!» Поступила в строительный (Красноярск, девушка, семья из Армении).

Если у родителей есть свой бизнес в России, то они стараются привлечь в него своих детей. Например, в строительном бизнесе, в автомастерских, в каких-то коммерческих компаниях. Но при этом родителям важно, чтобы дети получили специальности, близкие к их деятельности, чтобы могли профессионально участвовать в семейном бизнесе. Дети идут учиться в строительные, автомобильные, экономические и юридические колледжи либо вузы.

2. Наша работа в школах и с детьми мигрантов дает нам право говорить о том, что часть из них не заканчивает 9 классов. Как правило, это дети, у которых нет российского гражданства, родители имеют низкий социальный статус и не заинтересованы в предоставлении образования, даже школьного. На наших фокус-группах были два человека, которые не окончили школу и ушли из нее в 6-м и 7-м классе. Они возвращались на родину родителей, затем работали в России. Сегодня оба молодых человека заняты в бизнесе своей семьи (пекарня и строительство). Однако у нас мало информации о таких молодых людях и девушках, трудно найти к ним доступ, поскольку они, как правило, остаются в своей среде: своей семьи и выходцев из страны, откуда родом их родители. Мы надеемся сделать отдельное исследование, ориентированное на эту группу молодых людей.

Возможен еще вариант, когда родители работают в какой-то компании или на предприятии и заранее предполагают, что смогут договориться с работодателями о дальнейшем трудоустройстве своих детей. Так, девушка, чья мама работает в аптеке уборщицей (при этом имея образование учителя математики, полученного в Кыргызстане), пошла учиться на фармацевта в колледж и планирует дальше трудоустроиться в аптеку провизором и, возможно, продолжить образование. Другая девушка выбрала профессию кондитера, так как ее родные работали в питейских ресторанах и могли помочь ей найти работу.

Одна из специальностей, о которой мечтают многие родители детей мигрантов (по утверждениям, много раз звучавшим на фокус-группах), является медицина. По словам информантов, профессия врача очень почетна в тех странах, откуда они родом. Кроме того, по их заверениям, родители считают, что эта профессия может обеспечить их в жизни стабильной работой как в России, так и у них в странах:

Я учусь в медицинском университете. Пошла туда, потому что очень хотела мама, чтобы я училась в медицинском. Старшая сестра не поступила — меня как бы протолкнули на то, чтобы я это сделала (Красноярск, девушка, семья из Азербайджана).

Тема престижа профессии врача обсуждалась на нескольких фокус-группах, и практически в каждой был один-два человека, которые учились или учатся в российских медицинских колледжах или университетах. При этом большинство родителей не имели медицинского образования, информанты подчеркивали, часто со смехом, что это мечта многих семей, чтобы в них были врачи:

На самом деле, я всю жизнь любила именно математику... Потом я начала увлекаться химией. Я очень полюбила химию. Вот с 9-го по 11-й я вот как раз участвовала в олимпиадах только по химии... И поэтому я пошла в медицину. Родители, наверно, на меня какое-то влияние все-таки оказали, потому что, ну, все родители хотят, чтобы их дети были врачами... попытки всех, особенно кыргызов, мне кажется. Потому что они пытались сначала мою сестру сделать врачом. Но она сказала сразу: «Нет». Она была вот именно гуманитарием. А потом меня. Но они такие, вот. Ну, мое желание и их желание как-то более-менее совпало (Москва, девушка, семья из Кыргызстана).

С самого детства мой отец мне навязывал свою мечту, чтобы я пошла в мед. Также все время, пока я училась, я прислушивалась к его мнению, и сама думала, что это мое. Закончила школу, поступила, доучилась до второго курса. И я поняла, что мне вообще это не нравится! Большая ответственность за людей. Не послушала никого, просто забрала свои документы, пошла на экономиста. Мой отец, конечно, был в гневе, потом смирился, даже подержал меня (Санкт-Петербург, девушка, семья из Азербайджана).

Родителям не обязательно, чтобы дочь или сын получали высшее медицинское образование. Некоторые ориентировали детей на работу медсестрой или мед-

братом в больницах, будучи уверенными, что они обязательно будут трудоустроены. Некоторые настаивали именно на этом выборе, так как считали, что дети не только получают хорошую специальность, но и уважаемую в любом обществе профессию:

Это было и для меня, и для родителей: это же было престижное медицинское, пуская и среднее образование. Все, это касается... а после можно одновременно и чем-то другим заниматься. Короче, я решила: после 11-го ухожу, заканчиваю среднее образование, работаю медсестрой. Работаю, мне комфортно: у меня есть свободное время, чтобы заниматься своими какими-то делами. Вот и все, таким образом я ориентировалась по выбору профессии (Красноярск, девушка, семья из Таджикистана).

Еще одним критерием при выборе будущей специальности была возможность поступления на бюджет. Даже если родители были готовы еще два-четыре года содержать детей, пока они получают образование, то на оплату учебы у большинства семей средств не было или они были ограничены. Поэтому при планировании поступления многие семьи стараются выбирать такие колледжи или вузы, в которых конкурсные баллы заведомо ниже, чем в других учебных заведениях, и есть возможность поступить на бюджет:

У меня много было мыслей, на кого поступать. Потому что разные увлечения. И учительницей стать, потом стилистом-дизайнером, что-то с этим связанное... Потом передумала летом перед 11-м классом, решила все-таки с языками что-то связать, профессию. И начала готовиться уже, чтоб поступить на лингвистику, получается. Вот и родители тоже, они поддерживали. Предлагали тоже свои варианты, но все-таки поддерживали и мой выбор. Вот, и с этим проблем не было. И, получается, поступила в педагогический на переводчика... И вот сейчас изучаю, получается, английский, немецкий и репетитором работаю английского (Москва, девушка, семья из Кыргызстана).

Этот пример показателен, так как изначально девушка собиралась пойти на лингвистику в Высшую школу экономики или в МГУ. Но окончательный выбор пал на педагогический университет, так как конкурс в нем был заведомо ниже. Отказ от идеи пойти в более престижный вуз связан с неуверенностью, что они смогут пройти большой конкурс на бюджет, поэтому многие говорили об изменении планов незадолго до поступления, когда понимали, сколько примерно баллов могут получить на ЕГЭ. Мало кто из наших информантов собирался поступать в топовые вузы, в основном ориентир был на вузы, в которых принимали со средними и низкими баллами:

Уже ближе к концу 10-го класса сказала, что я хочу сдавать английский и поступать на переводчика. На что мне, помню, учительница дала такой совет: «Тебе не стоит туда поступать, ты не сможешь поступить». Вот

я помню, что я, да, со слезами на глазах пришла домой. И мама подтвердила, говорит: «Тебе не надо туда поступать» (посмеивается). Я, конечно, мне было очень сложно... (Москва, девушка, семья из Кыргызстана).

В очень редких случаях, рассказывая о выборе будущей профессии, информанты упоминали советы учителей или профориентацию со стороны школы. Рассказывая о выборе, они упоминали свои желания и желания родителей, которые иногда не совпадали. Чаще всего место, куда пойдет учиться ребенок, обсуждалось в семье из перспективы возможности работы в России после окончания вуза или колледжа:

Я сначала хотела пойти учиться на дизайнера одежды, костюмов. Это у меня с детства: я творческий человек, я еще в художественной школе училась... В итоге на повара-технолога поступила. Это считалось хорошей профессией. Я работала кондитером где-то в шести ресторанах разных... На вышку [в вуз. — Е. Д.] я решила не поступать, потому что, думаю, терять три-четыре года просто так и зависеть от родителей — это тяжело. У папы тоже был бизнес, он что-то открывал, и я с 15 лет там подрабатывала после школы. Я поняла, что учиться четыре года и просить деньги у родителей — это очень тяжело, и я морально так не смогу. И пошла работать сразу после учебы в колледже (Санкт-Петербург, девушка, семья из Таджикистана).

Тема подработки во время учебы также звучала практически у всех информантов. Дети, выросшие в семьях мигрантов, понимают, с каким трудом даются их родителям деньги. Если у родителей есть свой бизнес, то впервые дети подрабатывали у них: кто-то помогал с торговлей, заменяя мать или отца на каникулах, кто-то работал курьером или в кафе, на автосервисе.

С поступлением в вузы у некоторых появлялась альтернативная подработка, которую они могли найти через университеты. Так, например, студенты медицинских вузов и колледжей часто подрабатывают в больницах. Поскольку мы разговаривали с ними после периода пандемии, у многих студентов-медиков был опыт работы в «красных зонах» госпиталей, где они работали санитарями:

Я работаю. Вот мы в ковид работали. Я работала медсестрой, потому что у нас без диплома врачом не можешь работать. Ну, выгорание, конечно, случилось, потому что в ковид работать очень тяжело. Ты 24, а то и 28, а иногда и 30 часов не спишь, вот. И ходишь в этих костюмах. Это было ужасно. Мне кажется, что в тот момент я уже думала, что я уйду из медицины. Потом я вспомнила, что медицина — это не вот это вот. Медицина — немного другое. А вот то, что было в ковид, — это, типа, это жесть. Люди просто некоторые не знают, как это. Но вот все, кто работал в ковид, — было очень тяжело. А особенно когда ты еще параллельно учишься. Ну, надо потом еще на пару идти сидеть, не спать, вот так вот глаза держать, по крайней мере (Москва, девушка, семья из Кыргызстана).

Таким образом, при выборе специальности после окончания 9-го или 11-го класса молодые люди и девушки из семей мигрантов ориентируются на несколько факторов. Во-первых, на специальность, с которой в их жизни проще найти работу. Как правило, выбор планируется исходя из имеющегося социального капитала семьи и возможностей, которые перед собой видят дети и родители: участие в семейном бизнесе или в компании у знакомых. Выбираются также специальности, в которых мигрантские семьи уверены, что они востребованы на рынке труда: прежде всего медицинский работник, повар, экономист (бухгалтер), IT-сфера разных уровней и другие. Во-вторых, важен фактор того, чтобы образование было бесплатным. Молодые люди и девушки стараются поступить на бюджет, так как многие семьи не могут оплачивать образование. Поэтому, чтобы не рисковать, многие идут в менее престижные вузы, где меньше конкурс. Для молодых людей важен не престиж вуза, а возможность впоследствии найти работу.

Именно семья, а не институты играют основную роль в принятии решения о выборе профессии и дальнейшей карьере представителей «второго поколения». При этом было бы ошибочно предполагать, что ориентация дальнейшей судьбы на семейный бизнес или же использование социальных связей замыкает молодого человека или девушку внутри «своего» сообщества. Это стратегии, которые предполагают, что молодые люди станут своего рода проводниками родителей и семей в целом на новый уровень отношений в принимающем обществе. Здесь речь идет о помощи детям в восходящей мобильности, чтобы их профессиональный уровень позволил им интегрироваться наравне с местными в социальную и экономическую иерархию, недоступную предыдущему поколению мигрантов. Их образовательные траектории не отличаются от тех, которые выбирают другие школьники, но представители «второго поколения» мигрантов стараются останавливаться на тех образовательных учреждениях, в которых они получают более практико-ориентированную работу и с большей вероятностью трудоустроятся.

Влияние семьи на выстраивание жизненных планов

В научной литературе выходцы из мигрантской среды, «второе поколение», описываются как люди с множественной идентичностью. С одной стороны, они воспитываются в семьях, где существуют строгие традиции и обычаи. С другой стороны, приезжают в открытое западное общество и получают социализацию в школе, в новом обществе.

Кейс с детьми мигрантов из стран Средней Азии и Кавказа во многом похож на те, которые описаны в западных исследованиях. Как уже упоминалось ранее, в основном дети мигрантов из этих регионов происходят из небольших городов и деревень, в которых остаются значимыми межпоколенческие традиции. Дети уважают и с почтением относятся к родителям, родители играют важную роль при принятии решений детьми при выборе профессии и будущего в целом. Мы говорим о кыргызских, узбекских, таджикских, армянских и азербайджанских семьях,

в которых важны семейные ритуалы, гендерная иерархия, уважение к старшим. В предыдущем разделе мы описали, как при выборе профессии дети прислушиваются именно к мнению родителей: они советуются с ними, стараются выбрать ту профессию, которая могла бы обеспечить им работу и стабильный заработок, в том числе и для помощи своим семьям. Мы отметили, что влияние родителей на принятие решения о выборе профессии говорит о восходящей мобильности детей мигрантов, а родители используют социальный капитал для помощи детям в интеграции на рынке труда.

Однако в отличие от многих европейских стран, где семьи мигрантов, в особенности уже имеющие гражданство, получают социальную помощь, действуют программы, направленные на интеграцию таких семей в принимающее общество, в России нет такой государственной поддержки семей. Родители, которые привозят детей в Россию, могут рассчитывать только на свои силы. Наши информанты подчеркивали, что это был непростой путь для их родителей, они хотели дать своим детям лучшее образование, чем у них на родине, использовать возможности развития в России. Практически все информанты отмечали, что обязаны своей новой жизнью родителям, говорили об их поддержке, участии в их жизни:

Получается, в детстве, до 5-го класса, я помню, что родители постоянно, всегда поддерживали во всем. Во всем, что я ни захочу. Я помню, во 2-м классе пришла к нам учительница по музыке, просто в класс. И говорит: «Вот, ребят, я набираю класс по фортепьяно, приходите». Я помню, я маме сказала — она просто вот: «Да, конечно, дочь, иди!» Т.е. постоянно везде поддержка. Я там: «Мам, я хочу носить, там, вот эти трубочки», джинсы, да? «Да, конечно, доча, тебе купим. Все, что захочешь, главное, учишься». Вот было так. Сейчас же, вот это вот больше, чем старше, наверно, становишься, у них больше появляется вот это «что скажет народ». Что деревня скажет. Что родственники. Что подумают! Ну, например, в моем случае — женитьба, замужество (Москва, девушка, семья из Кыргызстана).

Это типичный пример взаимоотношений родителей и детей из стран Средней Азии и Закавказья в России. Родители привозят детей в Россию, чтобы те жили в более экономически успешном государстве, смогли получить лучшее образование и сделать карьеру. О том, что родители могли отдавать последние деньги на кружок для ребенка или, при необходимости, на репетитора, говорили многие собеседники. Наши информанты отмечали поддержку родителей в социальной интеграции в общество: для них были важны их успехи в школе, дальнейшее поступление в колледж или вуз.

В то же время взрослые хотят, чтобы дети оставались в рамках устоев и традиций семей. Многие молодые люди и девушки из мигрантских семей отмечали, что, активно содействуя включению детей в различные образовательные институты и помогая с интеграцией в рынок труда, они пытаются сохранить в семейной жизни свои правила. Прежде всего это касается вопросов брака и гендерных отношений:

Из-за того, что мы из Узбекистана, узбекские кыргызы, кыргызы из Узбекистана, у нас, как бы, узбекский менталитет тоже повлиял на нас очень сильно. И я, как бы, в семье должна, там... у меня должны быть длинные волосы, не должна коротко их стричь... Я хочу, например, покраситься, светлой хочу быть или, там, на необычные цвета, — я это не могу сделать. Или, там, броский макияж. И, чтоб вы понимали, я живу с родителями, я спрашиваю разрешения у отца сходить... на день рождения подруги. Потому что я буду там поздно. Там, в 10, 11. У нас так заведено (Москва, девушка, семья кыргызов из Узбекистана).

Об особом контроле со стороны семьи упоминали в основном девушки. Начиная примерно с 5–6-го класса, то есть по достижении ими 11–12 лет, девушки чувствовали на себе контроль родителей и иногда старших братьев. Это проявлялось в основном в том, что родители должны были знать, куда она уходит вне занятий, с кем проводит время. Многие девушки рассказывали, что не могли не только пойти на вечеринку, но даже просто зайти к подруге, не проинформировав родителей. «Так не принято у нас в обществе», — говорили они:

У моих родителей... У меня есть наблюдение, что в нашей национальности нет понимания личных границ... Когда я объясняю родителям про личную границу, для них это равно равнодушию. То есть они свою гиперзаботу воспринимают как равнодушие... Но в общем и целом какой-то контроль есть, потому что у них есть позиция: ты наш ребенок вообще до конца... Выйдешь замуж — делай, что хочешь. Это равняется «что скажет муж и как ты с ним согласишься». Такие вещи раньше звучали, но сейчас в силу возраста и в связи с тем, что я управляю семейным бизнесом, мое мнение слушается и отношение немножко поменялось (Санкт-Петербург, девушка, семья из Таджикистана).

Многие девушки существуют в рамках правил, установленных в семье. Среди тех, кто уже окончил школу и даже институт, многие остаются под контролем своих родителей:

Контроль был всегда. Родители меня контролировали постоянно. До сих пор контролируют. Мне 23, меня до сих пор контролируют. Что-то делать, куда-то ехать — я должна полностью рассказать маме, там, скинуть билет, скинуть данные человека, все контакты, еще что-то. Т. е. тотальный контроль. И причем иногда было так, что родители, там, и переписки мои, там, во «ВКонтакте» открывали на компьютере, читали. Там, это т. е. контролировали... И... Ну, я не считаю, что это плохо. Ну, мне это помогло вообще в жизни (Москва, девушка, семья из Кыргызстана).

Несмотря на недовольство тем, что за ними идет постоянный контроль, девушки считали, что в этом есть положительные стороны: «Я только учусь и провожу время дома», — рассказывает одна из них, это дает им возможность больше времени уделять учебе и семье:

Родители против того, чтобы я выходила замуж до того, как я закончу университет. То есть, естественно, были претенденты, которые хотят на мне жениться, но они со мной не общались. Бывает такое, что через родителей пытаются добиться девушку, но мои родители настойчиво говорят, что я еще учусь. Вот закончу университет, буду работать и потом буду думать о замужестве (Санкт-Петербург, девушка, семья из Азербайджана).

Вопрос замужества и женитьбы является одним из камней преткновения в таких семьях. Некоторые девушки говорили, что родители выдавали их замуж за своих соотечественников, договариваясь со своими знакомыми, как это принято у них на родине. Во многих семьях предпочитали сначала дать девушкам высшее или специальное среднее образование, а потом выдавать их замуж. Девушки считают, что для родителей важно, чтобы они имели профессию, даже если потом не будут работать. Но во всех случаях родители настаивали, чтобы дочери выходили замуж за молодых людей той же национальности и желательно из семей, которые им знакомы.

Похожие истории встречаются и в рассказах молодых людей. Хотя контроль за ними в подростковом и юношеском возрасте намного меньше и у них больше свободы, но, когда речь идет о возможной женитьбе, описываемые ситуации во многом похожи на те, которые описывают девушки. Родители предпочитают сами выбирать невесту, что для большинства информантов является нормой, поскольку выросли в семьях, где существуют подобные традиции брака. Кроме того, они считают, что им легче будет жить в браке с человеком, который придерживается тех же принципов и традиций. Впрочем, по свидетельствам одной девушки и одного молодого человека, которые уже в таком браке, им сложно создать семью, как у родителей, в силу того, что они живут уже в другом обществе. Многие информанты соглашались с тем, что идеально было бы выйти замуж или жениться на девушке или юноше того же этнического происхождения и с тем же опытом миграции, как у них.

Однако для части девушек и молодых людей такое навязывание традиций уже неприемлемо. Они отмечают, что следовать семейным традициям не обязательно, и пытаются отстаивать свою самостоятельность, жить по «своим» правилам:

...Мне не нравится, когда вмешиваются в личную жизнь. Когда я приехала сюда и поняла, что вообще-то можно и по-другому. Что, оказывается, не всегда родители за тебя решают во всем вплоть до замужества, вплоть до того, когда у тебя должен родиться ребенок. Я поняла, что хочу вот эту свободу... Последний раз, когда они решали мою судьбу, — это была учеба. Они решили, что туда, и большие ни в чем... то есть я прислушиваюсь к их мнению, но именно решение принимаю уже сама. И стараюсь до сих пор (Санкт-Петербург, девушка, семья из Таджикистана).

Такие ситуации отстаивания своего выбора есть, но их немного. Для молодых людей из мигрантской среды большей опорой остается их семья. Именно

с родителями они советуются, и для многих семья, которая включает часто не только родителей, братьев и сестер, но и других родственников, живущих в России, является тем сообществом, с которым они больше всего общаются. Поскольку семьи у многих большие (практически у всех информантов в семье больше трех детей), дети вместе переживали опыт социализации в школе, часто заботились друг о друге в детстве, доверяли друг другу свои секреты и проблемы, то для многих семья остается важным институтом, в котором они находят опору. Жизненные стратегии в основном обсуждаются с родителями, которые стараются выстроить их в соответствии с традициями своего общества, которые включают в том числе выбор (или, по крайней мере, одобрение) семьей партнера.

Исследователи обращают внимание на существование различных моделей культурной и социоэкономической интеграции мигрантов. Возможна успешная социоэкономическая интеграция при полном включении в принимающее общество, но также варианты и успешной/неуспешной культурной интеграции и достижения успеха/неуспеха в социоэкономической (Portes, 1995; Safi, 2006). Можно вспомнить исследования, которые доказывают, что есть этнические группы, чьи высокие социально-экономические показатели не отражаются на их отношении к браку с представителями «своего» сообщества, как в случае азиатской общины в Соединенных Штатах (Hwang et al., 1997). На примере Франции было описано, как в разных этнических сообществах обнаруживаются разные результаты корреляции между этническими браками и социоэкономической интеграцией (Safi, 2006). Так, азиатские сообщества демонстрируют более прочные связи внутри сообщества, но это не препятствует их успешной социоэкономической интеграции в обществе. Тогда как выходцы стран к югу от Сахары имеют низкие показатели социоэкономической интеграции, несмотря на довольно частые смешанные браки и успешную культурную интеграцию.

В случае с выходцами из стран Средней Азии и Закавказья мы можем говорить об их успешной социоэкономической интеграции, ориентируясь на такие показатели, как образование и работа. При этом многие молодые люди подчеркивали, что в личной жизни они бы предпочли остаться внутри своей этнической группы, особенно в семье. Этот фактор не говорит об их исключенности из общества, а скорее о понимании ими поддержки «своего» сообщества и семьи и сохранении тех ценностей, которые прививают им родители. Семья и «свое» сообщество для них важный социальный капитал, в том числе и для достижения карьерных целей в российском обществе.

Заключение

На сегодняшний день мы можем говорить о появлении в России «второго поколения» мигрантов. Если придерживаться тех характеристик, которые дают этому определению в международных исследованиях, то мы имеем в виду пре-

жде всего детей трудовых иноэтнических мигрантов. Под них подходят в России дети трудовых мигрантов, приезжающие из стран Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) и Закавказья (Армения, Азербайджан). Одна из важных характеристик «второго поколения» — это «видимость» в принимающем обществе. Как показало исследование, тема «другого» остается одной из важных для представителей «второго поколения» мигрантов в России, в особенности в школьном возрасте. Исследования, проводимые в разных странах, доказывают, что для детей, родившихся в мигрантских семьях, важны те условия, которые создаются институтами, с которыми они непосредственно взаимодействуют (Crul, Schneider, 2009; Crul et al., 2012). В России для таких детей важным этапом социализации оказывается школа, которая, однако, не подготовлена на данный момент к работе с этой группой детей (Деминцева, 2020; Demintseva, 2022). Успешная адаптация ребенка из мигрантской среды в школе зависит лишь от личных качеств учителя, с которым он взаимодействует, и накопленного ими социального капитала. Поскольку на государственном уровне нет адаптационных программ, то в большинстве случаев учителя не знают, как работать в иноэтнической среде. Это приводит к более сложной адаптации ребенка в классе, связанной прежде всего с его происхождением и негативным видением мигрантов российским обществом.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются некоторые дети мигрантов в школах, по итогам исследования можно говорить об их успешной социоэкономической интеграции. Как правило, с накоплением социального капитала происходит их интеграция в школьный социум: появляется свой круг друзей, авторитет у учителей. Как и у других, важную роль играет мотивация самих детей. В случае с рассматриваемыми нами детьми мигрантов в России, многие из них мотивированы своими родителями на достижение образовательных результатов. Образовательные траектории тех представителей «второго поколения», которые учатся в российских школах, не отличаются от траекторий местных учеников. В зависимости от социального статуса семьи, подростки поступают после школы в вуз или колледж. Предпочтение отдается обучению на бюджетной основе, так как дети из семей мигрантов понимают, что оплата образования — это дополнительная нагрузка на их семью.

Выбор профессии для представителей «второго поколения» определяется возможностью в дальнейшем получить хорошо оплачиваемую стабильную работу. Так, профессия медбрата/медсестры или врача — одна из приоритетных, так как молодые люди и девушки знают, что всегда найдут работу в государственных и частных учреждениях. Востребованными у таких семей являются специальности, связанные с прикладными навыками. Молодой человек или девушка скорее пойдут получать специальность бухгалтера или IT-специалиста, так как уверены, что они востребованы на рынке труда.

Для «второго поколения» очень важен авторитет родителей и семьи в целом. Практически все решения, связанные с выбором места учебы и профессии, согла-

суются с семьей. У большинства полные семьи, часто многодетные. Родители привозили детей в чужую страну, рассчитывая только на свои силы. Многие информанты говорили о том, что обязаны своим родителям возможностью жить в более экономически благополучной стране и получить образование лучше, чем у них на родине.

Семья имеет и другое влияние на ребенка. Если в выборе места учебы, профессии и карьеры родители стремятся интегрировать детей в российское общество, то в выборе жены или мужа они более консервативны. Для семей из Средней Азии и Закавказья в силу традиций, передающихся из поколения в поколение, выбор будущего супруга определяется родителями. Такой контроль вызывает у некоторых детей сопротивление, но многие соглашаются с тем, что им будет удобнее связать будущее с человеком, имеющим тот же опыт, что и они. То, что многие в частной жизни предпочитают придерживаться правил и ритуалов своих семей, не говорит об их замыкании в «своем» сообществе. Для большинства информантов именно семья является местом, в котором они находят опору, поддержку, помощь. Именно благодаря этой поддержке они могут двигаться дальше на пути социоэкономической интеграции в российское общество.

Литература

- Александров Д., Баранова В., Иванюшина В. (2012). Дети и родители-мигранты во взаимодействии с российской школой // Вопросы образования. № 1. С. 176-199.
- Варшавер Е., Рочева А., Иванова Н. (2019). Интеграция мигрантов второго поколения в возрасте 18–35 лет в России: результаты исследовательского проекта // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. Т. 2. № 150. С. 318-364.
- Деминцева Е. Б. (2019). Этнические vs социальные границы: дети мигрантов в школах // Этнографическое обозрение. № 2. С. 98-113.
- Деминцева Е., Зеленова Д., Опарин Д., Космидис Е. (2017). Возможности адаптации детей мигрантов в школах Москвы и Подмосковья // Демографическое обозрение. Т. 4. № 4. С. 80-109.
- Деминцева Е., Пешкова В. (2014). Мигранты из Средней Азии в Москве // Демоскоп Weekly. № 597-598. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0597/tema01.php> (дата обращения: 05.05.2023)
- Зайончковская Ж. (1997). Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии в России // Мир России. Т. 6. № 4. С. 25-31.
- Ивахнюк И. Трудовая миграция в Россию: взгляд через призму политических, экономических и демографических тенденций. РСМД URL: <https://russian-council.ru/analytics-and-comments/analytics/trudovaya-migratsiya-v-rossiyu-vzglyad-cherez-prizmu-politicheskikh-ekonomicheskikh-i-demografichesk/> (дата обращения: 01.12.2023)

- Мукомель В. (2003). Кто приедет в Россию из «нового зарубежья»? // Мир России. Т. 7. № 3. С. 130-146.
- Мукомель В. (2012). Особенности адаптации и интеграции представителей полуторного поколения мигрантов // Материалы IV очередного Всероссийского социологического конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие». Российское общество социологов (Москва). С. 8148-8156. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Mukomel_IV_Kongress.pdf (дата обращения: 05.05.2023)
- Омельченко Е. (2018). Интеграция мигрантов средствами образования: российский и мировой опыт. М.: Этносфера.
- Alba R. (2005). Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in France, Germany, and the United States // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 28. № 1. P. 20-49.
- Alba R., Nee V. (2003). *Remaking the American mainstream: Assimilation and contemporary immigration*. Cambridge: Harvard University Press
- Alba R., Foner N. (2015). *Strangers No More: Immigration and the Challenges of Integration in North America and Western Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bean F. D., Brown S. K., Bachmeier J. D., Fokkema T., Lessard-Phillips L. (2012). The Dimensions and Degree of Second-Generation Incorporation in US and European Cities: A Comparative Study of Inclusion and Exclusion // *International Journal of Comparative Sociology*. Vol. 53. № 3. P. 181-209.
- Bessudnov A., Shcherbak A. (2020). Ethnic Discrimination in Multi-ethnic Societies: Evidence from Russia // *European Sociological Review*. Vol. 36. № 1. P. 104-120.
- Castles S. (2004). Why migration policies fail // *Ethnic and racial studies*. Vol. 27. № 2. P. 205-227
- Çetin Ç. (2015). 'Having a German passport will not make me German': reactive ethnicity and oppositional identity among disadvantaged male Turkish second-generation youth in Germany // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 38. № 9. P. 1646-1662.
- Crul M. (2016). Super-Diversity vs. Assimilation: How Complex Diversity in Majority-Minority Cities Challenges the Assumptions of Assimilation // *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 42. № 1. P. 54-68.
- Crul M., Schneider J. (2009). The second generation in Europe. Education and the transition to the labour market // TIES Policy Brief for Stakeholders. URL: <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Crul2010.pdf>
- Crul M., Schneider J. (2010). Comparative Integration Context Theory: Participation and Belonging in New Diverse European Cities // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 33. № 7. P. 1249-1268.
- Crul M., Schneider J., Lelie F. (2012). *The European Second Generation Compared: Does the Integration Context Matter?* Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Crul M., Vermeulen H. (2003). The Second Generation in Europe // *International Migration Review*. Vol. 37. № 4. P. 965-986.
- Demintseva E. (2020). 'Migrant schools' and the 'children of migrants': constructing boundaries around and inside school space // *Race Ethnicity and Education*. Vol. 23. № 4. P. 598-612.

- Denisenko M., Mkrtchyan N., Chudinovskikh O.* (2020). Permanent Migration in the Post-Soviet Countries // Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR. Societies and Political Orders in Transition / M. Denisenko, M. Light, S. Strozza (Eds.). Springer Nature Switzerland AG. P. 23-54
- Dustmann Ch., Theodoropoulos N.* (2010). Ethnic Minority Immigrants and Their Children in Britain // Oxford Economic Papers. Vol. 62. № 2. P. 209-33.
- Fajth V., Lessard-Phillips L.* (2023). Multidimensionality in the Integration of First- and Second-Generation Migrants in Europe: A Conceptual and Empirical Investigation // International Migration Review. Vol. 57. № 1. P. 187-216.
- Fokkema T., de Haas H.* (2011). Pre- and Post-Migration Determinants of Socio-Cultural Integration of African Immigrants in Italy and Spain // International Migration. Vol. 53. № 6. P. 3-26.
- Fortuin J., van Geel M., Ziberna A., Vedder P.* (2014). Ethnic preferences in friendships and casual contacts between majority and minority children in the Netherlands // International Journal of Intercultural Relations. № 41. P. 57-65.
- Gans H. J.* (1992). Second generation decline: Scenarios for the economic and ethnic futures of the post 1965 American immigrants // Ethnic and Racial Studies. Vol. 15. № 2. P. 173-192.
- Gans H. J.* (1997). Toward a Reconciliation of 'Assimilation' and 'Pluralism': The Interplay of Acculturation and Ethnic Retention // International Migration Review. Vol. 31. № 4. P. 875-892.
- Gordon M.* (1964). Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins. New York: Oxford University Press.
- Greenman E., Xie Y.* (2008). Is assimilation theory dead? The effect of assimilation on adolescent well-being // Social Science Research. Vol. 37. № 1. P. 109-137.
- Hartmann J.* (2016). Do second-generation Turkish migrants in Germany assimilate into the middle class? // Ethnicities. Vol. 16. № 3. P. 368-392.
- Heckmann F.* (2006). Integration and Integration Policies. IMISCOE Network Feasibility Study. European Forum for Migration Studies. URL: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19295/ssoar-2005-heckmann-integration_and_integration_policies.pdf;jsessionid=070D1C56694A3134BA352BC00165BD54?sequence=1
- Hwang S., Saenz R., Aguirre B.* (1997). Structural and assimilationist explanations of Asian American intermarriage // Journal of Marriage and the Family. Vol. 59. № 3. P. 758-772.
- Kroneberg C.* (2008). Ethnic communities and school performance among the new second generation in the United States: Testing the theory of segmented assimilation // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 620. № 1. P. 138-160.
- Levitt P.* (2009). Roots and Routes: Understanding the Lives of the Second Generation Transnationally // Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 35. № 7. P. 1225-1242.
- Massey D. S.* (1985). Ethnic Residential Segregation: A Theoretical Synthesis and Empirical Review // Sociology and Social Research. Vol. 69. P. 315-350.

- Penninx R.* (2005). Integration of Migrants: Economic, Social, Cultural and Political Dimensions // *The New Demographic Regime Population Challenges and Policy Responses* / M. Macura, A. L. MacDonald, W. Haug (Eds.). New York and Geneva: United Nations. P. 137–51.
- Penninx R., Garcés-Mascreñas B.* (2016). The Concept of Integration as an Analytical Tool and as a Policy Concept // *Integration Processes and Policies in Europe* / B. Garcés-Mascreñas, R. Penninx (Eds.). Cham: Springer International Publishing. P. 11–29.
- Portes A.* (1995). *The Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship*. New York: Russell Sage Foundation.
- Portes A., Rumbaut R. G.* (2001). *Legacies: The story of the immigrant second generation*. Berkeley: University of California Press.
- Portes A., Zhou M.* (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants // *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 530. № 1. P. 74–96.
- Safi M.* (2006). Le processus d'intégration des immigrés en France: inégalités et segmentation // *Revue française de sociologie*. Vol. 47. № 1. P. 3–48
- Safi M.* (2010). Immigrants' Life Satisfaction in Europe: Between Assimilation and Discrimination // *European Sociological Review*. Vol. 26. № 2. P. 159–176.
- Schierup C.-U., Hansen P., Castles S.* (2006). *Migration, citizenship, and the European welfare state: A European dilemma*. Oxford University Press.
- Simon P.* (2003). France and the Unknown Second Generation: Preliminary Results on Social Mobility // *International Migration Review*. Vol. 37. № 4. P. 1091–1119.
- Varshaver E., Rocheva A., Ivanova N.* (2022). E-namus? Social networking sites and conservative norms of romantic relationships among second-generation migrants in Russia // *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 48. № 13. P. 3240–3258.
- Zhou M.* (1997). Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second Generation // *International Migration Review*. Vol. 31. № 4. P. 975–1008.
- Zhou M., Logan J.R.* (1989). Returns on Human Capital in Ethnic Enclaves: New York City's Chinatown // *American Sociological Review*. Vol. 54 № 5. P. 809–820.

Socialization and Choice of Life Strategies by "Second Generation" Migrants in Russia

Ekaterina Demintseva

Center Director, Center for Qualitative Research, Institute for Social Policy;

School of Philosophy and Cultural Studies, HSE University

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, 101000, Russian Federation

E-mail: edemintseva@hse.ru

The article is devoted to the integration and the educational strategies chosen by the "second generation" of migrants in Russia. It draws on the results of a study conducted in 2022 among youth from 18 to 35 years old who were born in the families of labor migrants from Central Asia and the Caucasus or who moved to Russia at an early age. I analyze who may be called the "second

generation" in Russia today, what characteristics are common for this group, and whether it is possible to apply this concept to all young people from a migrant environment in Russia. It can be inferred that successful socialization of the "second generation" of migrants in school depends on the personal characteristics of teachers and the social capital accumulated over the years by the children themselves. Their educational strategy after school tends to be determined together with their family. Opportunities for further education depend on the material status of the family and their social position in Russian society. While the family has great influence on the choices made by a young man or woman and may constrain them, it also facilitates their social and economic integration into Russian society.

Keywords: "second generation", children of migrants, Russia, socialization, adaptation, integration

References

- Alba R. (2005) Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in France, Germany, and the United States. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 28, no 1, pp. 20-49.
- Alba R., Foner N. (2015) *Strangers No More: Immigration and the Challenges of Integration in North America and Western Europe*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Alba R., Nee V. (2003) *Remaking the American mainstream: Assimilation and contemporary immigration*, Cambridge: Harvard University Press.
- Aleksandrov D., Baranova V., Ivaniushina V. (2012) Deti i roditeli-migranty vo vzaimodeistvii s rossijskoj shkoloj [Migrant Children and Parents in Their Interaction with a Russian School]. *Voprosy obrazovaniia*, no 1, pp. 176-199. (In Russian)
- Bean F. D, Brown S. K, Bachmeier J. D., Fokkema T., Lessard-Phillips L. (2012) The Dimensions and Degree of Second-Generation Incorporation in US and European Cities: A Comparative Study of Inclusion and Exclusion. *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 5, no 3, pp. 181-209.
- Bessudnov A., Shcherbak A. (2020) Ethnic Discrimination in Multi-ethnic Societies: Evidence from Russia. *European Sociological Review*, vol. 36, no 1, pp. 104-120.
- Castles S. (2004) Why migration policies fail. *Ethnic and racial studies*, vol. 27, no 2, pp. 205-227.
- Çetin Ç. (2015) 'Having a German passport will not make me German': reactive ethnicity and oppositional identity among disadvantaged male Turkish second-generation youth in Germany. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 38, no 9, pp. 1646-1662.
- Crul M. (2016) Super-Diversity vs. Assimilation: How Complex Diversity in Majority-Minority Cities Challenges the Assumptions of Assimilation. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 42, no 1, pp. 54-68.
- Crul M., Schneider J. (2009) The second generation in Europe. Education and the transition to the labour market. *TIES Policy Brief for Stakeholders*. URL: <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Crul2010.pdf>
- Crul M., Schneider J. (2010) Comparative Integration Context Theory: Participation and Belonging in New Diverse European Cities. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 33, no 7, pp. 1249-1268.

- Crul M., Schneider J., Lelie F. (2012) *The European Second Generation Compared: Does the Integration Context Matter?* Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Crul M., Vermeulen H. (2003) The Second Generation in Europe. *International Migration Review*, vol. 37, no 4, pp. 965–986.
- Demintseva E. (2019) Etnicheskie vs sotsial'nye granitsy: deti migrantov v shkolakh [Ethnic vs Social Boundaries: Children of Migrants in Schools]. *Etnograficheskoe obozrenie*, no 2, pp. 98–113. (In Russian)
- Demintseva E. (2020) 'Migrant schools' and the 'children of migrants': constructing boundaries around and inside school space. *Race Ethnicity and Education*, vol. 23, no 4, pp. 598–612.
- Demintseva E., Peshkova V. (2014) Migranty iz Srednei Azii v Moskve [Migrants from Central Asia in Moscow]. *Demoscope Weekly*. URL: 597–598. <http://demoscope.ru/weekly/2014/0597/tema01.php> (accessed: 05.05.2023) (In Russian)
- Demintseva E., Zelenova D., Kosmidis E., Oparin D. (2017) Voprosy adaptatsii detei migrantov v shkolakh Moskvy i Podmoskov'ia [Adaptation of Migrant Children in the Schools of Moscow and Moscow Region]. *Demograficheskoe obozrenie*, vol. 4, no 4, pp. 80–109. (In Russian)
- Denisenko M., Mkrtchyan N., Chudinovskikh O. (2020) Permanent Migration in the Post-Soviet Countries. *Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR. Societies and Political Orders in Transition*. (eds. Denisenko M., Light M., Strozza S.), Springer: Nature Switzerland AG, pp. 23–54.
- Dustmann Ch. Theodoropoulos N. (2010) Ethnic Minority Immigrants and Their Children in Britain. *Oxford Economic Papers*, vol. 62, no 2, pp. 209–33.
- Fajth V., Lessard-Phillips, L. (2023) Multidimensionality in the Integration of First- and Second-Generation Migrants in Europe: A Conceptual and Empirical Investigation. *International Migration Review*, vol. 57, no 1, pp. 187–216.
- Fokkema T., de Haas H. (2011) Pre- and Post-Migration Determinants of Socio-Cultural Integration of African Immigrants in Italy and Spain. *International Migration*, vol. 53, no 6, pp. 3–26.
- Fortuin J., van Geel M., Zibera A., Vedder, P. (2014) Ethnic preferences in friendships and casual contacts between majority and minority children in the Netherlands. *International Journal of Intercultural Relations*, no 41, pp. 57–65.
- Gans H. J. (1992) Second generation decline: Scenarios for the economic and ethnic futures of the post 1965 American immigrants. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 15, no 2, pp. 173–192.
- Gans H. J. (1997) Toward a Reconciliation of 'Assimilation' and 'Pluralism': The Interplay of Acculturation and Ethnic Retention. *International Migration Review*, vol. 31, no 4. Pp. 875–892.
- Gordon M. (1964) *Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins*, New York: Oxford University Press.
- Greenman E., Xie Y. (2008) Is assimilation theory dead? The effect of assimilation on adolescent well-being. *Social Science Research*, vol. 37, no 1, pp. 109–137.

- Hartmann J. (2016) Do second-generation Turkish migrants in Germany assimilate into the middle class? *Ethnicities*, vol. 16, no 3, pp. 368–392.
- Heckmann F. (2006) Integration and Integration Policies. IMISCOE Network Feasibility Study. European Forum for Migration Studies. URL: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19295/ssoar-2005-heckmann-integration_and_integration_policies.pdf;jsessionid=070D1C56694A3134BA352BC00165BD54?sequence=1
- Hwang S., Saenz R., Aguirre B. (1997) Structural and assimilationist explanations of Asian American intermarriage. *Journal of Marriage and the Family*, vol. 59, no 3, pp. 758–772.
- Ivakhnyuk I. Labor migration to Russia: a view through the prism of political, economic and demographic trends. RSMU. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/trudovaya-migratsiya-v-rossiyu-vzglyad-cherez-prizmu-politicheskikh-ekonomicheskikh-i-demografichesk/> (accessed: 1.12.2023)
- Kroneberg C. (2008) Ethnic communities and school performance among the new second generation in the United States: Testing the theory of segmented assimilation. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 620, no 1, pp. 138–160.
- Levitt P. (2009) Roots and Routes: Understanding the Lives of the Second Generation Transnationally. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 35, no 7, pp. 1225–1242.
- Massey D. S. (1985) Ethnic Residential Segregation: A Theoretical Synthesis and Empirical Review. *Sociology and Social Research*, vol. 69, pp. 315–350.
- Mukomel' V. (2003) Kto priedet v Rossiyu iz «novogo zarubezh'ya»? [Who will come to Russia from the “new abroad”?]. *Mir Rossii*, vol. 7, no 3, pp. 130–146. (In Russian)
- Mukomel' V. (2012) Osobennosti adaptatsii i integratsii predstavitelej polutornogo pokoleniya migrantov [Features of Adaptation and Integration of Representatives of the 1.5 Generation Immigrants]. *Materialy IV ocherednogo Vserossijskogo sociologicheskogo kongressa «Sociologiya i obshchestvo: global'nye vyzovy i regional'noe razvitiye». Rossijskoe obshchestvo sociologov (Moskva)* [Proceedings of the IV Russian Sociological Congress “Sociology and society: global challenges and regional development”. Russian Society of Sociologists (Moscow)] P. 8148—8156. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Mukomel_IV_Kongress.pdf (accessed: 05.05.2023). (In Russian)
- Omel'chenko E. (2018) *Integration of migrants by means of education: Russian and international experience* [Integratsiya migrantov sredstvami obrazovaniya: rossijskij i mirovoj opyt], Moscow: Etnosfera. (In Russian)
- Penninx R. (2005) Integration of Migrants: Economic, Social, Cultural and Political Dimensions. *The New Demographic Regime Population Challenges and Policy Responses*. (eds. Macura M., MacDonald A. L., Haug W.), New York and Geneva: United Nations, pp. 137–51.
- Penninx R., Garcés-Mascreñas B. (2016) The Concept of Integration as an Analytical Tool and as a Policy Concept. *Integration Processes and Policies in Europe* (eds. Garcés-Mascreñas B., Penninx R.), Cham: Springer International Publishing, pp. 11–29.
- Portes A. (1995) *The Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship*, New York: Russel Sage Foundation.

- Portes A., Rumbaut R. G. (2001) *Legacies: The story of the immigrant second generation*, Berkeley: University of California Press.
- Portes A., Zhou M. (1993) The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 530, no 1, pp. 74–96.
- Safi M. (2006) Le processus d'intégration des immigrés en France: inégalités et segmentation. *Revue française de sociologie*, vol. 47, no 1, pp. 3-48
- Safi M. (2010) Immigrants' Life Satisfaction in Europe: Between Assimilation and Discrimination. *European Sociological Review*, vol. 26, no 2, pp. 159–176.
- Schierup C.-U., Hansen P., Castles S. (2006) *Migration, citizenship, and the European welfare state: A European dilemma*, Oxford University Press.
- Simon P. (2003) France and the Unknown Second Generation: Preliminary Results on Social Mobility. *International Migration Review*, vol. 37, no 4, pp. 1091–1119.
- Varshaver E., Rocheva A., Ivanova N. (2019) Integraciya migrantov vtorogo pokoleniya v vozraste 18-35 let v Rossii: rezul'taty issledovatel'skogo proekta [Second Generation Migrants Aged 18–35 in Russia: Research Project Results]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 2, pp. 318—364. (In Russian)
- Varshaver E., Rocheva A., Ivanova N. (2022) E-namus? Social networking sites and conservative norms of romantic relationships among second-generation migrants in Russia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 48, no 13, pp. 3240-3258.
- Zaionchkovskaia Zh. (1997) Vynuzhdennye migranty iz stran SNG i Baltii v Rossii [Forced migrants from the CIS and Baltic countries in Russia]. *Mir Rossii*, vol. 6, no 4, pp. 25-31. (In Russian)
- Zhou M. (1997). Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second Generation. *International Migration Review*, vol. 31, no 4, pp. 975–1008.
- Zhou M., Logan J. R. (1989) Returns on Human Capital in Ethnic Enclaves: New York City's Chinatown. *American Sociological Review*, vol. 54, no 5, pp.809–820.

Экономисты и их фан-клубы: распределение признания в российской экономической науке*

Михаил Соколов

Профессор факультета социологии, Европейский университет в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Гагаринская, д. 6/1а, Санкт-Петербург 191186
E-mail: msokolov@eu.spb.ru

Мария Сафонова

Доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, Санкт-Петербург 192171
E-mail: msafonova@hse.ru

Что определяет восприятие учеными-экономистами работ своих коллег как «важных» или «значимых»? Нормативный ответ на этот вопрос предполагает, что профессиональное признание зависит исключительно от качества опубликованных работ. Со времен Мертона социология науки изучала иные, более спорные основания для распределения признания — давление авторитета («эффект Матфея»), различные эпистемические культуры, желание поддержать представителей своей школы или своего политического лагеря. В этой статье мы исследуем истоки интеллектуальных предпочтений российских обществоведов. Данные для анализа взяты из репутационного опроса 3563 российских академических экономистов. Мы использовали алгоритм нахождения сообществ Ньюмана для того, чтобы выделить группы имен, обычно называвшихся вместе, и группы тех, кто номинировал их. Далее мы пытались обнаружить общие характеристики аудиторий и тем самым определить, какие факторы предсказывают номинации респондентами тех или иных фигур как «внесших вклад в экономическую науку». Полученная классификация сообществ является гетерогенной, отражая разнородность оснований для формирования предпочтений. Основным предиктором оказывается специализация номинирующих.

Особенно в полуавтономных субдисциплинах (бухгалтерский учет, аграрная экономика); голоса распределялись среди специалистов в своей области, несмотря на то что формулировка вопроса прямо требовала назвать имена внесших вклад в российскую экономическую науку в целом. Предпочтения тех, кто не руководствуется «локальным патриотизмом», в значительной мере определяются двумя факторами: (1) ориентацией голосующих на глобальную или локальную науку и частично, но не полностью, пересекающейся с ней ориентацией на открытую рыночную или автаркичную изолированную национальную экономику, и (2) пониманием «вклада в экономическую науку» как узкоакадемического или более широкого общественно-политического. В итоге мы можем говорить о двумерном пространстве интеллектуальных предпочтений, структурированном (1) оппозицией между глобально-рыночной и локально-изоляционистской ориентацией и (2) предпочтением «журнальной» или «газетной» науки.

Ключевые слова: социология науки, социология экономики, экономическая наука в России, академическая репутация, профессиональное признание

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 21-18-00519).

Благодарности: Авторы благодарны за советы и консультации при составлении программы исследования и разработке опросника А. и И. Абалкиным, А. Беялину, Ю. Вымятниной, К. Губе, Д. Геращенко, А. Либману, Ю. Раскиной, Д. Раскову, Е. Чечик и А. Яковлеву. Мы также хотели бы поблагодарить В. Глухова (компания Elibrary) за организационную поддержку реализации проекта, и П. и Ю. Степанцовых (компания Synopsis) за дизайн и программирование анкеты.

Данная статья является продолжением двух других. В первой предлагалась теоретическая модель академической коммуникации, в рамках которой взаимодействие между учеными понималось как преимущественно церемониальная активность, целью и основным результатом которой являются изменения в идентичностях ее участников (Соколов, 2021). Эта модель, черпающая вдохновение в работах Э. Гоффмана (Goffman, 1963, 1967), основывается на следующих предположениях. Взаимодействуя с коллегами, мы передаем им информацию о новых результатах наших исследований. Это является официальной целью научной коммуникации. Одновременно мы сообщаем — вольно или невольно — информацию о себе (например, что мы считаем ту или иную информацию новой). Далее из реакций коллег на наши сообщения мы и окружающие можем понять, как они воспринимают наши сообщения (например, считают ли они эту информацию новой и заслуживающей внимания) и как они представляют себе реакции друг друга. Когда журнал публикует статью, он сигнализирует тем самым о том, что редакция считает, что ее авторам есть что сказать читателям¹. Цитируя, читатели показывают, что считают ее оригинальным и заслуживающим доверия источником. Любая форма реакции на высказывания коллег (включая — и даже в первую очередь — полное отсутствие реакции) тем самым является жестом признания, распределяющим между ними символический капитал. Степень произвола аудитории в распределении этого символического капитала, однако, ограничена тем, что любой жест признания становится частью собственной идентичности признающего. Когда мы цитируем статью, мы сообщаем о себе, что считаем ее заслуживающей этого, и вынуждены считаться уже с тем, как наша аудитория оценит это суждение. Любая форма реакции становится одновременно частью идентичности и того, на кого реагируют, и тех, кто реагирует. В предложенной модели эта, церемониальная, сторона научной коммуникации, безусловно, доминирует над ее номинальным содержанием. Легко представить себе, почему это может быть так в эпоху формальных оценок научной производительности, которые основаны на механическом подсчете стандартизированных реакций (публикаций, цитирований).

В этой первой статье утверждалось, что естественной формой организации академических сообществ являются круги взаимного признания, или «сцены». Находящиеся на одной «сцене» ученые признают работы друг друга значимыми. Кроме того, они, как правило, молчаливо, соучаствуют в признании тех, кто находится за пределами «сцены», несуществующими (см. также: Sokolov, 2023). В этой статье анализируется другая сторона организации социально-научных дисциплин, как формы церемониальной активности. Она описывается здесь как состоящая из частично пересекающихся аудиторий, которые публично признают одни и те же фигуры. Признав кого-то авторитетной фигурой, мы таким образом связываем свою репутацию с ее репутацией: те, кто отрицает, что эта фигура производит образцовую работу, таким образом отрицает и то, что мы способны отделить

1. И невольно — о том, что авторы, которые могут сообщить читателям больше, видимо, предпочитают другие журналы.

хорошую работу от плохой. В их глазах наш выбор является проявлением плохого интеллектуального вкуса. Ближайшим неакадемическим аналогом таких аудиторий будут фан-клубы, объединяющие поклонников той или иной знаменитости, и мы будем иногда называть их этим именем².

Во второй статье, продолжением которой является нынешняя, были представлены итоги репутационного опроса экономистов. Построенные на опросах рейтинги затем сравнивались в ней с наукометрическими показателями (Соколов, Чечик, 2022). В этой работе мы используем те же данные, чтобы понять, как устроены «группы поддержки», разделяющие общие представления о том, кто внес существенный вклад в науку. Ценность данного исследования как источника состоит в том, что, хотя его участники распределяли некоторые публично видимые знаки признания, это распределение производилось анонимно и никак не отражалось на их собственной идентичности. Таким образом, они не были ограничены заботой о поддержании собственного лица, которая присутствует, например, в ситуации цитирования.

Изучение «групп поддержки» или «фан-клубов» может считаться подходом к проблеме, которая находилась в центре внимания социологии науки с момента ее возникновения — проблеме распределения профессионального признания (recognition) (Merton, 1968). Ученые производят новую информацию и безвозмездно передают ее в пользование коллегам в обмен на публичное признание их заслуг (Merton, 1988; Stephan, 1996). Это признание является источником как субъективного удовлетворения, так и экономического вознаграждения в форме возможности получить привлекательную позицию на рынке академического труда (Whitley, 1984).

Почему, однако, ученые признают именно тех, кого они признают? Существуют по крайней мере четыре версии ответа на этот вопрос, не обязательно противоречащие друг другу. Первая, *нормативная*, утверждает, что за признанием стоит качество признаваемой работы (Polanyi, Ziman, Fuller, 2000). Ученые распределяют символический капитал, опираясь исключительно на свои представления о важности того или иного результата; они исходят из того, что их коллеги полностью разделяют эти представления (или, во всяком случае, осознание разночтений никак не влияет на их решения признавать или не признавать кого-то). ИмPLICITно на нормативную версию опирается любая оценка достижений ученых с опорой на суждения их коллег, или высказанные прямо в ходе экспертизы, или узнанной косвенно, например, при подсчете цитирований.

2. Придумать слово, которым можно было бы обозначить подобные объединения, оказалось достаточно затруднительно. Используя политическую аналогию, мы могли бы говорить об «электоратах» (Агафонов и Соколов, 2023), а используя культурную — об «аудиториях», «кругах почитателей» или «фан-группах». Любое из этих определений, однако, стилистически и семантически оставляет желать лучшего.

Остальные три версии ответа на вопрос о природе признания предполагают, однако, что его распределение подвержено воздействию иных факторов, отличных от абсолютных достоинств оцениваемой работы.

Прежде всего, ученые могут иметь разные и иногда слабо согласующиеся представления о том, что такое «заслуги» и «достижения» в той или иной области, тем самым представляя разные *эпистемические культуры* (Knorr-Cetina, 1991; Lamont, 2009. Об экономистах — Fourcade, 2009). Хотя все они голосуют за работы, которые считают лучшими, достанется ли А голос В определяется не только качеством работы А, но и тем, принадлежат ли они к одной эпистемической культуре. В социальных науках чаще всего противопоставляются позитивистские и антипозитивистские течения, маркером принадлежности к которым часто выступает использование математики. Другим, но связанным, является противопоставление по признаку доминирующих продуктов, или наиболее ценимых результатов — например, журнальных статей, монографий или учебников (Clemens et al., 1995). Одна из подобных культур может доминировать в данном академическом мире, а остальные — занимать подчиненное положение. Сегодня повсеместно доминирующей становится журнальная культура — за счет того, что журнальные публикации стали основным инструментом формальной оценки научной результативности во многих странах. Поскольку некоторые жанры исследований — в особенности количественные, использующие математику — легче превращаются в журнальные статьи, чем исторические или чисто теоретические, они часто становятся элементами той же доминирующей статусной культуры. В результате в социологии и родственных дисциплинах возникает культурная стратификация. Наверху оказывается элитарная социология, более обеспеченная экономически, производящая статьи и демонстрирующая (по поводу и без) свои навыки количественного анализа. Внизу — массовая, читающая и пишущая (или переписывающая) чужие учебники (Stinchcombe, 1999). Однако массы, даже если они получают меньше денег и пользуются меньшим престижем, не обязательно соглашались с тем, что наука, которой они занимаются, хуже. Ресентимент может побуждать их энергично отвергать статусную культуру и хранить верность своим авторитетам. Тогда они превращаются в некое подобие статусной контркультуры.

Далее, для того чтобы В проголосовал за А, необходимо, чтобы он/она был в курсе ее/его работ. Здесь появляется еще один класс объяснений распределения признания, *коммуникативные*, начинающиеся с работ Р. Мертона. Мертон пытался найти объяснение тому, что научное сообщество предельно стратифицировано, со львиной долей признания, достигающей сравнительно небольшому числу исследователей (Merton, 1968). Не отрицая, что неравномерное распределение таланта имеет место, Мертон привлекал внимание к роли коммуникативных и институциональных механизмов, которые приводят к тому, что признание накапливается в руках тех, у кого его уже много («эффект Матфея»). Например, потому, что имена ученых, однажды опубликовавших известную работу, превращаются в распознаваемый аудиторией сигнал (van Dalen, Henkens, 2005), и их новые рабо-

ты привлекают повышенное внимание к себе и воспринимаются с большим доверием. К коммуникативным объяснениям можно отнести и указание на эффекты институциональных границ: мы узнаем не о самых релевантных работах, а о работах, которые относятся к нашей области (поскольку каналы профессиональной коммуникации обычно связывают специалистов в одной области, а требования владеть литературой в своей дисциплине насаждаются строже (Sokolov, 2023)), и, соответственно, наше пространство внимания ограничено довольно произвольными (суб)дисциплинарными рамками.

Политические объяснения распределения признания находятся дальше всего от нормативного образца. Поскольку публичное признание является основной валютой академического мира, его жесты признающим субъектом могут использоваться стратегически для того, чтобы улучшить свое собственное положение (Cronin, 1998). Прежде всего, они могут быть обменены на симметричные жесты — индивиды замечают тех, кто замечает их (и не замечают тех, кто не отвечает взаимностью на упоминание, следуя стратегии Tit for Tat Р. Аксельрода (Klamer, van Dalen, 2002)). В этой ситуации признание обменивается на встречное признание, а не служит вознаграждением за производство и распространение ценной информации. Далее, ученые могут признавать тех, кто с ними каким-то образом связан — или личными отношениями (своих учителей, друзей, учеников), или принадлежностью к одной категории (одному институту, одному типу биографии, сторонникам одного направления и течения, представителя того же политического лагеря и т. д.).

В той мере, в какой все эти эффекты вмешиваются в распределение признания, мы можем утверждать, что оно отклоняется от чисто нормативного образца — мы не можем сказать, что самые признанные работы — самые важные, но только что их признание отражает какие-то предубеждения, политические интересы и т. д. Распространенность подобных искажений давно является предметом изучения в социологии науки.

Наша работа по созданию репутационного рейтинга ученых-экономистов может рассматриваться в этом смысле как эксперимент, в ходе которого мы раздали широкому кругу ученых небольшой объем символического капитала и предложили распорядиться им по своему усмотрению. Действительно, если признание распределяется в пользу тех, кто принадлежит к определенной категории — например, представителей той же эпистемической культуры или политического лагеря, — мы увидим, что респонденты делятся на «фан-клубы», отличающиеся друг от друга по этому признаку. Если, скажем, связь между талантами и поклонниками образуется по признаку общности политических взглядов, то выбор номинантов хотя бы частично предсказуем на основании политических пристрастий респондента, и т. д. Таким образом, наша задача состояла в том, чтобы создать эмпирическую классификацию номинантов, обычно называемых одними и теми же номинирующими, и номинируемых, выдвигающих одних и тех же номинантов, а затем исследовать объединяющие их черты. Разумеется, полученная таким обра-

зом классификация может быть очень далека от логически удовлетворительной, отражая тот факт, что предпочтения в пользу разных ученых могут формироваться на разных основаниях: за кого-то голосуют как за ведущего представителя той же предметной области, много сделавшего для ее институционализации, а за кого-то — как за публичного интеллектуала, чьи политические взгляды, озвученные на страницах общенациональной газеты, импонируют читателям³. Кроме того, разные основания для поддержки могут накладываться друг на друга. Если люди «голосуют» за тех, кто разделяет их политические взгляды, то происходит ли это потому, что они верят в ту картину мира, на которой основаны эти взгляды, и эпистемологию, которая согласуется с этой картиной мира, или потому, что они просто поддерживают своих однопартийцев? Вряд ли они сами могут уверенно это сказать.

Наш анализ не позволит вынести решительный вердикт по этому поводу. Он позволит, однако, очертить общие контуры крупнейших фан-клубов в российской экономической науке и описать их отличительные характеристики. Кроме того, он может фальсифицировать по крайней мере некоторые из гипотез по поводу процесса формирования групп поддержки: если политические взгляды *никак* не связаны с распределением научного признания, то группы поклонников разных фигур не должны различаться по политическому признаку, и т. д.

Подобный предварительный анализ и был целью исследования, проведенного группой сотрудников Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в СПб в сотрудничестве с Научной электронной библиотекой Elibrary. Более конкретно, мы фокусировались на влиянии нескольких переменных, связанных с субдисциплинарными границами, политическими (в разных смыслах этого слова) предпочтениями и академическими (или эпистемическими) культурами на распределение профессионального признания. Мы также попробовали оценить глубину существующих расколов — степень взаимного отторжения или признания между разными фан-клубами.

Процедуры и методы

Выборка. Детальное описание исследования приводится в предыдущей публикации (Соколов, Чечик, 2022). Основным методом нашего исследования был онлайн-опрос. В выборку были включены авторы, зарегистрированные в Elibrary, у которых (а) экономика была тематикой большинства публикаций, (б) которые опубликовали по меньшей мере три статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ

3. Само собой, поддержка одной и той же фигуры всегда будет иметь разные источники: одни номинируют А, потому что он/она придерживается близких им взглядов на кредитно-денежную политику, а другие — потому, что одобрительно цитирует их работы по той же теме. Важно, однако, что фан-клубы А и В могут отличаться пропорциями, в которых носители разных систем предпочтения в них представлены.

за последние пять лет⁴. Письмо-приглашение к участию в опросе было отправлено 36 746 авторам, соответствующим этим критериям. Опрашиваемые были разделены случайным образом на 6 подвыборок (А, В, С, D, E, F) по 6124 или 6125 авторов в каждой, из которых первые четыре опрашивались в ходе первой волны опроса в октябре-ноябре 2021 года, а две последние — второй (декабрь 2021 года). Анкеты, отправленные по разным подвыборкам, отличались набором вопросов. Всего на основные вопросы анкеты ответили 6392 респондента (17,4%).

Переменные. Вопрос о научных достижениях и заслугах присутствовал в трех версиях. Основная формулировка звучала так: «По Вашему мнению, кто из ныне здравствующих российских экономистов за последние 3–5 лет опубликовал самые интересные и важные для развития экономической науки работы?» (варианты анкеты В, D, E, F). Кроме того, в двух подвыборках задавались вопросы «По Вашему мнению, кто ... внес наибольший вклад в развитие исследовательской области или областей, на которых Вы специализируетесь?» (вариант анкеты А) и «Кого ... Вы предложили бы включить в общенациональное жюри экспертов (например, в экспертный совет ВАК, в жюри конкурса, распределяющего исследовательское финансирование)?» (вариант С).

Далее, на второй волне опроса (варианты E и F) был добавлен закрытый вопрос, имевший формулировку:

Данное исследование состоит из двух этапов. На предыдущем этапе мы также просили экспертов номинировать российских экономистов, которые «опубликовали наиболее важные и интересные для развития экономической науки исследования». Сейчас мы хотели бы оценить степень консенсуса по поводу таких оценок. Ниже приводятся некоторые из упомянутых на первом этапе имен. Мы попросим Вас сказать, знакомы ли Вы с работами этих ученых и согласны ли Вы с их оценками как «наиболее важных и интересных»?

Предлагался список из 34 имен (по 17 в каждом из вариантов). Помимо согласия или несогласия, можно было выбрать вариант «Не знаком с его/ее работами».

В дополнение к репутационному блоку мы включили многочисленные вопросы, которые должны были позволить описать характеристики групп поддержки разных фигур. Заданные вопросы включали следующие пункты:

А) *Области экономической науки, на которых специализируются информанты* (использовался классификатор из 32 направлений, синтезирующий JEL и классификатор ВАК; на втором этапе были также добавлены несколько специализаций, указанных самими информантами как отсутствующие в предложенном списке). Задачей здесь было оценить силу эффектов, связанных с принадлежностью к той или иной специализации, в распределении признания. Коммуникация между учеными имеет тенденцию замыкаться в рамках субдисциплинарных границ — мы читаем профильные журналы и, соответственно, знаем больше всего о работе тех,

4. Требование регистрации было продиктовано техническими ограничениями: в выборку попали те, к кому мы могли обратиться по электронной почте. Зарегистрированы, однако, были свыше 90% тех, кто соответствовал остальным двум критериям в базе Elibrary.

кто активен в той же области, что и мы. С другой стороны, наша принадлежность к субдисциплине диктует нам политические соображения: мы все выигрываем от повышения статуса своей специальности, и готовность голосовать «за своих» может объясняться этим фактором.

Б) *Эпистемические культуры*. Нашей целью здесь было проверить предположение о том, что за голосами за авторитеты стоят разные эпистемические культуры — представления о том, какой должна быть экономическая наука. Мы попробовали, опираясь на доступную литературу, сформулировать несколько утверждений, которые характеризовали бы позиции информантов по некоторым широко дебатированным в мировом экономическом сообществе вопросам относительно состояния экономической науки и профессии экономиста (см. другую подобную попытку в: Мальцев, 2016). Первая группа этих вопросов касалась предпочтительности общей ориентации на глобальную (что преимущественно значит англоязычную) или национальную науку (Beigel et al., 2018; Sokolov, 2019; о российской экономике — Белянин, Бессонов, 2011), вторая — отношения к математизации (Grubel, Boland, 1986) и третья — ориентации экономического знания на решение практических проблем или на построение более абстрактных теорий функционирования экономики (Colander, Klamer, 1986; Davis, 1997) (выборки А и Е).

Кроме того, вдохновляясь литературой о статусных культурах в науке и ориентируясь на результаты более раннего исследования (Соколов, 2020), мы попробовали охарактеризовать принадлежность респондентов к «журнальной культуре», опираясь на неопросный показатель — средние импакт-факторы журналов, в которых были опубликованы и процитированы их статьи. В наивно-наукометрическом ключе этот показатель может считаться показателем качества работы. Мы, однако, рассматривали его скорее как маркер общей ориентации на ту или иную систему каналов распределения информации (и статуса).

В) *Политические лагеря*. Иная форма академического фаворитизма, широко обсуждаемая в литературе, связана с политической поляризацией (De Benedictis, DiMaio, 2011; De Benedictis, DiMaio, 2011; Frey et al., 1984; Mayer, 2001; см. также остроумный эксперимент: Javdani, Chang, 2019). В социологии научного знания распространенным утверждением является то, что социально-научные (а до некоторой степени — и естественнонаучные) теории есть продолжение политических идеологий (Gouldner, 1970; MacKenzie, 1978). В случае с экономикой, из всех социально-научных дисциплин наиболее непосредственно участвующей в принятии политических решений (Fourcade, 2009), мы можем предполагать, что степень взаимопроникновения научных оценок и морально-политических суждений особенно велика. Мы задавали, соответственно, вопросы из области макроэкономики и экономической политики, позиции по которым могли стоять за поддержкой тех или иных фигур (выборки А, Е).

Г) Также задавались *биографические* вопросы (возраст, пол, ученые степени и т. д.) и вопросы о деталях *занятости* в качестве академического экономиста, включая текущую институциональную аффилиацию.

Идентифицируя фан-клубы

Нашим первым шагом было выделить группы авторитетов с пересекающимися фан-группами и одновременно фан-группы с пересекающимися авторитетами. Для этого использовался алгоритм определения сообществ Гирван-Ньюмана, рассматривающий массив данных как бимодальную сеть с двумя типами узлов — называемыми агентами и называемыми фигурами. Алгоритм делит эту сеть на кластеры, сегменты или модули (терминология не совсем устоялась), максимизируя число связей внутри модуля и минимизируя число связей, пересекающих их границы. Степень фрагментированности сети измеряется показателем модулярности (Newman, 2006) — метрики, которая для эмпирически наблюдаемых сетей варьируется от 0 до 1. «Правило большого пальца» состоит в том, что модулярность выше 0,35 позволяет нам говорить о выраженной кластеризации. В нашем случае модулярность для выбранного решения составила 0,695. Преимущество алгоритмов нахождения сообществ по сравнению с более ранними методами автоматической классификации — скажем, кластерным анализом — состоит в том, что они могут работать с разреженными графами, в которых значительная часть объектов выбирались 1–2 раза. Недостатком — то, что решения не уникальны и каждый новый запуск алгоритма приносит новую группировку. В случае с высококластеризованным массивом вроде нашего различия между решениями сравнительно невелики и касаются перемещений фигур, занимающих пограничное между модулями положение.

Наша сеть была построена на основании вопроса об экономистах, внесших наибольший вклад в экономическую науку в целом (выборки В, D, E, F). Она состояла из 3563 называющих (тех, кто назвал хотя бы одну идентифицированную фигуру во всех шести подвыборках) и 3092 названных (уникальных распознанных ФИО). Алгоритм разделил ее на 299 модулей. Подавляющее большинство из них состояли из одного-единственного называющего, который называл имена, не упомянутые никем более. Таких модулей было 247. Еще 16 модулей включали двух человек, и лишь 31 включал 10 и более. Однако к этим 31 относилось 91,9% всех респондентов, причем на 7 модулей, к которым принадлежали 200 и более называвших, пришлось более половины — 56,5% номинаций. По статистическим причинам наш следующий анализ ограничен характеристиками представителей крупнейших модулей.

В следующей таблице 1 приводятся данные о численности 7 крупнейших групп поддержки, фигурах, которые их члены номинировали, областях интересов, которые они указывали, и базовые сведения об их социодемографических показателях — поле, среднем возрасте и доле постоянно живущих в Москве. Названия в первой графе условны; их обоснования будут приведены далее в тексте. Мы должны отметить сразу, что колебались, присваивать ли модулям названия, учитывая, что членство в них определял вероятностный алгоритм, и некоторые группировки могли вызвать и вызывали удивление у первых читателей этой статьи. Таким образом, запоминающееся название, удачно характеризующее общие черты большинства номинированных фигур и тех, кто номинировал их, могло оказать

ся вопиюще неточным в отношении меньшинства (первые читатели этого текста в особенности изумлялись идентификации В. А. Май с «Автаркистами»). В конце концов мы все-таки дали группам имена, оговаривая, однако, что они условны, ведь целью этого исследования было выявление общих принципов размежевания, а не приписывание индивидов к конкретным группам — для этого использованный нами метод автоматической классификации заведомо непригоден. Мы просим за это прощения у тех героев нашей таблицы, которым она попадет на глаза и кто будет недоволен наклеенным на них ярлыком.

Несколько наблюдений можно сделать на основании этого простого распределения. Прежде всего, получившаяся эмпирическая классификация, безусловно, является логически гетерогенной: даже на основании самого беглого взгляда можно заключить, что группы выделены на разных логических основаниях.

Предметные области. Некоторые группы поддержки, на которые распадается аудитория экономистов, носят ярко выраженный тематический характер. В этом смысле модули можно разделить на три категории. Первую составляют модули, характеризующиеся одной доминирующей темой. Во многих случаях те, кто принадлежит к соответствующей фан-группе, демонстрируют значимо меньший интерес к предметам, которые составляют ядро общеэкономического образования и в этом смысле объединяющий стержень дисциплины — эконометрике, макро- и микроэкономике и истории экономической мысли (в нашей таблице таковыми являются «Бухгалтеры»)⁵. Следующая группа модулей также имеет отчетливый тематический фокус при сохранении интереса к «мейнстримным» темам («Регионалисты», «Школа ВШЭ»). К последней группе относятся три крупнейших модуля — «Рыночники», «Академики» и «Автаркисты» — среди попавших в которые респондентов мы не находим преобладания какой-либо тематики (за исключением несколько большего интереса к математическим моделям и институциональной экономике среди «Академиков»).

В целом эту структуру легко интерпретировать как следствие существования бюрократической классификации академических специализаций, которая весьма произвольно приписывает к экономическим факультетам то, что в других странах представляет собой независимые дисциплины и профессии (бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, логистика). В то же время некоторые области, которые в других национальных контекстах тесно интегрированы в «мейнстрим», в России оказались изолированы от него вследствие уникальной российской институциональной истории. Так, относительная изоляция аграрной экономики может объясняться тем, что она долгое время развивалась в институтах, принадлежащих к системе РАСХН, и вузах, подведомственных Минсельхозу. На обособленность мировой экономики могло повлиять ее более близкое соседство с экономической географией, нежели с прочими экономическими специальностями и т. д.⁶

5. К этой же группе примыкают не попавшие в таблицу в силу меньшей численности специалисты по экономике туризма, логисты, специалисты по социально-экономической статистике и некоторые другие субдисциплины.

6. Мы благодарны Анне Абалкиной и Александру Либману за эти наблюдения.

Таблица 1. Характеристики крупнейших групп поддержки

Модули	№	Основные фигуры	Области интересов	Доля мужчин	Ср. год рождения	Доля москвичей
Автаркисты	504	С. Ю. Глазьев, М. Г. Делягин, А. Г. Аганбегян, М. Л. Хазин, В. А. Мау		48,6%	1969	29,2%
Рыночники	332	А. А. Аузан, С. М. Гуриев⁷, Я. И. Кузьминов, А. Л. Кудрин, В. Л. Иноземцев⁸		47,3%	1972	29,2%
Академики	289	Г. Б. Клейнер, В. М. Полтерович, Г. С. Гринберг, В. Л. Тамбовцев, В. Л. Макаров	<i>Матметоды (26,2%),</i> <i>Институциональная экономика (18,2%)</i>	49,4%	1970	39,9%
Школа ВШЭ	235	Р. И. Капелюшников, Р. М. Нуреев, В. Е. Гимпельсон, А. Е. Шатитко, В. С. Автономов	Экономика труда (26,2%), Институциональная экономика (21,8%), Экономика населения (14,1%), <i>Поведенч. экономика (12,6%),</i> Эк. история (7,6%),	47,3%	1972	39,4%
Регионалисты	238	Н. В. Зубаревич, Н. А. Минакир, Б. Н. Порфирьев, В. А. Крюков, А. А. Широ	Региональная экономика (63,9%)	39,4%	1972	18,9%
Бухгалтеры	211	М. В. Мельник, В. В. Ковалев, М. А. Вахрушина, В. И. Бариленко, Д. А. Ендовицкий	Бухучет (68,9%)	21,5%	1973	24,0%
Аграрные экономисты	194	А. И. Алтухов, И. Г. Ушачев, А. В. Петриков, А. Н. Семин, В. Я. Узун	Экономика сельского хозяйства (76,3%)	41,6%	1970	20,3%
Средние				41,8%	1971	30,8%

Примечание: жирным шрифтом выделены фамилии входящих в топ-20 обобщенного рейтинга, для областей обычным шрифтом даны превышения средневыборочных значений в два раза, курсивом — в 1,75–2 раза.

7. Признан иностранным агентом.

8. Признан иностранным агентом.

Возникающая в итоге композиция экономических аудиторий имеет то, что в социально-сетевом анализе называется «центр-периферийной структурой» (Borgatti, Everett, 2000), сравнимой со структурой городской агломерации, в которой густонаселенный центр окружен некоторым числом (моно)городов-спутников (те, кто предпочитает исторические аналогии, могут вообразить себе средневековый город с окружающими его слободами и предместьями). Прямое сообщение между предместьями отсутствует, и попасть из одного в другие можно, только пройдя через центральную площадь. Если есть какие-то фигуры, по поводу значимости которых специалисты по маркетингу и специалисты по аудиту могут сойтись друг с другом в оценках, то этими фигурами будут «Рыночники» или «Автаркисты».

Демографические различия. Продолжая наше описание экономического ландшафта, отметим, что средний возраст обитателей модулей отличается значимо (так, различие между «Рыночниками» и «Автаркистами» значимо на уровне 0,05), однако не слишком значительно (размер эффекта порядка 0,25 стандартного отклонения). В этом смысле все модули обладают способностью к воспроизводству, и мы можем предполагать, что границы между ними не исчезнут сами собой при смене поколений. «Генерационные парадигмы», о которых писал Эндрю Эбботт применительно к социологии (Abbott, 2019), не существуют в российской экономике⁹.

Гораздо более выражены гендерные контрасты. Некоторые из наших «предместий» имеют преимущественно женское «население» (среди бухгалтеров — 78,5% женщин, в других модулях — у финансистов — 68,5%, маркетологов — 68,3%, специалистов по управлению персоналом — также 68,3% и т. д.). Напротив, в центральных областях соотношение мужчин и женщин примерно равно¹⁰. Это различие, однако, кажется производным скорее от того, что многие из специальностей, к которым привязаны «предместья», считаются женскими (бухучет, кадры), чем с тем, что существует выраженный гендерный фаворитизм, при котором женщины и мужчины отдают предпочтение разным полам внутри одной и той же предметной области. Во всяком случае на примере самой известной женщины-экономиста, Н. В. Зубаревич, мы не видим следов такого фаворитизма или дискриминации: вероятность назвать ее или согласиться с оценкой ее работы как внесшей вклад в экономическую науку (в закрытом вопросе) не зависит от пола респондента.

9. В отличие от, например, социологии (Сафонова, Соколов, 2021) или политической науки (Агафонов, Соколов, 2023).

10. Надо отметить, что российская экономическая наука выделяется на мировом фоне своей феминизированностью. Особенно разителен контраст с американской экономикой, в которой на 2017 год женщины составляли менее четверти постоянного преподавательского состава (Lundberg, Steans, 2019). Впрочем, на вершине академической иерархии в России, как и в США, находятся почти исключительно мужчины — читатели (и читательницы) могли отметить, что в нашем списке top-20 присутствует лишь одна женщина — Н. В. Зубаревич.

Наконец, есть отчетливая территориальная специфика — доля столичных жителей в аграрном модуле составляет всего 20,3%, в региональном — 18,9%, в то время как среди «Академиков» москвичей в два раза больше — 39,9% (самым столичным, однако, является малый модуль мировой экономики, в котором из 94 человек москвичей 55, т. е. 59%). Это различие объясняется скорее всего тем, что спрос на некоторые области специализации территориально неоднороден, а не тем, что экономисты в регионах голосуют против столичных авторов (тем более что подавляющее большинство лидеров во всех субдисциплинах все равно проживают в Москве).

Институциональные привязки. Институциональные привязки являются следующим «подозреваемым» в наблюдаемой сегментации. Может ли быть так, что экономисты в основном голосуют за представителей своей институции — потому что лучше знают их работы или в надежде повысить статус этих институций (и косвенно свой собственный)? Действительно, сразу бросается в глаза то, что основные авторитеты нескольких групп работают в одном учреждении. Так, «Академики» и «Школа ВШЭ» связаны с ЦЭМИ/ИЭ РАН и Высшей школой экономики соответственно. При этом только про малую группу «Финансистов», связанную с Финансовым университетом, можно сказать, что их многое объединяет в плане научных интересов. Однако, хотя группы поддержки и преобладают в соответствующих учреждениях, сотрудники этих учреждений составляют сравнительно небольшую часть групп поддержки. Так, если всего к «Школе ВШЭ» относится 245 человек, то численность респондентов, которых мы могли соотнести с самой Высшей, среди них составляет 17 человек (среди тех, кто сообщил свою аффилиацию). Это, с одной стороны, значительная доля вышкинских респондентов (27%), с другой стороны — сравнительно небольшая доля от всех попавших в данный модуль (6,9%). В этом смысле при образовании групп мы имеем дело скорее с ориентацией на ту или иную институцию как на флагманское учреждение, на базе которого проводятся образцовые исследования, среди людей, не работающих в ней, чем с локальным патриотизмом ее сотрудников.

Что же стоит за этим статусом флагмана? Здесь мы подходим, возможно, к самому интригующему вопросу этого исследования. Обнаруженные нами до сих пор различия между модулями не проливают света на то, как возникают деления внутри центральной части экономического метрополиса. В чем состоят различия между респондентами, представляющими модули, не имеющие явной тематической привязки?

Взгляды на экономическую науку и роль экономиста. Прежде всего, мы проанализировали блок вопросов (выборка А), касавшихся взглядов экономистов на цели и задачи экономической науки. Список анкетных вопросов и одномерные распределения ответов на них приводятся в Приложении 1. Анализ корреляций между ответами показывает, что большинство пунктов анкеты так или иначе характеризовали один комплекс установок. Таблица 2 суммирует получившуюся шкалу (цифры в графе справа соответствуют факторным нагрузкам на первую компоненту, объясняющую 36% вариации, в факторном анализе).

Таблица 2. Шкала академического локализма-глобализма (выборка А, N = 900)

	Факторные нагрузки
Российским экономистам следует стремиться к сохранению и развитию национальной традиции в экономической науке.	,627
В области наук о человеке и обществе приоритет при оценке исследовательских достижений российских ученых должен быть отдан публикациям на русском языке ¹¹ .	,668
Теории, созданные западными экономистами, многого не объясняют в российской жизни; нужно работать с собственными теоретическими моделями.	,756
Эгоистичный и рациональный Homo economicus представляет собой искаженную картину человеческой природы и в основном бесполезен для объяснения поведения в реальном мире.	,446
Средний методический уровень статей в ведущих англоязычных журналах значительно выше, чем в ведущих российских, и молодых ученых следует учить ориентироваться на него.	-,463
Проводя исследования, экономисты должны думать прежде всего об интересах своей страны и своего государства.	,611
Многие достижения советской политэкономии были незаслуженно забыты в последующие годы.	,675
По культурным и историческим причинам различий между тем, как устроены экономики разных стран, больше, чем сходств, поэтому рецепты экономической политики, разработанные для одних стран, чаще всего неприменимы в других.	,623
Говоря в целом, можно сказать, что сегодня мировая экономическая наука находится в глубоком кризисе.	,453

Примечание: выделенные жирным шрифтом вопросы воспроизводились также в выборке Е.

Шкала противопоставляет академические глобализм и локализм. Глобализм представляет собой ориентацию на стереотипно понятый глобальный мейнстрим (англоязычный, универсализирующий, опирающийся на модели рационального выбора). Локализм — выбор в пользу индигенной экономической науки (учитывающей кросс-культурные вариации, опирающейся на национальные традиции, отвечающей интересам страны и государства, что бы последнее ни значило)¹².

11. Источником этого вопроса было Постановление Бюро отделения общественных наук РАН от 19 февраля 2020 года № 6 «Принципы установления нормативов публикационной результативности для научных организаций общественно-гуманитарного профиля».

12. Интересно отличие экономистов от изученных ранее политологов и социологов (Сафонова, Соколов, 2021; Агафонов, Соколов, 2023). Хотя во всех дисциплинах присутствует оппозиция между ориентациями на глобальную или национальную науку, только у экономистов она имеет явное содер-

Таблица 3. Средние показатели для наукометрических и опросных шкал, для крупнейших модулей (выборка Е, N = 891)

Модули	Академический локализм	Ср. импакт-фактор публикующих журналов	Ср. импакт-фактор цитирующих журналов	Ориентация на открытую экономику
Рыночники	-0,3516	0,4663	0,4427	0,5354
Автаркисты	0,2339	0,3642	0,4009	-0,3129
Академики	-0,0400	0,4948	0,4646	0,0174
Регионалисты	-0,0691	0,5063	0,4924	0,0189
Аграрные экономисты	0,0579	0,4253	0,4361	-0,2350
Школа ВШЭ	-0,3387	0,6387	0,5368	0,2259
Бухгалтеры	0,0850	0,3683	0,3638	0,1569
Среднее	-0,029	0,4102	0,4174	0,011
Стандартное отклонение	1,042	0,3733	0,3346	1,059
Эта ²	0,041	0,069	0,034	0,069

Для того чтобы сравнить средние показатели наших фан-групп, использовалась сокращенная версия шкалы, включавшая три пункта, выделенные жирным шрифтом в таблице 2¹³ (баллы были приведены к нормализованному виду со средним, равным 0, и стандартным отклонением 1, таким образом, различия между подвыборками в колонке «Глобализм», которые приводятся в таблице 3, можно интерпретировать как силу эффекта (effect size). Модули отчетливо различаются по своей позиции в локалистском-глобалистском спектре с силой эффекта, достигающей порядка 0,6 для полярных групп (показатель Эта² составляет 0,041). Самыми локалистскими модулями оказываются «Автаркисты», глобалистскими — «Школа ВШЭ» и «Рыночники».

При этом даже по данному сильно поляризирующему фактору нельзя сказать, что локалистские и глобалистские взгляды разделяются всеми в соответствующих группах. Так, во всех модулях доля согласных и скорее согласных с утверждением

жательное наполнение и коррелирует с какими-то эксплицитными теоретическими ориентациями, такими как опора на модель *Noto economicus* (в какой мере эта ориентация и правда отражает экономический мейнстрим сегодня — вопрос, по которому авторы не готовы высказываться).

13. Значения по шкале были получены путем простого сложения пунктов ординальных шкал от 1 до 5 с последующей нормализацией. Необходимость ограничиться сокращенной шкалой стала следствием неудачного решения, принятого на стадии планирования анкеты. «Идеологические» вопросы задавались в выборках А (полная версия) и Е (сокращенная версия), однако расчеты в таблице 3 и далее основаны только на выборке Е, поскольку в выборке А основной репутационный вопрос требовал назвать тех, кто написал самые важные работы в собственной области респондентов. Корреляция Пирсона сокращенной версии шкалы с полной для выборки А составляла 0,805, и в этом смысле потеря в точности была небольшой.

«Теории, созданные западными экономистами, многого не объясняют в российской жизни» превосходит долю несогласных (в соотношении 46%/13% среди «Бухгалтеров» до 50%/24,4% в «Школе ВШЭ»). Фактически единственным вопросом, по которому преобладающее в одних модулях мнение отличалось от преобладающего в других, был вопрос об оценке относительного качества ведущих российских и англоязычных журналов. Согласны или скорее согласны с тем мнением, что статьи в англоязычных журналах в среднем лучше, было 47,8% «Рыночников» (при 28,3% несогласных) и 47,1% в «Школе ВШЭ» (при 28,7% несогласных). Среди «Автаркистов» соотношение было обратным (28,3% согласных при 48,5% несогласных).

Ориентация на «журнальную науку». В какой мере различия в декларируемых представителями разных модулей ценностях соответствуют различиям в наблюдаемом поведении? По понятным причинам мы не могли наблюдать респондентов в реальной жизни, однако могли — для тех, кто дал разрешение на использование информации из их библиометрических профилей — дополнить данные о декларируемых респондентами представлениях данными об их публикационной активности. Эти данные, в частности, должны улавливать ориентацию на «журнальную науку» — академическую культуру, основным каналом передачи информации (и распределения статуса) для которой является стратифицированная система периодики. Во втором и третьем столбцах таблицы 3 приводятся средние по импакт-факторам журналов, в которых (а) публиковались ученые и в которых (б) цитировались их работы¹⁴.

«Школа ВШЭ», а также «Регионалисты» и «Академики» лидируют по измеренному наукометрически качеству изданий, в которых опубликованы их статьи («Автаркисты» и «Бухгалтеры» находятся на противоположном полюсе). Распределение импакт-факторов журналов, в которых цитируются работы ученых данной группы, отчасти сглаживает контраст, однако сохраняет те же направления. Последнее наблюдение принципиально важно: если бы среди экономистов существовал консенсус по поводу того, что лучшие работы публикуются в лучших изданиях, импакт-фактор публикующего журнала был бы независим от импакт-фактора цитирующих журналов. Фактически они коррелируют на уровне 0,557, показывая, что есть сильная тенденция к тому, чтобы индивидов цитировали в журналах того же слоя, в которых они публикуются¹⁵. В этом смысле мы можем предполагать существование отдельной «журнальной науки», в которой не все экономисты участвуют — и не все хотели бы.

Соблазнительно предположить, что это измерение связано с тем, которое выше было названо «локализмом–глобализмом» — во-первых, потому, что глобалисты по логике вещей должны публиковаться и цитироваться в англоязыч-

14. Достоинством этих метрик является их близкое к нормальному распределение. Чтобы нивелировать влияние тяжелого правого хвоста, показатели были пересчитаны на логарифмированных переменных с практически идентичным результатом.

15. Отчасти это является результатом самоцитирований (20,9% цитирования российских экономистов — дело их собственных рук). Однако даже при контроле по этой переменной связь показателей публикующих и цитирующих индивида журналов остается сильной.

ных журналах с их более высокими импакт-факторами, раз уж они верят в то, что уровень статей в них более высокий, во-вторых — потому, что журнальная ориентация в целом является частью глобальной англоязычной академической культуры. И действительно, мы находим значимые, хотя и не слишком сильные корреляции. Глобализм, измеренный нашей сокращенной шкалой, дает корреляцию 0,191 со средним импакт-фактором журнала, в котором были опубликованы статьи, и 0,145 — с импакт-факторами журналов, в которых они были процитированы. Мы видим, что показатели связаны, хотя и далеко не тождественны.

Экономические доктрины и политические идеологии. Далее мы попробовали проверить, совпадают ли границы между аудиториями экономистов с границами популярности различных экономических доктрин. Для этого мы попросили респондентов выразить свое отношение к абстрактным утверждениям, адаптированным из более ранних международных исследований (Davis, 1997; Grubel, Boland, 1986) с добавлением нескольких пунктов из World Value Survey (выборки А (полный) и Е (сокращенный) варианты). Мы отбирали те из них, по которым, предположительно, российские экономисты имели меньше всего шансов прийти к согласию. Распределения ответов на заданные вопросы можно найти в Приложении 2. Как и прежде, мы обнаружили, что основная часть вариаций в ответах на большинство вопросов объясняется одним фактором¹⁶. Этот фактор противопоставляет сторонников интеграции в глобальную рыночную экономику сторонникам замкнутой в пределах национального государства и подконтрольной этому государству экономической системы. Иными словами, он соответствует предпочтению «невидимой руки рынка» vs автаркичной «крепости Россия», неустойчивой для шоков извне, в которой любые ресурсы контролируются государством и могут быть легко мобилизованы и распределены им в политических или военных целях. Вопросы, нагруженные этим фактором, вместе со значениями соответствующих нагрузок приведены в таблице 4 (первый фактор объясняет 28,9% вариации).

Как и прежде, для дальнейшего анализа использовалась сокращенная версия шкалы, состоящая из выделенных жирным пунктом (ее корреляция с полной версией шкалы составляла 0,942), все показатели были нормализованы.

В последней графе таблицы 3 мы видим, как те, чьи убеждения тяготеют к тому или иному полюсу, распределены между нашими модулями. Самый явный контраст прослеживается по первому фактору, с «Автаркистами», идеологически наиболее монолитными в своей ориентации на модель wartime economics (чем и обусловлено их название) — с одной стороны, и «Рыночниками» и «Школой

16. Вторым выделенным фактором имел высокие нагрузки по всем пунктам вопросника, связанным с дефицитом в национальном бюджете и внешнеторговом балансе, а также уровнями государственного и частного долга. Он противопоставлял «Аграрных экономистов» и «Бухгалтеров» (вероятно, в силу рода деятельности наиболее приверженных идеалам хорошо сходящегося бюджета) остальным группам, в первую очередь «Академикам». В силу меньшей объясненной им вариации (11,8%) здесь он не обсуждается.

ВШЭ» — наиболее последовательно выступающими за открытую во всех смыслах слова экономику — с другой. Сила эффекта для полярных групп выше 0,8, Эта-квадрат — 0,069 — значимая величина.

Таблица 4. Шкала рыночной открытости — автаркии (выборка А, N = 892)

	Нагрузки
Приватизация государственных предприятий, как правило, повышает эффективность их деятельности.	,588
Снижение налогового бремени на доходы от капитала содействует экономическому росту.	,355
Пошлины и нетарифные барьеры для внешней торговли ведут к снижению экономического благосостояния.	,373
Введение определенных ограничений на трансграничное движение капитала необходимо для обеспечения экономической стабильности.	-,563
Для экономического развития оптимальным является низкий уровень государственного и частного внешнего долга.	-,348
Экономические санкции против России являются формой недобросовестной конкуренции со стороны западных стран, стремящихся под благовидным предлогом сдержать экономическое развитие нашей страны.	-,599
Россия скорее выиграла, чем проиграла от вступления в ВТО.	,510
Экономически Россия, безусловно, выиграла бы, в одностороннем порядке отменив введенные в 2014 году контрсанкции.	,572
Полный отказ от идеи плановой экономики и форсированный переход к рынку в 90-х были ошибкой.	-,672
Доля частной собственности в бизнесе и производстве должна быть увеличена.	,662

Примечание: выделенные жирным вопросы задавались также в выборке Е.

По большинству вопросов тем не менее существуют преобладающие мнения, которых придерживается большинство ответивших во всех группах. Большинство во всех модулях не согласилось с тем, что Россия скорее выиграла, чем проиграла, от вступления в ВТО (за исключением «Академиков», среди которых сторонников и противников этого мнения оказалось поровну — 38,9% согласных, 38,1% несогласных), и согласилось с тем, что санкции — это форма недобросовестной конкуренции Запада (здесь число несогласных было выше всего в «Школе ВШЭ» — 54,2% согласных против 32,3% несогласных). Иными словами, мы видим, что границы модулей не совпадают с границами распространения тех или иных убеждений.

Скорее, мы можем говорить лишь о большей или меньшей частоте, с которой в них встречаются определенные *minority opinions*, которые тем не менее остаются мнением меньшинства.

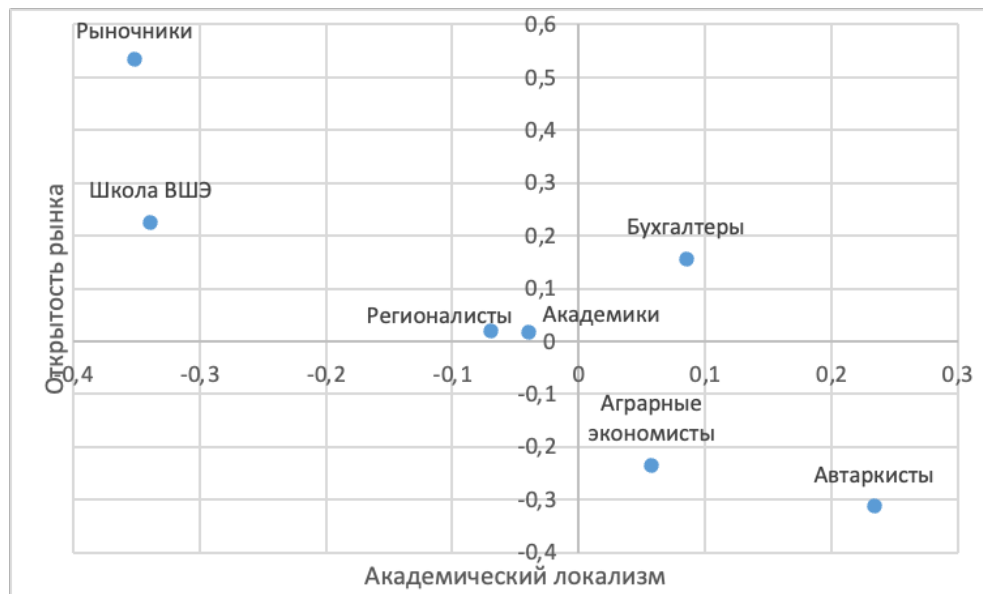


Рис. 1. Связь академического локализма и рыночной открытости (средние для модулей)

Читатели могут отметить, что ранжирование наших модулей по этому фактору располагает их примерно в таком же порядке, как и ранжирование по измерению академического локализма и глобализма (рис. 1). Действительно, глобализм и ориентация на открытость экономики на уровне индивидов скоррелированы на уровне 0,473 — те, кто верит в достоинства мирового экономического мейнстрима, также верят в преимущества открытой экономики, и наоборот. Кроме того, рыночная ориентация связана с принадлежностью к «журнальной науке», хотя и ощутимо слабее — корреляция импакт-факторов журналов, в которых индивиды публиковали свои статьи, и ориентации на рыночную экономику составляет 0,226. Распределение модулей в подобном двумерном пространстве приводится на рисунке 2.

Таким образом, мы находим, что группы поддержки российских экономистов представляют, с одной стороны, разные эпистемические культуры — в различных их проявлениях, а с другой — переходят в разные политические лагеря. В следующем параграфе мы попробуем с помощью множественных регрессий определить, какие из этих переменных непосредственно влияют на попадание индивидов в ту или иную фан-группу.

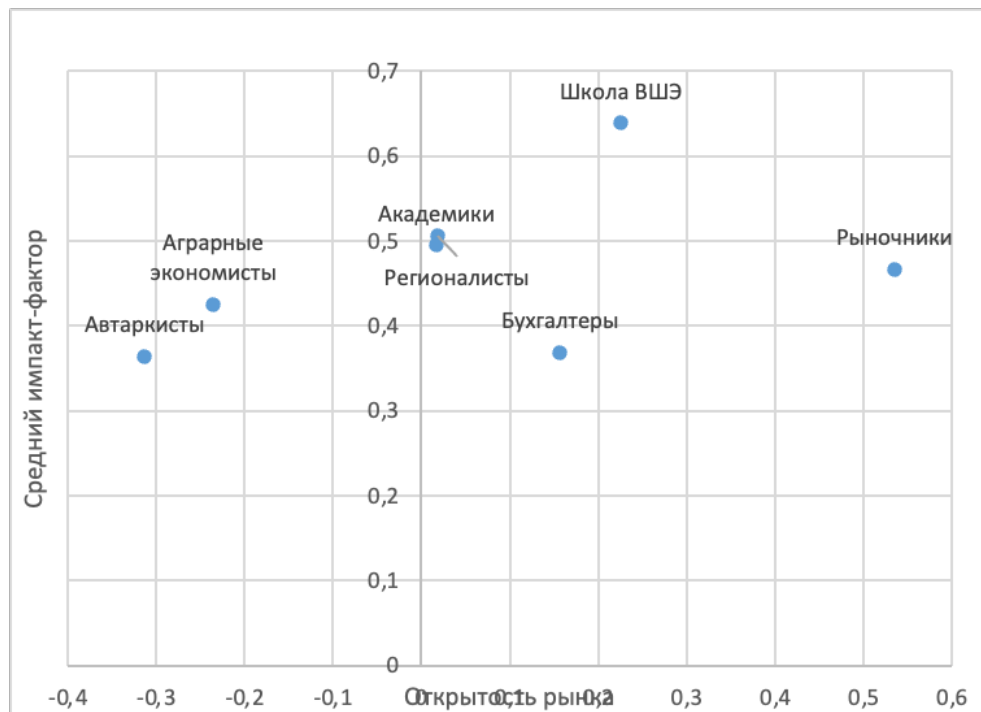


Рис. 2. Связь рыночной ориентации и среднего импакт-фактора журнала, в котором были опубликованы статьи (средние по модулям)

Регрессионный анализ

Чтобы понять, какие факторы влияют на формирование групп поддержки непосредственно, а влияние каких опосредовано другими, мы использовали мультиномиальную регрессию. Результаты суммируются в таблице 5. Базовой категорией были «Академики», занимающие на предыдущих графиках положение в центре; в ячейках приводятся отношения шансов (приводятся только значимые отличия от «Академиков» для каждой модели; континуальные переменные были нормализованы с тем, чтобы получить стандартное отклонение, равное 1).

В Моделях 3 и 4 анализируется влияние локализма и ориентации на открытую экономику (опять же, «Академики» значимо отличаются по этому признаку от «Автаркистов» и «Рыночников», но не от остальных групп). Наконец, в Модели 5 все независимые переменные вводятся вместе. Предметные области сохраняют свою значимость, импакт-фактор отчетливее дифференцирует «Академиков» от хуже интегрированных в «журнальную науку» групп («Автаркистов» и «Рыночников»), а ориентация на открытую экономику — также от «Рыноч-

ников». Ни одна из переменных не дифференцирует «Академиков» от «Школы ВШЭ» и ни одна из групп не дифференцируется от прочих академическим локализмом.

Таблица 5. Мультиномиальная логистическая регрессия с принадлежностью к 7 крупнейшим модулям в качестве зависимой переменной. Приведены статистически значимые отношения шансов

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
Аграрная экономика	Аграрные экономисты» (48,54 ^{***}) Бухгалтеры (5,22 [*])				Аграрные экономисты (23,8 ^{***})
Региональная экономика	Регионалисты (3,8 ^{**})				Регионалисты (4,23 ^{**})
Бухучет	Бухгалтеры (86,59 ^{***})				Бухгалтеры (86,33 ^{***})
Математические модели	Бухгалтеры (0,07 ^{**})				
Импакт-фактор		Автаркисты (0,291 [*]), Бухгалтеры (0,103 ^{**}), Школа ВШЭ (3,151 ^{**})			Автаркисты (0,07 ^{**}), Рыночники (0,09 ^{**})
Открытость			Автаркисты (0,671 ^{**}), Рыночники (1,81 ^{**})		Рыночники (1,76 [*])
Локализм				Автаркисты (1,51 [*])	
Snell and Cox Pseudo R²	0,424	0,067	0,127	0,067	0,553
Доля корректно предсказанных значений ¹⁷	36,8%	26,1%	32,4%	25,6%	46,4%

17. Baseline для доли корректно предсказанных является 23,7% — число «Автаркистов», самого крупного из модулей.

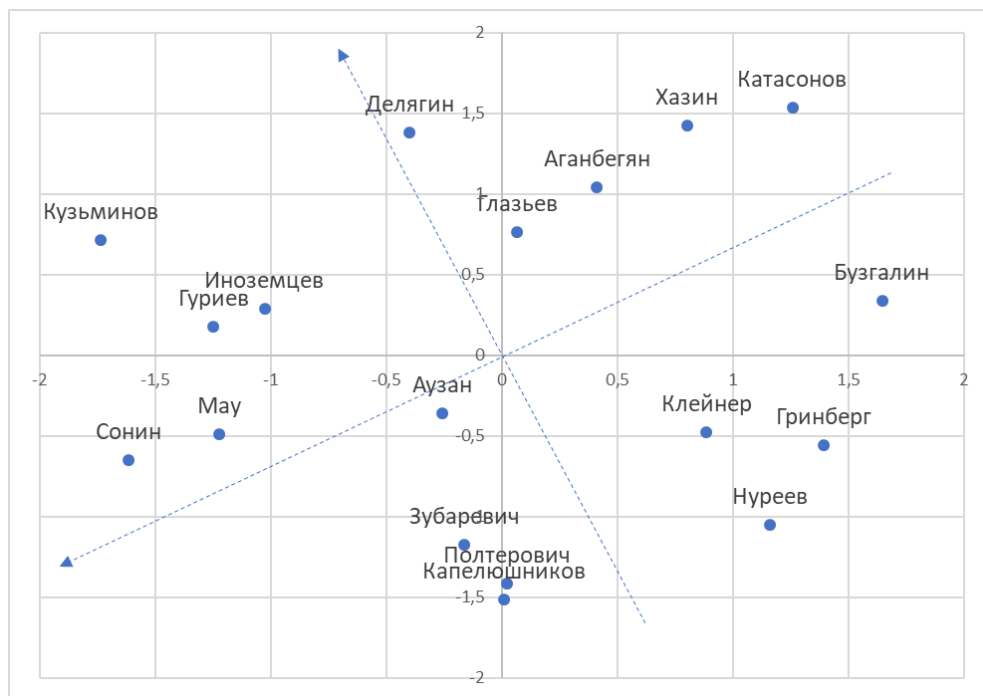


Рис. 3. Многомерное шкалирование номинаций отдельных экономистов (алгоритм ALSICAL, выборки В, D, E, F, N = 3563)

Примечание: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

В Модель 1 были включены 4 предметные области, которые выше определены как позволяющие с наибольшим успехом идентифицировать, к какой из наших семи анализируемых групп поддержки принадлежат экономисты. В Модели 2 оценивается дифференцирующая роль импакт-фактора (у «Автаркистов» и «Бухгалтеров» он значимо меньше, чем у «Академиков»; у «Школы ВШЭ» — значимо больше).

Суммируя эти результаты, мы можем предположить, что пространство симпатий экономистов двумерно. Одним из измерений является ориентация на открытый рынок vs ориентация на wartime economics, и оно противопоставляет, прежде всего, «Автаркистов» «Рыночникам» с остальными группами между ними. Второе измерение — участие в «журнальной науке», и в нем «Рыночники» занимают положение, близкое к «Автаркистам», по другую сторону от более ориентированной на рецензируемую периодику «Школы ВШЭ». Влияние академического локализма полностью поглощается двумя другими переменными.

В целях дополнительной валидации полученной модели мы провели многомерное шкалирование номинаций 18 чаще всего упоминаемых фигур (на рис. 3 приведены top-20 за исключением Алтухова и Кудрина, которые поднимали стресс двумерной модели до считающихся неприемлемыми 0,20).

Близость имен друг к другу достаточно явно коррелирует с нашими модулями: «Автаркисты» находятся в правом верхнем углу, «Рыночники» — слева посередине, «Академики» — в правом нижнем квадранте, «Школа ВШЭ», представленная Р. И. Капелюшниковым, и «Регионалисты», представленные Н. В. Зубаревич, — снизу, а А. В. Бузгалин (представитель небольшого модуля «Марксистов») находится между «Академиками» и «Автаркистами». Ось, противопоставляющая глобалистов-рыночников автаркистам-локалистам, проходит слева направо. Внизу оказываются фигуры, чьи группы поддержки в наибольшей степени вовлечены в «журнальную науку» — и которые сами в наибольшей степени в нее вовлечены (ранговая корреляция среднего импакт-фактора изданий, в которых опубликованы работы группы поддержки, с импакт-факторами самих поддерживаемых ими фигур составляет 0,557). Для точного соответствия описанным в тексте измерениям оси надо повернуть примерно на 30 градусов против часовой стрелки, как показано пунктирными стрелками на рисунке 3 (многомерное шкалирование реконструирует дистанции между объектами, однако для интерпретации полученных осей иногда оказываются необходимы подобные манипуляции).

Наша визуализация позволяет выдвинуть несколько дополнительных предположений о различиях во вкусах почитателей фигур, оказавшихся над и под горизонтальной осью. Похоже, что в российской экономике «журнальной науке» противостоит то, что можно назвать «газетной наукой». Про все фигуры в верхней части рисунка можно сказать, что они регулярно появляются на страницах деловых газет — в качестве ньюсмейкеров и/или авторов программных статей (про большинство можно сказать, что они появляются там чаще, чем на страницах академической периодики). Это не так в отношении большинства фигур в нижней части (Зубаревич является частичным исключением)¹⁸.

В какой мере наши фан-клубы осведомлены об объектах почитания друг друга и в какой мере они отвергают тех, кто не попадает в группу их фаворитов? На второй волне опроса экономистов был добавлен закрытый вопрос, в котором респондентов просили определиться с отношением к номинациям в качестве авторов, внесших вклад в экономическую науку, — всего 34 фигур, часто называвшихся на предыдущем этапе. Результаты по самым известным фигурам в каждом из модулей приведены в таблице 8 (как видно из табл. 1, известные фигуры распределены весьма неравномерно между нашими модулями, и ни одна из них не обнаруживается среди «Бухгалтеров»; мы добавили, однако, С. М. Гуриева, чье положение среди «Рыночников» на основании автоматических сортировок было более бесспорным, чем у А. А. Аузана).

18. В предыдущей части отчета о данном исследовании, посвященном созданию репутационных рейтингов, отмечалось, что фигуры, сосредоточенные в верхней части графика, — это как раз те экономисты, чье широкое признание не сопровождается высокими показателями цитирования (прежде всего, М. Л. Хазин).

Таблица 6. Соотношение долей несогласных и согласных с оценкой данных фигур как внесших вклад в экономическую науку по модулям (цифра посередине в нижней строке соответствует числу незнакомых с работой соответствующей фигуры)

	Рыночники	Автаркисты	Академики	Регионалисты	Аграрные экономисты	Школа ВШЭ	Бухгалтеры
Алтухов	8,9%/23,2% 55,4%	11,1%/30,0% 51,1%	15,1%/17,0% 64,2%	4,0%/16,0% 64,0%	5,0%/67,5% 12,5%	5,6%/13,9% 72,2%	8,6%/25,7% 54,3%
Аузан	7,2%/63,8% 21,7%	10,6%/43,6% 28,7%	1,8%/44,6% 37,5%	5,5%/58,2% 25,5%	5,7%/40,0% 42,9%	12,8%/66,7% 5,1%	6,1%/33,3% 45,5%
Глазьев	19,7%/63,2% 3,9%	6,0%/83,8% 4,3%	15,8%/68,4% 5,3%	8,3%/72,9% 8,3%	10,0%/80,0% 2,5%	31,9%/48,9% 10,6%	2,9%/65,7% 31,4%
Гуриев	7,5%/67,2% 14,9%	15,2%/39,1% 26,1%	17,5%/49,1% 22,8%	9,4%/56,6% 22,6%	21,9%/40,6% 31,3%	13,2%/55,3% 15,8%	6,7%/33,3% 43,3%
Зубаревич	4,8%/51,6% 35,5%	12,6%/38,9% 36,8%	13,0%/42,6% 35,2%	6,8%/67,8% 15,3%	5,6%/47,2% 36,1%	13,2%/50,0% 23,7%	14,3%/25,0% 53,6%
Капелюшников	6,5%/38,7% 45,2%	9,8%/26,1% 51,1%	6,0%/50,0% 32,0%	5,0%/50,0% 30,0%	8,1%/37,8% 35,1%	2,2%/76,1% 15,2%	3,2%/32,3% 64,5%
Клейнер	6,6%/44,3% 39,3%	9,6%/40,4% 35,1%	6,9%/77,6% 8,6%	6,4%/61,7% 19,1%	5,7%/57,1% 31,4%	4,5%/59,1% 18,2%	0,0%/53,1% 40,6%

На основании этих распределений можно сделать несколько выводов. Ожидаемо уровень осведомленности и поддержки каждой фигуры выше всего в ее модуле. В целом «Бухгалтеры» оказываются наименее осведомлены о том, что происходит за пределами их вселенной, — надо думать, в силу дисциплинарной изолированности. При этом, как и говорилось выше, полупериферийные специальности (например, «Аграрные экономисты») значительно лучше осведомлены о фаворитах центральных аудиторий, чем члены центральных аудиторий — о героях полупериферийных специальностей. Остальные дистанции кажутся отражением позиции групп поддержки в двухмерном пространстве, одно измерение которого противопоставляет «Рыночников» и «Школу ВШЭ», с одной стороны, и «Автаркистов» — с другой, а второе — сугубо академически-ориентированные группы («Академики», «Школа ВШЭ», «Регионалисты») и более активных в политической дискуссии и практике («Рыночники» и «Автаркисты»). Как и на рисунке 3 выше, присутствие второго измерения проявляется, например, в том, что противоположные в смысле политической программы «Автаркисты» и «Рыночники» оказываются в некоторых отношениях в большей согласии относительно того, кто внес вклад в науку, чем политически близкие «Рыночники» и «Школа ВШЭ». Это, видимо, объясняет парадоксальный на первый взгляд результат автоматической группировки, относящей В. А. Мау к автаркистскому лагерю. Некоторая часть респондентов выражала поддержку всем, кто представлял академическую профессию за пределами академического мира, в качестве политических практиков, администраторов высшего образования или медийных экспертов, и в силу этого готовы были номинировать В. А. Мау одновременно с С. Ю. Глазьевым.

В заключение надо вновь отметить, что политическая поляризация, хотя и присутствующая, не настолько сильна, чтобы привести к полному отрицанию заслуг оппонентов. Среди «Рыночников» число согласных с положительной оценкой заслуг С. Ю. Глазьева перед экономической наукой в несколько раз превосходило число несогласных, как и среди «Автаркистов» — согласных с аналогичной оценкой заслуг С. М. Гуриева (аналогичный мирный образ российской экономической науки возникает в: Мальцев, 2016).

Заключение

В этом исследовании мы стремились ответить на вопрос о том, какие факторы — помимо разделяемых всеми стандартов профессиональной работы — влияют на готовность российских экономистов осуществлять публичные жесты признания в отношении друг друга. Мы подошли к ответу на этот вопрос со стороны изучения того, по каким принципам профессиональная аудитория делится на группы, готовые «голосовать» за коллег. Мы обнаружили три основания для подобного деления.

Во-первых, играют роль предметные деления. В силу ли информационной изолированности или субдисциплинарного патриотизма, но ученые-экономисты предпочитают тех, кто работает в одной с ними области. Этот эффект особенно заметен в случае с полуавтономными субдисциплинами, изолированными от экономической науки в более узком смысле этого слова. Вместе с тем и значительная часть тех, кто относится к таким областям, «голосует» за тех, кто занимается мейнстримной экономикой. В этом плане отношения между «мейнстримными» и «немейнстримными» группами экономистов асимметричны. Они образуют центр-периферийную структуру, в центре которой находятся те, чьи области специализации связаны с ядром экономического образования и в особенности — с проблемами макроэкономики и экономической политики, которая является предметом самого широкого общественного интереса. Их работы известны на периферии значительно лучше, чем работы периферии в центре. В этом смысле информационную структуру дисциплины можно сравнить с оперным театром, в котором каждый может рассмотреть соседей по балкону, но находящиеся на главной сцене макроэкономисты видимы для всех, хотя и издали, а подавляющее большинство остальных зрителей невидимо для них.

Вторым измерением дифференциации являются политические предпочтения, которые строятся вокруг выбора ориентации на интеграцию страны в глобальную экономику или на ее страхование от исходящих извне шоков. Эта оппозиция тесно связана с другой — между предпочтением глобальной науки или культивации собственной национальной традиции. Соблазнительно объяснить связь между этими двумя переменными тем, что глобальная — или, во всяком случае, англоязычная — наука как будто предполагает однозначный ответ на этот вопрос: изоляция сдерживает экономический рост. Соответственно, те, кто уверен в ее пре-

восходстве, уверен и в превосходстве соответствующей экономической модели. И наоборот — те, кто предпочитает открытый рынок, предпочитают и науку, которая обосновывает эти предпочтения. Это объяснение, однако, небесспорно: более раннее исследование обнаружило аналогичную корреляцию между интеллектуальным глобализмом и политическим либерализмом и среди российских социологов (Sokolov, 2019), несмотря на то что состоящая из множества течений и школ западная социология и не предлагает никаких общих политических рецептов.

Третьим измерением, дифференцирующим оценки российских экономистов, являются представления об экономике как преимущественно академической дисциплине, коммуницирующей с помощью статей в специализированных журналах, или о граничащем с практической политикой и существующем на страницах деловых газет занятии. Те, кто голосовал за верхнюю часть рисунка 3, могли отличаться от тех, кто голосовал за нижнюю, своим пониманием «вклада в экономическую науку». Первые могли признавать за таковой общественное просвещение, выступление в массмедиа и участие в выработке экономической политики, а вторые — считать, что этот вклад существует только в форме статей в рецензируемых журналах с высоким импакт-фактором.

Анализ истоков этих представлений выходит за пределы данной статьи. Кажется существенным, однако, что те, кто сам пишет такие статьи, склонны придерживаться второй точки зрения и называть преимущественно других ученых с высоким импакт-фактором. Можно предполагать, что, если предыдущее измерение отражает различия в политических пристрастиях, то данное — в статусных характеристиках, соответствующих различиям в квалификации. Те, кто предпочитает газетную науку, иногда делают это, поскольку не могут читать статьи в ведущих журналах из-за сложного математического аппарата и специализированной терминологии (Libman, Zweynert, 2019). Поэтому они предпочитают авторов, которые говорят на понятном им языке и на значимые для них темы. И, наоборот, те, кто может читать и писать подобные статьи, демонстративно отказываются потреблять слишком доступные интеллектуальные продукты. Ближайшей аналогией здесь будет роль культурного потребления, какой та описана, в частности, в работах Пьера Бурдьё и других социологов культуры. Высокая культура в современных обществах, говорит Бурдьё, служит для того, чтобы противопоставить владеющие сложными культурными кодами высшие классы не владеющим ими низшим. Низшие классы вынуждены ограничивать свой культурный рацион понятным и «красивым» — в самом простом обывательском смысле — искусством. По этой же причине высшие культивируют в себе презрение к нему, предпочитая Айвазовскому Мондриана¹⁹. В академическом мире борьба между этими противоположностями

19. Характерны в этом смысле более высокие показатели включенности в журнальную науку среди экономистов, живущих в Москве и работающих в крупнейших академических организациях, по сравнению со среднероссийскими (так, для живущих в Москве экономистов средний импакт-фактор выбранного для публикации журнала составляет 0,526, при аналогичном показателе по России 0,410). Те, кто работает в богатой ресурсами среде, имеют более высокие показатели. Кроме того, цитатные показатели выше у тех, кто окончил среднюю школу в Москве и чьи родители имели ученую степень

является борьбой за определение границ профессионального поля, при которой каждая из сторон отрицает, что продукты, воспринимаемые другой стороной, вообще являются экономической наукой («журнальная» упрекает «газетную» в том, что она недостаточно научная, та ее — что она является разделом математики, оторванной от реальной жизни).

Предельно огрубляя, из наших крупнейших сегментов, «Автаркисты» представляют локалистскую (и в смысле экономической автаркии, и в смысле интеллектуальной самодостаточности) и «газетную» науку, «Рыночники» — глобалистскую и «газетную», «Школа ВШЭ» — глобалистскую и «журнальную», «Академики» — скорее «журнальную» и близкую к политическому центру, «Регионалисты» похожи на «Академиков», но с выраженной тематической специализацией, а «Аграрные экономисты» занимают промежуточную позицию между «Регионалистами» и «Автаркистами»²⁰.

Предпочтения представителей всех этих групп, вероятно, отражают разные сочетания коммуникативных, эпистемических и политических факторов. Можно предполагать, что на выбор авторитетных фигур «Бухгалтерами» и «Аграрными экономистами» (и в меньшей степени «Регионалистами» и «Школой ВШЭ») оказали влияние коммуникативные факторы — ограничение пространств внимания пределами своей субдисциплины. С другой стороны, роль могли играть и политические мотивы — желание поддержать представителей своей специальности. Политические, хотя и в несколько ином смысле, мотивы могли двигать и теми, кто голосовал за «журнальную» («Школа ВШЭ», «Академики») или «газетную» («Рыночники», «Автаркисты») науку. Их выбор мог диктоваться желанием легитимировать собственный стиль профессиональной жизни. Наконец, выбор в пользу рыночно- и автаркически-ориентированных экономистов мог также быть политическим, но в еще одном, третьем, смысле. Здесь речь могла идти о поддержке собственного общеполитического лагеря (что не исключает, разумеется, и существования эпистемической культуры, которая обосновывает некоторые общеполитические предпочтения). Далее, любое из этих предпочтений могло привести к появлению своего рода «информационного пузыря», в котором внимание уделялось только тем, кто разделяет похожие взгляды, и в этом смысле коммуникативные факторы должны были консолидировать и усиливать влияние политических.

Решение присоединиться к тому или иному фан-клубу могло быть, таким образом, продиктовано большим количеством разнообразных факторов. Однако, каков бы ни был их точный список, существование подобной структуры аудитории

(при этом связи этих биографических параметров с какими-либо опросными шкалами не зафиксировано).

20. Интересно сравнить эту картину с наблюдающейся у социологов и политологов (Сафонова, Соколов, 2021; Агафонов, Соколов, 2023). Противостояние академического локализма и глобализма присутствует во всех дисциплинах, однако в других социальных науках оно отчетливо коррелирует с возрастом, чего мы не наблюдаем у экономистов. Политологи похожи на экономистов наличием выраженной оппозиции между журнальной и газетной наукой. Ее отсутствие у социологов может объясняться тем, что социологов с преимущественно медийной репутацией вообще немного.

показывает, что критерии оценки научных заслуг, применяемые российскими экономистами, далеки от универсально разделяемых. Мы не нашли, однако, следов предельной поляризации, в которой царила бы «война всех против всех», и группы полностью отрицали бы заслуги лидеров друг друга. Консенсус ли по поводу каких-то интеллектуальных достижений или общие представления об интересах профессии стоят за этим («журнальные» ученые заинтересованы в том влиянии на умы широкой аудитории и политиков, которые экономике обеспечивают ученые «газетные»), но российские экономисты в конце 2021 года обнаруживали значительную степень толерантности по отношению к объектам почитания друг друга.

Литература

- Агафонов Ю. А., Соколов М. М. (2023). Российская политология в 2021 году: Социальный и интеллектуальный ландшафт // ПОЛИС. Политические исследования. № 2. С. 54-71.
- Белянин А. В., Бессонов В. А. (2011). О российской экономической науке и научном сообществе // Экономический журнал ВШЭ. Т. 15. № 2. С. 265-268.
- Мальцев А. А. (2016). Российское сообщество экономистов: особенности и перспективы // Вопросы экономики. № 11. С. 135-158.
- Сафонова М. А., Соколов М. М. (2021). Структура поля российской социологии-2020 // Социологические исследования. № 11. С. 91-105.
- Соколов М. М. (2021). Наука как церемониальный обмен: теория пространств внимания, академического статуса и символической борьбы // Социологическое обозрение. № 20(3). С. 9-42.
- Соколов М. М. (2020). За пределами Хирш-индекса: статусные сигналы среди российских ученых // Библиосфера. № 4. С. 11-20.
- Соколов М. М., Чечик Е. А. (2022). Академические репутации российских экономистов и их наукометрические оценки // Вопросы экономики. № 11. С. 117-135.
- Abbott A. (2019). Career stage and publication in American academia // *Sociologia, Problemas e Práticas*. Vol. 90. № 1. P. 9-30.
- Clemens E., Powell W., McIlwaine K., Okamoto D. (1995). Careers in Print: Books, Journals, and Scholarly Reputations. // *The American Journal of Sociology*. Vol. 101. № 2. P. 433-494.
- Colander D., Klamer A. (1987). The making of an economist // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 1. № 2. P. 95-111.
- Cronin B. (1998). Metatheorizing citation // *Scientometrics*. Vol. 43. № 1. P. 45-55.
- Davis W. L. (1997). Economists' perceptions of their own research: A survey of the profession // *American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 56. № 2. P. 159-172.
- De Benedictis L., Di Maio M. (2011). Economists' views about the economy. Evidence from a survey of Italian economists // *Rivista Italiana degli Economisti*. Vol. 16. № 1. P. 37-84.

- Goffman E.* (1963). *Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings*. Glencoe: The Free Press.
- Goffman E.* (1967). *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. New York: Doubleday Anchor.
- Gouldner A.* (1970). *The Coming Crisis of Western Sociology*. London: Heineman.
- Grubel H. G., Boland L. A.* (1986). On the efficient use of mathematics in economics: Some theory, facts and results of an opinion survey // *Kyklos*. Vol. 39. № 3. P. 419-442.
- Fourcade M.* (2009). *Economists and Societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Fuller D., Geide-Stevenson D.* (2007). Consensus on economic issues: a survey of Republicans, Democrats and economists // *Eastern Economic Journal*. Vol. 33. № 1. P. 81-94.
- Javdani M., Chang H. J.* (2019). Who said or what said? Estimating ideological bias in views among economists // *IZA Discussion Papers*. № 127382019.
- Klamer A., van Dalen H. P.* (2002). Attention and the art of scientific publishing // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 9. № 3. P. 285-315.
- Knorr-Cetina K. D.* (1991). Epistemic cultures: Forms of reason in science // *History of Political Economy*. Vol. 23. № 1. P. 105-122.
- Lamont M.* (2009). *How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Libman A., Zweynert J.* (2019). Ceremonial science: The state of Russian economics seen through the lens of the work of 'Doctor of Science' candidates // *Economic Systems*. Vol. 38. № 3. P. 360-378.
- Lundberg S., Stearns J.* (2019). Women in economics: Stalled progress // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 33. № 1. P. 3-22.
- MacKenzie D.* (1978). Statistical theory and social interests: A case-study // *Social Studies of Science*. № 1. P. 35-83.
- Mayer T.* (2001). The role of ideology in disagreements among economists: A quantitative analysis // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 8. № 2. P. 253-273.
- Merton R. K.* (1968). The Matthew Effect in Science // *Science*. Vol. 159. № 3810. P. 56-63.
- Merton R. K.* (1988). The Matthew effect in science, II: Cumulative advantage and the symbolism of intellectual property // *Isis*. Vol. 79. № 4. P. 606-623.
- Newman M. E.* (2006). Modularity and community structure in networks // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 103. № 23. P. 8577-8582.
- Polanyi M., Ziman J., Fuller S.* (1962). The republic of science: its political and economic theory // *Minerva*. Vol. 1. № 1. P. 54-73.
- Sokolov M.* (2023). The art of ignoring others' work among academics. A guessing game model of scholarly information search. // *Social Studies of Science*. Vol. 53. № 2. P. 300-312.
- Sokolov M.* (2019). The sources of academic localism and globalism in Russian sociology: The choice of professional ideologies and occupational niches among social scientists // *Current Sociology*. Vol. 67. № 6. P. 818-837.
- Stephan P. E.* (1996). The economics of science // *Journal of Economic Literature*. Vol. 34. № 3. P. 1199-1235.

- Stinchcombe A.L.* Making a Living in Sociology in the 21st Century (and the Intellectual Consequences of Making a Living) // *Berkeley Journal of Sociology*. Vol. 44. P. 4-14.
- Whitley R.* (1984). *The Intellectual and Social Organization of the Sciences*. Oxford and New York: The Clarendon Press, Oxford University Press.
- van Dalen H., Henkens K.* (2005). Signals in science — On the importance of signaling in gaining attention in science // *Scientometrics*. Vol. 64. № 1. P. 209-233.

Economists and Their Fan-clubs: The Distribution of Recognition in Russian Economic Science

Mikhail Sokolov

Candidate of Sociological Sciences, Professor, European University at St.Petersburg
Address: Gagarinskaya 6/1a, St.Petersburg, 191187, Russian Federation
E-mail: msokolov@eu.spb.ru

Maria Safonova

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, HSE University
Address: 55a Sedova str., St.Petersburg, 192171, Russian Federation
E-mail: safonovam@yandex.ru

What determines whether economists regard their colleagues' work as "important" or "meaningful"? While the normative answer is that professional recognition is based solely on the quality of published work, the sociology of science has uncovered other, potentially more insidious factors that influence the conferral of recognition. In this paper, we present the results of a reputation survey of 3563 Russian economists, aimed at identifying the factors that predict the nomination of certain figures as "making an important contribution to economic science". Our analysis reveals that the most significant predictor of recognition is specialization, particularly in relatively autonomous fields classified in Russia as branches of economics (such as accounting and agrarian economics). Votes were predominantly cast for other specialists in the same field, despite the survey request that participants name those who had made important contributions to Russian economics in general. Other factors influencing voting included (1) orientation towards academic localism or globalism, and the associated inclination to open market economy vs. autarchic national economic systems, and (2) the definition of "contribution to economic sciences" as purely academic or inclusive of participation in policy-making and public debates (borrowing from Ludvik Fleck, one can define the latter dimension as an opposition between "journal" and "newspaper" science). Although our findings reveal marked polarization, we do not find evidence of a total rejection of contributions by authors on other sides of intra-disciplinary divides.

Keywords: sociology of economics, sociology of science, economics in Russia, academic reputation, professional recognition

References

- Abbott A. (2019) Career stage and publication in American academia. *Sociologia, Problemas e Práticas*, vol. 90, no 1, pp. 9–30.
- Agafonov Yu.A., Sokolov M. M. (2023) Rossiyskaya politologiya v 2021 godu: Sotsial'nyy i intellektual'nyy landshaft. [Russian Political Science in 2021: Social and Intellectual Landscape]. *POLIS: Politicheskiye issledovaniya*, no 2, pp. 54-71. (In Russian)

- Belyanin A. V., Bessonov V. A. (2011) O rossiyskoy ekonomicheskoy nauke i nauchnom soobschestve [On Russian Economic Science and the Scientific Community]. *Ekonomicheskii zhurnal VShE*, vol. 15, no 2, pp. 265–268. (In Russian)
- Clemens E., Powell W., McIlwaine K., Okamoto D. (1995) Careers in Print: Books, Journals, and Scholarly Reputations. *The American Journal of Sociology*, vol. 101, no 2, pp. 433–494.
- Colander D., Klammer A. (1987) The making of an economist. *Journal of Economic Perspectives*, vol. 1, no 2, pp. 95–111.
- Cronin B. (1998) Metatheorizing citation. *Scientometrics*, vol. 43, no 1, pp. 45–55.
- Davis W. L. (1997) Economists' perceptions of their own research: A survey of the profession. *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 56, no 2, pp. 159–172.
- De Benedictis L., Di Maio M. (2011) Economists' views about the economy. Evidence from a survey of Italian economists. *Rivista Italiana degli Economisti*, vol. 16, no 1, pp. 37–84.
- Fourcade M. (2009) *Economists and Societies*, Princeton: Princeton University Press.
- Fuller D., Geide-Stevenson D. (2007) Consensus on economic issues: a survey of Republicans, Democrats and economists. *Eastern Economic Journal*, vol. 33, no 1, pp. 81–94.
- Goffman E. (1963) *Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings*, Glencoe: The Free Press.
- Goffman E. (1967) *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*, New York: Doubleday Anchor.
- Gouldner A. (1970) *The Coming Crisis of Western Sociology*, New York: Basic Books.
- Javdani M., Chang H. J. (2019) Who said or what said? Estimating ideological bias in views among economists. *IZA Discussion Papers*, no 127382019.
- Klammer A., van Dalen H. P. (2002) Attention and the art of scientific publishing. *Journal of Economic Methodology*, vol. 9, no 3, pp. 285–315.
- Knorr-Cetina K. D. (1991) Epistemic cultures: Forms of reason in science. *History of Political Economy*, vol. 23, no 1, pp. 105–122.
- Libman A., Zweynert J. (2019) Ceremonial science: The state of Russian economics seen through the lens of the work of 'Doctor of Science' candidates. *Economic Systems*, vol. 38, no 3, pp. 360–378.
- Lundberg S., Stearns J. (2019) Women in economics: Stalled progress. *Journal of Economic Perspectives*, vol. 33, no 1, pp. 3–22.
- MacKenzie D. (1978) Statistical theory and social interests: A case-study. *Social Studies of Science*, no 1, pp. 35–83.
- Maltsev A. A. (2016) Rossiyskoe soobschestvo ekonomistov: osobennosti i perspektivy [Russian Community of Economists: Characteristics and Perspectives]. *Voprosy ekonomiki*, no 11, pp. 135–158. (In Russian)
- Mayer T. (2001) The role of ideology in disagreements among economists: A quantitative analysis. *Journal of Economic Methodology*, vol. 8, no 2, pp. 253–273.
- Merton R. K. (1968) The Matthew Effect in Science. *Science*, vol. 159, no 3810, pp. 56–63.

- Merton R. K. (1988) The Matthew effect in science, II: Cumulative advantage and the symbolism of intellectual property. *Isis*, vol. 79, no 4, pp. 606-623.
- Newman M. E. (2006) Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 103, no 23, pp. 8577-8582.
- Polanyi M., Ziman J., Fuller S. (1962) The republic of science: its political and economic theory. *Minerva*, vol.1, no 1, pp. 54-73.
- Stephan P. E. (1996) The economics of science. *Journal of Economic Literature*, vol. 34, no 3, pp. 1199-1235.
- Safonova M. A., Sokolov M. M. (2021) Struktura polya rossiyskoy sotsiologii — 2020. [The Structure of the Field of Russian Sociology — 2020]. *Sotsiologicheskoye issledovaniya*, no 11, pp. 91-105. (In Russian)
- Sokolov M. (2019) The sources of academic localism and globalism in Russian sociology: The choice of professional ideologies and occupational niches among social scientists. *Current Sociology*, vol. 67, no 6, pp. 818-837.
- Sokolov M. M. (2020) Za predelami Hirsh-indeksa: statusnye signaly sredi rossiyskikh uchenykh. [Beyond the Hirsch Index: Status Signals Among Russian Scientists]. *Bibliosfera*, no 4, pp. 11-20. (In Russian)
- Sokolov M. M. (2021) Nauka kak tseremonial'nyy obmen: teoriya prostranstv vnimaniya, akademicheskogo statusa i simvolicheskoy bor'by. [Science as Ceremonial Exchange: The Theory of Attention Spaces, Academic Status, and Symbolic Struggle]. *Sotsiologicheskoye obozreniye*, vol. 20, no 3, pp. 9-42. (In Russian)
- Sokolov M. (2023) The art of ignoring others' work among academics. A guessing game model of scholarly information search. *Social Studies of Science*, vol. 53, no 2, pp. 300-312.
- Sokolov M. M., Chechik E. A. (2022) 'Akademicheskoye reputatsii rossiyskikh ekonomistov i ikh naukometricheskiye otsenki.' [Academic Reputations of Russian Economists and Their Scientometric Assessments]. *Voprosy ekonomiki*, no 11, pp. 117-135.
- Stinchcombe A. L. (1999) Making a Living in Sociology in the 21st Century (and the Intellectual Consequences of Making a Living). *Berkeley Journal of Sociology*, vol. 44, pp. 4-14.
- van Dalen H., Henkens K. (2005) Signals in science — On the importance of signaling in gaining attention in science. *Scientometrics*, vol. 64, no 1, pp. 209-233.
- Whitley R. (1984) *The Intellectual and Social Organization of the Sciences*, Oxford and New York: The Clarendon Press, Oxford University Press.

Приложение 1. Шкала академического глобализма-локализма

	Полностью не согласен				Полностью согласен
Российским экономистам следует стремиться к сохранению и развитию национальной традиции в экономической науке.	9.0	8.3	26.2	22.0	34.4
В области наук о человеке и обществе приоритет при оценке исследовательских достижений российских ученых должен быть отдан публикациями на русском языке	10.1	10.3	22.0	19.3	38.4
В своих исследованиях экономистам сегодня надо больше думать об описании фундаментальных принципов устройства общества, а не о решении проблем конкретных стран или предприятий.	19.1	15.9	34.1	15.3	15.6
Теории, созданные западными экономистами, многого не объясняют в российской жизни; нужно работать с собственными теоретическими моделями.	8.7	11.9	23.2	25.0	31.2
Эгоистичный и рациональный homo economicus представляет собой искаженную картину человеческой природы и в основном бесполезен для объяснения поведения в реальном мире.	12.1	17.1	31.2	19.7	19.8
Средний методический уровень статей в ведущих англоязычных журналах значительно выше, чем в ведущих российских, и молодых ученых следует учить ориентироваться на него.	22.9	15.9	24.3	20.2	16.7
Экономическое образование должно быть скорее ориентировано на передачу студентам прикладных знаний о том, как управлять предприятием или национальной экономикой, чем на трансляцию абстрактных теоретических моделей.	12.8	13.9	28.5	21.4	23.4
Проводя исследования, экономисты должны думать прежде всего об интересах своей страны и своего государства.	8.3	7.0	15.3	20.4	49.0
Многие достижения советской политэкономии были незаслуженно забыты в последующие годы.	6.0	8.0	21.0	22.3	42.7

По культурным и историческим причинам различий между тем, как устроены экономики разных стран, больше, чем сходств, поэтому рецепты экономической политики, разработанные для одних стран, чаще всего неприменимы в других.	4.7	12.4	26.8	31.8	24.3
Школьнику, который хотел бы заниматься экономической наукой, можно порекомендовать поступить в бакалавриат на физико-математические специальности, а перейти к изучению собственно экономики уже в магистратуре.	33.0	17.0	19.4	16.9	13.7
Говоря в целом, можно сказать, что сегодня мировая экономическая наука находится в глубоком кризисе.	14.2	21.4	28.8	20.1	15.5

Приложение 2. Шкала экономической открытости vs. автаркии

	Полностью не согласен				Полностью согласен
Центральный банк должен стремиться к снижению уровня инфляции; вопросами экономического роста или снижения безработицы должно заниматься правительство	11.1	10.8	20.3	28.8	29.0
Рост бюджетного дефицита всегда оказывает негативное воздействие на экономику	13.1	20.6	32.5	19.5	14.3
Приватизация государственных предприятий как правило повышает эффективность их деятельности	23.5	21.8	29.7	15.6	9.4
Снижение налогового бремени на доходы от капитала содействует экономическому росту	7.9	11.7	33.5	30.9	16.0
Производительность труда повышается, если рабочие могут непосредственно участвовать в управлении предприятием	6.8	14.8	26.4	30.4	21.6
Свободная рыночная экономика ведет к росту гендерной дискриминации.	30.2	26.8	22.3	13.5	7.1
Различия возраста выхода на пенсию для мужчин и для женщин экономически обоснованы	17.6	14.7	17.0	23.9	26.7
Пошлины и нетарифные барьеры для внешней торговли ведут к снижению экономического благосостояния	10.3	15.5	34.4	24.0	15.8
Дефицит внешнеторгового баланса оказывает негативное влияние на экономику	3.4	10.9	32.4	33.3	20.0

Введение определенных ограничений на трансграничное движение капитала необходимо для обеспечения экономической стабильности	4.6	9.8	25.3	37.0	23.3
Для экономического развития оптимальным является низкий уровень государственного и частного внешнего долга	6.5	13.6	35.8	27.2	16.9
Экономические санкции против России являются формой недобросовестной конкуренции со стороны западных стран, стремящихся под благовидным предлогом сдержать экономическое развитие нашей страны	10.8	7.3	13.0	21.3	47.6
Россия скорее выиграла, чем проиграла от вступления в ВТО.	18.1	20.4	32.9	19.0	9.7
Евразийская интеграция содействует экономическому развитию России.	4.0	7.5	24.1	37.9	26.5
Россия выиграла от согласия на списание долгов бедных стран.	25.1	25.8	32.8	10.8	5.5
Трудовая миграция из стран постсоветской Евразии создает больше преимуществ, чем проблем для России	18.6	23.6	27.1	21.4	9.3
Повышение пенсионного возраста в России являлось неизбежной мерой.	37.0	18.5	12.0	18.5	14.1
Важнейшей целью российского правительства должно быть снижение уровня неравенства	3.2	6.7	13.9	25.2	51.0
Защита окружающей среды должна быть приоритетной, даже если это приведет к замедлению экономического роста	7.5	12.0	31.6	26.8	22.1
Экономически Россия безусловно выиграла бы, в одностороннем порядке отменив введенные в 2014 году контрсанкции	24.4	21.3	25.9	13.8	14.6
Полный отказ от идеи плановой экономики и форсированный переход к рынку в 90-х были ошибкой	11.3	9.9	17.5	22.3	39.0
Доля частной собственности в бизнесе и производстве должна быть увеличена	13.9	17.8	26.3	21.2	20.8

От телесной онтологии к этике ненасилия: роль уязвимости как взаимозависимости в этико-политической мысли Джудит Батлер

Евгений Ненадышчук

Аспирант, магистр философских наук, факультет гуманитарных наук,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Старая Басманная, 21/4, Москва, 105066 Российская Федерация
E-mail: enenadyshchuk@hse.ru

За первые десятилетия XXI века проблематика уязвимости в связи с «аффективным поворотом» и ростом социальной, политической и экономической нестабильности стала предметом социальных наук, в том числе социальной и политической теории. Значительную роль в ее осмыслении внесли представители феминистской моральной и политической философии, описывающие уязвимость как универсальную и фундаментальную черту человека. В статье в предложенной американским философом Джудит Батлер телесной онтологии эксплицируется концепция уязвимости как онтологического состояния взаимозависимости и критически анализируется релевантность выведения из этой онтологии этико-политических обязательств. Для решения этой задачи используется метод концептуального анализа, позволяющий раскрыть понятийное содержание ключевых категорий телесной онтологии Батлер. Первая часть статьи посвящена рассмотрению реляционной телесной онтологии Батлер и ее связи с этико-политическими размышлениями философа, для чего выделяются два уровня: собственно онтологический и социальный. Во второй части анализируются три ключевые категории предложенной онтологии: взаимозависимость, уязвимость и прекарность. Описано применение этих категорий в критике либеральных представлений о субъекте как автономном, суверенном и независимом индивидууме. Наконец, в третьей части анализируется аргументация Батлер в обосновании этики ненасилия через обращение к состояниям уязвимости и взаимозависимости. На основе проведенного анализа автор приходит к выводам, что этика ненасилия для Батлер является средством проблематизации данных онтологических состояний с целью поддержки политического эгалитаризма и опровержения либеральных воззрений о человеке как отдельном индивидууме. Разработанная Батлер телесная онтология может стать успешным теоретическим инструментом как для критики устоявшихся представлений о социальной субъективности, так и для исследования фундаментальных оснований существования социума, которые остаются незаметными с позиции индивидуалистических взглядов на человека.

Ключевые слова: взаимозависимость, уязвимость, прекарность, прекарнизация, телесная онтология, Дж. Батлер

Начиная с 80-х годов XX века концепция уязвимости стала играть значительную роль в различных дискуссиях, сначала среди философов, а затем и исследователей в области гуманитарных и социальных наук, а также в повестке дня государственных и международных организаций. Такие философы, как Роберт Гудин (1985), Аласдайн Макинтайр (1999) и Аксель Хоннет (1996), использовали эту концепцию для размышлений над более широкими социальными, этическими и политическими вопросами. В начале XXI века осмысление уязвимости перемещается из об-

ласти философии в широкий круг социальных исследований, таких как теория права (Fineman, 2008; 2010), исследование прав человека (Turner, 2006), биоэтика (Thomson, 2017), экологические исследования, антропология и этнология (Farmer, 2004; Marino, Faas, 2020). Ее многочисленные применения учеными сегодня включают, помимо прочего, оценку рисков ситуаций бедности, безработицы или потери социального обеспечения (Castel, 2003), последствий изменения климата и стихийных бедствий (Thomas, Phillips, Lovekamp, Fothergill, 2013).

Современная социальная и политическая теория также ощутила влияние вопроса об уязвимости. Его актуализацию можно рассмотреть в контексте так называемого «аффективного поворота» (Clough, Halley, 2007), который поставил в центр дискуссий социальных наук проблематику тела и его связь с уязвимостью, а также с увеличением социальной незащищенности, глобальной политической неопределенности и экономических кризисов на протяжении первых двух десятилетий XXI века. Концепция уязвимости стала ценным аналитическим инструментом, раскрывающим условия несправедливости или ситуации насилия, которые часто упускаются из виду при использовании правового подхода, а также при описании современных режимов управления социальной незащищенностью и соответствующих форм субъективации (Lorey, 2015).

В ходе научной дискуссии были подняты вопросы о релевантности данной концепции для современной политической теории, поскольку выделение отдельных лиц или групп населения в категорию «уязвимых» не укрепляет их защищенность, а, наоборот, усиливает зависимость от практик патернализма. Согласно критикам, данное понимание уязвимости, будучи частью современных форм так называемого «гуманитаризма» (Murphy, 2011), наряду с пробуждением потребности в сострадании и защите (Chouliaraki, 2006), деполитизирует социальные причины неравенства и насилия. Иными словами, основной вопрос в проблематизации уязвимости заключается в том, как можно совместить хрупкое положение уязвимых лиц с возможностью для них социальных и политических изменений?

Проблема уязвимости стоит в центре важных дискуссий феминистски ориентированных философов в области моральной и политической философии. Ими были предложены различные подходы к пониманию уязвимости; одним из ключевых аспектов ее текущего осмысления является глубокий интерес к идее универсальной уязвимости, которая оказывается неотъемлемой характеристикой человеческого существа. Можно выделить четыре основных подхода феминистских исследований уязвимости: *правовой* (М. Файнман), *подход, основанный на возможностях* (М. Нуссбаум, К. Маккензи), *этика заботы* (Д. Тронто, К. Гиллиган) и *критическая феминистская теория* (Д. Батлер).

Файнман использует концепцию уязвимости для того, чтобы пролить свет на формы неравенства и дискриминации, лежащие в основе властных отношений, а также для критики дискурса индивидуальной ответственности и принципов минимального государства. Ее критика либерального политического субъекта при-

водит ее к защите идеала равенства, основанного на существовании ответственного и интервенционалистского государства (Fineman, 2008, 2010).

Подход, основанный на возможностях, фокусируется на том, что человек действительно способен сделать, а не только на том, что он имеет право делать. Этот подход признает, что способность человека использовать имеющиеся ресурсы и достигать своих целей варьируется в зависимости от внутренних особенностей человека и внешних обстоятельств, а не только от прав (Nussbaum, 2011). С другой стороны, дефицит способностей, с которым сталкиваются определенные группы или люди, приводит к так называемой патогенной, или проблемной уязвимости — отсюда важность существования общества, которое, помимо минимизации травм и удовлетворения основных потребностей, способствует развитию способностей (Mackenzie, 2014).

Сторонники *этики заботы* утверждают, что на протяжении всей нашей жизни мы остаемся зависимыми от других, могущих в любой момент подвергнуться уязвимости и попросить нас о помощи. Следовательно, необходимо рассматривать взаимозависимость как условие человечности и уделять первостепенное внимание взаимосвязи в моральном развитии или этическом суждении (Gilligan, 1982; Tronto, 1993). Представители данного подхода подчеркивают важность нормативного рассмотрения уязвимости человека, отстаивая моральное и политическое обязательство оказывать помощь уязвимым.

Теоретические размышления представителя *критического направления* Джудит Батлер об уязвимости как взаимозависимости представляет собой одно из самых влиятельных переосмыслений уязвимости в современной феминистской мысли (Butler, 2004a; Butler, 2004b; Butler, 2009; Butler, Athanasiou, 2013; Butler, 2015; Butler, Gambetti, Sabsay, 2016; Butler, 2018; Батлер, 2022). Батлер подчеркивает, что уязвимость часто рассматривается как состояние пассивности, на которое необходимо реагировать политическими и социальными мерами по защите, которые можно охарактеризовать как патерналистские (Butler, Gambetti, Sabsay, 2016: 1). Напротив, согласно американскому философу, существует такое измерение уязвимости, которое нельзя элиминировать никакими этико-политическими вмешательствами.

В своих работах Батлер приводит доводы в пользу этической и политической важности признания уязвимости, которая неизбежно сопутствует человеческому субъекту, поскольку он с самого начала зависит от других. Она пытается построить политическую этику ненасилия на основе универсальной уязвимости, проявляемой в реляционной телесной онтологии. Утверждение о том, что состояние уязвимости обладает нормативной силой, не является новым, поскольку оно имеет центральное, хотя и не бесспорное, значение для феминистских взглядов на уязвимость как моральную концепцию. Однако если другие феминистские теоретики, как правило, стремились разработать нормативные последствия уязвимости с точки зрения отдельных видов социальной уязвимости, имеющих ситуативную природу или несправедливое распределение благ, то для Батлер универсальная

уязвимость, присущая человеческому бытию, сама по себе обладает нормативной силой. Уязвимость свидетельствует о том, что «каждый из нас с самого начала отдан другим» (Butler, 2004a: 31). По мнению Батлер, такое состояние радикальной взаимозависимости влечет за собой то, что никакой субъект никогда не способен достичь благой жизни (good life) в роли самостоятельного, рационально мотивированного и полностью самопознающего агента.

После 11 сентября и в ответ на войну в Ираке Батлер в ряде своих трудов разрабатывала реляционную телесную онтологию, которая, как она надеется, подкрепляет приверженность эгалитарному социальному порядку. Такая онтология понимает воплощенную жизнь с точки зрения ее конститутивной уязвимости как взаимозависимости, что, по мнению Батлер, ведет к существенным этическим и политическим следствиям. Она утверждает, что из признания нашего общего телесного состояния следует, что необходимо отвергнуть насилие и бороться с неэгалитарным распределением уязвимости в обществе. Это означает, что этическая ответственность человека за Другого всегда зависит от его онтологического отношения к Другому. Иными словами, именно телесная онтология, предложенная Батлер, открывает ей возможности защиты этики ненасилия и эгалитарной политики.

Целью статьи является анализ концепции уязвимости как взаимозависимости и ее роли в обосновании этики ненасилия Батлер. Для этого сначала раскрывается предложенная Батлер телесная онтология и ее значение для этико-политической мысли философа. Затем эксплицируются три главных понятия в онтологии телесности Батлер: взаимозависимость, уязвимость и прекарность. В завершающей части исследуются доводы Батлер в пользу этики ненасилия через апелляцию к фундаментальным состояниям уязвимости и взаимозависимости.

Телесная онтология Батлер

Начиная с 2000-х годов поворот Батлер к проблематике уязвимости можно интерпретировать как попытку создать такую концепцию телесности, которая выступала бы против представлений о субъекте как самостоятельной, автономной и независимой сущности. Батлер утверждает, что телесность формируется исключительно из фундаментальной уязвимости, которая не сводится к простому способу причинения, а скорее, сама является воздействующей. Философ пытается развить в своих работах об уязвимости «новую телесную онтологию» (Butler, 2009: 2), в которой телесность и уязвимость неразрывно связаны (Ibid.: 33). Онтологические пресуппозиции Батлер должны стать отправной точкой для этико-политических действий двояким образом. Во-первых, они призваны способствовать распространению прав на людей и группы населения, находящихся в состоянии уязвимости, тем самым расширяя сферу их политических интересов. Во-вторых, новая онтология должна подтолкнуть к переосмыслению того, каким образом эти права будут обеспечены. Батлер считает, что недостаточно понимать их только

с точки зрения прав отдельных лиц, но необходимо также принять во внимание и обеспечить защиту социальных связей между людьми и условий для их благополучия.

Под онтологией Батлер понимает не построение теории о том, какие виды существностей существуют. Скорее, телесная онтология, которую она строит, — это описание того, что значит быть телом. В сущности, тело никогда не бывает чем-то замкнутым. На него всегда воздействуют извне, будь то другие люди, знакомые и незнакомые, далекие и близкие; социальные нормы и факторы окружающей среды. Тела, по сути, находятся «не только в векторе этих отношений, но и как сам этот вектор» (Butler, 2015: 84). Как таковое, рассуждает Батлер, тело не имеет сущности. Таким образом, онтология телесности является реляционной, описывающей фундаментальную зависимость одних тел по отношению к другим, а также к социальным нормам и условиям окружающей среды, при которых эти тела существуют.

Батлер тщательно старается отделить свою точку зрения от внеисторических теоретических конструкций, которые преуменьшают вклад социальных факторов в формировании телесности: «Ссылаться в этом отношении на “онтологию” не значит претендовать на описание фундаментальных структур бытия, отличных от любой социальной и политической организации. <...> Невозможно сначала определить онтологию тела, а затем обратиться к социальным значениям, которые оно принимает. Скорее, быть телом — значит быть подверженным социальному творчеству и форме, и именно это делает онтологию тела социальной онтологией» (Butler, 2009: 2-3). Так, разрабатываемая усилиями Батлер онтология разделяется на два уровня. Первый — это уровень «фундаментальных структур бытия», что делает возможным назвать его собственно «онтологическим». Любые концептуальные построения на онтологическом уровне в то же время всегда признают существование социального мира, поскольку объяснение воплощенного бытия будет тем правдоподобнее, когда оно учитывает, что каждое отдельное тело подвержено воздействиям социальных отношений вне его. Второй уровень можно считать «социальным», и здесь представлены нормы, локальные по отношению к их историческому контексту, которые описывают бытие общественных явлений, таких как социальные роли, политические (гражданство) и гендерные категории (мужчина, женщина) и т. д.

Таким образом, Батлер формулирует телесную онтологию, имманентную исторически изменчивым социальным условиям. На одном уровне она состоит из онтологических особенностей бытия телом. С другой стороны, философа также интересует, каким образом эти особенности преломляются на уровне социальных взаимодействий и какие следствия из них можно вывести для политической трансформации уязвимого положения незащищенных людей. В итоге онтология Батлер призвана дать такое переосмысление уязвимости и взаимозависимости человека, которое трансформировало бы правовой и политический статусы тех, кто находится в уязвимом положении, а также обратило бы внимание на полити-

ческие условия поддержки социальных отношений и условий, находящихся вне поля зрения индивидуалистически окрашенной политики.

В выстраиваемой телесной онтологии Батлер можно выделить три ключевые категории: взаимозависимость, уязвимость и прекарность. Батлер понимает их как конститутивные черты или условия воплощенной жизни. Далее будет рассмотрено, какую роль они играют в размышлениях Батлера на онтологическом и социальном уровнях предлагаемой философом онтологии.

Категории воплощенной онтологии Джудит Батлер

(Взаимо)зависимость

Когда говорят о зависимости и независимости как о человеческих состояниях, обычно имеют в виду периоды детства и взрослой жизни. Будучи в состоянии «незрелости», каждый человек полностью зависит от заботы со стороны других людей или, как считает Батлер, «никто из нас не приходит в мир как самодостаточные существа» (Butler, 2018: 246). «Взросление» сводится к преодолению этой зависимости, и таким образом «независимость» приобретает положительную ценность. Однако, согласно Батлер, в силу наличия нужд, которые могут быть удовлетворены или не удовлетворены, мы всегда материально зависимы от других существ, человеческих и не-человеческих (non-human), а также от условий окружающей среды (Butler, 2009: 19).

Хотя может показаться, что Батлер продвигает реляционный подход к воплощенному субъекту, она не просто утверждает, что у одних «я» есть отношения с другими «я», что каким-то образом определяет их, влияет на них или формирует из них воплощенные сущности. Как следует из рассмотрения тела-как-вектора, утверждение Батлер скорее заключается в том, что телесное «я» есть его «отношение к инаковости» (Butler, 2004b: 150); оно конституируется в этих отношениях и посредством них. Без формирования и разрывания связей с другими людьми (Butler, 2009: 182) никакой субъект просто не смог бы существовать. Наличие этих связей является условием возможности субъективности в социальном, эмоциональном и психологическом плане. Именно отношение к инаковости позволяет телесному субъекту желать, испытывать страсть, подвергаться влиянию других и воздействовать на них, а также действовать — и в целом существовать.

Такому пониманию реляционности воплощенного субъекта Батлер обязана идее экстазиса, которую она в своих ранних работах толкует как «быть вынесенным за пределы себя страстью» или быть «вне себя» (Butler, 2004b: 20). Для Батлер экстазис онтологичен: субъект с самого начала находится за пределами самого себя (Ibid.: 150). В книге «Психика власти» она исследует это с точки зрения психической субъективности. Батлер предполагает, что субъект впервые возникает в результате его «страстной привязанности» к тем, от кого зависит его выживание, к его первоначальным опекунам (Батлер, 2002: 20-21). Экстатическое существова-

ние субъекта продолжается по мере того, как он испытывает желание, страсть, горе, ярость или любовь, переживания, которые «отчуждают» (*dispose*) его, и по мере того, как его тело лишается чувств, поскольку тактильные, зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные способности «выводят нас за пределы самих себя» (Butler, 2015: 212). Однако быть «отчужденным» Другим — это не просто источник страданий, но также шанс на трансформацию, «шанс стать человеком» (Butler, 2005: 136). Таким образом, воплощенная взаимозависимость, о которой говорит Батлер, — это «экстатическая реляционность», являющаяся источником субъекта и несущая возможность как травмирующего опыта, так и порождения новых форм субъективации.

В более поздних трудах философ тесно связывает взаимозависимость с материальными условиями воплощения, поскольку по причине наличия потребностей, которые могут или не могут быть удовлетворены, в теле выражен определенный вид зависимости от «инфраструктуры», понимаемой как окружающая среда, социальные отношения и сети поддержки и жизнеобеспечения (Butler, Gambetti, Sabsay, 2016: 21). Самодостаточность, независимость и автономность отдельного субъекта есть иллюзия, поскольку все эти состояния никогда полностью не могут быть гарантированы. Тот, кто достигает некоторой степени самодостаточности, делает это только путем опоры на материальную инфраструктуру, обеспеченную политическими и экономическими средствами. Даже способность человека стоять зависит от существующей поверхности, которая обеспечивает возможность достижения баланса и подвижности (Butler, 2018: 246-47).

Пример способности стоять предполагает два разных значения зависимости. Можно говорить как о конкретных социальных зависимостях, так и о более фундаментальной онтологической взаимозависимости. Имеет индивид возможность стоять или нет, зависит от того, как устроены социальные пространства, чтобы по ним можно было перемещаться, и кто на это имеет право. Иными словами, человек зависит от своего окружения различными исторически детерминированными способами. Но в их основе лежит онтологическая зависимость. Чтобы стоять, каждый так или иначе неизбежно должен опираться на ту или иную поверхность. Здесь необходимость опираться относится к онтологической зависимости, а вариабельность поверхностей — к социальной. Таким образом, если онтологическая зависимость выражает тот факт, что быть воплощенным существом — значит всегда быть зависимым от материальных условий в мире, то социальная зависимость проявляется в том, как эти условия представлены в тех или иных социально-исторических констелляциях.

Тщательное акцентирование внимания на взаимозависимости для Батлер служит способом критиковать либеральный индивидуализм, который часто предполагается в современной политике и философии. Батлер делает замечание об отношении между идеалом абсолютной самодостаточности и осознанием изначальной зависимости: «Возможно, кто-то, у кого развито сильное чувство индивидуальной самодостаточности, будет оскорблен тем фактом, что было время, когда он

не мог самостоятельно питаться или стоять, ни на кого не опираясь. Однако я хочу сказать, что никто на самом деле не стоит сам и, строго говоря, никто сам не питается» (Батлер, 2022: 50). Идея зависимости может показаться оскорбительной, тревожной и неприемлемой. Но решение этой проблемы состоит не в том, чтобы подавить осознание нашей взаимозависимости, а в том, чтобы увидеть, что фантазии о неуязвимости, непроницаемости и полной самодостаточности не только несостоятельны, но и в конечном счете нежелательны.

Можно также отметить, что Батлер стремится усложнить понимание того, в каком смысле люди как воплощенные существа являются отдельными индивидами: «Кажущаяся обособленность тел служит для маскировки того, как они постоянно зависят от других тел и в этом отношении неразрывно связаны с ними: ...если мы примем то, что часть того, чем является тело, заключена в его зависимости от других тел — от жизненных процессов, частью которых оно является, от сетей поддержки, в которые оно тоже вносит свой вклад, — в таком случае мы утверждаем: неверно мыслить индивидуальные тела как полностью отдельные друг от друга. И точно так же неверно мыслить их как целиком слитые друг с другом, нераздельные» (Батлер, 2022: 208).

Результатом такого понимания становится то, что индивидуальное тело больше нельзя считать «фундаментальной сущностью политики», как это делают, по мнению Батлер, сторонники политического либерализма. Напротив, для нее равенство — это «характеристика социальных отношений, которая зависит в своей артикуляции от все более общепризнанной взаимозависимости — отбрасывания понимания тела как “единицы”, чтобы понять свои границы как реляционные и социальные затруднительные положения» (Butler, 2009: 45). Даже если было бы возможно решить вопрос о границах индивида, все равно было бы не просто отбросить замечание Батлер, что индивидуум не может быть единственным объектом социальной защиты, потому что быть индивидуальным телом — значит зависеть от условий за пределами своих телесных границ. Чтобы бороться с несправедливостью, присущей текущим социальным устройствам, необходимо переосмыслить тело, оспорить притязания индивидуализма и признать фундаментальную взаимозависимость, благодаря которой любая жизнь продолжает существовать.

Для обоснования этических следствий и политических действий, вытекающих из онтологических отношений взаимозависимости, Батлер обращается к взглядам французского философа Эммануэля Левинаса и указывает, что, согласно его концепции, Другой занимает позицию этического приоритета над Я-субъективностью: «По Левинасу, те, кто воздействует на нас, очевидно, являются для нас другими; мы связаны с ними, потому что они не похожи на нас» (Butler, 2015: 106). Для него взаимность не может быть основой этики, и этическое отношение к Другому не является чем-то таким, что вытекает из совместного с ним пребывания в мире. Скорее, в этическом отношении присутствует фундаментальная асимметрия. Однако Батлер подвергает сомнению это представление, спрашивая: «Разве у другого нет точно та-

кого же обязательства по отношению ко мне? Почему я должна быть обязана перед другим, который не имеет взаимных обязательств передо мной?» (Ibid.: 108). Батлер дистанцируется от Левинаса, утверждая, что наша зависимость от мира других и социальности собственно и конституирует этические отношения. По мнению Батлер, Другой и Я-субъект взаимосвязаны сильнее, чем допускает французский мыслитель: «...существуют, конечно, другие, отличные от меня, чье этическое воззвание ко мне не сводится к эгоистическому расчету. Но объясняется это тем, что, несмотря на наши отличия, мы в то же время связаны друг с другом и жизненными процессами, выходящими за пределы человеческой формы» (Ibid.). Если для Левинаса этика предшествует онтологии, то для Батлер она вытекает из онтологии, состоящей из человеческих и более-чем-человеческих (то есть экологических) отелесненных отношений. Батлер разделяет с ним идею о том, что этическое требование — это призыв, который не может быть отброшен сознательным выбором индивида. Но в этом смысле этический призыв Другого не навязывается субъекту извне, скорее, субъект способен принять это требование, прежде чем ответить на него, из-за своей онтологической конституированности другими.

Таким образом, для Батлер благодаря наличию телесности состояние зависимости человека не ограничивается каким-либо периодом, а продолжается на протяжении всей его жизни. Быть телом, значит вступать во взаимоотношения, конституирующие субъективность и поддерживающие существование в мире. Материальная инфраструктура как условие взаимоподдержки связанных жизней выражает онтологическую взаимозависимость, в то время как социальная организация этих условий представляет социальную зависимость. Признание фундаментальной взаимозависимости должно привести к этическому переосмыслению и политическому изменению тех условий существования, в которых пребывает каждый человек.

Уязвимость

В общераспространенном смысле под «уязвимостью» понимается подверженность травмам (физическим или иным), возможность быть раненым или подвергнуться насилию. Однако Батлер старается сопротивляться любому прямому сведению уязвимости к травмированности (Butler, 2009: 34). Ее предположение состоит в том, что существует широкое понимание уязвимости, которое делает возможным любое причинение вреда. Ранимость — это только одна сторона уязвимости: «тело, существующее в своей незащищенности и близости к другим, к внешней силе, ко всему, что может подчинить его, уязвимо для повреждений; травма — это использование этой уязвимости» (Ibid.: 61). Это фундаментальное воздействие и есть то, что Батлер называет «первичной уязвимостью по отношению к другим» (Butler, 2004a: xiv). В рамках онтологического/социального различия эта первичная уязвимость носит онтологический характер, а более конкретные модальности, которые она делает возможными, это социальные уязвимости.

Одной из таких модальностей, собственно, и является уязвимость к травмам или вреду; некоторые люди могут быть более уязвимы к определенным видам травм, чем другие. Однако это далеко не единственная модальность социальной уязвимости в концепции Батлер. В социальном мире ни одно тело не уязвимо точно так же, как другое. Можно быть уязвимым по-разному, и несмотря на то, что телесная уязвимость может выражаться в насилии, тем не менее всегда остается возможность для ненасильственного отношения к уязвимости других. Онтологическая уязвимость — это невозможность причинять вред, а, как и взаимозависимость, представляет из себя общее состояние «открытости и близости к другим» — к «навязчивой инаковости», с которой «сталкивается» тело (Butler, 2009: 34). Уязвимость как состояние необходимости быть «открытым для других» (Ibid.: 33), как и в случае с взаимозависимостью, не является чем-то плохим, тем, что необходимо отрицать или избегать. Мы все одинаково «уязвимы» в онтологическом смысле, но не все одинаково «уязвимы» в социальном смысле. Более того, критика Батлер социального насилия и неравенства предполагает обращение к общему онтологическому состоянию. Уязвимость становится продолжением рождения, поскольку выживание каждого зависит от взаимозависимости между людьми, что подразумевает постоянно воспроизводимые социальные отношения и благоприятные условия для существования.

В противоположность тому, что следовало ожидать, Батлер утверждает, что уязвимость не может «служить основанием для политики» (Батлер, 2022: 197). Это заявление может показаться странным, учитывая, что Батлер постоянно делает политические заявления, подкрепленные онтологией, в которой уязвимость является конститутивной чертой воплощенной жизни. Однако при более тщательном рассмотрении эти позиции не являются несовместимыми. Скорее наоборот, «политика уязвимости», против которой выступает Батлер, в некоторых отношениях ближе к критикуемому ею индивидуализму, чем к ее собственной позиции. Проблематичным Батлер считает «рассуждение об “уязвимых группах” или “уязвимом населении”, которое создает “класс людей, идентифицирующих себя в первую очередь с уязвимостью”» (Ibid.). Батлер выдвигает три возражения против этой модели политики. Во-первых, она допускает патерналистское принуждение якобы в интересах «уязвимых». Во-вторых, она имплицитно опирается на бинарную оппозицию между действием и уязвимостью, дающую право на патерналистское вмешательство. Уязвимые группы считаются лишенными свободы воли, и цель политических действий состоит в том, чтобы они ее достигли. Наконец, эта позиция трактует уязвимость как атрибут, которым индивидуум может обладать или не обладать, но который затем рассматривается как определяющее для конкретных групп индивидуумов (Ibid.: 197-212). «Политика уязвимости» может показаться способом сделать именно то, что требует Батлер, — признать фундаментальную уязвимость. Но делает это искаженным образом, неверно определяя и неправильно истолковывая это состояние. Ошибка состоит в том, чтобы пытаться обосновать политику на конкретной социальной форме уязвимости. Эта уязвимость

вполне может быть реальной, и ее устранение может быть политически неотложным. Но ее не следует смешивать с онтологической уязвимостью, являющейся не свойством, которое может иметь или не иметь индивидуум, а универсальным состоянием воплощения.

Таким образом, Батлер понимает уязвимость как фундаментальное состояние открытости к Другому (что объединяет ее с взаимозависимостью) и возникающие на ее основе, но несводимые к ней различные формы социальной уязвимости. Из-за амбивалентной природы первичной уязвимости она может служить источником как насилия и несправедливости, так и формирования более благоприятных для всех форм сообщества. Несмотря на это, не следует полагать уязвимость как условие, от которого можно полностью избавиться, поскольку, как и взаимозависимость, первичная уязвимость является фундаментом для существования социального мира.

Прекарность и прекаризация

В работе «Рамки войны» для различения уязвимости, свойственной каждому человеку в связи с его воплощенным состоянием, и уязвимости, вызванной неодинаковым распределением ресурсов, возможностей и условий, Батлер концептуально разделяет «прекарность» (*precariousness*) и «прекаризацию» (*precarity*). Батлер определяет «прекарность» как экзистенциальное состояние, свидетельствующее об общей уязвимости, присущей всем живым существам (Butler, 2009: 3). Философ трактует ее как тот факт, что «жизнь требует поддержания как жизни» (*Ibid.*: 14). Этот факт является совершенно общим и безразличным к вопросу о том, действительно ли эти условия выполняются для конкретного индивида или групп населения. Следовательно, Батлер говорит о прекарности как онтологическом состоянии уязвимости.

«Прекаризация», с другой стороны, обозначает «политически индуцированное состояние», при котором определенные группы населения страдают от недостатка средств к существованию, сетей социальной и экономической поддержки и от по-разному подверженных более высокому риску причинения вреда, насилия и смерти, то есть случаев максимального состояния прекарности (Butler, 2009: 25, 46). Иными словами, под прекаризацией следует понимать неравномерное распределение уязвимости среди различных групп общества вследствие неравного доступа к поддерживающей жизнь материальной инфраструктуре и правовой защищенности. Обращаясь к мысли Мишеля Фуко, Батлер недвусмысленно связывает прекаризацию с биополитикой как совокупностью политических практик управления населением, как с «силами, которые по-разному подвергают жизни опасности и которые устанавливают набор мер для дифференцированной оценки самой жизни» (Butler, 2015: 196). Таким образом, в отличие от более общего понятия прекарности как возможности для любого существа подвергнуться уязвимости, прекаризация относится к такому виду политики, в результате которой жизни

одних индивидов рассматриваются как менее значимые и достойные поддержки, чем жизни других.

Как можно заметить, понятия прекарности и прекаризации применяются Батлер довольно своеобразно. С социологической точки зрения концепция прекаризации была использована главным образом для обозначения «финансовой и экзистенциальной незащищенности, возникающей в результате гибкости рынка труда» в условиях постфордизма (Brophy, de Peuter, 2007: 180). Несомненно, в том, как Батлер употребляет понятие прекаризации, есть отголоски общеупотребительного значения: например, как в случае с «одноразовой» или расходной (*disposable or expendable*) рабочей силой (Butler, 2015: 201). Однако Батлер употребляет данный термин несколько иным и потенциально более амбициозным способом, чтобы охватить не только прекаризацию, возникающую в результате изменения условий труда, но и как способ описания различных форм «нежизнеспособности» (*unliveability*) (Ibid.: 69), которые оставляют «социально закрепленную одноразовость» (*disposability*) (Butler, Athanasiou, 2013: 19). Для Батлер прекаризация означает политически обусловленное состояние смертоносности, повышенного риска, опасности для жизни и угрозы для определенных групп населения. Можно предположить, что философ использует данное понятие для того, чтобы провести различие между первичной уязвимостью, онтологическим состоянием открытости Другому, разделяемой всеми, и конкретными историческими условиями незащищенности, с которыми сталкиваются конкретные индивиды и группы населения. В своих работах и выступлениях Батлер приводит примеры условий, которые квалифицируются как случай прекаризации: произвольное государственное насилие, неэффективные сети социальной и экономической поддержки (Butler, 2009: 25-26); ситуации войны, оккупации, тюремного заключения и вынужденной эмиграции (Butler, 2015: 99); риск безработицы, бездомности и неоказания медицинской помощи (Ibid.: 142).

Батлер предполагает, что неравное распределение прекаризации является проблемой узнавания (*recognisability*) человека (Butler, 2009: 25, 46). По ее мнению, социальные нормы структурируют восприятие, разграничивая тех, кого можно воспринимать как полноценных людей, и, таким образом, распределение прав и материальных благ частично определяется полем возможного восприятия. Точка зрения Батлер состоит в том, что структурирование поля восприятия может лежать в основе и узаконивать формы насилия, повышающие риск усиления уязвимости для определенных групп населения. Выражаясь терминологией Батлер, эта проблема сосредоточена на взаимосвязи «признания–узнавания». Опираясь на Гегеля, она предлагает понимать признание как «практику, принимаемую как минимум двумя субъектами», которая представляет собой взаимное действие, тогда как узнавание — это термин, обозначающий «те общие условия, на основе которых признание может иметь место и действительно его имеет» (Butler, 2009: 6). Таким образом, «нормы узнавания подготавливают путь к признанию» (Ibid.: 7). Точка зрения Батлер заключается в том, что эти нормы

определяют, кто имеет право на признание; кто «узнается» как «человек». Для философа существует прямая связь между отношением признание/узнавание и прекарризацией, которая заключается в том, что «дифференциальное распределение норм узнавания непосредственно подразумевает дифференциальное распределение прекарризации» (Butler, Athanasiou, 2013: 89). Следовательно, выявляя нормы, определяющие, кого можно признать полноценным человеком, можно понять, как эти нормы инициируют прекарризацию, что должно вести, согласно Батлер, к их трансформации и более эгалитарному (минимальному) распределению прекарризации.

В поисках возможности преодоления прекарризации Батлер обращается к идеям политической философии Ханны Арендт: во-первых, к концепции реляционного, несuverенного и множественного политического субъекта; во-вторых, к понятию о невыбранном сожительстве с другими и его этико-политических следствиях. Батлер подчеркивает, что Арендт понимает свободу не как независимость, суверенитет, естественную или правовую способность, а как реляционное существование с равными другими: «У Арендт я принимаю следующее: свобода не достигается индивидуально; она является отношением между нами или даже — среди нас... С точки зрения Арендт, нет человека, если нет равенства. Ни один человек не может быть человеком в одиночку. И ни один человек не может быть человеком, не действуя вместе с другими и на условиях равенства» (Butler, 2015: 88).

Батлер также ясно дает понять, что признание избранного элемента совместного проживания является для Арендт условием существования в качестве этических и политических субъектов. Комментируя аргумент Арендт против политики геноцида Эйхмана, Батлер утверждает, что «ни у кого нет исключительного права выбирать, с кем жить на Земле» (Butler, 2015: 120). Отсюда философ делает вывод, что одним из условий свободы является невыбранная совместная жизнь (Ibid.: 112). В то же время она также предлагает критическое прочтение Арендт, отвергая радикальность различия между приватной и публичной сферой и обнаруживая возможность в первой возникновения измерения политического, связанного с поддержкой прекарной жизни.

Точка зрения Батлер заключается в том, что этические обязательства перед невыбранными другими должны быть основаны на понимании прекарности человека и его потребностей как телесного существа. Кроме того, Батлер также намеревается выйти за пределы «антропоцентристского» характера этико-политического сожительства Арендт, добавляя к ней экологическое измерение *невыбранных нечеловеческих других* и жизненных условий: «Если мы пытаемся понять в конкретных терминах, что значит принимать на себя обязательства по сохранению жизни другого, мы неизменно сталкиваемся с телесными условиями жизни, а потому и с обязательством поддерживать не только телесное существование другого, но и все условия среды, благодаря которым жизнь делается возможной» (Ibid.: 118). Следовательно, согласно философу, из фундаментальной прекарности вытекает требование равной поддержки всякой жизни. Такое онтологическое

основание в качестве нормативного принципа должно стать путеводной нитью для политики, которая обеспечила бы условия благополучия всех форм жизни, и в первую очередь защитила бы те, что наиболее явным образом подвержены смерти и уязвимости.

Против узкого понимания Арендт политики Батлер выдвигает аргумент о важности признания сетей поддержки человеческих жизней как места возникновения политического конфликта. Согласно ей, Арендт рассматривает условия воспроизводства прекарной жизни одновременно как необходимые для поддержания публичной сферы как пространства политического, так и одновременно исключаемые из нее. Напротив, по мнению Батлер, эти условия и их конфигурации не просто служат дополитическим фундаментом политического, но входят в само его определение и сами являются предметом политики (Butler, 2015: 205-206). Кроме того, Батлер также предлагает критическое прочтение Арендт в той мере, в какой взаимосвязь между прекаризацией и властью была недостаточно освещена последней, особенно в контексте частной сферы. Арендт оставляет без внимания требования по снижению опасного положения уязвимых групп, которые, как считается, являются предметом частной жизни, не замечая, что само отнесение их туда уже есть политическое решение. В этом смысле точка зрения Батлер заключается в том, что наши этические обязательства перед невыбранными другими также основаны на понимании прекарности нашего тела. Философ подчеркивает, что тело с его потребностями находится не просто в экзистенциальном состоянии, но также и в политическом, поскольку телесные потребности представлены и выражены в общественном пространстве неодинаково, и, следовательно, всегда уже политически определенным способом (Ibid.: 119). Таким образом, Батлер считает, что этико-политические обязательства по борьбе с прекаризацией возникают в рамках материальной инфраструктуры поддержки совместного существования, равномерное распределение которой является одновременно и условием существования социального и политического, и результатом политической борьбы.

Батлер вводит понятие прекарности, описывающее исходную уязвимость и политически индуцированную прекаризацию, отражающее неравные шансы подвергнуться травмам и насилию как крайним случаям прекарности, чтобы отделить конститутивную онтологическую уязвимость от отдельных случаев социальной уязвимости. Прекаризация осуществляется с помощью социально специфичных норм узнавания, дарующих человеку быть признанным полноправным членом общества. Обращаясь к экспликации онтологических взаимозависимости и уязвимости на уровне их преломления в социуме, Батлер предлагает критику текущего биополитического порядка, характеризующегося неравномерным распределением вреда для ряда групп населения и исключенных из сетей поддержки, делающих жизнь относительно безопасной и стабильной. Философ предлагает развенчать иллюзию самодостаточного, автономного и независимого существования человека без постоянной поддержки широкого круга других людей, существ и условий окружающей среды. Для Батлер прекарность как онтологическая уязви-

мость связывает любую жизнь друг с другом и всегда преломлена в социальных институтах, в рамках которых она существует и которые должны гарантировать условия, делающие ее устойчивой. Опираясь на идеи Арендт о реляционном субъекте и невыбранном сожителе, одновременно деконструируя разделение между публичной и частной сферами, Батлер рассматривает политику как обеспечение условий существования любой жизни. Благодаря тому, что каждый индивид зависит от другого и радикально открыт к его воздействию, философ считает фундаментальную взаимозависимость и уязвимость как предпосылки для равенства всех людей, что подразумевает эгалитарную политику и этические обязательства, направленные на изменение неравных рисков оказаться вне достаточных условий благой жизни.

Уязвимость как взаимозависимость и этика ненасилия

Какие следствия можно извлечь из экспликации телесной онтологии Батлер? Философ пытается перейти к этике ненасилия из состояний взаимозависимости и уязвимости, которые являются опорным условием воплощенной жизни. Батлер утверждает, что насилию на фундаментальном уровне подвергаются не столько отдельные личности, сколько сама взаимозависимость, обеспечивающая их существование (Батлер, 2022: 25). Защита Батлер этики ненасилия основывается на следующем утверждении: нападая на Другого, человек нападает на самого себя. Такая позиция — это не просто распространенная идея о том, что «насилие порождает насилие». Скорее, философ утверждает, что акты насилия против «уз», которые частично составляют агента этого насилия, несут вред ему самому. Насильственный акт против Другого — это прямое насилие над самим собой, потому что «Я» человека зависит от его связи с Другим.

На первый взгляд данный аргумент не кажется верным. Интуитивная, широко распространенная точка зрения состоит в том, что насилие оправдано только в том случае, если оно совершается в целях самообороны. Напротив, Батлер считает, что «Я», которое нужно защищать в таких случаях, нельзя прямо отделить от Другого. Возможно, этот аргумент должен иметь силу даже для более или менее эгоистичного агента, который еще не признает притязаний других. Если агент осознает свою зависимость от других и далее признает, что насилие является посягательством на взаимозависимость, на социальные связи, которые поддерживают его существование, он тем самым признает, что не существует причины для совершения насилия; насилие, которое он применяет к другим, влияет и на него самого. Однако внимательный критик нашел бы, что Батлер здесь смешивает онтологический и социальный уровни взаимозависимости. Аргумент, кажется, призывает к идее прекращения разрушения отношений взаимозависимости как таковых — не того или иного конкретного состояния зависимости, той или иной социальной связи, а всего социального мира. Как утверждает Батлер, «самость, стремящаяся к самосохранению посредством насилия, оказывается безмирной, угрожая этому

миру» (Батлер, 2022: 162). Но что означает для кого-либо пребывать вне условий данного мира?

Если онтологическая взаимозависимость является частью того, что значит быть живым существом, тогда нападение на эту взаимозависимость как таковую было бы равносильно угрозе самому существованию. Разрушение взаимозависимости означало бы уничтожение мира, и такие возможности действительно существуют, как, например, в случае экологической катастрофы или ядерной войны. Однако здесь обращение к взаимозависимости становится излишним. Это случаи, когда самодеструктивный характер человеческого насилия совершенно прозрачен. Не нужно отдельно признавать онтологическую взаимозависимость, чтобы осознать, что такие сценарии могут полностью разрушить условия жизни.

С другой стороны, если понимать аргумент как обращение к идее онтологической взаимозависимости, необходимо всегда отмечать, каким именно социальным связям угрожает конкретный акт насилия. Ибо почему агент, поступающий эгоистично, не должен быть готов принять насилие над собой, если оно будет компенсировано какой-то выгодой, особенно если разрыв той или иной социальной связи вряд ли окажет на него большое влияние? Можно согласиться, что все люди являются взаимозависимыми существами и что нет строгих границ между «я» и другими. Но из этого не следует, что каких-либо границ вообще не существует или что «я» не может пережить разрушение определенных социальных связей, от которых оно зависит и которые связывают его с другими.

Конкретные социальные зависимости, которые есть у каждого, асимметричны. Так, можно привести пример несправедливых отношений между руководителем коммерческой фирмы и работниками на его предприятии, которое зависит от них в получении прибыли. В свою очередь, все средства к существованию рабочих зависят от заработной платы, поддерживаемой их работодателем на довольно низком уровне. Здесь не очевидно, в каком смысле эксплуатация рабочих в такой ситуации также будет насилием в отношении их руководителя. Кроме того, даже если агент распознает всеобщую взаимозависимость и собственную уязвимость, как их понимает Батлер, неизвестно, даст ли это ему какую-либо новую и преобладающую мотивацию к ненасильственным действиям. Возможно, что существуют такие вредоносные и несправедливые отношения социальной зависимости, поддерживающие жизнь, и социальное положение тех, кто их инициирует. Если это так, то совершенно непонятно, как признание зависимости может побудить таких агентов отказаться от совершения актов несправедливости.

Такие соображения приводят к более общему беспокойству по поводу задачи, решением которой занимается Батлер, а именно переходу от следствий, вытекающих из телесной реляционной онтологии к этическим требованиям, основанным на признании фундаментальной взаимозависимости. Никакое конкретное устройство общества не может вступать в «противоречие» с онтологическим условием взаимозависимости и уязвимости, поэтому последнее не налагает ограничений на первое. Онтологическая взаимозависимость — это не то, на что можно напасть

или что можно разрушить, кроме как в том смысле, что можно разрушить саму жизнь. Ее защита не может быть превращена в политическую цель, и она не дает указаний относительно того, какую политику следует предпочесть. Каково бы ни было социальное распределение прекаризации, онтологическое состояние любого человека остается нетронутым, поскольку оно является фоновым условием любого общества. Поэтому вполне обоснованно относиться с сомнением к усилиям Батлер по выведению этических утверждений из онтологии, чей статус в лучшем случае лишь дескриптивный.

Попробуем реконструировать возможный ответ Батлер на эти возражения. Хотя отношения между онтологией и этическими обязательствами не являются прямыми, с точки зрения Батлер, они также не могут быть прямо разделены. Согласно позиции философа, состояния фундаментальной взаимозависимости и уязвимости могут стать очевидными и признанными, однако они постоянно отрицаются, и их признание предполагает поддержание определенного практического отношения к ним. Это означает, что, хотя Батлер отдает онтологии определенный приоритет, она не пытается напрямую вывести долженствование из сущего. Нормативность, которой занимается Батлер, находится в отношении признания: действовать таким образом, чтобы признать онтологическое состояние человека, этически лучше, чем действовать так, чтобы его отрицать. Более того, способ признания онтологической уязвимости будет иметь различные последствия для значимых и привлекательных в сообществе общественно-политических возможностей и идеалов. Отрицание онтологической взаимозависимости является этически неправильным, но оно также побуждает оставаться во власти иллюзорных и несправедливых идеалов.

Следовательно, можно предположить, что для Батлер настойчивое подчеркивание человеческой взаимозависимости и уязвимости — это способ честно и без уклончивости потребовать на них ответа. Хотя Батлер признает, что «кто-то вполне может сопротивляться этому утверждению», она считает, что, если мы начнем искренне реагировать на него, «будет труднее принять насилие как само собой разумеющийся социальный факт» (Butler, 2009: 166-167). Таким образом, реляционная онтология тела Батлер предназначена для поддержки этических и политических требований, помогая замечать и отвечать на вызовы, предъявляемые к нам нашей же взаимозависимостью и уязвимостью. По мнению Батлер, что подлинная реакция на эти фундаментальные состояния будет включать в себя ненасильственные способы поведения: «Ненасилие в таком случае будет признанием этих социальных отношений, сколь бы обременительными они ни были, и утверждением нормативных устремлений, которые вытекают из этой первичной социальной связанности» (Батлер, 2022: 18). Более того, такие состояния нуждаются в признании не только в индивидуальных этических действиях, но и через политические институты: «Политическая организация самой жизни требует, чтобы эта взаимозависимость — и равенство, которое она предполагает, — находили признание в политике, институтах гражданского общества и государстве» (Ibid.: 56).

Так же следует понимать утверждение Батлер о наличии «фундаментальной уязвимости по отношению к другим, от которой нельзя избавиться, не переставая быть людьми» (Butler, 2004a: xiv). Здесь стоит выделить два пункта. Во-первых, это знакомое онтологическое утверждение о том, что уязвимость по отношению к другим конститутивна для того, чтобы быть живым и воплощенным. Нельзя найти такого человека, который был бы неуязвим для других. В этом смысле желание избавиться от своей уязвимости попросту неосуществимо. Если бы это стало возможным, то такой индивид прекратил бы свое существование как живое существо и как человек, поэтому стремление к такому состоянию всегда является чистой фантазией. Во-вторых, здесь есть и этическая пресуппозиция, которая обращается к иному использованию понятия «человек». Поддаться иллюзии об абсолютной независимости, значит отречься от своей человечности, то есть стать бесчеловечным: такую независимость человек рискует осуществить насильственно в господстве над другими, и мотивация этой иллюзии частично возникает из беспокойства, сопровождающего уязвимость по отношению к другим.

Таким образом, хотя попытки Батлер вывести этические обязательства напрямую из состояния онтологической взаимозависимости нельзя назвать строго обоснованными, тем не менее ее телесная онтология может предложить поддержку учитывающих в большей степени зависимое и уязвимое состояние человека этико-политическим нарративам, противостоящим идеалам независимости, неуязвимости и самодостаточности. Выставление на первый план универсального онтологического состояния взаимозависимости и уязвимости привело бы к открытию возможностей противодействия насилию и несправедливости, которые не могут быть реализованы при господстве индивидуалистических представлений о человеке, закрывающих глаза на его взаимозависимое и уязвимое положение. Кроме того, Батлер предлагает трансиндивидуальный взгляд на этику и политику, проливающий свет на отношения и условия жизни, находящиеся «между» людьми. Поскольку тело всегда уже в общении с другими, его границы открыты и проницаемы, поэтому недостаточно думать об этике и политике только с точки зрения действий и судеб отдельных индивидуумов без внимания к тем основаниям, которые и делают их существование возможным.

Заключение

Понятие «уязвимость» приобрело популярность в ряде социогуманитарных исследований благодаря своему эвристическому потенциалу к прояснению вопросов несправедливости, насилия и политики управления социальной незащищенностью. Весомый вклад в осмысление уязвимости внесли представители феминистской теории, рассматривающие ее как источник социальных и политических трансформаций. Среди этих исследователей выделяются работы Джудит Батлер, для которой уязвимость свидетельствует об онтологической взаимозависимости

человека, что предполагает критику либерального индивидуализма и создание более справедливых форм сообщества.

В ходе исследования нами была рассмотрена предложенная Батлер телесная онтология, в которой телесность человека связывается с состояниями взаимозависимости и уязвимости. Мы показали, что такая связь может пониматься через двухуровневую структуру: как на уровне фундаментальных онтологических условий воплощения, так и на уровне конкретных социальных ситуаций. Через построение такой онтологии Батлер пытается предложить теоретические основания для преобразования положения уязвимых групп и для смещения взгляда с политики относительно отдельных индивидов на политику трансиндивидуальных отношений.

Онтологическую взаимозависимость следует понимать как материальную инфраструктуру взаимоподдержки воплощенных жизней, тогда как социальная организация этой инфраструктуры представляет собой социальную зависимость, которая, согласно Батлер, контингентна и может быть преобразована. В свою очередь, Батлер выделяет уязвимость как фундаментальное состояние разомкнутости к интерперсональным отношениям, которое может стать почвой как для насильственных действий и актов несправедливости, так и для образования более гармоничных видов сообщества.

Для более точного отделения онтологической уязвимости от социальной уязвимости Батлер предлагает концепции прекарности как изначальной уязвимости и прекаризации как неравномерного распределения уязвимости, осуществляемой через нормы узнавания, через которые человек становится признанным полноправным членом общества. Философ рассматривает сферу политического в виде области борьбы с прекаризацией как отрицания невыбранного характера совместной жизни и игнорирования фундаментальной уязвимости. Такой конфликт возникает при запросе на удовлетворение человеческих потребностей и условий для благой жизни, особенно среди тех групп людей, которые наиболее явно подвержены самым крайним формам прекарности: насилию, неравенству и гибели. Согласно Батлер, прекарность, конституирующая и связывающая нас с человеческими и нечеловеческими жизнями, служит основанием для конкретных этико-политических действий по изменению неравного статуса уязвимых, поскольку она не может быть отделена от тех форм социальной организации, определяющих условия, которые делают саму жизнь возможной.

Несмотря на высказанную в статье критику в адрес аргументации Батлер, следует признать, что выведение этики ненасилия напрямую из телесной онтологии предоставляет новую теоретическую оптику для обозрения социальных отношений и условий человеческого существования (взаимозависимости, уязвимости, прекаризации), которые остаются незаметными с позиции индивидуалистически ориентированной политики. Батлер обращает внимание на то, что состояния уязвимости и взаимозависимости игнорируются в социально-политическом дискурсе, что приводит к распространению ошибочных воззрений на человека как независимого, неуязвимого и самодостаточного субъекта. Такое пренебрежение ведет к разрушению

материальных условий человеческой и нечеловеческой жизни, увеличению прекаризации как неравного распределения уязвимости, а также отсутствию возможности удовлетворить жизненно важные потребности лицам, оказавшимся без должной поддержки, которая является необходимым фактором для продолжения существования жизни. Экспликация универсального онтологического состояния взаимозависимости и уязвимости привела бы к открытию возможностей противодействия насилию и несправедливости, которые не могут быть реализованы при господстве индивидуалистических представлений о человеке, скрывающих его взаимозависимое и уязвимое положение. Помимо всего прочего, Батлер предлагает трансиндивидуальный взгляд на этику и политику, проливающий свет на отношения и условия жизни, находящиеся «между» людьми. Более явное признание универсального онтологического состояния взаимозависимости и уязвимости открывает пространство для альтернативных этико-политических идеалов справедливости и солидарности, направленных на борьбу с насилием и несправедливостью через переосмысление, что значит быть человеком во взаимосвязанном мире.

Литература

- Батлер Дж. (2002). Психика власти: теории субъекции. СПб.: Алетейя.
- Батлер Дж. (2022). Сила ненасилия: Сцепка этики и политики. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Brophy E., Peuter G. de (2007). Immaterial Labor, Precarity, and Recomposition // Knowledge Workers in the Information Society / C. McKercher, V. Mosco (eds). New York: Lexington Books. P. 177–191.
- Butler J. (2004a). Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso.
- Butler J. (2004b). Undoing Gender. London: Routledge.
- Butler J. (2005). Giving an Account of Oneself. New York: Fordham University Press.
- Butler J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? London: Verso.
- Butler J. (2015). Notes Towards a Performative Theory of Assembly. Cambridge: Harvard University Press.
- Butler J. (2018). A Reply from Judith Butler // Philosophy and Phenomenological Research. Vol. 96. № 1. P. 243–249.
- Butler J., Athanasiou A. (2013). Dispossession: The Performative in the Political. Cambridge: Polity press.
- Butler J., Gambetti Z., Sabsay L. (eds.). (2016). Vulnerability in Resistance. Durham: Duke University Press. P. 12–27.
- Castel R. (2003). L'Insécurité Sociale. Qu'Est-ce qu'Etre Protégé? Paris: Seuil.
- Farmer P. (2004). An Anthropology of Structural Violence // Current Anthropology. Vol. 45. № 3. P. 305–325.
- Chouliaraki L. (2006) The Spectatorship of Suffering. London: Sage.
- Fineman M. (2008). The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition // Yale Journal of Law and Feminism. Vol. 20. № 1. P. 1–23.

- Fineman M.* (2010). The Vulnerable Subject and the Responsive State // *Emory Law Journal*. Vol. 60. №2. P. 251–75.
- Gilligan C.* (1982). *In a Different Voice*. Cambridge. Harvard University Press.
- Goodin R. E.* (1985). *Protecting the Vulnerable: A Re-Analysis of Our Social Responsibilities*. Chicago: University of Chicago Press.
- Honneth A.* (1996). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge: MIT press.
- Kim H., Bianco J.* (2007). *The Affective Turn: Theorizing the Social*. Durham: Duke University Press.
- Lorey I.* (2015). *State of Insecurity: Government of the Precarious*. London and New York: Verso.
- MacIntyre A. C.* (1999). *Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues*. Chicago: Open Court Publishing.
- Mackenzie C.* (2014) *The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability // Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy / C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.)*. New York: Oxford University Press. P. 34–57.
- Marino E., Faas A. J.* (2020). Is Vulnerability an Outdated Concept? After Subjects and Spaces // *Annals of Anthropological Practice*. Vol. 44. № 1. P. 33–46.
- Murphy A.* (2011). Corporeal Vulnerability and the New Humanism // *Hypatia*. Vol. 26. № 3. P. 575–590.
- Nussbaum M.* (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ten Have H.* (2016). *Vulnerability: Challenging Bioethics*. London and New York: Routledge.
- Thomas D. S., Phillips B. D., Lovekamp W. E., Fothergill A.* (eds.). (2013). *Social Vulnerability to Disasters*. Boca-Raton: CRC press.
- Thomson M.* (2017). Bioethics and Vulnerability: Recasting the Objects of Ethical Concern // *Emory Law Journal*. Vol. 67. P. 1207–23.
- Tronto J.* (1993). *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. London: Routledge.
- Turner B.* (2006). *Vulnerability and Human Rights*. University Park: Penn State University Press.

From Bodily Ontology to the Ethics of Nonviolence: the Role of Vulnerability as Interdependence in J. Butler's Ethical-Political Thought

Evgeny M. Nenadyshchuk

Postgraduate Student, Master of Philosophy, Faculty of Humanities, HSE University

Address: 21/4 Staraya Basmannaya str., Moscow, 105066, Russian Federation

E-mail: enenadyshchuk@hse.ru

In the first decades of the XXI century, the problem of vulnerability has become the subject of social sciences, including social and political theory in connection with the “affective turn” and the growth of social, political and economic instability. Representatives of feminist moral and political philosophy, revealing vulnerability as a universal and fundamental human trait, have played a significant role in its comprehension. The article explicates the concept of vulnerability as an ontological state of interdependence in the bodily ontology proposed by American philosopher Judith Butler and critically analyzes the relevance of deducing ethical and political obligations from this ontology. To solve this problem, the method of conceptual analysis is used, which allows to reveal the conceptual content of the key categories of Butler’s bodily ontology. The first part of the article is devoted to the consideration of Butler’s relational bodily ontology and its connection with the ethical and political reflections of the philosopher, for which two levels are distinguished: ontological and social. The second part analyzes three key categories of Butler’s proposed ontology: interdependence, vulnerability and precariousness. The application of these concepts in the philosopher’s criticism of liberal ideas about the subject as an autonomous, sovereign and independent individual is described. Finally, the third part analyzes Butler’s arguments on the justification of the ethics of nonviolence through an appeal to states of vulnerability and interdependence. Based on the analysis, the author comes to the conclusion that the ethics of nonviolence for Butler is a means of problematizing these ontological states in order to support political egalitarianism and refute liberal views about man as an individual; The bodily ontology developed by Butler can become a successful theoretical tool both for the criticism of established ideas about social subjectivity and for the study of the fundamental foundations of the existence of society, which remain invisible from the standpoint of individualistic views on man.

Keywords: interdependence, vulnerability, precarity, precarization, bodily ontology, J. Butler.

References

- Brophy E., Peuter G. de (2007) *Immaterial Labor, Precarity, and Recomposition. Knowledge Workers in the Information Society*. (eds. C. McKercher, V. Mosco), New York, Lexington Books, pp. 177–191.
- Butler J. (2002) *Psihika vlasti: teorii subjekcii* [Psychic of life power: Theories in subjection], Sankt Peterburg: Aletejja (In Russian).
- Butler J. (2022) *Sila nenasiliya: Scepka e`tiki i politiki* [The Force of Nonviolence: an Ethico-Political Bind], Moscow: Izd. dom Vy`sshej shkoly` ekonomiki (In Russian).
- Butler J. (2004a) *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*, London: Verso.
- Butler J. (2004b) *Undoing Gender*, London: Routledge.
- Butler J. (2005) *Giving an Account of Oneself*, New York, Fordham University Press.
- Butler J. (2009) *Frames of War: When Is Life Grievable?* London: Verso.
- Butler J. (2015) *Notes Towards a Performative Theory of Assembly*, Cambridge, Harvard University Press.
- Butler J. (2018) A Reply from Judith Butler. *Philosophy and Phenomenological Research*, vol. 96, no 1, pp. 243–249.
- Butler J., Athanasiou A. (2013) *Dispossession: The Performative in the Political*, Cambridge, Polity press.
- Butler J., Gambetti Z., Sabsay L. (eds.). (2016) *Vulnerability in Resistance*, Durham: Duke University Press, pp. 12–27.
- Castel R. (2003) *L'Insécurité Sociale. Qu'Est-ce qu'Etre Protégé?* Paris: Seuil.

- Farmer P. (2004) An Anthropology of Structural Violence. *Current Anthropology*, vol. 45, no 3, pp. 305–325.
- Chouliaraki L. (2006) *The Spectatorship of Suffering*, London: Sage.
- Fineman M. (2008) The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition. *Yale Journal of Law and Feminism*, vol. 20, no 1, pp. 1–23.
- Fineman M. (2010) The Vulnerable Subject and the Responsive State. *Emory Law Journal*, vol. 60, no 2, pp. 251–75.
- Gilligan C. (1982) *In a Different Voice*, Cambridge: Harvard University Press.
- Goodin R. E. (1985) *Protecting the vulnerable: A Re-Analysis of Our Social Responsibilities*, Chicago: University of Chicago Press.
- Honneth A. (1996) *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, Cambridge: MIT press.
- Kim H., Bianco J. (2007) *The Affective Turn: Theorizing the Social*, Durham: Duke University Press.
- Lorey I. (2015) *State of insecurity: Government of the precarious*, London: Verso.
- MacIntyre A. C. (1999) *Dependent rational animals: Why human beings need the virtues*, Chicago: Open Court Publishing.
- Mackenzie C. (2014) The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability. *Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy* (eds. Mackenzie C., Rogers W., Dodds S.), New York: Oxford University Press, pp. 34–57.
- Marino E., Faas A. J. (2020) Is Vulnerability an Outdated Concept? After Subjects and Spaces. *Annals of Anthropological Practice*, vol. 44, no 1, pp. 33–46.
- Murphy A. (2011) Corporeal Vulnerability and the New Humanism. *Hypatia*, vol. 26, no 3, pp. 575–590.
- Nussbaim M. (2011) *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Cambridge: Harvard University Press.
- Ten Have H. (2016) *Vulnerability: challenging bioethics*, London and New York: Routledge.
- Thomas D. S., Phillips B. D., Lovekamp W. E., Fothergill A. (eds.). (2013) *Social vulnerability to Disasters*, Boca-Raton: CRC press.
- Thomson M. (2017) Bioethics and Vulnerability: Recasting the Objects of Ethical Concern. *Emory Law Journal*, vol. 67, pp. 1207–23.
- Tronto J. (1993) *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, London: Routledge.
- Turner B. (2006) *Vulnerability and Human Rights*, University Park: Penn State University Press.

Количественный анализ факторов террористической активности: систематический обзор*

Илья Сумерников

Стажер-исследователь, Центр изучения стабильности и рисков
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: iasumernikov@hse.ru

Андрей Уфимцев

Стажер-исследователь, Научно-учебная лаборатория экономики изменения климата
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: ул. Малая Ордынка, д. 17/1, Москва, 109028 Российская Федерация
E-mail: aufimtsev@hse.ru

Максим Слав

Научный сотрудник, Национальный институт экономических исследований,
Академия экономических исследований Молдовы.
Адрес: Ион Креангэ, 45, Кишинев, MD-2064, Молдова.
E-mail: mgslav@gmail.com

Андрей Коротаяев

Доктор исторических наук, профессор, директор Центра изучения стабильности и рисков
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
главный научный сотрудник Института Африки РАН.
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: akorotayev@gmail.com

С начала XXI века значительно выросло количество эмпирических исследований, посвященных анализу факторов, влияющих на риски террористической активности. При этом оценки влияния отдельных факторов могут отличаться в разных исследованиях, из-за чего возникает потребность в обобщающей работе, в которой будут рассмотрены ключевые результаты. В данной статье представлен анализ результатов количественных исследований факторов, влияющих на террористическую активность (было проанализировано 75 работ за 2011–2022 годы). Наиболее широко исследованные детерминанты терроризма можно разделить на три группы: политические, социальные и экономические. Всего было выделено 53 фактора, статистическая значимость которых была выявлена как минимум в двух работах. Исследования факторов террористической дестабилизации последних десяти лет показали, что наибольшие риски террористической дестабилизации имеют страны с гибридным политическим режимом (анократией), в состоянии внутреннего или внешнего конфликта, со слабой центральной властью (например, «хрупкие» или «несостоявшиеся» государства), со средним уровнем социально-экономического развития (т. е. со средними уровнями душевого ВВП, урбанизации и охвата населения формальным образованием), хотя в последние годы зона наибольшего риска террористической активности несколько сдвинулась в сторону социально-экономически наименее развитых стран. Кроме того, для этих государств характерны

* Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 г. при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-18-00123).

низкие темпы экономического роста и высокая инфляция, большие объемы иностранной финансовой поддержки, высокий уровень неравенства, достаточно многочисленное население, выраженная дискриминация меньшинств, а также высокие уровни репрессий и террористической активности в предшествующие годы.

Ключевые слова: терроризм, дестабилизация, количественный анализ, кросс-национальные исследования, модернизация, экономические факторы, политические режимы, риски

В 2011 году в журнале *Public Choice* были опубликованы две похожих статьи, в которых обобщены результаты исследований терроризма за предыдущее десятилетие. В статье «Целиком и полностью: всесторонний анализ детерминант терроризма» М. Гассебнера и С. Люхингера описывается опыт количественного изучения разных детерминантов террористической активности¹ за 2001–2011 годы (Gassebner, Luechinger, 2011). Всего в этой работе проанализированы 43 количественных кросс-национальных исследования разных авторов. В то же время в статье «Каковы причины терроризма?» Т. Кригера и Д. Мейерикса описываются результаты 31 статьи, написанной в период с 1998 по 2010 год (Krieger, Meierrieks, 2011)². Авторы обращают внимание на то, что необходимость анализа терроризма вызвана в том числе серьезными издержками, которые несут пострадавшие от терактов страны. Терроризм также может негативно сказываться на стабильности правительства (Gassebner et al., 2008), снижать объемы международной торговли (Nitsch, Schumacher, 2004) и иностранных инвестиций (Abadie, Gardeazabal, 2008), таким образом влияя на экономическое развитие государства.

Кригер и Мейерикс отмечают, что в 2001–2011 годах значительно вырос интерес к исследованию терроризма с помощью количественных методов. Быстрый рост связан с тем, что после терактов 11 сентября 2001 года увеличился интерес властей к подобным исследованиям и, что важно, объем их финансирования.

Систематический обзор 2011 года: основные результаты

Стоит перечислить основные выводы, к которым приходят авторы в перечисленных выше статьях. Кригер и Мейерикс выделили семь основных направлений исследований детерминант терроризма: экономическая депривация, социально-

1. Мы используем термин «террористическая активность» как универсальный, поскольку в разных исследованиях в качестве зависимой переменной могут выступать: количество терактов, количество погибших в терактах, количество терактов с участием террористов-смертников, успешность планируемых терактов (все эти переменные обычно считаются за каждый год) и др. Поскольку все эти переменные являются частью одного более общего понятия, в качестве общего термина, в случае, если более точные детали можно опустить, мы будем говорить именно о террористической активности. Для того чтобы уточнить, какая зависимая переменная используется в конкретной статье, см. Приложения.

2. Позже исследователем Мейериксом в 2014 году была также опубликована отдельная статья по экономическим детерминантам терроризма, продолжающая исследование авторов (см.: Meierrieks, 2014).

экономическое и демографическое напряжение, политический и институциональный порядок, политическая трансформация и нестабильность, идентичность, глобальный экономический и политический порядок, прошлые террористические атаки³ (Krieger, Meierrieks, 2011).

Политические переменные

Гассебнер и Люхингер отмечали огромный интерес исследователей к тому, как на террористическую активность влияет уровень демократии (40 из 43 проанализированных ими статей так или иначе используют измерение демократичности/гражданских свобод/политических прав как одну из переменных). Качественное объяснение этому эффекту было дано в работе Б. Фрея и С. Люхингера (Frei, Luechinger, 2003). Авторами было показано, что существуют два разнонаправленных эффекта, к которым приводит демократия: с одной стороны, демократический режим снижает прямые издержки на финансирование террористических кампаний, с другой — растут относительные издержки (*relative costs*) (Ibid.). Считалось также, что демократии могут предложить ненасильственные способы выражения несогласия, но не способны к жестким мерам по борьбе с терроризмом (Li, 2005). Впервые влияние демократического режима на террористическую активность было проанализировано в работе В. Л. Юбенка и Л. Вайнберга (Eubank, Weinberg, 1994), ее авторы обнаружили, что в демократиях более вероятно нахождение террористической группировки, чем в автократиях. Однако дальнейшие исследования показали, что между демократией и террористической активностью существует или позитивная, или перевернутая U-образная зависимость (Eubank, Weinberg, 2001; Weinberg, Eubank, 1998). Кригер и Мейерикс обращают внимание, что автократии, несмотря на потенциально более высокий уровень недовольства, могут более широко использовать репрессии как инструмент борьбы с терроризмом (Krieger, Meierrieks, 2011). Однако единства исследователей по поводу влияния политического режима на международный терроризм на момент 2011 года все еще не было. Одни считали, что демократии более уязвимы к террористическим атакам (например: Blomberg et al., 2004; Braithwaite, Li, 2007; Burgoon, 2006), а другие не видели существенной взаимосвязи (например: Drakos, Gofas, 2006; Koch, Cranmer, 2007; Piazza, 2008). Такие различия в полученных результатах натолкнули на предположение о вероятности существования нелинейной связи между политическим режимом и террористической активностью (Kurrild-Klitgaard et al., 2006). Еще одной важной политической детерминантой оказалась политическая трансформация и нестабильность. Однако выводы о направлении этого влияния, полученные исследователями на 2011 год, оставались в целом неоднозначными (Krieger, Meierrieks, 2011).

3. То обстоятельство, что число терактов в прошлом является важным предиктором террористической активности в стране, было отмечено уже очень давно (Midlarsky, Crenshaw, Yoshida, 1980).

Кроме того, некоторые исследователи (Arce, Sandler, 2003), вслед за С. Хантингтоном (Huntington, 1996), также считали, что столкновение между различными странами, организованными по цивилизационным признакам, и между различными группами внутри страны может приводить к конфликту, основанному на различиях в культуре и идентичности. Мотивом террористов в данном случае выступает стремление изменить положение своей страны или социальной группы.

Экономические переменные

В академической (но особенно в публицистической) литературе и СМИ распространены представления о том, что важным источником террористической активности являются экономические проблемы и недовольство населения экономическим положением (см., например: Krueger, Maleckova, 2003). Особое внимание в работах до 2011 года уделялось таким показателям, как ВВП на душу населения, уровень бедности, продолжительность жизни. Ученые также рассматривали проблему относительной депривации, идея которой заключается в том, что насилие порождается несоответствием ожиданий и реальности (Gurr, 1970). Однако не было получено убедительных доказательств в пользу того, что экономическая депривация может быть причиной терроризма: исследования рассматриваемого поколения приходили к выводу, что ни бедность, ни неравенство не оказывают статистически значимого влияния на террористическую активность (Krueger, Maleckova, 2003; Kurrild-Klitgaard et al., 2006). Более того, исследователи пришли к выводу, что экономическая депривация скорее всего не оказывает значительного влияния даже на международный терроризм, поскольку богатые страны чаще оказываются под ударом международного терроризма из-за институциональных факторов, а не собственного богатства (Kurrild-Klitgaard et al., 2006). Тем не менее значимым оказывался высокий уровень экономического развития, которое снижает вероятность возникновения терроризма (Blomberg, Hess, 2008; Azam, Delacroix, 2006; Lai, 2007; Azam, Thelen, 2008). Также фиксировалась позитивная связь между уровнем урбанизации и террористической активностью (Crenshaw, 1981; Campos, Gassebner, 2009).

Некоторые исследователи обращали внимание и на влияние на терроризм международных экономических факторов. В целом делался вывод о том, что экономическая интеграция страны в мировую экономику скорее способствует снижению терроризма (например: Blomberg, Hess, 2008; Kurrild-Klitgaard et al., 2006).

Социальные переменные

Отдельно рассматривались социальные детерминанты. Среди таких факторов, увеличивающих риски террористической активности, выделялись социально-экономическое и демографическое напряжение. Так, вместе с модернизацией про-

исходят изменения на рынке труда и перераспределение выгод в пользу других групп, что приводит к большому числу проигравших от модернизации (Robison et al., 2006). Однако подобного рода гипотезы трудно доказать в силу отсутствия подходящего индикатора интенсивности противоречий, возникающих в ходе модернизации. При этом наиболее распространенный для этого прокси-показатель — темпы экономического роста — не оказывался статистически значимой детерминантой терроризма. Демографические факторы, наоборот, являются значимыми, и большинство исследователей находили положительную статистически значимую связь между численностью населения и рисками террористической дестабилизации (см., например: Krueger, Maleckova, 2003; Burgoon, 2006; Lai, 2007; Plümper, Neumayer, 2010; Freytag et al., 2008). Утверждалось также, что и высокая плотность населения является фактором, который увеличивает вероятность террористических атак (Drakos, Gofas, 2006).

Помимо того, тестировалось влияние на террористическую активность фракционализации, но так и не сформировалось консенсуса по значимости этнической фракционализации: одни считали ее важным фактором (например: Tavares, 2004; Piazza, 2006), другие считали существенной только языковую фракционализацию (Blomberg, Hess, 2008; Drakos, Gofas, 2006; Sambanis, 2008).

Результаты М. Гассебнера и С. Люхингера

Помимо обобщения результатов количественных исследований 2001–2011 годов, Гассебнер и Люхингер провели собственное количественное исследование с помощью метода *Extreme Bounds Analysis* (EBA, подробнее о методе см.: Hlavac, 2016). Исследователи проанализировали три базы данных по террористической активности — ITERATE, GTD, MIP⁴. При рассмотрении мест проведения теракта авторами были выявлены всего две переменные, которые оказались статистически значимыми при анализе всех трех баз — индекс права на физическую неприкосновенность (*physical integrity rights index*) и отсутствие религиозных противоречий в стране. Значимыми при анализе результатов двух баз данных оказались еще три переменных — численность населения, экономическая свобода и младенческая смертность. И еще 13 переменных оказались значимыми при анализе в одной базе данных из трех (см. подробнее: Gassebner, Luechinger, 2011). Таким образом, большинство переменных, которые рассматриваются в литературе, оказались незначимыми при использовании метода EBA.

Значимость младенческой смертности как фактора, позитивно влияющего на терроризм, подтверждала гипотезу о влиянии бедности на террористи-

4. Отметим, что базы данных ITERATE и MIP сфокусированы исключительно на международном терроризме, в то время как GTD также фиксирует внутреннюю террористическую активность. Кроме того, например, в ITERATE исключаются теракты против солдат и военной инфраструктуры, а GTD включает их. Этим могут объясняться различия в полученных результатах при анализе разных баз данных.

ческую активность. Гассебнер и Люхингер уточнили, что влияние оказывает не бедность сама по себе, но ограничения экономической активности и недостаток экономических возможностей. В то время как, вопреки предыдущим исследованиям, глобализация, объем иностранных инвестиций позитивно коррелируют с вероятностью возникновения террористической активности. Уровень урбанизации также позитивно влияет на интенсивность террористических атак. Это влияние хорошо исследовано и его механизм традиционно описывается так: в городах находится множество потенциальных целей для атаки, такое нападение более вероятно будет освещено в СМИ, чем нападения в сельских районах.

Авторы также отмечали, что законность и правопорядок являются важным предиктором сокращения террористической активности — в странах с независимой судебной системой и соблюдением прав человека вероятность терактов ниже. Однако исследователи, со ссылкой на более ранние работы (Dreher et al., 2010), отмечали, что низкий уровень законности и правопорядка может быть не причиной, а следствием высокой террористической угрозы, поэтому возможность обратной причинно-следственной связи требует дальнейшего исследования. При этом авторы не нашли значимого подтверждения взаимосвязи между демократией и количеством террористических атак (возможно, это связано с нелинейной природой взаимосвязи, что мы подробнее рассмотрим ниже). Также оказалось, что около 45% террористов активны в странах с центристским правительством, причем эта оценка не зависит от конкретной страны. Таким образом, возможно, центристский режим приводит к повышенному количеству террористических атак, однако, по мнению Гассебнера и Люхингера, подтверждение существования подобной взаимосвязи требовало дальнейших исследований.

Исследователи обнаружили положительную статистическую зависимость между террористической активностью и этнической или религиозной напряженностью в стране. Такое же влияние на терроризм оказывает и любой внешний или внутренний конфликт в целом (гражданские войны, нестабильность, восстания, массовые беспорядки, забастовки).

Опыт исследований с 2011 года: новые результаты

Несмотря на обширный материал, накопленный к 2011 году, в последние десять лет было написано огромное количество работ, продолжающих исследования разных факторов, влияющих на террористическую активность. В настоящем исследовании мы суммируем результаты, полученные исследователями в 75 статьях за 2011–2021 годы. Необходимость такой обобщающей работы объясняется рядом причин. В первую очередь нам не известно, чтобы подобные обзорные статьи по всем факторам, влияющим на терроризм, выходили после 2011 года на английском или русском языках (тем не менее по отдельным детерминантам терроризма имеются некоторые обзорные исследования работ последних лет (см., например: Коротаев

и др., 2019; Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021)). Помимо этого наш обзор опирается на эмпирические статьи, использующие количественные методы, которые пока редко присутствовали в схожих публикациях на русском языке⁵. Необходимость в обобщении опыта исследований терроризма связана и с изменением политической риторики. Если политические деятели 2000-х годов вроде Джорджа Буша утверждали, что истоки терроризма следует искать в социально-экономическом неблагополучии и проблеме несостоявшихся государств (Krieger, Meierrieks, 2011), то с ростом правого популизма в 2010-е годы и миграции из арабских стран многие политики стали связывать рост терроризма с миграцией из исламских стран⁶ и исламистским радикализмом (Hall, 2021).

Есть и методологические различия в подходах. Одной из важных черт, которую выделяют Гассебнер и Люхингер, является тот факт, что в основном в рассматриваемый период авторы использовали линейные модели эконометрического моделирования, лишь изредка прибегая к нелинейным (например, при исследовании влияния демократии, см.: Ai, Norton, 2003; Greene, 2010). В публикациях 2011–2021 годов часто используются нелинейные модели (модифицированные версии негативной биномиальной, логистическая, квадратичная, экспоненциальная и другие), которые позволяют выявить новые значимые зависимости. Так была выявлена криволинейная зависимость между уровнем ВВП на душу населения и рисками террористической дестабилизации, перевернутая U-образная зависимость между количеством туристов в стране и количеством атак, совершенных иностранными гражданами, а также нелинейная зависимость между возрастом демократического режима и количеством террористических атак⁷ (Freitag, Krüger et al., 2011; Goldman, 2017; Piazza, 2013).

Методология исследования

Для поиска статей по детерминантам террористической активности мы использовали базу данных Scopus. Поиск шел по ключевому слову «терроризм» (соотв. «terrorism» для англоязычной литературы). В своей работе мы не рассматривали тексты, опубликованные до 2010 года включительно, а только с 2011 по 2020 год

5. Стоит отдельно сказать, что традиция исследования террористической активности имеет достаточно большую историю развития — изначально исследователи фокусировались в первую очередь на качественных исследованиях. Однако в последние 30 лет появляется все больше эмпирических статей, использующих количественные методы. Именно такой подход к исследованию террористической активности сейчас наиболее популярен и релевантен. Наша работа суммирует опыт количественного исследования разных детерминант терроризма.

6. Например, Дональд Трамп обвинял мигрантов в росте терроризма, фокусируясь исключительно на исламистском терроризме. В целом о природе и влиянии терроризма существует большое количество мифов, многие из них можно встретить в речах политиков и средствах массовой информации (подробный анализ основных мифов см. в: Gaibulloev, Sandler, 2022).

7. Впрочем, стоит отметить, что ранее эта идея также встречалась в публикации П. Куррилла-Клитгора и его соавторов (Kurriild-Klitgaard et al., 2006), хотя и не получила изначально широкого распространения.

и имеющие более 5 цитирований по данной базе данных, а также все опубликованные в 2021–2022 годах. При этом нами были отобраны только те, в которых: а) в качестве исследуемой (зависимой) переменной рассматривают *общее количество* террористических атак (а не только национальный терроризм или только международный терроризм) во всем мире; б) проводят исследование с помощью регрессионного анализа; в) исследуют влияние разных факторов на вероятность террористической активности (а не наоборот). Всего было найдено 75 таких статей.

Все факторы, исследуемые в данных статьях, можно разделить на несколько основных групп:

1. экономические факторы;
2. политические факторы;
3. социальные факторы⁸.

Также исследователи обычно разделяют переменные на главные (основные переменные, именно их влияние авторы хотят исследовать в своей статье) и контрольные (вспомогательные переменные, которые необходимы для учета побочного влияния и улучшения качества моделей). Для большей наглядности представления полученных авторами выводов мы также в Приложении разделили переменные на главные и контрольные⁹. Кроме того, мы использовали разделение на внутренний и международный терроризм. Это является развитием идеи, упомянутой Гассебнером и Люхингером, о том, что результаты будут отличаться в зависимости от того, идет ли речь о стране происхождения террориста или стране, ставшей местом проведения теракта (Gassebner, Luechinger, 2011).

В рамках регрессионного анализа факторы могут отличаться: а) направлением корреляции (позитивная или негативная связь); б) значимостью связи (в нашем случае значимыми признаются все переменные, p -value которых не превосходит 0,05). Для обозначения важности и направленности влияния факторов мы ввели следующие обозначения:

1. S — значимая ($p < 0,05$)
2. I — незначимая ($p > 0,05$)
3. P — положительная связь
4. N — отрицательная связь
5. U — криволинейная связь

8. Обращаем внимание, что в ряде случаев разделение носит достаточно условный характер, так как множество факторов относятся сразу к нескольким группам или могут быть отнесены к другой группе. Поэтому при практической работе при поиске необходимого фактора имеет смысл проверять все группы факторов.

9. Здесь также стоит отметить, что в ряде случаев разделение является условным, поскольку некоторые авторы используют переменные в качестве контрольных, но в итоге включают в результаты исследования зависимости, найденные в отношении контрольных переменных, в связи с чем для использования в исследованиях данного разделения рекомендуем обращаться к первоисточнику.

Число перед обозначением — количество регрессий с полученным результатом¹⁰.

Кроме того, в последнее десятилетие получили распространение статьи, фокусирующиеся на отдельных регионах и даже странах¹¹, поэтому мы добавили вспомогательный материал, где статьи разделены по охвату (глобальному, региональному или страновому) использованных в них выборок.

Основные результаты

Как уже говорилось выше, детерминанты террористической активности в статьях 2011–2022 годов, как и в более ранних работах, можно разделить на три группы: политические, экономические и социальные.

Политические факторы

Наиболее часто анализируемые политические детерминанты терроризма касаются типов политических режимов. Мы ранее упоминали противоречивость влияния демократии на терроризм; она, с одной стороны, делает систему более открытой и уязвимой, а с другой — предлагает эффективные решения противоречий ненасильственным путем. Многие авторы продолжают приходить к противоположным результатам относительно влияния демократии на терроризм (см.: Приложения 1а, 1б, 1в). Демократичность политического режима как предиктор терроризма рассматривалась в 37 проанализированных работах¹². Стоит заметить, что чаще всего исследователи приходят к выводу, что демократия оказывает положительное влияние на террористическую активность. Однако большинство полученных результатов оказались статистически незначимыми. Кроме того, существует ряд работ, анализирующих существование криволинейной связи между демократией и террористической активностью (см. Приложение 1а и рис. 1).

10. Таким образом, например, обозначение *10SP* значит, что в статье данный фактор в 10 регрессиях показал статистически значимую положительную связь с терроризмом. В случае если авторами получено несколько разных результатов, они указываются по очереди в порядке убывания количества.

11. Можно заметить, что такие статьи посвящены в основном либо странам происхождения авторов (США, Израиль, Турция), либо государствам с низким уровнем политической стабильности/высоким уровнем террористической активности (Ближний Восток, Афганистан).

12. Aksoy, Carter, Wright, 2012; Bagchi, Paul, 2018; Boehmer, Daube, 2016; Böhmelt, Bove, 2019; Boylan, 2016; Braithwaite, Chu, 2018; Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015; Choi, Luo, 2013; Choi, Piazza, 2016; Choi, Piazza, 2017; Choi, Salehyan, 2013; Coggins, 2015; Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014; Ezcurra, Palacios, 2016; Fahey, LaFree, 2015; Findley, Young, 2011; Findley, Young, 2011; Foster, Braithwaite, Sobek, 2013; Freytag, Kruger et al., 2011; Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017; George, 2018; Ghatak, Gold, Prins, 2019; Henne, 2012; Khokhlov, Korotayev, 2022; Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011; Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021; Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021; Krieger, Meierrieks, 2019; Meierrieks, Gries, 2012; Mullins, Young, 2012; Murdie, Stapley, 2014; Piazza, 2013; Saiya, 2016; Salman, 2015; Smith, Zeigler, 2017; Wilson, Piazza, 2013; Васькин и др., 2018; Коротаяев и др., 2019.

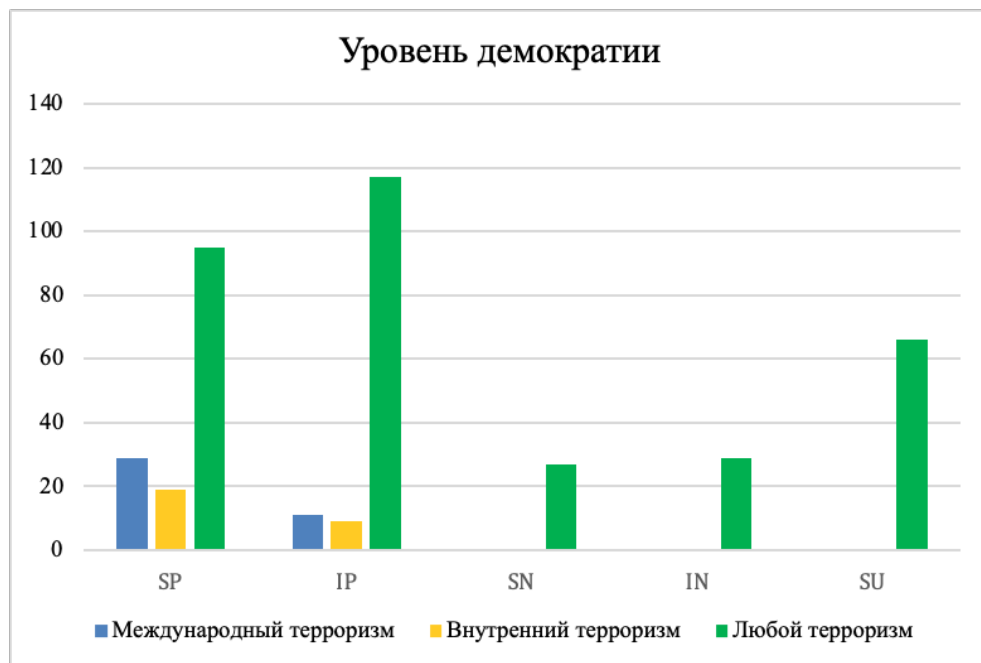


Рис. 1. Количество моделей, в которых используется уровень демократии в качестве предиктора различных видов терроризма

Примечание: в одной работе обычно представлено более одной модели с использованием интересующей нас переменной в качестве независимой. Поэтому число моделей, учтенных в соответствующих сравнительных диаграммах, всегда значительно превышает число работ, на базе которых соответствующие диаграммы построены.

Так, во всех статьях, в которых использовались нелинейные модели, было зафиксировано существование значимой нелинейной зависимости¹³. Например, в своем исследовании М. Финдли и Дж. Янг приходят к выводу о том, что между демократией и терроризмом существует перевернутая U-образная связь. Таким образом, исследователи показали, что терроризм представляет наибольшую угрозу для стран с несовершенной демократией и гибридным режимом, в то время как авторитарные режимы и консолидированные демократии меньше ей подвержены (Findley, Young, 2011). Полученный Финдли и Янгом результат может объяснить

13. Главная особенность такого анализа заключается в том, что существует несколько способов анализа нелинейной зависимости — с помощью *dumpty*-переменных и с помощью использования квадратичного члена в регрессиях. Например, в одной из работ анализируется отдельно влияние полной автократии, факциональной демократии и полной демократии (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021). Полученные результаты отличаются для каждого политического режима — наиболее уязвимым для терроризма оказывается факциональная демократия. Таким образом, мы имеем дело с нелинейной (U-образной) связью. К подобным результатам с использованием другой методологии (квадратичного члена в регрессии) приходят и другие исследователи. При подсчете количества нелинейных зависимостей мы учитывали все способы построения нелинейных моделей.

противоречия, обнаруженные исследователями, которые использовали линейные модели. Аналогичное было зафиксировано и другими исследователями (Khokhlov, Korotayev, 2022; Meierrieks, Gries, 2012; Boehmer, Daube, 2016; Gaibulloev, Piazza, Sandler, 2017). При этом особенно высокими оказались риски террористической дестабилизации для факциональных демократий (Korotayev et al., 2021; Коротаев и др., 2019). Существование подобной криволинейной зависимости было зафиксировано и в работах, посвященных персоналистским и гибридным режимам (Aksoy, Carter, Wright, 2012; Wilson, Piazza, 2013; Bove, Böhmelt, 2016).

Помимо этого, Дж.А. Пиатца в исследовании 2013 года показывает, что влияние демократии на терроризм зависит от длительности существования политического режима: чем старше демократический режим, тем меньше он подвергается террористическим нападениям (Приложение 1г). В то же время частота терактов в авторитарном режиме практически не зависит от длительности существования режима (Piazza, 2013), хотя другие исследования показывают отрицательную корреляцию с рисками террористической дестабилизации для длительности существования любых политических режимов (Коротаев и др., 2021: 199–247). Параллельно с работой Пиатцы в 2013 году вышла работа, использующая в качестве зависимой переменной долговечность демократического режима (*Years of Democracy*). Авторы также приходят к выводу, что существует отрицательная связь между тем, сколько существует демократический режим, и террористической активностью (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013). В целом долговечность политического режима часто используется в качестве зависимой переменной при анализе структурных детерминант терроризма. Однако авторы приходили к смешанным результатам, которые сильно зависят от типа режима, который был проанализирован.

Помимо демократии, значительное внимание было приковано к несостоятельности государства (*State Failure*, Приложение 1д). Современный *Fragile States Index*¹⁴, состоящий из 12 индикаторов, которые по-разному влияют на уровень террористической активности (подробнее о методике его составления см.: Коротаев и др., 2020; Korotayev et al., 2022). В целом авторы приходят к выводу о сильном статистически значимом влиянии государственной несостоятельности на террористическую активность (Wilson, Piazza, 2013; Okafor, Piesse, 2018; Bove, Böhmelt, 2016; Choi, Luo, 2013; Braithwaite, Chu). В то же время работа Б. Коггинса 2015 года вносит уточнения в полученный анализ, показывая, что несостоятельность государства сама по себе не является предиктором увеличения террористической активности — для этого необходимо также обширное политическое насилие со стороны государства или разрозненных групп. Так, многие бедные страны с низким уровнем безопасности (Нигер, Буркина-Фасо до 2015 года, Мали до 2013 года и Эритрея) или недееспособными государственными институтами (Гаити, Гвинея, Чад или Зимбабве) долгое время не являлись (либо даже до сих пор не являются) источниками террористической угрозы. В то же время государства, охваченные хаотичным политическим насилием

14. До 2014 г. индекс носил название *Failed States Index*.

или гражданской войной, гораздо более опасны для себя и других, когда речь заходит о терроризме (Coggins, 2015). Однако Коггинс использует датасет, ограниченный 1999–2008 годами, поэтому необходимы дальнейшие исследования для подтверждения корректности полученных результатов. Характерно, что многие страны, которые Коггинс приводил в качестве примеров сочетания государственной несостоятельности с низким ростом террористической активности (Мали, Буркина-Фасо, Чад, Нигер), за пределами рассмотренного им временного промежутка испытали бурный рост числа зафиксированных там терактов (см., например: Issaev et al., 2021, 2022).

Отдельный большой кластер составляют работы, посвященные влиянию разнообразных конфликтов (внешних и внутренних) на террористическую активность (см. рис. 2, а также Приложения 1е, 1ж, 1з). Внутренние конфликты (гражданские войны, забастовки, массовые беспорядки, политическая нестабильность) положительно влияют на число террористических атак (Younas, Sandler, 2017; Foster, Braithwaite, Sobek, 2013; Khokhlov, Korotayev, 2022). В то же время влияние разных внешних конфликтов может значительно отличаться. В большинстве работ было показано, что войны между государствами не оказывают статистически значимого влияния на террористическую активность (Findley, Young, 2011; Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014; Choi, Luo, 2013; Fahey, LaFree, 2015; Foster, Braithwaite, Sobek, 2013; George, 2018). Однако чем дольше государство находится в состоянии внутреннего или внешнего конфликта (Приложение 1к), тем выше будет уровень террористической активности (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011). В то же время межгосударственное противостояние без войны также может приводить к увеличению количества терактов (Findley, Young, 2011; Saiya, 2019).

Также значительное влияние на увеличение террористической активности оказывает внешняя интервенция и оккупация (Choi, Piazza, 2017; Murdie, Stapley, 2014; Smith, Zeigler, 2017; Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014; Choi, Piazza, 2016), особенно если страны находятся в состоянии затяжного конфликта (Braithwaite, 2015); причем степень влияния зависит от типа интервенции. Проправительственные интервенции, например, приводят к увеличению количества атак террористов-смертников. Этот эффект значительно усиливается, если в интервенции участвует большая группировка сухопутных войск (Choi, Piazza, 2017). В свою очередь, оккупации разделяют на внешние и внутренние (Приложение 1и). Под внутренней оккупацией подразумевается наличие сепаратистов, которые считают существующее состояние оккупацией. Выясняется, что иностранная оккупация — сильный предиктор увеличения количества атак террористов-смертников, а внутренняя — нет (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014). К росту террористической активности приводят и гражданские войны — терроризм становится одним из способов увеличения политического влияния, количество терактов растет (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014; Braithwaite, Chu, 2018; Gaibulloev, Piazza, Sandler, 2017; Freytag, Kruger et al., 2011; Coggins, 2015). При этом существует значимая положительная связь между интенсивностью внешнего или внутреннего конфликта и количеством терактов (Henne, 2012; Paul, Bagchi, 2018; Bell et al., 2014).



Рис. 2. Количество моделей, в которых используются любые конфликты (включая гражданские войны, оккупацию и интервенцию) в качестве предиктора различных видов терроризма

Экономические факторы

В настоящий момент накоплено большое количество работ, исследующих влияние экономических факторов на риски террористической активности. Более того, в отличие от политических детерминант, спектр исследуемых экономических детерминант крайне широкий: он касается показателей экономического развития, безработицы, неравенства, открытости экономики, изменения экономических показателей (уровень инфляции, рост ВВП и другие). Наиболее часто упоминаемой экономической детерминантой терроризма в исследованиях является ВВП на душу населения (Приложение 2а)¹⁵. Как и в случае с демократией, исследователи приходят к выводу о существовании криволинейной перевернутой U-образной зависимости между подушевым ВВП и уровнем террористической активности (рис. 3). Тем не менее многие исследователи сообщали и о наличии позитивной связи между ВВП на душу населения и рисками терроризма. Однако все такие работы использовали ВВП в качестве контрольной переменной и не ставили основ-

15. При анализе влияния подушевого благосостояния на вероятность террористической активности принято использовать не только ВВП, но и схожие показатели — например, ВНД (Приложение 2б) или разнообразные метрики экономического развития (Приложение 2в). Поскольку использование разных показателей ведет к схожим выводам, на рисунке 3 учтены все способы оценки уровня экономического развития. Для более подробного знакомства с результатами см. Приложения 2а, 2б и 2в.

ной целью изучение истинного влияния ВВП на душу населения. В то же время авторы, фокусировавшиеся непосредственно на связи подушевого ВВП и террористической активности, приходили к выводу, что ВВП либо оказывает незначимый эффект (Coggins, 2016; Enders, Hoover, Sandler, 2016), либо существует перевернутая U-образная зависимость — подобно влиянию уровня демократии (Boehmer, Daube, 2016; Enders, Hoover, Sandler, 2016; Freytag, Kruger et al., 2011; Korotayev et al., 2021).

Авторы одной из статей, в которой тестируются и квадратичные, и линейные модели, считают, что незначимый эффект в линейных моделях был получен именно из-за того, что, судя по всему, истинная связь носит нелинейный характер (Enders, Hoover, Sandler, 2016). В ней они описали взаимосвязь между уровнем дохода и терроризмом через «террористическую кривую Лоренца», показав, что внутренние и транснациональные террористические атаки в большей степени сосредоточены в странах со средним уровнем дохода, а взаимосвязь между благосостоянием и терроризмом носит нелинейный характер. С другой стороны, авторы показывают, что в настоящее время, после усиления влияния религиозных фундаменталистов и националистических/сепаратистских террористов в начале 1990-х годов, наибольшая концентрация террористической активности переместилась в сторону стран со средне-низким уровнем дохода (Enders, Hoover, Sandler, 2016). В некоторых других статьях отдельно рассматривалось влияние бедности на терроризм (Akyuz, Armstrong, 2011; Krieger, Meierrieks, 2019; Derin-Güre, Pinar, 2011; Kavanagh, 2011). Авторы склоняются к тому, что уровень бедности в стране увеличивает вероятность терактов (что несколько противоречит выводам о криволинейной зависимости между подушевым ВВП и рисками террористической дестабилизации, поэтому речь здесь идет скорее об относительной бедности). При этом Д. Кавана утверждает, что бедность важна не сама по себе — риски террористических атак увеличиваются при наличии высокообразованных людей, которые оказались в тяжелых экономических условиях (Kavanagh, 2011).

Отдельно стоит описать связь терроризма с рядом других экономических переменных (Приложение 2г). Одна из работ показывает, что в странах Латинской Америки высокие темпы экономического роста способствуют снижению террористической угрозы, даже без учета влияния других переменных (Meierrieks, Gries, 2012; см. также: Коротаев и др., 2021: 199–247, где описано наличие в целом отрицательной корреляции между высокими темпами экономического роста и рисками террористической дестабилизации для мира в целом, мир-системной периферии и африканской макрзоны нестабильности). В то же время в исследовании сепаратистского терроризма было показано, что экономический рост не оказывает значимого влияния на террористическую активность (Derin-Güre, Pinar, 2011).

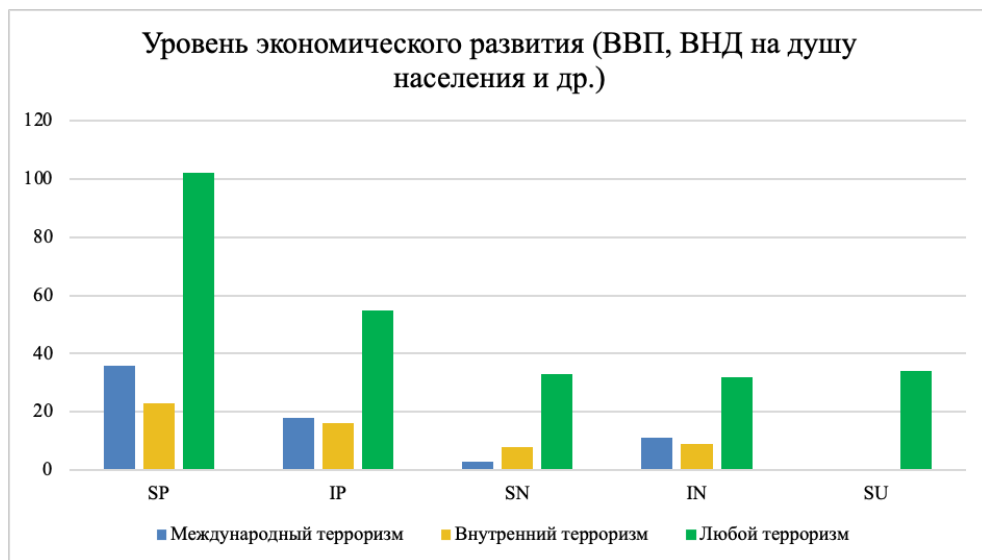


Рис. 3. Количество моделей, в которых используется уровень экономического развития в качестве предиктора различных видов терроризма

Также исследователи при анализе зачастую обращались к переменным, характеризующим экономическую систему и ее вовлеченность в международное разделение труда (Приложения 2д, 2е). Например, фиксировалось, что открытость экономики скорее всего не оказывает статистически значимого результата на уровень терроризма (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015; Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011). Тем не менее некоторые исследования выявили ингибирующее влияние политики свободной торговли на количество терактов (Younas, Sandler, 2017; Meierrieks, Gries, 2012). Открытость экономики тесно связана с глобализацией и вовлеченностью страны в мировую экономику. Однако в исследованиях, использовавших интегрированность страны в глобализационные процессы в качестве контрольной переменной, также не удалось обнаружить значимый эффект — были получены смешанные результаты (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017; Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014; Böhmelt, Bove, 2019). В свою очередь, значимое негативное влияние на террористическую активность оказывает объем инвестиций (см.: Freytag, Kruger et al., 2011; Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014; Okafor, Piesse, 2018, а также Приложение 23). Но важно, чтобы это были именно коммерческие инвестиции — иностранная финансовая помощь, при прочих равных, увеличивает террористическую активность (см.: Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014; Richardson, 2011, а также Приложение 2ж; см.: Коротаяев и др., 2021: 199–247 применительно к финансовой помощи США).

Некоторые экономические переменные были использованы всего в нескольких работах и требуют дальнейшего изучения. Одна из таких переменных —

экономическая депривация. Например, анализ К. Ричардсона показал, что террористическая активность увеличивается в случае существования в стране относительной экономической депривации (когда ожидания людей расходятся с достижениями государства), хотя ранее исследователями рассматривалась только абсолютная депривация. С другой стороны, автор показывает, что увеличение уровня безработицы приведет к всплеску террористической активности в будущем (Richardson, 2011). Существуют также исследования, показывающие, что террористическую активность увеличивает неравенство внутри страны (Krieger, Meierrieks, 2019; Derin-Güre, Pinar, 2011; Ezcurra, Roberto, Palacios, 2016, а также Приложение 2и). Примечательно, что в рамках анализа наиболее сильная взаимосвязь между терроризмом и неравенством была обнаружена при использовании индекса Тейла (Krieger, Meierrieks, 2019), менее устойчивые результаты были получены при использовании индекса Джини (Bove, Böhmelt, 2016; Piazza, 2011; Ezcurra, Roberto, Palacios, 2016). Однако большинство работ приходят к выводу, что неравенство является важным предиктором увеличенного риска террористических атак. Активная политика перераспределения благосостояния в государстве, наоборот, является фактором, снижающим террористическую активность (Krieger, Meierrieks, 2019). Исследования терроризма на Ближнем Востоке показали, что и высокий уровень безработицы положительно коррелирует с рисками террористической дестабилизации (Paul, Bagchi, 2018).

Социальные факторы

Среди социально-демографических детерминант терроризма наиболее изученными являются численность населения (см. рис. 4 и Приложение 3а) и дискриминация по какому-либо признаку (Приложение 3б). При этом численность населения является наиболее часто встречающейся переменной в целом. Это вызвано тем, что предыдущие эмпирические тесты показали существование значимой линейной связи — чем больше население страны, тем больше террористических актов в ней происходит и тем больше людей там в результате терактов погибает (Gassebner, Luechinger, 2011). Такие результаты согласуются и с теоретическими ожиданиями. Ведь как отмечают Кригер и Мейерикс, чем больше численность населения страны, тем больше там целей для террористических атак и тем больше потенциальных жертв терактов и потенциальных террористов (Krieger, Meierrieks, 2019: 129). Поэтому численность населения используется в качестве контрольной переменной практически в каждой статье. Однако за период с 2011 года нами не было обнаружено ни одной работы, которая бы использовала численность населения в качестве главной исследуемой переменной. В целом предыдущие результаты были подтверждены — большинство моделей продемонстрировали существование значимой позитивной связи численности населения с числом терактов (см. рис. 4).



Рис. 4. Количество моделей, в которых используется численность населения в качестве предиктора различных видов терроризма

Некоторые исследователи также использовали плотность населения в качестве предиктора (Younas, Sandler, 2017; Fahey, LaFree, 2015; Abrahms, Potter, 2015). При анализе влияния плотности населения на риски террористической активности не было найдено значимого эффекта.

Значимым предиктором терроризма также является дискриминация меньшинств (Приложение 3б; см. также: Коротаев и др., 2021: 199–247). Под дискриминацией исследователи терроризма обычно понимают системное ограничение прав какого-либо меньшинства по расовому, национальному, гендерному или иному признаку (Piazza, 2011). Уже само по себе наличие ущемленных в правах меньшинств провоцирует рост террористических угроз (особенно если меньшинство подвергается депортации). Этот эффект значительно увеличивается, если меньшинство составляет большую долю в населении (Choi, Piazza, 2016). В целом дискриминация меньшинств в государстве приводит к значимому увеличению рисков террористической активности, причем этот эффект наблюдается для всех видов дискриминации: экономической (Ghatak, Gold, Prins, 2019), социальной (Piazza, 2011) и политической (Choi, Piazza, 2016). Эффект сохраняется и при рассмотрении разных угнетенных групп — это может быть дискриминация по этническому (Choi, Piazza, 2016), религиозному (Saiya, 2019) и даже гендерному (Salman, 2015) признаку. Например, было показано, что страны с экономической дискриминацией меньшинств и религиозной дискриминацией подвергаются атакам терро-

ристов значительно чаще (Piazza, 2011; Saiya, 2019). С вероятностью возникновения этнической дискриминации непосредственно связан анализ переменной количества меньшинств в стране (Приложение 3в). Примечательно, что при рассмотрении этой переменной исследователи не выявили наличия какого-либо значимого эффекта (Findley, Young, 2012; Henne, 2012; Saiya, 2016). При этом анализ различных типов фракционализации в государстве также дал смешанные результаты (Приложение 3г) (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014; Henne, 2012; Foster, Braithwaite, Sobek, 2013; Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014; Khokhlov, Korotayev, 2022).

Отдельное место в исследованиях терроризма заняли работы, посвященные структурным переменным, непосредственно связанным с модернизацией страны: уровень урбанизации (Приложение 3д), охвата населения формальным образованием (Приложение 3е), младенческая смертность (Приложение 3ж). Так, например, уровень урбанизации оказывает либо позитивный (Lafree, Bersani, 2014; Korotayev et al., 2023), либо перевернутый U-образный эффект (Slav et al., 2021) на риски терроризма. В свою очередь, уровень образования в стране приводит к значительному снижению террористических угроз (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015; Lee, 2011) или демонстрирует криволинейную перевернутую U-образную зависимость (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021; Васькин и др., 2018). В то же время уровень младенческой смертности оказался статистически незначимой переменной (Coggins, 2015; Piazza, 2012; Акуз, Armstrong, 2011) — по всей видимости, из-за очень высокой скоррелированности данного индикатора с подушевым ВВП.

Кроме того, эмпирическое подтверждение получил тот факт, что количество терактов растет при увеличении миграции из стран с высокой террористической активностью (Приложение 3з), однако сама по себе миграция снижает количество терактов (Bove, Böhmelt, 2016). При этом в определенных условиях введение миграционных ограничений также снижает количество терактов. Однако это не универсальное правило: например, в странах с маленьким притоком мигрантов ограничение на пересечение границы, напротив, увеличивает число терактов (Böhmelt, Bove, 2019). Замечена также перевернутая U-образная связь между количеством туристов и международным терроризмом (Goldman, Neubauer-Shani, 2016).

Существует сильная взаимосвязь репрессий и террористической активности (Приложение 3и): было установлено однозначное линейное положительное влияние репрессий на терроризм. Насилие и массовые убийства со стороны государства рождают и усиливают террористическое насилие, поскольку создают стимулы к мести. Также государственное насилие часто выступает оправданием для террористического насилия (Avdan, Uzonyi, 2017).

Сильное влияние на террористическую активность оказывают прошлые террористические атаки — чем больше атак было в прошлом, тем более вероятно, что теракты продолжатся в будущем (Приложение 3к). Причем такой эффект наблюдается как у внутреннего, так и у внешнего терроризма (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011; Findley, Young, 2011; Young, Dugan, 2011; Choi, Luo, 2013; Freytag, Kruger et al., 2011; Goldman, Neubauer-Shani, 2016).

Отдельно можно выделить работы, посвященные исследованию определенных видов терроризма. Например, было показано, что религиозный терроризм является следствием недостатка религиозной свободы (Saiya, Scime, 2015). Однако после терактов 11 сентября многие правительства проводили прямо противоположную политику: угроза, исходящая от религиозного радикализма, использовалась в качестве предлога для религиозных ограничений и репрессий против религиозных групп. Исследования же показывают, что религиозная дискриминация всегда работает против стабильности и безопасности.

Помимо упомянутых выше групп факторов, существуют две категории, которые сильно отличаются от рассмотренных (Приложения 4, 5). Например, обнаружены четыре работы, исследующие не страновые эффекты, а группировки (Приложение 4). Они фокусируются на рассмотрении того, как идеология группировки влияет на вероятность перехода к тактике террора (Abrahms, Potter, 2015; Asal, Hoffman, 2016; Henne, 2012; Lafree et al., 2018), было показано, что религиозные группы более склонны к проведению террористических актов (Henne, 2012; Abrahms, Potter, 2015). Этот эффект подтвержден на примере исламистских группировок (Henne, 2012; Lafree et al., 2018). Обратный эффект наблюдается при рассмотрении левых группировок — при прочих равных им менее свойственно прибегать к террору (Asal, Hoffman, 2016; Lafree et al., 2018). Смешанные результаты были описаны при анализе этнорелигиозных группировок, группировок, контролирующей конкретную территорию, а также при исследовании влияния возраста участников таких группировок.

Прочие переменные (Приложение 5) включают в себя имеющие обычно инструментальный характер и выступающие в исследовании в качестве контрольных. Среди них площадь страны (Приложение 5а) и принадлежность к какому-то региону (Приложение 5б). Использование данных переменных не обнаружило значимых эффектов, но позволило уточнить спецификацию используемых моделей, добавив соответствующие контрольные переменные.

Иногда закономерности работают лишь в определенных исторических обстоятельствах. Для того чтобы это учитывать, авторы используют ряд дамми-переменных, контролирующих изменение периодов. Такие переменные существуют в отношении холодной войны¹⁶ и «Войны против терроризма» (*War on terror*), начатой США после атак 11 сентября. Также на страновом уровне использовались переменные, связанные с достижением соглашения о прекращении огня в Турции, или переменные Первой войны в Заливе¹⁷.

16. См.: Aksoy, 2014; Aksoy, Carter, Wright, 2012; Avdan, Uzonyi, 2017; Bell et al., 2014; Bove, Böhmelt, 2016; Braithwaite, Chu, 2018; Danzell, 2011; Findley, Young, 2011; Harris, Milton, 2016; Meierrieks, Gries, 2012; Wilson, Piazza, 2013; Young, Dugan, 2011, а также см. Приложение 5в.

17. Результаты, полученные в страновых статьях, не всегда учитывались нами в данном исследовании — в первую очередь потому, что существует проблема воспроизводимости и обобщения результатов, полученных на примере отдельных стран. В то же время некоторые страны выбираются в качестве кейса для исследования чаще других, что также может привести к смещению результатов. Например, за последнее десятилетие было опубликовано большое количество статей по Турции

Заключение. Характеристика количественных исследований терроризма 2011–2022 годов и их основных результатов

За минувшее десятилетие было опубликовано большое количество работ по количественному изучению терроризма, которые продолжили исследования предыдущих лет. Среди предикторов терроризма наиболее часто встречались переменные, касающиеся уровня экономического развития (подушевой ВВП/ВНД), уровня неравенства, наличия внутренних или внешних конфликтов в стране, уровня демократичности политического режима, внешнего вторжения (оккупации или интервенции) и прошлых террористических атак, поскольку страны, где теракты совершались в прошлом, более подвержены терактам в настоящем. Часто используются разные переменные для того, чтобы проанализировать влияние одного предиктора. Например, для оценки влияния уровня экономического развития на терроризм может анализироваться как подушевой ВВП, так и подушевой ВНД, а для оценки влияния неравенства — коэффициент Джини или, скажем, индекс Тейлора. То же справедливо и в отношении зависимой переменной. Авторы могут использовать количество терактов, количество успешных терактов, факт теракта в указанный год, только религиозный терроризм, количество атак террористов-смертников или другие. Иногда сложные переменные, которые часто воспринимаются как нечто единое, декомпозируются. Ранее упоминаемый *State Failure Index* рассматривается как совокупность переменных, что позволяет выделить конкретные компоненты индекса, влияющие на террористическую активность (Coggins, 2015).

При этом политические переменные встречаются прежде всего в статьях, изучающих глобальные и региональные закономерности террористической активности, но совершенно игнорируются в статьях, сравнивающих регионы одной страны. Это связано с несущественными политическими различиями внутри страны, а также невозможностью выявить значимые детерминанты на основании данных об одной конкретной стране.

Однако исследования террористической активности внутри страны позволяют обратить внимание на специфические для конкретного государства обстоятельства возникновения терроризма. Например, в своей статье Дж.А. Пиатца (Piazza, 2012) демонстрирует, что производство опиатов является хорошим предиктором уровня террористической активности в Афганистане.

Итак, исследования факторов террористической дестабилизации последних десяти лет дали следующие основные результаты. Они показали, что наибольшие риски террористической дестабилизации имеют страны с гибридным политическим режимом (анократией), в состоянии внутреннего или внешнего конфликта, со слабой центральной властью (например, «хрупкие» или «несостоявшиеся» государства), со средним уровнем социально-экономического развития (т. е. со сред-

и Пакистану (см., например: Shahbaz et al., 2013; Ismail, Amjad, 2014; Shahzad et al., 2016), в то же время малоисследованными остаются многие регионы Африки (Tinta, 2022).

ними уровнями подушевого ВВП, урбанизации и охвата населения формальным образованием), хотя в последние годы зона наибольшего риска террористической активности несколько сдвинулась в сторону социально-экономически наименее развитых стран. Кроме того, для государств с наиболее высокими рисками террористической дестабилизации характерны низкие темпы экономического роста и высокая инфляция, большие объемы иностранной финансовой поддержки (о возможных причинах этого см., например: Коротаев и др., 2021: 199–247), высокий уровень неравенства, достаточно многочисленное население, выраженная дискриминация меньшинств, а также высокий уровень репрессий. Помимо выделенных структурных факторов большое влияние оказывают предыдущие террористические атаки — чем больше терактов было в прошлом, тем более вероятно, что атаки продолжатся в будущем. Кроме того, оккупация территории одного государства другим также является важным предиктором будущего роста террористической активности. Разные эффекты могут наблюдаться при рассмотрении внутреннего и транснационального терроризма. Например, жертвами многих транснациональных атак становятся жители богатых демократических государств. Тем не менее большинство описанных эффектов остаются устойчивыми при рассмотрении разных видов терроризма.

Метаанализ существующей количественной литературы показал, что в настоящий момент исследователи концентрируются на выявлении нелинейных зависимостей, исследовании взаимодействия разных факторов и их влияния на терроризм (например, бедность+образованность, демократический режим+существование дискриминации меньшинств). Нелинейные модели изначально получили распространение при анализе влияния ВВП и политического режима на террористическую активность, затем нелинейная взаимосвязь была обнаружена и при анализе других переменных (урбанизация, гражданские права). Этот процесс дополняет исследование взаимодействия разных факторов. Например, было показано, что демократичность режима оказывает разное влияние в зависимости от того, сколько он существует — в молодых демократиях наблюдается большое количество террористических актов, но в зрелых политических режимах этот эффект меняется на противоположный — в демократиях, существующих более 25 лет, вероятность террористических атак значимо снижается. Подобные исследования также позволяют понять причины детектирования смешанных эффектов в разных исследованиях. Кроме этого, продолжается уточнение результатов, полученных в предыдущие годы. Начинает распространяться практика декомпозиции различных факторов — например, индекс хрупкости государств (Fragile State Index) в более ранних исследованиях рассматривался как единое целое, а в настоящий момент в анализе также отдельно изучаются и составляющие индекса. Становятся более распространенными статьи, фокусирующиеся на изучении конкретного региона, страны или временного периода. В них либо проверяется существование какой-то взаимосвязи, зафиксированной на общестрановых данных (Tinta, 2022), либо исследуется влияние факторов, свойственных только

данной стране (Derin-Güre, 2011; Akyuz, Armstrong, 2011). Дальнейшие исследования, вероятно, будут концентрироваться на менее изученных факторах, потенциальных нелинейных взаимосвязях, вводить новые малоизученные переменные, а также уточнять и специфицировать уже полученные результаты. Помимо этого, большой потенциал представляет проведение исследований, концентрирующихся на отдельных видах терроризма — международном или внутреннем, терроризме в составе группы или поодиночке, терактов с участием террористов-смертников или атак на государственных функционеров. Все это позволит понять природу и предикторы террористической активности, а также позволит лучше купировать потенциальные риски.

Литература

- Васькин И. А., Цирель С. В., Коротаев А. В. (2018). Экономический рост, образование и терроризм: опыт количественного анализа // Социологический журнал. Т. 24. № 2. С. 28–65.
- Коротаев А., Васькин И., Романов Д. (2019). Демократия и терроризм: новый взгляд на старую проблему // Социологическое обозрение. Т. 18. № 3. С. 9–48.
- Коротаев А., Медведев И., Слинко Е., Шульгин С. (2020). Эффективность систем глобального мониторинга рисков социально-политической дестабилизации: опыт систематического анализа // Социологическое обозрение. Т. 19. № 2. С. 143–197.
- Коротаев А. В. и др. (2021). Социально-политическая дестабилизация в странах африканской макрорегиона нестабильности: количественный анализ и прогнозирование рисков. М.: Ленанд/URSS.
- Нарочницкая Е. А. (2003). Терроризм и демократия (на примере этнического терроризма в странах Запада) // Актуальные проблемы Европы. № 1. С. 27–59.
- Abadie A., Gardeazabal J. (2008). Terrorism and the world economy // European Economic Review. Vol. 52. № 1. P. 1–27.
- Abrahms M., Potter P. B. (2015). Explaining terrorism: Leadership deficits and militant group tactics // International Organization. Vol. 69. № 2. P. 311–342.
- Ai C., Norton E. C. (2003). Interaction terms in logit and probit models // Economics letters. Vol. 80. № 1. P. 123–129.
- Aksoy D. (2014). Elections and the timing of terrorist attacks // The Journal of Politics. Vol. 76. № 4. P. 899–913.
- Aksoy D., Carter D. B., Wright J. (2012). Terrorism in dictatorships // Journal of Politics. Vol. 74. № 3. P. 810–826.
- Akyuz K., Armstrong T. (2011). Understanding the sociostructural correlates of terrorism in Turkey // International Criminal Justice Review. Vol. 21. № 2. P. 134–155.
- Arce D. G., Sandler T. (2003). An evolutionary game approach to fundamentalism and conflict // Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE). Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Vol. 159. № 1. P. 132–154.

- Asal V., Hoffman A. M.* (2016). Media effects: Do terrorist organizations launch foreign attacks in response to levels of press freedom or press attention? // *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 33. № 4. P. 381–399.
- Avdan N., Uzonyi G.* (2017). V for vendetta: Government mass killing and domestic terrorism // *Studies in Conflict Terrorism*. Vol. 40. № 11. P. 934–965.
- Azam J.-P., Delacroix A.* (2006). Aid and the delegated fight against terrorism // *Review of Development Economics*. Vol. 10. № 2. P. 330–344.
- Azam J. P., Thelen, V.* (2008). The roles of foreign aid and education in the war on terror // *Public Choice*. Vol. 135. № 3. P. 375–397.
- Bagchi A., Paul J. A.* (2018). Youth unemployment and terrorism in the MENAP (Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan) region // *Socio-Economic Planning Sciences*. Vol. 64. P. 9–20.
- Bell S. R., Clay K. C., Murdie A., Piazza, J.* (2014). Opening yourself up: The role of external and internal transparency in terrorism attacks // *Political Research Quarterly*. Vol. 67. № 3. P. 603–614.
- Benmelech E., Berrebi C., Klor E. F.* (2015). Counter-suicide-terrorism: Evidence from house demolitions // *The Journal of Politics*. Vol. 77. № 1. P. 27–43.
- Blomberg, S. B., Hess, G. D.* (2008). The Lexus and the olive branch: globalization, democratization and terrorism // In *Keefer P., Loayza N.* (Eds.) *Terrorism, economic development, and political openness*. New York: Cambridge University Press.
- Boehmer C., Daube M.* (2013). The Curvilinear Effects of Economic Development on Domestic Terrorism // *Peace Economics, Peace Science, and Public Policy*. Vol. 19. №. 3. P. 359–368.
- Bove V., Böhmelt T.* (2016). Does Immigration Induce Terrorism? // *The Journal of Politics*. Vol. 78. № 2. P. 572–588.
- Böhmelt T., Bove V.* (2020). How migration policies moderate the diffusion of terrorism // *European Journal of Political Research*. Vol. 59. № 1. P. 160–181.
- Boylan B. M.* (2016). What drives ethnic terrorist campaigns? A view at the group level of analysis // *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 33. № 3. P. 250–272.
- Braithwaite A.* (2015). Transnational terrorism as an unintended consequence of a military footprint // *Security Studies*. Vol. 24. № 2. P. 349–375.
- Braithwaite A., Chu T. S.* (2018). Civil conflicts abroad, foreign fighters, and terrorism at home // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 62. № 8. P. 1636–1660.
- Braithwaite A., Li Q.* (2007). Transnational terrorism hot spots: Identification and impact evaluation // *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 24. № 4. P. 281–296.
- Brockhoff S., Krieger T., Meierrieks D.* (2015). Great expectations and hard times: The (nontrivial) impact of education on domestic terrorism // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 24. № 4. P. 1186–1215.
- Burgoon B.* (2006). On welfare and terror: social welfare policies and political-economic roots of terrorism // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 50. № 2. P. 176–203.
- Campos N. F., Gassebner M.* (2009). International terrorism, political instability and the escalation effect. CEP. Discussion Paper № DP7226. URL: <https://ssrn.com/abstract=1372546> (дата доступа: 13.01.2023).

- Caruso R., Schneider F.* (2011). The socio-economic determinants of terrorism and political violence in Western Europe (1994–2007) // *European Journal of Political Economy*. Vol. 27. P. S37–S49.
- Choi S., Luo S.* (2013). Economic sanctions, poverty, and international terrorism: An empirical analysis // *International Interactions*. Vol. 39. № 2. P. 217–245.
- Choi S., Piazza, J. A.* (2016). Internally displaced populations and suicide terrorism // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 60. № 6. P. 1008–1040.
- Choi S., Piazza J. A.* (2017). Foreign military interventions and suicide attacks // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 61. № 2. P. 271–297.
- Choi S., Salehyan, I.* (2013). No good deed goes unpunished: refugees, humanitarian aid, and terrorism // *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 30. № 1. P. 53–75.
- Coggins B. L.* (2015). Does state failure cause terrorism? An empirical analysis (1999–2008) // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 59. № 3. P. 455–483.
- Collard-Wexler S., Pischedda C., Smith M. G.* (2014). Do foreign occupations cause suicide attacks? // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 58. № 4. P. 625–657.
- Crenshaw M.* (1981). The causes of terrorism // *Comparative politics*. Vol. 13. № 4. P. 379–399.
- Danzell O. E.* (2011). Political parties: When do they turn to terror? // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 55. № 1. P. 85–105.
- Derin-Güre P.* (2011). Separatist terrorism and the economic conditions in south-eastern Turkey // *Defence and Peace Economics*. Vol. 22. № 4. P. 393–407.
- Drakos K., Gofas A.* (2006). In search of the average transnational terrorist attack venue // *Defence and Peace Economics*. Vol. 17. № 2. P. 73–93.
- Dreher A., Gassebner M., Siemers L. H.* (2010). Does terrorism threaten human rights? Evidence from panel data // *Journal of Law and Economics*. Vol. 53. № 1. P. 65–93.
- Enders W., Hoover G. A., Sandler T.* (2016). The changing nonlinear relationship between income and terrorism // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 60. № 2. P. 195–225.
- Eubank W., Weinberg L.* (1994). Does democracy encourage terrorism? // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 6. № 4. P. 417–435.
- Eubank W., Weinberg L.* (2001). Terrorism and democracy: Perpetrators and victims // *Terrorism and political violence*. Vol. 13. № 1. P. 155–164.
- Ezcurra R., Palacios D.* (2016). Terrorism and spatial disparities: Does interregional inequality matter? // *European Journal of Political Economy*. Vol. 42. P. 60–74.
- Fahey S., LaFree G.* (2015). Does country-level social disorganization increase terrorist attacks? // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 27. № 1. P. 81–111.
- Findley M. G., Young J. K.* (2011). Terrorism, democracy, and credible commitments // *International Studies Quarterly*. Vol. 55. № 2. P. 357–378.
- Findley M. G., Young, J. K.* (2012). More combatant groups, more terror?: Empirical tests of an outbidding logic // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 24. № 5. P. 706–721.
- Foster D. M., Braithwaite A., Sobek D.* (2013). There can be no compromise: Institutional inclusiveness, fractionalization and domestic terrorism // *British Journal of Political Science*. Vol. 43. № 3. P. 541–557.

- Frey B. S., Luechinger S. (2003). How to fight terrorism: alternatives to deterrence // *Defence and Peace Economics*. Vol. 14. № 4. P. 237–249.
- Freytag A., Krüger J. J., Meierrieks D., Schneider F. (2011). The origins of terrorism: Cross-country estimates of socio-economic determinants of terrorism // *European Journal of Political Economy*. Vol. 27. P. S5–S16.
- Gaibulloev K., Piazza J. A., Sandler T. (2017). Regime types and terrorism // *International organization*. Vol. 71. № 3. P. 491–522.
- Gaibulloev K., Sandler T. (2022). Common myths of terrorism // *Journal of Economic Surveys*. Vol. 37. № 2. P. 271–301.
- Gassebner M., Jong-A-Pin R., Mierau J. O. (2008). Terrorism and electoral accountability: one strike, you're out! // *Economic Letters*. Vol. 100. № 1. P. 126–129.
- Gassebner M., Luechinger S. (2011). Lock, stock, and barrel: A comprehensive assessment of the determinants of terror // *Public Choice*. Vol. 149. № 3. P. 235–261.
- George J. (2018). State failure and transnational terrorism: An empirical analysis // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 62. № 3. P. 471–495.
- Ghatak S., Gold A., Prins B. C. (2019). Domestic terrorism in democratic states: Understanding and addressing minority grievances // *Journal of conflict resolution*. Vol. 63. № 2. P. 439–467.
- Gleditsch K. S., Polo S. M. (2016). Ethnic inclusion, democracy, and terrorism // *Public Choice*. Vol. 169. № 3. P. 207–229.
- Goldman O. S., Neubauer-Shani M. (2017). Does international tourism affect international terrorism? // *Journal of Travel Research*. Vol. 56. № 4. P. 451–467.
- Greene W. (2010). Testing hypotheses about interaction terms in nonlinear models // *Economics Letters*. Vol. 107. № 2. P. 291–296.
- Gurr T. (1970). *Why men rebel*. Princeton: Princeton University Press.
- Hall J. (2021). In search of enemies: Donald Trump's populist foreign policy rhetoric // *Politics*. Vol. 41. № 1. P. 48–63.
- Harris C., Milton D. J. (2016). Is standing for women a stand against terrorism? Exploring the connection between women's rights and terrorism // *Journal of Human Rights*. Vol. 15. № 1. P. 60–78.
- Henne P. S. (2012). The ancient fire: Religion and suicide terrorism // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 24. № 1. P. 38–60.
- Hlavac M. (2016). ExtremeBounds: Extreme bounds analysis in R // *Journal of Statistical Software*. Vol. 72. № 9. P. 1–22.
- Huntington S. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. New York: Simon Schuster.
- Ismail A., Amjad S. (2014). Cointegration-causality analysis between terrorism and key macroeconomic indicators: Evidence from Pakistan // *International Journal of Social Economics*. Vol. 41. № 8. P. 664–682.
- Issaev L., Fain E., Korotayev A. (2021). Impact of the Arab Spring on Terrorist Activity in the Sahel // *Ideology and Politics Journal*. № 3(19). P. 34–49.

- Issaev L. M., Korotayev A. V., Bobarykina D. A.* (2022). The global terrorist threat in the Sahel and the origins of terrorism in Burkina Faso // *Vestnik RUDN. International Relations*. Vol. 22. № 2. P. 411–421.
- Kavanagh J.* (2011). Selection, availability, and opportunity: The conditional effect of poverty on terrorist group participation // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 55. № 1. P. 106–132.
- Khokhlov N., Korotayev A.* (2022). Internet, political regime and terrorism: A quantitative analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 56. № 4. P. 385–418.
- Koch M. T., Cranmer S.* (2007). Testing the “Dick Cheney” hypothesis: do governments of the Left attract more terrorism than governments of the Right? // *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 24. № 3. P. 311–326.
- Korotayev A., Medvedev I., Zinkina J.* (2022). Global Systems for Sociopolitical Instability Forecasting and Their Efficiency. A Comparative Analysis // *Comparative Sociology*. Vol. 21. № 1. P. 64–104.
- Korotayev A., Romanov D., Zinkina J., Slav M.* (2023). Urban Youth and Terrorism: A Quantitative Analysis (Are Youth Bulges Relevant Anymore?) // *Political Studies Review*. <https://doi.org/10.1177/14789299221075908>
- Korotayev A., Vaskin I., Romanov D.* (2021). Terrorism and Democracy: A Reconsideration // *Comparative Sociology*. Vol. 20. № 3. P. 344–379.
- Korotayev A., Vaskin I., Tsirel S.* (2021). Economic growth, education, and terrorism: A re-analysis // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 33. № 3. P. 572–595.
- Krieger T., Meierrieks D.* (2011). What causes terrorism? // *Public Choice*. Vol. 147. № 1. P. 3–27.
- Krieger T., Meierrieks D.* (2019). Income inequality, redistribution and domestic terrorism // *World Development*. Vol. 116. P. 125–136.
- Krueger A. B., Maleckova J.* (2003). Education, poverty and terrorism: is there a causal connection? // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 17. № 4. P. 119–144.
- Kurrild-Klitgaard P., Justesen M. K., Klemmensen R.* (2006). The political economy of freedom, democracy and transnational terrorism // *Public Choice*. Vol. 128. № 1. P. 289–315.
- LaFree G., Bersani B. E.* (2014). County-level correlates of terrorist attacks in the United States // *Criminology & Public Policy*. Vol. 13. № 3. P. 455–481.
- Lafree G., Jensen M. A., James P. A., Safer-Lichtenstein A.* (2018). Correlates of violent political extremism in the United States // *Criminology*. Vol. 56. № 2. P. 233–268.
- Lai B.* (2007). “Draining the swamp”: an empirical examination of the production of international terrorism, 1968–1998 // *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 24. № 4. P. 297–310.
- Lee A.* (2011). Who becomes a terrorist?: Poverty, education, and the origins of political violence // *World politics*. Vol. 63. № 2. P. 203–245.
- Li Q.* (2005). Does democracy promote or reduce transnational terrorist incidents? // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 49. № 2. P. 278–297.
- Mascarenhas R., Sandler T.* (2014). Remittances and terrorism: A global analysis // *Defence and Peace Economics*. Vol. 25. № 4. P. 331–347.

- Meierrieks D.* (2014). Economic determinants of terrorism // *Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development*. Vol. 22. P. 25-49.
- Meierrieks D., Gries T.* (2012). Economic performance and terrorist activity in Latin America // *Defence and Peace Economics*. Vol. 23. № 5. P. 447-470.
- Midlarsky M., Crenshaw M., Yoshida F.* (1980). Why violence spreads: the contagion of international terrorism // *International Studies Quarterly*. Vol. 24. № 2. P. 262-298.
- Mullins C. W., Young J. K.* (2012). Cultures of violence and acts of terror: Applying a legitimization-habituation model to terrorism // *Crime Delinquency*. Vol. 58. № 1. P. 28-56.
- Murdie A., Stapley C. S.* (2014). Why target the “good guys”? The determinants of terrorism against NGOs // *International Interactions*. Vol. 40. № 1. P. 79-102.
- Nitsch V., Schumacher D.* (2004). Terrorism and international trade: an empirical investigation // *European Journal of Political Economy*. Vol. 20. № 2. P. 423-433.
- Okafor G., Piesse J.* (2018). Empirical investigation into the determinants of terrorism: Evidence from fragile states // *Defence and Peace Economics*. Vol. 29. № 6. P. 697-711.
- Paul J. A., Bagchi A.* (2018). Does terrorism increase after a natural disaster? An analysis based upon property damage // *Defence and peace economics*. Vol. 29. № 4. P. 407-439.
- Piazza J. A.* (2006). Rooted in poverty?: Terrorism, poor economic development, and social cleavages // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 18. № 1. P. 159-177.
- Piazza J. A.* (2008). Do democracy and free markets protect us from terrorism? // *International Politics*. Vol. 45. № 1. P. 72-91.
- Piazza J. A.* (2011). Poverty, minority economic discrimination, and domestic terrorism // *Journal of Peace Research*. Vol. 48. № 3. P. 339-353.
- Piazza J. A.* (2012). The opium trade and patterns of terrorism in the provinces of Afghanistan: An empirical analysis // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 24. № 2. P. 213-234.
- Piazza J. A.* (2013). Regime age and terrorism: Are new democracies prone to terrorism? // *International Interactions*. Vol. 39. № 2. P. 246-263.
- Plümpert T., Neumayer E.* (2010). The friend of my enemy is my enemy: international alliances and international terrorism // *European Journal of Political Research*. Vol. 49. № 1. P. 75-96.
- Richardson C.* (2011). *Relative deprivation theory in terrorism: A study of higher education and unemployment as predictors of terrorism*. New York: New York University.
- Robison K. K., Crenshaw E. M., Jenkins J. C.* (2006). Ideologies of violence: the social origins of Islamist and Leftist international terrorism // *Social Forces*. Vol. 84. № 4. P. 2009-2026.
- Saiya N.* (2017). Blasphemy and terrorism in the Muslim world // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 29. № 6. P. 1087-1105.
- Saiya N.* (2019). Religion, state, and terrorism: A global analysis // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 31. № 2. P. 204-223.

- Salman A.* (2015). Green houses for terrorism: measuring the impact of gender equality attitudes and outcomes as deterrents of terrorism // *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*. Vol. 39. № 4. P. 281–306.
- Sambanis N.* (2008). Terrorism and civil war // *Keefer P., Loayza N.* (eds.). *Terrorism, economic development, and political openness*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 174–206.
- Shahbaz M., Shabbir M., Malik M., Wolters M.* (2013). An analysis of a causal relationship between economic growth and terrorism in Pakistan // *Economic Modelling*. Vol. 35. P. 21–29.
- Shahzad, S. J., Zakaria, M., Rehman, M. U., Ahmed, T., Fida, B. A.* (2016). Relationship between FDI, terrorism and economic growth in Pakistan: Pre and post 9/11 analysis // *Social Indicators Research*. Vol. 127. P. 179–194.
- Smith M., Zeigler S. M.* (2017). Terrorism before and after 9/11—a more dangerous world? // *Research & Politics*. Vol. 4. № 4. P. 538–556.
- Tavares J.* (2004). The open society assesses its enemies: shocks, disasters and terrorist attacks // *Journal of monetary economics*. Vol. 51. № 5. P. 1039–1070.
- Tinta A.* (2022). Are more educated people more likely to engage in terrorism // *Applied Economics*. <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2128181>
- Weinberg L. B., Eubank W. L.* (1998). Terrorism and democracy: What recent events disclose // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 10. № 1. P. 108–118.
- Wilson M. C., Piazza J. A.* (2013). Autocracies and terrorism: Conditioning effects of authoritarian regime type on terrorist attacks // *American Journal of Political Science*. Vol. 57. № 4. P. 941–955.
- Younas J., Sandler T.* (2017). Gender imbalance and terrorism in developing countries // *Journal of conflict resolution*. Vol. 61. № 3. P. 483–510.

Quantitative Analysis of Factors of Terrorist Activities: A Systematic Review

Elijah Sumernikov

Research Intern at the Research Center for Stability and Risk Studies, HSE University.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: iasumernikov@hse.ru

Andrey Ufimtsev

Research Intern at the Laboratory for Climate Change Economics, HSE University.

Address: 17/1 Malaya Ordynka str., Moscow, 109028 Russian Federation

E-mail: aufimtsev@hse.ru

Maxim Slav

Scientific researcher, National Institute for Economic Research, Academy of Economic Studies of Moldova.

Address: Ion Creanga, 45, Chisinau, MD-2064, Moldova

E-mail: mgs Slav@gmail.com

Andrey V. Korotayev

Doctor of Historical Sciences; Director of the Research Center for Stability and Risk Studies, HSE University;

Chief Researcher at the Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: akorotayev@gmail.com

Since the beginning of the 21st century, the number of empirical studies devoted to the analysis of factors influencing the risks of terrorist activity has grown significantly. At the same time, assessments of the influence of individual factors may differ in various studies, due to which there is a need for a generalizing work that will consider the key results of the studies. The last generalizing works were published in English in 2011. Since then, a large number of works have appeared that clarify the influence of various determinants of terrorism. This study presents an analysis of the results of quantitative studies of factors influencing terrorist activity. As part of the study, 75 papers published in 2011–2022 have been analyzed. The most widely studied determinants of terrorism can be divided into three groups: political, social and economic. A total of 53 factors were identified, the statistical significance of which was demonstrated in at least two studies. Studies of the factors of terrorist destabilization of the last ten years have yielded the following main results. They have shown that countries with a hybrid political regime (anocracy), in a state of internal or external conflict, with a weak central government (for example, “fragile” or “failed” states), with an intermediate level of socio-economic development (i.e. with intermediate levels of GDP per capita, urbanization and education) have the greatest risks of terrorist destabilization, although in recent years the zone of greatest risk of terrorist activity has shifted somewhat towards the socio-economically least developed countries. In addition, these states are characterized by low rates of economic growth, high inflation, large amounts of foreign financial aid, high levels of inequality, a fairly large population, pronounced discrimination against minorities, as well as high levels of repression and terrorist activity in previous years.

Keywords: terrorism, destabilization, quantitative analysis, cross-national research, modernization, economic factors, political regimes, risks

References

- Abadie A., Gardeazabal J. (2008) Terrorism and the world economy. *European Economic Review*, vol. 52, no 1, pp. 1–27.
- Abrahms M., Potter P.B. (2015) Explaining terrorism: Leadership deficits and militant group tactics. *International Organization*, vol. 69, no 2, pp. 311–342.
- Ai C., Norton E. C. (2003) Interaction terms in logit and probit models. *Economics letters*, vol. 80, no 1, pp. 123–129.
- Aksoy D. (2014) Elections and the timing of terrorist attacks. *The Journal of Politics*, vol. 76, no 4, pp. 899–913.
- Aksoy D., Carter D. B., Wright J. (2012) Terrorism in dictatorships. *Journal of Politics*, vol. 74, no 3, pp. 810–826.
- Akyuz K., Armstrong T. (2011) Understanding the sociostructural correlates of terrorism in Turkey. *International Criminal Justice Review*, vol. 21, no 2, pp. 134–155.
- Arce D. G., Sandler T. (2003) An evolutionary game approach to fundamentalism and conflict. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE). Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, vol. 159, no 1, pp. 132–154.
- Asal V., Hoffman A. M. (2016) Media effects: Do terrorist organizations launch foreign attacks in response to levels of press freedom or press attention? *Conflict Management and Peace Science*, vol. 33, no 4, pp. 381–399.
- Avdan N., Uzonyi G. (2017) V for vendetta: Government mass killing and domestic terrorism. *Studies in Conflict Terrorism*, vol. 40, no 11, pp. 934–965.

- Azam J.-P., Delacroix A. (2006) Aid and the delegated fight against terrorism. *Review of Development Economics*, vol. 10, no 2, pp. 330–344.
- Azam J., Thelen V. (2008) The roles of foreign aid and education in the war on terror. *Public Choice*, vol. 135, no 3, pp. 375–397.
- Bagchi A., Paul J.A. (2018) Youth unemployment and terrorism in the MENAP (Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan) region. *Socio-Economic Planning Sciences*, vol. 64, pp. 9–20.
- Bell S.R., Clay K.C., Murdie A., Piazza, J. (2014) Opening yourself up: The role of external and internal transparency in terrorism attacks. *Political Research Quarterly*, vol. 67, no 3, pp. 603–614.
- Benmelech E., Berrebi C., Klor E.F. (2015) Counter-suicide-terrorism: Evidence from house demolitions. *The Journal of Politics*, vol. 77, no 1, pp. 27–43.
- Blomberg S.B., Hess G.D. (2008) The Lexus and the olive branch: globalization, democratization and terrorism. *Terrorism, economic development, and political openness* (P. Keefer, N. Loayza Eds.), New York: Cambridge University Press.
- Boehmer C., Daube M. (2013) The Curvilinear Effects of Economic Development on Domestic Terrorism. *Peace Economics, Peace Science, and Public Policy*, vol. 19, no 3, pp. 359–368.
- Bove V., Böhmelt T. (2016) Does Immigration Induce Terrorism? *The Journal of Politics*, vol. 78, no 2, pp. 572–588.
- Böhmelt T., Bove V. (2020) How migration policies moderate the diffusion of terrorism. *European Journal of Political Research*, vol. 59, no 1, pp. 160–181.
- Boylan B.M. (2016) What drives ethnic terrorist campaigns? A view at the group level of analysis. *Conflict Management and Peace Science*, vol. 33, no 3, pp. 250–272.
- Braithwaite A. (2015) Transnational terrorism as an unintended consequence of a military footprint. *Security Studies*, vol. 24, no 2, pp. 349–375.
- Braithwaite A., Chu T.S. (2018) Civil conflicts abroad, foreign fighters, and terrorism at home. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 62, no 8, pp. 1636–1660.
- Braithwaite A., Li Q. (2007) Transnational terrorism hot spots: Identification and impact evaluation. *Conflict Management and Peace Science*, vol. 24, no 4, pp. 281–296.
- Brockhoff S., Krieger T., Meierrieks D. (2015) Great expectations and hard times: The (nontrivial) impact of education on domestic terrorism. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 24, no 4, pp. 1186–1215.
- Burgoon B. (2006) On welfare and terror: social welfare policies and political-economic roots of terrorism. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 50, no 2, pp. 176–203.
- Campos N.F., Gassebner M. (2009) International terrorism, political instability and the escalation effect. CEP. Discussion Paper. no. DP7226. URL: <https://ssrn.com/abstract=1372546> (дата доступа: 13.01.2023).
- Caruso R., Schneider F. (2011) The socio-economic determinants of terrorism and political violence in Western Europe (1994–2007). *European Journal of Political Economy*, vol. 27, pp. S37–S49.

- Choi S., Luo S. (2013) Economic sanctions, poverty, and international terrorism: An empirical analysis. *International Interactions*, vol. 39, no 2, pp. 217–245.
- Choi S., Piazza, J. A. (2016) Internally displaced populations and suicide terrorism. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 60, no 6, pp. 1008–1040.
- Choi S., Piazza J. A. (2017) Foreign military interventions and suicide attacks. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, no 2, pp. 271–297.
- Choi S., Salehyan, I. (2013) No good deed goes unpunished: refugees, humanitarian aid, and terrorism. *Conflict Management and Peace Science*, vol. 30, no 1, pp. 53–75.
- Coggins B. L. (2015) Does state failure cause terrorism? an empirical analysis (1999–2008). *Journal of Conflict Resolution*, vol. 59, no 3, pp. 455–483.
- Collard-Wexler S., Pischedda C., Smith M. G. (2014) Do foreign occupations cause suicide attacks? *Journal of Conflict Resolution*, vol. 58, no 4, pp. 625–657.
- Crenshaw M. (1981) The causes of terrorism. *Comparative politics*, vol. 13, no 4, pp. 379–399.
- Danzell O. E. (2011) Political parties: When do they turn to terror? *Journal of Conflict Resolution*, vol. 55, no 1, pp. 85–105.
- Derin-Güre P. (2011) Separatist terrorism and the economic conditions in south-eastern Turkey. *Defence and Peace Economics*, vol. 22, no 4, pp. 393–407.
- Drakos K., Gofas A. (2006) In search of the average transnational terrorist attack venue. *Defence and Peace Economics*, vol. 17, no 2, pp. 73–93.
- Dreher A., Gassebner M., Siemers L. H. (2010) Does terrorism threaten human rights? Evidence from panel data. *The Journal of Law and Economics*, vol. 53, no 1, pp. 65–93.
- Enders W., Hoover G. A., Sandler T. (2016) The changing nonlinear relationship between income and terrorism. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 60, no 2, pp. 195–225.
- Eubank W., Weinberg L. (1994) Does democracy encourage terrorism? *Terrorism and Political Violence*, vol. 6, no 4, pp. 417–435.
- Eubank W., Weinberg L. (2001) Terrorism and democracy: Perpetrators and victims. *Terrorism and political violence*, vol. 13, no 1, pp. 155–164.
- Ezcurra R., Palacios D. (2016) Terrorism and spatial disparities: Does interregional inequality matter? *European Journal of Political Economy*, vol. 42, pp. 60–74.
- Fahey S., LaFree G. (2015) Does country-level social disorganization increase terrorist attacks? *Terrorism and Political Violence*, vol. 27, no 1, pp. 81–111.
- Findley M. G., Young J. K. (2011) Terrorism, democracy, and credible commitments. *International Studies Quarterly*, vol. 55, no 2, pp. 357–378.
- Findley M. G., Young, J. K. (2012) More combatant groups, more terror? Empirical tests of an outbidding logic. *Terrorism and Political Violence*, vol. 24, no 5, pp. 706–721.
- Foster D. M., Braithwaite A., Sobek D. (2013) There can be no compromise: Institutional inclusiveness, fractionalization and domestic terrorism. *British Journal of Political Science*, vol. 43, no 3, pp. 541–557.
- Frey B. S., Luechinger S. (2003) How to fight terrorism: alternatives to deterrence. *Defence and Peace Economics*, vol. 14, no 4, pp. 237–249.

- Freytag A., Krüger J. J., Meierrieks D., Schneider F. (2011) The origins of terrorism: Cross-country estimates of socio-economic determinants of terrorism. *European Journal of Political Economy*, vol. 27, pp. S5–S16.
- Gaibulloev K., Piazza J. A., Sandler T. (2017) Regime types and terrorism. *International organization*, vol. 71, no 3, pp. 491–522.
- Gaibulloev K., Sandler T. (2022) Common myths of terrorism. *Journal of Economic Surveys*, vol. 37, no 2, pp. 271–301.
- Gassebner M., Jong-A-Pin R., Mierau J. O. (2008) Terrorism and electoral accountability: one strike, you're out! *Economic Letters*, vol. 100, no 1, pp. 126–129.
- Gassebner M., Luechinger S. (2011) Lock, stock, and barrel: A comprehensive assessment of the determinants of terror. *Public Choice*, vol. 149, no 3, pp. 235–261.
- George J. (2018) State failure and transnational terrorism: An empirical analysis. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 62, no 3, pp. 471–495.
- Ghatak S., Gold A., Prins B. C. (2019) Domestic terrorism in democratic states: Understanding and addressing minority grievances. *Journal of conflict resolution*, vol. 63, no 2, pp. 439–467.
- Gleditsch K. S., Polo S. M. (2016) Ethnic inclusion, democracy, and terrorism. *Public Choice*, vol. 169, no 3, pp. 207–229.
- Goldman O. S., Neubauer-Shani M. (2017) Does international tourism affect international terrorism? *Journal of Travel Research*, vol. 56, no 4, pp. 451–467.
- Greene W. (2010) Testing hypotheses about interaction terms in nonlinear models. *Economics Letters*, vol. 107, no 2, pp. 291–296.
- Gurr T. (1970) *Why men rebel*, Princeton: Princeton University Press.
- Hall J. (2021) In search of enemies: Donald Trump's populist foreign policy rhetoric. *Politics*, vol. 41, no 1, pp. 48–63.
- Harris C., Milton D. J. (2016) Is standing for women a stand against terrorism? Exploring the connection between women's rights and terrorism. *Journal of Human Rights*, vol. 15, no 1, pp. 60–78.
- Henne P. S. (2012) The ancient fire: Religion and suicide terrorism. *Terrorism and Political Violence*, vol. 24, no 1, pp. 38–60.
- Hlavac M. (2016) ExtremeBounds: Extreme bounds analysis in R. *Journal of Statistical Software*, vol. 72, no 9, pp. 1–22.
- Huntington S. (1996) *The clash of civilizations and the remaking of world order*, New York: Simon Schuster.
- Issaev L., Fain E., Korotayev A. (2021). Impact of the Arab Spring on Terrorist Activity in the Sahel. *Ideology and Politics Journal*, no 3(19), pp. 34–49.
- Issaev L. M., Korotayev A. V., Bobarykina D. A. (2022) The global terrorist threat in the Sahel and the origins of terrorism in Burkina Faso. *Vestnik RUDN. International Relations*, vol. 22, no 2, pp. 411–421.
- Ismail A., Amjad S. (2014) Cointegration-causality analysis between terrorism and key macroeconomic indicators: Evidence from Pakistan. *International Journal of Social Economics*, vol. 41, no 8, pp. 664–682.

- Kavanagh J. (2011) Selection, availability, and opportunity: The conditional effect of poverty on terrorist group participation. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 55, no 1, pp. 106–132.
- Khokhlov N., Korotayev A. (2022) Internet, political regime and terrorism: A quantitative analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 56, no 4, pp. 385–418.
- Koch M. T., Cranmer S. (2007) Testing the “Dick Cheney” hypothesis: do governments of the Left attract more terrorism than governments of the Right? *Conflict Management and Peace Science*, vol. 24, no 3, pp. 311–326.
- Korotayev A. V. et al. (2021) *Sotsial’no-politicheskaya destabilizatsiya v stranakh afraziyskoy makrozony nestabil’nosti: kolichestvennyy analiz i prognozirovaniye riskov* [Socio-political destabilization in the countries of the Afro-Asian macrozone of instability: quantitative analysis and risk forecasting], Moscow: Lenand/URSS (In Russian).
- Korotayev A., Medvedev I., Slinko E., Shulgin S. (2020) The Effectiveness of Global Systems for Monitoring Sociopolitical Instability: A Systematic Analysis. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 2, pp. 143–197. (In Russian)
- Korotayev A., Medvedev I., Zinkina J. (2022) Global Systems for Sociopolitical Instability Forecasting and Their Efficiency. A Comparative Analysis. *Comparative Sociology*, vol. 21, no 1, pp. 64–104.
- Korotayev A., Vaskin I., Romanov D. (2019) Demokratija i terorizm: novyj vzgljad na staruju problemu [Democracy and terrorism: a reanalysis]. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 3, pp. 9–48. (In Russian)
- Korotayev A., Vaskin I., Romanov D. (2021). Terrorism and Democracy: A Reconsideration. *Comparative Sociology*, vol. 20, no 3, pp. 344–379.
- Korotayev A., Vaskin I., Tsirel S. (2021). Economic growth, education, and terrorism: A re-analysis. *Terrorism and Political Violence*, vol. 33, no 3, pp. 572–595.
- Krieger T., Meierrieks D. (2011) What causes terrorism? *Public Choice*, vol. 147, no 1, pp. 3–27.
- Krieger T., Meierrieks D. (2019) Income inequality, redistribution and domestic terrorism. *World Development*, vol. 116, pp. 125–136.
- Krueger A. B., Maleckova J. (2003) Education, poverty and terrorism: is there a causal connection? *Journal of Economic Perspectives*, vol. 17, no 4, pp. 119–144.
- Kurrild-Klitgaard P., Justesen M. K., Klemmensen R. (2006) The political economy of freedom, democracy and transnational terrorism. *Public Choice*, vol. 128, no 1, pp. 289–315.
- LaFree G., Bersani B. E. (2014) County-level correlates of terrorist attacks in the United States. *Criminology & Public Policy*, vol. 13, no 3, pp. 455–481.
- Lafree G., Jensen M. A., James P. A., Safer-Lichtenstein A. (2018) Correlates of violent political extremism in the United States. *Criminology*, vol. 56, no 2, pp. 233–268.
- Lai B. (2007) “Draining the swamp”: an empirical examination of the production of international terrorism, 1968–1998. *Conflict Management and Peace Science*, vol. 24, no 4, pp. 297–310.

- Lee A. (2011) Who becomes a terrorist?: Poverty, education, and the origins of political violence. *World politics*, vol. 63, no 2, pp. 203–245.
- Li Q. (2005) Does democracy promote or reduce transnational terrorist incidents? *Journal of Conflict Resolution*, vol. 49, no 2, pp. 278–297.
- Mascarenhas R., Sandler T. (2014) Remittances and terrorism: A global analysis. *Defence and Peace Economics*, vol. 25, no 4, pp. 331–347.
- Meierrieks D., Gries T. (2012) Economic performance and terrorist activity in Latin America. *Defence and Peace Economics*, vol. 23, no 5, pp. 447–470.
- Meierrieks D. (2014) Economic determinants of terrorism. In *Understanding Terrorism. Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development*, vol. 22, pp. 25–49.
- Midlarsky M., Crenshaw M., Yoshida F. (1980) Why violence spreads: the contagion of international terrorism. *International Studies Quarterly*, vol. 24, no 2, pp. 262–298.
- Mullins C. W., Young J. K. (2012) Cultures of violence and acts of terror: Applying a legitimization-habituation model to terrorism. *Crime Delinquency*, vol. 58, no 1, pp. 28–56.
- Murdie A., Stapley C. S. (2014) Why target the “good guys”? The determinants of terrorism against NGOs. *International Interactions*, vol. 40, no 1, pp. 79–102.
- Narochnitskaya E. A. (2003) Terrorizm i demokratiya (na primere etnicheskogo terrorizma v stranakh Zapada) [Terrorism and democracy (using the example of ethnic terrorism in Western countries)]. *Aktualnyye problemy Evropy*, no 1, pp. 27–59. (In Russian)
- Nitsch V., Schumacher D. (2004) Terrorism and international trade: an empirical investigation. *European Journal of Political Economy*, vol. 20, no 2, pp. 423–433.
- Okafor G., Piessie J. (2018) Empirical investigation into the determinants of terrorism: Evidence from fragile states. *Defence and Peace Economics*, vol. 29, no 6, pp. 697–711.
- Paul J. A., Bagchi A. (2018) Does terrorism increase after a natural disaster? An analysis based upon property damage. *Defence and peace economics*, vol. 29, no 4, pp. 407–439.
- Piazza J. A. (2006) Rooted in poverty?: Terrorism, poor economic development, and social cleavages. *Terrorism and political Violence*, vol. 18, no 1, pp. 159–177.
- Piazza J. A. (2008) Do democracy and free markets protect us from terrorism? *International Politics*, vol. 45, no 1, pp. 72–91.
- Piazza J. A. (2011) Poverty, minority economic discrimination, and domestic terrorism. *Journal of Peace Research*, vol. 48, no 3, pp. 339–353.
- Piazza J. A. (2012) The opium trade and patterns of terrorism in the provinces of Afghanistan: An empirical analysis. *Terrorism and Political Violence*, vol. 24, no 2, pp. 213–234.
- Piazza J. A. (2013) Regime age and terrorism: Are new democracies prone to terrorism? *International Interactions*, vol. 39, no 2, pp. 246–263.
- Plümper T., Neumayer E. (2010) The friend of my enemy is my enemy: international alliances and international terrorism. *European Journal of Political Research*, vol. 49, no 1, pp. 75–96.
- Richardson C. (2011) *Relative deprivation theory in terrorism: A study of higher education and unemployment as predictors of terrorism*, New York: New York University.

- Robison K. K., Crenshaw E. M., Jenkins J. C. (2006) Ideologies of violence: the social origins of Islamist and Leftist international terrorism. *Social Forces*, vol. 84, no 4, pp. 2009–2026.
- Saiya N. (2017) Blasphemy and terrorism in the Muslim world. *Terrorism and Political Violence*, vol. 29, no 6, pp. 1087–1105.
- Saiya N. (2019) Religion, state, and terrorism: A global analysis. *Terrorism and Political Violence*, vol. 31, no 2, pp. 204–223.
- Salman A. (2015) Green houses for terrorism: measuring the impact of gender equality attitudes and outcomes as deterrents of terrorism. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, vol. 39, no 4, pp. 281–306.
- Sambanis N. (2008) Terrorism and civil war. *Terrorism, economic development, and political openness* (eds. P. Keefer, N. Loayza), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 174–206.
- Shahbaz M., Shabbir M., Malik M., Wolters M. (2013) An analysis of a causal relationship between economic growth and terrorism in Pakistan. *Economic Modelling*, vol. 35, pp. 21–29.
- Shahzad S. J., Zakaria M., Rehman M. U., Ahmed T., Fida B. A. (2016) Relationship between FDI, terrorism and economic growth in Pakistan: Pre and post 9/11 analysis. *Social Indicators Research*, vol. 127, pp. 179–194.
- Smith M., Zeigler S. M. (2017) Terrorism before and after 9/11—a more dangerous world? *Research & Politics*, vol. 4, no 4, pp. 538–556.
- Tavares J. (2004) The open society assesses its enemies: shocks, disasters and terrorist attacks. *Journal of monetary economics*, vol. 51, no 5, pp. 1039–1070.
- Tinta A. (2022) Are more educated people more likely to engage in terrorism. *Applied Economics*, <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2128181>
- Vaskin I., Tsirel S., Korotayev A. (2018) Jekonomicheskij rost, obrazovanie i terrorizm: opyt kolichestvennogo analiza [Economic growth, education and terrorism: experience in quantitative analysis]. *Sotsiologicheskij zhurnal*, vol. 24, no 2, pp. 28–65. (In Russian)
- Weinberg L. B., Eubank W. L. (1998) Terrorism and democracy: What recent events disclose. *Terrorism and Political Violence*, vol. 10, no 1, pp. 108–118.
- Wilson M. C., Piazza J. A. (2013) Autocracies and terrorism: Conditioning effects of authoritarian regime type on terrorist attacks. *American Journal of Political Science*, vol. 57, no 4, pp. 941–955.
- Younas J., Sandler T. (2017) Gender imbalance and terrorism in developing countries. *Journal of conflict resolution*, vol. 61, no 3, pp. 483–510.

Приложение 1. Группа переменных «Политические факторы»

а) Уровень демократии

1. Главная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: 1) *d.v.* — внутренний терроризм: 13SP. *i.v.* — polity score (от -6 до 0): 1SP. polity score (от 1 до 7): 1SP. polity score (от 8 до 10): 1SP. 2) *d.v.* — международный терроризм: 13SP. *i.v.* — polity score (от -6 до 0): 1SP. polity score (от 1 до 7): 1SP. polity score (от 8 до 10): 1SP), (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — вероятность отсутствия терактов: 2SN, количество терактов: 1P/1IN) (Findley, Young, 2011: *i.v.* — 2SU, U-образная зависимость), (Aksoy, Carter, Wright, 2012: 2SP/2IP), (Piazza, 2013: *i.v.* — демократия Polity IV: 3SP. 0–5 лет: 3SP. 6–10 лет: 3SP. 11–20 лет: 3IP. 21–30 лет: 2IP/1SP. 31–50 лет: 3IP. 51+ лет: 2IN/1IP), (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: *i.v.* — Polity 2: 8SU, перевернутая U-образная зависимость), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: *i.v.* — демократия: 9SN/5SP/2IN, демократия*экономическая дискриминация меньшинств: 4SP. демократия*политическое исключение: 4SP), (Meierrieks, Gries, 2012: 3IP/3IN/1SU, перевернутая U-образная зависимость), (Boehmer, Daube, 2016: 1SP/1P/1SU, перевернутая U-образная зависимость)
2. Контрольная (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: 12SP/5SN/1IN), (Findley, Young, 2011: joint democracy: 2SP/2IN/2SN), (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак: 5IP), (Choi, Luo, 2013: *d.v.* — международный терроризм: 4SP/2IP), (Choi, Salehyan, 2013: 1) *d.v.* — любой: 4SP/1IP. 2) внутренний: теракты: 1SP. факт происшествия: 1SP. жертвы: 1SP. 3) международный: теракты: 1SP. факт происшествия: 1SP. жертвы: 1SP); (Freitag, Kruger et al., 2011: 5SP); (Coggins, 2015: *i.v.* — polity 2: 28IP), (Mullins, Young, 2012: для count-модели: 3SN/2IP/1IN, для inflated-модели: 4IP/1IN/1SN); (Ezcurra, Palacios, 2016: *i.v.* — свободное государство: 6SP/2IP. несвободное: 6SN/2IN), (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *d.v.* — количество атак террористов-смертников, *i.v.* — polity: 7SP/1IP), (Fahey, LaFree, 2015: *i.v.* — полноценная демократия: *d.v.* — количество атак: 4SP/1IP. количество жертв: 1SP), (Krieger, Meierrieks, 2019: 10IP/1SP), (Braithwaite, Chu, 2018: *i.v.* — демократия: 3SP/1IP), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: *i.v.* — продолжительность существования демократического режима (Years of democracy): 4SN/1IN), (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: *i.v.* — Attacks: 2SN/4IN/1IP. несвязанные атаки по исполнителю: 7SP. несвязанные атаки по месту: 4IN/3IP. логистически сложные атаки: 2SN/4IN/1IP. логистически простые атаки: 1SN/6IN), (Boylan, 2016: *i.v.* — уровень демократии в стране: 2IP/1IN), (Murdie, Starley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО: 4IP/4IN), (Böhmeit, Bove, 2019: 6IP/1IN), (Smith, Zeigler, 2017: *d.v.* — любой терроризм: 2SP. внутренний терроризм: 5SP/1IP. международный терроризм: 6SP), (Salman, 2015: *d.v.* — любой терроризм: 9IP. внутренний терроризм: 9IP. международный терроризм: 9IP), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников:

10SP/8IP/6IN), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 3IP), (Bagchi, Paul, 2018: 2SP/6IP), (Saiya, 2016: 1SP/3IP), (Khokhlov, Korotayev, 2022: *i.v.* — Partial democracy: 3IP. partial democracy with factionalism: 2SP/1IP. partial democracy without factionalism: 3IP. full democracy: 3IP. polity index: 5IP/1IN/1SP), (Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021: *i.v.* — any democracy: 2SP/2IP/1IN, factional democracy: 5SP. non-factional democracy: 5SN), (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021: *i.v.* — Full autocracy: 1IN/1IP. factional democracy: 2SP. full democracy: 2SN)

б) Автократия, диктатура, гибридный режим, военное правление

1. Главная (Wilson, Piazza, 2013: 1) *i.v.* — Персоналистский режим: *d.v.* — ноль терактов: 1SP/1SN/1IP. количество терактов: 1SN/2IN, 2) *i.v.* — Военный режим: *d.v.* — ноль терактов: 1SN/1SP. количество терактов: 1SP/1IP. 3) *i.v.* — Гибридный режим: *d.v.* — ноль терактов: 1SP/1IN/1IP. количество терактов: 2SN/1IN, 4) *i.v.* — Гибридный режим с партиями: *d.v.* — ноль терактов: 2SP. количество терактов: 1SN/1IN), (Bove, Böhmelt, 2016: из Polity IV: *i.v.* — Персоналистский режим: 3SN или 2IN, Военный режим: 4IP или 1IN, Однопартийность: 5IN, Гибридный режим: 5IN), (Aksoy, Carter, Wright, 2012: *i.v.* — Режим с оппозиционными партиями, но без выборных законодательных органов: 6SP. Режим с оппозиционными партиями и с выборными законодательными органами: 4SN/2IN, Однопартийный режим: 6SN), (Piazza, 2013: *i.v.* — Dictatorship Polity IV: 3SN; 0–5 лет: 2IN/1SN; 6–10 лет: 3SN, 11–20 лет: 2SN/1IN, 21–30 лет: 3SN, 31–50 лет: 3SN, 51+ лет: 2SN/1IN)
2. Контрольная (Fahey, LaFree, 2015: *i.v.* — Полная автократия: количество атак — 5SN, количество жертв — 1IN), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: *i.v.* — Анокрратия: 2SP/2IN), (Abrahms, Potter, 2015: *d.v.* — нападение на мирных жителей: 4SN)

в) Политический режим (для различных типизаций политических режимов: например, Polity IV и другие)

1. Главная (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: *i.v.* — Polity 2: 8SU, перевернутая U-образная зависимость)
2. Контрольная (Findley, Young, 2012: 1) *i.v.* — Частично свободные: Для Count-модели: 1IP. Для inflate-модели: 1IN; 2) Несвободные: Для Count-модели: 1IN, Для inflate-модели: 1IN), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *i.v.* — тип режима, *d.v.* — количество атак: где иностранцы совершают атаку: 1IP/1IN/1SN, где жертвами стали иностранцы: 1SN/1IN, где иностранцы и атакующие, и жертвы: 2IN/1SN, количество атак private parties: 2IN), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: *i.v.* — Президентская система: 5SP), (Gleditsch, Polo, 2016: *i.v.* — Polity: 8SP/1IP/2IN/1SN, переход к более демо-

кратическому режиму: 2IN/1SP/1SN, без Азии: 1SN), (Asal, Hoffman, 2016: 2SN), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 7SP), (Richardson, 2011: *i.v.* — Polity: 2IP)

г) Долговечность/длительность политического режима (*durability*)

1. Главная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: 1) *i.v.* — долговечность режима: *d.v.* — внутренний терроризм: 3SP. 2) *i.v.* — долговечность автократического режима: внутренний терроризм: 1SP. 3) *d.v.* — международный терроризм: 3SP. *d.v.* — международный терроризм: 1SP. 4) *i.v.* — долговечность демократии: *d.v.* — внутренний терроризм: 1IP. международный терроризм: 1SP), (Young, Dugan, 2011: 4SN), (Piazza, 2013: 6SN), (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: Attacks: 5IP/2IN, несвязанные атаки по исполнителю: 6IP/1IN, несвязанные атаки по месту: 7SP. логистически сложные атаки: 6IN/1IP. логистически простые атаки: 2SP/5IP)
2. Контрольная (Wilson, Piazza, 2013: *i.v.* — Durable (Polity IV): *d.v.* — ноль терактов: 3SP. количество терактов: 3SN), (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: 3IP/3IN/2SP), (Bove, Böhmelt, 2016: 5IN), (Aksoy, Carter, Wright, 2012: 8SN/4IN), (Findley, Young, 2012: для Count-модели: 1IN, для inflate-модели: 1IN), (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм; для count-модели: 4SN/7IN; для inflated-модели: 5SP/5IP), (Coggins, 2015: 21IP/7IN), (Krieger, Meierrieks, 2019: 2IN), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: 14SP/2IP), (Braithwaite, 2015: 7IP/1SN/2IN/1SP), (Choi, Piazza, 2016: *i.v.* — политическая долговечность, *d.v.* — атаки террористов-смертников: 2IP/1SP), (Bell et al., 2014: 3IN), (Caruso, Schneider, 2011: *d.v.* — количество атак: 3IN/1IP. *d.v.* — количество жертв: 2SP/2IP), (Boehmer, Daube, 2016: 2SN/1IN)

д) «Несостоятельность/хрупкость государств» (*state failure/fragility*):

1. Главная (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — ноль терактов: 3SN, количество терактов: 3SP), (George, 2018: *d.v.* — международный (transnational) терроризм: Attacks: 1SP. несвязанные атаки по исполнителю: 1IP. несвязанные атаки по месту: 1IP. логистически сложные атаки: 1SP. логистически простые атаки: 1IP), (Okafor, Piesse, 2018: 4SP/2IP)
2. Контрольная (Bove, Böhmelt, 2016: 5SP), (Choi, Luo, 2013: *d.v.* — международный терроризм: 6SP), (Choi, Salehyan, 2013: *d.v.* — любой терроризм: 4SP/1IP. внутренний: теракты: 1SP. состоялся теракт или нет: 1SP. жертвы: 1SP. международный терроризм: теракты: 1SP. состоялся теракт или нет: 1SP. жертвы — 1SP), (Piazza, 2013: любой: 4SP. внутренний: 4SP. международный: 4SP), (Saiya, 2019: 3SP), (Braithwaite, Chu, 2018: 3SP/1IP), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 2SP/2IP/2IN), (Saiya, 2016: 4SP), (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: 18SP)

е) *Наличие гражданской войны*

Главная (Findley, Young, 2011: происхождение: 2SP/1IP/1IN/1SN, цель: 2SN/2IN/1IP), (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *d.v.* — количество атак террористов-смертников, *i.v.* — гражданская война: 5SP/2IP. сепаратисты+гражданская война: 1SP. гражданская война без сепаратистов: 1IP), (Braithwaite, Chu, 2018: *i.v.* — происходящий гражданский конфликт в стране происхождения террориста: 4SP)

Контрольная (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: 8SP), (Aksoy, Carter, Wright, 2012: 9SP/3IP), (Freitag, Kruger et al., 2011: 5SP), (Coggins, 2015: 23SP и 5IP), (Ezcurra, Palacios, 2016: 4SP/4IP), (Krieger, Meierrieks, 2019: 11SP), (Saiya, 2019: *i.v.* — религиозная гражданская война: 3SP), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: 16SP), (Gleditsch, Polo, 2016: 13SP/1SN), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 4SP/2IP), (Saiya, 2016: 4SP)

ж) *Конфликты (любые — внешний и внутренний, война)*

1. Главная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: 1) *i.v.* — сколько лет идет конфликт: *d.v.* — внутренний терроризм: 13SP. международный терроризм: 12SP/1IP. 2) *i.v.* — сколько лет идет внутренний конфликт: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP. международный терроризм: 1SP. 3) *i.v.* — сколько лет идет международный конфликт: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP. международный терроризм: 1SP), (Young, Dugan, 2011: 3SP/1IP), (Findley, Young, 2011: *i.v.* — межгосударственная война, origin: 2IN/2IP/1SP. target: 3IN/2SP/2IP), (Mullins, Young, 2012: для count-модели — 3SP. для inflated-модели — 3SN), (Findley, Young, 2011: origin: 2SP/1IP/1IN/1SN, target: 2SN/2IN/1IP), (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *d.v.* — количество атак террористов-смертников, *i.v.* — межгосударственная война: 1IN), (Braithwaite, Chu, 2018: *i.v.* — ongoing conflict: 1SP), (Findley, Young, 2011: *i.v.* — межгосударственное соперничество: 2SP/1SN/1IP)
2. Контрольная (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: *i.v.* — всеобщие забастовки: 18SP. внешний конфликт: 18SP), (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — ноль терактов: 3IP. количество терактов: 3SP), (Bove, Böhmelt, 2016: *d.v.* — международный: 5IN, внутренний — 5SP), (Choi, Luo, 2013: *i.v.* — Столкновение между государствами: 4IN/1IP/1SP), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *i.v.* — вооруженное столкновение: *d.v.* — количество атак: где иностранцы совершают атаку: 2SP/1IP. где жертвами стали иностранцы: 2IP. где иностранцы и атакующие, и жертвы: 2SP/1IP. количество атак private parties: 1IP/1SP), (Coggins, 2015: *i.v.* — внешний конфликт: 13SP/9IP/5IN/1SN), (Younas, Sandler, 2017: *i.v.* — гражданский конфликт: 9SP/1IP), (Fahey, LaFree, 2015: *i.v.* — Международная война: *d.v.* — количество атак — 5IP. количество жертв — 1IP), (Saiya, 2019: *i.v.* — межгосударственный спор с использованием вооруженных сил без полномасштабной войны: 3SP), (Danzell, 2011: 4IP), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: 2SN/14IN), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: *i.v.* — вовлечение в войну: 2IP/3IN), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: 1) *i.v.* — внеш-

ний конфликт: *d.v.* — внутренний терроризм: index: 4SP. Международный терроризм (GTD): 1SP/3IP. Международный терроризм (ITERATE): 4SP. 2) *i.v.* — внутренний конфликт (Internal war): *d.v.* — внутренний терроризм: index: 4SP. International terrorism GTD: 4SP. International terrorism ITERATE: 4SP), (George, 2018: *i.v.* — International war, *d.v.* — международный терроризм: атаки: 4IP/3IN, несвязанные атаки по исполнителю: 4IP/3SP. логистически сложные атаки: 2SP/5IP. логистически простые атаки: 7IP), (Asal, Hoffman, 2016: *i.v.* — противостояние государств: 1IN), (Braithwaite, 2015: *i.v.* — война между двумя странами (Dyad in conflict) — 10SP), (Murdie, Stapley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО: 1SP/6IP/1IN), (Smith, Zeigler, 2017: *d.v.* — все виды: 2SP. внутренний терроризм: 2SP. международный терроризм: 2SP. если количество смертей в конфликте больше тысячи: внутренний терроризм: 4SP. международный терроризм: 4SP), (Salman, 2015: *d.v.* — любой терроризм: 9IP. внутренний: 9IP. международный: 9IP), (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — ноль терактов: 3SN, количество терактов: 3SP), (Khokhlov, Korotayev, 2022: *i.v.* — политическая нестабильность: 11SP)

з) Интервенция

1. Главная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: *i.v.* — продолжительность иностранной интервенции: *d.v.* — внутренний терроризм: 4IP. международный терроризм: 4IP), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 2IP/2IN, *i.v.* — количество военных, использованных для операции: 3IP/1IN, количество сухопутных войск, использованных для операции: 3IN/1SN, проправительственное вторжение: 3SP/1IP. количество военных, использованных для проправительственной операции: 4SP. количество сухопутных войск, использованных для проправительственной операции: 4SP. антиправительственное вторжение: 6IP/6IN)
2. Контрольная (Murdie, Stapley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО: 3SP/1IP), (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: 4IN/3IP/1SP), (Smith, Zeigler, 2017: *d.v.* — все виды: 2SP. внутренний терроризм: 5SP/1IP. международный терроризм: 5IP/1SP)

и) Оккупация

1. Главная (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *d.v.* — количество атак террористов-смертников, оккупация по статье Pape: 2SP. Pape оккупация*Polity (политич. режим): 1SP. оккупация+противостояние: 1SP. Pape оккупация+нет противостояния (No Clash): 1IN, Оккупация (другая база): 4SP), (Braithwaite, 2015: как наличие иностранных войск на территории страны происхождения террориста: 10SP. войска демократических стран: 1SP. войска недемократических стран: 1SP)

2. Контрольная (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак: 5SN), (Saiya, 2019: 3IN), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 29SP/1SN/4IP/1IN), (Saiya, 2016: 2IP)

к) *Интенсивность конфликта*

1. Главная
2. Контрольная (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак: 5SP), (Paul, Bagchi, 2018: 1) *i.v.* — высокая интенсивность: *d.v.* — международный терроризм: 3IP/1IP, внутренний терроризм: 4SP. 2) *i.v.* — низкая интенсивность: *d.v.* — международный терроризм: 2IN/2SN, внутренний терроризм: 2IP/2IN), (Bell et al., 2014: *i.v.* — интенсивность межгосударственного конфликта: 3IP, интенсивность гражданской войны: 3SP)

л) *Национальный потенциал (National capability)*

1. Главная (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: Attacks: 1IN, несвязанные атаки по исполнителю: 1IN, несвязанные атаки по месту: 1IP, логистически сложные атаки: 1IN, логистически простые атаки: 1IN)
2. Контрольная (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: 5IN/3IP), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *d.v.* — количество атак: где иностранцы совершают атаку: 2IN/1IP, где жертвами стали иностранцы: 2SN, где иностранцы и атакующие, и жертвы: 2IN/1IP, количество атак private parties: 2SN), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: *i.v.* — Government capability: 5IN), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 12SP/1IP/11IN), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 22SP/8IP/2SN/2IN), (Bell et al., 2014: 3IN), (Boehmer, Daube, 2016: *i.v.* — *capability*: 2IN/1SN)

м) *Свобода прессы/печати*

1. Главная (Asal, Hoffman, 2016: 1SN/2IN)
2. Контрольная (Young, Dugan, 2011: 3IP/1IN), (Paul, Bagchi, 2018: *i.v.* — недостаток свободы прессы: *d.v.* — международный терроризм: 2IP/2IN, внутренний терроризм: 4IP), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 24SP), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 3IP), (Bagchi, Paul, 2018: 3SN/2IN)

н) *Гражданские права и свободы*

1. Главная
2. Контрольная (Younas, Sandler, 2017: 8SU/2IU, перевернутая U-образная зависимость), (Paul, Bagchi, 2018: 1) *i.v.* — гражданские свободы: международный

терроризм: 4IP. внутренний терроризм: 4IP. 2) *i.v.* — Voice and Accountability: *d.v.* — международный терроризм: 4IP. внутренний терроризм: 4IP), (Choi, Piazza, 2016: *i.v.* — нарушение прав человека, *d.v.* — атаки террористов-смертников: 6SP), (Richardson, 2011: *i.v.* — гражданские свободы: 6IP. политические свободы: 4IN), (Khokhlov, Korotayev, 2022: *i.v.* — политические права: 11SP)

о) Демократическое или политическое участие

1. Главная
2. Контрольная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP. международный терроризм: 1SP), (Young, Dugan, 2011: 1SP/3IP), (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: для count-модели: 5SN/5IN; для inflated-модели: 3IP/7IN), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 4SN/2SP), (Paul, Bagchi, 2018: *i.v.* — недостаток политических прав: *d.v.* — международный терроризм: 3IP/1IN, внутренний терроризм: 4IP)

п) Ограничения исполнительной власти (*Executive Constraints*)

1. Главная
2. Контрольная (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: для count-модели: 10SN; для inflated-модели: 4SN/6IN), (Harris, Milton, 2016: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP. международный терроризм: 1SP), (Avdan, Uzonyi, 2017: *i.v.* — government constraint, *d.v.* — внутренний терроризм: 1IN/5IP), (Braithwaite, 2015: 10SP/1IP), (Bell et al., 2014: 2IP/1SP)

р) Верховенство права (*Rule of law*)

1. Главная (Coggins, 2015: 2IP/2IN)
2. Контрольная (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: Атаки: 1SN, несвязанные атаки по исполнителю: 1IN, несвязанные атаки по месту: 1IP. логистически сложные атаки: 1SN, логистически простые атаки: 1IP), (Paul, Bagchi, 2018: *d.v.* — международный терроризм: 2SN/1IP/1IN, внутренний терроризм — 2IN/2SN)

с) Коррупция

1. Главная (Coggins, 2015: 2IP/2IN)
2. Контрольная (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: Attacks: 1SN, несвязанные атаки по исполнителю: 1IN, несвязанные атаки по месту: 1IP. логистически сложные атаки: 1IN, логистически простые атаки: 1IP), (Paul, Bagchi, 2018: *i.v.* — Control of Corruption, *d.v.* — международный терроризм: 3IP/1SP. внутренний терроризм: 3IP/1SP)

т) Эффективность правительства

1. Главная (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: атаки: 1SN, несвязанные атаки по исполнителю: 1IN, несвязанные атаки по месту: 1IP, логистически сложные атаки: 1SN, логистически простые атаки: 1IP), (Fahey, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак — 1IP. количество жертв — 1SP. как прокси этой метрики: регрессор — отношение налогов к ВВП: количество атак — 1IN, количество жертв — 1IN), (Okafor, Piesse, 2018: *i.v.* — качество государственного управления: 5IN/1IP)
2. Контрольная (Paul, Vagchi, 2018: *i.v.* — качество государственного регулирования: *d.v.* — международный терроризм — 2IP/2IN, внутренний терроризм — 4IP. *i.v.* — эффективность правительства: *d.v.* — международный терроризм — 4IP. внутренний терроризм — 2IP/2IN)

Приложение 2. Группа переменных «Экономические факторы»

а) ВВП на душу населения

1. Главная (Freitag, Kruger et al., 2011: 4SU, перевернутая U-образная зависимость/1SP), (Coggins, 2015: 4IP), (Boehmer, Daube, 2016: *i.v.* — экономическое развитие: 2SU, перевернутая U-образная зависимость/1SP), (Enders, Hoover, Sandler, 2016: 8SU/2IU, перевернутая U-образная зависимость/7SN /3IP /3IN/1SP¹⁸)
2. Контрольная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: 6SP. международный терроризм: 6SP), (Findley, Young, 2011: 1SP), (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: 5SP/3IP), (Aksoy, Carter, Wright, 2012: 10SP/2IP), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *d.v.* — количество атак: где иностранцы совершают атаку: 2IP/1SN, где жертвами стали иностранцы: 1IN/1IP. где иностранцы и атакующие, и жертвы: 2IP/1SN, количество атак private parties: 1SN/1IP), (Ezcurra, Roberto, Palacios, 2016: 5IU/3SU, перевернутая U-образная зависимость), (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *d.v.* — количество атак террористов-смертников: 6SP/2IP), (Younas, Sandler, 2017: 10IU, перевернутая U-образная зависимость), (Fahey, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак: 4SP/1IN, количество жертв: 1IP), (Saiya, 2019: log-модель: 3SP), (Harris, Milton, 2016: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP. международный терроризм: 1IN), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: 12SP/2IP/2IN), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: 4IP/1IN), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *d.v.* — внутренний терроризм: 4SP. международный терроризм GTD: 4SP. международный терроризм ITERATE: 4SP), (George, 2018: *d.v.* — международный (transnational)

18. Разные результаты получены потому, что авторы тестируют разные зависимые переменные. В данном случае рекомендуется обращаться к первоисточнику для интерпретации полученных результатов (Enders, Hoover, Sandler, 2016).

терроризм: все атаки: 1IN, несвязанные атаки по исполнителю: 1SP, несвязанные атаки по месту: 1SP, логистически сложные атаки: 1IN, логистически простые атаки: 1SP), (Gleditsch, Polo, 2016: 10SP/2SN/1IP), (Braithwaite, 2015: отношение ВВП страны-террориста к ВВП страны-оккупанта: 11SP), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм, log-модель: 1SP), (Murdie, Stapley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО, log-модель: 8SN), (Paul, Bagchi, 2018: международный терроризм — 3IP/1IN, внутренний терроризм — 3IN/1IP), (Böhmelt, Bove, 2019: log-модель: 4SN/3IN), (Smith, Zeigler, 2017: log-модель, все атаки: 2IP, внутренний терроризм: 6IP, международный терроризм: 5IP/1SP), (Salman, 2015: все атаки: 5IP/4IN, внутренний терроризм: 6IN/3IP, международный терроризм: 7IN/2IP), (Caruso, Schneider, 2011: *d.v.* — количество атак: 3SN/1IN, *d.v.* — количество жертв: 2SP/2IP), (Abrahms, Potter, 2015: *d.v.* — нападение на мирных жителей: 3IP/1SP), (Saiya, 2016: log-модель: 4SP), (Meierrieks, Gries, 2012: 7SN), (Aksoy, 2014: 3IP), (Richardson, 2013: 4IP/2SP), (Khokhlov, Korotayev, 2022: 4SP/6IP), (Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021: 7SP/4IP /2SN/2IN), (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021: 4SN/2SP)

б) ВНД на душу населения

1. Главная
2. Контрольная (Bove, Böhmelt, 2016: log-модель: 5IN), (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм; для count-модели: 5SP, для inflated-модели: 5IP), (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — ноль терактов: 3SN, количество терактов: 3SP), (Piazza, 2013: All: 4SP, внутренний терроризм: 4SP, международный терроризм: 4SP), (Braithwaite, Chu, 2018: 3SP/1IP), (Bell et al., 2014: log-модель: 1SP/1IP/1IN)

в) Уровень экономического развития

1. Главная
2. Контрольная (Choi, Luo, 2013: *d.v.* — международный терроризм: 3SP/2IP/1IN), (Young, Dugan, 2011: 4IN), (Choi, Salehyan, 2013: *d.v.* — все атаки: 4SP/1IN, внутренний терроризм: теракты — 1SP, факт происшествия — 1SP, жертвы — 1IP, международный терроризм: теракты — 1SP, факт происшествия — 1SP, жертвы — 1SP), (Mullins, Young, 2012: для count-модели — 4SP/2IP, для inflated-модели — 4SN/2IN)

г) Рост ВВП на душу населения/изменение ВВП на душу населения

1. Главная (Derin-Güre, Pinar, 2011: *d.v.* — сепаратистский терроризм, по кварталам: 4IP/2IN; по месяцам: 12IN/10IP/2SP), (Meierrieks, Gries, 2012: 1SN,

- i.v.* — рост для стран с доходом ниже среднего: 5SN/3IN, рост для стран с доходом выше среднего: 5IN/2IP/1SN), (Boehmer, Daube, 2016: 2SN/1IN)
2. Контрольная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP, международный терроризм: 1IP), (Fahey, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак — 4IN/1SN, количество жертв — 1IN), (Krieger, Meierrieks, 2019: как экономический рост 2IP), (Caruso, Schneider, 2011: *d.v.* — количество атак: 4IN/1SN, *d.v.* — количество жертв: 5SP/1IP)

д) Открытость экономики (торговли или финансовых рынков)

1. Главная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: 10IP, международный терроризм: 9IP/1SP), (Freytag, Kruger et al., 2011: *i.v.* — торговля к ВВП 5SN), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *i.v.* — доля торговли в ВВП, *d.v.* — внутренний терроризм: 2SN/1IN, международный терроризм GTD: 2IN/1SN, международный терроризм ITERATE: 3IN)
2. Контрольная (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: 18IN); (Ezcurra, Roberto, Palacios, 2016: 4IP/2SP/2IN), (Younas, Sandler, 2017: 8SN/2IP), (Caruso, Schneider, 2011: *d.v.* — количество атак: 5SN/5IN, количество жертв: 3SP/2IP), (Meierrieks, Gries, 2012: 6SN)

е) Глобализация

1. Главная
2. Контрольная (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: *i.v.* — Экономическая глобализация: 6IN/2SN, Политическая глобализация: 4IP/2IN/2SN), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SN, международный терроризм GTD: 1SN, международный терроризм ITERATE: 1SN), (Böhmelt, Vove, 2019: *i.v.* — экономическая глобализация, *d.v.* — log-модель: 6SP/1IP)

ж) Подушевой объем внешней помощи (Foreign aid per capita)

1. Главная (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014, *i.v.* — as share of Aid in GDP. *d.v.* — Domestic terrorism: 2SP/1IP. International terrorism GTD: 3SP. International terrorism ITERATE: 3IP), (Richardson, 2011: 4IP/2SP.
2. Контрольная

з) Инвестиции

1. Главная (Freytag, Kruger et al., 2011: 5SN), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *d.v.* — внутренний терроризм: 3SN, международный терроризм GTD: 3SN, международный терроризм ITERATE: 3SN), (Okafor, Piesse, 2018: *i.v.* — как прямые иностранные инвестиции (FDI): 4IN/2SN)

2. Контрольная (Younas, Sandler, 2017: 7SN/3IN), (Caruso, Schneider, 2011: *d.v.* — количество атак: 3SP/2IP. количество жертв: 5SN/1IN)

и) Неравенство

1. Главная (Krieger, Meierrieks, 2019: *i.v.* — неравенство по доходам: 5SP. индекс Тейла: 1SP), (Derin-Güre, Pinar, 2011: *i.v.* — индекс Тейла, *d.v.* — сепаратистский терроризм по 5SP/2IN/1SN, для левого терроризма: 3IP/1SP)
2. Контрольная (Ezcurra, Roberto, Palacios, 2016: 6IP/2IN), (Braithwaite, Chu, 2018: 4SP), (Avdan, Uzonyi, 2017: *i.v.* — экономическое неравенство: *d.v.* — внутренний терроризм: 10SP), (Wilson, Piazza, 2013: *i.v.* — коэффициент GINI, *d.v.* — ноль терактов: 3SN, количество терактов: 3SP), (Bove, Böhmelt, 2016: *i.v.* — коэффициент GINI: 5IP), (Piazza, 2011: *i.v.* — коэффициент GINI: *d.v.* — внутренний терроризм; для count-модели: 10SP. для inflated-модели: 9IP/1SP), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *i.v.* — коэффициент GINI, *d.v.* — количество атак: где иностранцы совершают атаку: 1IN, где жертвами стали иностранцы: 1IN, где иностранцы и атакующие, и жертвы: 1IN, количество атак private parties: 1IN), (Piazza, 2013: *i.v.* — коэффициент GINI, *d.v.* — все атаки: 4SP. внутренний терроризм: 4SP. международный терроризм: 4IP), (Richardson, 2013: *i.v.* — коэффициент GINI: 2IP), (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021: *i.v.* — коэффициент GINI: 1SP)

к) Безработица

1. Главная (Lee, 2011: 3SN/1IN), (Richardson, 2011: *i.v.* — безработица: 6SP. безработица*образование: 4IN/1SN)
2. Контрольная (Benmelech et al., 2015: 6IN), (Akyuz, Armstrong, 2011: 8IP), (Caruso, Schneider, 2011: *d.v.* — количество атак: 3IN/1IP. количество жертв: 5SN/1IN), (Khokhlov, Korotayev, 2022: 7SP/4IP), (Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021: 12SP/3IP), (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021: 2SP)

л) Безработица среди молодежи

1. Главная (Okafor, Piesse, 2018: 6SP)
2. Контрольная (Paul, Bagchi, 2018: *d.v.* — международный терроризм: 3IP/1IN, внутренний терроризм — 4IN), (Caruso, Schneider, 2011: *d.v.* — количество атак: 3IP/2SP/1IN, количество жертв: 3IN/1IP)

м) Индекс человеческого развития (ИЧР/HDI)

1. Главная (Coggins, 2015: 2SP/2SN)
2. Контрольная (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак, 3SP/2IP), (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм, для count-модели: 5SP. для inflated-модели:

3IN/2IP), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 10SP/1IP), (Paul, Bagchi, 2018: *d.v.* — международный терроризм: 3IP/1IN, внутренний терроризм: 2IP/2IN), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников, 24SP), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 2SP/1IP)

н) Уровень инфляции

1. Главная
2. Контрольная (Caruso R., Schneider F., 2011; *d.v.* — количество атак: 6SN/4IN, количество жертв: 9SN/1IN), (Khokhlov, Korotayev, 2022: 8IP/2IN)

Приложение 3. Группа переменных «Социальные причины»

а) Численность населения

1. Главная
2. Контрольная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: *d.v.*¹⁹ — внутренний терроризм: 7SP. международный терроризм: 7SP), (Young, Dugan, 2011: 3SP/1IP), (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: 18SP), (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — ноль терактов: 3IN, количество терактов: 3SP), (Findley, Young, 2011: SP), (Gai-bulloev, Piazza, Sandler, 2017: 4SP/3IP/1IN), (Bove, Böhmelt, 2016: 3IP/2SP), (Aksoy, Carter, Wright, 2012: 12SP), (Findley, Young, 2012: для count-модели: 1IP. для inflate-модели: 1SN), (Choi, Luo, 2013: 6SP), (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм, для count-модели: 10SP. для inflated-модели: 5SN/5IN), (Choi, Salehyan, 2013: *d.v.* — все: 5SP. внутренний: теракты — 1SP. факт происшествия — 1SP. жертвы — 1SP. международный: теракты — 1SP. факт происшествия — 1SP. жертвы — 1SP), (Freitag, Kruger et al., 2011: 5SP), (Coggins, 2015: log-модель, 27SP/1IP), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *d.v.* — количество атак, где иностранцы совершают атаку: 2IP/1IN, *d.v.* — количество атак, где жертвами стали иностранцы: 2SP. *d.v.* — количество атак, где иностранцы и атакующие, и жертвы: 2IP/1IN, *d.v.* — количество атак private parties: 2IP), (Mullins, Young, 2012: для count-модели — 6SP. для inflated-модели — 3IP/2IN/1SP), (Ezcurra, Palacios, 2016: 8SP), (Piazza, 2013: *i.v.* — все: 4SP. внутренний: 4SP. международный: 4SP), (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *d.v.* — количество атак террористов-смертников, 5SP/3IP), (Fahy, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак — 2IP/2IN/1SP. *d.v.* — количество жертв — 1SP), (Krieger, Meierrieks, 2019: 11SP), (Saiya, 2019: log-модель: 3SP),

19. Мы используем обозначение *d.v.* (*dependent variable* = зависимая переменная) в случае, если авторы используют свою собственную особенную переменную. И *i.v.* (*independent variable* = независимая переменная) в случае, если необходимо уточнить, какую независимую переменную используют авторы.

(Braithwaite, Chu, 2018: 4SP), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: 16SP), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: 5SP), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *d.v.* — внутренний терроризм: 4SP. международный терроризм (*GTD*): 4SP. международный терроризм *ITERATE*: 4SP), (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: атаки: 7SP. несвязанные атаки по исполнителю: 4SP/3IP. несвязанные атаки по месту: 6SP/1IP. логистически сложные атаки: 7SP. логистически простые атаки: 7SP), (Gleditsch, Polo, 2016: 6SP/3SN/5IN/2IP), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм, 13SP), (Braithwaite, 2015: *d.v.* — отношение населения страны-террориста к населению страны-оккупанта: 10SN/1IN), (Murdie, Stapley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО, log-модель, 6IN/2SN), (Böhmeit, Bove, 2019: log-модель, 7SP), (Smith, Zeigler, 2017: log-модель, *d.v.* — все виды: 2SP. внутренний терроризм: 6SP. международный терроризм: 6SP), (Salman, 2015: *d.v.* — все виды: 2SP/7IP. внутренний терроризм: 2SP/7IP. международный терроризм: 9IP), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников; log-модель, 24SP), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников, 2SP/1IP), (Bell et al., 2014: log-модель, 3SP), (Saiya, 2016: log-модель, 4SP), (Meierrieks, Gries, 2012: 7SP), (Aksoy, 2014: 3IP), (Piazza, 2012: *i.v.* — население провинции, log-модель, 10SP), (Boehmer, Daube, 2016: 3SP), (Enders, Hoover, Sandler, 2016: 14SP/5IP/3IN/2SN), (Richardson, 2013: 6SP), (Khokhlov, Korotayev, 2022: 11SP), (Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021: 15SP), (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021: 5SP/1SN)

б) Презрение социальной группы в обществе, экономическая/политическая/социальная дискриминация меньшинств

1. Главная (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: *i.v.* — экономическая дискриминация меньшинств: для count-модели: 4SP. для inflated-модели: 2SN/2IP. нет эк. дискриминации при существовании MAR (“minorities at risk”): для count-модели: 1SN/1IP. для inflated-модели: 2SN, нет MAR: count-модели: 4SN, inflated-модели: 2SP/2IP. существование политики устранения дискриминации: для count-модели: 2IP/1SN/1IN, для inflated-модели: 3IP/1SP), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: *i.v.* — любая: 8SP. экономическая дискриминация меньшинств: 8SP. демократия*экономическая дискриминация меньшинств: 4SP), (Gleditsch, Polo, 2016: *i.v.* — наличие дискриминируемых: 6SP/1IP. снижение дискриминации: 2SN), (Choi, Piazza, 2016: *i.v.* — исключение этнической группы из политики, *d.v.* — атаки террористов-смертников: 5SP/1IP), (Saiya, 2019: *i.v.* — ограничения для религиозных меньшинств: 1SP/1IP)
2. Контрольная (Gaibullov, Piazza, Sandler, 2017: 4SP/3IP/1IN), (Krieger, Meierrieks, 2019: *i.v.* — исключенное из политики меньшинство: 11SP), (Harris, Milton, 2016: *d.v.* — внутренний терроризм: 1IP. международный терроризм: 1IN), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP), (Choi, Piazza,

2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников, *i.v.* — MAR: 18SP/6IP), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 3IP), (Ghatak, Gold, Prins, 2019: *i.v.* — исключение социальной группы из политики: 6SP/2SN), (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: *i.v.* — религиозные противоречия: 15SP/3IP)

в) Число меньшинств

1. Главная
2. Контрольная (Findley, Young, 2012: *i.v.* — меньшинства: для count-модели: 1IP, для inflate-модели: 1SP, частично свободные государства*меньшинства: для count-модели: 1IN, для inflate-модели: 1IN; несвободные государства*меньшинства: для count-модели: 1IN, для inflate-модели: 1IP), (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак: 3IP/2IN, *i.v.* — число религиозных меньшинств, которые составляют больше 5% от населения), (Saiya, 2019: *i.v.* — число религиозных меньшинств: 3IP), (Saiya, 2016: 2IN)

г) Фракционализация — этническая, языковая, религиозная и др.

1. Главная (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *i.v.* — религиозная фракционализация, *d.v.* — количество атак террористов-смертников, оккупация+религиозное противостояние: 1SP, оккупация без рел. противостояния: 1IP, сепаратистская группа+рел. прот. — 1IP, сепаратистская группа без рел. прот. — 1IP)
2. Контрольная (Henne, 2012: *i.v.* — этническая, *d.v.* — смерть от атак: 5IP), (Younas, Sandler, 2017: 4IN/4IP), (Younas, Sandler, 2017: *i.v.* — языковая: 8IP), (Younas, Sandler, 2017: *i.v.* — религиозная: 7SN/1IN), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: *i.v.* — этнолингвистическая: 1SP/1IN, раскол в правящей партии: 1SP), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *i.v.* — языковая: *d.v.* — внутренний терроризм: 1IP, международный терроризм (GTD): 1IP, международный терроризм (ITERATE): 1IN), (Paul, Bagchi, 2018: *i.v.* — этническая: *d.v.* — международный терроризм: 1SP/1IP, внутренний терроризм: 2SP, *i.v.* — религиозная: *d.v.* — международный терроризм: 2IP, внутренний терроризм: 2IN, *i.v.* — языковая: международный терроризм: 2IN, внутренний терроризм: 2SN), (Choi, Piazza, 2017: *i.v.* — религиозная: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 13IP/11SP), (Choi, Piazza, 2016: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 3IP), (Bagchi, Paul, 2018: *i.v.* — религиозная: 4SP/2IN/2IP, этническая: 7IP/1IN, языковая: 5SP/3IP), (Khokhlov, Korotayev, 2022: *i.v.* — этническая фракционализация: 7SP/4IP)

д) Урбанизация

1. Главная (Lafree, Bersani, 2014: 3SP), (Lee, 2011: *i.v.* — городской житель: 1IN, мигрант из сельской местности: 1IP)

2. Контрольная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм: 1IP. международный терроризм: 1SP), (Fahey, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак: 4SP/1IP. количество жертв: 1IP), (Bagchi, Paul, 2018: *i.v.* — уровень урбанизации: 3SN/5IN), (Khokhlov, Korotayev, 2022: *d.v.* — attacks: 3SN/1IN, attacks IRR: 2SP/2IP. casualties IRR: 3IP), (Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021: 7SP/3SN/3IP/2IN), (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021: 1SN/1IP)

е) Образование

1. Главная (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: *i.v.* — начальное образование: 4SP/2IP. среднее: 4IP/2IN, начальное+среднее: 2SP/1IN, зачисление в университет: 4IN/2SN, грамотность: 1SP/2IP), (Lee, 2011: *i.v.* — продолжительность обучения: 2SN/1IN, качество образования: 2IP/1IN, несдача экзамена: 1IP/1IN, покидание школы: 2IP. государственные (national) школы: 1IP), (LaFree et al., 2018: *d.v.* — бинарная переменная, где «1» — насильственный экстремизм, а «0» — ненасильственный: 4IN), (Richardson, 2013: *i.v.* — высшее образование: 5IP/1SP), (Korotayev, Vaskin, Tsirel, 2021: *i.v.* — количество лет учебы: 3SN/2SP)
2. Контрольная (Younas, Sandler, 2017: *i.v.* — средняя школа: 3IP/5IN), (Abrahms, Potter, 2015: *d.v.* — нападение на мирных жителей: *i.v.* — начальное и среднее образование: 3SN/1IN), (Benmelech et al., 2015: *i.v.* — количество лет обучения: 2IP/4IN), (Akyuz, Armstrong, 2011: 4SN/4IN), (Korotayev, Vaskin, Romanov, 2021: 13SN/2IN)

ж) Младенческая смертность

1. Главная (Coggins, 2015: 2IP/2IN)
2. Контрольная (Piazza, 2012: 8IP), (Akyuz, Armstrong, 2011: 1SP/3IN/4IP)

з) Приток мигрантов

1. Главная (Bove, Böhmelt, 2016; 3SN/1NP/1SP²⁰), (Böhmelt, Bove, 2019; *i.v.* — матрица весов: 6SP/1IP. приток*миграционные ограничения: 5SN)
2. Контрольная

и) Количество репрессий

1. Главная (Boylan, 2016: *i.v.* — repression of group civilians: 2SP)
2. Контрольная (Danzell, 2011: 4IP)

20. Приток мигрантов влияет отрицательно в общем случае, но положительно, когда мигранты являются выходцами из страны с высоким уровнем терроризма.

к) *Прошлые террористические атаки*

1. Главная (Kis-Katos, Liebert, Schulze, 2011: 1) *i.v.* — среднее общее количество событий: *d.v.* — внутренний терроризм: 7SP. международный терроризм: 7SP. 2) *i.v.* — среднее количество внутренних терактов: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP. международный терроризм: 1SP. 3) *i.v.* — среднее количество международных терактов: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SP. международный терроризм: 1SP), (Findley, Young, 2011: origin: 2SP/1IN/1SN, target: 2SP/1SN/1IN), (Derin-Güre, Pinar, 2011: *d.v.* — сепаратистский терроризм, по кварталам: 4SP/2IP. по месяцам: 6SP/2SN/6IP/10IN), (Derin-Güre, Pinar, 2011: *d.v.* — сепаратистский терроризм, для правого терроризма: 5IN/3IP. для левого терроризма: 1IP/1SP/2IN)
2. Контрольная (Young, Dugan, 2011: 3SP/1IP), (Choi, Luo, 2013: *d.v.* — международный терроризм: 6SP), (Choi, Salehyan, 2013: 1) *d.v.* — любой терроризм: 4SP. 2) внутренний: теракты: 1SP. состоялся теракт или нет: 1SP. жертвы: 1SP. 3) международный: теракты: 1SP. состоялся теракт или нет: 1SP. жертвы: 1SP), (Freytag, Kruger et al., 2011: 5SP), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *d.v.* — количество атак: *i.v.* — где иностранцы совершают атаку: 3SP. где жертвами стали иностранцы: 2SP. где иностранцы и атакующие, и жертвы: 2IP/1SP. количество атак private parties: 2SP); (Younas, Sandler, 2017: 9SP/1IP), (Fahey, LaFree, 2015: *i.v.* — Terrorism lag: *d.v.* — количество атак: 5IP. количество жертв: 1SP), (Saiya, 2019: 3SP), (Braithwaite, Chu, 2018: *i.v.* — лет с предыдущего теракта: 4SN), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 13SP), (Murdie, Stapley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО: атаки на не НПО: 8SP), (Böhmelt, Bove, 2019: 7SP), (Salman, 2015: *d.v.* — любой терроризм: 9SP. внутренний: 9SP. международный: 9SP), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников: 17SP/2SN), (Piazza, 2012: 2IP/2SP), (Bagchi, Paul, 2018: *d.v.* — внутрискановой терроризм: 1SP. международный терроризм: 1IP)

л) *Плотность населения*

1. Главная
2. Контрольная (Younas, Sandler, 2017: log-модель: 6IP/2SP/2IN), (Fahey, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак: 2SP/1SN/2IP. количество жертв: 1SN), (Krieger, Meierrieks, 2019: 2SP), (Abrahms, Potter, 2015: *d.v.* — нападение на мирных жителей: 2IN/1IP/1SP)

м) *Права на физическую неприкосновенность*

1. Главная (Harris, Milton, 2016: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SN, международный терроризм: 1SN)

2. Контрольная (Fahey, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак: 5SN, количество жертв: 1SN), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *i.v.* — physical integrity rights, *d.v.* — внутренний терроризм: 4SN, международный терроризм (GTD): 4SN, международный терроризм (ITERATE): 4SN), (Murdie, Stapley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО: 8IP)

н) Интернет

1. Главная (Khokhlov, Korotayev, 2022: *d.v.* — attacks: 2SN (full sample), 1IN (democracies), 1IP (autocracies); attacks IRR: 2SP (full sample), 1IP (democracies), 1IP (autocracies); casualties IRR: 1IP (full sample), 1IP (democracies), 1SP (autocracies))
2. Контрольная

о) Расходы на армию

1. Главная
2. Контрольная (Brockhoff, Krieger, Meierrieks, 2015: 12IP/5IN/1SN), (Meierrieks, Gries, 2012: 1SP)

п) Ислам

1. Главная
2. Контрольная (Findley, Young, 2012: *i.v.* — бинарная переменная: является ли террорист мусульманином. Для *count-модели*: 1IN, для *inflate-модели*: 1IN), (Collard-Wexler, Pischedda, Smith, 2014: *d.v.* — количество атак террористов-смертников, 8SP), (Younas, Sandler, 2017: *i.v.* — доля мусульманского населения: 8IN), (Smith, Zeigler, 2017: *d.v.* — все виды терроризма: 2SP, внутренний терроризм: 3IP/3SP, международный терроризм: 3IP/3SP), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников, *i.v.* — доля мусульманского населения: 24SP), (Choi, Piazza, 2016: *i.v.* — доля мусульманского населения, *d.v.* — атаки террористов-смертников: 3SP)

Приложение 4. Группа переменных «Характеристики террористических организаций»

Spatial lag

1. Главная (Bove, Böhmelt, 2016: 3SP/1SP), (Braithwaite, Chu, 2018: *i.v.* — победа повстанцев — 2IP/1SP, поражение повстанцев — 2SN/1IN)
2. Контрольная

Религиозная идеология

1. Главная (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак: 3SP), (Abrahms, Potter, 2015: *i.v.* — религиозная организация: 3IP/2SP)
2. Контрольная

Группировка этнорелигиозной группы

1. Главная (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак: 1IP/1IN), (Abrahms, Potter, 2015: *i.v.* — этнонационализм в организации: 2SN/2IP/1SP)
2. Контрольная

Левая идеология террористической группы

1. Главная
2. Контрольная (Asal, Hoffman, 2016: *d.v.* — вероятность террористической группировки совершить международный теракт, *i.v.* — левая или этнонационалистическая идеология: 1SN), (Lafree et al., 2018: 4SN)

Исламистская группировка

1. Главная
2. Контрольная (Henne, 2012: *d.v.* — смерть от атак, 3SN/2IN), (Lafree et al., 2018: 4SP)

Террористическая группировка контролирует какую-то территорию/размер подконтрольной территории

1. Главная (Abrahms, Potter, 2015: 3IP/1SP/1IN)
2. Контрольная (Asal, Hoffman, 2016: 1IP)

Возраст преступников

1. Главная (Lafree et al., 2018: 4IU, перевернутая U-образная зависимость)
2. Контрольная (Lee, 2011: *i.v.* — возраст в 1915 г.: 1SN/1IN)

Приложение 5. Группа переменных «Прочие переменные и переменные взаимодействия»*Территория/площадь*

1. Главная

2. Контрольная (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — ноль терактов: 3SN, количество терактов: 3SN), (Bove, Böhmelt, 2016: 5IP), (Piazza, 2011: *d.v.* — внутренний терроризм, для count-модели: 9SN; для inflated-модели: 7IN/3SN), (Goldman, Neubauer-Shani, 2016: *d.v.* — количество атак: где иностранцы совершают атаку: 2SP/1IP, где жертвами стали иностранцы: 2IP, где иностранцы и атакующие, и жертвы: 3IP, количество атак private parties: 1SP/1IP), (Piazza, 2013: *d.v.* — все атаки: 4IN, внутренний терроризм: 4IN, международный терроризм: 4IN), (Fahey, LaFree, 2015: *d.v.* — количество атак: 2IP/1SP/1SN/1IN, количество жертв: 1SN), (Saiya, 2019: log-модель: 3SN), (George, 2018: *d.v.* — международный терроризм: все атаки: 6SN/1IN, несвязанные атаки по исполнителю: 7IN, несвязанные атаки по месту: 6SN/1IN, логистически сложные атаки: 6IN/1IP, логистически простые атаки: 6SN/1IN), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 8SP/4IP/1IN), (Choi, Piazza, 2017: *d.v.* — атаки террористов-смертников, log-модель: 24SN), (Bell et al., 2014: 3IN), (Piazza, 2012: *i.v.* — площадь провинции, log-модель: 5IP/3SP/2IN), (Bagchi, Paul, 2018: log-модель: 3SP/3SN/2IN), (Saiya, 2016: log-модель: 4IN)

Принадлежность к тому или иному региону (или странам)

1. Главная
2. Контрольная (Gaibulloev, Piazza, Sandler, 2017: *i.v.* — Азия: 3SN/1IN, Америка: 2IN/1SN/1IP, Ближний Восток (MENA): 3IP/1SP, Африка: 3SN/1IN), (Choi, Salehyan, 2013: *i.v.* — Америка: 1IP, Европа: 1IN, Африка: 1SN, Азия: 1SN, Океания: 1SN), (Braithwaite, Chu, 2018: *i.v.* — Африка: 1SN, Азия: 1SN, Ближний Восток: 1IN), (Mascarenhas, Raechelle, Sandler, 2014: *d.v.* — Центральная и Южная Америка: внутренний терроризм: 4SP, международный терроризм GTD: 4SP, международный терроризм ITERATE: 2IP/2IN, Северная Америка: внутренний терроризм: 4IN, международный терроризм GTD: 4IN, международный терроризм ITERATE: 4IN, Африка южнее Сахары: внутренний терроризм: 4SN, международный терроризм GTD: 4ISN, международный терроризм ITERATE: 4IN, Европа: внутренний терроризм: 3IP/1SP, международный терроризм GTD: 3IP/1SP, международный терроризм ITERATE: 3IN/1IP, Азия: внутренний терроризм: 3IN/1IP, международный терроризм GTD: 4IN, международный терроризм ITERATE: 4IN); (Murdie, Stapley, 2014: *d.v.* — террористические атаки на НПО, *i.v.* — для США: 8SP), (Bagchi, Paul, 2018: *i.v.* — Кувейт: 3SN/3IN/2IP, Оман: 6IN/2SN; Катар: 7IN/1SN; Саудовская Аравия: 4SP/4SN)

Переменная холодной войны

1. Главная

2. Контрольная (Young, Dugan, 2011: 4IN), (Findley, Young, 2011: 3IN/2SN/1IP), (Wilson, Piazza, 2013: *d.v.* — ноль терактов: 3SP, количество терактов: 3SP), (Bove, Böhmelt, 2016: 3IN/2SN), (Aksoy, Carter, Wright, 2012: 3IN/1SN), (Danzell, 2011: 4SP), (Braithwaite, Chu, 2018: 2IN/1IP/1SN), (Harris, Milton, 2016: *d.v.* — внутренний терроризм: 1SN, международный терроризм: 1SN), (Avdan, Uzonyi, 2017: *d.v.* — внутренний терроризм: 9SP/4IP), (Bell et al., 2014: 3IN), (Meierrieks, Gries, 2012: 4SP), (Aksoy, 2014: 3SP)

Post-Cold War

1. Главная
2. Контрольная (Choi, Luo, 2013: 4SN/2IN), (Choi, Salehyan, 2013: *d.v.* — все атаки: 5SN, внутренний терроризм: атаки — 1SN, факт происшествия — 1SN, жертвы — 1IN, международный терроризм: атаки — 1SN, факт происшествия — 1SN, жертвы — 1SN), (Foster, Braithwaite, Sobek, 2013: 4IN/1SN), (Braithwaite, 2015: 9SN)

Истоки и смысл «Западной эсхатологии» Якоба Таубеса

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ТАУБЕС Я. (2023) ЗАПАДНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ / Пер. с нем. А. Шурбелёва. СПб.: Владимир Даль. — 432 с. ISBN 978-5-93615-342-6

Татьяна Резвых

Кандидат философских наук, доцент, факультет дополнительного образования,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Адрес: ул. Новокузнецкая д. 23Б, Москва, 115184 Россия
E-mail: hamster-70@mail.ru

Артём Соловьев

Кандидат философских наук, проректор по научной работе,
Алматинская православная духовная семинария
Адрес: ул. Ашимбаева, д. 26, Алматы, 050002 Республика Казахстан
E-mail: artstudium@yandex.ru

Издание перевода «Западной эсхатологии» Якоба Таубеса на русский язык — достойный повод для того, чтобы прояснить русскоязычному читателю истоки и значение этой книги. Для этого необходимо определить ключевые положения того, что можно назвать философскими истоками и основаниями текста «Западной эсхатологии». Среди таковых выделяется «пантеистически-имманентное представление» Ф. Баадера и Ф. В. Й. Шеллинга о времени как времени «спасения», которое обращено как к эсхатону, к будущей вечности, так и к прошлому, к творению. Время оказывается тем, что связывает две вечности, а Бог соединяет время и вечность. С другой стороны, Таубес развивает исследование Ханса Йонаса о гностицизме и обнаруживает гностический характер современной цивилизации. Это проясняется в обрисовке контекстуальных моментов, позволяющих понять смысл и масштаб труда Таубеса. Можно выделить три контекстуальных момента, позволяющих читателю глубже понять значение и смысл «Западной эсхатологии»: 1) переосмысление и синтез идей Йонаса и Карла Лёвита в работе Таубеса, 2) дискуссии между Таубесом, Хансом Блюменбергом и Одо Марквардом о роли гностицизма в модерне, а также 3) связь идей Таубеса с тем пониманием секуляризации как продолжении религии «другими средствами», которое было характерно для К. Шмитта и К. Лёвита. Эти сюжеты дополняются необходимостью четкого понимания читателем «Западной эсхатологии» того, что Таубес сам воспринимает себя как живущего в гностическом мире тотального отчуждения, спасение от которого в том, что этот мир должен исчезнуть, быть разрушен. В этот мир нельзя делать никаких «духовных инвестиций». Эта позиция рассматривается как противоположная позиции Шмитта, который утверждал необходимость задержки апокалипсиса. Кроме этого, необходимо понимать еще и сложности того прекрасного перевода, который давно необходим русскоязычному читателю «Западной эсхатологии», перманентно пребывающему в гностически проинтерпретированном мире.

Ключевые слова: Таубес, Лёвит, Йонас, Фёгелин, Блюменберг, Марквард, Шеллинг, западная эсхатология, гностицизм

Издание русского перевода «Западной эсхатологии» Якоба Таубеса нужно рассматривать как важный шаг в направлении знакомства русскоязычного чита-

теля с дискуссиями об истоках и характере современной цивилизации. Факт издания примечателен тем, что в этой книге мы видим вариант культур-критики модерна, в котором последний интерпретируется как мир неподлинный, непригодный для существования человека, как мир, где невозможно преодоление отчуждения. На первый взгляд идея проста, но простота эта кажущаяся, поэтому наши размышления над книгой предполагают такую последовательность: 1) определение ключевых положений того, что можно назвать философскими истоками и основаниями текста «Западной эсхатологии», 2) описание контекстуальных моментов, позволяющих понять смысл и масштаб этого труда Таубеса, 3) оценка перевода книги на русский язык. И в рамках всех этих трех разделов — скрытые и прямые указания на необходимость пристального внимания к этому труду (как актуальному и даже злободневному) со стороны современных и будущих российских философов, социологов, религиоведов, политологов и теологов.

Текст «Западной эсхатологии»: время и бытие

Как сказал современный британский философ Питер Осборн: «...в европейской философии существует растущее осознание того, что посткантовская философия в ее нелогических вариантах является прежде всего философией времени» (Осборн, 2013: 16). Процесс начался в онтологии с переноса акцента с «бытия» на «время», а в наши дни в теологии на место Бога-Абсолюта окончательно пришел «Бог-событие» (Джон Капуто). Из способа измерения или свойства сознания время сначала стало способом и смыслом бытия, а потом и заменило его собой. Хотя Якоб Таубес был не первым, кто обратил внимание на этот процесс (достаточно вспомнить ранний историко-философский курс М. Хайдеггера 1925 г. «Прологомены к истории понятия времени»), он, возможно, впервые показал, *какое* понятие времени заменило понятие бытия в современной мысли и каковы его истоки.

По Таубесу, модерн характеризуется определенным способом отношения между вечностью и временем, т. е. типом эсхатологии. Эсхатология в модерне делится на три вида: «теистически-трансцендентный», «пантеистически-имманентный» и «материально-атеистический». К «теистически-трансцендентному» виду эсхатологии Таубес относит концепцию С. Кьеркегора, для которого время есть миг вечности или память о вечности (Кьеркегор, 2014: 111). В атеистической эсхатологии К. Маркса, напротив, время-проект устремлено к эсхатону коммунизма. Между этими полюсами разворачивается «пантеистически-имманентное представление», созданное Ф. К. Баадером и Ф. В.Й. Шеллингом. В первом, теоретическом разделе книги («Основы») Таубес по преимуществу описывает именно его, причем в мифологическом духе.

В «пантеистически-имманентном представлении» сфера «абсолютной свободы» (вечность) однажды должна ограничиться, уступить место «конечной свободе» (времени). Самоуступание «абсолютной свободы» одновременно является и дерзостью «конечной свободы». Последняя оказывается неспособной удержать

связь со своей прародительницей, «абсолютной свободой», и совершает грехопадение. С другой стороны, грехопадение неизбежно и необходимо для самого существования «конечной свободы». Как пишет Таубес: «...свобода же может раскрыться только как от-падение (Ab-fall)» (с. 12). Но даже отпадая, «конечная свобода» каким-то образом остается внутри «абсолютной свободы». Это значит, что катастрофа затрагивает и ее.

Следовательно, время «возникает тогда, когда вечность утрачивает исток и мировой порядок обрекается на смерть» (с. 9), оно связано с грехом. «В зоне греха начинается бытие как время, обращенное к смерти» (с. 16), «смертельное начало времени» (с. 17). В отличие от органического единства вечности, время «распадается на прошлое, настоящее и будущее, и отдельные его части, подобно призракам, встают друг на друга, друг друга пожирая» (с. 16–17). Очевидно, что в мире времени будущее наступает только при вытеснении прошлого, новые поколения, лишь вытеснив старые, заступают на их место. Но поскольку «конечная свобода» — порождение «абсолютной свободы», время есть не только грех, но и внешняя сторона вечности, «абсолютной свободы». Поэтому время же способно гармонизировать прошлое, настоящее и будущее, соединить их снова с вечностью. Таким образом, именно в происшедшей катастрофе, повлекшей появление времени, — залог будущего восстановления, возвращения мира в изначальное состояние. Внутренний смысл времени как раз и состоит в направленности к такой цели, в которой оно «выходит за свои пределы и становится очевидным самому себе» (с. 9); время мира является процессом, разворачивающимся между «исконным творением и грядущим искуплением» (с. 16). В описываемой Таубесом системе оно становится путем спасения человека и мира. Поскольку путь ведет через познание, время и есть познание. Итак, время 1) проистекает из вечности, 2) является результатом грехопадения, самоотчуждения и 3) путем спасения, который 4) окончательно возвращает мир в лоно Бога, соединяется с вечностью. В конце истории время прекратится, «будет побеждено», т. е. сменится вечностью. Итак, внебожественная жизнь разворачивается из внутрибожественной, затем приобретает самостоятельное существование в истории, а после возвращается к своему истоку. «Сама история — это середина между творением и искуплением» (с. 26). Время, как резюмирует Таубес, помещается между двумя вечностями — вечным прошлым и вечным будущим (с. 9).

До-временная вечность представляет собой тезис, время; история — анти-тезис, разрыв; пост-временная вечность, будущее, восстановление утраченного единства — синтез.

«Различие между исходным тезисом Божьей целокупности (deus sive natura) и синтезом (дабы Бог был все во всем) и являет принцип свободы. Середина между тезисом и синтезом, а именно антитезис, раскрывает, будучи историей, принцип свободы. Тезис говорит о тотальной целокупности, поскольку Бог и мир еще не различны. Антитезис говорит о разделении Бога и мира, а синтез означает единение мира и Бога через человека, дабы Бог в свободе стал все во всем» (с. 31–32).

Время вышло из вечности и может, и должно опять в нее вернуться. Поэтому оно всегда связано как с до-временной, так и с пост-временной вечностью.

«То или иное событие всегда связано с эсхатоном, который представляет собой двойное “когда-то”: когда-то во время творения (аксиология) и когда-то во время грядущего искупления (телеология)» (с. 26–27).

Философ не видит противоречия в двунаправленности эсхатона, расходясь в этом отношении с гораздо более распространенной позицией, представленной, например, в диалектической теологии и у ее последователей (Бульман, 2012; Аверинцев, 1977). Перенесение эсхатона в прошлое, как правило, характерно для платонизма (шире — Античности), идея направленности времени в будущее свойственна иудео-христианской традиции. Бог есть либо безличный Абсолют, мировой разум, либо Бог истории, свершения, волеизъявления, но не оба понятия одновременно. Вопреки этому Таубес настаивает, что в описываемой им концепции времени событие должно рассматриваться как в свете памяти о творении, так и в свете грядущего искупления. Эсхатон, таким образом, есть и время в аспекте памяти, и время в аспекте предвосхищения (пророчества). Время есть познание прошлого и будущего: «Осознание заблуждения как заблуждения освобождает от него и открывает путь к откровению истин» (с. 12).

Описанная Таубесом картина, напоминающая сразу и гностический миф, и каббалу Ицхака Лурии, и мистику Якоба Бёме, впервые появилась у Ф.К. Баадера. Под влиянием идей открытого им Я. Бёме, Баадер учит о вечном процессе рождения Бога путем саморазличения изначальной «бездны» (Abgrund). В вечном желании открыться рождается Троица — Отец, Сын и Дух (Baader, 1851: 224). Рассматривая себя как бы в зеркале, Троица видит бесконечное многообразие своего содержания, которое вечно воплощается в мире. Это выражение (или отражение) Троицы есть София, основа творения. Творение в разных работах Баадера трактуется и как выведение наружу внутреннего содержания Троицы, и как, напротив, самосжатие, самоуступание Бога, приостановление им своей божественности. Для описания творения Баадер использует ту же логику саморазличения, что и для описания Троицы. Поэтому творение мира оказывается у него необходимым этапом вечного диалектического процесса в Боге. Вечность и время у Баадера неразрывно связаны. Вечность, поскольку в ней рождается Бог, является вечной жизнью, а не застывшим настоящим, а время, в свою очередь, происходит из вечности. «Время непостижимо, если оно не соотносится с вечностью» (Baader, 1855: 72). Возникая в результате катастрофы отпадения, время не только помнит о прошлой, довременной вечности, но и направлено к будущей, поствременной вечности. Решая проблему времени, Баадер даже предлагает теорию двух видов времени — ложного и истинного. Ложное время соответствует состоянию в аду, а истинное время направлено к спасению. Время фактически и есть жертва Богом своего могущества ради спасения мира. Тем самым время проникает в Абсолют.

В свою очередь, для Шеллинга, «Бог, рассмотренный абсолютно, не есть ни вечность, ни время, но абсолютное тождество вечности и времени» (Шеллинг, 2010: 337). Вечное рождение Бога из бездны, происходящее во взаимодействии внутренних сил (потенций) в Боге («реальное», «идеальное», «реальное-идеальное»), полагает лица Троицы. Допущение динамики во внутривожественную жизнь объясняется Шеллингом тем, что если у всего должно быть прошлое, то и Бог — не исключение. В самой первосущности нечто должно было быть положено как прошлое, прежде чем станет возможным настоящее и будущее. Лица Троицы у Шеллинга соотносятся с «вечными временами» (ewige Zeit), «мировыми эпохами» (Weltalter):

«1) эпоха исключительной власти Отца; 2) эпоха нынешнего творения, когда все бытие передано Сыну и его власть над ним тоже исключительна; 3) эпоха, в которой уже не будет никакого времени, т. е. сама вечность» (Там же: 81).

Так вечная жизнь Бога переходит во внебожественную жизнь. Первая эпоха — «современная вечность» (вечное прошлое), вторая — «время творения» — вечное настоящее, третья — «будущая вечность» (вечное будущее) (Там же: 124). Время в мире и человеку есть также взаимодействие потенциалов. Преобладание реального момента есть ее прошлое, перевес идеального — настоящее, преодоление реального, единство реального и идеального — будущее. Так вечность переходит во время, а время переходит в вечность. Однако различие между временем и вечностью все же есть. В Троице прошлое, настоящее и будущее органически связаны, а во времени разделены (Schelling, 2013: 169–170). Эта разделенность связана с грехопадением, в котором оказывается мир. Как и у Баадера, у Шеллинга время устремлено к спасению мира, наступлению «вечного будущего». Три вечных акта Абсолюта обнимают собой мировую историю от вечного начала до вечного конца. Вечность сначала переходит в вечное время, затем в само время, чтобы потом опять вернуться в вечность через посредство вечного времени. Трехтактный ритм смены потенциалов составляет смысл жизни всего: от Абсолюта до мельчайшего существа на земле. Время и является принципом, смыслом, сутью бытия всего, что существует. Время есть аскетический путь постепенного преодоления реального и победа идеального, путь познания и спасения.

Концепция Таубеса описывает не только будущее, но и прошлое философии времени XIX века. Истоком, точнее, «Ветхим Заветом» «пантеистически-имманентного типа» является работа И. Канта «Конец всего сущего» (1794). По Таубесу, эту сосредоточенную на «личном апокалипсисе» (с. 263) эсхатологию следует называть «трансцендентальной». Конец всего сущего, по Канту, есть финал преобладающих во времени предметов возможного опыта, т. е. переход вещей из чувственного в интеллигибельный мир. Но это в системе Канта запрещено, следовательно, существование «предметов» после конца может быть только моральным. По Таубесу, такое понимание эсхатологии ведет к радикальной отчужденности

от Бога. Кант, с точки зрения Таубеса, вовсе не случайно заговорил о «коперниканском повороте». Если птолемеевский человек познает Божий мир и говорит с Богом, то коперниковский человек познает мир настолько, насколько сам и порождает, т. е. живет в мире мертвых вещей. Коперниковский человек — тот, кто хочет изменить мир в соответствии с собственными идеалами, революционным путем. Трактую эсхатологию Канта как «трансцендентальную», Таубес ссылается на первый том трехтомного «Апокалипсиса немецкой души» Ханса Урса фон Бальтазара (Baltasar, 1937), который при переиздании получил название «Прометей. Штудии по истории немецкого идеализма» (Baltasar, 1947). У Бальтазара кантовский «конец всех вещей» оказывается «самопознанием» (Baltasar, 1937: 92). Подхватывая идею Бальтазара, Таубес трактует «трансцендентальный эсхатон духа» у Канта как «личный апокалипсис», пришедший на место «метафизическому». Кантовское понимание «последних вещей» как «предпосылок конечного бытия», т. е. индивида, легко истолковать в гностическом ключе, что и делает Таубес.

От описанного «пантеистически-имманентного» типа Таубес прокладывает линии к экзистенциальным концепциям времени Ф. Розенцвейга и М. Хайдеггера, а также эсхатологическим теориям К. Барта, П. Тиллиха и Н. А. Бердяева. Идея Таубеса целиком применима и к русской религиозной философии Серебряного века. К «пантеистически-имманентной» модели относится значительная часть учений о времени в русской философии от В. С. Соловьева до его последователей — С. Л. Франка, П. А. Флоренского, Л. П. Карсавина и С. Н. Булгакова. Особенно это заметно у раннего Флоренского, отождествляющего время со знанием, текущим сразу в двух направлениях — в будущее и в прошлое (Флоренский, 1996), а также у позднего Карсавина, для которого время есть самопознание человека, приближающее его к Богу (Карсавин, 1992: 78).

В эсхатологии XX века тема вечности постепенно уходит на задний план, а тема устремленности к эсхатону — на первый. Это особенно заметно в диалектической теологии, проповедующей скорое пришествие трансцендентного, «неведомого» (unbekannt) Бога (Барт, 2005: 113), который своим Судом даст человечеству смерть и воскресение. Как резюмировал идеи раннего Барта П. Тиллих:

«Постоянное *неприятие* мира Богом, властное возвешение *Суда*, *Кризиса* крайне парадоксальная форма этих явлений — все вместе дало этому направлению название диалектической теологии» (Тиллих, 1925: 149).

Для Тиллиха, как позже для Таубеса, эсхатология как учение о напряженной борьбе добра и зла, которая завершится победой добра, является центром западного мировоззрения. У Ф. Розенцвейга отчуждение Бога во вселенной от самого себя приводит к идее трех распавшихся фактичностей: Бог, мир и человек. Если Бог — Да, то мир может быть представлен как Нет. А человек — Да и Нет. Розенцвейг подхватывает идею трех «вечных времен» Шеллинга и превращает ее этапы

взаимоотношений Бога, мира и человека: творение, откровение, избавление (Erlösung). Все вместе эти этапы составляют «мировой день» (Welttag). Этот «мировой день», мировая история устремлены к спасению, к ожиданию Мессии, раскрытию вечности, но эта вечность в нем уже заранее присутствует. Мир помнит свою сотворенность, но каждый его миг и все мировое время как целое свидетельствуют о приближении Царства Божия. Мир не только помнит о своем прошлом, но и предчувствует свое завершение, помнит, что «царство вечно наступает» (Rozenzweig, 2002: 261). Время «как целое» стоит между двумя вечностями: «вечность — его начало, вечность — его конец, а все время есть лишь промежуток между этим началом и этим концом» (Rosenzweig, 2002: 375). Таким образом, время у Розенцвейга есть сила, охватывающая весь мир и соединяющая разрозненные элементы мира в единое целое.

Описав основные черты современной философии времени, Таубес обращается к ее первоисточкам. Здесь он снова близок к Тиллиху, назвавшему эсхатологию общим достижением «семитско-персидского и западно-христианского мира» (Tillich, 2008: 44).

«Первая великая философия истории родилась из усмотрения двойственности: ее содержание есть борьба между светом и тьмой, между добром и злом» (Tillich, 2008: 45).

Первым источником западной эсхатологии Таубес считает иудейских пророков и апокалиптику. Именно Израиль — создатель «однократной истории» (Таубес, 2023: 34). Христианство и иудаизм в свете эсхатологии должны рассматриваться как сходные учения. Их соединимость подтверждает описанная выше «пантеистически-имманентная теория», содержащая явные мотивы лурианской каббалы. Западная эсхатология есть, по Таубесу, иудео-христианская эсхатология. Ее общая основа — учение о двух зонах — нынешнем тленном, в котором мир лежит во зле, и грядущем, справедливом, который наступит после гибели этого.

Противоречие между действительностью безбожного мира и представлением о царствовании Божьем в этом мире и рождает эсхатологию (с. 41–42).

Конечно, христианская ортодоксия всегда стремится размежеваться с иудаизмом, противопоставляя христианскую эсхатологию («Царство Божие на небе», «Царство Божие внутри вас») иудейской («Царство Божие на земле»), однако для Таубеса обе разновидности эсхатологии одинаково устремлены к трансцендентному «новому небу и новой земле».

Второй составляющей западной эсхатологии, по Таубесу, является гностицизм. С одной стороны, он связан с апокалиптикой на почве идеи чуждости мира человеку. Фактически, согласно Таубесу, предпосылки для гностицизма возникают уже в иудаизме. С другой стороны, гностицизм есть поворот от демифологизированного иудейского мышления снова к мифологии. Взаимная чуждость человека и мира, с точки зрения Таубеса, является общей также для неоплатонизма и хри-

стианства. Мир сей объявлен демоническим «как в гностической литературе, так и у апостола Павла» (с. 59).

Таубес, описывая гностицизм, ссылается на Х. Йонаса, еще в 1930-е годы разработавшего словарь гностического языка: «чужой», «по ту сторону», «вне», «падение», «погружение», «пленение», «заброшенность», «страх», «заблуждение» и т. д. (Jonas, 1934). Могло иметь место и обратное влияние. Когда Йонас сам обратился в начале 1960-х годов к осмыслению роли гностицизма в мировоззрении модерна, он тоже пришел к выводу, что именно гностицизм составляет основу ново-европейской отчужденности человека от Бога и природы. По Йонасу, уже Паскаль сформулировал представление об одиночестве человека, его заброшенности в бесконечности пространств. Сотворенный мир не демонстрирует ни блага, ни красоты, а только силу Бога (Jonas, 1963: 9). Гностическое мировоззрение с особой силой проявилось в экзистенциализме, и Йонас подчеркивает, что для Хайдеггера слова Ницше «“Бог мертв“ означают: сверхчувственный мир лишен действенной силы» (Jonas, 1963: 17; Heidegger, 1977: 217).

Контекст «Западной эсхатологии»: гностицизм, секуляризация и политическая теология

Для того чтобы понять текст Таубеса, недостаточно его прочитать. Во время чтения необходимо иметь в виду моменты, которые можно назвать контекстуальными. Это отмечает и автор послесловия к книге:

«...надо опасаться, что книга, чуть ли не каждый абзац которой заслуживает комментария, не будет в достаточной мере понята как ответ на вызовы своей эпохи и попытка соответствовать духовно-политической ситуации времени» (Филиппов, 2023: 413).

Если послесловие является некоторой попыткой дать такой комментарий, то наши размышления над книгой можно считать продолжением этой попытки. Именно поэтому дальше будет уделено не слишком много внимания той связи идей Таубеса с философией Хайдеггера и социологией Вебера, которая заслуженно занимает одно из центральных мест в тексте А. Филиппова. Для понимания Таубеса нужно более подробно вникнуть в его отношение к идеям Х. Йонаса, К. Лёвита, Э. Фёгелина, Х. Блюменберга, О. Маркварда и, конечно же, К. Шмитта.

Первый контекстный сюжет — это отношения Таубеса с Карлом Лёвитом и Хансом Йонасом. В 1949 году Йонас получил приглашение обсудить книгу под названием «Западная эсхатология» совершенно неизвестного ему молодого автора — 26-летнего Якоба Таубеса. Для того чтобы навести справки, Йонас обратился к коллеге — Карлу Лёвиту. В своих воспоминаниях Йонас пишет об этом так:

«Перед встречей я спросил Карла Лёвита: “Вы случайно не знаете Якоба Таубеса?” “Конечно, я его знаю”, — ответил он. “Не могли бы вы рассказать мне

что-нибудь о нем? Он прислал мне письмо. Я никогда о нем не слышал, но он ссылается на написанную им книгу и просит о встрече со мной. Вы знаете эту книгу?” “О да, — сказал он, — я знаю эту книгу”. — “И что, хороша?” Тогда он ответил, рассмеявшись: “О, книга очень хороша. И это неспроста — она наполовину Ваша, а наполовину — моя”» (Jonas, 2008: 186).

Современный исследователь теорий «модерного гностицизма» в послевоенной Германии В. Стиффалс отмечает, что и для Лёвита, и для Таубеса было характерно стремление выявить эсхатологические корни современного исторического сознания. Кроме того, оба обосновывали зарождение секуляризированной эсхатологии в средневековой философии истории Иоахима Флорского, оба соглашались с тем, что кульминацией этой секуляризированной эсхатологии стала философия Гегеля и Маркса (Styfhals, 2019: 77). Но Таубес дополняет положения Лёвита, высказанные им еще в 1930–40-е годы, идеями Йонаса. Таубес писал, что, когда в начале 1940-х годов ему в руки попала книга Лёвита «От Гегеля к Ницше», «словно пелена упала с моих глаз» (Таубес, 2021: 75). Это прозрение привело к тому, что 24-летний Таубес издает свою «Западную эсхатологию» за два года до выхода ключевой работы Лёвита на близкую тему: «Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории». Хотя, несомненно, работа Лёвита в отношении глубины анализа и тщательности работы с источниками превосходит трактат Таубеса.

Благодаря Лёвиту Новое время открылось Таубесу как процесс секуляризации эсхатологии, ее переноса в секулярную историософскую плоскость. Но Таубес не останавливается на этом и соединяет мысль Лёвита с исследованиями Йонаса. Таубес показывает, что сутью новоевропейской культуры является философия истории не как секуляризованная христианская эсхатология, но — философия истории как видоизмененная в ходе секуляризации гностическая эсхатология. При этом и сам процесс секуляризации оказывается у Таубеса результатом западноевропейской рецепции и развития именно гностической эсхатологии, в которой идея отказа от порочного материального космоса в пользу трансцендентного сменяется, начиная с Иоахима Флорского, отказом от неполноценного прошлого мира. План космический сменяется имманентно-историческим, где трансцендентным оказывается земное будущее, достигаемое революционными средствами. Эти «поправки» Таубеса к Лёвиту и Йонасу не отменяют активного использования их идей. В итоге мы видим текст, который можно назвать отправной точкой дискуссий о гностическом характере модерна в послевоенной Германии и за ее пределами.

«Соединение» Лёвита и Йонаса для определения сути «западной» цивилизации через революционную философию истории как секуляризованную гностическую эсхатологию — не единственный ключ к пониманию концепции Таубеса. Важны также и дискуссии, которые породила «Западная эсхатология». Тут нужно упомянуть и Эрика Фёгелина, который отталкивается от Лёвита, Йонаса и Таубеса в сво-

ей «Новой науке политики» (1952), и Ханса Блюменберга с его «Легитимностью Нового времени» (1966) и «Генезисом коперниканского мира» (1975), чьи выводы оказываются прямо противоположны идеям Фёгелина и Таубеса. В конце 1960-х годов Таубес напрямую хотел столкнуть Фёгелина и Блюменберга, навязать им диспут, от которого и тот, и другой успешно и активно уклонялись (Styfhals, 2019: 168).

История этих отношений длительна и запутанна, но в ней интересен момент различения позиций названных авторов. И если обращаться к итоговым формулировкам, то кажется неизбежным признать правоту того различения концепций Таубеса и Блюменберга, которое проводит Одо Марквард, будучи критически настроенным и к тому, и к другому:

«Якоб Таубес выдвинул сформулированный в заостренной форме тезис: центральной философией современной цивилизации является философия истории, и она является продолжением гностицизма с привлечением современных средств. Ханс Блюменберг выдвинул, также в заостренной формулировке, тезис: современная цивилизация и вся ее философия, а значит, и философия истории, как раз не продолжение гностицизма, а его противоположность — это второе преодоление гностицизма» (Марквард, 2023: 636).

Эти характеристики Марквард дает в сборнике «Отражение и подобие» (1983), посвященном 60-летию Таубеса. Кажется, что это наиболее удачная схематизация вариантов интерпретации связи гностицизма и современной цивилизации. Между этими формулировками располагается весь спектр возможных определений этой связи. Сюда же Марквард вписывает и свой вариант расшифровки «гностического иероглифа»:

«Мне кажется, эти два тезиса можно совместить: современную философию истории можно определить как продолжение гностицизма, а современную цивилизацию можно определить как отрицание гностицизма — при условии готовности заплатить за это разрывом связи между философией истории и современной цивилизацией. В таком случае получится, что современная цивилизация отрицает гностицизм, но философия истории продолжает гностицизм как сопутствующее современной цивилизации ее отрицание, как антимодерности. В контекст этого тезиса входит определение философии истории как радикализованной теодицеи, которая превращается в повторение гностического решения» (Марквард, 2023: 636).

Марквард предлагает не просто компромисс между Таубесом и Блюменбергом, но показывает амбивалентность модерна, зависание его между секулярной рациональностью и гностической установкой философий истории, выполняющих культур-критическую функцию неприятия этой секулярной рациональности. При этом эта культур-критика может иметь характер как революционно-утопический (например, у Гегеля и Маркса), так и апокалиптико-консервативный (например,

у Ш. Георге, Л. Клагеса, М. Хайдеггера, К. Шмитта и, вероятно, Э. Юнгера). В своем понимании революционно-утопической культур-критики модерна как формы секуляризации гностической эсхатологии Марквард следует именно Таубесу. Различие тут в том, что для Маркварда гностичны именно современные философии истории, а не весь модерн. Но и в вопросах понимания секуляризации и современных апокалиптико-консервативных гностических эсхатологий Марквард оказывается единомышленником Таубеса, поскольку для них точкой пересечения этих двух вопросов оказывается политическая теология К. Шмитта.

Политическая теология Шмитта и отношение к ней Таубеса — это третий контекстуальный сюжет, который необходимо учитывать для понимания текста «Западной эсхатологии». Если первый — это соединение в ней идей Лёвита и Йонаса, а второй — различие с Блюменбергом и Марквардом, то третий — это именно рецепция Таубесом шмиттовского понимания секуляризации при полном различии в их выводах о возможности человеческого действия в гностико-эсхатологически интерпретируемом современном мире.

Таубес понимает секуляризацию не как вытеснение религии из политики, экономики и общественной жизни, но как имманентизацию сакрального, именно как «об-мирщение», при котором сохраняется формальная связь составных частей религии при замене их содержания. Это ситуация, когда религия никуда не исчезает, но трансформируется в направлении сакрализации того, что ранее было профанным. Такое понимание секуляризации как продолжения религии «другими средствами» и ради других целей следует за формулой Шмитта, с точки зрения которого «все понятия современного учения о государстве — это секуляризованные теологические понятия» (Шмитт, 2000: 7). Понятие «Бога» заменяется понятием «суверена», понятие «чуда» — понятием «чрезвычайной ситуации» и т. д. Но при этом нельзя забывать, что под секуляризируемой Новым временем теологией Шмитт понимает именно католическую теологию. И тут начинается расхождение, поскольку те феномены, которые Шмитт считает свойственными католицизму, Таубес рассматривает как гностические.

Читателя «Западной эсхатологии» это не должно удивлять. Современное христианство для Таубеса является гностическим. Следовательно, таково христианство и самого Шмитта по Таубесу. Поэтому, обнаружив в «Западной эсхатологии» гностический характер философии Кьеркегора, Таубес еще на подступах отрицает возможность понимания как католической политической теологии Шмитта, зависимость которой от Кьеркегора обосновал не так давно в своей монографии В. Башков (Башков, 2022). Если гностичен Кьеркегор, то гностичен и Шмитт. Однако Шмитт в своей «Политической теологии II» (1970) посредством критики Блюменберга, который увидел в понятии «политического» у Шмитта гностический дуализм, стремился уйти от возможности заподозрить его в гностицизме. Тем не менее критика Блюменберга не тождественна ответу Таубесу.

Таубес в известном тексте «Ad Carl Schmitt» (1987) категорически заявляет, что он «не делал никакого духовного вклада в этот мир как он есть» (Таубес, 2021: 166).

Таубес признает, что и сам понимает мир гностически — как радикально злой и непригодный для существования человека, т. е. как такой мир, в который человеку бессмысленно «вкладываться». Он пишет это утверждение на английском языке в сборнике своих немецкоязычных текстов об отношениях с Шмиттом:

«У Шмитта всегда был только один интерес: чтобы партийная борьба с ее хаосом не распространилась наверх, чтобы сохранилось государство. Какой угодно ценой. Теологу или философу трудно согласиться с этим; для юриста же неоспоримо одно: пока можно найти хоть какую-то, сколь угодно изощренную, юридическую формулу, это должно быть сделано, иначе воцарится хаос. Позднее Шмитт назовет это *kat-echon*, Удержителем, не дающим разрастись хаосу, напирющему снизу. Это не мое мировоззрение и не мой опыт. Но как апокалиптик я могу себе это представить: мир должен погибнуть. I have no spiritual investment in the world as it is. Но я понимаю, что кто-то другой мог вкладываться в этот мир, и в апокалипсисе, какую бы форму он ни принимал, видит своего противника и делает все, чтобы держать его в узде и подчинении, потому что оттуда могут вырваться силы, с которыми мы не в состоянии совладать» (Таубес, 2021: 166–167).

Таубес указывает, что Шмитт как раз «духовно вкладывался», и даже двойко: в то, чтобы легитимировать необходимость «*kat-echon*»¹, и в то, чтобы «разрушить Израиль», то есть легитимировать Холокост. Тем самым Шмитт, с точки зрения Таубеса, оказывается духовным наследником Маркиона, который, по мнению Мартина Бубера, своим отрицанием Ветхого Завета как бы подготовил разрушение Иерусалима¹. Таубес, по сути, показывает, что гностическое объявление кого-то «источником зла» предполагает политическую репрессивность или ради светлого будущего прогрессивного процветания, или ради защиты «последних» «носителей добра», которые пока еще «удерживают», консервируют то «спасительное благо», что еще сохранилось в мире с их точки зрения. И в том, и в другом случае — это гностический дуализм «злого Творца» и «благого Спасителя», «врага» и «друга». И, по Таубесу, этот дуализм в секулярном мире только и может пониматься как секуляризированная гностическая эсхатология тех, кто готов также «духовно вкладываться в мир как он есть», как «вкладывался» Шмитт в 1933–1936 годы.

Тезис Таубеса о неприятии этого мира, который катится в геенну, при чтении «Западной эсхатологии» необходимо всегда иметь в виду. Именно в утверждении мира современной цивилизации как очередного шага к апокалипсису сходятся Таубес

1. Именно Бубер в 1952 году в своем обвинении Маркиона в антисемитизме использует формулировку «как духовный вклад в уничтожение Израиля» («als einen geistigen Beitrag zur Zerschtoerung Israels») (Taubes, 1996: 176). Но в английском переводе лекций Бубера об иудаизме в 1967 году «geistigen Beitrag» переведено как «spiritual contribution», а не «investment» (Buber, 1967). В этом отношении причины того, почему Таубес в немецком тексте использует английскую формулировку, а не немецкую, остаются непонятными, если не предположить, что Таубес, используя язык противников Германии во Второй мировой войне, лингвистически демонстрирует неприятие того «мира как такового», в «удержание» которого «вкладывался» Шмитт.

и Шмитт. Но тезис Таубеса о недопустимости «духовных инвестиций в этот мир как он есть» оказался тем «противостремительным» положением, которое радикально отличало его гностицизм от гностицизма Шмитта, предполагавшего необходимость сдерживания апокалипсиса.

Притом нельзя забывать, что картина мира современной цивилизации может быть и иной: она может пониматься как рост рациональности и прогресс в вытеснении гностицизма вместе с христианством из жизни общества (по Блюменбергу), как процесс комплементарного роста рациональности и компенсирующего его роста интереса к иррациональному (гностицизму и христианству) (по Маркварду). Это — концепции приятия мира, его трансформаций, конструктивного обсуждения и решения проблем, вызванных модернизацией. Но это и варианты путей к нейтрализации гностического в модерне. Таубес и Шмитт шли иными дорогами. И конечно, то ощущение, которое Таубес оставляет у читателя «Западной эсхатологии» и автора послесловия — А. Ф. Филиппова, может быть только от этой первой и единственной монографии Таубеса:

«В этом разница между Лёвитом и Таубесом: первый констатирует исчерпание нарративов и разочарование в перспективах, второй, как кажется, все еще готов довериться Богу и его пророкам» (Филиппов, 2023: 423).

Последующие тексты Таубеса показывают, что, несмотря на готовность довериться «Богу и пророкам», Таубес не менее Лёвита убежден в исчерпаниии и бесперспективности нарративов как вида духовных инвестиций. А скорее всего именно благодаря «доверию Богу и пророкам» Таубес и отказывается от этих инвестиций, от борьбы за сохранение «духовного» в мире, поскольку именно эта борьба и приводит к репрессиям и бесчеловечности, к эскалации гностических рецидивов, в рамках которых производится различение «духовных» («друзей») и «бездуховных» (врагов), к призывам уничтожать тех, кого обозначили как «бездуховных». Из этой «шмиттовской ситуации» Таубес видит только один выход: вообще не делать «духовных вкладов» в этот наличный мир, который ничто не может спасти — ни кропотливый труд по сохранению прежних достижений, ни попытки реставрировать былое величие, ни революционные призывы к созданию «дивного нового мира».

К этим контекстным ориентирам, предлагаемым нами для понимания «Западной эсхатологии», можно, пожалуй, добавить еще и то значение, которое имеют для Таубеса интерпретации гностического мировосприятия у Д. Лукача, Э. Блоха, на которых он ссылается в тексте, и у Г. Шолема, на которого в «Западной эсхатологии» ссылок нет. Можно напомнить, что в послесловии к русскому переводу Филиппов отмечает встроенность текста Таубеса в традицию веберовской социологии и (добавим мы), в частности, в веберовскую теорию секуляризации. Там же отмечается, что хотя Таубес не написал больше ни одной монографии, однако при этом он серьезно повлиял на интеллектуальную историю послевоенной Германии.

Книга Таубеса, несомненно, спровоцировала всплеск интереса к связи гностицизма с современной культурой. Так, кроме упомянутых работ Фёгелина, Блюменберга и Маркварда появилось большое исследование «философии откровения» Баадера и Шеллинга в контексте гностицизма, мистики Я. Бёме и лурианской каббалы, сделанное П. Козловски. Вслед за Таубесом он возложил ответственность на гностицизацию религии и философии на иудаизм. По мнению Козловски:

«...в иудаизме возникает тенденция к гностицизму, к теории страдающего Бога в тех опытах, в которых история Адама больше недостаточна для объяснения страдания и несправедливости, которые происходят с людьми. Если страдание больше необъяснимо человеческой виной и не может компенсироваться апокалиптическим или сотериологическим ожиданием, только теория, что сам Бог страдает от мира, может сделать зло и беду понятными» (Koslowski, 2001: 142).

Как и Таубес, Козловски видит у Шеллинга и особенно у Гегеля мощное влияние гностицизма, несколько отделяя от них Баадера, у которого это влияние выражено, по его мнению, слабее. Однако Козловски, в отличие от Таубеса, считает гностицизм не мифологией, а философской спекуляцией, что тоже надо учитывать при чтении «Западной эсхатологии».

Перевод «Западной эсхатологии»: «искупление» и/или «спасение» в «последние времена»

Завершая, надо сказать несколько слов и о переводе текста «Западной эсхатологии» на русский язык. Его уровень не уступает уровню других переводов одного из самых известных современных переводчиков философских текстов Александра Шурбелёва («Искусство и красота в средневековой эстетике» (2003), «Открытое произведение» (2004) У. Эко, «Немецкий идеализм» (2016) и «Шеллинг. О сущности человеческой свободы» (2023) М. Хайдеггера и др.), что не позволяет закрыть глаза на опечатки (с. 161, 208, 232, 237) и не снимает вопросы о переводе отдельных ключевых терминов.

Так кажется, что русскоязычному читателю, возможно, мог быть ближе перевод слова Erlösung как «спасение», а не «искупление». В бытовом употреблении Erlösung используется даже в смысле «избавления», например, во фразе: «Я избавился от этого мусора». Один из переводов слова Lösung — «выход». Lös — «освободи». Но в немецком языке есть еще и понятие «спасения» в собственном смысле слова — Heil, которое как простое существительное можно перевести через понятие «слава» и даже «благодать», но можно и через отглагольное «спасение». Сами языковые модели показывают, что в русском языке «искупление» имеет в своей основе отсылку к «выкупу», к юридической теории спасения, а «спасение» отсылает к «избавлению», «освобождению», тогда как в немецком языке Erlösung никак не связано с «выкупом», а предполагает именно «избавле-

ние». Heil же в немецком отсылает к слову Heilig («святой»), в русском же, возможно, — к таким понятиям православного богословия как «обожение» или «освящение».

Все это усугубляется тем, что в немецком языке понятие «искупление» может быть выражено словом *Versöhnung*, которое чаще, конечно, переводят как «примирение» в том смысле, в котором его использует Гегель. Таубес в «Западной эсхатологии» также преимущественно использует это понятие для анализа философии Гегеля. Но это «примирение», третий момент в диалектике Гегеля, в интерпретации Таубеса оказывается секуляризацией представления об «эпохе Святого Духа», о последнем эоне «истории спасения» (*Heilsgeschichte*) у Иоахима Флорского (с. 73–74, 78, 181). Тем самым можно говорить, что понятие *Versöhnung* имеет амбивалентный смысл в немецком тексте: и как «искупление», и как «примирение». Это, конечно, требует как минимум указания рядом с русским переводом понятия на немецком, если не отдельного примечания переводчика. Однако в тексте отсутствует как первое, так и второе.

Использование Таубесом *Versöhnung* и *Erlösung* наряду с Heil (в том числе в понятиях *Heilsökonomie* (рус.: «домостроительство спасения», «икономия») и *Heilsgeschichte* (рус.: «история спасения»)) ставит перед переводчиком сложную задачу и приводит к необходимости использовать в одном случае для перевода слово «искупление» (*Erlösung*), а в другом «спасение» (Heil). Переводчик должен принять трудное решение — и наиболее привычно как раз не использовать одно слово русского языка для перевода разных слов немецкого. Но за этой необходимостью появляется риск потерять то противопоставление, которое оказывается одним из ключевых для характеристики гностического миропонимания у Таубеса: противопоставление «творения» «спасению». В гностицизме Демиург — это тот, кто создает порочный мир, где человек отчужден от самого себя (не говоря уже об отчуждении от продуктов своего труда). Этому «отчуждающему богу» противостоит Спаситель, тот, кто именно «спасает» от этого отчуждения. И это «спасение» не обязательно означает «выкуп» или «искупление», но оно точно означает «избавление»: неспроста Таубес при упоминании «освобождения» (*Erlösung*) указывает имена Маркса, Лассаля, Бернштейна и Троцкого (Таубес, 2023: 40), которые в оптике Таубеса отсылают нас к началу второго куплета «Интернационала».

Со стороны простого читателя, не утружденного тяжестью труда переводчика, кажется, что эта игра слов и образов могла быть передана тем, что рядом с русским переводом таких ключевых для Таубеса слов, как *Erlösung* и Heil, можно было бы поставить в круглых скобках немецкое слово. Тогда в тексте это могло выглядеть так: «спасение (*Erlösung*)» и «спасение (Heil)». Но это приводит, конечно, к возражениям иного рода и делает такое решение сомнительным, хотя совершенно несомненно то, что при первом упоминании в тексте стоило бы все-таки указать, что везде по тексту *Erlösung* будет переводиться как «искупление» (но подразумевать «избавление»), а Heil — строго как «спасение».

Примечаний переводчика требовала и использованная им прямая транслитерация с немецкого на русский таких понятий, как «энтюмесис» и «эктрома» (Таубес, 2023: 329). Эти понятия встречаются только один раз там, где Таубес приводит их в цитате Тертуллиана. Но даже у Таубеса в немецком тексте указано: «Ektroma (der Achamoth)» (Taubes, 1947: 161). То есть автор текста, приводя цитату, поясняет, что тут имеется в виду гностическая София-Ахамот, тогда как переводчик и убирает упоминание об «Ахамот», и не поясняет в примечании значение понятий «энтюмесис» и «эктрома», что было бы нужно сделать.

На те же размышления и на необходимость указания в русском тексте понятий, используемых в оригинале на немецком языке, наводит перевод понятий *Urzeit* как «исконного времени» и *Endzeit* как «последнего времени». Это интересная находка переводчика — но все-таки привычнее эти слова переводить в теологическом контексте как «время творения мира» и «время конца света», или просто «конец света». Здесь эту переводческую находку, лучше передающую мысль Таубеса, чем привычные переводы, также нужно было сопроводить указанием немецких слов, используемых в оригинале. Хотя, возможно, это замечание следовало бы отослать редакторам и издательству, а не переводчику.

При этом в остальном перевод выполнен блестяще. Достоин и его издание, относительно которого можно было бы только посоветовать на отсутствие именного указателя и того, что отметил автор послесловия: комментариев на каждый абзац текста. А мы, взяв за пример самого Таубеса, радикализируем эту претензию: не только на каждый абзац, но еще и на каждое ключевое понятие текста «Западной эсхатологии». Теперь эта задача, с момента появления перевода «Западной эсхатологии», доступна и для русскоязычного читателя, все чаще сталкивающегося, а иногда и перманентно пребывающего в гностически проинтерпретированном мире, отрицающем иные, альтернативные его интерпретации, которые тем не менее сейчас не только возможны, но и необходимы.

Литература

- Аверинцев С. С. (1977). Порядок космоса и порядок истории // Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука. С. 89–113.
- Барт К. (2005). Послание к Римлянам / Пер. с нем. В. Хулапа. М.: ББИ.
- Башков В. В. (2022). Репетиция политического: Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт. СПб.: Владимир Даль.
- Бульман Р. (2012). Эсхатология и история. Присутствие вечности. М.: Канон+.
- Кант И. (1980). Конец всего сущего // Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука. С. 279–291.
- Карсавин Л. П. (1992). О личности // Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М.: Ренессанс. С. 3–234.
- Кьеркегор С. (2014). Понятие страха / Пер. с дат. Н. Исаевой и С. Исаева. М.: Академический проект.

- Марквард О. (2023). Теодицея, философии истории, гностицизм / Пер. с нем. А. П. Соловьева // Идея Бога и образ теологии в философских дискурсах зрелого модерна и постмодерна / Под общ. ред. Д. А. Масленникова. СПб.: РХГА. С. 636–648.
- Осборн П. (2013). Маркс и философия времени / Пер. с англ. А. Л. Фомина // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 1. С. 15–32.
- Таубес Я. (2021). Ad Carl Schmitt. Сопряжение противостремительного / Пер. с нем. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль.
- Таубес Я. (2023). Западная эсхатология / Пер. с нем. А. Шурбелёва. СПб.: Владимир Даль.
- Тиллих П. (1925). Диалектическая теология // Путь. № 1. С. 148–154.
- Филиппов А. Ф. (2023). Между социологией и теологией // Таубес Я. Западная эсхатология / Пер. с нем. А. Шурбелёва. СПб.: Владимир Даль. С. 409–427.
- Флоренский П. А. (1996). Пределы гносеологии // Флоренский П. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль. С. 34–60.
- Шеллинг Ф. В. Й. (2002). Философия откровения / Пер. с нем. А. Л. Пестова. Т. 2. СПб.: Наука.
- Шеллинг Ф. В. Й. (2010). Штутгартские частные лекции / Пер. с нем. П. В. Резвых // Философия религии. Альманах 2008–2009 / Отв. ред. В. К. Шохин. М.: Ин-т философии РАН. С. 326–396.
- Шмитт К. (2000). Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца // Шмитт К. Понятие политического / Пер. с нем., под ред. А. Ф. Филиппова. М.: КАНОН-пресс-Ц. С. 7–98.
- Baader F. K. (1851). Vorlesungen über religiöse Philosophie. I. Heft. Vom Erkennen // Baader F. K. Sämtliche Werke. Bd. I. Leipzig: Hermann Bethmann. S. 151–320.
- Baader F. K. (1855). Vorlesungen über speculative Dogmatik // Baader F. K. Sämtliche Werke. Bd. VIII. Leipzig: Hermann Bethmann.
- Baltasar H. v. U. (1937). Apokalypse der deutschen Seele. Bd. 1. Salzburg: Anton Pustet.
- Baltasar H. v. U. (1947). Prometheus. Studien zur Geschichte des deutschen Idealismus. Heidelberg, Kerle Verlag.
- Buber M. (1967). On Judaism. URL: <https://theanarchistlibrary.org/library/martin-buber-on-judaism#toc24> (дата доступа: 14.12.2023).
- Heidegger M. (1977). Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman.
- Jonas H. (1934). Gnosis und spätantiker Geist I: Mythologische Gnosis. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jonas H. (1963). Zwischen Nichts und Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom Menschen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jonas H. (2008). Memoirs, trans. Krishna Winston. Lebanon, NH: University Press of New England.
- Koslowski P. (2001). Philosophien der Offenbarung Antiker Gnostizismus, Franz von Baader, Schelling. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

- Rosenzweig F. (2002). *Der Stern der Erlösung*. Freiburg im Breisgau: Albert Raffelt.
- Schelling F. W. J. (2013). *Die Weltalter*. Milano: Bompiani.
- Styfhals W. (2019). *No spiritual investment in the world: gnosticism and postwar German philosophy*. Ithaca, NY: Cornell University Press: Cornell University Library.
- Taubes J. (1947). *Abendländische Eschatologie*. Bern: A. Francke AG. Verlag.
- Taubes J. (1996). *Das stählerne Gehäuse und der Exodus daraus, oder Ein Streit um Marcion, einst und jetzt // Taubes J. Vom Kult zur Kultur: Bausteine zu einer Kritik der historischen Vernunft; gesammelte Aufsätze zur Religions- und Geistesgeschichte*. München: Wilhelm Fink. S. 173–181.
- Tillich P. (2008). *Ausgewählte Texte*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Origins and Meaning of Jacob Taubes' "Occidental Eschatology"

Book review: Taubes J. (2023) *Occidental Eschatology*, trans. A. Shurbelev, St. Petersburg. 432 p. (In Russian)

Tatyana N. Rezvykh

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Department of Advanced Further Education, St. Tikhon's Orthodox University

Address: Novokuznetskaya st., 23B, Moscow, 115184, Russian Federation

E-mail: hamster-70@mail.ru

Artem P. Solovev

Candidate of Philosophy, Deputy Rector for Research,

Almaty Orthodox Theological Seminary.

Address: Ashimbaeva str., 26, Almaty, 050002, Republica Kazakhstan

E-mail: artstudium@yandex.ru

The translation of Jacob Taubes' "Occidental Eschatology" into Russian is a worthy occasion to clarify for Russian-speaking readers the origins and significance of this book. Among the philosophical roots and foundations of Taubes' text, there is the "pantheistic-immanent representation" of Baader and Schelling about time as the time of "salvation", which is directed both towards the eschaton, towards future eternity, and the past, towards creation. Time turns out to be that which connects two eternities, and God unites time and eternity. On the other hand, Taubes develops Hans Jonas' research on Gnosticism and discovers the Gnostic character of modernity. Three contextual moments allow the reader to understand the deeper meaning of "Occidental Eschatology": 1) the rethinking and synthesis of Jonas' and Karl Löwith's ideas in Taubes' work, 2) the discussions between Taubes, Hans Blumenberg, and Odo Marquard on the role of Gnosticism in modernity, and 3) the connection of Taubes' ideas with the understanding of secularization as a continuation of religion "by other means", which was characteristic of C. Schmitt and K. Löwith. These narratives are enhanced by the readers' grasp of the fact that Taubes perceives himself as living in a Gnostic world of total alienation, which must disappear. "No spiritual investments" can be made in this world. This position is considered opposite to Schmitt, who asserted the necessity of delaying the apocalypse. In addition, it is necessary to understand the complexities of the wonderful translation, which has long been necessary for the Russian-speaking reader of "Occidental Eschatology", who permanently resides in a gnostically interpreted world.

Keywords: Taubes, Löwith, Jonas, Voegelin, Blumenberg, Marquard, Schelling, Occidental Eschatology, Gnosis

References

- Averintcev S. (1977) Porjadok kosmosa i porjadok istorii [The Order of Space and the Order of History]. *Pojetika rannevizantijskoj literatury* [Poetics of Early Byzantine Literature] (auth. S. Averintcev), Moscow: Nauka, pp. 89–113. (In Russian)
- Baader F.K. (1851) Vorlesungen über religiöse Philosophie. I. Heft. Vom Erkennen. *Sämmtliche Werke*, bd. I (auth. F.K. Baader), Leipzig: Hermann Bethmann, pp. 151–320.
- Baader F.K. (1855) Vorlesungen über speculative Dogmatik. *Sämmtliche Werke*, bd. VIII (auth. F.K. Baader), Leipzig: Hermann Bethmann.
- Baltasar H. v. U. (1937) *Apokalypse der deutschen Seele*, bd. 1, Salzburg: Anton Pustet.
- Baltasar H. v. U. (1947) *Prometheus. Studien zur Geschichte des deutschen Idealismus*, Heidelberg, Kerle Verlag.
- Bart K. (2005) *Poslanie k Rimljanam* [Epistle to the Romans], Moscow: BBI. (In Russian)
- Bashkov V. (2022) *Repeticija političeskogo: Sjoren K'ërkegor i Karl Shmitt* [Rehearsing the Political: Søren Kierkegaard and Carl Schmitt], Saint Petersburg: Vladimir Dal'. (In Russian)
- Buber M. (1967) On Judaism. Available at: <https://theanarchistlibrary.org/library/martin-buber-on-judaism#toc24> (accessed 14 December 2023).
- Bultman R. (2012) *Jeshatologija i istorija. Prisutstvie vechnosti* [Eschatology and History. Presence of Eternity], Moscow: Kanon+. (In Russian)
- Filippov A. (2023) Mezhdju sociologiej i teologiej [Between Sociology and Theology]. *Zapadnaja jeshatologija* [Occidental Eschatology] (auth. J. Taubes), Saint Petersburg: Vladimir Dal', pp. 409–427. (In Russian)
- Florenskij P. (1996) Predely gnoseologii [Limits of Epistemology]. *Collected works in 4 vol.* (auth. P. Florenskij), vol. 2, Moscow: Mysl', pp. 34–60. (In Russian)
- Heidegger M. (1977) *Gesamtausgabe*, bd. 5, Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman.
- Jonas H. (1934) *Gnosis und spätantiker Geist I: Mythologische Gnosis*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jonas H. (1963) *Zwischen Nichts und Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom Menschen*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jonas H. (2008) *Memoirs*, trans. Krishna Winston, Lebanon, NH: University Press of New England.
- Kant I. (1980) Konec vsego sushčego [The End of All Beings]. *Traktaty i pis'ma* [Treatises and Letters] (auth. I. Kant), Moscow: Nauka, pp. 279–291. (In Russian)
- Karsavin L. (1992) O lichnosti [About Personality]. *Religiozno-filosofskie sočinenija* [Religious and philosophical works] (auth. L. Karsavin), vol. 1, Moscow: Renessans, pp. 3–234. (In Russian)
- Kierkegaard S. (2014) *Ponjatje straha* [The Concept of Fear], Moscow: Akademicheskij proekt. (In Russian)
- Koslowski P. (2001) *Philosophien der Offenbarung Antiker Gnostizismus, Franz von Baader, Schelling*, Paderborn: Ferdinand Schöningh.

- Markvard O. (2023) Teodiceja, filosofii istorii, gnosticizm [Theodicy, philosophies of history, Gnosticism]. *Ideja Boga i obraz teologii v filozofskih diskursah zrelogo moderna i postmoderna* [The Idea of God and the Image of Theology in the Philosophical Discourses of Late Modernity and Postmodernity] (ed. D. Masennikov), Saint Petersburg: RHGA, pp. 636–648. (In Russian)
- Osborn P. (2013) Marks i filosofija [Marx and philosophy]. *Bulletin of Moscow University. Philosophy*, no 1, pp. 15–32. (In Russian)
- Rosenzweig F. (2002) *Der Stern der Erlösung*, Freiburg im Breisgau: Albert Raffelt.
- Schelling F. (2002) *Filosofija otkrovenija* [Philosophy of Revelation], vol. 2. Saint Petersburg: Nauka. (In Russian)
- Schelling F. (2010) Shtutgartskie chastnye lekcii [Stuttgart Private Lectures]. *Philosophy of Religion: Almanac 2008–2009* (ed. V. Shokhin), Moscow: Institut filosofii RAN, pp. 326–396. (In Russian)
- Schelling F. W. J. (2013) *Die Weltalter*, Milano: Bompiani.
- Schmitt C. (2000) Politicheskaja teologija. Chetyre glavy k ucheniju o suverenitete [Political Theology. Four Chapters on the Doctrine of Sovereignty]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of Political] (auth. C. Schmitt), Moscow: KANON-press-C, pp. 7–98. (In Russian)
- Styfhals W. (2019) *No spiritual investment in the world: gnosticism and postwar German philosophy*, Ithaca, NY: Cornell University Press: Cornell University Library.
- Taubes J. (1947) *Abendländische Eschatologie*, Bern: A. Francke AG. Verlag.
- Taubes J. (1996) Das stählerne Gehäuse und der Exodus daraus, oder Ein Streit um Marcion, einst und jetzt. Taubes J. *Vom Kult zur Kultur: Bausteine zu einer Kritik der historischen Vernunft; gesammelte Aufsätze zur Religions- und Geistesgeschichte* (auth. J. Taubes), München: Wilhelm Fink, s. 173–181.
- Taubes J. (2021) *Ad Carl Schmitt. Soprzazhenie protivostremitel'nogo* [Ad Carl Schmitt. Conjugation of counter-propulsion], Saint Petersburg: Vladimir Dal'. (In Russian)
- Taubes J. (2023) Zapadnaja jeshatologija [Occidental Eschatology], Saint Petersburg: Vladimir Dal'. (In Russian)
- Tillich P. (2008) *Ausgewählte Texte*, Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Tillich P. (1925) Dialekticheskaja teologija [Dialectical Theology]. *Put'*, no 1, pp. 148–154. (In Russian)

Check your privilege, или Социология исследовательских объектов

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: *KRAUSE M.* (2021). *MODEL CASES: ON CANONICAL RESEARCH OBJECTS AND SITES.* CHICAGO AND LONDON: UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.

Александр Ким

Студент факультета гуманитарных наук, ОП «Филология»,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Старая Басманная, 21/4, Москва, 105066, Российская Федерация
E-mail: kchs3181@gmail.com

Книга Моники Краузе посвящена проблеме неравенства среди исследовательских объектов. Почему одни из них изучаются чаще, чем другие? Как это влияет на эпистемологическую и институциональную организацию социальных наук? Чтобы ответить на эти вопросы, Краузе обращается к биологическому понятию «модельного организма». Подобно тому как в науках о жизни внимание ученых сконцентрировано на определенных видах мышей, плодовых мушек, червей и других существ, в социальных науках есть свои «привилегированные» материальные объекты. Краузе называет их «модельными кейсами». Для социологии профессий это врачи и юристы, для социологии города — Чикаго и Нью-Йорк. В рамках логики модельных кейсов и биологи, и социальные исследователи используют конкретные материальные объекты в качестве «заместителей» (*stands-in*) объектов эпистемических (*epistemic target*), но делают это по-разному. Краузе разрабатывает терминологический аппарат, позволяющий описать способы обращения с материальными объектами в разных дисциплинах. На протяжении всей книги она соединяет аналитические выкладки с обсуждением нормативных вопросов, главный из которых: «В чем нуждается социология, а чего в ней более чем достаточно?» Краузе дает на него ответ в конце каждой из шести глав книги. Восстановим логику ее аргументов.

Первая глава предлагает классификацию «родственным» модельным кейсам стратегиям предпочтения одних объектов другим. Самый дальний родственник — «логика покрытия». Действующий в ее рамках исследователь предпочитает те объекты, что ранее не были изучены или были изучены «недостаточно». Так, полевой биолог стремится открыть и описать новые организмы, археолог ищет «находки», а историк вводит в оборот архивные материалы. В отличие от логики модельных кейсов, «логика репрезентативности» использует объекты не в качестве «представителей для чего-то другого» (*representatives for something else*; Чикаго — модель Города), а в качестве «представителей чего-то другого» (*representations of something else*; популяционная выборка). Иными словами, модельные кейсы работают иконически, а логика репрезентативности — метонимически. Сходным образом Краузе разграничивает модельные кейсы с формальными моделями. Последние

конструируют свой объект в эвристических целях, это модели чего-то, а не для чего-то. Наконец, «логика приложения» переносит открытия, сделанные на основе модельных кейсов, на другие объекты. Так, термины, которыми Бруно Латур пользовался в исследовании научных лабораторий, адаптируются для описания судов, банков, архитектурных сооружений.

Логика приложения — давняя мишень критики Краузе и ее соавтора Майкла Гуггенхайма. Еще в статье «Как путешествуют факты» (2012) они иллюстрировали принцип «приложения» через ироническую формулу Рэйвина Коннелла “X in Australia”, где X — любой канонический феномен¹. Согласно Краузе, эти и другие конструкции вроде «Фуко в Зоопарке», «Фуко и Терапия», «Фуко в Образовании» — результат нерелексивного применения логики модельных кейсов. Предполагается, что то, что было верно для привилегированного материального объекта, будет верно для целого класса смежных или вовсе других объектов.

В следующих двух главах Краузе анализирует, какую роль играет материальная инфраструктура в эпистемических практиках, связанных с модельными кейсами. Во второй главе вводится понятие «спонсируемого заместителя» (sponsored stand-in). Критикуя мертоновский «стратегический исследовательский материал», Краузе обращает внимание на то, что путь от цели к объекту опосредуется рядом факторов, «лоббирующих» определенные заместители эпистемических объектов. Среди них доступность, практическое удобство, популярность, субкультурный bias, профиль журналов, финансирующие организации. Краузе подчеркивает, что этот список «нарочито эклектичный» (р. 44). Он нужен для того, чтобы подсветить «обыденный» аспект в выборе исследовательских объектов и избежать дебатов, которые сталкивают внутренние ценности науки и внешние (политические, экономические, идеологические) интересы.

Третья глава фокусируется на вопросе о производстве привилегированных материальных объектов. Модельные организмы у биологов — результат сознательных и систематических усилий по созданию подходящих для исследовательских целей материальных объектов. Работа по стандартизации требует огромной инфраструктуры, в рамках которой скоординированы усилия исследователей, производителей организмов, регулирующих органов и финансирующих организаций (р. 56-57). Инвестиции в затратные процедуры стабилизации объекта в конце концов окупаются возможностью получать сравнимые результаты. В отличие от биологов, социологи не выращивают своих врачей, не стандартизируют больницы и не могут сделать лабораторный Чикаго. Предпочтение одних материальных объектов другим остается имплицитным. Краузе не устает повторять, что логика модельных кейсов сама по себе ни хороша, ни плоха, у нее есть как достоинства, так и недостатки. Однако, пользуясь экономической метафорой, можно сказать, что одни научные предприятия извлекают ренту из модельных кейсов, а другие лишь терпят убытки, не особо замечая это. Краузе призывает к релексивности

1. Guggenheim M., Krause M. (2012). How Facts Travel: The Model Systems of Sociology // Poetics. Vol. 40. № 2. P. 108.

и предлагает больше уделять внимание жанру *restudy*, в котором объект изучается с опорой на предшествующие исследования того же самого объекта (р. 62-65).

Следующие две главы демонстрируют связь модельных кейсов с институциональной организацией социальных наук. В четвертой главе Краузе анализирует, как категории, в основе которых лежит представление о некотором парадигматическом объекте или подходе, определяют карьерные возможности ученых. Социология гендера до сих пор ассоциируется с исследованиями женщин, социология права — с уголовным правом, этнометодология, акторно-сетевая теория, региональные исследования — с классическими работами известных авторов. Эти и другие дифференцирующие категории создают «амбассадорские возможности» в академии. Их формула — «потребность в *x* для *y*»: один департамент может нуждаться в «теоретике», другой — в «городском исследователе» (р. 78). Краузе подчеркивает, что путь к перманентной академической позиции, как правило, связан с амбассадорством. Таким образом, дисциплинарные категории структурируют воспроизводство академических сообществ.

Хотя пятая глава называется «Схемы социальной теории», она, в сущности, продолжает обсуждение академического амбассадорства. Согласно Краузе, в социологии «теория» как отдельная категория окончательно институционализировалась лишь во второй половине XX века. В это время появились теоретические журналы и учебники, а также теоретические секции в дисциплинарных ассоциациях (р. 89). Вместе с рождением «теории» исследователи стали делиться на «коллег» и «привилегированных авторов». Имена и работы последних, подобно модельным кейсам, циркулируют в качестве «заместителей» теории. Это, в свою очередь, порождает феномен авторского амбассадорства. Краузе замечает, что в каждом национальном контексте у теоретиков есть свои иностранные «чемпионы»: в США это «посольства» Бурдые, Вебера, Дюркгейма и Лумана, в Германии — Бурдые и немного Болтански. Исследователи могут строить карьеру, занимая позиции вроде «*X* был всегда прав», «вы должны читать *X* в контексте» или обвиняя коллег в непонимании «своего» автора (р. 94). Превращение «коллеги» в «теоретика» сопровождается деконтекстуализацией его исследований. Так, для нефранцузов эмпирические работы Бурдые сужаются до чистой теории. Все эти факторы поощряют «индустрию приложений». Фукольдианское *gouvernementalité* находят «плодотворным» в изучении психоанализа, благосостояния или его отсутствия, лагерей для беженцев, а также заключенных в Гуантанамо. Как и ранее, решение Краузе связано с методологической рефлексивностью. Она противопоставляет логике приложения компаративный анализ эмпирических кейсов и контекстуализацию «теоретических» работ.

Наконец, шестая глава посвящена модельным кейсам глобального знания. Краузе удается перевести дебаты о европоцентризме и англо-американской академической гегемонии на свой аналитический язык. Ее аргумент можно свести к цепочке из трех элементов: логика модельных кейсов → индустрия приложений → глобальное академическое неравенство. Принцип предпочтения одних матери-

альных объектов другим, опосредуемый логикой приложения, ведет к тому, что одни исследователи работают с модельными кейсами, тогда как другие вынуждены иметь дело с периферийным материалом, «прикладывая» к нему привилегированные подходы. Краузе обращает внимание на то, что даже у постколониальной теории есть свои избранные «заместители» в лице канонических авторов и материальных объектов. Будучи институционализированы, исследования власти, подчиненности и субъективности в Южной Азии, в частности в Индии, породили новый виток «приложений» к другим постколониальным регионам. Краузе остается верной своему главному рецепту и предлагает критически сравнивать хорошо изученные и малоизвестные контексты.

«Модельные кейсы» могут быть прочитаны как манифест «социоматериальной» социологии и, шире, социологии социальных и гуманитарных наук (SSSH) (р. 71, 85, 87, 105). Как бы справедливо Краузе ни критиковала эксцессы логики приложения, сама ее книга убедительно демонстрирует продуктивность адаптаций привилегированных подходов к новому материалу. Открыто опираясь на находки STS-исследователей и предпринимая попытку соединить их с институциональной социологией науки в духе Роберта Мертона, она показывает, как неравенство среди материальных исследовательских объектов, с одной стороны, поддерживается рутинизированными эпистемическими практиками, а с другой — порождает институционализированное академическое неравенство. Противоречие между тем, что делает сама Краузе, и ее излюбленной мишенью для критики может быть объяснено различием ею логики приложения и компаративного анализа. Действительно, «Модельные кейсы» — это во многом сравнение исследовательских практик в разных дисциплинах. Однако компаративный фокус отнюдь не отменяет логику приложения.

Тонкую грань между этими двумя исследовательскими приемами можно проиллюстрировать статьей «Кушетка как лаборатория?» Краузе и Гутгенхайма. Анализируя эпистемические практики психоанализа, авторы фиксируют феномен «простого приложения» обобщенной теории к отдельным кейсам. Они сравнивают этот прием с уже знакомыми для читателей рецензии примерами из циркуляции *gouvernementalité* Фуко². Однако их собственный анализ — приложение STS-концепта, но не «простое», а сравнительное. С самого начала статьи авторы заявляют о намерении использовать концепт «лаборатории» всерьез, а не как стертую метафору³. Таким образом, различие компаративистики и логики приложения похоже скорее на рефлексивную и нерефлексивную версию одного и того же.

Хотя Краузе явно протаскивает нормативный смысл в свою аналитическую категорию, из-за чего она теряет логическую силу, последовательное продолжение ее исследовательского проекта способно скорректировать эту проблему. Подобно

2. Krause M. (2013). The Couch as a Laboratory? // European Journal of Sociology. Vol. 54. № 2. P. 205.

3. Ibid. P. 190.

тому как в одной из статей она писала о том, «как различаются поля»⁴, читатели «Модельных кейсов» могут задаться вопросом: «Как различаются логики приложения?» Как бы того, может быть, ни хотела Краузе, ее находки можно смело советовать «прикладывать» к другим объектам. Но обязательно рефлексивно.

Check your Privilege, or Sociology of Research Objects

Book review: Krause M. (2021) *Model Cases: On Canonical Research Objects and Sites*. Chicago and London: University of Chicago Press.

Alexander Kim

Student, Faculty of Humanities, HSE University

Address: 21/4, Staraya Basmannaya str., Moscow, 105006, Russian Federation

E-mail: kchs3181@gmail.com

4. Krause M. (2017). How fields vary// *The British Journal of Sociology*. Vol. 69. № 1. P. 3-22.

Россия Владимира Кантора, или Судьба в борьбе с настоящим и будущим*

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: *КАНТОР В. К.* (2023). *РОССИЯ КАК СУДЬБА*. М.: ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВ. — 524 с. ISBN 978-5-98712-932-6

Ренард Девликамов

Стажер-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: ул. Старая Басманная, д. 21/4., Москва, 105066, Российская Федерация
E-mail: rdevlikamov@hse.ru

Новая книга Владимира Кантора «Россия как судьба» представляет собой сборник очерков и статей разных лет, тематически разбитых на пять глав и объединенных одной масштабной задачей, вынесенной в аннотацию: по мере сил хранить реальный смысл русской культуры. Из одной только формулировки авторской задачи следует, во-первых, что Кантору реальный смысл культуры доступен и, во-вторых, что этот смысл нуждается в защите. Уже на этапе знакомства с аннотацией возникает немало вопросов. Каким образом автору удалось открыть для себя смысл русской культуры? Почему он уверен, что найденный им смысл единственно реальный? От кого или от чего и для чего этот смысл нужно хранить? С первых страниц становится ясно, что Владимир Карлович, выпуская книгу, дарит читателю не просто пищу для ума, информацию к размышлению или очередной повод развить оторванную от жизни академическую полемику. «Россия как судьба» — приглашение к живой, до боли актуальной и потому небеспристрастной дискуссии о будущем страны и родной культуры.

В данной книге Владимир Кантор делится с читателями работами из пяти разных областей. В первой главе представлены культурфилософские штудии истории и классической литературы России. Вторая глава вводит читателя в круг проблем творчества Ф. М. Достоевского. Третья глава посвящена русской эмиграции. В четвертой главе Кантор делится воспоминаниями о своей семье и друзьях. А в последней главе собраны рецензии и отзывы на другие книги автора. Каждая статья и очерк сборника заслуживают отдельного внимательного и подробного рассмотрения, но такой анализ приблизился бы по объему к обсуждаемой книге (более пятисот страниц!) и, боюсь, превысил бы силы рецензента. Поэтому оставалось либо сосредоточиться на какой-нибудь одной теме, обсуждаемой в книге, но тогда грандиозный замысел автора был бы незаслуженно урезан, либо пуститься в рассуждения о правильном или неправильном, аргументированном или обоснова-

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

тельном понимании Кантором русской культуры и таким образом рискнуть потонуть в абстракциях и не сказать о книге ничего, кроме банальностей. К счастью, есть один важный (быть может, ключевой) для понимания авторской идеи концепт, вполне конкретный и в то же время целиком покрывающий, но не исчерпывающий пеструю проблематику всех очерков и статей Владимира Кантора. Собственно, этот концепт и лег в название книги — Россия как судьба. Его я и хочу здесь обсудить.

Прежде чем приступить к размышлениям над книгой, нужно хотя бы кратко воссоздать контекст, в который помещает себя сам автор, так как без этого интеллектуальная категоричность Кантора может быть сочтена доктринерством. Во вступительной части он прямо пишет о том, что необходимо преодолеть современный постмодернистский ценностный релятивизм, называемый им «двойничеством» мысли, приобретший со временем «обязательность марксистской догмы» (с. 9). Софизм, нигилизм, игры с симулякрами бесполезны для духовного развития общества. Чтобы произошел культурный рывок, необходимы *прямые смыслы*. Эмоциональный напор, с которым порой пишет Кантор², объясняется, с моей точки зрения, заявленным во вступлении стремлением прорвать силу Ничто, так глубоко засевшего в современной культуре, и заполнить интеллектуальную пустоту новыми прямыми смыслами. Книга «Россия как судьба» есть попытка воссоздания *утраченного* когда-то смысла.

Сразу заметим, что речь идет не о судьбе России, а о *такой разновидности судьбы, как Россия*. Владимир Кантор — автор христианский, он об этом пишет прямо, поэтому толковать понятие судьбы в данном случае нужно именно с точки зрения христианства. В философской энциклопедии читаем: «Христианство противопоставило идее судьбы веру в осмысленное действие “провидения”»³. Выходит, что христианский аналог судьбы предполагает — первое — веру человека и — второе — осмысленность действий Бога. Если учесть антитетичность философии Кантора, о которой очень точно написал А. К. Куликов⁴, то в его концепции неверие со стороны человека оборачивается бессмысленностью бытия. Получаем еще одну антитезу Кантора: или ты веришь в Россию как судьбу и живешь свободно, разумно (сразу вспоминаются бессмертные строки Тютчева о том, что в Россию можно только верить), или ты не веришь — и твоя жизнь превращается в разрушительный хаос. Так в какую такую Россию я должен поверить, чтобы не стать источником разрушительной силы?

2. См., например: Порус В. Н. (2008). Имперское сознание... после империи (размышления над книгой В. К. Кантора) // Вопросы философии. № 9. С. 125: «...рациональное рассуждение — форма, лишь отчасти сдерживающая поток эмоций. Это прямо относится к книге В. К. Кантора — философа и писателя».

3. Аверинцев С. С. (2010). Судьба // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль. С. 664.

4. Куликов А. К. (2022). Русская классика, или миф в борьбе с... мифом? // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 6. № 3. С. 363: «Мышление Кантора чрезвычайно антитетично, оно все построено на жестких, непримиримых оппозициях... христианство противостоит язычеству, личность — общине и коллективизму, история — природной патриархальности, выходу в “неисторию”, Разум — мифу, Москва — Петербургу, империя — национализму, европеизм — антиевропеизму, Толстой — Гёте, Герцен — Чернышевскому и т. д.».

Сам Кантор не дает четкого определения тому, что он называет «Россией-судьбой». Но по прочтении книги, вопреки Тютчеву (будто умом Россию не понять), складывается представление о России как о типе культуры, основанной на Разуме, — эдаком идеале европейского Просвещения. Однако Разум — феномен индивидуальный, о чем пишет сам автор: «Коллективный разум есть изобретение тоталитарной идеологии, выросшей из первобытно-племенной психологии. Разум — достояние индивида» (с. 87). Множество индивидов, живущих разумно, могут составлять некоторую культурную целостность только при наличии связующей силы, так как один только разум не может выполнить функцию связи между разрозненными индивидами, поскольку запросто можно найти рациональную аргументацию даже для противоположных тезисов (показательный пример — антиномии чистого разума Канта). У Кантора объединяющей силой становится христианство, понятое в качестве наднационального типа культуры, защищающего такие идеалы, как личность, история, свобода, милосердие, и сдерживающего злое в человеке и человечестве. Например, восстание масс, тоталитаризм и — шире — бесовщину XX века он связывает именно с отказом от христианства как социального регулятора (с. 113).

Получается, что принятие «судьбы-России» требует от человека руководства разумом, ориентиры которому задают христианские ценности. Однако на страницах книги Кантора нет ничего о глубоком религиозном переживании; автор настаивает лишь на усвоении общечеловеческих ценностей, которые провозгласил Христос. В глазах читателей столь прагматичное толкование религии давно стало одним из главных объектов для критики. Вот пример практически идентичных по смыслу откликов на рассуждения Кантора о христианстве: «Знакомясь с такого рода, мягко говоря, излишне либеральными представлениями о христианстве, поневоле хочется задать автору знаменитый вопрос Ставрогина: “А в Бога, в Бога-то вы веруете?”⁵ Не в европейскую цивилизацию, оплодотворенную еврейской мудростью... а в Бога?» (Щукин, 2023: 454), или «...прочитав сотни страниц его книг, так и не можешь ответить на один простодушный вопрос: является ли сам Кантор христианином, а его философия — христианской? Иными словами, христианство для Кантора — цель или средство?»⁶. Действительно, христианские мотивы в книге Кантора создаютстораживающую неясность. С одной стороны, христианство им определяется как наднациональная культура, и, следовательно, она должна смягчать существующие межнациональные противоречия — и это, очевидно, хорошо. С другой стороны, сделать именно христианскую культуру связующей и регулирующей общественные отношения силой — значит рисковать оставить «за бортом» атеистов, агностиков или людей, исповедующих другие религии. Хотя, конечно, можно представить ситуацию, в которой есть какая-нибудь

5. Щукин В. Г. (2023). О книге «Судить Божью тварь. Пророческий пафос Достоевского» // Кантор В. К. Россия как судьба. М.: Центр гуманитарных инициатив. С. 454.

6. Куликов А. К. (2022). Русская классика, или миф в борьбе с... мифом? // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 6. № 3. С. 367.

одна культурная доминанта, не ущемляющая возможностей других. Однако предлагать в качестве ведущей культурной парадигмы христианскую религию — дело весьма опасное и, боюсь, рискованное сегодня не найти отклик в умах или душах людей. Оттолкнувшись от знаменитых слов Теодора Адорно⁷, задам вопрос: как можно поверить в справедливого и благого Бога после Освенцима и ГУЛАГа?

Однако Владимир Кантор, несмотря на серьезные возражения, с которыми порой сталкиваются положения его философии, настаивает на их соответствии реальному смыслу русской культуры. Тот факт, что собранию написанных и опубликованных в разные годы статей он дал название «Россия как судьба», говорит о готовности автора «вынести в своем творчестве безмерную тяжесть жизни, преодолевая ее силой духа и мысли» (с. 12). Другими словами, Кантор не просто создал концепт «судьбы-России», он показал, как выдающиеся русские мыслители, в том числе и сам автор, своей жизнью пытались реализовать найденную в русской классике судьбу.

Эпиграфом из Анны Ахматовой Владимир Кантор не просто задает тон всей книге, он с первой страницы указывает на *героически высокие* требования к человеку, нашедшему в себе силы принять судьбу-Россию. Повторюсь — героические:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Помимо героизма, Россия как судьба требует от человека сочетание свободы и жертвенности. Кантор с настойчивостью повторяет почти в каждой статье, что путь человека свободы — не с народом. Народ — это темная, непросвещенная, жестокая, языческая, ведомая, неблагодарная масса. Народ сам ничего не создает, только разрушает и убивает. Например, разрушает государство, а вместе с ним и культуру: «Именно мужик и сдал государство, пойдя за большевиками. Отступление на поприще ума чревато было гибелью государства» (с. 84). Да и Раскольников убивает старуху, «поддавшись народной психее, языческой магии, наваждению...» (с. 157). Выходит, что человеку, выбравшему судьбу-Россию, живущему разумно, по-христиански, пытающемуся создавать культуру,

7. Адорно Т. В. (2003). Негативная диалектика. М.: Научный мир. С. 327: «После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой — всего лишь мусор».

ни в коем случае нельзя давать слабину перед народными массами, потому что любая победа толпы несет хаос и горе. Очевидно, что созидателей в сравнении с разрушителями ничтожно мало, и во времена, когда верх одерживают разрушители, человек, взваливший на свои плечи тяжелую судьбу-Россию, должен быть готов отдать за нее жизнь: «Путь человека свободы — путь на Голгофу, под пистолет Дантеса, в сибирскую каторгу, Освенцим, ГУЛАГ. Уже в первом явлении человека свободы именно народ отдал Его на распятие» (с. 71). Смелость и сила духа, воспетые Кантором, готовность своей жизнью отстоять высшие смыслы и идеалы вызывают неподдельное уважение. Но интеллектуальная категоричность, присущая автору, иногда не дает разглядеть ему полутона. Так, например, Владимир Кантор называет «подлым бегством из России постсоветских шоуменов» (с. 203), отъезд людей в связи с трагедией 24 февраля 2022 года, аргументируя позицию тем, что «эмигранты пытаются развалить свою страну, а остающиеся страстотерпцы пытаются ее обустроить» (с. 205). Зачем же давать эмоциям одерживать верх в философской работе и так несправедливо обобщать действия абсолютно всех эмигрантов?

В статье о Чернышевском Кантор склоняется к тому, что эмиграция вызвана боязнью человека ценой жизни ответить за свою позицию (с. 206). Конечно, этот тезис сегодня может вызвать немало споров. Во-первых, часто сам отъезд из страны выглядит как открытое заявление своей позиции, своего несогласия с тем, что происходит на Родине. Во-вторых, многие эмигранты отказываются от привычного комфортного быта, разлучаются с близкими людьми и едут навстречу неизвестности — в другую страну, где им попросту может не найтись места. Таким образом, на эмигранта можно взглянуть как на человека решительного и даже принципиального. Впрочем, это лишь один из возможных альтернативных взглядов на феномен эмиграции. Интересней в этом сюжете то, что Владимир Кантор противопоставляет судьбе эмигранта. Другими словами, как во времена политических потрясений должен вести себя человек, выбравший «судьбу-Россию»? Ответ Кантора таков: *аду можно противопоставить только верность самому себе* (с. 309). В этом ответе, как нигде ярко, раскрывается следование автора идеалам русской классики. Верность самому себе (России как судьбе) — это то, что Пушкин назвал (правда, потом эти строки перечеркнул) «самостояньем» человека, залогом его величия. Для обоих, Пушкина и Кантора, «самостоянье» раскрывается в боевой и дерзкой формуле «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Вообще Владимир Карлович, хоть прямо об этом и не пишет, но все-таки склоняется к тому, что русскую культуру можно пробудить только военным путем, что высокое предназначение России как судьбы открывается в конфликте, представляющем для страны экзистенциальную угрозу. Например, наиболее симпатичные автору исторические фигуры, Пётр Первый и Александр Пушкин (даже открывающая книгу статья посвящена «гибели Петровско-пушкинской России»), сумели осознать «свой высокий жребий среди других народов» только на фоне войны со Швецией и нашествия Напо-

леона соответственно (с. 73). Более того, Кантор, считающий Пушкина началом высокой русской культуры, ее патрицием, перенимает у поэта жизненное кредо «На поприще ума нельзя нам отступить» (помним, что, с авторской точки зрения, русская культура основана на Разуме) и отмечает в этой формуле, что она *военная*, отсылающая к баталиям Петра (с. 73).

Не совсем понятно, намеревался автор добиться такого эффекта или нет, но по прочтении книги складывается твердое убеждение в том, что «России как судьбе» спокойные времена вредны и даже противопоказаны. Создатели России (к ним Кантор относит Петра Великого, Карамзина, Пушкина, Чаадаева, Чернышевского, Достоевского, Некрасова, Замятина и других) в изложении Владимира Карловича всегда действовали в жесткой оппозиции к действительности и находили смыслы русской культуры в борьбе с несправедливыми обстоятельствами. Объяснение этому, как мне кажется, кроется в противостоянии между творцами культуры и народом, несущим в себе разрушительную стихию хаоса. Спокойные времена расслабляют человека, притупляют ум, смягчают восприятие неразрешимой оппозиции создателя и разрушителя, делают тем самым и без того хрупкую культуру еще более уязвимой. Кантор, будто опасаясь или предвидя возвращение темных времен, неоднократно предупреждает читателя: «отступление на поприще ума чревато... гибелью государства» (с. 84). И еще страшнее: «ад возможен в любом месте, где есть человек» (с. 189). Дабы снова не допустить победы безликой толпы и чтобы вернуть, наконец, на пьедестал реальный смысл русской культуры, необходимы прямота и смелость, с какими рассуждает Владимир Кантор. Только с ними можно пробудить интеллектуальные силы, способные противостоять «двойничеству» языка и суррогату культуры современности. Но чтобы интеллектуальные силы не стреляли вхолостую, чтобы умственный труд не пробуксовывал, а давал результат, выраженный в адекватных современности универсалиях культуры, по Кантору, необходим конфликт, высвечивающий высшие смыслы, запечатанные в судьбе-России (без высшего смысла, имеющего прямое выражение, жизнь превращается в разврат (с. 188)). Однако исход конфликта бывает разным: иногда побеждает Культура, а иногда верх берет Хаос. С победой Культуры ум неизбежно расслабляется и дает слабину перед темной толпой — тогда наступают эпохи Хаоса, во времена которых люди снова вспоминают о ценности разума. Подобные круговороты критики Кантора называли парадоксами его концепции⁸. Но можно взглянуть на них как на *вечный двигатель* России, приводящий маятник истории в движение (именно маятник, качающийся между полюсами разумных индивидов и безумной толпы). А концепт «России как судьбы» — попытка оттянуть маятник в положение расцвета Культуры и зафиксировать исторический момент там, на вершине Разума. Может показать-

8. См., например: Куликов А. К. (2022). Русская классика, или миф в борьбе с... мифом? // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 6. № 3. С. 365; Порус В. Н. (2008). Имперское сознание... после империи (размышления над книгой В. К. Кантора) // Вопросы философии. № 9. С. 127–129.

ся, что Владимир Карлович, подобно Фаусту Гёте, ждет мгновения, которому стоит сказать: «Остановись!» Но в отличие от Фауста, у Кантора это не «стремление вырваться из исторического времени и культурных форм», не «отрицание традиции в пользу мгновения»⁹, а попытка раз и навсегда обжить сферу христианского разума и твердо усвоить пушкинское кредо «На поприще ума нельзя нам отступить». Задача благородная, вот только риски велики. Никто не знает, в силах ли человек остановить движение маятника. Имеющийся исторический опыт показывает, что таких сил пока у него нет, и в таком случае может стать так, что долгое и искусственное удерживание маятника в одной стороне обернется стремительным броском в противоположную, в очередной ад на земле.

Критики уже не раз отмечали, что воплощение философских идей Владимира Кантора сегодня трудно представимо ввиду их заикленности на прошлом и некоторого равнодушия или невнимательности к малопривлекательному настоящему: «Несомненно, В. К. Кантор, публикуя свои рассказы, пытается возродить утраченную традицию»¹⁰; «Философия Кантора — это не столько взгляд в будущее, сколько любование таким прошлым, которого никогда не существовало»¹¹; «Можно ли в этой исторической ситуации надеяться на победу некоей наднациональной идеи “всеобщего блага”, если не только всеобщего, но и частного блага не видели и не видят сменяющие друг друга поколения? <...> Боюсь, что “имперская идея” в том ее смысле, который дорог автору книги, в сегодняшней России бессильна»¹². Очевидно, что с возвращением прежней, «реальной» культуры, на которое направлены труды Кантора, придут и старые, реальные проблемы. Философия Владимира Карловича остается в системе маятника и своей прямоотой может разве что увеличить амплитуду колебания. Для нового культурного рывка необходимо наконец вырваться из маятниковой воронки и найти принципиально новые культурные формы. Как это сделать? Ответ на данный вопрос составляет, пожалуй, главную интригу эпохи. Но одно ясно точно: без усвоения отцовского мотто, которым поделился философ и писатель Владимир Кантор, не то что построить культуру — даже прожить достойную жизнь невозможно:

Будь словом, Вова,
Плоть трава!
Оставь слова, слова, слова!

9. *Доброхотов А. Л.* (2010). Морфология хаоса, или Услышанные пророчества Достоевского // Вторая Навигация. Альманах. Вып. 10. Харьков: Права людини. С. 206.

10. *Гуревич П. С.* (2023). Владимир Кантор как прозаик и мыслитель // *Кантор В. К.* Россия как судьба. М.: Центр гуманитарных инициатив. С. 436.

11. *Куликов А. К.* (2022). Русская классика, или миф в борьбе с... мифом? // *Философия. Журнал Высшей школы экономики.* Т. 6. № 3. С. 369.

12. *Порус В. Н.* (2008). Имперское сознание... после империи (размышления над книгой В. К. Кантора) // *Вопросы философии.* № 9. С. 132.

Vladimir Kantor's Russia, or Fate in the Struggle with the Present and the Future

Book review: *Kantor V. (2023) Russia as Fate*. Moscow: Centre gumanitarnyh initsiativ. — P. 524. ISBN: 978-5-98712-932-6

Renard T. Devlikamov

Research Assistant, International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue,
HSE University

Address: 21/4 Staraya Basmannaya str., Moscow, 105066 Russian Federation

E-mail: rdevlikamov@hse.ru



Антонио Негри (1 августа 1933 — 16 декабря 2023)

Storia di un comunista

Про Томаса Гоббса иногда говорят, что судьба подарила ему две жизни. Действительно, по меркам своего времени отец современной политической философии прожил невероятно долго, это и сейчас долго, а для семнадцатого века — почти вечность: он успел застать Ренессанс (даже поработать с Бэконом) и пережил Спинозу (с точки зрения примитивного подсчета лет жизни тот мог быть его внуком).

Хорошо известно, что Антонио Негри поклонником Гоббса не был: идея суверенитета (в современном его понимании), изобретателем которой принято считать английского философа, близка ему не была, возможно, в том числе и потому, что знаком он с ней был не только в теории. Но кое-что их все же сближало — число жизней и умение их прожить. Здесь, пожалуй, Негри знаменитого англичанина превзошел.

Антонио Негри родился в 1933 году, его отец был коммунистическим активистом в Болонье. В студенческие годы он на некоторое время вступает в католическую молодежную организацию, но надолго там не задерживается: политическая идентичность на юге Европы — очень часто семейное дело и передается по наследству. Этот опыт, однако, не проходит даром, здесь, по его собственным воспоминаниям, он становится «коммунистом до встречи с Марксом»: впервые задается

вопросом о том, что такое общее, что значит быть сообща. Его философские интересы в годы учебы в Университете Падуи, как позже скажет он сам, «разрознены и хаотичны»: Хайдеггер, феноменология, Сартр, Витгенштейн, американский прагматизм. Затем он получает стипендию в Ecole Normale и целый год занимается Гегелем под руководством Жана Ипполита, однако квалификационную работу опять в своем университете в 1956 году пишет о немецком историзме: Дильтей, Трейчке, Майнеке, Вебер.

Вскоре он сам начинает профессорскую карьеру там же в Падуе, преподает политическую философию и теории права, публикуется, много ездит по делам Итальянской социалистической партии, от которой избирается в городской совет Падуи в 1959 году. Он часто посещает Югославию (в том числе знаменитые встречи на Корчуле) и даже приезжает в СССР («Я помню, как шел по этой улице, — скажет он много лет спустя, — только тогда на ней было очень мало людей»), но бюрократический социализм несильно впечатлил молодого активиста итальянской соцпартии. В общем, это жизнь довольно успешного интеллектуала. В это же время происходит важная встреча: знакомство с редколлегией леворадикального журнала *Quaderni Rossi*. Его основатели, Раньеро Панциери и Марио Тронти (еще одна важная фигура в истории «итальянской теории»), советуют Негри всерьез заняться Марксом. Чтение Маркса вызывает стремление разобраться, «как оно работает на самом деле», там, у настоящих рабочих. Это желание приводит молодого профессора к проходным химическим комбинатов и НПЗ в Порто-Маргера.

В этом месте начинается, нет, не следующая, но еще одна жизнь Антонио Негри, жизнь радикального теоретика и активного участника рабочего движения. Здесь он получит свой псевдоним «Тони», который останется с ним как второе имя до конца жизни. Увиденное на фабрике разительно отличается и от речей партийных и профсоюзных боссов, и от того, что можно прочесть в книгах самого Маркса. Становится понятно, что и теория, и формы политической организации нуждаются в основательном пересмотре. Из этой политической потребности в 1960-е годы возникнет «рабочая автономия», радикальное политическое движение, вовлекающее в свои ряды не только пролетариат, но и другие не представленные городские слои — студентов, безработных, непостоянно занятых. К середине 1970-х это уже серьезная сила на улицах и в заводских цехах и новое слово в политике. Майкл Хардт, будущий соавтор Негри, позже назовет Италию «лабораторией», где возникнут новые формы политики. «Автономию» оформляет специфическое интеллектуальное течение, известное теперь под общим названием «итальянского операизма»: труд — это производство общего, подвергающееся постоянным атакам со стороны капитала, поэтому их отношения — это отношения политические, то есть вражда и антагонизм, которые не могут быть целиком опосредованы партиями и профсоюзами. Эта непрерывная война и является мотором мировой истории, поэтому Маркс — это, прежде всего, политический мыслитель (позже мы увидим повторение этого важного тезиса в «Империи» и ее продолжениях).

С середины 1960-х годов Италия становится политически довольно беспокойным местом. Дают о себе знать многочисленные проблемы, вызванные сначала бурным экономическим ростом, а затем — его замедлением. Обычно вспоминают «Красный май» в Париже 1968 года, но мало кто вспоминает, что в Италии такой «май» начался несколько раньше, а потом задержался. Примерно на 10 лет. «Коммунистическая партия Италии», «социалисты», «христианские демократы», «исторический компромисс», «еврокоммунизм», «Горячая осень-1969», «свинцовые годы», «Красные бригады» и т.п. — теперь все это кажется непонятными иероглифами далекой эпохи, а когда-то не сходило с телевизионных экранов и первых страниц газет. Страну непрерывно сотрясают политические битвы: забастовки, непрерывные стычки между левыми и правыми, одними левыми и другими левыми, демонстрантами и полицией, всех со всеми, взрывы, бунты и восстания. По сути, это гражданская война низкой интенсивности. Все это время «автономия», сложная и неустойчивая амальгама из непарламентских радикальных организаций играет важную роль в итальянской политике: «большие» официальные партии и профсоюзы обнаруживают слишком явное стремление договориться, поэтому политическое уходит на улицу, чтобы в конце концов превратиться в террор. Последней каплей становится печально знаменитое похищение и убийство «Красными бригадами» бывшего премьер-министра и влиятельного члена Христианско-демократической партии Альдо Моро в 1978 года, после которого итальянское государство переходит к крайним мерам. К началу 1980-х годов *Il movimento*, как называли тогда «автономию», полностью разгромлено. Негри, как и еще два с лишним десятка человек, арестуют 7 апреля 1979 года. Следующие четыре года он проведет в тюрьме. В это время выйдет «Маркс после Маркса», книга, созданная на основе семинарского курса, который Негри, по приглашению Альтюссера, вел в Ecole Normale, — в ней подводились теоретические итоги итальянского «горячего десятилетия». В тюрьме же будет написана «Дикая аномалия», книга о Спинозе, главном божестве собственного философского пантеона Негри, и, вероятно, важнейший текст неоспинозистского ренессанса. Первый набор обвинений, связанный с похищением Моро, развалится в суде, который сам по себе превратится в значительное для итальянских медиа событие. Следствие не отступится и придумает новое: пусть причастность к насильственным действиям установить не удалось, но можно попробовать вменить «моральную ответственность» за создание «атмосферы ненависти и нетерпимости». Обвинение запрашивает 14 лет тюрьмы. Пока идут судебные прения, Антонио Негри избирается в парламент Италии по списку «Радикальной партии», а депутату, как известно, полагается неприкосновенность, и он выходит на свободу. Свобода не длится долго, практически сразу в парламент вносится вопрос о снятии иммунитета, который решается положительно (по злой иронии, несколько недостающих голосов дают депутаты от той самой «Радикальной партии»). Негри решает больше не искушать фортуны и нелегально перебирается во Францию.

Франция не чужая ему страна, здесь есть друзья и знакомые, они помогут с адвокатами, которые докажут преследование по политическим мотивам (а таких французская юстиция не выдает), и с жильем — на первое время. Но нет документов, нет работы и нужно начинать все сначала. Это жизнь проигравшего изгнанника. Позже Негри скажет, что опыт поражения очень важен. Единственным способом как-то вернуться в профессию на новом месте оказывается социология, и Негри начинает заниматься исследованиями труда фабричных рабочих в Сен-Дени, фактически же он изучает деиндустриализацию, в тот момент только начинавшуюся. Здесь, видимо, он получает подтверждение своим догадкам, сделанным еще в Италии прошлого десятилетия: с «трудом» и «работой» что-то происходит, нужно изобретать новые понятия. Во Франции Негри напишет *“Il potere costituente”*, свой *magnum opus* об учредительной власти, впечатляющее своей мощью и до сих пор толком не прочитанное погружение в историю идей. Постепенно все налаживается, он снова начинает преподавать, но изгнание не перестает быть изгнанием, и вот спустя четырнадцать лет Негри решает вернуться в Италию. Вряд ли это была ностальгия, Негри к памяти относился довольно настороженно и не считал необходимым ее культивировать, он говорил, что важны воспоминания, а не память. Сам он желал окончательно свести счеты с прошлым, полагая, что его возвращение и вопросы 1970-х, поставленные в новом контексте, помогут облегчить участь заключенных 1979 года, многие из которых продолжали находиться в тюрьмах. Так или иначе, вернувшись домой в 1997 году, Негри снова оказывается в тюрьме, так продолжается два года, пока не выходит «Империя». Сам Негри будет вспоминать позже, что эта книга началась как случайность и тоже как своего рода неудача: одно из парижских издательств затеяло учебник по современной политической теории и заказало ему главу о суверенитете. С учебником ничего не вышло, а вот судьба написанного оказалась неожиданной. Пришедшая вместе с «Империей» всемирная известность приносит облегчение режима содержания, Негри сначала возвращают ограниченную свободу передвижения, а в 2003 году оправдывают окончательно.

За «Империей» (2000) последуют «Множество» (2004), затем очень важная книга с плохо переводимым на другие языки названием «Commonwealth» (2009), и «Ассамблея» (2017). Впрочем, эта жизнь профессора Негри, жизнь автора академических бестселлеров, известна, наверное, лучше всего. Стоит, наверное, добавить, что эти книги демонстрируют совсем другого Негри: на место внимательного читателя, герметичного и скрупулезного экзегета Маркса, Спинозы, Декарта, Макиавелли, Ленина, Харрингтона и т. д., приходит визионер, не боящийся широких исторических и теоретических обобщений и смелых картин утопического воображения. Впрочем, в таком необычном развороте велика и заслуга его соавтора, Майкла Хардта, человека, чья роль в открытии так называемой «итальянской теории» для мировой академии неоспорима. Эти книги вызвали и еще, наверное, вызовут дискуссии, зачастую необычайно острые, остается под вопросом и их главная гипотеза и абсолютный горизонт — коммунизм. Необходимо, одна-

ко, помнить, что написаны они были в разные моменты нашей, уже сегодняшней истории, как попытка понять ее повороты и конъюнктуру, но всякий раз их цель состояла в том, чтобы предложить глубокий теоретический взгляд на нашу политическую онтологию из новой перспективы, поэтому в этом качестве они еще точно будут нужны.

Была ли какая-то из этих жизней Антонио Негри главной? Отвечая на этот вопрос, вряд ли получится расставить приоритеты, поскольку жизнь не поддается присвоению и никогда не сводится к иерархиям приоритетов. Жизнь для коммуниста — это непрерывное конструирование общего. В Негри больше всего восхищали его искреннее любопытство и интерес буквально ко всему. К происходящему вокруг, к собеседнику. В нем не было ничего от академической «звезды», вопросы он, как правило, начинал задавать первым, это было практически неистощимое желание встречи с новым. Его суждения о текущих политических делах были напрочь лишены фантазий и догматизма, некоторые из них меня удивляли и казались странными, теперь же остается лишь поражаться их пронизательности. Спинозисты, последователи одной из самых странных и необычных философий, в злободневных вопросах очень часто оказываются трезвомыслящими холодными реалистами. Впрочем, здесь не будет никакого парадокса, если помнить про «не осмеивать, не огорчаться, не клясть, а понимать». В какой-то момент Негри очень устал от вопросов о некоторых эпизодах своей жизни и просто перестал на них отвечать. И действительно, что может узнать праздное любопытство, обычно скрывающееся за такими вопросами? В одной из последних своих книг, в автобиографии *“Storia di un comunista”*, он объясняет, что это «отсутствие памяти» было ему необходимо не только для того, чтобы выжить после ареста. Цель этого «отказа» была еще в том, чтобы спасти от поражения истину борьбы целого поколения, которая в противном случае была бы искажена, фальсифицирована, стерта до того, как придет время сделать общими воспоминания о ней.

А еще так случилось, что память часто бывает спутником смерти, о которой, как известно, человек свободный думает мало, и мудрость его должна состоять в размышлениях о жизни (это верно, мало кто интересовался жизнью так, как Антонио Негри). Мы же пока останемся, и если впереди и правда нас ждет «новый семнадцатый век», то память (на этот раз уже и как способность) может еще пригодиться.

Максим Фетисов